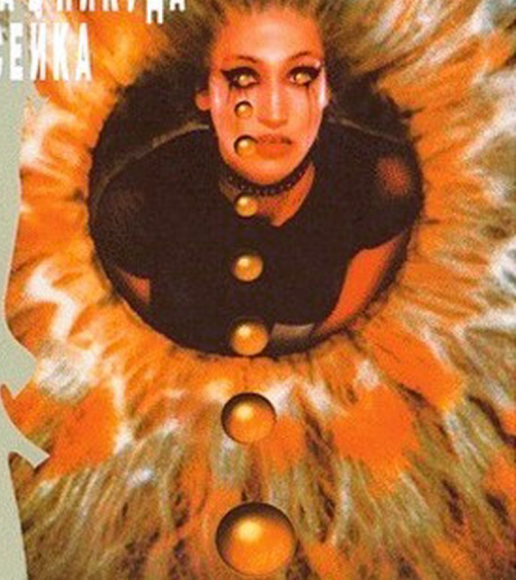
СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН

Франсуа

МОРИАК

ТАЙНА СЕМЬИ ФРОНТЕНАК
ДОРОГА В НИКУДА
ФАРИСЕЙКА



ТАЙНА СЕМЬИ ФРОНТЕНАК
ДОРОГА В НИКУДА
ФАРИСЕЙКА

Франсуа МОРИАК

2

Том 2. Тайна семьи Фронтенак. Дорога в никуда. Фарисейка

Франсуа Шарль Мориак

Аннотация
Франсуа Мориак
ТАЙНА СЕМЬИ ФРОНТЕНАК
  Часть первая
    I
    II
    III
    IV
    V
    VI
    VII
    VIII
    IX
    X
    XI
    XII
  Часть вторая
    XIII
    XIV
    XV
    XVI

XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
ДОРОГА В НИКУДА
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая

Глава двадцатая
ФАРИСЕЙКА
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

Аннотация

Французский писатель Франсуа Мориак — одна из самых заметных фигур в литературе XX века. Лауреат Нобелевской премии, он создал свой особый, мориаковский, тип романа. Продолжая традицию, заложенную О. де Бальзаком, Э. Золя, Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений — отношения внутри семьи. Жизнь постоянно испытывает героев Мориака на прочность, и мало кто из них с честью выдерживает эти испытания.

«Тайна семьи Фронтенак» — самый мягкий и лиричный роман Мориака, своего рода реквием особым семейным устоям, складывавшихся не один десяток лет у буржуазии юга Франции. XX век безжалостно рушит их. Слово «семья» уже не являет собой единство цели, а самопожертвование для блага близких становится смешным. Это история очень необычной для Франции начала XX века семьи. В семье торжествуют принципы

взаимной любви, понимания и уважения. Именно из нее выходит талантливый молодой писатель, не сомневающийся в своем призвании. Жизнь не всегда будет к нему благосклонна, но семейные ценности, усвоенные в детстве, помогут ему справиться с трудностями, разочарованиями и поражениями взрослой жизни.

«Дорога в никуда» — это роман о деньгах, точнее об обществе, где все ими определяется, где они правят браками и любовью, заставляют друзей предавать друг друга, губят душу человека. Именно в этом романе Мориак устами поэта Пьера Костадо заявляет: «Мы живем в таком мире, где сущность всего — деньги».

Франция незадолго до Первой мировой войны. Еще сильны старые буржуазные предрассудки в провинциальном высшем свете, еще царит там снобизм и двойная мораль. Однако в воздухе уже витает дух перемен, который беспощадно уничтожит предрассудки. На этом фоне разворачивается драматичная судьба семейства «старой аристократии», глава которой, растратив все фамильное состояние на любовниц, разорился и покончил

жизнь самоубийством, оставив жену и детей нищими.

Кто сломается, не перенеся бедности и позора? Кто, стиснув зубы, переживет трудные времена, чтобы превратиться в дельца совершенно нового типа, — хваткого, циничного и безжалостного? А кто найдет в себе силы, чтобы попробовать обрести иной, собственный путь в жизни?

«Фарисейка» — роман о заблуждениях и прозрении властной и жестокой мадам Бригитты Пиан. Она вероломно вмешивается в судьбы окружающих ее людей, прикрываясь благими намерениями. Лишь раскаявшись, она понимает, что главное в жизни — это любовь, благословенный дар, спасающий душу.

Франсуа Мориак

ТАЙНА СЕМЬИ ФРОНТЕНАК

Как плод, подвешенный под сумрачной листвой,
Моя судьба сперва в глуши лесной созрела.
Я рос — и зной меня окутал с головой,
И ветер прорывал тенистый полог мой,
И так впервые мне приоткрывалось небо.
От первых детских лет Сильван[1] меня хранил,
С младенчества мой взор любил лесов молчанье,
А шаг младенческий все дальше уводил
В ту сумрачную тень, где обреталась тайна.

Морис де Герен

---

[1] Примечания: 1
Сильван — бог лесов в римской мифологии.

Часть первая
I

Ксавье Фронтенак бросил робкий взгляд на невестку, которая, пододвинув низкий стул ближе к камину, сидела очень прямо, не касаясь спинки, и вязала; он понял, что она раздражена. Он попытался вспомнить, что говорил за ужином, и все его высказывания показались ему лишенными какого бы то ни было лукавства; Ксавье вздохнул, провел сухой ладонью по голове.

Его взгляд остановился на большой кровати с витыми ножками, где восемь лет назад долго и мучительно умирал его старший брат, Мишель Фронтенак. Он вновь увидел запрокинутую голову, огромную шею, поросшую обильной щетиной, неутомимых июньских мух, которых никак не удавалось прогнать с этого потного лица. А сегодня ему, наверно, уже попытались бы сделать трепанацию черепа и, может быть, спасли бы его; Мишель был бы сейчас с ними. Он был бы с ними… Ксавье не мог оторвать глаз от этой постели и от этих стен. Хотя брат скончался вовсе не здесь: через неделю после похорон Бланш Фронтенак

с пятью детьми покинула дом на улице Виталь-Карлес и нашла себе приют на четвертом этаже особняка на улице Кюрсоль, где жила ее мать, госпожа Арно-Мике. Однако на окнах здесь были те же самые шторы, синие с желтыми цветами, и такие же покрывала на кровати. Комод и шкаф стояли друг против друга, как в прежней комнате. На камине все та же бронзовая дама в закрытом платье с длинными рукавами символизировала веру. Только лампу сменили: госпожа Фронтенак купила новую, вызывавшую восхищение у всей семьи: алебастровая колонна несла на себе хрустальный резервуар с фитилем, плавающим в керосине и напоминающим толстого червяка. Пламя делилось на множество раскаленных лепестков. Абажур представлял собой беспорядочное нагромождение кремовых кружев, украшенных букетом искусственных фиалок.

Это диво притягивало жадных до чтения детей. В честь приезда дяди Ксавье им дозволено было лечь спать в половине десятого. Старшие, Жан-Луи и Жозе, тут же, не теряя ни секунды, схватились за свои книги: первые два тома «Ка-

мизаров» Александра де Ламота[2]. Лежа на ковре с зажатыми двумя пальцами ушами, они погружались, они проваливались в историю, и Ксавье Фронтенаку видны были только их круглые, стриженые головы, оттопыренные уши, испещренные шрамами большие коленки, грязные ноги и подкованные спереди ботинки с порванными и завязанными узелками шнурками.

Самый младший, Ив, которому никто не дал бы его десяти лет, не читал, а, сидя на табуретке, терся лицом о коленки Бланш, цеплялся за нее, словно какой-то инстинкт подталкивал его вернуться в тело, из которого он вышел. Он говорил себе, что между завтрашним утром с его ответами у доски и уроком немецкого языка, на котором господин Рош, возможно, будет его бить, и сегодняшним отходом ко сну простирается благословенная ночь. «Может, я умру, может, заболею…» Он нарочно заставлял себя просить добавки каждого блюда.

Позади кровати две маленькие девочки, Даниэль и Мари, учили катехизис. Слышен был их приглушенный смех. Благодаря атмосфере

[2] Примечания: 2

Ламот, Пьер Александр де (1823–1897) — французский прозаик; автор исторических романов, рассказов о морских приключениях, фантастических путешествиях в духе Жюля Верна.

храма Сердца Иисусова, в которой они жили, занятые мыслями о своих учительницах, о своих подружках, им удавалось уединяться даже дома, и случалось, что, лежа бок о бок в своих кроватях, они щебетали еще и в одиннадцать часов.

А Ксавье Фронтенак все глядел на две круглые стриженые головки, на расположившихся у его ног детей Мишеля, последних Фронтенаков. И у этого стряпчего, у этого делового человека вдруг перехватило горло и быстрее забилось сердце: вот эта живая плоть произошла от его брата… Ему, безразличному к любой религии, не хотелось бы верить, что испытываемое им сейчас чувство имеет мистическую природу. Особые достоинства племянников ничего для него не значили: окажись Жан-Луи не тем блестящим учеником с острым умом и живым восприятием, каким он был, а обыкновенным маленьким оболтусом, дядя Ксавье все равно любил бы его; то, что делало их в его глазах бесценными, от них не зависело.

— Девять часов тридцать минут, — объявила Бланш Фронтенак. — В кровать! Не забудьте прочитать молитву.

В те вечера, когда у них бывал дядя Ксавье, они не молились вместе.

— Книги с собой в спальню не берите.

— Ты до какого места дошел, Жозе? — спросил Жан-Луи брата.

— До того, ты знаешь, когда Жан Кавалье…

Девочки подставили дяде свои чуть влажные лобики. Ив стоял сзади.

— Ты придешь подоткнуть мне одеяло? А, мамочка? Ты придешь подоткнуть мне одеяло?

— Если будешь так приставать, то не приду.

От двери самый тщедушный из ее сыновей бросил ей умоляющий взгляд. Его носки утопали в ботинках. По сравнению с худеньким личиком уши его казались очень большими. Левое веко у него отвисало и закрывало почти все глазное яблоко.

Когда дети ушли, Ксавье Фронтенак опять внимательно посмотрел на свою невестку: та ничуть не подобрела. Чем же он мог ее обидеть? Он говорил о женщинах долга, типичной представительницей которых была она сама. Он не понимал, почему подобные похвалы бесят ее. Бедняга с неуклюжей настойчивостью превозносил величие ее жертвенности, заявлял, что в мире нет ничего более прекрасного, чем женщина, хранящая верность покойному мужу и полностью посвятившая себя детям. В его глазах она существовала лишь в той мере, в какой была матерью

маленьких Фронтенаков. Он никогда не думал о своей невестке как об одинокой молодой женщине, способной испытывать грусть, отчаяние. Ее судьба нисколько не интересовала его. Ему было важно, чтобы она не вышла повторно замуж, чтобы она воспитывала детей Мишеля, и иных вопросов, связанных с ней, у него не возникало. Вот чего не прощала ему Бланш. Не то чтобы у нее возникали какие-то сожаления: едва оказавшись вдовой, она взвесила тяжесть своей жертвы и сознательно приняла свой крест; ничто не могло бы заставить ее изменить свое решение. Однако, будучи весьма набожной, обладая немного педантичной, суховатой религиозностью, она всегда считала, что без Бога никогда не нашла бы в себе силы так жить, ведь она была женщиной пылкой, с горячим сердцем. И сегодня, будь Ксавье внимательнее к ней, то посреди оставленных на ковре книг и беспорядка этого покинутого гнезда он бы увидел и пожалел эту трагическую мать, эти блестящие черные глаза, это пожелтевшее, изможденное лицо, на котором остатки красоты еще боролись с худобой и морщинами. Поседевшие, небрежно уложенные волосы придавали ей вид уже опустившейся и ничего не ожидающей от жизни женщины. Застегивавшаяся впереди

черная кофточка плотно облегала ее худые плечи, высохшую грудь. Все ее существо выдавало усталость, изнеможение матери, заживо пожираемой своими детьми. Она не требовала, чтобы ею восхищались или чтобы ее жалели, ей хотелось, чтобы ее понимали. Слепое безразличие деверя выводило ее из себя, делало вспыльчивой и несправедливой. Она раскаивалась и била себя в грудь, как только он уходил, но все ее благие намерения рассыпались в прах, стоило ей опять увидеть это невыразительное лицо, этого маленького человечка, не замечающего ее, перед которым она чувствовала себя несуществующей, обреченной на небытие.

Послышался слабый голосок. Это звал Ив: он не мог сдержаться и одновременно боялся быть услышанным.

— Ах! Этот ребенок!

Бланш Фронтенак встала, но навестила сначала старших сыновей. Они уже спали, сжимая ладанки в маленьких грязных ручонках. Она подоткнула им одеяла и большим пальцем начертала у них на лбу крест. Потом прошла в комнату девочек. Из-под двери пробивался свет. Заслышав шаги матери, они задули свечу. Госпожа Фронтенак зажгла ее опять. На столике между кроватями

в кукольной тарелке были разложены дольки апельсина; в другой тарелке лежали тертый шоколад и кусочки печенья. Малышки спрятались под одеялами, из-под которых виднелись только заплетенные косички с выцветшими лентами.

— Лишаетесь десерта… и я помечу в вашей тетради, что вы не слушались.

Госпожа Фронтенак забрала остатки «обеда» с собой. Однако, едва закрыв дверь, она услышала взрывы хохота. В соседней комнатушке Ив не спал. Только он один имел право на ночничок; его тень вырисовывалась на стене, причем голова казалась огромной, а шея — тоненькой, как стебелек. Он сидел на постели весь в слезах и, чтобы не слышать упреков матери, уткнулся лицом ей в кофту. Она хотела было побранить его, но услышала, как безумно стучит его сердце, она чувствовала все его ребра, его лопатки. В такие моменты она ужасалась этому бесконечному страданию и баюкала его:

— Мой маленький глупыш… мой маленький дурачок… Сколько раз я говорила тебе, что ты не один? В сердце детей живет Иисус. Когда тебе страшно, нужно его позвать, и он утешит тебя.

— Нет, потому что я очень сильно согрешил… А вот когда ты, мама, здесь, то я твердо знаю, что

ты здесь… Я дотрагиваюсь до тебя, чувствую тебя. Побудь тут еще немного.

Она сказала ему, что нужно спать, что ее ждет дядя Ксавье. Она уверила сына, что он находится в состоянии благодати: она знает все, что касается ее маленького мальчика. Он стал успокаиваться; рыдания еще сотрясали его, но все реже и реже. Госпожа Фронтенак на цыпочках удалилась.

II

Когда она вернулась в комнату, Ксавье Фронтенак вздрогнул:

— Я, кажется, заснул… Эти прогулки по владениям немного меня утомляют…

— Кого вам упрекать, как не самого себя? — неприветливо ответила Бланш. — Зачем жить в Ангулеме, вдали от вашей семьи? После смерти Мишеля вы вполне могли бы продать свою контору. Было бы вполне естественно, если бы вы вернулись жить в Бордо и заняли бы его место в фирме, производящей дубовые клепки… Я знаю, что большая часть акций принадлежит нам, но ведь вся власть у компаньона Мишеля… Я не отрицаю, что этот Дюссель человек хороший, тем не менее из-за вас моим детям будет труднее

занять в фирме подобающее место.

По мере того как Бланш говорила, она сама все сильнее ощущала несправедливость своих упреков и даже начала удивляться молчанию Ксавье: тот не протестовал, а только слушал, опустив голову, словно она разбередила у своего деверя какую-то тайную рану. А ведь ему для защиты достаточно было произнести всего лишь одно слово: после смерти Фронтенака-отца, последовавшей за смертью его сына Мишеля, Ксавье отказался от своей части владений в пользу детей. Бланш сначала было подумала, что он сделал это, дабы не обременять себя заботой о них, но он, напротив, предложил управлять виноградниками, которые больше ему не принадлежали, и делал все, защищая интересы своих племянников. Раз в две недели, по пятницам, в любую погоду он в три часа выезжал из Ангулема и, добравшись до Бордо, садился на поезд до Лангона. Там он выходил, и около вокзала его уже ждала, в зависимости от погоды, закрытая или открытая коляска.

В двух километрах от этого городка, по общенациональной государственной дороге, на подступах к Преньяку, коляска въезжала в ворота, и Ксавье вдыхал знакомую горечь старых самшитовых кустов. Два флигеля, построен-

ных прадедом, портили вид старинной обители XVIII века, где сменилось несколько поколений Фронтенаков. Он поднимался по закругленному крыльцу, его шаги гулко отдавались по плитам, он ощущал запах отсыревшей за зиму старой кретоновой обивки. Несмотря на то, что родители умерли вслед за старшим сыном, дом был по-прежнему жилым. Одно из садовых помещений, как и раньше, занимал садовник. Кучер, кухарка, горничная оставались на службе у тетки Фелисии, младшей сестры отца Ксавье, слабоумной от рождения (по слухам, врач при ее рождении слишком сильно сжал акушерские щипцы). Ксавье прежде всего отправлялся искать тетку, которая в теплое время года обычно сидела под навесом, а зимой дремала у печки, на кухне. Его не пугали ни закатившиеся глаза, под покрасневшими веками которых были видны только покрытые прожилками белки, ни перекошенный рот, ни пух вокруг подбородка, словно у подростка. Он с нежной почтительностью целовал ее в лоб, ведь это чудище звали Фелисией Фронтенак. Она носила фамилию Фронтенак и была родной сестрой его отца, единственной оставшейся в живых. И когда звонок звал к ужину, он шел к слабоумной и, взяв ее под руку, вел в столовую,

усаживал напротив себя, повязывал вокруг шеи салфетку. Видел ли он вываливавшуюся из этого уродливого рта пищу? Слышал ли он, как она рыгает? Когда трапеза заканчивалась, он все так же церемонно отводил ее назад, перепоручая заботам старой Жанетты.

Потом Ксавье шел во флигель, откуда открывался вид на реку и на холмы, в ту огромную комнату, где они с Мишелем жили много лет. Зимой там топили с утра до вечера. В теплое время года оба окна открывали, и он смотрел на виноградники, на луга. Прерывалась трель в развесистой катальпе[3], издавна облюбованной соловьями… Мишель подростком вставал, чтобы послушать их. Ксавье вновь видел длинную белую фигуру, склонившуюся над садом. Он кричит ему: «Мишель, ложись в постель! Это же глупо, ты простудишься». В течение всего нескольких дней и ночей цветущий виноградник пах резедой… Ксавье открывает томик Бальзака, хочет прогнать наваждение. Книга выскальзывает у него из рук, он думает о Мишеле и плачет.

Утром, с восьми часов, его уже ждала коляска, и он до самого вечера посещал владения своих пле-

[3] Примечания: 3

Деревья или кустарники семейства бигониевые с красивыми цветами.

мянников. Из Серне, с осушенных территорий, где делали дешевое красное вино, он направлялся в Респид, что в окрестностях Сен-Круа-дю-Мон, где вино получалось такое же хорошее, как в Сотерне; потом ехал в Куамер, по дороге в Кастельжалу: там стада коров доставляли одни огорчения.

Везде нужно было проверять, изучать счета, распознавать хитрости и уловки крестьян, что было бы намного труднее без анонимных писем, которые Ксавье Фронтенак каждую неделю обнаруживал в своей почте. Проведя в борьбе за интересы племянников весь день, он возвращался настолько усталым, что после легкого ужина сразу ложился в постель. Ему казалось, что он хочет спать, но сон не шел: затухающий огонь в камине вдруг оживал и ярко освещал пол и красное дерево кресел, а весной пел соловей, которого слушала тень Мишеля.

На следующий день, в воскресенье, Ксавье вставал поздно, надевал накрахмаленную сорочку, брюки в полоску, пиджак из драпа или альпака, ботинки на пуговицах с удлиненными и заостренными носами, шляпу-котелок или канотье и шел на кладбище. Сторож приветствовал Ксавье еще издали. Все, что Ксавье мог сделать для своих покойников, он делал, обеспечивал

им с помощью чаевых заботу этого человека. Иногда его остроносые ботинки тонули в грязи, иногда покрывались серой пылью: кроты рыли освященную землю. Фронтенак живой снимал шляпу перед Фронтенаками, воротившимися во прах. Он стоял там, не в состоянии ни сказать, ни сделать что бы то ни было — похожий в этом на большинство своих современников, от самых знаменитых до самых безвестных, замурованных в своем материализме, в своем детерминизме, узник мира, куда более ограниченного, чем мир Аристотеля. И тем не менее он стоял там, держа свою шляпу-котелок в левой руке, а правой, чтобы казаться невозмутимым перед лицом смерти, срезая бутоны старого шиповника.

А днем пятичасовой экспресс увозил его в Бордо. Купив пирожные и конфеты, он звонил в дверь своей невестки. В коридоре слышался топот. Дети кричали: «Это дядя Ксавье!» Маленькие ручонки сражались за право отодвинуть задвижку на двери. Дети путались у него в ногах, вырывали из рук пакеты.

— Я прошу у вас прощения, Ксавье, — возобновляла разговор Бланш Фронтенак, приходя в себя. — Извините меня, я не всегда справляюсь со своими нервами… Вам не нужно напоминать

мне, какой у моих детей дядя…

Как обычно, он, казалось, не слышал ее или, скорее, не придавал никакого значения ее словам. Он ходил взад-вперед по комнате, взявшись руками за отвороты своего пиджака, и только шептал, округляя свои беспокойные глаза, что «когда не делаешь всего, то не делаешь ничего…» У Бланш снова появилась уверенность, что в разговоре она задела нечто, спрятанное в самой глубине его души. Она попыталась успокоить его, повторяя, что он вовсе не обязан жить в Бордо, если ему больше нравится Ангулем, и не обязан торговать клепочным лесом, если ему приятнее заниматься судопроизводством. Она добавила:

— Я ведь знаю, что ваша маленькая контора отнимает у вас не так уж и много времени…

Он снова кинул на нее тоскливый взгляд, словно опасаясь, что она проникнет в его тайну; она же все пыталась убедить его, но он только делал вид, что внимательно ее слушает. Она была бы так счастлива, если бы он доверился ей, но постоянно наталкивалась на стену. Даже о прошлом он никогда не говорил со своей невесткой, особенно о Мишеле. У него были свои воспоминания, и они принадлежали только ему одному. Эта мать, хранительница последних Фронтенаков, кото-

рую он и почитал в этом качестве, оставалась для него мадемуазель Арно-Мике, особой весьма достойной, но пришедшей извне. Она замолчала, разочарованная, чувствуя вновь поднимающееся раздражение. Не собирается он идти спать? Он сел, опершись локтями о свои худые колени, и принялся ворошить кочергой угли, не обращая на нее никакого внимания, словно был в комнате один.

— Кстати, — внезапно произнес он, — Жанетта требует отрез ткани: тете Фелисии нужно платье для холодной погоды.

— А! — протянула Бланш. — Тетя Фелисия! — И подталкиваемая неведомо каким бесом, добавила: — О ней нам нужно поговорить серьезно.

Ну вот, наконец-то она привлекла его внимание! Круглые глаза смотрели прямо в ее глаза. Какую волну всколыхнет эта обидчивая женщина, всегда готовая к нападению?

— Согласитесь, нет никакого смысла оплачивать трех слуг и садовника, которые обслуживают одну бедную слабоумную женщину. В приюте за ней и ухаживали бы, и следили гораздо лучше…

— Тетю Фелисию в приют?

Ей удалось вывести его из себя. Красные прожилки у него на лице стали фиолетовыми.

— Пока я жив, — закричал он пронзительным голосом, — тетя Фелисия не покинет наш семейный очаг! Воля моего отца никогда не будет нарушена. Он никогда не расставался со своей сестрой…

— Но послушайте! Он уезжал из Преньяка по делам в понедельник и возвращался только в субботу вечером. А ваша бедная матушка, совсем одна, должна была терпеть тетю Фелисию.

— Она делала это с радостью… Вы не знаете обычаев моей семьи… у нее даже и вопроса не возникало… Это была сестра ее мужа…

— Это вы так думаете… но мне-то она признавалась, бедная женщина; она рассказывала мне про эти годы одиночества наедине с душевнобольной…

Ксавье, разъяренный, закричал:

— Я никогда не поверю, что она жаловалась, а главное, что она жаловалась вам!

— Это потому, что моя свекровь приняла меня, она любила меня и не считала чужой.

— Давайте не будем трогать моих родителей! — сухо отрезал он. — В доме Фронтенаков никогда не считали деньги, когда речь шла о выполнении семейного долга. Если вы находите чрезмерным нести половину расходов по содержанию дома

в Преньяке, я согласен взять все на себя. Кстати, вы забываете, что тетя Фелисия имела право на часть наследства моего деда, которую мои родители во время разделов никогда не принимали во внимание. Моему отцу даже в голову не приходило беспокоиться о законе…

Бланш, задетая за живое, не стала больше сдерживаться и сказала то, о чем думала с самого начала спора:

— Хотя я и не Фронтенак, я считаю, что мои дети должны участвовать в содержании своей двоюродной бабушки и даже обеспечивать ей до смешного дорогостоящий уровень жизни, которым она не в состоянии пользоваться. Я не возражаю, раз такова ваша фанаберия. Но вот чего я никогда не допущу, так это того, — добавила она, повышая голос, — чтобы они стали жертвами этой вашей фанаберии, того, чтобы из-за вас они оказались несчастными…

Для большего эффекта она сделала паузу; он все еще не понимал, к чему она клонит.

— А вы не боитесь, что у людей появятся какие-нибудь свои мысли об этой больной, не боитесь, что ее могут принять за сумасшедшую?

— Ну что вы! Ведь всем же известно, что бедной женщине повредили череп щипцами.

— Это всем было известно в Преньяке между 1840-м и 1860-м годом. Но не думаете же вы, что теперешние поколения жили в те времена… Нет, мой дорогой, наберитесь храбрости и подойдите к делу со всей ответственностью. Вы настаиваете на том, чтобы тетя Фелисия жила в имении своих предков, где, кстати, она не покидает кухни, чтобы ее обслуживали три человека, за которыми никто не следит и которые, может быть, заставляют ее страдать… Но за все это заплатят дети вашего брата, когда наступит пора жениться и выходить замуж, а перед ними захлопнутся все двери…

Она добилась победы и даже испугалась ее. Ксавье Фронтенак, казалось, был сражен наповал. Конечно, беспокойство Бланш не было наигранным. Она давно начала размышлять об опасности, которую может представлять тетя Фелисия для детей. Однако опасность маячила где-то в будущем, она преувеличила… Ксавье с его неизменной чистосердечностью капитулировал.

— Об этом я никогда не думал, — вздохнул он. — Бедная моя Бланш, я забываю обо всем, когда речь заходит о детях.

Он ходил туда-сюда по комнате, приволакивая ноги. Злость у Бланш мгновенно пропала, и она

уже упрекала себя за одержанную победу. Она сказала, что все еще можно исправить. В Бордо никто не знает о существовании тети Фелисии, да и жить она будет не вечно, а воспоминание о ней быстро сотрется. Но Ксавье был по-прежнему мрачен, и она добавила:

— К тому же многие считают, что она впала в детство: это самое распространенное мнение. Я сомневаюсь, чтобы ее когда-нибудь принимали за настоящую сумасшедшую, но такое может случиться… Я говорю лишь о том, что надо предотвратить потенциальную опасность… Не сокрушайтесь так, мой бедный друг. Вы же знаете, меня порой заносит, и я начинаю все преувеличивать… Такой уж у меня характер.

Она слышала короткое дыхание Ксавье. «Его отец и мать, — подумалось ей, — умерли от болезни сердца. Я могла бы убить его». Он снова присел к камину и застыл, опустив плечи. Она собралась с мыслями, закрыла глаза: опущенные темные веки смягчили горестное выражение ее лица. Ксавье не сомневался, что сидящая рядом с ним женщина ругает, казнит себя за то, что не умеет держать себя в руках. Тишину нарушило неразборчивое бормотание кого-то из детей. Ксавье сказал, что пора спать, что он подумает над

ее словами. Она стала уверять его, что у них еще достаточно времени, чтобы прийти к какому-нибудь решению.

— Нет, мы должны действовать быстро, ведь речь идет о детях.

— Вы слишком изводите себя заботами, — с горячностью заметила она. — Несмотря на все мои упреки, в мире нет дяди, которого можно было бы поставить рядом с вами…

Он сделал жест, возможно, означавший: «Вы же не знаете…» Да, он в чем-то упрекал себя, но у нее не было ни малейшего представления, что это могло быть.

Несколькими минутами позже, опустившись на колени для вечерней молитвы, она тщетно пыталась сосредоточиться на привычном общении с Богом. Во время следующего визита Ксавье она попытается узнать чуть побольше; это будет трудно, потому что он не очень-то раскрывается, и перед ней еще меньше, чем перед кем-либо другим. Невозможно настроиться на молитву, хотя уже давно пора бы спать, ведь ей завтра вставать в шесть часов, чтобы заставить поработать Жозе, младшего, во всем и всегда последнего в классе, так же, как Жан-Луи был во всем первым… Он не менее умный и восприимчивый, чем двое других,

этот Жозе, но обладает удивительным свойством отключаться, не слышать — один из тех детей, до которых слова не доходят, у которых просто необыкновенная способность витать в облаках. Когда взрослые смотрят на таких, они видят только лишенную энергии телесную оболочку над разорванными учебниками и перепачканными тетрадями. А их пылкий дух витает в это время где-то очень далеко, в высоких травах Троицына дня, на берегу ручья, в поисках раков. Бланш знала, что три четверти часа она потратит на то, чтобы привести в чувство этого сонного мальчишку, лишенного восприятия, мысли и даже жизни, как оставленная бабочкой куколка.

Проводив детей, сядет ли она завтракать? Да, она позавтракает: голодать не имеет смысла… После того, как она себя вела сегодня по отношению к своему деверю, разве осмелится она причащаться? Нужно будет зайти в Сосьете-Женераль. У нее там встреча с архитектором по поводу здания на улице Сен-Катрин. Надо выкроить время, чтобы сходить к своим беднякам. В магазине у Потена организовать посылку бакалейных товаров семье Ропенти. «Я люблю заниматься благотворительностью…» Вечером, после ужина, уложив детей, она сходит к матери. Сестра с мужем тоже будут

там. Может быть, тетя Адила или аббат Мелон, первый викарий… Женщины, которых любят… Ей не нужно было выбирать… Со всеми ее детьми на ней бы еще женились ради ее состояния… Нет, она знала, что еще может нравиться… Не думать об этом… А может быть, она уже начала думать? Главное, не надо никаких сомнений и сожалений. Она не может лишить своих детей малейшей части самой себя; здесь нет никакой ее заслуги, так уж она устроена… Эта убежденность, что им пришлось бы заплатить за малейшее зло, которое она могла бы причинить… Она понимала, что эта идея нелепа. Навеки прикована к детям. Она страдала от этого. «Конченая женщина… я конченая женщина…» Она приложила руки к глазам, провела ими по щекам. «Надо, пожалуй, зайти к дантисту…»

Послышался жалобный голос: опять Ив! Она на цыпочках вошла в его комнату. Он спал беспокойным сном, сбросив с себя одеяла. С кровати свисала худая загорелая нога. Она накрыла его одеялом, подоткнула его, когда сын повернулся к стене, бормоча во сне какие-то невнятные жалобы. Дотронулась до его лба, до шеи, проверяя, нет ли у него температуры.

III

Каждые две недели дядя Ксавье, как всегда, появлялся у них, а его невестка не продвинулась ни на шаг в раскрытии его секрета. Он возвращался к детям, как выходной в первый четверг месяца, как еженедельное причастие, как контрольная работа и объявление отметок по пятницам; он был созвездием на детском небе, был столь надежно отлаженным механизмом, что, казалось, в нем нельзя было даже предположить что-либо необычное. Бланш готова была подумать, что ей просто что-то пригрезилось, если бы молчание дяди, его сосредоточенный вид, хождения взад-вперед, его обращенный куда-то внутрь себя взгляд, если бы его круглое лицо, хмурое от владевшей им навязчивой идеи, не напомнили ей те времена, когда она сама переживала внутренний кризис. Да, эта христианка различала сейчас у этого равнодушного к вере человека признаки недуга, от которого ее избавил отец Ноле. Она разбиралась в этих вещах, и ей хотелось бы его успокоить. Однако ей не за что было зацепиться. Хорошо хоть, на нее снизошла казавшаяся ей незаслуженной благодать, помогавшая ей не

раздражаться и реже искать с ним ссор. Замечал ли он эти усилия Бланш? Она, еще недавно столь ревниво относящаяся к собственному авторитету у детей, стала советоваться с ним во всем, что их касалось. Не возражает ли он, если она купит верховую лошадь Жану-Луи, который в школе считается лучшим наездником? Нужно ли заставлять Ива брать уроки верховой езды при его боязни лошадей? Не определить ли Жозе в какой-нибудь пансион?

Уже не нужно было разводить огонь в камине, зажигать лампу. Темным оставался только коридор, по которому за несколько минут до ужина прогуливалась, читая свою молитву и перебирая четки, Бланш, а за ней — Ив, державшийся двумя пальцами за ее платье и весь погруженный в от всех скрываемые мечты о славе. Кричали стрижи. Не было слышно друг друга из-за конки, грохотавшей по Эльзасской улице. Доносившиеся из порта гудки делали его более близким. Бланш говорила, что с наступлением жары дети глупеют. Они изобретали какие-то нелепые игры, например, задерживались в столовой после десерта, или надевали себе на головы столовые салфетки, или прятались в каком-нибудь закутке и терлись друг о друга носами, называя это игрой в «общину».

В одну из июньских суббот, когда Бланш уже и думать перестала о тайне Ксавье, она вдруг открылась ей, причем путем совершенно неожиданным. Уложив детей, она спустилась, как обычно, к матери. Пройдя через пахнущую клубникой столовую с не убранным еще столом, она толкнула дверь маленькой гостиной. Госпожа Арно-Мике заполняла собой все кожаное кресло. Она притянула к себе дочь, поцеловала ее по своему обыкновению почти что алчно. На балконе Бланш заметила своего шурина, Альфреда Коссада, и свою сестру, а также внушительную фигуру тети Адилы, невестки госпожи Арно-Мике. Они смеялись, громко разговаривали, и соседи могли бы различить каждое их слово, если бы вокруг не стоял адский шум. На улице группа парней подхватывала припев:

И сказал солдату мальчик:
«Не стреляй-ка, часовой! (два раза)
Ведь из Франции та птичка
Прилетела к нам с тобой».

Тетя Адила заметила ее.
— Это Бланш! Привет, моя миленькая.
Коссад закричал, перекрывая шум трамвая:

— А я ждал вас… у меня такая для вас новость… Держитесь крепче! Угадайте.

— Перестань, Альфред, — вмешалась его жена, — она не сможет угадать.

— Так вот, моя дорогая, вчера я защищал в суде в Ангулеме и там узнал, что господин Ксавье Фронтенак на виду и на слуху у всего города содержит некую дамочку… Каково? Что вы думаете об этом?

Жена перебила его, а то еще испугает Бланш, она подумает невесть что…

— О! Что касается этого, то нет, успокойтесь: племянников он не разоряет, похоже, что бедняжка не каждый день досыта ест…

Бланш сухо прервала его: на этот счет она была спокойна. К тому же частная жизнь Ксавье Фронтенака никого здесь не касается.

— Я же тебе говорила, она уже начинает заводиться.

— Она сама любит ругать его, но другим не позволяет его трогать.

Бланш стала возражать, сказала, что она вовсе не заводится. Поскольку, на его несчастье, Ксавье неверующий, она не видит, что могло бы его удержать. Голоса теперь звучали не так громко. Альфред Коссад, желая успокоить свою свояче-

ницу, рассказал, что Ксавье Фронтенак стал в Ангулеме притчей во языцех, что его жмотство по отношению к своей подруге вызывает насмешки. Так что Бланш может спать спокойно. Он даже не позволил несчастной бросить свое ремесло белошвейки-надомницы. Обставил ее жилье кое-какой мебелью, платит за квартиру, и это все. Из-за этого над ним открыто смеются... Альфред, озадаченный, прервал свой рассказ: Бланш, не боявшаяся неожиданных развязок, сложив свое рукоделие, встала. Она поцеловала госпожу Арно-Мике и, не говоря ни слова, покинула своих озадаченных родственников. Дух Фронтенаков уже успел овладеть всем ее существом. Она была потрясена случившимся и, дрожа, как пифия, поднялась на свой этаж и долго не могла трясущейся рукой всунуть ключ в замочную скважину.

Поскольку она вернулась к себе на два часа раньше обычного, было еще светло, и все три сына находились у нее в комнате, где они, сидя в ночных рубашках на корточках у подоконников, занимались тем, что плевали на камень и потом терли о него косточкой абрикоса: нужно было протереть косточку с обеих сторон до такой степени, чтобы можно было проделать в ней дырочки. После этого иголкой извлекалось

оттуда ядро. Таким способом у самых терпеливых получался свисток, который, впрочем, не свистел и который, рано или поздно, они проглатывали. Мальчики, удивленные, что их почти не ругали, убежали, как кролики. Бланш Фронтенак думала о Ксавье: хотя она и старалась не поддаваться своим чувствам, он казался ей теперь более человечным, более доступным. Она увидит его завтра вечером: это было как раз то воскресенье, когда он должен был заехать к ним. Она представила себе, как он в этот час сидит один в большом и мертвом преньякском доме…

А Ксавье Фронтенак в тот же самый час сначала присел ненадолго под навесом, но поскольку перед этим он перегрелся на виноградниках, то почти тут же встал, опасаясь простуды. Он походил немного по вестибюлю, потом решил подняться наверх. Этих июньских вечеров, «вечеров Мишеля», он боялся больше, чем зимних дождливых ночей, когда горящий в камине огонь вызывал у него желание взять в руки книгу. Когда-то Ксавье смеялся над Мишелем из-за его мании цитировать при каждом удобном случае стихи Гюго. Сам Ксавье терпеть не мог стихов. Однако сейчас кое-какие строки, сохранившие интонацию дорогого голоса, всплывали у него

в памяти. Нужно бы отыскать их, чтобы вновь услышать глухой, монотонный голос брата. И вот в этот вечер, стоя у распахнутого над невидимой рекой окна, Ксавье читал, меняя тон, словно отыскивал нужную ноту, нужный аккорд: «*Природа, ясная челом, как вы ее забыли!*» С лугов все неслись пронзительные звуки: кваканье лягушек, лай собак, чей-то смех. И ангулемский стряпчий, стоя у окна, повторял, словно кто-то подсказывал ему слова: «*Едва далекая телега проследует в тени, послушай... Заснуло все, и древо у дороги... Стряхнуло пыль, им собранную днем...*»

Он повернулся спиной к окну, зажег дешевенькую сигару и стал по своему обыкновению медленно ходить по комнате, спотыкаясь, так как штанины постоянно попадали в задники домашних туфель. Мучаясь обычными угрызениями совести, он повторял себе, что предает Мишеля в лице его детей. Он встретил эту уже тогда слегка увядшую девушку, когда дописывал в Бордо свою докторскую диссертацию. Она была немного моложе его, и его потянуло к ней, он сам даже не понимал почему. Чтобы понять это, нужно было бы разобраться в природе его застенчивости, фобий, несостоятельности, тревожных навязчивых мыслей. Добрая женщина,

по-матерински заботливая, не смеявшаяся над ним, — в этом, возможно, был секрет ее привлекательности. Ксавье, даже при жизни Мишеля, переживал по поводу этой не совсем нормальной ситуации. Фронтенакам традиционно была свойственна определенная строгость нравов, но не религиозная, а республиканско-крестьянская. Ни дед, ни отец Ксавье не терпели даже намека на скабрезность, и официально не оформленная связь дяди Пелуера, старого холостяка и брата госпожи Фронтенак, от которого семья получила в наследство ландское[4] имение, постоянно скандализировала родственников. Рассказывали, что он принимал у себя в Буриде, в том самом доме, где умерли его родители, эту девицу, и что она имела наглость показываться в одиннадцать часов дня на пороге, в розовом пеньюаре, в надетых на босу ногу домашних туфлях и с болтающейся за спиной косой. Дядя Пелуер умер в Бордо у этой девицы, как раз когда специально приехал туда, чтобы составить завещание в ее пользу. Ксавье было очень неприятно думать, что он идет по

[4] Примечания: 4

Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100–150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7–8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

его стопам и, вовсе того не желая, следует примеру старого развратника. Ах! Лишь бы семья не узнала, хоть бы этот позор не обнаружился! Испытываемый им страх подсказал ему купить нотариальную контору недалеко от Бордо: он полагал, что это спасет его от сплетен в Ангулеме.

После кончины Мишеля семья не позволила ему погрузиться в свое горе. Его родители, которые тогда еще были живы, вместе с Бланш извлекли его из овладевшего им отупения и сообщили ему, как нечто «само собой разумеющееся», решение семьи: он должен продать контору, переехать из Ангулема в Бордо и занять место Мишеля в фирме, занимающейся поставками дуба для клепки. Ксавье тщетно пытался убедить их, что он ничего не понимает в этом деле: его заверяли, что Артур Дюссоль, их компаньон, ему поможет. Он тем не менее яростно отбивался: отказаться от Жозефы? Это было выше его сил. Поселить ее в Бордо? Не прошло бы и недели, как незаконная связь стала бы достоянием гласности. Он встретил бы на улице Бланш, детей, идя под руку с этой женщиной… Он бледнел от одной только мысли об этом. Теперь, когда он стал опекуном своих племянников, было важно, как никогда, скрывать, маскировать этот позор. В

конце концов, интересы детей вроде бы отнюдь не страдали оттого, что дела фирмы вел Дюссоль: ведь большая часть акций по-прежнему оставалась у Фронтенаков. Для Ксавье важно было только одно: чтобы никакие детали его частной жизни не вышли наружу. Он выстоял, впервые в жизни не склонившись перед волей отца, над которым смерть уже занесла свою руку.

Уладив наконец дела, Ксавье, однако, не обрел покоя. Он не мог смиренно предаваться своему горю; угрызения совести мучили его тогда, продолжали мучить его и сейчас, в этот самый вечер, заставляя ходить взад-вперед по их детской комнате, между кроватью, где спал он сам, и кроватью, где воображение рисовало ему спящего Мишеля. Имение должно достаться детям Мишеля, и взять из него хотя бы один франк, в его представлении значило бы обокрасть Фронтенаков. А между тем он обещал Жозефе в течение десяти лет первого января класть на ее имя десять тысяч франков, после чего она, по их договоренности, не имела права ждать от Ксавье чего бы то ни было еще, не считая — пока он будет жив — платы за квартиру и трехсот франков ежемесячно. Ограничивая себя во всем (его скопидомство смешило весь Ангулем), Ксавье

накапливал за год двадцать пять тысяч, но из этой суммы только пятнадцать тысяч шло его племянникам. Он постоянно повторял себе, что обкрадывает их на десять тысяч, не говоря уже о том, что он тратил на Жозефу. Да, конечно, он уступил им свою часть наследства, так что мог теперь распоряжаться своими доходами, как ему вздумается. Однако он знал некий смутный тайный закон, закон Фронтенаков, единственный, который имел над ним власть. Старый холостяк, ставший хранителем имения, он управлял им ради вот этих святых для него существ, родившихся от Мишеля и разделивших между собой черты брата: у Жана-Луи от него темные глаза, у Даниэль — такая же, как у него, черная родинка у левого уха, а у Ива — нависающее веко.

Иногда он усыплял свои угрызения совести и больше не думал о них. Но его никогда не покидало стремление спрятаться. Ему хотелось умереть раньше, чем семья заподозрит правду о его личной жизни. Он и не подозревал, что в тот же вечер, буквально в тот же час, Бланш лежала с открытыми глазами в большой украшенной колоннами кровати, на которой скончался его брат, лежала в душной темноте бордоской ночи и думала о нем, принимая на себя весьма странную

обязанность: даже если дети потеряют на этом целое состояние, она подтолкнет своего деверя к браку. Не мешать Ксавье в его намерениях узаконить свои отношения было бы недостаточно; следовало всеми способами подтолкнуть его к этому. Да, вот это героическая задача! А кстати… Завтра же она постарается навести разговор на эту щекотливую тему, она предпримет атаку на него.

Он не дал ей такой возможности. За ужином Бланш воспользовалась каким-то замечанием Жана-Луи и заявила, что дядя Ксавье еще может завести семью, иметь детей: «Надеюсь, он еще не отказался от этого…» Он увидел в ее реплике лишь остроумную шутку, поддержал ее игру и, вновь обретя на миг былой задор, к превеликой радости детворы описал свою воображаемую невесту.

Когда дети легли спать, а Бланш с деверем стояли у раскрытого окна, облокотившись на подоконник, она произнесла, с большим трудом преодолевая собственное смущение:

— Я говорила серьезно, Ксавье, и хочу, чтобы вы знали: я была бы искренне рада узнать, что вы решились на брак, когда бы это ни случилось…

Он ответил сухо, обрывая разговор, что никогда

не женится. Впрочем, это замечание невестки не насторожило его, так как мысль о браке с Жозефой в его голове даже не возникала. Дать фамилию Фронтенак женщине, почти ничего собой не представляющей, работающей на кого-то, ввести ее в дом своих родителей, а главное, представить ее жене Мишеля, детям Мишеля — такое святотатство просто немыслимо. Поэтому у него не возникло ни малейшего подозрения, что Бланш могла проникнуть в его секрет. Он отошел от окна раздраженный, но нисколько не обеспокоенный и, извинившись, удалился к себе в комнату.

IV

Неспешные годы детства текли, казалось, совершенно не оставляя места никаким случайностям, никаким неожиданным происшествиям. Каждый час был до краев наполнен трудом, учебой, полдниками, возвращением домой в омнибусе, стремительным бегом по лестнице, запахами ужина, лампой, «Таинственным островом», сном. Даже болезнь (ложный круп у Ива, легкая лихорадка у Жозе, скарлатина у Даниэль) находила свое место, включалась во взаимодействие со

всем остальным, несла в себе больше радостей, чем страданий, клала начало, служила ориентиром для воспоминаний: «в тот год, когда у тебя была лихорадка…» Сменявшие друг друга каникулы начинались ушедшими глубоко в землю колоннами сосен в Буриде, в очищенном теперь доме дяди Пелуера. И те же кузнечики встречали их своей песней. А может быть, другие? С виноградников из Респида прибывали корзины со сливами и персиками. Ничего не изменилось, только удлинились брюки у Жана-Луи и у Жозе. Бланш Фронтенак, еще недавно такая худая, полнела, беспокоилась о собственном здоровье, подозревала у себя рак и, измученная этой тревогой, размышляла, какая судьба ждет ее детей, когда ее не станет. Теперь уже не Ив цеплялся за нее, а она обнимала его, а он иногда сопротивлялся. Ей постоянно нужно было принимать лечебные настои до и после еды, ни на секунду не прерывая воспитания Даниэль и Мари. У малышек уже окончательно сформировались сильные ноги и широкие, низкие бедра. Две вполне созревшие миленькие девчушки, которые заглушали зов естества, кокетничая с сыновьями прачек и горничных.

В этом году пасхальные праздники начались

так рано, что дети Фронтенак отправились в Буриде уже в конце марта. Весна витала в воздухе, но оставалась невидимой. Одетые в сухие прошлогодние листья дубы казались погибшими. Кукушка уже звала в луга. Жан-Луи с «двадцать четвертым калибром» на плече воображал, что охотится на белок, хотя на самом деле он просто выслеживал весну. Весна присутствовала в зыбком свете зимнего дня, как человек, которого чувствуешь где-то совсем близко, но не видишь. Мальчику казалось, что он уже дышит ее дыханием, и вдруг все исчезало: оставался только холод. Предвечерний свет мимолетным движением ласкал стволы, отчего сосновая кора отсвечивала, словно ракушки, а клейкие раны деревьев ненадолго притягивали к себе солнце. Потом внезапно все гасло: западный ветер пригонял тяжелые, задевающие верхушки сосен тучи и извлекал из их темной толпы протяжные стоны.

Приближаясь к лугам, орошаемым Юром, Жан-Луи наконец увидел в одном месте весну: она вытянулась вдоль ручья, переливаясь клейкими, только что распустившимися почками ольхи. Подросток склонился над ручьем, чтобы увидеть длинные живые волосы мха. Волосы… а лицо, должно быть, давным-давно прикрыл морщи-

нистым песком поток текущей над ним пресной воды. Опять показалось солнце. Жан-Луи прислонился к ольхе и извлек из кармана школьное издание «Рассуждений о методе» Декарта[5] и на десять минут перестал видеть весну.

Его отвлек от чтения вид разрушенного препятствия, которое по его просьбе соорудили в августе для того, чтобы он мог тренировать свою кобылу Тампет. Нужно попросить Бюрта отремонтировать. Завтра утром он бы покатался… Он съездит в Леожа, увидит Мадлен Казавьей. Ветер изменил направление на восточное и принес запах деревни: скипидара, свежевыпеченного хлеба, дыма очагов, на которых готовилась скромная пища. Запах деревни был запахом хорошей погоды, и он наполнил сердце юноши радостью. На склоне, ограничивавшем поле с запада, белели подснежники. Жан-Луи поднялся на него, прошел вдоль недавно распаханной равнины и опять спустился к дубраве, которую пересекал Юр, прежде чем направить свои воды к мельнице; внезапно он остановился и с трудом удержался от смеха: на сосновом пне сидел какой-то странный маленький монашек в капюшоне, он держал в правой

[5] Примечания: 5

Декарт Рене (1596–1650) — французский философ, математик, физик, физиолог. Автор многих открытий в математике и естествознании.

руке школьную тетрадь и что-то монотонно бормотал. Это был Ив, который, надвинув на голову капюшон, сидел, выпрямившись, с таинственным видом, уверенный, что поблизости никого нет и что он пребывает в обществе ангелов. У Жана-Луи пропало желание смеяться, потому что всегда тягостно наблюдать за тем, кто об этом и не подозревает. Ему стало страшно, словно он вдруг наткнулся на какую-то запретную тайну. Он захотел было уйти, оставив младшего брата наедине с его заклинаниями. Однако всесильная в его возрасте страсть к подшучиванию вновь овладела им и направила его шаги к бедняге, который из-за опущенного капюшона ничего не слышал. Он спрятался за дубом на расстоянии полета камня от пня, на котором восседал Ив, но смысл его слов, относимых в сторону восточным ветром, Жан-Луи не мог понять. В два-три прыжка он подскочил к своей жертве и, прежде чем малыш успел закричать, выхватил у него тетрадь и помчался со всех ног в сторону парка.

Мы никогда не отдаем себе отчета в том, какую боль причиняем другим. Жан-Луи пришел бы в ужас, если бы увидел окаменелое выражение лица своего маленького брата, застывшего посреди поля. От отчаяния тот бросился на землю,

зарылся лицом в песок, желая заглушить собственные крики. То, что он писал втайне от всех, что принадлежало ему одному и оставалось секретом, разделяемым лишь с Богом, теперь станет предметом их насмешек, их издевательств… Он бросился бежать в сторону мельницы. Думал ли он в этот момент о шлюзе, где недавно утонул ребенок? Он, как это часто с ним бывало, скорее всего, думал лишь о том, чтобы бежать вперед, куда глаза глядят, и никогда не возвращаться домой. Но ему не хватало дыхания. Теперь он бежал совсем медленно из-за набившегося в ботинки песка, и оттого, что набожного ребенка всегда носят ангелы: «…потому что Всевышний приказал всем своим ангелам охранять тебя, куда бы ты ни пошел. Они понесут тебя на руках из страха, как бы твоя нога не ударилась о камень…» Внезапно ему в голову пришла утешительная мысль: никто, даже Жан-Луи не сможет расшифровать его тайнопись, еще менее разборчивую, чем каракули, которыми он писал в коллеже. А то, что они смогут прочитать, покажется им невразумительным. Так что нечего и волноваться: что смогут они понять в этом языке, если даже он сам не всегда находил к нему ключ? Песчаная дорога подошла к мосту, ко входу на мельницу.

Дыхание степей заглушало их запах. Уже наступили сумерки, а старое сердце мельницы все продолжало биться. В окне конюшни показалась голова лошади с всклокоченной гривой. Бедные низенькие домишки с дымящимися трубами, ручей, поля составляли вместе зеленый, наполненный водой и жизнью уголок, который со всех сторон окружали старые сосны. У Ива заработала фантазия: в такой час тайну мельницы нарушать нельзя. И он повернул обратно. Первый удар колокола возвестил о том, что уже пора идти ужинать. Лесную тишину прорезал резкий крик пастуха. Запах грязной шерсти и овечьего пота волной окатил Ива; он слышал овец, не видя их. Пастух не ответил на его приветствие. На повороте аллеи, где рос большой дуб, его поджидал, держа в руке тетрадь, Жан-Луи. Ив остановился в нерешительности. В стороне Уртина в последний раз подала голос кукушка. Братья стояли неподвижно в нескольких шагах друг от друга. Жан-Луи первым сделал шаг и спросил:

— Ты на меня не сердишься?

Ив никогда не мог устоять ни перед нежным словом, ни даже перед более мягкой, чем обычно, интонацией. Жан-Луи часто был резок с ним; он то и дело бранился, говоря, что «его нужно встря-

хивать», и особенно выводило Ива из себя, когда он начинал: «Вот когда ты пойдешь в армию…» Однако сейчас он стоял и повторял:

— Ну скажи, ты на меня не сердишься?

Мальчик не смог ответить, а только обнял брата одной рукой за шею. Тот высвободился, но не резко.

— Так вот, — сказал он, — ты знаешь, это очень красиво.

Мальчик поднял голову и спросил, о чем он говорит.

— О том, что ты написал… это даже более чем красиво, — с пылом добавил он.

Они шли рядом по еще светлой аллее, между черными соснами.

— Жан-Луи, ты это нарочно так говоришь, ты смеешься надо мной?

Они не слышали второго удара колокола. На крыльце появилась госпожа Фронтенак и закричала:

— Дети!

— Послушай, Ив, сейчас, после ужина, мы прогуляемся по парку и поговорим. А пока вот, держи свою тетрадь.

За столом Жозе, которому мать все время делала замечания, что он плохо сидит, слишком жадно

ест и не моет руки перед едой, рассказывал, как он ездил по окрестностям с Бюртом: поверенный учил мальчика определять границы владений. У Жозе не было иного желания как стать «потомственным крестьянином», но он уже начал терять надежду, что когда-нибудь научится находить межевые знаки. Бюрт считал сосны в каком-нибудь ряду, раздвигал утесники, вдруг начинал рыть землю, и обнаруживался погребенный под ней камень, положенный несколько веков назад предками-пастухами. Эти хранители права, засыпанные почвой, но неизменно оказывающиеся там, где им положено было быть, вероятно, внушали Жозе что-то вроде религиозного чувства, дремлющего в сокровенных глубинах рода. А Ив забывал есть, украдкой бросая взгляды на Жана-Луи, и тоже думал об этих межевых знаках: они оживали у него в сердце, они проникали в таинственный мир, извлекаемый его поэтическим воображением из мрака.

Они попытались выйти незаметно. Однако мать увидела их:

— С ручья тянет сыростью… Вы хотя бы накидки свои не забыли? Главное — не останавливайтесь.

Луна еще не взошла. От студеного ручья и с

полей веяло зимой. Братья не сразу нашли аллею, но вскоре их глаза привыкли к темноте. Безукоризненно стройные сосны приближали звезды: они садились на очерченные черными вершинами лужицы неба, плавали в них. Ив шагал с таким ощущением, словно освободился от тяжелой ноши, словно, благодаря старшему брату, он избавился от камня, лежавшего грузом на душе. Семнадцатилетний брат говорил короткими сбивчивыми фразами. Он опасался, как он выразился, лишить Ива непосредственности. Он боялся замутить источник. Но Ив успокоил его: это от него не зависит, вначале это похоже на поток лавы, которым невозможно управлять. А потом он много работает над этой остывшей лавой, без колебаний убирает прилагательные, разный мелкий строительный мусор, который удается заметить. Уверенность мальчика передалась Жану-Луи. Сколько Иву лет? Только что пошел пятнадцатый год… Переживет ли гений детство?..

— Скажи, Жан-Луи, что тебе больше всего понравилось?

Это был уже вопрос автора: только что родился автор.

— Как здесь выбрать? Мне нравится, когда сос-

ны избавляют тебя от страданий и кровоточат вместо тебя, и когда ты представляешь, как ночью они слабеют и плачут, но эта жалоба исходит не от них: это дыхание моря меж их сдвинутых вершин. О! Особенно то место…

— Вот, — сказал Ив, — луна…

Им и в голову не приходило, что когда-то мартовским вечером, в 1867-м или в 1868 году, Мишель и Ксавье Фронтенак гуляли по этой же аллее. Ксавье тоже сказал: «луна…», и Мишель процитировал строчку стихотворения: «*Она встает, бросая длинный спящий луч…*» Юр струился тогда в такой же тишине. Тридцать лет спустя в нем текла другая вода, но сверкала она так же, и под этими соснами была другая любовь — та же самая любовь.

— Стоит ли их кому-нибудь показать? — спросил Жан-Луи. — Я подумал об аббате Пакиньоне (это был его преподаватель риторики, к которому он относился с восхищением и глубоким почтением). Хотя я боюсь, что даже он не поймет: он скажет, что это не стихи… Это не похоже ни на что из того, что я когда-либо читал. Тебя смутят, ты захочешь исправиться… В общем, мне надо подумать.

Ив испытывал чувство абсолютного доверия.

Мнения Жана-Луи ему было достаточно; он полагался на старшего брата. И вдруг ему стало стыдно оттого, что они говорили только о его стихотворениях.

— А ты, Жан-Луи? Ты ведь не станешь лесоторговцем? Ты ведь не поддашься?

— Я решил поступать в педагогический институт: Эколь Нормаль[6]... а потом кандидатский экзамен по философии... да, по философии... Не мама ли там, в аллее?

Госпожа Фронтенак испугалась, как бы Ив не простудился, и принесла ему пальто. Она встретила их и, взяв под руки обоих сыновей, сказала:

— Мне становится тяжело ходить. Ты точно не кашлял? Жан-Луи, ты не слышал — он кашлял?

Шум их шагов разбудил девочек, дремавших в комнате первого этажа. Лампа из бильярдной ослепила их, и они моргали глазами.

Раздеваясь, Ив смотрел на луну над неподвижными сосредоточенными соснами. Сейчас не

---

[6] Примечания: 6

Высшая нормальная (педагогическая) школа *(фр. Ecole normale superieure)* — французское государственное учреждение в сфере высшего образования во Франции в подчинении министерства высшего образования и научных исследований Франции, одно из самых престижных высших учебных заведений Франции, для поступления в которое необходимо по окончании лицея проучиться несколько лет в специальных подготовительных классах, чтобы затем пройти строгий конкурсный отбор.

было соловья, которого в таком же возрасте слушал его отец, склонившись над преньякским садом. Но, может быть, у этой вот совы, сидящей на засохшей ветке, голос более чистый.

V

Ив не удивился тому, что на следующий день старший брат опять стал обращаться с ним в обычной своей немного грубоватой манере, словно у них не было никакого секрета. Странной казалась скорее сцена, произошедшая накануне; так как, хотя братья и были связаны корнями, как два отростка на одном и том же пне, у них не было привычки откровенничать друг с другом: такова самая немая из любовей.

В последний день каникул Жан-Луи заставил Ива сесть на Тампет, и кобыла, как обычно, едва почувствовав, что ее бока сжимают ноги охваченного ужасом седока, пустилась в галоп. Ив, забыв всякий стыд, вцепился в луку седла. Жан-Луи, пробежав наперерез через сосны, встал посреди аллеи с распростертыми руками. Кобыла резко остановилась. Ив, описав параболу, приземлился на песок, а брат заявил: «Так ты недотепой всю жизнь и останешься».

Однако вовсе не это расстраивало мальчика. Хотя он и не признавался себе в этом, ему было неприятно одно: Жан-Луи продолжал свои визиты в Леожа, к приходившимся им родственниками Казавьей. И в семье, и в деревне ни для кого не составляло тайны, что для Жана-Луи все окрестные песчаные дороги вели в Леожа. Когда-то раздел наследства поссорил семьи Леожа и Фронтенаков. После смерти госпожи Казавьей они помирились, но, как говорила Бланш: «теплых чувств между ними никогда не было, не было…» Тем не менее она каждый первый четверг месяца вывозила в свет Мадлену Казавьей, которая заканчивала обучение в монастыре Святого Сердца уже тогда, когда Даниэль и Мари еще посещали младшие классы.

Госпожа Фронтенак испытывала одновременно и беспокойство, и гордость, слушая Бюрта: «Господин Жан-Луи посещает…» Ею владели противоречивые чувства: опасение, что он свяжет себя так рано, но одновременно и радость от того, что в качестве приданого Мадлен должна была получить наследство от матери, но самое главное — она надеялась, что благодаря чистому и страстному чувству этот полный сил юноша избежит греховных искушений.

А вот Ив был разочарован, когда на следующий день после незабываемого вечера по нескольким словам брата понял, что тот опять вернулся из Леожа, словно прочитанное в тетради Ива должно было отвратить его от этого удовольствия, словно отныне все прочее должно было казаться ему пресным… У Ива о любви такого рода были простые и конкретные представления: томные взгляды, сорванные украдкой поцелуи, долгие пожатия рук — в общем, всякие презираемые им ухаживания. Но если Жан-Луи открыл его секрет и проник в этот чудесный мир, зачем ему искать еще чего-то?

Разумеется, девушки уже существовали для юного Ива. На торжественной мессе в Буриде он восхищался хористками с длинными шеями, белизну которых подчеркивали черные ленты; они стояли вокруг фисгармонии, словно на берегу водоема, и раздували горло так сильно, что оно казалось набитым просом и кукурузой. И его сердце билось сильнее, когда мимо проезжала верхом дочь одного богатого землевладельца, юная Дюбюш, с подпрыгивавшими на худеньких плечах темными кудрями. Какой же грузной казалась Мадлен Казавьей рядом с этой сильфидой! В ее волосах, поднятых «под шиньон», разве-

вался огромный бант, который Ив сравнивал с дверным молотком. Она была почти всегда одета в очень тесное под мышками болеро, которое подчеркивало полноватую талию, и в юбку, туго обтягивающую округленные бедра и расширяющуюся книзу. Когда Мадлен Казавьей скрещивала ноги, было видно, что у нее нет щиколоток. И что нашел Жан-Луи в этой тяжеловесной девушке с невозмутимым лицом, на котором не двигается ни один мускул?

И, надо сказать, Ив, его мать, Бюрт удивились бы, если бы им довелось стать свидетелями их встреч, где не происходило ровным счетом ничего: можно было подумать, что Жан-Луи ездил не к Мадлен, а к Огюсту Казавьей. У них была одна общая страсть — лошади, и, пока старик оставался с ними, беседа не прерывалась. Но в деревне людей никогда не оставляют в покое: то явится арендатор, то придет поставщик, которому непременно нужно поговорить с хозяином; в деревне не закроешь дверь, как в городе. Юная пара с опасением ожидала того момента, когда отец Мадлен оставит их одних. Невозмутимость Мадлен могла ввести в заблуждение кого угодно, но только не Жана-Луи, и вполне возможно, что больше всего он любил в ней как раз то глубин-

ное, невидимое для других волнение, которое овладевало этой внешне безмятежной девушкой, едва они оставались наедине.

Во время последнего визита Жана-Луи, в конце пасхальных каникул, они гуляли под старыми, еще не зазеленевшими дубами, перед заново оштукатуренным домом, стены которого с течением времени стали, казалось, более толстыми. Жан-Луи начал рассказывать, что он будет делать, когда окончит коллеж. Мадлен слушала его внимательно, словно это будущее интересовало ее не меньше его самого.

— Разумеется, я напишу диссертацию… Ты же не думаешь, что я всю жизнь буду преподавать в школе… Я хочу преподавать в университете.

Она спросила, сколько месяцев он посвятит своей диссертации. Он бодро ответил, что речь идет не о месяцах, а о годах. Назвал ей великих философов: их диссертации уже содержали суть их систем. А она, безразличная к называемым им именам, не осмеливалась задать ему единственный интересующий ее вопрос: женится ли он до окончания своей работы? Совместимы ли подготовка диссертации и брак?

— Если бы мне только удалось получить место преподавателя в Бордоском университете… но

это очень трудно…

Когда она перебила его, немного некстати, чтобы сказать, что ее отец постарается добиться для него этого места, он сухо возразил, что «не хочет ничего просить у этого правительства франкмасонов и евреев». Она прикусила губу: будучи дочерью генерального советника, умеренного республиканца, у которого в голове была мысль лишь о том, что «нужно быть со всеми в хороших отношениях», она привыкла наблюдать с детства, как отец хлопотал буквально за всех: в общине не было ни одного ордена, ни одного места путевого обходчика или почтальона, которое бы не было получено благодаря его вмешательству. Мадлен сердилась на себя за то, что ранила самолюбие Жана-Луи; она запомнит и в случае чего похлопочет втайне от него.

Если не считать подобных речей, иногда подразумевавших, что в будущем их судьбы, возможно, соединятся, юные существа не сделали ни единого жеста, не произнесли ни единого слова, чтобы выразить свою нежность. И тем не менее многие годы спустя, когда Жан-Луи думал о часах, проведенных им в Леожа, он вспоминал о них, как о каком-то неземном счастье. Он вновь видел, как играет солнце в ручье, где водились раки, и

на земле под дубами. В троицкие каникулы он шел за Мадлен, их ноги утопали в густой траве, полной золотистых бутонов и маргариток; они шли по лугам, словно плыли по морю. Жуки-дровосеки дрожали в свете прекрасного летнего дня, клонившегося к закату… Никакая ласка ничего не добавила бы к этому счастью… Или даже разрушила бы его, исказив образ их любви. Эти дети не отражали ни в словах, ни в поступках то, что заставляло их замирать под дубами Леожа, это безмерное чудо, которому трудно подобрать точное определение.

Странная ревность Ива! Она была вызвана не привязанностью Жана-Луи к Мадлен; он страдал оттого, что другое человеческое существо вырывало его старшего брата из обыденной жизни, что не ему одному была дана власть очаровывать его. Впрочем, эти всплески гордыни не мешали ему одновременно отдавать дань свойственному его возрасту смирению: любовь Жана-Луи поднимала его в представлении Ива до уровня взрослых. Семнадцатилетнему юноше, влюбленному в девушку, нет уже больше дела до того, что происходит у тех, кто еще не стал мужчиной. В глазах Ива стихи, которые он сочинял, были частью таинства детства. Вовсе не считая себя

«не по возрасту развитым», он продолжал в своем творчестве свои детские грезы наяву и полагал, что, не будучи ребенком, невозможно проникнуть в эту непонятную игру.

Между тем в день их возвращения из Бордо он понял, что напрасно начал утрачивать доверие к своему старшему брату. Это понимание пришло в, казалось бы, наименее подходящих для этого обстоятельствах: на лангонском вокзале, когда семья Фронтенак, прибыв поездом из База, тщетно пыталась пересесть в экспресс. Бланш суетилась на перроне вместе с детьми, тащившими корзину с кошкой, клетки с птицами, банку с лягушкой-древесницей, коробки с «сувенирами» вроде сосновых шишек, клейких от смолы стружек. Семья уже с ужасом думала, что придется разделиться. И тут к госпоже Фронтенак подошел начальник станции, чтобы сообщить ей, взяв руку под козырек, что он распорядился прицепить еще один вагон второго класса. В результате Фронтенаки оказались все вместе в одном и том же купе. Их трясло, как это обычно бывает, когда едешь в хвостовом вагоне, но они, запыхавшиеся, были счастливы, спрашивали друг друга, как там кошка, лягушка, зонты. А когда поезд тронулся после остановки в Кадиллаке, Жан-Луи спросил

Ива, переписал ли он свои стихотворения на чистовик. Разумеется, Ив переписал их в красивую новую тетрадь, но изменить почерк он, конечно, был не в силах.

— Давай тогда их мне; сегодня вечером я их возьму у тебя и займусь ими сам; у меня нет талантов, но зато почерк — очень разборчивый… Зачем? Балда, ты что, не понимаешь? Но только, пожалуйста, не воображай, что все пойдет как по маслу. У нас с тобой есть один незначительный шанс: надо, чтобы тебя поняли профессионалы. Мы пошлем рукопись в «Меркюр де Франс»[7]…

Пока Ив, побледнев, лишь повторял в растерянности: «Да, вот это было бы здорово…», Жан-Луи еще раз попросил его не слишком обольщаться.

— Видишь ли… Они, наверное, получают кучи стихотворений каждый день. Может быть, они даже просто бросают их в мусорные корзины, не читая. Поэтому как минимум надо, чтобы тебя прочитали… а потом, чтобы это попало на глаза человеку, способному понимать. Рассчитывать

---

[7] Примечания: 7

«Mercure de France» — один из старейших французских журналов, выходящий с 1672 г. с перерывами до настоящего времени. Крупным этапом в существовании журнала можно считать 90-е гг. 19 в: утверждая эстетство и символизм, журнал становится в этот период органом буржуазно-аристократической интеллигенции, претендующей на новаторство.

на это не следует ни в коем случае: один шанс из тысячи; это все равно как если бы мы бросили в море бутылку. Обещай мне, что после того, как мы отправим рукопись, ты думать обо всем этом забудешь.

Ив повторял: «Конечно, конечно, никто даже и читать не станет...» Но глаза его блестели надеждой. Он забеспокоился: а где найти такой большой конверт? Сколько нужно наклеить марок? Жан-Луи пожал плечами: пошлем заказным письмом; впрочем, все это он брал на себя.

В Ботиране в купе вошли люди с многочисленными корзинами. Пришлось потесниться. Ив узнал одного из своих товарищей, правда, не очень близкого, сельского жителя, живущего в пансионе и имевшего хорошие оценки по гимнастике. Они обменялись приветствиями. Каждый из них смотрел на мать другого. Ив мысленно спрашивал себя, как бы он относился к этой толстой, потеющей женщине, если бы он был ее сыном.

VI

Если бы Жан-Луи оставался с Ивом во время тяжких недель, предшествовавших распределе-

нию премий, он предостерег бы его от глупого ожидания ответа. Однако, как только они вернулись домой, Жан-Луи тут же принял решение, которое восхитило всю семью, но вызвало сильнейшее раздражение у младшего брата. Поскольку он решил сдавать экзамен сразу и по философии, и по точным наукам, он попросил определить его в пансион, чтобы не тратить времени на езду туда-сюда. Ив теперь называл его не иначе как Муцием Сцеволой[8]. Он заявлял, что к величию души относится с превеликим презрением. Предоставленный самому себе, он думал теперь только о своей рукописи. Каждый вечер, когда приходила почта, он просил у матери ключ от почтового ящика и стремительно сбегал вниз по лестнице. При каждом разочаровании он утешал себя ожиданием следующего дня. Он придумывал всякие объяснения: рукопись еще не успели прочитать, а к тому же рецензент, даже восторженный, должен получить еще одобрение самого господина Валета, директора «Меркюра».

Каштаны отцвели. В отцветающей сирени было

[8] Примечания: 8

Сцевола (левша) Гай Муций — по античному преданию, римский герой — юноша, пробравшийся в лагерь неприятеля, чтобы убить этрусского царя Порсену. Был схвачен и, демонстрируя презрение к боли и смерти, сам опустил правую руку в огонь.

полно майских жуков. Фронтенаки получали из Респида столько спаржи, что не знали, что с ней делать. Надежда Ива с каждым днем исчезала, словно вода в усыхающей речке. Он ожесточался. Ненавидел домашних за то, что они не замечали нимб вокруг его чела. Каждый непроизвольно сбивал с него спесь: «Да у тебя еще молоко на губах не обсохло». Иву стало казаться, что он потерял мать: ее слова отдаляли его от нее — так курица бьет клювом выросшего цыпленка, который продолжает бегать за ней. Он думал, что, если попытается что-то ей объяснить, она не поймет. Прочитав его стихи, она обзовет его дураком или сумасшедшим. Ив и не подозревал, что эта бедная женщина знала свое дитя гораздо лучше, чем он мог себе представить. Не зная, чем именно, она чувствовала тем не менее, что он отличается от всех остальных, как щенок, единственный в помете имеющий рыжее пятно. Домашние вовсе не презирали его; это просто он сам стал верить в свое убожество и в свою никчемность. Ему были отвратительны собственные узкие плечи, слабые руки. А при этом нелепое искушение заставило его залезть на стол в гостиной и закричать: «Я король! Я король!»

«Такой у него сейчас возраст, это пройдет…»

— повторяла госпожа Арно-Мике жаловавшейся ей Бланш. Ив не причесывался, старался как можно меньше мыться. Раз «Меркюр» молчит, раз Жан-Луи покинул его и никто никогда не узнает, какой замечательный поэт родился однажды в Бордо, он еще больше увеличит собственное отчаяние, усилив свое уродство: он заключит гений в тощем и грязном теле.

Как-то раз июньским утром, перечитывая в школьном омнибусе последнее написанное им стихотворение, он заметил, что сосед заглядывает в тетрадь через его плечо. Это был один из старшеклассников, философ по имени Бино, соперник Жана-Луи, выглядевший старше, чем он. Бино уже начал бриться, и его еще детские щеки были все в порезах. Ив притворился, что ничего не видит, но отодвинул немного руку и перевернул страницу только тогда, когда удостоверился, что сосед закончил расшифровывать последнюю строчку. Внезапно тот, безо всякого стыда, спросил его: «Где ты взял это?» И, поскольку Ив не отвечал, спросил еще раз:

— Нет, правда, это чье?

— Угадай.

— Рембо? Хотя что я… ты же наверняка его не знаешь.

— А кто такой Рембо?

— Я расскажу тебе, если ты скажешь, откуда ты списал это стихотворение.

Наконец! Все сильнее удаляющегося от него Жана-Луи сменит другой. И он станет свидетелем его славы и его гения. С пылающими щеками Ив произнес:

— Это я написал.

Тот спросил: «Правда?» Естественно, он не поверил. А когда все-таки поверил, то устыдился, что его заинтересовал текст этого ребенка. Разве может что-то занимательное написать такой мальчик? Бино вяло заметил:

— Ты показал бы мне, что написал…

Но когда Ив открыл портфель, удержал его:

— Нет, в ближайшие дни у меня слишком много работы; если вечером в воскресенье ты окажешься на улице Сен-Жене, позвони в дом 182…

Ив не понял, что тот предложил просто занести тетрадь. Читать кому-либо вслух свои стихотворения… Просто мечта! Жан-Луи никогда не просил его. А этому незнакомцу он будет читать их, несмотря на свою застенчивость; этот юноша из старшего класса станет почтительно слушать его, а во время чтения проникнется восхищением.

Бино больше никогда не садился в омнибусе рядом с Ивом. Но мальчик не обижался: приближались экзамены, и выпускники, едва выдавалась свободная минута, раскрывали книгу.

Ив пропустил два воскресенья, а потом решился нанести визит. Июль сушил несчастный город. Вода уже не текла вдоль тротуаров. На головах у запряженных в фиакры лошадей были соломенные шляпы с двумя отверстиями для ушей. Первые электрические трамваи тащили прицепы, забитые неряшливо одетыми людьми, из-за расшнурованных корсетов женщины казались горбатыми. Головы велосипедистов, похожие на головы животных, касались руля. Ив обернулся, глядя на проехавший мимо дребезжащий железом автомобиль госпожи Эскаррагель.

Под номером 182 на улице Сен-Жене находился одноэтажный домик — Ив называл такие «хибарками». Когда мальчик звонил, его мысли витали далеко от Бино. Звук колокольчика вернул его к действительности. Было уже поздно спасаться бегством; он услышал, как хлопнула дверь, как кто-то совещается вполголоса. Наконец появилась женщина в халате; она была желтая и худая, с недоверием в поблескивавших глазах. Казалось, все ее существо перешло в эти густые волосы,

которыми, вероятно, она гордилась; только они были живыми, роскошными на этом увядшем теле, скорее всего, пожираемом изнутри какой-нибудь фибромой. Ив спросил, дома ли Жак Бино. Школьная фуражка, которую он держал в руке, должно быть, успокоила женщину. Она провела его в коридор, открыла дверь направо.

Это была гостиная, но превращенная в швейную мастерскую: на столе валялись бумажные выкройки, перед окном стояла раскрытая швейная машинка; наверное, из-за Ива женщина прервала свою работу. На камине красовалась австрийская терракотовая «Саломея», раскрашенная во все цвета радуги. Гипсовый Пьеро, пытающийся сохранить равновесие, стоя на полумесяце, посылал воздушный поцелуй. Ив услышал в соседней комнате возню и чей-то раздраженный голос, скорее всего Бино. Сам того не желая, Ив вторгся в обитель одного из тех тружеников, которых называют «скромными», но которые на самом деле сгорают от гордыни, которые «спасают лицо» и не позволяют никакому чужаку проникать за кулисы их многотрудной жизни. Ну конечно, Бино предложил ему лишь оставить рукопись и больше ничего… И действительно, именно это юноша сказал ему, когда

появился, без пиджака, в расстегнутой рубашке. У него была невероятно длинная шея, усеянная мелкими фурункулами. Ив принес ему стихи? Напрасное беспокойство.

— Экзамены через две недели… у меня ни одной свободной минуты, ты же сам понимаешь…

— Ты мне сказал… я думал…

— Я думал, что ты занесешь мне тетрадь в то же воскресенье. Ну раз уж ты пришел, то давай, оставь.

— Нет, — возразил мальчик, — нет! Я не хочу мешать тебе.

У него теперь было только одно желание: покинуть эту хибару, уйти от этого запаха, от этого ужасного парня. А тот теперь пытался удержать Ива, наверное, из-за своего товарища, Жана-Луи; но мальчик уже был на улице и быстро шел по ней, несмотря на удушливый зной, пьяный от злости и отчаяния. Однако ему исполнилось всего пятнадцать лет, и когда он дошел до Интендантской улицы, то зашел в кондитерскую Ламанона, где на время утешился мороженым с клубникой. Горе, не соответствующее поводу — этому неудачному визиту, поджидало за дверью, чтобы накинуться на него с новой силой. Каждый человек отличается своей манерой страдать,

складывающейся и закрепляющейся в подростковом возрасте. Переживания Ива в тот вечер были мучительны, и он даже и не мечтал, что они когда-либо кончатся. Он не знал, что для него наступил момент наслаждения лучезарными днями, неделями света и радости и что надежда должна осенить его жизнь, столь же обманчиво неизменную, как и небо летних каникул.

VII

А для Ксавье Фронтенака наступил самый спокойный период его жизни. Угрызения совести больше не терзали его: Жозефа наконец получила все свои сто тысяч франков, и больше ничто не мешало Ксавье «откладывать» деньги для племянников. Но он по-прежнему жил в постоянном страхе, как бы семья не узнала о существовании Жозефы. Его опасения даже усиливались по мере того, как маленькие Фронтенаки росли и достигали того возраста, когда его поведение могло шокировать их или, напротив, послужить им дурным примером. Но зато, повзрослев, они скоро сами смогут заниматься своими владениями. Ксавье решил, что он продаст свою контору и переедет в Париж. Он объяснял Жозефе, что столица

будет для них более надежным пристанищем. Первые автомобили уже начинали сокращать расстояние, и теперь ему казалось, что Ангулем гораздо ближе к Бордо, чем в недавнем прошлом. В Париже они смогут бывать вместе где угодно, ходить в театр, не боясь, что их узнают.

Ксавье уже заключил соглашение о продаже конторы, и, хотя он должен был уступить ее только через два года, он уже получил за нее такой задаток, который намного превосходил то, на что он надеялся. Он был доволен, поэтому вспомнил когда-то данное Жозефе обещание попутешествовать с ней по Швейцарии. Когда он намекнул ей об этом, она проявила так мало радости, что он даже был разочарован. На самом же деле это казалось бедной женщине слишком прекрасным, и она просто не верила своему счастью. Если бы речь шла о поездке в Люшон на неделю, как в 1896 году… но поехать в Париж, отправиться путешествовать по Швейцарии… Она пожимала плечами и продолжала шить. Однако когда она увидела, как Ксавье читает путеводители, железнодорожные справочники, чертит маршруты, это невероятное счастье стало казаться ей более реальным. Она уже больше не могла сомневаться в том, что Ксавье принял решение. Однажды

вечером он пришел домой с билетами на весь маршрут. До сих пор она никому не говорила об этом путешествии. А теперь наконец решила написать своей замужней дочери, которая жила в Ниоре: «*Мне впору спрашивать себя, во сне ли я вижу это или наяву, но билеты уже здесь, в зеркальном шкафу. Они выписаны на имя господина и госпожи Ксавье Фронтенак: это семейные билеты Милая моя, хотя это и не соответствует действительности, у меня даже дрогнуло сердце.* ***Господин и госпожа Фронтенак!*** *Я спросила его, будет ли он так же записывать и в гостиницах; он ответил, что по-другому просто нельзя. У него от этого испортилось настроение; ты же знаешь, какой он… Он сказал мне, что был в Швейцарии уже три раза и все видел, за исключением гор, потому что все время шел дождь. Но я не посмела ответить ему, что для меня это не имеет значения, поскольку для меня самое большое удовольствие в том, чтобы переезжать из гостиницы в гостиницу в качестве жены Ксавье, а по утрам достаточно будет только позвонить — и завтрак…*»

Господин и госпожа Фронтенак… Написанные на билете, эти слова не произвели на Ксавье никакого впечатления, но он не предусмотрел

того, что вопрос возникнет также в гостиницах. Жозефе было бы лучше не указывать ему на эту проблему, которая заранее испортила ему все удовольствие. Он упрекал себя за то, что сам создал себе столько затруднений: усталость, расходы, а тут еще Жозефа, которая будет разыгрывать из себя даму (не говоря уже о том, что местные газеты, возможно, напечатают в рубрике «Среди наших гостей»: *господин и госпожа Фронтенак*). Ну да ладно, билеты уже куплены или, как говорится, вино откупорено.

А между тем, днем 2 августа, накануне отъезда, в тот самый час, когда в Ангулеме Жозефа заканчивала отделку вечернего платья, призванного ослепить швейцарские отели, в Виши у госпожи Арно-Мике случилось одно из ее обычных головокружений. На этот раз оно оказалось особенно сильным и внезапным; она не смогла удержать руку своей дочери госпожи Коссад и ударилась головой о мостовую. Когда ее принесли в гостиницу, она уже хрипела. Утром следующего дня Бланш Фронтенак в Буриде заканчивала прогулку по парку, собираясь укрыться от жары в помещении: дышалось уже тяжело, цикады, то одна, то другая, заходились от радости. Она увидела Даниэль, бежавшую ей навстречу с телеграммой

в руке: «*Матери очень плохо…*»

Под вечер маленький разносчик телеграмм позвонил в дверь Ксавье Фронтенака. Жозефа, почти никогда не приходившая к нему домой, в этот день помогала ему упаковывать чемодан и, не сообщая ему, уже уложила туда три платья. Увидев в руках у Ксавье голубую бумажку, она поняла, что они никогда не уедут.

— Ах! Черт!

Голос Ксавье прозвучал, помимо его воли, почти весело, ведь сквозь строчки телеграммы: «*Меня вызвали Виши матери очень плохо. Прошу Вас приехать первым поездом Буриде присмотреть за детьми…*» — он читал, что ни в одной швейцарской гостинице не будет записано: *«Господин и госпожа Ксавье Фронтенак»,* и он не потратит тысячу пятьсот франков. Он передал телеграмму Жозефе, и той, привыкшей за пятнадцать лет служить искупительной жертвой на алтарях божества по имени Фронтенак, сразу стало ясно, что все потеряно. Она сказала для очистки совести:

— Тебе сообщили слишком поздно, билеты куплены, мы уже находимся в дороге. Пошли телеграмму с границы, что ты сожалеешь… Дети — уже не дети (она много слышала о них от него

и хорошо их знала). Жану-Луи уже вот-вот будет восемнадцать, а Жозе…

Ксавье, разъяренный, прервал ее:

— Нет, да что это с тобой? Ты что, с ума сошла? Ты считаешь меня способным не ответить на просьбу моей невестки? Они — прежде всего, я тебе сколько раз повторял? Послушай, милая, сейчас придется отказаться, поедем в другой раз. Надень свою пелерину, становится уже прохладно…

Она послушным жестом накинула свою каштановую обшитую тесьмой пелерину. Воротник а-ля Медичи забавно обрамлял ее обрюзгшее лицо, на котором лишь гордо выдающийся нос, «плутоватый» нос, мог пробудить воспоминание о ее прошлом. У нее не было подбородка; ее шляпа, сидевшая на уложенной тугой желтой косе, представляла собой прекрасную имитацию клумбы. Сразу было видно, что у нее длинные, до поясницы, волосы. Она ломала все свои гребни. «Ты везде теряешь свои заколки».

Несмотря на свою обычную покорность, бедная женщина, застегивая пелерину, теперь не выдержала и проворчала, что «ей в конце концов все это надоест». Ксавье язвительно попросил ее повторить то, что она сказала, и она повторила

неуверенным голосом. Ксавье Фронтенак, скрупулезно, чуть ли не маниакально деликатный со своими родственниками и такой же скрупулезный в делах, с Жозефой мог вести себя откровенно грубо.

— Теперь, когда ты накопила свои денежки, — сказал он, — ты можешь бросить меня… Но ты не такая дура, чтобы потерять все… Тебе придется продать свою мебель, — зло добавил он, — разве что… не нужно забывать, что счета выписаны на мое имя, как и квартплата тоже…

— Она не моя, мебель?

Он попал в самое больное ее место. Она обожала свою большую кровать, купленную в Бордо у Левейе; дерево на ней было украшено золотыми накладками, большую часть панно занимали факел и колчан. Жозефа долгое время видела в факеле кулек с выходящими из него волосами, а в колчане — другой кулек, содержащий гусиные перья. Эти странные символы не беспокоили ее и не удивляли. Ночная тумбочка, похожая на богатый ковчежец, по словам Жозефы, была слишком красива для своего содержимого. Но больше всего она любила зеркальный шкаф. На фронтоне его были изображены все те же кульки да еще ленты; Жозефа уверяла, что «рисунок настолько

тонкий», что на розах можно сосчитать лепестки. Зеркало обрамляли две доходившие до середины колонны с каннелюрами, витыми снизу. Внутри более светлое дерево «подчеркивало» стопки панталончиков, отороченных кружевами «шириной в ладонь», нижних юбок, ночных рубашек с накрахмаленными фестонами и миленьких лифчиков, составлявших предмет особой гордости Жозефы, «страсть как любившей белье».

— Она не моя, мебель?

Жозефа зарыдала. Он обнял ее:

— Ну, конечно же, твоя, глупышка!

— По сути-то, — продолжала она, сморкаясь, — это глупо, что я плачу, я же никогда не верила, что мы поедем. Я думала, что случится землетрясение.

— Ну вот видишь: а достаточно было старушке Арно-Мике отдать концы.

Он говорил почти игривым тоном, радуясь возможности доехать в деревню и опять увидеть детей брата.

— Бедняжка госпожа Мишель теперь будет совсем одна…

Жозефа всегда с неизменным преклонением думала о Бланш, которую она привыкла ставить очень высоко. Ксавье после паузы ответил:

— Если мать у нее умрет, она станет очень богатой… И ей уже не будет никакого резона брать хоть один сантим из фронтенаковских денег.

Он, потирая руки, обошел вокруг стола.

— Отнеси билеты в агентство. Я напишу им записку, они не будут возражать, это мои клиенты. А деньги, которые они отдадут, оставь себе… Это как раз пойдет на оплату задолженности по квартире, — добавил он радостно.

VIII

В тот день, когда Бланш уезжала в Виши (ее поезд отправлялся в три часа), семья обедала в глубокой тишине, вернее, в молчании, так что без разговоров стук вилок и посуды казался оглушительным. Аппетит детей шокировал Бланш. И во время ее собственной агонии тарелки будут вот так же ходить из рук в руки. Но разве она не удивилась только что, поймав сама себя на том, что думает, кому достанется особняк на улице Кюрсоль. Грозовые тучи затянули солнце, и пришлось открыть ставни. Ваза с персиками притягивала к себе ос. Залаяла собака, и Даниэль сказала: «Это почтальон». Все головы повернулись к окну, к человеку, который шел от кроличьего садка,

неся через плечо раскрытую сумку. Даже в самых дружных семьях нет таких людей, которые не ждали бы писем без ведома других. Госпожа Фронтенак узнала на одном из конвертов почерк своей матери, умиравшей в этот час или, может быть, уже умершей. Вероятно, она написала письмо утром того дня, когда случилось несчастье. Бланш не решалась открыть конверт, наконец решилась и разрыдалась. Дети в растерянности смотрели на плачущую мать. Она встала, девочки вышли вместе с ней. Никто, за исключением Жана-Луи, не обратил внимания на большой конверт, который слуга положил перед Ивом: *Меркюр де Франс… Меркюр де Франс…* Иву никак не удавалось его открыть. Печатный текст? Всего лишь какой-то печатный текст? Он узнал свою фразу: свою собственную… Его стихотворение… Фамилию исказили: Ив Фронтен. В конверте оказалось и письмо: «*Сударь и дорогой поэт! Редкая красота ваших стихотворений побудила нас опубликовать их все. Мы были бы Вам благодарны, если бы Вы, после исправления корректурных оттисков, отправили их нам со следующей почтой. Мы ставим поэзию настолько высоко, что любая оплата нам кажется недостойной ее. Я Вас прошу принять, сударь и дорогой поэт, выраже-*

ние нашего восхищения. Поль Морис. P. S. Не беря на себя никаких обязательств, я буду счастлив через несколько месяцев прочитать Ваши новые произведения».

Упала одна капля, вторая, третья, и наконец пошел дождь. Ив ощутил в груди его свежесть, счастливый, как листва: туча пролила свою влагу. Он передал конверт Жану-Луи, который, взглянув на содержимое, положил его в карман. Девочки вернулись: мама немного успокоилась и спустится перед самым отъездом. А бабушка писала в своем письме: «*У меня опять начались головокружения, более сильные, чем когда-либо прежде…*» Ив сделал над собой усилие, чтобы приглушить свою радость, которая охватила его, как пожар, и от которой некуда было скрыться. Он попытался мысленно представить себе маршрут матери: три поезда до Бордо, потом лионский экспресс, она сделает пересадку в Ганна… Он не умел править корректуру… Отправить со следующей почтой? Письмо переслали из Бордо… Один день, значит, уже потерян.

Появилась Бланш, ее лицо закрывала густая вуалетка. Кто-то из детей крикнул: «Коляска уже здесь». Из-за мух Бюрт с трудом удерживал лошадь. Дети обычно спорили из-за мест в коляске,

чтобы проводить мать на вокзал и вернуться не на откидном сиденье, а на мягких подушках. На этот раз Жан-Луи и Ив уступили это удовольствие Жозе и девочкам. Они помахали им, крича: «Надеемся завтра утром получить телеграмму».

Наконец-то! Они вдвоем остались властителями дома и парка. Сквозь капли дождя сияло солнце. Жара немного спала, и ветер, сотрясая насыщенные влагой ветви, обрушивал с них короткие ливни. Братья не могли нигде присесть, все скамейки были мокрые. Поэтому они, сблизив головы, читали оттиски, гуляя по парку. Ив говорил, что в напечатанном виде собственные стихи кажутся ему более короткими. Опечаток было мало, и они исправляли их так же наивно, как ошибки в своих школьных тетрадях. Рядом с большим дубом Жан-Луи внезапно спросил:

— А почему ты не показал мне свои последние стихотворения?

— Ты же у меня не спрашивал.

Жан-Луи стал уверять, что накануне экзаменов все равно не получил бы от них никакого удовольствия, на что Ив предложил сходить за ними:

— Подожди меня здесь.

Мальчик стремительно сорвался с места; пья-

ный от счастья, он бежал к дому с откинутой назад непокрытой головой. Он нарочно задевал головой за высокий дрок и низко свисающую листву, чтобы смочить себе лицо. Ветер от бега казался ему почти холодным. Жан-Луи смотрел, как он возвращается, подпрыгивая. Младший брат, такой неопрятный и так нелепо выглядевший в городе, летел к нему со стремительной грацией ангела.

— Жан-Луи, позволь мне почитать их: мне будет очень приятно прочитать их тебе вслух. Подожди, я сейчас отдышусь.

Они стояли, прижавшись к дубу, и мальчик слушал, как в старом живом стволе, который он обнимал каждый раз, уезжая в город, бьется его собственное недолговечное и переутомленное сердце. Он стал читать — и читал: в какой-то необычной манере, показавшейся Жану-Луи поначалу странной; потом он решил, что только так и надо читать. Не показались ли ему эти новые стихотворения в чем-то уступающими тем, которые были раньше? Он колебался: нужно их перечитать… Какая горечь! Какая ранняя боль! Ив, который только что прыгал, как олененок, читал резким и суровым голосом. И при этом он чувствовал себя очень счастливым, в эту минуту

он совершенно не испытывал выраженной в стихах ужасной боли. Осталась только радость оттого, что ее удалось закрепить в казавшихся ему вечными словах.

— Нужно будет послать их в «Меркюр» в октябре, — сказал Жан-Луи. — Не будем слишком спешить.

— А скажи, тебе они нравятся больше, чем прежние?

Жан-Луи заколебался:

— Мне кажется, они идут дальше…

Приближаясь к дому, они увидели Жозе и девочек, вернувшихся с вокзала и сохранивших на лицах соответствующее обстоятельствам выражение лица. Мари сказала, что это было ужасно видеть, как бедная мама плачет, когда поезд тронулся. Ив отвернулся из опасения, как бы на его лице не прочитали радость. Жан-Луи искал ему извинение: в конце концов, бабушка еще не умерла, возможно, страх оказался напрасным: ее уже три раза соборовали… И к тому же дядя Альфред всегда был склонен видеть все в черном свете. Ив не к месту прервал его:

— Он принимает желаемое за действительность.

— О! Ив, как ты можешь…

Дети были шокированы, но Ив уже сорвался с места и полетел, словно обезумевший жеребенок, через канавы, прижимая к сердцу корректурные оттиски и собираясь перечитать их по третьему разу, в настоящем кабаньем логове, которое он называл своим домом, посреди утесника. Он будет грызть там свою кость. Жозе посмотрел ему вслед:

— Ну что за человек! Когда все идет хорошо, он хмурится, а как только в воздухе запахнет несчастьем, он вдруг начинает чему-то радоваться…

Он свистнул Стопа и с легким, радостным сердцем спустился к Юру, чтобы поставить донные удочки, словно бабушка и не находилась в этот момент при смерти. Чтобы опьянить его брата, нужен был первый луч славы, а Жозе достаточно было просто чувствовать себя семнадцатилетним юношей, у которого только что начались летние каникулы и который знал, где в Юре водятся угри.

IX

Ужин без матери прошел шумнее, чем обычно. Только девочки, воспитанницы монастыря Святого Сердца, хорошо натренированные для

подобных случаев, находили, что «время для шуток выбрано совсем неудачно»; однако и они тоже прыскали, когда Ив и Жозе изображали жеманно раскрывающих рот хористок в церкви, вокруг фисгармонии: «Ничто в сем мире необъятном не в силах ублажить меня!» Благоразумный Жан-Луи, постоянно ищущий извинений для себя и своих братьев, думал, что смех у них нервный и что они на самом деле испытывают печаль.

После ужина они отправились в черную ночь встречать прибывавшего с девятичасовым поездом дядю Ксавье. Они вышли с опозданием, но поезд из Буриде всегда задерживался еще сильнее. Вокзал со всех сторон окружали спрессованные штабеля свежераспиленных и еще сочащихся смолой, словно кровью, досок. Дети пробирались сквозь них, стукаясь об углы, плутая в причудливо начерченных улочках этого благоухающего города. Их ноги утопали в раскрошившейся сосновой коре, сейчас невидимой. Но сколько раз они видели при свете дня эту кору цвета свернувшейся крови! Ив утверждал, что эти доски — раздробленные конечности сосен: после того, как их растерзали, содрав с них, еще живых, кожу, они благоухали, эти священные тела мучеников… Жозе проворчал:

— Нет, какой все-таки балбес! Ну какая здесь связь?

Они увидели светящийся фонарь вокзала. Кричали и смеялись женщины; голоса их звучали пронзительно, как у животных. Мальчики пересекли зал ожидания, потом рельсы. Они услышали в лесной тишине далекий шум маленького поезда, ритмичное покачивание которого было для них таким родным, что зимой, в Бордо, они нередко имитировали его, вспоминая счастливые месяцы каникул. Раздался длинный свисток, с грохотом вырвался из паровоза пар, и величественная игрушка возникла из мрака. В купе второго класса кто-то был… Это мог быть только дядя Ксавье.

Он не ожидал увидеть племянников такими веселыми. Они вырывали друг у друга его чемодан, висли у него на руках, интересовались, какие он привез им конфеты. Он позволял им, как слепой, вести себя сквозь штабеля досок, и каждый свой визит вдыхал с неизменным удовольствием ночной запах здешних краев. Он знал, что на повороте дороги, которая идет в обход города, дети закричат: «Берегитесь собаки господина Дюпара!..», потом, после того как они минуют последний дом, в темной массе леса начнется раз-

рыв, белое литье, высеченная аллея, на которой шаги детей зазвучат особенно по-домашнему. Там кухонная лампа будет светить, как большая звезда, расположенная вровень с землей. Дядя знал, что для него накроют великолепный стол, но уже успевшие поужинать дети спокойно поесть ему не дадут. На его вопрос о состоянии их бедной бабушки они ответили все сразу, что нужно ждать более определенных известий, что их тетя Коссад всегда все преувеличивает. Проглотив последний кусок, он, несмотря на темноту, пошел прогуляться по парку, следуя ритуалу, отменять который дети не позволяли буквально никому.

— Ну как, дядя Ксавье, хорошо пахнет?

Он смиренно отвечал:

— Пахнет болотом, и я чувствую, как у меня начинается простуда.

— Вы только взгляните на все эти звезды…

— Я предпочитаю смотреть себе под ноги.

Одна из девочек попросила его рассказать «про злого ястреба и доброго голубя». Когда они были маленькими, он веселил их разными прибаутками и всякой чепухой, которых они требовали от него при каждом его визите и которые они слушали всегда с неизменным удовольствием

и хохотом.

— В вашем-то возрасте? И не стыдно вам? Вы же уже не дети…

Сколько раз за эти радостные и светлые дни дяде Ксавье приходилось повторять им: «Вы же уже не дети…» Однако чудо как раз в том и состояло, что они, выйдя из детского возраста, вновь с головой окунались в детство: они пользовались какой-то временной льготой, чудесным избавлением от общего правила.

На следующее утро даже сам Жан-Луи попросил:

— Сделай нам несколько корабликов-маяков.

Дядя для вида отказывался, подбирал кусок сосновой коры, несколькими движениями перочинного ножика придавал ей сходство с лодкой, прикреплял к ней крошечную свечку. Поток Юра уносил пламя вниз по течению, и каждый из Фронтенаков вновь оказывался во власти былых эмоций, думая о судьбе этого кусочка сосновой коры из Буриде: Юр унесет ее до Сирона, вместе с водами Сирона она попадет недалеко от Пренья́ка в Гаронну… и наконец эту частицу сосны из парка, где выросли маленькие Фронтенаки, получит океан. Никто из них не допускал, что она может застрять в колючем кустарнике или

сгнить где-нибудь поблизости еще до того, как поток Юра минует город. Нужно было верить, это был догмат веры, что из самого неприметного ручья в ландах кораблик-маяк приплывет в Атлантический океан «со своим грузом тайны Фронтенаков…», как говорил Ив.

И эти взрослые ребята бежали вдоль ручья, чтобы не дать кораблику-маяку сесть на мель. Нестерпимо жгучее солнце опьяняло цикад, а мухи набрасывались на любую живую плоть. Бюрт принес телеграмму, которую дети открыли с тоскливым чувством: «*Легкое улучшение…*» Какое счастье! Можно было наслаждаться счастьем и смеяться, не испытывая стыда. Однако в один из последующих дней Ксавье прочитал напечатанную на голубой бумаге фразу: «*Бабушке очень плохо…*» — и удрученные дети не знали, что им делать с их веселым настроением. Бабушка Арно-Мике умирала в Виши, в гостиничном номере. А тут парк вобрал в себя весь пыл этих длинных знойных дней. В краю лесов не видно, как собираются грозы. Они до поры до времени прячутся за соснами; их выдает только их дыхание, и возникают они внезапно, как грабители. Иногда в южной стороне появлялся их медно-красный фронт, но гроза так и не разражалась. Дуновение

посвежевшего ветра подсказывало детям, что дождь прошел где-то в стороне.

Даже в те дни, когда новости из Виши были неблагоприятными, тишина и детская сосредоточенность длились недолго. Даниэль и Мари успокаивались на девятидневном молитвенном обете, который они, вместе с Кармелием Бордоским и монастырем ордена Милосердия, соблюдали ради своей бабушки; Жозе заявлял: «Что-то подсказывает мне, что она выкрутится». Однажды дядя Ксавье даже прервал арию Мендельсона, которую они на веранде распевали в три голоса:

Вселенная величия полна!

Так поклонимся ж Господу…

«Не надо хотя бы из-за слуг», — объяснил дядя Ксавье. Ив возражал, говоря, что музыка никому не мешает быть озабоченным и печальным, он дождался, чтобы исчез огонек сигары в посыпанной гравием аллее, и своим странным, ломающимся голосом запел арию из оперы Гуно «Сен-Мар»:

Ночь осиянная и тихая…

Он обращался к ночи, как к человеку, чью све-

жую горячую кожу он осязал, чье дыхание он слышал рядом с собой.

В глубинах твоих, прелестная ночь…

Жан-Луи и Жозе, сидя на крыльце с запрокинутыми головами, подстерегали падающие звезды. Девочки кричали, что к ним в спальню залетела летучая мышь.

В полночь Ив зажигал свечу, брал свою тетрадь со стихами, карандаш. Уже поселковые петухи отвечали своим собратьям на затерянных хуторах. Ив сидел с босыми ногами, в одной ночной рубашке, облокотившись на подоконник, и смотрел на спящие деревья. Никто, за исключением его ангела, сейчас уже не знает, до какой степени он походил на своего отца, когда тому было столько же лет.

Однажды утром пришла телеграмма: «*Состояние стабильное*», которая была истолкована в благоприятном смысле. Утро было лучезарное, умытое прошедшими вдали грозами. Девочки принесли дяде Ксавье ветки ольхи, чтобы он сделал им свистки. При этом они требовали, чтобы он не пропускал ни одного элемента привычного ритуала: чтобы отделить кору от дерева, недостаточно было просто постучать по ней ручкой

перочинного ножа, а следовало одновременно петь невразумительную детскую песенку: *Сабе, сабе, калумет. Те пуртере ун пан науэт. Те пуртере уне миште тут каут. Сабарен. Сабаро…* Дети хором повторяли эти дурацкие неизменные слова. Дядя Ксавье прервался:

— А вам не стыдно в вашем возрасте заставлять меня валять дурака?

Однако у всех было смутное ощущение, что благодаря какой-то особой милости время остановилось: им удалось соскочить с поезда, который вообще ничто не в силах остановить; став подростками, они все еще пребывали в лужице детства, они там задержались, хотя само детство навсегда ушло от них.

Известия о госпоже Арно-Мике стали более обнадеживающими. Это было неожиданно. Скоро мама должна была вернуться, и при ней уже нельзя будет вести себя так глупо. С весельем у Фронтенаков покончено. Госпожа Арно-Мике была спасена. Все дошли на станцию встречать маму, приезжавшую девятичасовым поездом. Ночь выдалась лунная, и свет струился между штабелями досок. Им не понадобилось даже брать с собой фонарь.

Вернувшись со станции, дети смотрели, как

мать ест. Она изменилась, похудела. Она рассказала, как однажды ночью бабушке стало настолько плохо, что даже приготовили простыню, чтобы ее похоронить (в больших отелях покойников выносят тут же, под покровом ночи). Она заметила, что слушают ее плохо, что между племянниками и дядей возникло своего рода сообщничество, что они обмениваются какими-то одним им понятными шутками, словами с двойным смыслом, что существует какая-то тайна, где ей нет места. Она замолчала, помрачнела. Она уже не обижалась, как раньше, на своего деверя, потому что, постарев, избавилась от прежней требовательности. Однако она страдала от той тайной нежности, с какой дети относились к своему дяде, и переживала, что вся их благодарность достается ему одному.

Возвращение Бланш разрушило очарование. Дети перестали быть детьми. Жан-Луи проводил все свои дни в Леожа, а у Ива опять выступили на лице прыщи, и он вновь приобрел свой прежний сердитый, недоверчивый вид. Присланный из Парижа журнал «Меркюр де Франс» с его стихотворениями отнюдь не смягчил его. Сначала он не осмеливался показать их ни матери, ни дяде Ксавье, а когда решился, действительность

превзошла его опасения. Дядя говорил, что у его стихов нет ни начала, ни конца, и цитировал Буало: «То, что хорошо по мысли, излагается ясно». Мать не могла не испытать чувства гордости, но скрыла его, попросив Ива, чтобы он не оставлял где попало журнал, «который содержит гнусные страницы некоего Реми де Гурмона[9]». Жозе декламировал, паясничая, казавшиеся ему «уморительными» отрывки. Ив, заходясь от злости, гонялся за ним и получал тумаки. В утешение он получил несколько писем от незнакомых людей с выражением восхищения и продолжал получать их и в дальнейшем, не отдавая себе отчета в важности подобных признаний. Аккуратный Жан-Луи с глубоким удовольствием собирал все эти письма.

В первых числах сентября, когда было много гроз, у Фронтенаков постоянно возникали ссоры и обиды. Ив вскакивал из-за стола, бросал салфетку; или же Бланш Фронтенак уходила к себе в комнату и спускалась оттуда с заплаканными глазами и опухшим лицом лишь после нескольких дипломатических миссий и просьб

---

[9] Примечания: 9

Гурмон Реми Де (1858–1915) — французский писатель и критик. В сборнике своих стихов «Извержение вулкана» и в критических этюдах «Книга масок» он изложил свою концепцию символизма.

удрученных детей.

X

Буря, которую предвещали все эти явления, разразилась в сентябре, на день Богоматери. После завтрака госпожа Фронтенак, дядя Ксавье и Жан-Луи уселись в маленькой гостиной при закрытых ставнях. Обе створки двери в бильярдную, где прилег, пытаясь заснуть, Ив, были распахнуты. Ему надоедали мухи; оказавшаяся пленницей стрекоза билась о потолок. Девочки, несмотря на жару, ездили на велосипедах вокруг дома навстречу друг другу и, встречаясь, приветствовали друг друга радостными криками.

— Нужно назначить день этого обеда до отъезда дяди Ксавье, — говорила госпожа Фронтенак. — Ты, Жан-Луи, увидишь нашего славного Дюссоля. Поскольку тебе придется работать с ним…

Ив обрадовался тому, что Жан-Луи стал живо возражать:

— Да нет же, мама… Я тебе уже столько раз говорил и повторял… Ты никогда не хочешь меня слушать: у меня нет ни малейшего желания заниматься делами.

— Это в тебе говорит детство… Я никогда не

принимала этого всерьез. И ты сам прекрасно понимаешь, что рано или поздно тебе все равно нужно будет решиться занять свое место в фирме. И чем раньше, тем лучше.

— Дюссоль, несомненно, человек славный, — сказал дядя Ксавье, — и он вполне заслуживает доверия; и тем не менее уже давно пора, чтобы кто-нибудь из Фронтенаков сунул нос во все эти дела.

Ив приподнялся на локте и напряг слух.

— Коммерция меня не интересует.

— А что тебя интересует?

Жан-Луи поколебался на мгновение, покраснел и наконец отважно бросил:

— Философия.

— Ты что, сумасшедший? Зачем тебе еще это? Ты будешь делать то, что делали твой отец и твой дед… Философия — это не профессия.

— После кандидатского экзамена я рассчитываю написать диссертацию. Мне торопиться особенно некуда. Я получу место преподавателя в университете.

— Вот как, и это твой идеал! — воскликнула Бланш. — Ты хочешь быть чиновником! Нет, вы только послушайте его, Ксавье! Чиновником! И это при том, что в его распоряжении находится

первая в наших местах торговая фирма.

В этот момент в маленькой гостиной появился Ив, с растрепанными волосами, с горящими глазами. Он прошел сквозь облако дыма, которым вечная сигарета дяди Ксавье окутывала мебель и лица.

— Как вы можете сравнивать, — закричал он своим пронзительным голосом, — профессию торговца лесом с занятиями человека, который посвящает свою жизнь духовным вещам? Это же… это же просто непристойно…

Взрослые с недоумением смотрели на этого буяна без пиджака, в расстегнутой рубашке и с падающими на глаза волосами. Его дядя дрожащим голосом спросил его, зачем он вмешивается не в свое дело, а мать приказала ему выйти из комнаты. Но он, не слушая их, продолжал кричать, что, «естественно, в этом дурацком городе все думают, что любой торговец, чем бы он ни торговал, значит больше, чем кандидат филологии. Какой-нибудь посредник по торговле винами воображает, что он имеет превосходство над Пьером Дюэмом, профессором на факультете точных наук, которого здесь не знают даже по имени, за исключением тех тягостных моментов, когда возникает потребность помочь какому-нибудь

тупице получить степень бакалавра…» (Надо сказать, что, попроси они перечислить работы Дюэма, он оказался бы в довольно затруднительном положении.)

— Нет! Вы только послушайте его! Он здесь еще речи произносит… Сопляк! Утри нос лучше…

Ив не обращал никакого внимания на все попытки прервать его. Он говорил, что дух презирают не только в этом глупом городе, во всей стране преподавателей, интеллигенцию совершенно не ценят. «…Во Франции слово „преподаватель“ является ругательством, в то время как в Германии оно равнозначно аристократическому титулу… А еще считаемся великим народом!» Лающим голосом он теперь ругал родину и патриотов. Жан-Луи тщетно старался его остановить. Дядя Ксавье, вышедший из себя, пытался возражать, но его никто не слушал.

— Я здесь вне подозрений. Всем известно, на чьей я стороне… Я всегда верил в невиновность Дрейфуса[10], но я не потерплю, чтобы какой-то сопляк…

---

[10] Примечания: 10

Дрейфус Альфред (1859–1936) — офицер французского Генерального штаба, еврей по национальности. В 1894 г. против него было сфабриковано дело о шпионаже в пользу Германии. Несмотря на отсутствие доказательств, приговорен к пожизненной каторге.

И тут у Ива вырвались опрометчивые слова о «побежденных 1870 года», грубость которых отрезвила даже его самого. Бланш Фронтенак встала:

— Теперь он оскорбляет собственного дядю! Выйди отсюда. Чтобы я тебя больше не видела!

Он пересек бильярдную, вышел на крыльцо. Знойный воздух раскрылся перед ним и охватил его со всех сторон. Он углублялся в неподвижный парк Тучи мух гудели, кружась на месте, оводы приклеивались к его рубашке. Он не испытывал никаких угрызений совести, а только унижение оттого, что потерял голову, что случайно разбудил лиха. Ему бы лучше было не горячиться и ограничиться только предметом спора. Они правы: он всего лишь ребенок… То, что он сказал дяде, было ужасно, и ему никогда не будет прощения. Как вернуть себе их расположение? Странно было то, что ни мать, ни дядя не утратили в его глазах ни капли своего престижа. Хотя он был слишком молод, чтобы поставить себя на их место, проникнуть в их рассуждения. Ив не судил их: мама, дядя Ксавье оставались неприкосновенны, они были частью его поэтического детства, откуда они уже не могли вырваться. Что бы они ни говорили, что бы ни делали, ничто,

казалось Иву, не в силах отделить их от тайны его собственной жизни. Сколько бы мама и дядя Ксавье ни святотатствовали против духа, дух пребывал в них самих, помимо их воли, освещал их изнутри.

Ив пошел обратно. Хотя из-за грозы небо и потускнело, грома пока не было; цикады больше не пели; только луга, казалось, трепетали. Ив шел впереди, мотая головой, как жеребенок, чтобы спастись от плоских мух, которых он давил у себя на лице и на шее. «Побежденные 1870 года…» Он не хотел никому причинять боль: дети часто шутили в присутствии дяди Ксавье по поводу того, что ни он, ни Бюрт, записавшиеся в добровольцы, не видели ни одного пруссака. Однако на этот раз шутка обрела совершенно иной смысл. Он медленно поднялся по крыльцу, остановился в прихожей. Они еще находились в гостиной. Дядя Ксавье рассказывал: «…Перед тем как вернуться в часть, я захотел в последний раз обнять моего брата Мишеля; я перелез через стену казармы и, когда спрыгивал с нее, сломал себе ногу. В госпитале меня поместили с больными оспой. Я чуть было не отдал там концы. Твой бедный отец, у которого в Лиможе не было никаких знакомых, столько усилий предпринял,

чтобы вытащить меня оттуда. Бедный Мишель! Он тщетно пытался завербоваться (в том году он заболел плевритом)… Ему пришлось прожить в этом ужасном Лиможе несколько месяцев, хотя видеться со мной он мог только раз в день не больше часа…»

Дядя Ксавье прервал свой рассказ: на пороге маленькой гостиной снова появился Ив; он видел, как к нему повернулись встревоженные глаза Жана-Луи, желчное лицо матери; дядя Ксавье на него не смотрел. Ив безуспешно пытался найти какие-нибудь слова, но на помощь ему пришел еще живший в нем ребенок; ничего не говоря, он резко рванулся и бросился на шею дяде; он обнимал его и плакал; потом он повернулся к матери, сел к ней на колени, спрятал лицо, как в былые времена, у нее между плечом и шеей.

— Да, милый, ты вовремя одумался… Но нужно контролировать свои слова, держать себя в руках…

Жан-Луи встал, подошел к окну, чтобы не видели его наполнившихся слезами глаз. Он высунул руку и сказал, что на нее упала капля. Все это не помогало. Приближалась невероятная череда дождевых туч, подобно сети, наброшенной на него в этой маленькой гостиной, — наброшенной

навсегда.

Дождь прекратился. Жан-Луи и Ив шли к большому дубу.

— Ты не сдашься, Жан-Луи?

Тот не ответил. Засунув руки в карманы, опустив голову, он поддавал ногой сосновую шишку. Поскольку брат продолжал настаивать, он сказал тихим голосом:

— Они утверждают, что это мой долг по отношению к вам. По их мнению, Жозе один не сможет занять подобающее место в фирме. А если я стану во главе, то тогда и он тоже сможет подключиться… И еще они считают, что когда-нибудь даже ты с превеликой радостью присоединишься ко мне… Только не сердись… Они не в состоянии понять, кто ты есть… Представляешь, они доходят до того, что предусматривают, что, может быть, Даниэль и Мари выйдут замуж за людей без положения…

— Ах! Они смотрят так далеко! — вскричал Ив, раздраженный тем, что, по их мнению, он тоже способен закончить свои дни у той же кормушки. — Ах! Они ничего не оставляют на волю случая, организовывают счастье каждого и даже не понимают, что можно хотеть быть счастливым как-нибудь по-другому…

— Для них речь идет не о счастье, — сказал

Жан-Луи, — а о действиях, направленных на общее благо и о защите интересов семьи. Нет, речь не идет о счастье… Ты заметил? Это слово они не употребляют никогда… Счастье… Сколько я помню, у мамы на лице всегда было выражение муки и тоски… Если бы папа был жив, я думаю, у него было бы то же самое… Нет, не счастье, а долг… определенная форма долга, которую они принимают без колебаний… И самое ужасное, малыш, состоит в том, что я их понимаю.

Братья смогли добраться до большого дуба до начала дождя. Они стояли и слушали, как капли стучат по листьям. Однако они стояли сухие: живое дерево защищало их своей листвой, еще более густой, чем птичьи перья. Ив с некоторым пафосом говорил о единственном долге, о долге по отношению к тому, что мы носим в себе, по отношению к нашему творчеству. Есть слово, эта помещенная в нас Богом тайна, которую нужно высвободить… Существует некая весть, которую нам поручено сообщить…

— Почему ты говоришь «мы»? Говори от своего имени, малыш. Да, я верю, что ты вестник, что ты являешься носителем тайны… Но как матери и дяде Ксавье узнать об этом? Что касается меня, то я боюсь, что они правы и что, став преподава-

телем, я буду всего лишь растолковывать чужие мысли… Это тоже лучше, чем все остальное, и стоит того, чтобы потратить на это всю жизнь, но…

Из куста выскочил Стоп, подбежал к ним с высунутым языком: очевидно, Жозе находился где-то поблизости. Ив обратился к перепачканной собаке, как к человеку:

— Ну что, из болота вылез, так ведь, старина?

Вскоре из зарослей показался и Жозе. Он со смехом показал свой пустой ягдташ. Он все утро бродил по болоту Тешуэйр.

— Ничего? Коростели разлетаются ко всем чертям. Видел, как в воду упали два кулика, но найти их не смог… — Утром он не побрился, и его детские щеки потемнели от жесткой щетины.

— Похоже, где-то около Биуржа живет кабан.

Вечером дождь прекратился. Ив видел, как после ужина, при свете поздней луны Жан-Луи долго гулял в компании матери и дяди. Он наблюдал за этими тремя тенями, исчезавшими в посыпанной гравием аллее; потом черная группа возникла у сосен, выходя на освещенное лунное пространство. Слышался вибрирующий голос Бланш, прерываемый иногда более высоким и резким тембром Ксавье. Жан-Луи молчал: он попал в эти тиски; у него не было никакой защиты…

«Ну я-то им не сдамся…» Однако, злясь на своих родных, Ив смутно понимал, что только он один ожесточенно цепляется за детство. Царь Ольшаника манил его не в какое-то неведомое царство — ах! это царство не таило для него никакой тайны. Ольшаником, откуда доносился опасно нежный голос, назывались деревья ольхи, растущие в краю Фронтенаков, их ветви ласкали ручей, чье имя знали только они. Король Ольшаника не вырывал детей Фронтенаков из их детства, но он мешал им оттуда выходить; он хоронил их в их мертвой жизни, присыпая сверху обожаемыми воспоминаниями и истлевшими листьями.

— Я пошла, оставляю тебя с дядей, — сказала Бланш Жану-Луи.

Она прошла совсем рядом с Ивом, не заметив его, а он наблюдал за ней. Луна осветила измученное лицо матери. Бланш, думая, что она одна, сунула руку в разрез кофты: ей внушала беспокойство эта железа… Сколько ее ни убеждали, что беспокоиться не следует… Она все пробовала на ощупь эту железу. Нужно, чтобы Жан-Луи успел стать еще до ее смерти главой фирмы, хозяином ее состояния, защитником младших детей. Она молилась за свой выводок: ее поднятые к небу глаза видели, как Богоматерь, о чьей лампаде

она заботилась в церкви, простирает покров над младшими Фронтенаками.

— Послушай, малыш, — говорил дядя Ксавье Жану-Луи, — я разговариваю с тобой как со взрослым, я не выполнил своего долга по отношению к вам; мне следовало занять в фирме место, оставшееся незанятым после смерти твоего отца… Ты должен исправить мою ошибку… Нет, не возражай… Ты говоришь, что меня ничто не заставляло? В тебе достаточно много духа семьи, чтобы понять, что я дезертировал. Ты восстановишь цепь, порвавшуюся по моей вине. Это не так уж скучно — руководить мощной фирмой, которая сможет приютить и твоих братьев, и, возможно, мужей твоих сестер, а потом и ваших детей… Мы понемногу устраним от участия в делах фирмы Дюссоля… Это вовсе не помешает тебе быть в курсе всего, что будет появляться нового. Твоя культура сослужит тебе добрую службу… Я как раз читал одну статью в газете «Тамп», где доказывалось, что греческий и латинский языки, в общем, гуманитарные науки, способствуют формированию великих капитанов индустрии…

Жан-Луи не слушал. Он знал, что уже потерпел поражение. Он рано или поздно все равно капитулировал бы, но сейчас он отчетливо сознавал,

какой аргумент сразил его: слова, только что произнесенные матерью. «Вместе с Дюссолем мы сможем пригласить и всех Казавьей…» А затем она добавила: «Когда закончишь службу в армии, ничто не помешает тебе жениться, если у тебя будет такое желание…»

Рядом с ним шел дядя Ксавье, окутывая его запахом сигары. Но в один прекрасный вечер рядом с ним будет идти немного грузная девушка… Он сможет записаться на военную службу и жениться в двадцать один год. Так что ему остается ждать только два года, и вот как-нибудь вечером, по заведенному обычаю, он будет гулять в темноте по парку Буриде с Мадлен. И вдруг радость, охватившая его при мысли об этом браке, потрясла его с ног до головы. Он быстро задышал, нюхая воздух, который пролетел над дубами Леожа, овеял белый от лунного света дом и надул кретоновые шторы в комнате, где Мадлен, возможно, еще не спала.

XI

— Это машина марки «Фуарон». Я доехал от Бордо за три часа: семьдесят километров… ни единой неполадки.

Гости госпожи Фронтенак окружили Артюра Дюссоля, еще укутанного в защищающий от пыли серый шарф. Он снял автомобильные очки. Прищурив глаза, он улыбался: Казавьей, с недоверчивым и уважительным видом склонившийся над машиной, пытался сформулировать вопрос.

— У нее гибкие шайбы, — говорил Дюссоль.

— Да, последний крик! — промолвил Казавьей.

— Самый последний крик Я, вы же знаете (и Дюссоль тихо засмеялся), никогда не плелся в хвосте.

— Достаточно взглянуть на ваши передвижные лесопилки… А какие у этого нового автомобиля характеристики?

— Еще недавно, — важно сообщил Дюссоль, — ретрансмиссия передавалась на колеса с помощью цепей. А теперь вместо них только две гибкие шайбы.

— Это просто восхитительно, — сказал Казавьей. — Только две гибкие шайбы, и все?

— Ну и, естественно, их соединения: приводной ремень в виде цепи. Представьте себе два корпуса без сочленения…

Мадлен Казавьей потащила Жана-Луи за собой. Жозе с нескрываемым интересом расспрашивал

господина Дюссоля о переключениях скоростей.

— Скорость можно переключать с помощью простого рычага (господин Дюссоль, откинув голову назад, важный, как священник во время богослужения, похоже, готов был перевернуть мир). Как в паровых машинах, — добавил он.

Дюссоль и Казавьей медленно шли и разговаривали; Ив шел за ними, привлеченный буквально сочащейся из них важностью. Иногда они останавливались перед какой-нибудь сосной, окидывали ее взглядом и начинали обсуждать, какова ее высота, пытались угадать, сколько она будет в диаметре.

— Послушайте, Казавьей, сколько, по-вашему…

Казавьей называл какую-нибудь цифру. И тут Дюссоля разбирал смех, сотрясая его как бы приставленный к нему, казавшийся ненастоящим живот.

— Вы не угадали.

Он извлекал из кармана складной метр, измерял толщину ствола. И торжествующим голосом заявлял:

— Смотрите! Согласитесь, что я не намного ошибся…

— А знаете, сколько можно получить из одного дерева такой высоты?

Дюссоль задумчиво созерцал сосну. Казавьей молчал, застыв в почтительной позе. Он ждал ответа предсказателя. Дюссоль брал свою записную книжку и начинал подсчитывать. Наконец называл цифру.

— Никогда бы не подумал, — сообщал Казавьей. — Великолепно…

— Мой глазомер помогает мне в торговле…

Ив вернулся домой. Непривычный запах соусов и трюфелей пронизывал это прекрасное сентябрьское утро. Он бродил вокруг кухни. Дворецкий возмущался, что забыли перелить в графины вино. Ив прошел через столовую. Малышка Дюбюш будет сидеть между ним и Жозе. Он перечитал меню: *заяц по-виллафранкски, ежевичный десерт…* Он вышел из комнаты и присоединился к остальным; Дюссоль с метром в руке, присев на корточки, измерял что-то между колесами тильбюри.

— Ну, что я вам говорил? Еще не скоро ваш тильбюри окажется на дороге… Я сразу увидел это… Не верите? Нате, измерьте сами.

Теперь рядом с Дюссолем присел еще и Казавьей; и Ив с удивлением созерцал их два огромных зада. Они встали, багровые от перенапряжения.

— Надо же, Дюссоль, вы правы! Вы просто необыкновенный человек!

Дюссоля сотрясал тихий смех. Он умирал от самодовольства и самолюбования. Его глаз уже больше не было видно: от них осталось только то, что помогает оценить прибыль, которую можно извлечь из людей и вещей.

Мужчины пошли к дому. Иногда они останавливались, смотрели друг на друга, словно решая какую-то проблему, связанную с вечностью, и снова отправлялись в путь. И у Ива, неподвижно стоявшего посреди аллеи, вдруг возникло желание, ужасное и пьянящее, коварно выстрелить по ним сзади. Паф! Прямо в затылок, и они упадут. Двойной выстрел: паф! паф! Ну почему он не император или хотя бы какой-нибудь негритянский царек…

— Я — чудовище, — громко сказал он.

Тут дворецкий закричал с крыльца:

— Кушать подано!

— Ну да, естественно, пальцами…

Они поедали раков. Трещали панцири; они тщательно все обсасывали, раздираемые желанием ничего не оставить и желанием показать хорошие манеры. Ив видел вблизи хрупкую загорелую руку малышки Дюбюш, детскую руку,

соединенную с круглым и в то же время нематериальным плечом. Он лишь изредка осмеливался смотреть на ее лицо, большую часть которого занимали глаза. Крылья носа были и в самом деле крыльями. И только губы, слишком крупные и недостаточно красные, сближали этого ангела с остальными людьми. Некоторые считали ее недостатком не слишком густые волосы; однако ее прическа (пробор посередине и две макаронинки на ушах) подчеркивала красоту, которую не всем удавалось увидеть с первого взгляда: правильную форму головы, контур затылка. Иву припомнились виденные в его учебнике по древней истории репродукции египетских барельефов. И ему доставляло такое удовольствие смотреть на эту девушку, что он даже не пытался разговаривать с ней. В начале трапезы он предположил, что в загородном доме у нее, наверное, много времени для чтения; она едва ответила ему, а теперь беседовала об охоте и лошадях с Жозе. Обычно брат ходил непричесанный, неухоженный, отчего Ив называл его «дитя лесов», а тут он заметил, что у того уложены волосы, зубы сияют белизной, а смуглые щеки порозовели от бритвы. Но что самое главное, он, обычно молчаливый, сейчас разговаривал, смешил свою

соседку, а та восклицала: «Ну какой вы глупый! Вы думаете, что это так уж остроумно!»

Жозе не отрывал от нее глаз, каких-то особенно серьезных, в чем Ив пока что был не способен распознать желание. Однако сейчас он вспомнил, что мать не раз повторяла: «Жозе… за ним нужен будет глаз да глаз… С ним я хлебну забот…» Он часто бегал на ярмарки, на деревенские праздники. Иву казалось глупым тратить время на лотереи и на деревянных лошадок Однако во время последнего праздника он убедился, что брата там интересует вовсе не манеж, а танцы с дочками арендаторов.

И Иву вдруг стало грустно. Само собой, малышка Дюбюш, которой исполнилось семнадцать лет, не придает никакого значения Жозе. Тем не менее она охотно смеялась вместе с ним. Между ними существовало взаимопонимание, которое выражалось не только в словах; взаимопонимание, возникавшее помимо их воли, согласие, которое живет в крови. Иву показалось, что он ревнует, и он устыдился этого своего чувства. На самом же деле он чувствовал себя всеми покинутым, одиноким. Он не говорил себе: «И я тоже в один прекрасный день… может, очень скоро…»

А на другом конце стола на лицах у Жана-Луи и

Мадлен Казавьей было такое выражение, словно этот обед давался по случаю их помолвки. Ив, выпивавший все наливаемые ему бокалы, видел в тумане в конце двойного ряда налитых кровью лиц своего брата, будто в какой-то яме, которая поглотила его навсегда. А рядом с ним сидела красивая особь, послужившая приманкой, и предавалась отдыху, выполнив задачу. Мадлен отнюдь не была такой полной, какой виделась Иву. Она отказалась от коротких болеро. Платье из белого муслина оставляло открытыми ее красивые руки и изящную шею. Расцветшая и одновременно девственно чистая, она была спокойна, она ждала. Иногда они обменивались словами, которые Иву хотелось бы подслушать. Эти слова удивили бы его своей незначительностью. «Вся жизнь перед нами, — размышлял Жан-Луи, — чтобы объясниться...» Они говорили о ежевике, которую им подали и которую было трудно достать, об охоте на вяхиря, о манках, которые нужно будет вскоре расставить, так как витютни, которые идут перед вяхирями, должны уже вот-вот появиться. Вся жизнь, чтобы объяснить Мадлен... Объяснить что? Жан-Луи не сомневался, что пройдут годы, что на его долю выпадут тысячи драм, что у него будут дети, двоих

из которых он потеряет, что он скопит огромное состояние, которое под конец его жизни лопнет, но что при любых обстоятельствах они с Мадлен будут обмениваться все такими же простыми словами, которых им не хватает сейчас, на заре их любви, на этом бесконечном обеде, когда вазы для фруктов гудели от ос, а мороженое оседало в своем розовом соке.

А Ив созерцал это жалкое счастье Жана-Луи и Мадлен с презрением и завистью. Малышка Дюбюш ни разу не повернулась к нему. Жозе, большой любитель поесть, забывал брать себе добавки, но, как и Ив, опорожнял все наливаемые ему бокалы. На лбу у него выступили капельки пота. Околдованный, Жозе давал себе зарок, что пригласит сейчас девушку на прогулку.

— Вы взглянете на мою голубятню до отъезда? Обещайте мне…

— Это ту, что у Мариана? Да вы с ума сошли! Туда больше получаса ходьбы.

— Зато можно было бы спокойно поговорить…

— О! Мы уже и так поговорили, вы уже успели наговорить достаточно глупостей!

Она внезапно обратила на Ива свои наполненные светом глаза:

— Какой он долгий, этот обед!

Иву, ослепленному, захотелось закрыть глаза руками. Растерянный, он соображал, что ответить. Подали пирожные. Он посмотрел на мать, которая в приступе рассеянности забыла, что пора вставать из-за стола. Глядя в пространство, она скользнула двумя пальцами между двумя пуговицами кофты и, пока кюре рассказывал ей про свои распри с мэром, думала об агонии, о смерти, о божьем суде, о разделе владений.

XII

Сытых мужчин влекло к кофе и ликерам, расставленным под дубами. Дюссоль отвел в сторону дядю Ксавье, и Бланш Фронтенак обеспокоенно поглядывала на них. Она опасалась, как бы ее деверь не дал себя обмануть. Ив обогнул дом и пошел по пустынной аллее, ведущей к большому дубу. Ему не понадобилось идти слишком далеко, чтобы не слышать больше голосов, чтобы не чувствовать запаха сигар. Дикая природа начиналась прямо тут же: уже даже ближайшие деревья ничего не знали ни об обеде, ни о пришедших на него гостях.

Ив перешел на ту сторону оврага; он был немного пьян (хотя и не так сильно, как он опасался,

ведь выпил он весьма и весьма прилично). Его ждала его берлога, его кабанье логово: утесники, которые в ландах называют жогами, высокие, в человеческий рост папоротники охватывали его со всех сторон, защищали его. Это было место слез, место запретных книг, безумных слов и приступов вдохновения; отсюда он обращался к Господу, то славя его в своих молитвах, то богохульствуя. Со времени его последнего визита прошло несколько дней, и уже в нетоптаном песке муравьи-львы соорудили свои маленькие воронки. Ив взял одного муравья и бросил его в такую воронку. Тот попытался выбраться, но осыпающиеся склоны разрушались под ним, а из глубины воронки чудовище уже бросалось песком. Едва достигнув края пропасти, измученный муравей снова скользнул вниз. И вдруг он почувствовал, как его хватает какая-то лапа. Он пытался отбиваться, но чудовище медленно тащило его под землю. Ужасная пытка! А вокруг в теплом спокойном воздухе вибрировали сверчки. Летели стрекозы, не решаясь присесть; от розового и рыжего вереска, заполненного пчелами, уже шел запах меда. Теперь из песка выглядывала только голова муравья и две маленькие, отчаянно двигавшиеся лапки. И шестнадцатилетний

мальчик, склонившийся над крошечной тайной, размышлял о проблеме зла. Вот личинка, которая создает эту западню и которая должна, чтобы выжить и стать бабочкой, подвергать муравьев этой ужасной агонии; попытки испуганного насекомого выбраться из воронки, повторяющиеся падения и хватающее его чудовище… Этот кошмар был частью Системы… Ив взял сосновую иголку, выкопал муравья-льва, маленькую мягкую личинку, лишенную отныне своей силы. А освобожденный муравей с той же деловитостью, что и у его товарищей, побежал по дорожке, похоже, уже не вспоминая о случившемся, очевидно, потому, что событие было естественным, потому, что оно вписывалось во все, что происходит в природе… Но Ив-то был здесь, со своим сердцем, со своим страданием, в этом пристанище из жогов. Даже если бы он был одним-единственным человеческим существом, дышащим земным духом, его уже достаточно, чтобы разрушить слепую необходимость, чтобы разорвать эту бесконечную цепь чудовищ, поочередно пожирающих и пожираемых; он мог разорвать ее. В ужасный мировой порядок любовь вносит потрясение. Это тайна Христа и тех, кто подражает Христу. «Ты избран для этого… Я избрал тебя, чтобы все

нарушать…» Мальчик сказал вслух: «Это я сам говорю…» (и надавил обеими ладонями на свое залитое потом лицо). И всегда только мы сами говорим самим себе. Он попытался больше ни о чем не думать. Очень высоко в лазури, на юге, появилась стая витютней, и он проследил за ними взглядом, пока они не скрылись вдали. «Ты же знаешь, кто я такой, — говорил его внутренний голос, — я, избравший тебя». Присев на корточки, Ив взял горсть песка и бросил ее в пустоту, приговаривая с растерянным видом: «Нет! Нет! Нет!»

— Я тебя избрал, я наставил тебя в стороне от других, я пометил тебя своим знаком.

Ив сжал кулаки, говоря себе, что все это бред, что это действует вино. Пусть его оставят в покое, он ничего не требует. Он хочет быть обыкновенным юношей, каким положено быть в его возрасте, похожим на всех своих ровесников. Тогда он сумел бы избавиться от одиночества.

— Я всегда сумею воссоздать одиночество вокруг тебя.

— Разве я не свободен? Я вольный человек! — закричал он.

Он стоял, и его тень шевелилась на листьях папоротника.

— Ты волен носить в этом мире сердце, которое

я создавал не для мира; волен искать на земле пищу, которая не предназначена тебе; волен пытаться утолить голод, который ничто не способно утолить; ты не найдешь умиротворения ни с кем из людей и только будешь метаться от одного к другому…

«Я разговариваю сам с собой, — повторял мальчик, — я такой же, как другие, я похож на других».

В ушах у него шумело; желание поспать свалило его на песок и положило его голову на согнутую руку. Его окружало жужжание шмеля, потом оно удалилось, растворилось в небе. Восточный ветер нес с собой запах свежеиспеченного хлеба и лесопилок. Он закрыл глаза. На его лицо, у которого был вкус соли, налетели мухи, и он отгонял их сонным движением руки. Этот распростертый на земле подросток не мешал вечерним сверчкам; с ближайшей сосны спустилась белка, чтобы напиться из ручья, и пробежала совсем рядом с его неподвижным телом. Какой-то муравей, возможно, тот самый, которого он освободил, пополз вверх по его ноге; за ним стали карабкаться другие. Сколько времени понадобилось бы ему оставаться совершенно неподвижным, чтобы они осмелели и начали растаскивать его

на части?

Свежесть, которой потянуло от ручья, разбудила его. Он вышел из зарослей. Пиджак его был испачкан смолой. Он вытащил из волос несколько застрявших там сосновых иголок. Туман с полей все больше и больше захватывал лес, и этот туман походил на пар, поднимающийся изо рта в холодную погоду. На повороте аллеи Ив столкнулся лицом к лицу с матерью, читавшей молитву. Она набросила на свое праздничное платье старую фиолетовую шаль. Верх платья украшали «просто прелестные», как она имела обыкновение говорить, кружева. Длинная золотая с жемчугом цепь была скреплена брошью: огромными переплетенными буквами Б и Ф.

— Откуда это ты? Тебя тут искали… Это не слишком вежливо.

Он взял руку матери, прижался к ней.

— Я боюсь людей, — сказал он.

— Боишься Дюссоля? Боишься Казавьей? Ты с ума сошел, мой бедный дуралей.

— Мама, это людоеды.

— Как бы то ни было, — задумчиво сказала она, — объедков они после себя не оставляют.

— Ты думаешь, через десять лет от Жана-Луи что-нибудь еще останется? Дюссоль постепенно

сожрет его.

— Что за глупости ты говоришь!

Но тон Бланш Фронтенак выражал нежность:

— Пойми меня, милый… Я спешу увидеть Жана-Луи определившимся. Его очаг будет вашим очагом; когда он образуется, я смогу уйти со спокойной душой.

— Нет, мама!

— Ну посмотри сам. Я вынуждена то и дело отдыхать.

Она тяжело опустилась на скамейку возле старого дуба. Ив увидел, что она ощупывает грудь под кофтой.

— Ты же знаешь, что это не злокачественная опухоль, Арнозан тебе сто раз говорил…

— Вроде бы так… А еще этот ревматизм в сердце… Вы даже не знаете, что я испытываю. Смирись с этой мыслью, мой мальчик; тебе нужно к ней привыкнуть… Чуть раньше, чуть позже…

Он снова прижался к матери и обхватил ладонями ее крупное измученное лицо.

— Ты здесь, — сказал он, — ты всегда здесь.

Бланш почувствовала, что он дрожит, и спросила, не замерз ли он. Она накинула на него свою фиолетовую шаль. Они теперь сидели, оба укрытые этой старой шерстяной шалью.

— Мама, эта шаль… Она была у тебя уже во время моего первого причастия, у нее все тот же запах.

— Твоя бабушка привезла ее из Сали.

Возможно, в последний раз Ив прижался к своей живой матери, которая могла исчезнуть в любой момент. А Юр так и будет из века в век нести свои воды. До скончания века облачко с этого луга будет подниматься к этой вот первой звезде.

— Я хотела бы знать, мой милый Ив, ты знаешь столько разных вещей… на небе продолжают думать о тех, кого оставили на земле? О! Я верю в это! Верю! — с силой повторила она. — Я не допускаю ни единой мысли против веры… но как представить мир, где вы не будете для меня всем, мои дорогие?

И Ив подтвердил ей, что всякая любовь осуществляется в единой любви, что всякая нежность очистится от всего, что ее отягощает… И он удивился этим словам, которые сам же произносил. Мать вполголоса вздохнула:

— Хорошо бы, чтобы никто из вас не погиб!

Они встали, и Ив чувствовал, как его охватывает волнение при прикосновении этой старой, опиравшейся на его руку женщины.

— Я всегда говорю: вы не знаете моего маленького Ива; он изображает из себя вольнодумца, но из всех моих детей он стоит ближе всех к Богу…

— Нет, мама, не говори так, нет, нет!

Внезапно он отпрянул от нее.

— Что с тобой? Ну что это с ним происходит?

Он шел впереди, руки в карманах, плечи приподняты; она, задыхаясь, едва поспевала за ним.

После ужина госпожа Фронтенак, утомленная, поднялась к себе в комнату. Поскольку ночь была светлая, другие члены семьи пошли прогуляться в парк, но уже не вместе: сама жизнь начала разбрасывать ребят в разные стороны. Жан-Луи встретился с Ивом на повороте аллеи, и они не остановились. Старший предпочел одиночество, чтобы думать о своем счастье; у него уже не было ощущения, что он потерпел какой-то ущерб, что он упал; некоторые слова Дюссоля, касавшиеся рабочих, пробудили в юноше еще совсем, смутные надежды: он будет, несмотря на своего компаньона, творить добро, будет стараться помогать установлению христианского общественного порядка. Вместо того чтобы играть в слова, он займется конкретными делами. Что бы там Ив ни думал, это окажется важнее всяких умствований. Даже самое малое милосердное

деяние является намного более достойным… Жан-Луи не был бы счастлив, если бы ему приходилось заставлять работать несчастных… «Помочь им создать очаг по образцу и подобию моего очага…» Он увидел огонек сигары дяди Ксавье. Они прошлись немного вместе.

— Ну, ты доволен, малыш? Доволен? А что я тебе говорил!

Жан-Луи не пытался рассказать дяде обо всех проектах, наполнявших его душу энтузиазмом; а дядя не мог поведать ему, какую он испытывает радость от возвращения в Ангулем. Он компенсирует Жозефе, без чрезмерных трат… Может быть, удвоит ежемесячную выплату… Он скажет ей: «Вот видишь, а если бы мы съездили в это путешествие, оно бы не закончилось…»

«Прежде всего, — размышлял Жан-Луи, — прежде бескорыстного служения, основные реформы: участие в прибылях». Теперь он будет побольше читать об этом.

В лунном свете они увидели Жозе, пересекавшего аллею между двумя группами деревьев. Они услышали, как у него под ногами хрустнула ветка. Куда мчался он, этот ребенок Фронтенак, этот юный лис, рыскающий по лесным тропам? Обладающий наиболее развитым из всех Фронтенаков

инстинктом, неприкаянный самец, бродивший в поздний час по зарослям в полной уверенности, что так и не найдет ту, которую ищет. И тем не менее он все ходил и ходил, шурша сухими листьями, раня руки о жоги, пока не добрался до примыкавшего к парку хутора Буриде. Зарычала собака под беседкой из виноградных лоз, окно кухни было открыто. Семья сидела за столом, освещенном лампой Пижон[11]. Жозе видел профиль молодой замужней женщины, у которой над мощной шеей возвышалась маленькая головка. Он не спускал с нее глаз, стоял и покусывал лист мяты.

А тем временем Ив завершал свой третий круг по парку. Он не чувствовал усталости, от которой чуть позже заснет, едва коснувшись головой подушки. За ужином он допил все вино, еще остававшееся от праздника на дне бутылок, и теперь его необыкновенно трезвый ум подводил итоги дня и выстраивал доктрину, знакомства с которой Жан-Луи отныне был недостоин. Его полуопьянение давало ему ощущение собственной гениальности: он не будет выбирать, ничто не заставит его выбирать, и он совершенно на-

[11] Примечания: 11

Керосиновая лампа, одним из создателей которой был французский изобретатель Шарль Пижон.

прасно ответил «нет» этому требовательному голосу, который, возможно, был голосом Бога. Он не будет никому возражать. И это будет его драма, из которой вырастет его творчество: оно будет выражением душевной боли. Ни в чем не отказывать и ни от чего не отказываться. Любая боль, любая страсть насыщает творчество, наполняет стихотворение содержимым. А поскольку поэт испытывает душевную боль, он также прощен: *«Я знаю, что бережете Вы место поэта — в рядах благословенных легионов святых…»* Его монотонный голос заставил бы Ксавье вздрогнуть — настолько он был похож на голос Мишеля Фронтенака.

Бланш думала, что, едва задув свечку, она тут же и уснет — так велика была ее усталость. Но она слышала шаги своих детей по гравию. Нужно бы послать денег предпринимателю из Распида. Нужно бы попросить баланс ее счета в банке «Креди Лионне». Октябрь уже скоро кончается. Еще хорошо, что есть недвижимость. Но, боже мой! Какое все это имеет значение? И она дотрагивалась до своей опухоли, прислушивалась к биению сердца.

И никто из Фронтенаков не предполагал этой ночью, что вместе с этими длинными каникула-

ми для них заканчивается целая эпоха, что они уже переплелись с прошлым и что, уходя, они навсегда уносят с собой простые и чистые утехи и то невинное счастье, которое не оскверняет сердце.

Только один Ив чувствовал, что происходит какая-то перемена, но лишь потому, что он больше, чем другие, был склонен строить иллюзии. Он видел себя стоящим на пороге жизни, наполненной жгучим вдохновением и опасными опытами. На самом же деле он, сам того не зная, вступал в скучную эпоху: на протяжении четырех лет его основной заботой станут экзамены; ему предстояло водить дружбу с очень посредственными людьми, а возрастные треволнения и незатейливая любознательность должны были уравнять его с приятелями и сделать его их сообщником. Приближалось время, когда важными жизненными проблемами могли стать и ключ от входной двери, который нужно выпросить у матери, и право задержаться где-то вне дома после полуночи. Он не будет больше несчастным. Иногда, с большими интервалами, из глубин его души, словно из-под земли, начнет вырываться на поверхность нечто похожее на стон; распростившись с друзьями, сидя в одиночестве за столом в «Бордоском кафе» посреди выложенных мозаикой чертополохов и

толстомордых женщин, он станет что-то набрасывать в едином порыве на бланках, торопясь, оставляя недописанными буквы, — из страха потерять хотя бы одно из тех слов, которые нам подсказывают лишь раз в жизни. Тогда ему нужно будет поддерживать жизнь другого его «я», которое немногочисленные посвященные в Париже уже превозносили до небес. Правда, их было настолько мало, что Иву придется потратить много лет на то, чтобы осознать собственную значимость, осознать свою победу. Провинциал, привыкший уважать сложившиеся ценности, он долго не узнает, что существует еще другая слава: та, что рождается в тени, прокладывает свой путь, словно крот, выходит к свету лишь после долгих подземных блужданий.

Однако не обойдут его стороной и переживания, об ужасе которых в ту теплую, влажную сентябрьскую ночь, когда он сидел в своей комнате у распахнутого окна, он не имел ни малейшего представления. Чем больше его поэзия будет объединять людей, тем сильнее он станет ощущать собственное оскудение: люди начнут утолять жажду из его источника, но только он один будет знать, что он постепенно иссякает. Именно это и станет причиной недоверия к себе и нежела-

ния внимать раздавшемуся из Парижа призыву, причиной его долгого сопротивления редактору самого значительного авангардистского журнала и, наконец, причиной того, что он не торопился издавать свои стихотворения отдельной книгой.

Ив стоял и, глядя на смутно вырисовывавшиеся в темноте вершины Буриде и на странницу-луну, читал вечернюю молитву. Он ждал всего, призывая все, и был согласен даже на страдания, но страшился долгой жизни с утраченным вдохновением, которое подменяется хитростями достигнутой славы. И он не предполагал, что будет изо дня в день рассказывать об этой драме в одной из газет, которая появится после войны; он согласится на это после многолетнего молчания. Благодаря этим ужасным страницам он спасет лицо; они послужат его славе в большей степени, чем стихотворения: они будут очаровывать и приятно волновать поколение людей, утративших надежду. Может быть, глядя этой сентябрьской ночью на задумчиво стоявшего перед уснувшими соснами невысокого подростка, Бог уже видел, как странно соединятся друг с другом последствия; а подросток, считавший себя гордецом, был далек от осознания собственных возможностей и не подозревал, что судьба

многих людей оказалась бы иной и на земле, и на небе, если бы Ив Фронтенак никогда не родился.

Часть вторая

Как же далеко отсюда и птицы, и родники! За ними только конец света.

Рембо

XIII

— Пять тысяч долга за три месяца! Дюссоль, видели ли мы в старое время что-нибудь подобное?

— Нет, Коссад. У нас было уважение к деньгам; мы знали, сколько усилий стоило нашим дорогим родителям заработать их. Нам с детских лет прививали культ Бережливости. «Порядок, труд, экономия» — таков был девиз моего глубокоуважаемого отца.

Бланш Фронтенак прервала его:

— Речь идет не о вас, а о Жозе.

Теперь она уже жалела о том, что доверилась Дюссолю и своему шурину. Когда Жан-Луи раскрыл эту тайну, пришлось поставить в известность Дюссоля, потому что Жозе воспользовался доверием фирмы. Дюссоль потребовал созвать семейный совет. Госпожа Фронтенак и Жан-Луи

воспротивились тому, чтобы извещать о случившемся дядю Ксавье: у него было больное сердце, а такой удар мог лишь усилить болезнь. Но Бланш никак не могла понять, зачем вмешивать в это дело Коссада. Ее мнение разделял и Жан-Луи.

Молодой человек сидел напротив матери. Сидячая работа сделала его несколько грузным, и волосы его, несмотря на его двадцать три года, успели спереди немного поредеть.

— Ну и глупо же он себя повел, наш Жозе, — произнес Альфред Коссад. — Похоже, всем другим эта девица доставалась задаром… Вы видели ее, Дюссоль?

— Да, однажды вечером… О! Не ради своего удовольствия. Как-то раз госпожа Дюссоль пожелала хоть раз в жизни побывать в «Аполло», чтобы иметь представление, что это такое. Я не счел возможным отказать ей. Как вы сами понимаете, мы взяли ложу бенуара! Так что нас там никто не видел. Эта Стефана Парос танцевала… вы понимаете, с голыми ногами…

У дяди Альфреда заблестели глаза, и он наклонился к нему:

— Вроде бы бывают вечера, когда она…

Фраза осталась незаконченной. Дюссоль снял пенсне, запрокинул голову.

— Вот чего не было, того не было, — сказал он. — На ней был купальничек, очень маленький, но все же был. И я выяснял: без него она все-таки не показывается. Неужели вы думаете, что я бы подверг госпожу Дюссоль… Ну что вы! Как можно! Но уже и так, с голыми ногами…

— И босиком… — добавил Альфред Коссад.

— О! Босиком… — и на лице Дюссоля появилось снисходительное выражение.

— Да, а вот мне, — заявил Альфред с какой-то непонятной горячностью, — именно это кажется наиболее отвратительным…

Бланш раздраженно прервала его:

— Это вы, Альфред, отвратительный человек.

Тот стал возражать, подергивая и поглаживая свою бороду:

— О! Ну вы, Бланш…

— Ладно! Довольно об этом. Ваше мнение, Дюссоль?

— Удалить его, моя дорогая подруга. Пусть уезжает как можно быстрее и как можно дальше. Я хотел бы вам предложить Виннипег… но вы, пожалуй, не согласитесь… Нам нужен представитель в Норвегии… У него было бы там жалованье, скромное, если честно, но немного победствовать — это как раз то, что ему нужно, чтобы он

понял истинную ценность денег… Вы согласны, Жан-Луи?

Молодой человек, не глядя на своего компаньона, признал, что Жозе и в самом деле нужно удалить из Бордо. Бланш пристально взглянула на старшего сына.

— Не забывай, что и Ив уже уехал…

— О! Вот его-то, — воскликнул Дюссоль, — его-то вам как раз следовало удержать при себе! Мне жаль, что вы не посоветовались со мной. Ничто не заставляло его ехать в Париж. Ну сами посудите, не станете же вы мне говорить про его работу? Я знаю ваше мнение, материнская любовь вас не ослепляет, у вас слишком много здравого смысла. Вряд ли я рассеиваю ваши иллюзии, говоря вам, что его литературное будущее… И я знаю, о чем говорю; я постарался ознакомиться лично… Я даже несколько раз читал вслух госпоже Дюссоль, которая, должен признаться, запросила пощады. Вы скажете, что он получил какие-то положительные отзывы… но откуда они берутся, я вас спрашиваю? Кто такой этот господин Жид[12],

[12] Примечания: 12

Жид Андре (1869–1951) — французский писатель, прозаик, драматург и эссеист, оказавший значительное влияние не только на французскую литературу 20 в., но и на умонастроения нескольких поколений французов. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1947).

письмо которого показывал мне Жан-Луи? Есть экономист с такой фамилией, острейшего ума человек, но речь ведь идет не о нем, к сожалению…

Хотя Жан-Луи уже довольно давно знал, что мать не боится противоречить сама себе и не затрудняет себя чрезмерной заботой о логике, он был тем не менее удивлен, услышав, как она использует против Дюссоля те же самые аргументы, которые еще вчера вечером он сам использовал против нее:

— Вы бы лучше не говорили о том, что вы не в состоянии понять, о том, что написано не для вас. Вы одобряете только то, о чем вы уже знаете, о чем вы читали где-то еще. Новое вызывает у вас шок и всегда вызывало у людей вроде вас. Разве я не права, Жан-Луи? Мне говорили, что даже Расин[13] в свое время вызывал недоумение у своих современников…

— Вспоминать о Расине в связи с разглагольствованиями этого желторотого птенца!

— Э! Бедный мой друг! Занимайтесь вашими лесами и оставьте поэзию в покое! Это не ваше

---

[13] Примечания: 13

Расин Жан-Батист (1639–1699) — французский драматург, один из трёх выдающихся драматургов Франции XVII в., наряду с Корнелем и Мольером, автор трагедий на темы античной мифологии. Сюжеты его драм рассказывают о слепой, страстной любви.

дело, да и не мое, — добавила она, чтобы успокоить его, ибо он уже начал надуваться, как индюк, и его затылок побагровел.

— Мы с госпожой Дюссоль следим за всеми новинками… Я с давних пор подписан на «Панбиблион». Я даже специально выписываю журналы. Так что и с этой стороны мы идем в ногу со временем. «Что придает особую приятность беседе госпожи Дюссоль, — говорил мне совсем недавно один из моих коллег по Коммерческому суду, — так это ее начитанность, а ее удивительная память позволяет ей рассказывать вам сюжеты романов или пьес, которые удостоились ее внимания много лет назад, словно она прочитала их только что». Он даже выразился так: «Это прямо живая библиотека, ваша жена…»

— Ей повезло, — сказала Бланш. — А вот у меня голова — настоящее сито: ничего там не остается.

Она нарочно преуменьшала свои способности, чтобы обезоружить Дюссоля.

— Уф! — облегченно вздохнула она, когда почтенные господа откланялись.

Несмотря на то что батареи были раскалены, она направилась к камину. Поселившись в доме с центральным отоплением, Бланш так и не при-

выкла к нему. Ей надо было видеть огонь, нужно было, чтобы огонь обжигал ей ноги — только тогда ей было тепло. Она грустила. Потерять еще и Жозе! А на будущий год он собирался завербоваться в Марокко… Она не должна была отпускать Ива, ей не хотелось признаваться в этом перед Дюссолем, но ведь он и в самом деле мог писать и в Бордо! Она была уверена, что в Париже он ничего не делает.

— Но ведь это же ты, Жан-Луи, вбил ему в голову эту идею. Сам он никогда бы не уехал.

— Будь справедлива, мама, с тех пор, как сестры вышли замуж, с тех пор, как ты поселилась с ними в этом доме, ты живешь только для их семей, для их детей, и это совершенно естественно! Но Ив среди всех этих пеленок чувствовал себя заброшенным.

— Заброшенным! А я, как я ухаживала за ним все ночи, когда он болел воспалением легких…

— Вот-вот, он говорил, что рад своей болезни, благодаря ей он опять обрел тебя…

— Он просто неблагодарный мальчишка, вот и все! — Поскольку Жан-Луи молчал, она добавила: — А скажи мне, что, по-твоему, он делает в Париже?

— Ну, занимается своей книгой, встречается с

другими писателями, разговаривает о том, что его интересует. Устанавливает контакты с журналами, с литературными кругами… В общем, не знаю…

Госпожа Фронтенак покачала головой. Все это ерунда. Как он живет? Он утратил все свои принципы…

— Однако поэзия у него глубоко мистическая, — и Жан-Луи густо покраснел. — Тибоде[14] как-то выразился, что она постулирует метафизику…

— Все это слова… — прервала его госпожа Фронтенак. — Какая там у него метафизика, если он даже не причащается на Пасху… Тоже мне мистик! Мальчишка, который даже не приближается к Святым Дарам! Сам подумай!

Жан-Луи ничего не отвечал, и она продолжила:

— Ну вот, например, когда вы гуляете вместе по Парижу, что он тебе говорит? Рассказывает, с какими людьми встречается? Как брат брату…

— Братья, — сказал Жан-Луи, — могут угадывать мысли друг друга, понимать друг друга,

---

[14] Примечания: 14

Тибоде Альберт (1874–1937) — французский критик, историк литературы и публицист, основные труды которого проникнуты либеральным духом широкой «терпимости» и «объективизма» и посвящены французской литературе 19–20 вв.

но до определенного предела. Они все-таки не исповедуются…

— Ну что ты мне говоришь? Вы какие-то слишком сложные…

И Бланш, поставив локти на колени, помешала огонь в камине.

— Ну а Жозе, мама?

— Ах! Уж этот мне мальчишка! К счастью, ты хоть, по крайней мере…

Она посмотрела на Жана-Луи. А так ли уж он счастлив? У него на плечах лежала тяжелая ноша, за многое приходилось отвечать, он не всегда ладил с Дюссолем; и Бланш должна была признать, что ему иногда не хватало осторожности, если не сказать — здравого смысла. Это, конечно, хорошо — быть хозяином с чувством социальной справедливости, но, как говорит Дюссоль, в момент подведения итогов становится ясно, во что это обходится. Бланш была вынуждена согласиться с Дюссолем, когда тот воспротивился созданию «заводских комитетов», где Жан-Луи собирался объединить представителей рабочих и дирекции. Он также не пожелал ничего слышать о «паритетных комиссиях», механизм которых безуспешно пытался ему объяснить Жан-Луи. Однако Дюссоль в конце концов уступил в одном

пункте, который, по правде говоря, его молодому компаньону был дороже всего. «Давайте дадим ему попробовать, — сказал Дюссоль. — Пусть это нам недешево обойдется, но он должен развернуться».

Великая идея Жана-Луи состояла в том, чтобы вовлечь персонал в управление всеми делами, заинтересовать его этим. С согласия Дюссоля он собрал рабочих и изложил им свой план: распределить между всеми рабочими акции в соответствии со стажем работы на фирму. Здравый смысл Дюссоля восторжествовал: рабочим эта затея показалась смешной, и не прошло и месяца, как они продали свои акции. «Я же говорил ему, — повторял Дюссоль. — Но нужно было, чтобы он сам во всем убедился. Я вовсе не жалею о потраченных деньгах. Зато теперь он понимает, с кем имеет дело, и не строит себе иллюзий. Самое забавное, рабочие любят меня за мою хитрость, знают, что меня не проведешь, а к тому же я умею с ними говорить, и они ко мне привязаны, а его, несмотря на все его социалистические идеи, рабочие считают гордым, им кажется, что он держится от них на расстоянии; так что по всем вопросам они обращаются ко мне, а не к нему».

— В сущности, — сказал Жан-Луи, — если ты

хочешь, чтобы Жозе остался в Бордо, это нетрудно сделать: Парос передала мне через своего агента, что она не имеет на Жозе никаких видов, что она принимала от него только букеты. Это не ее вина, что Жозе всегда платил в ресторане… Он производил впечатление очень богатого. И к тому же на следующей неделе она покидает Бордо… Но все-таки я думаю, что для него было бы лучше сменить обстановку, пока он не отслужит в армии… Другая на месте Парос прибрала бы его к рукам. Кстати, я не согласен с Дюссолем: его не следует оставлять без денег…

Госпожа Фронтенак пожала плечами:

— Само собой! Когда он тут рассуждал про нужду, я не возражала, чтобы не раздражать его, но ты же сам понимаешь!

— Тогда я схожу за ним? Он ждет у себя в комнате…

— Да, только зажги свет.

Лампа под потолком залила унылым светом комнату в стиле ампир, оклеенную выцветшими обоями. Жан-Луи привел Жозе.

— Послушай, старина, вот что мы решили…

Провинившийся стоял в тени с опущенной головой. Он выглядел более коренастым, чем его братья, приземистым и широкоплечим. Кожа

на лице темная и загорелая, зараставшая до самых скул, сейчас была гладко выбрита. Глядя на юношу, Бланш вспомнила школьника, которого она заставляла когда-то в утренних сумерках повторять уроки и который стоял перед ней с таким же отсутствующим видом, как сейчас, не слушая ее, противопоставляя всем ее мольбам и всем ее угрозам необыкновенную способность увиливать и отсутствовать; он с наслаждением погружался в каникулярные грезы Буриде, затем целиком погрузился в охотничьи забавы, проводя зимой целые ночи в засадах на диких уток; а потом все свои устремления и желания он вдруг направил на одну женщину, которая слабо подражала Фреголи[15] в провинциальных мюзик-холлах («танцовщица из Севильи! гурия! камбоджийская танцовщица!»). Как-то раз после спектакля один приятель познакомил его с ней; они зашли в кабаре целой компанией. Жозе ей в тот вечер понравился, но только в тот вечер. Он же загорелся, увлекся. Все остальное перестало существовать для него; в конторе он практически не появлялся, и Жану-Луи пришлось взять на себя всю его работу. Робкая, но упорная ревность Жозе

[15] Примечания: 15

Фреголи Леопольд (1867–1936) — знаменитый итальянский актёр-комик.

выводила женщину из себя…

И вот теперь он стоял перед матерью и братом, стоял с непроницаемым лицом и никак не выражал своих чувств.

— Это серьезное дело, долги, — говорила ему мать, — но пойми меня, дело вовсе не в деньгах. Распутная жизнь, которую ты начал вести, — вот что прежде всего волнует меня. Я верила в своих детей, полагала, что они сумеют избежать всех этих пошлостей, а мой Жозе…

Был ли он взволнован? Он прошел и сел на диван, где свет упал ему прямо на лицо. Жозе похудел, и казалось, что даже виски его как-то впали. Он спросил лишенным каких бы то ни было эмоций голосом, когда ему нужно уезжать, и, услышав материнское: «в январе, после праздников…», сказал:

— Я предпочел бы как можно скорее.

Он спокойно воспринял это решение. Бланш говорила себе, что у него все наладится. И все же на душе у нее было тревожно, и она всячески успокаивала самое себя. От нее не укрылось, что и Жан-Луи тоже наблюдает за своим младшим братом. Другие на их месте порадовались бы его спокойствию. Но мать и брат знали, что они столкнулись со страданием, физически прикос-

нулись к этому отчаянию, отчаянию ребенка, самому худшему из всех переживаний, наименее поддающемуся анализу и не имеющему никаких преград вроде рассудка, интересов, честолюбия… Старший брат не спускал глаз с растратчика, а мать встала. Она подошла к Жозе, взяла его голову обеими руками, как бы желая разбудить его, вывести из гипнотического сна.

— Жозе, посмотри на меня.

Она говорила повелительным тоном, а он по-детски тряс головой, закрывая глаза, пытался высвободиться. Бланш читала незнакомую ей историю любовной болезни на потемневшем лице сына. Он, конечно же, поправится! Это не продлится долго… только надо добраться до другого берега и не погибнуть в пути. Она всегда за него боялась, за этого мальчика: когда он был маленьким, она никогда не знала, чего от него ожидать. Если бы он хотя бы что-нибудь сказал, если бы пожаловался… Так ведь нет, он сидел, сжав челюсти и обратив к ней прокаленное солнцем лицо мальчишки из ландов… (может быть, какую-нибудь из ее прародительниц соблазнил один из каталонцев, торговавших контрабандными спичками). Глаза его горели, но горели темным светом: в них нельзя было ничего прочитать.

Тогда Жан-Луи, приблизившись, тоже схватил его за плечи и несильно встряхнул. Он повторил несколько раз: «Старина Жозе, мой дорогой малыш…» — и вдруг добился того, чего никак не удавалось матери: заставил его расплакаться. Просто к материнской ласке Жозе привык и никак не отозвался на нее. А вот Жан-Луи никогда не был с ним нежен. Это оказалось настолько неожиданным для него, что он, скорее всего, заплакал от удивления. У него из глаз брызнули слезы, и он вцепился в брата, как утопающий. Госпожа Фронтенак инстинктивно отвела глаза в сторону и вернулась к камину. Она слышала лепет, всхлипывания; склонившись к огню, она прижимала руки ко рту.

Братья подошли к ней:

— Он будет хорошо себя вести, мама, он мне пообещал.

Она притянула к себе несчастного ребенка, чтобы его поцеловать.

— Милый мой, у тебя больше никогда не будет такого выражения лица?

Один раз у него все-таки будет подобное выражение, несколько лет спустя, в конце августа 1915 года, в Мурмелоне, между двумя рядами палаток. Никто тогда не обратит на это внимания, даже его

товарищ, который в этот момент будет заверять его: «Похоже, что артподготовка будет такая, что сметет все на нашем пути: нам не нужно будет даже снимать винтовку с плеча; пойдем вперед, руки в брюки…» Жозе Фронтенак посмотрит на него с тем же выражением: в глазах ни капли надежды, но в тот день это уже никого не испугает.

XIV

Жан-Луи поторопился вернуться домой; его дом находился в двух шагах, на улице Лафори де Монбадон. Ему не терпелось еще до ужина рассказать все Мадлен. У Ива вызвал отвращение этот особняк, обживавшийся с такой любовью. «Ты же не начинающий дантист и не молодой врач, — сказал он ему, — чтобы уставлять камины, увешивать стены и даже колонны этими мерзкими подарками, которыми вас завалили гости».

Жан-Луи стал было возражать, но вдруг на самом деле убедился в правоте брата и отныне глядел глазами Ива на всех этих пряничных амурчиков, бронзовые безделушки и австрийские терракотовые статуэтки.

— У малышки температура, — сказала Мадлен.

Она сидела рядом с колыбелью. Переселившись в город, эта сельская девушка располнела. Широкоплечая, с толстой шеей, она больше не выглядела юной. Может быть, она опять забеременела? На груди вздулась толстая голубая вена.

— Сколько?

— Тридцать семь и пять. И ее стошнило, когда она поела в четыре часа.

— Температура субфебрильная? Тогда это нормально, особенно вечером.

— Нет, повышенная, и доктор Шатар подтвердил это.

— Да нет же, он имел в виду температуру, измеренную под мышкой.

— А я говорю тебе, что это повышенная температура. Не очень высокая, конечно. Но все равно повышенная.

Он раздраженно махнул рукой, наклонился над колыбелью, пахнувшей овсяной кашей и молоком, которым ее стошнило. Когда он поцеловал девочку, она заплакала.

— Ты колешь ее щетиной.

— Неправда, подбородок у меня гладкий, как персик, — возразил он.

Он походил немного по комнате, надеясь, что жена спросит его про Жозе. Однако она никогда

сама не задавала вопросов, как бы ему этого ни хотелось. Он должен был бы уже понять это, а все продолжал надеяться.

Она сказала:

— Садись ужинать без меня.

— Из-за малышки?

— Да, я хочу дождаться, пока она заснет.

Он был раздосадован: на ужин было суфле с сыром, которое нужно есть сразу, как только его вытаскивают из печки. Но, должно быть, Мадлен об этом вспомнила — как-никак она была воспитана в культе домашних сельских трапез и в уважении к еде, — поэтому не успел Жан-Луи развернуть салфетку, как она уже сидела на своем месте. «Нет, — подумал Жан-Луи, — она не спросит, бесполезно даже ждать».

— Так что же ты не спрашиваешь, милая?

— О чем?

— Жозе, — начал он, — это была целая история! Дюссоль и дядя Альфред не решились настоять на Виннипеге… Он поедет в Норвегию.

— Ну, это не наказание… Там, скорее всего, можно будет охотиться на уток, а ему больше ничего и не надо.

— Ты думаешь? Если бы ты его видела… Он же любил ее, — добавил Жан-Луи и густо покраснел.

— Эту девицу?

— Не надо смеяться… — И он повторил: — Если бы ты его видела!

Мадлен с хитрым, понимающим видом пожала плечами и положила себе на тарелку вторую порцию. Она была не из Фронтенаков, зачем настаивать? Все равно не поймет. Она же не из рода Фронтенаков. Он попытался вспомнить выражение лица Жозе, слова, которые он бормотал. Неведомая страсть…

— Приходила Даниэль, мы с ней выпили чаю и мило поболтали. Она принесла мне выкройку детской распашонки, ты помнишь, о которой я тебе говорила, с длинными рукавами.

Разумный Жан-Луи с удивлением подумал, что завидует этому смертельному безумию, во власти которого оказался брат. Испытывая отвращение к самому себе, он посмотрел на жену, катавшую в руках хлебный шарик.

— И что? — спросил он.

— Да так, ничего… я ничего не говорила, зачем? Ты не слушаешь и никогда не отвечаешь на мои вопросы.

— Ты сказала, что приходила Даниэль?

— Ты никому не скажешь? Это строго между нами, разумеется. Мне кажется, ее мужу осточер-

тело жить под одной крышей с твоей матерью. Как только получит прибавку к заработку, он намерен переехать в другое место.

— Они не сделают этого. Мама ведь купила дом и для них тоже; они не платят за квартиру.

— Вот это-то их и удерживает… Но с ней так утомительно жить… Ты же сам признаешь. Ты раз сто повторял мне…

— В самом деле? Хотя вполне возможно, что действительно говорил.

— А, кстати, Мари останется; у нее муж более терпеливый, а главное, он больше думает о своей выгоде. Он никогда не откажется от преимущества, которое там имеет.

Жан-Луи представил себе мать в невыигрышной роли старой квартирантки, которую дети отсылают из одного дома в другой. Мадлен настаивала:

— Я-то ее люблю, и она меня тоже обожает. Но в то же время я знаю, что не смогла бы с ней жить. О! Нет! Только не это…

— А вот она смогла бы жить с тобой.

Мадлен обеспокоенно посмотрела на мужа:

— Ты не сердишься? Это не мешает мне любить ее, тут дело просто в характере.

Он встал и подошел поцеловать жену, чтобы

она простила его за возникшие у него мысли. В тот момент, когда они выходили из-за стола, слуга принес два письма. Жан-Луи узнал на одном из конвертов почерк Ива и положил его в карман, а затем попросил у Мадлен разрешения вскрыть другое.

«Господин и наш дорогой благодетель, я пишу Вам это письмо, чтобы сообщить, что в четверг, в три часа у нашей малышки будет первое причастие, она знает уже все молитвы, и когда мы с ее отцом видим, как она молится утром и вечером, то нас это очень умиляет, но в то же время мы немного обеспокоены, потому как мы же знаем, что там, где праздник, там и расходы, хотя это и ради Господа нашего, особенно когда мы и без того в разных мелких долгах как в шелках. Но как я говорю своему мужу, ведь не оставит же тебя наш благодетель в затруднительном положении, тебя, сохранившего акции, вместо того чтобы их продать, а потом пропить, как сделали все остальные, особенно некоторые, которые не протрезвлялись целый месяц после распределения акций, что за них прямо было стыдно, а тех, кто понял вашу благородную мысль, обзывают штрейкбрехерами и подлизами и вообще всеми теми именами, которые уважение и законы

вежливости не позволяют мне запечатлеть на этой бумаге. Но как говорит мой муж: когда имеешь такого хозяина, то нужно уметь быть достойным его через понимание его инициатив в пользу рабочего…»

Жан-Луи порвал письмо и несколько раз провел по носу и по губам.

— Не забывай про свой тик, — сказала, заметив это, Мадлен и добавила: — Я страшно хочу спать. Боже мой! А ведь сейчас еще только девять часов… Ты не слишком поздно ляжешь? И разденешься в туалетной комнате?

Жан-Луи любил свою библиотеку: критика Ива к ней не относилась. Там не было ничего, кроме книг, и даже камин был заставлен ими. Он осторожно закрыл дверь, сел за стол, взвесил в руке письмо брата, радуясь тому, что оно было тяжелее, чем обычно. Он аккуратно вскрыл его, не повредив конверта. Как настоящий Фронтенак, Ив сообщил сначала новости, касавшиеся дяди Ксавье, с которым он обычно по четвергам обедал. Бедный дядя Ксавье, которого намерение племянника поселиться в Париже привело в ужас, сделал все, чтобы отговорить Ива. Фронтенаки притворялись, что им неизвестна причина подобного сопротивления. «*Он успокоился,* — писал Ив, —

теперь он уже понял, что Париж достаточно велик, чтобы племянник никогда не столкнулся со своим дядей, гуляющим с любовницей… Ну так вот, я все же с ними столкнулся! Я заметил их однажды на бульварах и даже немного последил за ними. Это светловолосая дылда, которая лет двадцать назад, вероятно, была ничего себе. Поверишь ли, они вошли в закусочную Дюваля! Себе он, скорее всего, купил сигару не дороже трех су. Меня же он всегда приглашает к Прюнье и после десерта предлагает сигару „Бок“ или „Генри Клей“. Все дело в том, что я Фронтенак… Представь себе, я встречался с Барресом[16]*…*» Далее шло подробное описание этого визита. Накануне один его приятель передал ему высказывание мэтра: «*Какая жалость! Мне нужно подать этому юному Фронтенаку какую-нибудь соответствующую его темпераменту идею…*» Это не охладило Ива. «*Я был не так запуган, как этот великий человек, но почти так же. Мы вышли из дома вместе. На улице любитель душ немного оттаял. Он сказал мне… сейчас мне не хотелось бы упустить ни одного из сказанных им драгоценных слов, он*

[16] Примечания: 16

Баррес Морис (1862–1923) — французский писатель и политический деятель, книги которого отличались мистическим самоанализом, шовинистическими и расистскими идеями.

сказал мне...»

Нет, Жана-Луи интересовало не то, что сказал ему Баррес... Он быстро пробежал глазами письмо, чтобы наконец добраться до того места, где Ив начнет говорить о своей жизни в Париже, о своей работе, о своих надеждах, о мужчинах и женщинах, с которыми встречается. Жан-Луи перевернул страницу. Ив тщательно вымарал все строчки на ней, равно как на обороте и на следующем листке. Он не только перечеркнул страницы, но и замазал буквально все слова каракулями, завитушки которых находили одна на другую. Возможно, под этими неистовыми каракулями покоились тайны младшего брата. Жан-Луи подумал о том, что, наверно, есть специалисты, которые смогли бы расшифровать. Но ведь не отдашь же письмо Ива в чужие руки. Жан-Луи вспомнил про лупу, которая давно уже лежала на столе (еще один свадебный подарок!), и принялся изучать каждое зачеркнутое слово с такой страстью, словно от решения этой задачи зависела судьба Франции. Однако лупа помогла ему лишь понять, какими средствами воспользовался Ив, чтобы сбить с толку дешифровщика: он не только соединил слова случайными буквами, но и наставил повсюду прямых черточек. После

часа бесплодных усилий старший брат добился лишь самых незначительных результатов, но, во всяком случае, старания, которые Ив предпринял, чтобы вымарать собственный текст, говорили о его важности. Жан-Луи положил руки на стол и в ночной тишине услышал голоса двух громко о чем-то споривших мужчин. Прозвенел последний трамвай на проспекте Бальгери. Молодой человек сидел, устало глядя на таинственное письмо. А что, если взять автомобиль? Проведя в пути всю ночь, он часам к двенадцати был бы уже у брата… Увы! Он мог бы уехать вот так, один, только по каким-нибудь делам. А таковых в данный момент у него не было. Ему случалось мотаться в Париж раз в пять дней ради нескольких тысяч франков; однако тут речь шла лишь о спасении брата — никто бы его не понял. Спасать его от чего?

Эти взятые обратно признания без сомнения разочаровали бы Жана-Луи. Ив зачеркнул их не столько по стыдливости, сколько по скромности. «Разве это ему будет интересно? — сказал он себе. — А к тому же он там все равно ничего не поймет…» В последнем суждении Ива не было никакого презрения. Просто на расстоянии родственники представлялись ему слишком

простыми и слишком чистыми. Люди, среди которых он вращался в Париже, казались ему принадлежащими к странной породе, с которой его род — род сельских жителей — тщетно пытался бы установить хоть какой-нибудь контакт. «*Ты даже не понял бы, что они говорят,* — писал он (не подозревая, что он зачеркнет все, даже еще не закончив письма), — *настолько быстро они говорят, притом всегда с намеками на людей, чьи имена и сексуальные привычки непременно должны быть тебе известны. С ними я всегда опаздываю на две-три фразы и смеюсь через пять минут после того, как другие уже отсмеялись. Но поскольку меня держат за своего рода гения, то эта медлительность является одной из составляющих моего „я“, и они даже ставят мне ее в заслугу. Кстати, большинство из них даже не читали меня, а только делают вид, что читали. Они любят меня как такового, а не потому, что я что-то написал. Милый мой старина Жан-Луи, в Бордо мы и не подозревали, что даже наш юный возраст может казаться кому-то сокровищем. В нашей среде молодость непопулярна: это неблагодарный возраст, возраст набивать себе шишки, пора прыщей, фурункулов, влажных ладоней и прочих неприятностей. А здесь люди смотрят*

на возраст по-другому. Здесь нет места фурункулам, за один день ты превращаешься в дитя Севера. Иногда какая-нибудь дама, которая говорит, что она без ума от твоей поэзии, желает слушать ее из твоих уст, и ты видишь, как ее грудь вздымается и опускается с такой силой, что ее хватило бы для поддержания огня в горне кузницы. В этом году все двери распахнуты перед моей „чудесной молодостью“, причем двери обычно очень закрытых салонов. Но, вместе с тем, литература — тоже всего лишь предлог. Никто, в сущности, не любит того, что я делаю, они в этом ничего не понимают. Они любят не это; „они любят людей“, как они говорят; я — человек, а ты, сам о том не догадываясь, — другой человек. К счастью, у этих людоедов и людоедок уже нет зубов, и они едят тебя только глазами. Они не знают, откуда я приехал, им не важно, есть ли у меня мать. Я бы возненавидел их только за то, что никто из них ни разу даже не поинтересовался, как поживает моя мама. Они не знают, что такое Фронтенак. Даже не подозревают величие тайны Фронтенаков. Я мог быть сыном каторжанина, только что сам выйти из тюрьмы, и это ничего бы не изменило, может быть, это даже понравилось бы им… Им

довольно того, что мне двадцать лет, что я мою руки и все остальное и что у меня есть определенное литературное положение, объясняющее мое присутствие в кругу послов и членов Института за их роскошным столом… роскошным, однако вина там, как правило, подают плохо, слишком холодными, в слишком маленьких бокалах. И, как сказала бы мама, некогда ни разжевать, ни проглотить…»

Именно здесь Ив остановился и после некоторого размышления вымарал все до последнего слова, не предполагая, что этим мог совсем сбить с толку старшего брата. А тот вглядывался в эти иероглифы и, пользуясь тем, что его никто не видел, дал волю своему тику: сложенной ладонью он медленно водил по носу, по усам, по губам…

Вложив письмо Ива в свою папку, он посмотрел на часы: должно быть, Мадлен уже беспокоится. Он позволил себе еще десять минут побыть в одиночестве и тишине, взял книгу, раскрыл ее, вновь закрыл. А не делает ли он вид, что любит стихи? Все же время от времени он читал. Ив както сказал ему: «Ты совершенно прав, что больше не захламляешь свою память, необходимо забыть все, чем мы имели глупость ее напичкать…» Но то, что говорил Ив… С тех пор, как он стал жить в

Париже, никогда нельзя было понять, говорит ли он серьезно или шутит, впрочем, возможно, он и сам этого не знал.

Жан-Луи увидел свет под дверью и понял, что у изголовья кровати горит светильник, это был немой укор; это значило: «Из-за тебя я не сплю; я предпочитаю дождаться тебя, чем быть разбуженной, едва заснув». Тем не менее он разделся, стараясь как можно меньше шуметь, и вошел в комнату.

Она была просторной, и, несмотря на насмешки Ива, Жан-Луи всегда заходил в нее с некоторым волнением. Впрочем, ночь покрывала и растворяла все подарки, бронзовые статуэтки и амуров. Мебель представлялась лишь каким-то размытым монолитом. Колыбелька, прикрепленная к огромной кровати, была похожа на лодочку, казалось, будто одного дыхания ребенка достаточно, чтобы надуть ее прозрачные занавески. Мадлен не дала ему извиниться.

— Я не скучала, — сказала она, — размышляла…

— О чем же?

— Я думала о Жозе, — ответила она.

Он был тронут. Теперь, когда он уже перестал надеяться, она сама заговорила о том, что его

больше всего волновало.

— Дорогой, я кое-что придумала относительно него… Подумай, прежде чем сказать «нет»… Сесиль… да, Сесиль Фило… Она богата, она выросла в деревне и привыкла видеть мужчин, встающих до восхода солнца, чтобы отправиться на охоту, и ложащихся спать в восемь часов. Она знает, что охотника никогда нет дома. Он был бы счастлив. Как-то однажды он сказал мне, что она ему понравилась. «Мне нравятся такие вот женщины в теле…» Он так сказал.

— Он никогда не согласится… И потом, на будущий год его ожидает трехлетняя служба в армии… Он все мечтает о Марокко или о Южном Алжире.

— Да, но если он будет помолвлен, это его удержит. И потом, может быть, папа смог бы сократить срок его службы до одного года, как сыну…

— Мадлен! Прошу тебя!

Она кусала губы. Ребенок вскрикнул, она протянула руку, и колыбелька издала звук, похожий на скрип мельницы. Жан-Луи размышлял о желании Жозе отправиться в Марокко (оно возникло

после того, как он прочел книгу Психариса[17])… Следовало ли удержать его или толкнуть на этот путь?

Внезапно Жан-Луи произнес:

— Женить его… а это неплохая идея!

Он думал о Жозе, но и об Иве тоже. Именно в этой теплой комнате, где пахло молоком, с ее обоями, обитыми креслами, в этом маленьком кричащем существе, этой молодой и плодовитой грузной женщине — вот в чем могут найти прибежище дети семьи Фронтенак, вылетевшие из родного гнезда и больше не охраняемые соснами летних каникул, не укрываемые ими от жизни в душном парке. Их, изгнанных из рая детства, удаленных от любимых ими лугов, прохладной ольхи, родников среди мощных папоротников, необходимо окружить обоями, мебелью, колыбельками, нужно, чтобы каждый из них рыл свою нору…

Все тот же Жан-Луи, который так стремился защитить своих братьев и найти им укрытие, каждое утро в преддверии ожидаемой войны выполнял физические упражнения, чтобы развить

---

[17] Примечания: 17

Психарис Яннис (1854–1929) — греческий писатель и языковед, боровшийся за широкое утверждение в литературе «народного» греческого языка.

свою мускулатуру. Он беспокоился, сможет ли он вступить во вспомогательные войска. Никто бы не смог отдать свою жизнь легче его. Однако в семье Фронтенак все происходило так, точно братская и материнская любовь были неразрывно связаны или словно и у той и у другой был единый источник. Забота Жана-Луи о своих младших братьях и сестрах, и даже о Жозе, которого так манило в Африку, забота, полная волнения и тревоги, была сродни заботе их матери. Особенно в этот вечер: немое отчаяние Жозе, молчание, вылившееся в бурное выражение чувств, взволновали его; однако, пожалуй, меньше, чем перечеркнутые страницы Ива, вместе с тем письмо попрошайки-работницы, похожее на многие из полученных им прежде, задело его глубже всего, разбередило рану. Он еще не вполне смирился с тем, что надо относиться к людям так, как они того заслуживают. Их наивное подхалимство его раздражало, и особенную боль ему доставляли их неуклюжие попытки изобразить религиозность. Он помнил того восемнадцатилетнего парня, который попросил быть ему крестным отцом, которого он самолично и с такой любовью наставлял… А несколько дней спустя ему стало известно, что его крестник уже был крещен

протестантами, таким образом, деньги, которые предназначались для крестин, он оставил себе. Наверняка Жан-Луи знал, что то был особенный случай и что чистые души не лгут; его неудача или, скорее, просчет в области психологии, некая неспособность давать людям верную оценку, всегда обрекали его на подобного рода злоключения. Его застенчивость, проявлявшаяся в отсутствии гибкости, отдаляла от него простых людей, но не отпугивала ни льстецов, ни лицемеров.

Лежа на спине, он смотрел в потолок, мягко освещенный лампой, и чувствовал свою абсолютную неспособность изменить что-либо в чужой судьбе. Его братья, вероятно, осуществят в этом бренном мире то, зачем они сюда явились, и любые повороты непременно приведут их туда, где их ждут или кто-то их подстерегает…

— Мадлен, — спросил он вдруг вполголоса, — веришь ли ты, что возможно что-то сделать для других?

Она повернула к нему свое полусонное лицо, убрала волосы.

— Что? — спросила она.

— Я хочу сказать, считаешь ли ты, что после многочисленных усилий можно было бы изменить, пусть хоть чуть-чуть, судьбу какого-то

человека?

— О! Ты только об этом и думаешь, изменить других, поставить их на другое место, внушить им идеи, отличные от тех, которые они имеют…

— Возможно, — он рассуждал сам с собой, — я только укрепляю их в их пристрастиях; когда я полагаю, что сдерживаю их, они собирают все свои силы для того, чтобы рвануть в своем направлении, противоположном от того, которого хотелось бы мне…

Она подавила зевок:

— Ну и что из этого, дорогой?

— Если верить Сене, эти грустные и нежные слова Иисуса, обращенные к Иуде, похоже, подталкивают его к двери, заставляют поскорее выйти…

— Тебе известно, который сейчас час? Уже за полночь… Завтра утром ты не сможешь встать.

Она потушила лампу, а он лежал в полумраке, словно на дне моря, ощущая на себе всю его невероятную тяжесть. Его подхватил вихрь тревоги и одиночества. Вдруг он вспомнил, что забыл прочесть свою вечернюю молитву. Тогда этот взрослый мужчина сделал в точности то же самое, что сделал бы, если бы ему было десять лет: он тихо встал с постели и опустился на колени

на коврик перед кроватью, зарывшись головой в простыни. Ни единый вздох не нарушал тишины, ничто не указывало на то, что в комнате спали женщина и маленький ребенок. Воздух был тяжелый, наполненный различными запахами, поскольку Мадлен, подобно всем деревенским жителям, опасалась воздуха с улицы; ее мужу пришлось привыкнуть больше не открывать окно по ночам.

Он начал с обращения к Святому Духу: «*Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende…*»[18] Однако, пока его губы произносили эти удивительные слова, он прислушивался лишь к тому спокойствию, которое было ему хорошо знакомо и которое просачивалось из всего его существа, подобно тому, как просачивается сквозь землю вода в истоке реки: да, к спокойствию бурному, захватывающему, покоряющему, похожему на воды родника. И по опыту ему было известно, что не следует допускать ни малейших раздумий, а также поддаваться чувству ложного унижения, которое заставляет говорить: «Это ничего не значит, это поверхностные ощущения…» Нет, не надо ничего

[18] Примечания: 18

«Приди, Дух Святой, наполни сердца верных твоих и возожги в них огонь любви твоей…» *(лат.).*

говорить, нужно просто принять это ощущение, и никакая тревога не выдержит… Какое все же безумие думать, что очевидный результат наших усилий, каким бы маленьким он ни был, тоже имеет значение… Но действительно имеет значение только это жалкое усилие само по себе, чтобы удержаться у руля, чтобы его выправить, — особенно чтобы его выправить… И неведомые, непредсказуемые, немыслимые плоды наших поступков проявятся однажды при свете дня, плоды, выброшенные на свалку, подобранные с земли, плоды, которые мы не осмелимся никому преподнести… Мимоходом он заглянул в глубины своего сознания: да, завтра он сможет причаститься. После этого он расслабился. Он знал, где находился, атмосфера комнаты все еще продолжала влиять на него. Только одна мысль никак не давала ему покоя: мысль о том, что сейчас он уступал гордости, он искал удовольствия… «Но если бы это был Ты, Господь мой…»

Деревенская тишина опустилась и на город. Жан-Луи внимательно прислушивался к тиканью часов, в полумраке он различал приподнятое плечо Мадлен. Ничто не ускользало от его внимания, но ничто и не отвлекало от мыслей о главном. Некоторые вопросы проносились в его

сознании, но, найдя ответы, исчезали прочь. Например, он понял в некий момент озарения, на примере Мадлен, что женщины несут в себе гораздо более богатый, по сравнению с мужчинами, мир чувств, однако они лишены дара его выразить: очевидная неполноценность. То же самое происходит и с народом. Бедность его словарного запаса… Жан-Луи ощутил, что он постепенно отходит от отвлеченных идей в область более приземленную, он более не витает в облаках, он шагает по отмели, удаляется от своей любви. Он перекрестился, скользнул в постель и закрыл глаза. Едва ли он услышал сирену над рекой. Первые тележки зеленщиков не нарушили его сна.

XV

Юноша, сидевший за рулем, не сбавляя бешеной скорости, обернулся и прокричал:

— Будем останавливаться в Бордо перекусить?

Англичанин, по обе стороны от которого сидели две молодые женщины, спросил:

— В «Лакомую курочку», не так ли?

Молодой человек за рулем бросил на него мрачный взгляд. Ив Фронтенак на своем переднем сиденье взмолился:

— Жео, смотри, куда едешь… Осторожно, там ребенок…

Каким безумием было сесть в машину вместе с этими незнакомцами! Три дня назад он обедал в Париже, у американки, имени которой он никак не мог запомнить, да вряд ли сумел бы и правильно выговорить. Он «блистал» как никогда (в обществе было принято считать его неподражаемым, хотя порой он бывал скучнейшим сотрапезником), «Вам повезло, — сказал Жео, который восхищался Ивом и привел его к этой даме, — вас посетит очаровательный Фронтенак»… «Помери» создало между этими едва знакомыми друг с другом людьми атмосферу нежности. Дама на следующее утро должна была уезжать в Гетари. Всего на три дня… Она предложила взять их всех с собой: расставаться было невыносимо, отныне они должны были повсюду следовать друг за другом. Июньская ночь была жаркой, но, к счастью, никто из мужчин не был в смокинге. Оставалось лишь подогнать машину и тронуться в путь. Предполагалось, что машину поведет Жео. Приехав на место, все рассчитывали окунуться…

В Бордо Ив застал свою мать врасплох, после завтрака та была одна; при виде сына, которого никак не ожидала, она побледнела. Ив расцело-

вал ее пепельно-серые щеки. Окно гостиной в стиле ампир было открыто и выходило на шумную улицу, с которой доносились резкие запахи. Он сообщил, что может уделить ей всего лишь полчаса, поскольку его друзьям не терпелось поскорее добраться до Гетари. На обратном пути в Бордо останавливаться они не собирались, но это совершенно неважно, потому что через три недели он планирует приехать к матери и провести с ней целый месяц. (На самом деле ее дочери с семьями сняли виллу на берегу моря, где для госпожи Фронтенак места не было.) Она решила дожидаться Ива не в удушливых ландах Буриде, а в Респиде, на холмистых берегах Гаронны: «В Респиде всегда такой воздух», — эта фраза была в семье Фронтенак догматом веры. Она рассказала о Жозе; он находился в Рабате и уверял, что не подвергается никакому риску, тем не менее она боялась; по ночам просыпалась в тревоге…

Через четверть часа Ив поцеловал ее, она проводила его до площадки: «Они по крайней мере хоть осторожны? Вы не мчитесь, как сумасшедшие? Я очень переживаю, когда знаю, что ты в пути. Дай мне телеграмму сегодня вечером»…

Он сбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, но все же невольно взглянул

наверх. Бланш Фронтенак перегнулась через перила. Он увидел над собой ее страдальческое лицо. Он прокричал:

— Увидимся через три недели!..

— Да, будьте осторожны…

Сегодня Ив опять оказался проездом в Бордо. Он хотел бы вновь удивить мать, но, будучи в своем родном городе, невозможно было не угостить этих людей в «Лакомой курочке»; они решили бы, что он старается увильнуть… Да к тому же Жео желал во что бы то ни стало уже к вечеру вернуться в Париж. Он был вне себя от бешенства, потому что молодой англичанин сидел рядом с его дамой и он не мог слышать, о чем они говорят; правда, он видел в ветровом стекле их склонившиеся друг к другу головы. До Ива доносились его не вселяющие особенного оптимизма слова: «Мне наплевать, пусть я разобью себе лицо, но заодно и им достанется…» А Ив отвечал: «Поосторожнее на повороте…»

Он рассчитывал, что ему удастся улизнуть в конце обеда, но пришлось дожидаться счета. Жео пил, не произнося ни слова, посматривал на часы. «Мы будем в Париже еще до семи…» До тех пор он не сможет вздохнуть с облегчением; пытка для него закончится только в Париже, когда он

окажется с дамой наедине в четырех стенах, потребует, чтобы она не виделась больше с другим, заставит ее сделать выбор… Не дожидаясь, когда Ив заплатит по счету, он уже оказался в машине. Ив мог бы сказать: «Разрешите мне отлучиться на пятнадцать минут…» или же: «Поезжайте без меня, я доберусь поездом…» Но ему это даже в голову не пришло. Он думал лишь о том, как справиться с внутренней потребностью, подталкивавшей его к тому, чтобы побежать и обнять мать. Он твердил себе: «Не стоит морочить им голову ради пятиминутного свидания, через каких-нибудь три недели мы будем вместе. У меня даже не хватит времени обнять ее…» Он никогда не простит себе, что пренебрег несколькими секундами, когда ему следовало прижаться губами к ее еще живому лицу, и в глубине подсознания он все понимал, ведь нам всегда дается предупреждение… Он услышал, как Жео обращается к нему, пока дамы были в гардеробной:

— Ив, умоляю тебя, сядь на заднее сиденье. Тогда англичанин окажется рядом со мной, и мне будет спокойнее.

Ив ответил, что ему тоже так будет спокойнее. Машина тронулась с места. Ив сидел, словно начинка в бутерброде, между двумя дамами, одна

из которых спрашивала другую:

— Как? Вы не читали «Топи»? Это уморительно… Да, да, Андре Жида.

— Мне эта книга не показалась забавной, теперь я припоминаю, что читала ее, но что в ней забавного?

— Мне лично она кажется уморительной…

— Да, но что все-таки в ней забавного?

— Фронтенак, объясните ей…

Он нахально ответил:

— Я не читал.

— Не читали «Топей»? — воскликнула изумленная дама.

— Да, не читал «Топей».

Он вспоминал, как спускался по лестнице три дня назад, мать, перегнувшуюся через перила. «Я увижу ее через две недели», — твердил он сам себе. Она никогда не узнает о том, какую ошибку он совершил, проезжая через Бордо и не обняв ее. Именно в эту минуту он осознал, насколько сильно любит ее, он не ощущал этого с такой силой с тех самых пор, как вышел из младшего школьного возраста, когда после каникул, в первый день школьных занятий, рыдал при мысли о том, что будет разлучен с ней ежедневно до самого вечера. А дамы поверх его головы переговарива-

лись о ком-то, о ком он не имел ни малейшего представления.

— Он умолял меня достать ему приглашение к Мари-Констанс. Я ответила ему, что недостаточно хорошо с ней знакома. Он настаивал на том, чтобы я достала приглашение при посредничестве Розы де Кандаль. Я ответила, что не хотела бы получить отказ прямо в лицо. После этого, можете верить мне, моя дорогая, или не верить, но он разрыдался, говоря, что речь идет о его будущем, о его репутации, о его жизни; что, если его не увидят на этом балу, ему не останется ничего, кроме как исчезнуть. Я имела неосторожность заметить ему, что речь идет об очень закрытом доме. «Очень закрытом? — завопил он. — Дом, в котором принимают вас, называется очень закрытым?!»

— Вы знаете, дорогая, для него это и в самом деле трагично: он всем успел разболтать, что его тоже пригласили. Как-то раз, у Эрнесты, я отлично позабавилась: ради того, чтобы увидеть выражение его лица, спросила, в каком костюме он придет. «Работорговца», — ответил он. Какова наглость! Через три дня мы с Эрнестой сговорились и задали ему тот же самый вопрос, он ответил, что не уверен в том, что придет, якобы

подобные вещи ему больше не интересны…

— Для меня, видевшей его в слезах, это уж чересчур!

— Причем заметьте… он осмелился намекнуть, что Мари-Констанс теперь принимает невесть кого… И теперь, после всего, что вы мне рассказали, я могу вам признаться: он назвал вас, моя дорогая…

— Надо признать, он довольно опасен…

— Он может породить некоторые нежелательные веяния. Человек, который с такой легкостью поносит людей, да при этом если он каждый божий день обедает, полдничает и ужинает в свете, особенно опасен: он откладывает яйца в самые уютные местечки… а когда яйца лопаются, когда маленькая гадюка вьется по скатерти, уже невозможно предугадать, к чему это может привести…

— Тем не менее, а что, если я сегодня вечером позвоню Мари-Констанс? Я взяла для нее ложу за тысячу франков…

— Чего бы только он ни сделал для вас, если бы вы достали ему это приглашение!

— О! Я у него ничего не прошу.

— И все же вы бы попросили…

— Ну и упрямая же вы, дорогая… Нет, вы правда

так думаете?

— Я не вполне уверена… в общем, это такая ситуация, которую я бы назвала «ни нашим ни вашим».

— Ну, скорее вашим, чем нашим…

— Нет, какая же она все-таки смешная! Вы слышали, что она говорит, а, Фронтенак?

Что же успела сказать ему мать за те пять минут? Она сказала: «В Респиде фруктов у нас будет сколько угодно…» Его обтекал выплескивавшийся из накрашенных ртов двух женщин поток злословия, в который Ив с легкостью мог бы окунуться, но вся эта грязь оседала где-то на поверхности его сознания, а в его глубине в эту самую минуту звучал голос матери, говорившей ему: «В этом году фруктов у нас будет сколько угодно…», и он видел ее нависшее над ним лицо, глаза, следившие за тем, как он спускается по лестнице, пока это только было возможно. Ее бледное лицо… У него в голове промелькнуло: «Бледность сердечников…» Это было похоже на вспышку молнии, но, прежде чем ему удалось осознать предвестие, оно исчезло.

— Все, что захотите… но какая же она идиотка! Когда человек так назойлив, никто с ним не уживается. Послушайте, если она рассчитывала,

что сможет зацепить таким образом другого, нет ничего удивительного, что ей это не удалось! Я лично думаю, что неплохо уже то, что Альберто терпел ее в течение двух лет. Даже учитывая, что он изменял ей направо и налево, я не могу понять, как ему хватало на это терпения… А вам известно, что она гораздо менее богата, чем хочет казаться?

— Когда она говорит о том, что собирается покончить с собой, уверяю вас, это весьма впечатляющее зрелище… Мне лично кажется, что все это плохо кончится.

— Не обращайте внимания, вот увидите, что она покалечится ровно настолько, чтобы выставить своего мужа отвратительным в глазах общества. И в конце концов она по-прежнему останется у нас на руках, вот увидите! Тем не менее его все же надо пригласить, и все уверены, что уж она-то по-прежнему свободна!

Ив размышлял о терзаниях своей матери, о нехватке милосердия. «Мне необходимо причаститься», — говаривала она, когда ей случалось рассердиться на Бюрта. Доброта Жана-Луи… его неспособность видеть зло. Как же Ив заставлял его страдать, когда насмехался над Дюссолем! Этот мир, мир, с которым сегодня так сильно дис-

сонировал младший из Фронтенаков… Доброта Жана-Луи, по мнению Ива, уравновешивала жестокость окружающего мира. Он не утратил веры в доброту благодаря своей матери и Жану-Луи. «Я посылаю вас, как агнцев в стаю волков…»[19] Его мысленному взору предстали мрачные толпы, среди которых мерцали белые головные уборы, покрывала… Он тоже был создан для этой доброты. Он поехал бы в Респид, вдвоем со своей матерью; три недели отделяли его от этого знойного лета, полного фруктов. Он постарался бы не доставлять ей никаких хлопот, он ничем бы ее не огорчил. На этот раз он сумел бы справиться со своей раздражительностью. Он обещал себе, что в первый же вечер попросит ее читать вместе молитвы; она не поверит своим ушам; он станет наслаждаться той радостью, которую это доставит ей. Он излил бы ей свою душу… Рассказал бы, например, то, что произошло с ним в мае в одном ночном клубе… Ничего не поделаешь, ей придется узнать, что он бывает в «таких местах». Он сказал бы ей: «Я выпил немного шампанского, после него меня стало клонить в сон, было уже поздно, какая-то женщина, стоя на столе, пела

[19] Примечания: 19
Евангелие от Луки, 10:3.

песню, я рассеянно слушал ее и то, как люди вокруг подпевали припев, это была солдатская песня, и все ее знали. И тут в последнем куплете прозвучало имя Христа среди каких-то пошлостей. В этот момент, — Ив представлял себе, как мать увлеченно слушает его… — в этот момент я ощутил боль, почти физическую боль, как будто это богохульство поразило меня прямо в грудь». Она, наверное, встанет, поцелует его и скажет что-нибудь вроде: «Вот видишь, мой дорогой, какая благодать…» Он представлял себе ночь, августовское небо, многочисленных насекомых, запах отавы в невидимых лучах.

В последующие дни он успокоился. Его жизнь потекла еще более легкомысленно, чем когда бы то ни было раньше. Это было время, когда перед закатом лета отдыхающие начинают есть в два раза больше; время, когда любящие страдают от предстоящего неминуемого расставания, а те, кого любят, вздыхают наконец свободнее; время, когда чахлые парижские каштаны видят, как на рассвете возле машин прощаются и никак не могут распроститься разодетые мужчины и дрожащие женщины.

Случилось так, что в один из подобных вечеров Ив остался дома. Была ли то усталость, болезнь

или причиной стали душевные переживания? Как бы то ни было, он сидел один у себя в кабинете и страдал от одиночества так, как страдают в его возрасте: словно от невыносимого зла, от которого необходимо избавиться во что бы то ни стало. Вся его жизнь была построена таким образом, чтобы ни один вечер не оставался незанятым, однако на этот раз в бесперебойном механизме что-то не заладилось. Мы распоряжаемся другими людьми, словно пешками, чтобы не осталась пустой ни единая клетка, однако другие тоже ведут свою тайную игру, подталкивают нас пальцем вперед, устраняют; нас можно уничтожить, отодвинуть в сторону. Голос, в последнюю минуту говорящий по телефону: «Прошу прощения, но я не смогу прийти…» — всегда принадлежит тому из двоих, кому нет необходимости церемониться, кто может позволить себе что угодно. Если бы планы Ива в тот вечер нарушила не женщина, он бы оделся, вышел из дома, встретился с людьми. Но теперь он сидел неподвижно, не зажигая света, и, по-видимому, он был серьезно задет, рана его кровоточила в темноте.

Зазвонил телефон: необычные короткие и частые звонки. Он услышал какое-то шипение, затем в трубке раздался голос: «С вами говорят

из Бордо». Первой мыслью, промелькнувшей у него в голове, была мысль о матери, о несчастье, но времени на переживания у него не оказалось, потому что именно голос матери он и услышал, голос, доносившийся откуда-то издалека, словно из другого мира. Она принадлежала к тому поколению, которое не умело пользоваться телефоном.

— Ив, это ты? Это мама говорит…

— Я очень плохо тебя слышу.

Он понял, что у нее острый приступ ревматизма, что ее отправляют в Дакс, что ее приезд в Респид откладывается на десять дней.

— Но ты можешь приехать ко мне в Дакс… чтобы не терять ни одного дня из тех, что нам предстоит провести вместе.

Ради этого она и звонила, ради того, чтобы удостовериться. Он ответил, что присоединится к ней, как только она пожелает. Она не расслышала. Он говорил громче, нервничал:

— Да, да, мама. Я приеду в Дакс.

Несчастный голос издалека все твердил свое: «Ты приедешь в Дакс?» Затем все стихло. Ив еще несколько раз попытался наладить связь, но у него ничего не вышло. Он сидел неподвижно; он страдал.

На следующий день он уже об этом забыл. Круговорот жизни закрутил его. Он развлекался, или, скорее, до самого утра сопровождал жаждущую развлечений женщину. Поскольку домой он вернулся на заре, спал он допоздна. Разбудил его звонок в дверь. Решив, что это почтальон с заказными письмами, он приоткрыл дверь и увидел Жана-Луи. Он проводил его в кабинет и раскрыл ставни: по крышам стелился желтый туман. Не глядя на Жана-Луи, он спросил, по делам ли тот приехал в Париж. Ответ прозвучал именно так, как он и ожидал: их мать в последние дни не очень хорошо себя чувствовала, Жан-Луи приехал убедить Ива отправиться к ней как можно скорее. Ив посмотрел на Жана-Луи: тот был одет в серый костюм и черный галстук в белый горошек. Он спросил брата, почему тот не отправил ему телеграмму или не позвонил.

— Я побоялся, что телеграмма напугает тебя. А по телефону ничего толком не поймешь.

— Да, конечно, но тогда тебе не пришлось бы оставлять маму. Странно, что ты решился оставить ее пусть даже всего на сутки… Зачем ты приехал? Раз ты приехал…

Жан-Луи пристально смотрел на него. Ив, слегка побледнев, не повышая голоса, спросил:

— Она умерла?

Жан-Луи взял его за руку, по-прежнему не сводя с него глаз. Тогда Ив пробормотал, что «он это знал», в то время как его брат торопливо излагал детали произошедшего, о которых Ив даже не успел еще подумать.

— Впервые она пожаловалась на недомогание в понедельник вечером, нет, во вторник…

Продолжая рассказывать, он мысленно удивлялся спокойствию Ива; он был даже разочарован и подумал, что ему совершенно необязательно было совершать эту поездку, а лучше было бы остаться у тела матери, пока оно еще находилось в доме, и не терять ни единой из оставшихся минут. Он не догадывался, что угрызения совести «законсервировали» боль Ива, подобно тому, как поступает врач с воспалительными процессами. Знала ли его мать, что он второй раз проезжал по Бордо и не пришел обнять ее, оказавшись с ней рядом? Переживала ли она это? Разве не повел он себя чудовищно, когда пренебрег ею? Если бы он тогда, на обратном пути из Гетари, забежал к ней, ничего бы с ним не случилось: ну получил бы он несколько советов, предостережений, ну поцеловала бы она его; она проводила бы его до лестничной площадки, перегнулась бы через

перила, стояла бы и смотрела, как он спускается по лестнице, пока он не скрылся бы из вида. Но если он и не увидел ее больше, он по крайней мере услышал ее голос по телефону; он хорошо понимал, о чем она говорила, а вот она, бедняжка, плохо его слышала… Он спросил Жана-Луи, упоминала ли она о нем перед смертью. Нет, не упоминала, она рассчитывала вскоре увидеться со своим «парижанином», поэтому ее мысли больше были заняты Жозе, находившимся в Марокко. Слезы наконец брызнули из глаз Ива и принесли Жану-Луи некоторое облегчение. Сам он, внешне спокойный, как бы отстранился от собственной боли. Он разглядывал комнату, в которой еще царил беспорядок, оставленный накануне, комнату, отдавшую дань модному пристрастию к русским мотивам, что проявилось в цвете дивана и подушек; правда, отметил Жан-Луи, сам обитатель, похоже, оставался равнодушен к подобным изыскам. Жан-Луи на какое-то мгновение предал свою умершую мать ради живого брата — он с головой ушел в разглядывание обстановки, поиски оставленных следов, тайных знаков… На стене

висела только одна фотография: Нижинский[20] в «Призраке розы». Жан-Луи поднял глаза и посмотрел на брата, который стоял, прислонившись к камину, — его брат, такой хрупкий в своей голубой пижаме, с растрепанными волосами, плакал, и выражение лица его при этом было точно таким же, как в детстве. Жан-Луи мягко попросил его пойти одеться и, оставшись один, продолжал изучать глазами стены, усыпанный пеплом стол, прожженный коврик на полу.

XVI

Все то, чем приходская церковь могла снабдить священника и детей из хора, двигалось перед катафалком. Ив, шедший рядом с обоими своими братьями и дядей Ксавье, глубоко ощущал, как нелепы на фоне яркого дня их изможденные лица, их одежда, его шелковая шляпа (Жозе был одет в форму морской пехоты). Ив видел лица людей на тротуаре, эти жадные взгляды женщин. Он не страдал, он ничего не чувствовал, он слышал обрывки фраз, которыми обменивались

[20] Примечания: 20
Нижинский Вацлав Фомич (1889–1950) — российский танцовщик и хореограф польского происхождения, новатор танца. Один из ведущих участников Русского балета Дягилева.

шедшие следом за ним дядя Альфред и Дюссоль. (Последнему сказали: «Вы ведь тоже член семьи! Вы будете идти сразу же за нами…»)

— Это была женщина с головой, — говорил Дюссоль. — Я не знаю более лестных слов. Я даже рискну сказать: это была деловая женщина. По крайней мере она могла бы стать ею рядом с мужем, который сумел бы ее должным образом развить.

— В делах, — заметил Коссад, — женщина может позволить себе много такого, что для нас недопустимо.

— Послушайте, Коссад, а вы припоминаете, как она повела себя во время дела Метэри? Ну с Метэри, вы же помните, это когда нотариус сбежал с казенными деньгами? Она потеряла шестьдесят тысяч франков. В полночь она пришла ко мне и стала умолять пойти вместе с ней к госпоже Метэри. Бланш заставила ее подписать признание долга… Это было совсем не глупо. Для этого нужно было иметь голову на плечах… Она на десять лет увязла в судебном процессе, но в конце концов ей было все выплачено сполна, причем самой первой из всех кредиторов. Молодец, не так ли?

— Да, но она часто повторяла нам, что, если бы речь не шла о деньгах ее детей, распорядитель-

ницей которых она являлась, у нее никогда не хватило бы смелости…

— Вполне возможно, потому что у нее временами начинались приступы излишней совестливости: это была единственная ее слабость…

Дядя Альфред ханжески возразил, что «это в ней достойно было самого глубокого восхищения». Дюссоль пожал плечами:

— Да ладно, не смешите меня! Я человек честный, когда хотят привести в пример какую-нибудь порядочную фирму, всегда вспоминают нашу… Но ведь мы-то знаем, что такое вести дела. Если бы Бланш занялась ими, да… Она любила деньги. Она бы не стала краснеть.

— Она предпочитала землю.

— Она любила землю не ради самой земли. По ее мнению, земля представляла собой деньги, точно так же, как и банковские чеки; только земля казалась ей более надежным вложением. Она уверяла меня, что в последние десять лет, не деля года на удачные и неудачные, после вычета всех расходов, ее владения приносили ей четыре с половиной, а то и пять штук.

Иву вспомнилась мать как-то вечером, на перроне, посреди сосен Буриде; он видел, как она идет к нему по окружной аллее парка, держа в ру-

ках четки; или вот, в Респиде, на фоне уснувших холмов, она рассказывает ему о Боге. Он пытался припомнить ее слова, которые свидетельствовали бы о ее любви к земле, и те в изобилии всплывали из глубин его памяти. Вот, к примеру, перед смертью, по словам Жана-Луи, она показала на июльское небо, видневшееся через открытое окно, на деревья, облюбованные стаями птиц, и произнесла: «Вот чего мне жаль…»

— Похоже, — говорил Дюссоль, — что последними ее словами, были слова сожаления, обращенные к виноградникам: «Мне жаль этого прекрасного урожая!»

— Нет, мне рассказывали, что она говорила о деревне вообще, о красоте природы…

— Это рассказывают ее сыновья, — Дюссоль понизил голос, — они поняли ее слова по-своему; вы же их знаете… Бедный Жан-Луи! Но мне кажется, это больше похоже на правду: речь шла об урожае, который ей не суждено было собрать, этом винограднике, который она полностью обновила, она оплакивала свое достояние… И никто не сможет переубедить меня. Мы были знакомы в течение сорока лет. У нас был даже такой случай: представьте себе, однажды она жаловалась мне на своих сыновей, а я сказал ей, что она похожа

на курицу, которая высидела утят. Она тогда посмеялась над этим…

— Нет, Дюссоль, нет: она гордилась ими, и надо признать, с полным на то основанием.

— Я не спорю. Однако мне смешно слушать, когда Жан-Луи утверждает, что она была неравнодушна к разглагольствованиям Ива. Ведь эта женщина обладала уравновешенным характером, чувством меры. Уж мне-то не надо рассказывать эти байки. Во всех моих спорах с Жаном-Луи по поводу разделения прибылей, заводских советов и всей этой галиматьи я чувствовал, что она на моей стороне. Она волновалась из-за этих «химер» сына, как она их называла. Она умоляла меня не винить его за это. «Дайте ему время, — говорила она мне, — вы увидите, что он мальчик серьезный…»

Ив уже больше не думал ни о своем смешном одеянии, ни о лакированных туфлях; он больше не рассматривал лица людей на тротуарах. Продвигаясь в этой цепи, между катафалком и Дюссолем (каждое из улавливаемых слов которого помогало ему восстановить неприглядный смысл того, что ему расслышать не удалось), он шел, опустив голову. «Она любила бедных, — думал он, — когда мы были маленькими, она

заставляла нас взбираться по грязным лестницам, она заботилась о женщинах легкого поведения, вернувшихся к добропорядочной жизни. Она не могла прочесть без слез ни одного моего стихотворения, имевшего отношение к моему детству…» А голос Дюссоля все не умолкал.

— Посредники были с ней тише воды. Она умела выправлять ведомости, не делая скидок и не платя комиссионных…

— Скажите, Дюссоль, а вы когда-нибудь видели, как она принимала арендаторов? До меня не доходит, как ей удавалось заставлять их платить регулярно…

Ив знал, ему рассказал об этом Жан-Луи, что это была неправда: арендные договора возобновлялись вопреки здравому смыслу и без учета доходов с недвижимости. Тем не менее он не мог уничтожить эту навязываемую ему Дюссолем карикатуру его матери в том образе, в каком она представлялась другим, не сопряженной с тайной семьи Фронтенак. Смерть отдает нас не только на съедение червям, но и на растерзание людям, они гложут память о человеке, они разлагают ее; даже Ив уже не узнавал образа покойной, доставшейся на растерзание Дюссолю, созданный им реальный портрет «продержался» дольше.

Эту память нужно было вновь воссоздать внутри себя, стереть темные пятна, Бланш Фронтенак должна была вновь стать тем человеком, каким он знал ее при жизни. Это нужно было сделать, нужно было ему, чтобы выжить, чтобы пережить ее. Какая же она длинная, эта улица Арес, по которой вплоть до самого кладбища через квартал домов терпимости продвигается Семья в вечерних одеждах, в лакированных туфлях, с дикой, преувеличенной торжественностью, а священники, «привыкшие», как говорится, чудовищным образом привыкшие делать свое дело, бормочут величественные церковные тексты! Голос Дюссоля, перед тем еле слышный, вновь зазвучал громче, так что Ив помимо собственной воли снова начал прислушиваться.

— Нет, Коссад, здесь я с вами не согласен. Я считаю, что тут как раз эта достойная всяческого восхищения женщина дала маху. Нет, она не была хорошей воспитательницей. Заметьте, что я не лишен религиозных чувств, эти господа из церкви всегда при необходимости находят меня, они знают об этом и этим пользуются. Но если бы у меня были сыновья, я сразу, как они прошли причастие, стал бы приучать их к серьезным делам. Бланш недостаточно отдавала себе отчет в

том атавизме, который довлел над ее близкими. Я говорю это вовсе не в упрек несчастному Мишелю Фронтенаку…

А поскольку Коссад стал возражать, что Мишель на протяжении всей своей жизни был антиклерикалом, Дюссоль заметил:

— Я имею в виду, что все же он был мечтателем, человеком, который, даже проворачивая сделку, всегда прятал в кармане какую-нибудь книжицу. Этого было достаточно для того, чтобы его осуждать. Если бы я сказал вам, что наткнулся в нашем рабочем кабинете на сборник стихотворений!.. Помню, когда он взял его у меня из рук, он выглядел весьма смущенным…

— Смущенным? Может быть, речь шла о каких-нибудь фривольных стишках?

— Нет, читать подобные вещи было не в его привычках. А впрочем, может быть, вы и правы… Припоминаю, что это был сборник Бодлера[21]… «Падаль», вы когда-нибудь слышали? Мишель был человеком умным, не стану спорить, но что он представлял собой как деловой человек, я могу

---

[21] Примечания: 21

Бодлер Шарль (1821–1867) — французский поэт, критик, эссеист и переводчик; основоположник эстетики декаданса и символизма, повлиявший на развитие всей последовавшей европейской поэзии. Классик французской и мировой литературы.

судить лучше, чем кто бы то ни было. Счастье для фирмы и для детей семьи Фронтенак, что я был рядом. Религиозная экзальтированность Бланш, разумеется, развила в них эти тенденции; но, между нами говоря, к чему это привело?

Он вновь понизил голос. Ив твердил про себя: «К чему это привело?» Был ли он мужчиной? Да, но не из тех, кого Дюссоль называет мужчинами. А что такое быть мужчиной в понимании Дюссоля? И что могла сделать Бланш Фронтенак, чтобы ее дети выросли не такими, какими они выросли? Жан-Луи в конце концов, как они выражаются, создал собственный очаг. Он очень хорошо вел дела, имел больше влияния, чем Дюссоль, и его реноме как «социально-ответственного хозяина» было известно во всех слоях общества. Жозе рисковал своей жизнью в Марокко (нет… он почти не покидал Рабат), и Ив… Все же прекрасно знали, что о нем пишут в газете… Так чем же дети семьи Фронтенак отличались от всех остальных? Ив не смог бы этого сформулировать, а вот Дюссоль, чье грузное тело возвышалось у него за спиной, продолжал волновать его своими словами, унижать и даже тревожить.

Ив, стоявший у края свежевырытой могилы, в толпе «настоящих друзей» («Я настоял на том,

чтобы проводить ее до самого конца...»), почти ослепший от слез и почти ничего больше не слышавший, все же различил — сквозь заглушавшие все остальное скрежетания гроба о камни и дыхание гробовщиков с лицами бандитов — различил беспощадный и довольный голос Дюссоля:

— Вот уж это была хозяйка так хозяйка!

В знак траура работа в Буриде и Респиде была приостановлена. Быки остались в стойлах и решили, что наступило воскресенье. Мужчины отправились пить в трактиры, пропахшие анисом. Собиралась гроза, и Бюрт подумал, что бедная госпожа огорчилась бы, если бы из-за нее сено пропало. Юр катил свои воды среди зарослей ольхи. Неподалеку от старого дуба, там, где ограда была сломана, луна играла бликами лежавшего в траве медальона, который Бланш потеряла три года назад, во время пасхальных каникул, а дети долго искали, да так и не смогли найти.

XVII

Наступившей вслед за тем зимой и в течение первых месяцев 1913 года Ив казался более печальным, чем когда бы то ни было. Волосы со лба поредели, щеки ввалились, глаза горели под еще

сильнее выдвинувшимися вперед надбровными дугами. Между тем сам он был шокирован тем, что так скоро утешился и что не чувствовал тоски по умершей матери: поскольку он давно не жил с ней, в его повседневной жизни ничего не изменилось, так что проходили недели, а он мог ни разу и не вспомнить о постигшей его утрате.

Но с тех, кого любил, он спрашивал сполна. Эта требовательность, которая никогда не могла обмануть материнскую любовь, теперь переносилась им на те предметы, которые прежде занимали его, волновали и даже заставляли его страдать, но все же не способны были перевернуть его жизнь. Он привык погружаться в любовь своей матери подобно тому, как он входил в лес Буриде, где ни малейшая преграда не разъединяла сосновые боры друг с другом и где, будучи ребенком, он знал, что мог бы идти дни и ночи напролет до самого океана. С тех самых пор он окунался в каждое любовное переживание с фатальным любопытством, с желанием достичь предела, и каждый раз — с тайной надеждой никогда до него не добраться. Увы, он достигал его почти сразу же, причем закономерность эта практически не давала сбоев, поскольку его мания делала его утомительным и невыносимым. Он без

устали демонстрировал своим подружкам, что их любовь — лишь видимость. Он относился к типу тех несчастных юношей, которые непрерывно твердят «Вы меня не любите», желая убедиться в обратном. Однако их слова обладают силой убеждения, в которой они сами не отдают себе отчета; девушке, пытающейся слабо возражать, Ив приводил доказательства, в конце концов убеждавшие ее в том, что она его не любит и никогда не любила.

Весной 1913 года он дошел до такого состояния, что стал воспринимать свое несчастье как физическую боль, от которой с часу на час ждешь избавления, боясь при этом, что не сможешь снести удар. И даже в обществе, стоило предмету его любви оказаться поблизости, он был не способен скрывать свою рану, страдал у всех на виду, оставляя на своем пути кровавые следы.

Ив нисколько не сомневался в том, что одержим навязчивой идеей, и поскольку наедине с самим собой не переставал думать о воображаемых предательствах, то, даже если случалось уличить свою подругу в неверности, он нигде не был абсолютно уверен в том, что не стал жертвой галлюцинации. Когда она клятвенно заверяла его в том, что не ее он видел в машине с тем парнем,

с которым она танцевала накануне, он давал себя убедить, хотя был уверен, что узнал ее. «Я сошел с ума», — говорил он и предпочитал думать, что это и в самом деле так, во-первых, чтобы иметь время отдышаться, каким бы кратким ни был этот перерыв в страдании, а во-вторых, он же читал в глазах возлюбленной искреннюю тревогу. «Ты должен мне верить», — говорила она со жгучим желанием утешить его, приободрить. Он не мог устоять перед этими чарами: «Посмотри мне в глаза, теперь ты мне веришь?»

Это вовсе не означало, что она была лучше других, но, должно быть, Ив лишь гораздо поздней осознал, что обладает свойством пробуждать терпеливую нежность в существах, которые, впрочем, причиняли ему немало страданий. Рядом с ним они безотчетно проникались материнской любовью, тепло которой сопровождало его на протяжении многих лет. В августе, задолго до наступления вечера, земля, насыщенная солнцем, еще горяча. Точно так же любовь его умершей матери излучала свет вокруг него, трогала даже самые черствые сердца.

Может быть, именно это и помогало ему не умереть под обрушивающимися на него ударами. У него не осталось больше никакой опоры,

семья не приходила ему на помощь. Все, что еще уцелело от тайны семьи Фронтенак, напоминало ему обломки колоссального кораблекрушения. В первый раз, когда он посетил Буриде после смерти матери, ему показалось, что он идет во сне, шагает по материализовавшемуся прошлому. Он скорее мечтал об этих соснах, чем видел их. Он вспоминал эти струи, протекавшие украдкой под зарослями ольхи, уже обрезанной, на которой уже появились новые веточки, на месте этих веточек он видел стволы, покрытые плющом, которые отражал Юр во время прошлых каникул. Запах этой мокрой прерии смущал его, потому что сейчас мятой пахло меньше, чем в его воспоминаниях. Этот дом, этот парк становились столь же громоздкими, как и старые зонтики его матери и ее летние шляпы, которые никто не решался раздать и которые нельзя было выбросить (была среди них одна, очень старая, с вышитыми ласточками). Значительная часть тайны Фронтенаков словно бы была погребена в этой яме, куда положили мать Жана-Луи, Жозе, Ива, Мари и Даниэль Фронтенак. Так что когда порой из этого на три четверти разрушенного мира всплывало какое-нибудь лицо, Ив испытывал тревогу, которая была сродни кошмару.

Так, к примеру, в 1913 году, чудесным летним утром в проеме двери возникла грузная женщина, которую он узнал с первого взгляда, несмотря на то что видел ее всего лишь однажды на улице. Однако Жозефа — а это была она — на протяжении многих лет оставалась в семье Фронтенак излюбленным предметом для шуток. Она была страшно поражена тем, что ее узнали. Каким же образом? Господин Ив догадывался о ее существовании? Так молодые господа все это время знали, что их дядя живет не один? Бедняга доставил себе столько хлопот ради того, чтобы они ничего не обнаружили! Он был бы в отчаянии… Но с другой стороны, может быть, так все даже лучше, он только что перенес у нее в доме два очень серьезных приступа грудной жабы (это и в самом деле серьезно, иначе она не осмелилась бы отправиться к господину Иву). Доктор запретил больному возвращаться к себе. Он, бедняжка, день и ночь горюет при мысли, что может умереть, так и не обняв своих племянников. Однако, раз уж они знают о связи дяди, ему больше нет нужды прятаться. Необходимо его к этому подготовить, ибо он даже не подозревает о том, что его раскрыли… Она скажет ему, что семья узнала об этом совсем недавно, что она его простила…

А так как Ив сухо заявил, что сыновьям семьи Фронтенак нечего прощать человеку, которого они почитают больше, чем кого бы то ни было в мире, толстуха подчеркнула:

— Кроме того, господин Ив, я могу вам в этом признаться, вы уже достаточно взрослый, между нами уже долгие годы ничего нет… представьте себе! Ведь возраст у нас уже порядочный. И потом, я не хотела, чтобы бедняжка, в его-то состоянии, переутомлял себя, вредил себе. Уж я-то точно не стала бы виновницей его смерти. Он со мной словно малое дитя, ну точно как малое дитя. Может быть, я и не тот человек, которому вы поверите… Да нет же, нет, это было бы вполне понятно… Но вы можете спросить обо мне в церковном приходе, эти господа хорошо меня знают…

Со своим жеманством она в точности походила на ту, что дети семьи Фронтенак изображали. На ней было пальто а-ля Шехерезада, с широкими рукавами, узкое снизу и застегивавшееся на уровне живота одной-единственной пуговицей. Глаза, все еще хранившие былую красоту, виднелись из-под шляпы-колокола, которая не скрывала ни широкого курносого носа, ни вульгарного рта, ни скошенного подбородка. Она взволнованно созерцала «господина Ива». Несмотря на то, что она

никогда не видела детей Фронтенак, она знала о них со дня рождения, она следила за каждым их шагом, интересовалась их самыми пустяковыми болезнями. Ничто из происходившего в империи Фронтенаков не выпадало из ее поля зрения. Очень высоко над ней существовали эти полубоги, за мельчайшими забавами которых она, по воле необъяснимого провидения, могла наблюдать из глубины пропасти, в которой находилась. И, несмотря на те чудесные выдуманные истории, которыми она себя тешила и в которых частенько представляла, как выходит замуж за Ксавье, как принимает участие в трогательных семейных сценах и Бланш называет ее «сестра моя», а малыши «тетя Жозефа», она тем не менее никогда всерьез не думала ни о том, что их встреча реальна, ни о том, что когда-нибудь она так или иначе должна будет оказаться лицом к лицу с одним из младших Фронтенаков и непринужденно беседовать с ним.

Но сейчас у нее возникло четкое ощущение, что она всегда была знакома с Ивом, и, стоя перед этим хрупким молодым человеком с изможденным лицом, которого видела впервые, она даже подумала: «Как же он похудел!»

— А как господин Жозе? Он по-прежнему дово-

лен своей службой в Марокко? Ваш дядя очень беспокоится, похоже, что там ему жарковато приходится, а газеты кое о чем умалчивают. К счастью, бедняжке госпоже Бланш больше не приходится переживать, она бы вся извелась…

Ив попросил ее присесть, а сам остался стоять. Ему приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы отвлечься от своих любовных переживаний, чтобы хотя бы сделать вид, что он слушает, что ему интересно. Он повторял про себя: «Дядя Ксавье очень болен, он умрет, после него не останется никого из старых Фронтенаков…» Но он напрасно подстегивал себя. Он не испытывал ничего, кроме страха перед тем, что неминуемо надвигалось на него: приход лета, недель, месяцев разлуки, обремененных грозами, яростными дождями, выжженных палящим солнцем. Все мироздание с небесными светилами и земными бедствиями вставало между ним и его любовью. Когда он обретет ее наконец, наступит осень, но сначала ему придется одному преодолеть океан огня.

Он должен был провести каникулы рядом с Жаном-Луи. Его мать так страстно желала, чтобы он обрел кров у этого очага, когда ее уже не будет рядом. Возможно, он укрылся бы там, если бы

горечь разлуки была взаимной, но «она» была приглашена на яхту, в долгое плавание, и жила в горячке примерок; ее радость выплескивалась наружу, и она даже не думала сдерживаться. Для Ива речь шла уже не о воображаемых подозрениях, о периодически возникающих и проходящих опасениях, речь шла об этой откровенной радости, которая была хуже любого предательства и которую испытывала молодая женщина, расставаясь с ним. Ее пьянило то, что его убивала Она спокойно притворялась нежной, верной и вот в одну секунду разоблачила себя, впрочем, безо всякого коварства, поскольку не хотела бы причинить ему ни малейшего страдания. Она думала, что все может поправить, повторяя ему:

— Для тебя это настоящее счастье, я причиняю тебе столько горя… К октябрю ты исцелишься.

— Но ведь однажды ты сказала мне, что не хочешь, чтобы я выздоравливал.

— Когда это я тебе такое говорила? Не помню!

— Как же так! Это было в январе, во вторник, мы выходили от Фишера, а когда проходили мимо «Уличного точильщика», ты еще посмотрелась в зеркало.

Она потупилась с видом человека, удрученного чужой назойливостью. Сейчас она отрекалась

от тех слов, что наполнили Ива нежностью и полагаясь на которые он жил в течение многих недель, которые он повторял вновь и вновь, когда все очарование улетучилось, она отрицала, что когда-либо вообще их произносила… Его ошибка состояла в том, что он развивал до бесконечности даже самые незначительные высказывания этой женщины, придавал им определенный вес, непреложный смысл, тогда как на самом деле они передавали всего лишь мимолетное настроение…

— А ты уверен в том, что я тебе это говорила? Вполне возможно, но я что-то не припоминаю…

Накануне Ив слышал эти ужасные слова в том же самом кабинете, где теперь восседала некая персона, толстая блондинка, которой было жарко, слишком жарко находиться в такой узкой комнатке, хотя окно в ней было открыто. Жозефа удобно уселась и теперь поедала Ива взглядом.

— А господин Жан-Луи! Какой же он молодец! А мадам Жан-Луи, какая она изысканная. Их фотография с грудным ребенком на руках, сделанная Кутенсо, стоит на письменном столе вашего дяди. Какая же прелесть эта девчушка! Нижняя половина ее лица ясно говорит о ее принадлежности к семье Фронтенак. Я частенько повторяю вашему

дядюшке: «Она вылитая Фронтенак». Он любит детей, даже совсем маленьких. Когда моя дочь, она вышла замуж в Ниоре за очень серьезного молодого человека, служащего в одной крупной компании (и теперь все держится на нем одном, потому что у его хозяина суставный ревматизм), когда моя дочь привозит своего малыша, ваш дядюшка сажает его к себе на колени, и дочь говорит, что совершенно очевидно, что он привык нянчиться с младенцами…

Она осеклась, внезапно оробев: выражение лица Ива нисколько не смягчилось. Может быть, он принимал ее за интриганку…

— Я хочу, чтобы вы знали, господин Ив… Он выделил мне раз и навсегда небольшой капитал, некоторую мебель… но я ничего не продала, не истратила, не дай бог. Уж кто-кто не в состоянии нанести ни малейшего ущерба семье…

Она произнесла слово «семья» так, словно на целом свете существовала только одна семья, и Ив с изумлением увидел, как две больших, похожих на линзы слезы, стекают вдоль носа дамы. Он возразил, что Фронтенаки никогда не подозревали ее в непорядочности и что даже были признательны ей за всю ту заботу, которой она щедро оделяла их дядю. Он проявил неосторож-

ность, его слова вызвали неожиданную реакцию: она расчувствовалась, и слезы потекли ручьем.

— Я так люблю его! — бормотала она. — А вы… конечно же, я знала, что была недостойна приближаться к вам, но я вас всех любила, да, вас всех! Я могу так говорить, моя дочь из Ниора иногда даже меня в этом упрекала; она говорила, что я интересовалась больше вами, чем ею, и это правда!

Она поискала у себя в сумочке еще один платок, слезы струились из ее глаз водопадом. В этот момент зазвонил телефон.

— А! Это вы? Да… Поужинать, сегодня вечером? — Подождите, я только взгляну в свой еженедельник…

Ив на секунду отстранил трубку от уха. Жозефа, шмыгая носом, наблюдала за ним, с удивлением замечая, что он не стал смотреть ни в какой еженедельник, а застыл, глядя куда-то перед собой, с выражением счастья на лице.

— Да, я мог бы освободить сегодняшний вечер. Как это мило с вашей стороны подарить мне еще один вечер. — Где это? В Пре-Кателан? — Вы не хотите, чтобы я заехал за вами? Хорошо, как вам будет угодно… — Но мне было бы совсем не сложно проехать мимо вашего дома… — Почему

нет? — Что? Я все время настаиваю? Но как же вы хотите, чтобы я прореагировал… Это ради того, чтобы вы не ждали меня в одиночестве в ресторане в случае, если я приеду позже вас… — Я говорю: чтобы вы не ждали меня в ресторане одна… — Что? Мы будем не одни? А кто еще будет? Жео? — Ну что вы, никакого неудобства… — Да нет, вовсе нет. — Ничем я не огорчен. — Что? Разумеется, это будет не одно и то же. — Что? Не обижаюсь ли я?..

Жозефа пожирала его глазами; она мотнула головой в его сторону, подобно старой, вышедшей на покой кобыле, пробужденной ото сна цирковой музыкой. Ив повесил трубку и обернул к ней искаженное страданием лицо. Она не поняла, что он в это самое время размышлял над тем, а не вышвырнуть ли ему ее за дверь, но тем не менее почувствовала, что настало время откланяться. Он пообещал, что напишет Жану-Луи о дяде. Как только он получит ответ, тут же передаст его Жозефе. Она долго не могла найти карточку со своим адресом; наконец ушла.

Дядя Ксавье очень болен, дядя Ксавье умирает. Ив повторял это про себя до одури, возвращал к этому свои непослушные мысли, призывал на помощь образ дяди в разных видах: в кресле в се-

рой комнате, на улице Кюрсоль, подле огромной материнской постели… Когда пора было идти спать, Ив наклонял голову, дядя прерывал свое чтение и целовал его в лоб со словами: «Спокойной ночи, мой птенчик…» Вот дядя в полный рост, в городском костюме, в зарослях на берегу Юра, вытачивает из сосновой коры маленький кораблик… *Сабе, сабе, калуме, те пуртерей ун пан науэ…* Однако Ив напрасно забрасывал свои сети, напрасно вытягивал их, в них было много воспоминаний, но они все выскальзывали и падали вниз. Он не чувствовал ничего, кроме этой боли; на старые образы крупным планом наслаивались лица из недавнего прошлого и затмевали их. Эта ужасная женщина и Жео. Какова роль Жео во всей этой истории? Почему Жео и именно в этот последний вечер? Почему она выбрала именно его, того, кого он любил, когда можно было подыскать кого угодно среди такого количества молодых людей?.. Ее голос по телефону, звучащее в нем нарочитое удивление! Она не желала скрывать от него, что они с Жео стали близки. Этим летом Жео должен был отправиться в путешествие… Ив никак не мог добиться ответа на вопрос, куда именно: Жео отвечал вскользь, уходил от темы. Черт возьми, да ведь он тоже

собирался отправиться в плавание! Жео и она, на протяжении нескольких недель, на этом мостике, в этих каютах. Она и Жео.

Он лег ничком на диван и впился зубами в тыльную часть руки. Это было уже чересчур, он сумеет отомстить этой дряни за себя, навредить ей. Но как очернить ее, не запятнав себя самого? Он очернит ее… в книге, черт возьми! Необходимо, чтобы она была узнаваема. Он не станет ничего утаивать, он выльет на нее всю грязь. Она предстанет на страницах книги смешной и отвратительной одновременно. Он раскроет все ее привычки, самые сокровенные… Расскажет обо всем… даже о ее физиологии… Он один знает о ней ужасные вещи… Вот только для того, чтобы написать книгу, нужно время… Тогда как убить ее можно прямо сегодня вечером, прямо сейчас. Да, убить ее, чтобы она почувствовала опасность, чтобы успела испугаться, ведь она такая трусливая! Чтобы она почувствовала, как умирает, чтобы ее смерть была долгой, и она увидела, какой безобразной она стала…

Он понемногу освобождался от своей ненависти; он выдавил из себя последнюю ее каплю. Тогда он вполголоса, очень мягко, произнес любимое имя; он повторял его, отделяя каждый слог;

это все, что он мог сохранить: имя, которое никто на свете не мог запретить ему нашептывать, выкрикивать вновь и вновь. Однако этажом выше находились соседи, они все слышали. В Буриде у Ива было бы укрытие в его кабаньем логове. Сейчас тростник, должно быть, уже покрыл то узкое пространство, где однажды прекрасным осенним днем все открылось ему заранее; он представил себе, как в этом неуловимом уголке мироздания тем жарким утром жужжали осы, от бледного вереска пахло медом, и, возможно, легкий ветерок вздымал от сосен огромные тучи пыльцы. Он видел в малейших изгибах ту тропинку, по которой шел, возвращаясь домой, пока не оказался под покровом парка, и то место, где он встретился с матерью. Она накинула на свое нарядное платье сиреневую шаль, привезенную ею из Салиса. Она укрыла Ива этой шалью, потому что почувствовала, что он дрожит.

— Мама! — простонал он. — Мама…

Он рыдал; он был первым из детей семьи Фронтенак, который позвал свою мертвую мать, словно она еще была жива. Восемнадцать месяцев спустя настанет очередь и Жозе, который нескончаемой сентябрьской ночью будет лежать с распоротым животом между двумя траншеями.

XVIII

Оказавшись на улице, Жозефа вспомнила о своем больном: он был один, а приступ мог в любую секунду повториться. Она пожалела, что так сильно задержалась у Ива, всячески упрекала себя, однако Ксавье так хорошо ее выдрессировал, что мысль поймать такси даже не пришла ей в голову. Она торопилась поскорее добраться до улицы Севр, чтобы дождаться там трамвая, идущего по маршруту Сен-Сюльпис — Отей; по своему обыкновению она шагала, выставив вперед живот, задрав голову, бормоча себе под нос, к великой радости прохожих, что-то вроде: «Э бе!», с рассерженным и возмущенным видом. Она думала об Иве, однако теперь, когда молодой человек своим присутствием больше не ослеплял ее, думала с некоторой досадой. Какое безразличие он проявил, узнав о болезни дяди! Пока бедняга доживал свои последние дни, мучаясь тем, что не сможет в последний раз обнять племянников, один из них названивал какой-то графине (Жозефа успела разглядеть визитные карточки, лежавшие на полочке у зеркала Ива: *Барон и баронесса де… Маркиз де… Посол Англии и леди…*).

Сегодня вечером он собирался идти ужинать под музыку с одной из этих великосветских дам… а среди них как раз больше всего потаскушек… В фельетоне Шарля Мерувеля[22]… Вот уж кто может порассказать о них предостаточно…

За этой враждебностью скрывалась глубокая боль. Жозефа впервые оценила наивность бедняги, который пожертвовал всем ради химерической цели сохранить лицо перед своими племянниками; он стыдился своей жизни, своей невинной жизни! Да! Ничего не скажешь, хорошенький был разврат! Оба лишили себя всего ради этих ребят, которые могли бы об этом даже не узнать или же узнать и посмеяться над ними. Она села в трамвайчик, вытерла покрасневшее лицо. У нее все еще были приливы, правда, меньше, чем в прошлом году. Только бы с Ксавье ничего не случилось! Так удобно, что остановка находится прямо перед их домом.

Тяжело дыша, она взобралась на четвертый этаж. Ксавье сидел в столовой около открытого окна. Он дышал немного прерывисто, сидел, не двигаясь. Он сказал, что ему уже почти не больно, что не страдать от боли уже чудесно.

---

[22] Примечания: 22

Мерувель Шарль (1832–1920) — французский писатель, автор бульварных романов.

Ему достаточно сидеть неподвижно. Он немного проголодался, но предпочел попоститься, чем рисковать новым приступом. Мост метро проходил почти на высоте их окна и непрестанно громыхал. Однако ни Ксавье, ни Жозефе это ничуть не мешало. Они жили тут, придавленные мебелью, вывезенной из Ангулема, слишком массивной для этих крохотных комнаток. Пламя любви повредилось во время переезда, многие инкрустации на шкафу откололись.

Жозефа обмакивала кусочек хлеба в яйцо всмятку и предлагала старику поесть; она разговаривала с ним, как с ребенком: «Ну давай, мой цыпленочек, мой котик…» Он не шевелил ни единым мускулом, напоминая тем самым насекомых, для которых неподвижность остается последним средством самозащиты. Ближе к вечеру между двумя поездами метро он услышал крик стрижей, совсем такой же, как некогда над садами Преньяка. Вдруг он произнес:

— Я никогда больше не увижу малышей.

— Тебе еще рано об этом думать… Но если ты очень хочешь, то достаточно отправить им телеграмму.

— Когда доктор позволит мне перебраться к себе…

— Ну и что из того, что они придут сюда? Ты можешь сказать, что ты переехал, что я твоя сиделка.

Казалось, он на мгновение заколебался затем опустил голову:

— Они сразу увидят, что это не моя мебель… И потом, даже если бы они ни о чем и не догадались, они не могут прийти сюда. Даже если бы они никогда не догадались, не нужно, чтобы они сюда приходили, из уважения к семье.

— Да что я, чума, что ли?

Она заупрямилась: возражение, которое она никогда не осмелилась бы высказать Ксавье, если бы тот был в добром здравии, она адресовала этому умирающему. Он не пошевелился, стараясь делать как можно меньше движений.

— Ты хорошая женщина… но ради памяти Мишеля не нужно, чтобы дети семьи Фронтенак… Тут дело не в тебе, а в принципе. И потом, было бы так горько, если бы после того, как мне в течение всей жизни удавалось скрывать от них…

— Да ладно! Неужели ты и вправду думаешь, что за столь долгое время они не узнали обо всем?

Увидев, что он заерзал в своем кресле и дыхание его участилось, она пожалела о своих словах.

— Нет, — поправилась она, — они пока не знают. Но даже если и узнают, то нисколько тебя не осудят…

— О да! Малыши слишком добры, чтобы выражать неудовольствие, но…

Жозефа отошла от кресла и высунулась в окно… Добрые малыши! Сегодня утром она заметила на лице Ива, когда тот, разговаривая по телефону, сделал вид, что смотрит в свою записную книжку, это выражение безумного счастья. Она представляла его себе «с рыбьим хвостом», как она называла фрак, в шапокляке в каком-нибудь роскошном ресторане, где на каждом столике стоит розовая лампа. По железному мосту с грохотом проезжали поезда метро, полные возвращающимися после трудового дня рабочими. Казалось, что Ксавье дышит чуть быстрее, чем днем. Он подал знак, что не хочет ни говорить, ни слушать кого бы то ни было, ни есть. Он сворачивался в клубок, он вел себя как мертвый, чтобы не умереть по-настоящему. Наступила ночь, из-за жары окно осталось открытым, несмотря на предписание врача держать его закрытым, потому что во время приступов больной уже не понимает, что делает. Нищета мира… Жозефа сидела между окном и креслом, окруженная мебелью, которой

она так гордилась и которая в этот вечер, она даже не могла бы сказать, почему это произошло, вдруг показалась ей нищенской. Больше не было рабочих: поезда метро проносились по направлению к площади Звезды почти пустыми. Пересадка у Пор Дофин… Жозефа часто выходила на этой остановке вместе с Ксавье, подхваченная толпой, которая выплескивается на улицы грустными воскресными днями. А Ив Фронтенак, должно быть, в этот час проезжал мимо нее в своем «легковом автомобиле с закрытым верхом». А сколько, интересно, стоят десерты в больших ресторанах? Все эти лангусты, персики в вате или что-то, напоминающее огромные лимоны Она так никогда этого и не узнает. Ей всегда приходилось выбирать между закусочными Булана, Дюваля и Скоссы… Что в общей сложности стоило три с половиной франка. Она смотрела на запад, представляла себе Ива Фронтенака вместе с этой дамой и тем другим молодым человеком…

Ужин подходил к концу. Она встала и проскользнула между столиками, сказав, что пойдет привести себя в порядок. Ив подал знак официанту налить еще шампанского. Он выглядел спокойным, расслабленным. На протяжении всего вечера Жео объяснял молодой женщине,

какой нужен чемодан для каюты, где купить маленькую дорожную сумочку (он знал одного торговца, который продавал их по оптовой цене). Было очевидно, что они не едут вместе, напротив, по многим, совершенно незначительным их словам можно было понять, что они расстаются на долгие месяцы и не испытывают при этом ни малейшей грусти.

— Опять этот шлягер двухлетней давности, — сказал Жео.

И он напел вполголоса вместе с оркестром: *Нет, ты не узнаешь никогда…*

— Послушай, Жео, ты не поверишь, что я себе вообразил…

Ив смотрел своими лучистыми глазами на дружелюбное лицо юноши, который взял бокал слегка дрожащей рукой.

— Я решил, что вы уезжаете вместе, что вы это от меня скрываете.

Жео пожал плечами, привычным движением поправил галстук. Затем открыл черный эмалированный портсигар, выбрал сигарету. И все это время он смотрел в глаза Ива.

— Когда я думаю, что я, Ив… ты… со всем, что у тебя здесь, — он слегка прикоснулся своим указательным пальцем, пожелтевшим от никотина, ко

лбу своего друга, — у тебя, к этой… Я бы не хотел тебя задеть…

— О! Мне все равно, что ты считаешь ее идиоткой… но ты преподнес мне хороший урок!

— Я, — сказал Жео, — я ничего не делал…

Он склонил свое милое, слегка увядшее лицо, затем посмотрел наверх и улыбнулся Иву восхищенно и нежно.

— И потом, что касается меня, то пока это опять на меня не накатило…

Он подал знак официанту, опорожнил бокал, с блуждающим взглядом продиктовал заказ:

— Два, самого лучшего… Что касается меня, — продолжил он, — то ты видишь всех этих курочек? Так вот, я променял бы их всех, вместе взятых… догадайся на кого?

Он приблизил к Иву свои чудесные глаза и одновременно смущенно и страстно прошептал:

— На посудомойку!

Они прыснули со смеху. И вдруг целый мир грусти обрушился на Ива. Он взглянул на Жео, тоже сильно помрачневшего: неужели и он испытывал то же чувство обманутости, бесконечной насмешки? Иву показалось, что из невероятного далека он слышит перешептывание уснувших елей.

— Дядя Ксавье, — прошептал он.

— Что?

И Жео, ставя свой бокал на стол, подняв указательный и средний пальцы, подал официанту знак принести новую порцию.

XIX

В одно октябрьское утро дети семьи Фронтенак (кроме Жозе, по-прежнему находившегося в Марокко) в холле гостиницы д'Орсе стояли вокруг Жозефы. Летом дядя, казалось, стал поправляться, но недавно накативший резкий приступ свалил его окончательно, и врач уже не надеялся на то, что он сможет оправиться от него. Телеграмма Жозефы пришла в Респид, когда Ив присматривал за сбором винограда и уже подумывал о возвращении, но и не торопился, так как «она» возвращалась в Париж лишь в конце месяца. Впрочем, он уже успел привыкнуть к ее отсутствию и теперь, когда перед ним забрезжил свет в конце туннеля, он бы с удовольствием задержался подольше…

Жозефа, поначалу оробевшая перед Фронтенаками, напустила на себя важный, преисполненный достоинства вид, однако волнение внесло

коррективы в ее поведение. И потом Жан-Луи с первых же слов тронул ее сердце. Ее преклонение перед Фронтенаками наконец-то нашло для себя достойный объект, который ее не разочаровал. Именно к нему она обращалась, видя в нем главу семьи. Обе молодые женщины вели себя несколько натянуто и держались в стороне, но не из гордости, как казалось Жозефе, а потому, что не знали, как себя вести. (Жозефа никогда бы не подумала, что они такие упитанные; вся полнота, отведенная семье, пришлась на их долю.) Ив, утомленный ночным путешествием, прикорнул в кресле.

— Я убедила его в том, что представлюсь вам в качестве его сиделки. Поскольку он совсем не говорит (он не хочет разговаривать, полагая, что это может повлечь за собой новый приступ), я не очень поняла, согласился он или нет. У него бывают провалы в памяти… Невозможно понять, чего он хочет… На самом же деле он думает только о своей боли, которая может накатить в любую минуту, похоже, что она настолько ужасна… будто бы у него на груди целая гора… Я бы не пожелала вам присутствовать во время приступа…

— Какое это испытание для вас, мадам…

Она в слезах пробормотала:

— Вы так добры, господин Жан-Луи.

— В его несчастье ваша преданность, ваше уважение — это такая поддержка.

Его незамысловатые слова подействовали на Жозефу как ласка. Вдруг сделавшись такой родной, она тихо плакала, опершись о руку Жана-Луи. Мари прошептала на ухо Даниэль:

— Зря он так себя с ней ведет, мы потом от нее не отделаемся.

Договорились, что Жозефа подготовит дядю к их приходу. Они придут часам к десяти и подождут на лестничной клетке.

Только здесь, на этой грязной лестнице, где дети семьи Фронтенак стояли, прислушиваясь к каждому звуку, в то время как местные обитатели, уведомленные консьержкой, перевешивались через перила; только здесь, сидя на перепачканной ступеньке, прислонившись спиной к поддельному мрамору щербатой стены, Ив наконец ощутил весь ужас происходящего за этой дверью. Время от времени Жозефа приоткрывала дверь, высовывала распухшую от слез физиономию, просила их подождать еще немного; держа палец у рта, она затворяла створку двери. Дядя Ксавье, каждые две недели входивший в серую комнату на улице Кюрсоль в Бордо, завершив объезд владений;

дядя Ксавье, мастеривший свистки из веточек ольхи, сейчас агонизировал в этой трущобе, в квартире у этой женщины, напротив метромоста, неподалеку от станции Мотт-Пике-Гренель. Бедняга, по рукам и ногам связанный предрассудками, фобиями, неспособный пересмотреть раз и навсегда усвоенное с подсказки родителей мнение; уважающий установленный порядок и одновременно такой далекий от простой, нормальной жизни… Дыхание октября наполняло эту лестницу и напоминало Иву застоявшийся запах в вестибюле на улице Кюрсоль в день начала школьных занятий. Это был смешанный запах тумана, мокрой мостовой, линолеума. Даниэль и Мари перешептывались. Жан-Луи не шевелился, стоял, закрыв глаза, прислонившись лбом к стене. Ив не обращался к нему, понимая, что его брат молится. «Придется вам, господин Жан-Луи, поговорить с ним о Боге, — сказала Жозефа, — меня-то он и слушать не захочет, вы же знаете!» Ив хотел было присоединиться к Жану-Луи, но ничего не приходило ему на ум из этого забытого языка. Он был теперь страшно далек от той поры, когда и ему достаточно было закрыть глаза, молитвенно сложить руки. Какими долгими казались минуты! Теперь на ступени, на которой

он сидел, ему были досконально известны все пятна, слагавшиеся в рисунки.

Жозефа приоткрыла дверь и подала им знак, что они могут войти. Она провела их в столовую, а сама исчезла. Фронтенаки старались не дышать, даже не шевелиться, так как туфли Жана-Луи скрипели при малейшем движении. Окно, судя по всему, в последний раз открывалось лишь накануне; в этих стенах, обклеенных красными обоями, витали запахи старой пищи и газа. Две олеографии, на одной из которых были изображены персики, а на другой малина, были точно такими же, как и в столовой преньякского дома.

Позже им стало ясно, что им не следовало появляться здесь всем вместе. Если бы дядя увидел сначала одного Жана-Луи, то он привык бы к его присутствию, безумием было войти целой толпой.

— Вы видите, господин, они пришли, — повторяла Жозефа, неестественно играя роль сиделки. — Не желаете ли взглянуть на них? Они здесь все, кроме господина Жозе…

Он сидел неподвижно, застыв в своей позе насекомого. Единственной активной частью лица, на которое страшно было смотреть, оказались глаза, перебегавшие от одного к другому, как будто бы

ему угрожал удар. Обеими руками, сложенными на груди, он вцепился в лацканы пиджака. Жозефа, вдруг позабыв о своей роли, забормотала:

— Ты ничего не говоришь, потому что боишься, что это причинит тебе боль? Э… не говори ничего, бедняжка. Ты видишь их, своих малышей? Ты доволен? Смотрите друг на друга и не разговаривайте. Если ты, заинька, плохо себя чувствуешь, скажи нам. Если тебе больно, то покажи мне знаком. Хочешь, я сделаю тебе укол? Подожди, я пойду приготовлю ампулу.

Она несла всякую чепуху, разговаривала с ним так, как обычно разговаривают с совсем маленькими детьми. Но умирающий, замкнувшись в самом себе, по-прежнему выглядел затравленным. Четверо детей Фронтенак, стоявшие плотной группой, парализованные тревогой, не догадывались, что выглядят как члены суда присяжных, готовые принять клятву. Наконец Жан-Луи отделился от остальных, обнял дядю за плечи и сказал:

— Видишь, только Жозе не смог прийти. Мы получили от него хорошие новости…

Губы Ксавье Фронтенака зашевелились. Сначала они, склонившись над его креслом, даже не поняли, что он сказал.

— Кто попросил вас прийти?

— Мадам… твоя сиделка…

— Это не моя сиделка… Говорю же вам: она мне не сиделка. Ты ведь слышал, что она обращалась ко мне на «ты».

Ив встал на колени у исхудалых ног дяди:

— Ну и что из этого? Это совершенно неважно, это нас не касается, ты наш дорогой дядя, брат папы…

Но больной оттолкнул его, даже не взглянув.

— Вы об этом узнаете! Вы узнаете! — повторял он с блуждающим взглядом. — Я как дядя Пелуер. Помню, он сидел в Буриде, запершись с той женщиной… Он не хотел видеть никого из семьи… К нему отправили посредником вашего бедного отца, который тогда был еще совсем молодым. Я помню: Мишель уехал в Буриде на лошади и повез с собой баранью ногу, потому что дядя любил преньякское мясо… Ваш отец рассказывал, что ему пришлось долго стучать… Дядя Пелуер приоткрыл дверь… Он пристально посмотрел на Мишеля, взял из его рук баранью ногу, захлопнул дверь, закрыл ее на задвижку… Я помню эту историю… Это забавная история, но я слишком много болтаю… Забавная история…

Он засмеялся смехом одновременно сдержан-

ным, тихим, причинившим ему боль, смехом, который никак не прекращался. На него накатил приступ кашля.

Жозефа сделала ему укол. Он закрыл глаза. Прошло четверть часа. Поезда метро сотрясали весь дом. Когда они затихли, этих ужасных хрипов слышно больше не было. Вдруг он зашевелился на своем кресле, открыл глаза.

— Мари и Даниэль здесь? Они пришли к моей любовнице. Я заставил их прийти к женщине, которую я содержу. Если бы Мишель и Бланш узнали об этом, они бы меня прокляли. Я ввел детей Мишеля в дом к своей любовнице.

Больше он не говорил. Он зажал себе нос, его лицо стало фиолетовым, он стал издавать хрипы, эти булькающие предвестники конца… Жозефа в слезах обняла его, а Фронтенаки испуганно попятились к двери.

— Ты не должен стыдиться их, мой дорогой, они хорошие ребята, они все понимают, они знают… Что тебе нужно? Что ты просишь, котик?

Обезумев, она спрашивала детей:

— О чем он просит? Я не могу понять, чего он хочет…

Им были совершенно понятны движения его руки слева направо; это значило: «Уходи!» Богу не

было угодно, чтобы она поняла, что он ее прогоняет, ее, свою старую подругу, своего единственного друга, свою служанку, свою жену.

Ночью последний поезд метро заглушил стоны Жозефы. Она отдалась своему горю без удержу, ей казалось, она должна кричать. Консьержка и уборщица поддерживали ее под руки, смачивали ей виски уксусом. Дети семьи Фронтенак опустились на колени.

XX

— Что хорошенького вы пишете?

Задавая этот вопрос, Дюссоль хотел показаться дружелюбным, но улыбки не сдерживал. Ив, развалившись на диване Жана-Луи, притворился, что ничего не слышит. В тот же вечер он должен был сесть в поезд и уехать обратно в Париж. Дело происходило ближе к вечеру, на следующий день после похорон дяди Ксавье в Преньяке. Дюссоль, который не смог присутствовать на них, из-за своего ревматизма (уже год как он передвигался с палочкой), приехал выразить свои соболезнования семье.

— Значит, — вновь заговорил он, — вы по-прежнему во всеоружии?

Поскольку комната не была освещена, он плохо различал выражение лица Ива, по-прежнему молчавшего.

— Какой скрытник! Ну же! Кисть или перо? Стихи или проза?

Неожиданно Ив решился ответить:

— Я пишу книгу «Характеры»… Да, срисованные с реальных людей. Как вы видите, в этом нет никакой заслуги: я ничего не придумываю; я просто в точности воспроизвожу большую часть типажей, с которыми мне пришлось столкнуться в жизни.

— И это будет так и называться «Характеры»?

— Нет, «Рожи».

Наступило минутное молчание. Мадлен спросила у Дюссоля сдавленным голосом: «Еще чашку чаю?» Жан-Луи заговорил об очень важной вырубке в районе Буриде, о которой компания Фронтенаков-Дюссолей в настоящий момент вела переговоры.

— Это не ваша вина, — сказал Дюссоль, — но вообще-то было бы досадно, если бы смерть вашего дяди задержала заключение сделки. Вы ведь знаете, что Лакань дышит нам в затылок…

— У меня встреча по этому поводу послезавтра утром, в первом часу, прямо на месте.

Жан-Луи говорил рассеянно, не отрывая глаз от Ива и различая лишь его лоб и руки. Он встал, чтобы зажечь свет. Ив чуть повернул голову, показав брату темные растрепанные волосы, впалую желтую щеку, тонкую шею.

— Мне вообще-то хочется поехать вместе с Ивом в Париж, — произнес Жан-Луи, поддавшись внезапному порыву. — Мне необходимо повидаться с Лаба…

— Вам не удастся вернуться достаточно рано для послезавтрашней встречи, — возразил Дюссоль. — Речь идет как раз о Лаба! Эта вырубка принесет сто тысяч франков прибыли, я дам вам свой билет.

Жан-Луи провел рукой по носу и губам. Чего он опасался? Он не мог ни на секунду отвести взгляд от Ива. После отъезда Дюссоля он прошел к себе в комнату, куда за ним последовала Мадлен.

— Ты такой из-за Ива? — спросила она.

Она научилась понимать мужа, который с каждым часом все больше чувствовал себя расшифрованным, прозрачным.

— Да, признаюсь, он меня беспокоит.

Она возразила: его беспокойство ни на чем не основано, Ив потрясен смертью дяди Ксавье; он все еще находится под впечатлением этого собы-

тия, но парижская жизнь быстро развеет его.

— Мы же знаем, какую жизнь он ведет… Он только в семье напускает на себя этот вид, выводящий тебя из равновесия. А там, судя по тому, как он ответил Дюссолю, он не очень-то предается меланхолии. Ты же не станешь рисковать потерей сотни тысяч франков из-за всякой ерунды, которую ты вбил себе в голову.

Она инстинктивно нашла аргумент, против которого Жан-Луи никогда не мог устоять: он отвечал не только за свои собственные деньги, но за деньги всей семьи. Остальную часть вечера, вплоть до отъезда Ива, он старался побольше общаться с братом, который отвечал, не повышая голоса, и казался спокойным. Ничто не подтверждало тревоги Жана-Луи. Тем не менее, когда дверцы вагона, в который он посадил Ива, уже закрывались, он чуть было не остался с братом.

Едва Ив проехал туннели Лормона, как ему сразу же стало легче дышать. Он ехал к ней, каждый оборот колес приближал его к ней; на следующее утро, на одиннадцать часов, у него было назначено свидание в баре в погребке в начале улицы, около площади Звезды. На этот раз, поскольку он был готов к самому худшему, он не будет чувствовать себя подавленным; что

бы она ни собиралась ему сказать, он увидится с ней. В общем, можно будет жить, всегда надеясь на возможную встречу. Вот только он постарается сократить перерывы между встречами по сравнению с прошлым годом. Он скажет ей: «Я быстрее начинаю задыхаться. Не рассчитывайте, что я смогу долго оставаться вдали от животворящего источника. Я дышу, я существую в вас». Она улыбается, зная, что Ив не любит слушать рассказы о путешествиях, он быстро прервет ее повествование о морской поездке. «Я скажу ей, что меня интересует лишь человеческая география: не пейзажи, а люди, с которыми ей довелось встретиться. Все те, кто за эти три месяца мог прикоснуться к ней. Их, вероятно, меньше, чем я себе воображаю… Она говорит, что в ее жизни нет ничего важнее меня. Тем не менее у нее были поклонники… Кто был у нее в прошлом году?» Он продвигался на ощупь до тех пор, пока не вернулся на тропу преодоленных прошлогодних страданий. Прокаженный в нем бередил, разжигал его ревность, заставлял кровоточить подсохшие раны. Он приближался к городу, не имевшему ничего общего с тем Парижем, где восемь дней назад Ксавье Фронтенак умер такой ужасной смертью.

— Не смотрите на часы, дорогая. Мы всего лишь десять минут вместе, а вы уже беспокоитесь о времени. Вы постоянно живете в том времени, в котором меня уже не будет.

— Уже упреки? Вы не находите, что я загорела?

Он заранее купил ей в подарок костюм с лисьим воротником; ей он понравился. Он позволил ей довольно долго рассказывать о Балеарских островах. Но уже трижды заставил ее повторить, что она не встретила никого интересного… Кроме своего бывшего мужа, в Марселе. Они вместе поужинали, как приятели: постепенно напиваясь, он вынужден был покинуть ее, чтобы пойти покурить, без этого он больше не может.

— Ну, а как ты, мой милый Ив?

Пока он говорил, она подкрасила губы помадой и попудрилась. Поскольку он рассказывал о смерти дяди Ксавье, она рассеянно спросила, оставил ли дядя наследство.

— Он почти все, что у него было, отдал нам при жизни.

— Значит, его смерть не представляет большого интереса.

Она сказала это по простоте душевной. Необходимо было ей объяснить… создать у нее представление об этом мире, о тайне… К моло-

дому человеку за соседним столиком подсела женщина: они заговорили друг с другом. Двое или трое мужчин, сидевших у стойки бара, не обернулись. На улице фырчали автобусы. Электричество горело, было не похоже, что дело происходило утром. Она по одной отправляла в рот соломки холодной жареной картошки.

— Я проголодалась, — сказала она.

— Тогда на завтрак… Не можешь? Тогда когда же? Завтра?

— Подожди-ка… Завтра?… В четыре часа у меня примерка… в шесть часов… нет, завтра не получится… А как насчет четверга?

Он равнодушно спросил: «Через три дня?» Три дня и три ночи этой женщины, о которых он ничего не узнает, которые будут заполнены другими людьми, другими событиями… Он думал, что готов к этому, что это не будет для него неожиданностью, но боль непредсказуема. На протяжении долгих месяцев он из сил выбивался, гоняясь за ней. После трехмесячного отдыха погоня возобновлялась, но только при других условиях: он сдался, был разбит, он больше не сможет бегать. Она понимала, что он страдает, взяла его за руку. Он не отнял ее. Она спросила его, о чем он думает. Он сказал:

— Я думал о Респиде. Однажды, после похорон дяди, я один поднялся из Преньяка на кладбище. Мой брат уехал в Бордо вместе с сестрами. Я попросил открыть дом. Зашел в гостиную, где стоял запах подгнившего пола и погреба. Ставни были плотно закрыты. В полумраке я лег на ситцевый диван, вытянул ноги. Прижался щекой и телом к холодной стене. Закрыв глаза, я попытался убедить себя в том, что лежу между мамой и дядей…

— Ив, вы жестоки.

— Никогда еще мне не удавалось настолько полно ощутить себя в объятиях смерти. Эти толстые стены, эта гостиная, похожая на погреб, в центре потерянных владений. Ночь… Жизнь уходила в бесконечность. Это был отдых. Отдых, моя дорогая, подумайте только! Возможность больше не чувствовать, что ты любишь… Почему нас приучили так бояться небытия?.. Неисправимо верить, несмотря ни на что и вопреки всему, в вечную жизнь. Это означает утратить прибежище небытия.

Он не заметил, что она тайком взглянула на часы. Она сказала:

— Ив, мне пора бежать: лучше выйдем по отдельности. До четверга… Давайте договоримся встретиться у меня в семь часов… Нет, в половине

восьмого… Нет, лучше без четверти восемь.

— Нет, — ответил он со смехом, — в восемь ровно.

XXI

Идя по Елисейским Полям, Ив все еще продолжал смеяться, но не поддельным, горьким смехом, а от всего сердца, его смех заставлял прохожих оборачиваться. Только что пробило полдень, он взбежал по ступенькам лестницы вокзала д'Орсе совсем рано: итак, этих нескольких часов ему хватило, чтобы исчерпать радость от встречи, которой он ждал в течение трех месяцев, и вновь обнаружить себя слоняющимся по улицам… Как она говорила, «это было смешно». Некоторая приподнятость настроения еще сохранялась у него на той скамейке на площади Рон-Пуан, куда он присел, ощущая, что ноги его разбиты еще сильнее, чем если бы он шел сюда пешком от самого своего имения. Он страдал только от какой-то опустошенности: никогда еще предмет его любви не казался ему до такой степени смехотворным, выброшенным из его жизни, растоптанным, грязным, конченым. Тем не менее любовь все еще продолжала жить в его душе, она

сосредоточилась на этой странной мучительной пустоте. Он переживал те мгновения, которые знакомы любому мужчине, когда-нибудь в своей жизни любившему, мгновения, когда, все еще пытаясь обнять ускользающее, мы прижимаем к сердцу пустоту в буквальном смысле этого слова. В этот теплый и мягкий октябрьский полдень, сидя на скамейке на Рон-Пуан на Елисейских Полях, последний из Фронтенаков не представлял себе цели, которая бы находилась дальше Марли. Дойдя до них, он не знал, повернет ли направо, налево или дойдет до Тюильри и попадет в западню Лувра.

Вокруг него на этом перекрестке люди и машины кружили, смешивались в однородную массу, затем вновь разделялись, и он чувствовал себя там таким же одиноким, как и некогда в центре тесного пространства, окруженного папоротником и камышом, на котором он скрывался в своем диком детстве. Однородный шум улицы напоминал нежные звуки природы, а прохожие казались ему более чужими, чем сосны Буриде, чьи вершины в свое время оберегали этого маленького Фронтенака, прижавшегося к их подножиям в самой густой чаще. Сегодня эти мужчины и женщины жужжали, как мухи в ландах, застывали

на месте, как стрекозы, и, случалось, кто-нибудь один из них иногда садился рядом с Ивом, совсем близко, даже его не замечая, а затем улетал. Но каким же глухим и далеким стал голос, который преследовал ребенка Фронтенака в глубине его кабаньего логова и который он, даже в эту минуту, все еще слышал! Он хорошо видел, — повторял голос, — все эти непроезжие дороги, которые были ему предвещены, все эти бесконечные страсти. Вернуться назад, вернуться назад… Вернуться назад, когда у тебя уже почти не осталось сил? Пройти весь путь заново? Какое восхождение предстоит преодолеть! А, впрочем, для чего все это? Ив блуждал по миру, насыщенному тяжелым человеческим трудом. От него, с опережением закончившего свою работу и сдавшего рукопись в набор перед тем, как пойти развлекаться, не требовалось больше ничего. Ничего, кроме как запечатлевать на бумаге реакции абсолютно ничем не занятого разума… Он не смог бы заниматься чем-то иным, да и мир не требовал от него ничего другого. Среди всего того человеческого муравейника, что суетился вокруг его скамейки, кто мог бы его поработить? Ну нет, лучше уж помереть с голоду!.. «И все же тебе известно, — настойчиво повторял голос, — ты был создан

для изнурительной работы, и ты подчинился бы ей телом и душой, потому что она не мешала бы тебе жить жизнью, исполненной бездонной любви. Единственная работа, которая никак не отвлекала бы тебя от любви, в которой она ежесекундно бы проявлялась, которая объединила бы тебя со всеми людьми на почве милосердия…» Ив опустил голову и произнес: «Господи Боже, сжалься надо мной».

Он встал, сделал несколько шагов по направлению ко входу в метро неподалеку от Большого Дворца и облокотился о перила. Это было время, когда заполнялись мастерские, а метро поглощало и выбрасывало из себя муравьев с человеческими головами. Ив долго невидящим взглядом наблюдал за этим вливанием и вытеканием человеческой массы. Когда-нибудь — он был в этом уверен и сейчас призывал этот день из глубины своей усталости и отчаяния — необходимо, чтобы все люди оказались вынужденными подчиниться этому движению прилива и отлива: все, без малейшего исключения. То, что Жан-Луи называл социальным вопросом, больше не встанет перед такими замечательными людьми, как он. Ив мечтал: «Мне необходимо увидеть тот день, когда в определенный час, поглощая чело-

веческую волну, откроются и закроются шлюзы. Никакие приобретенные богатства больше не позволят никому из Фронтенаков оставаться в стороне под тем предлогом, что ему необходимо поразмышлять, предаться отчаянию, написать для своей ГАЗЕТЫ, помолиться, замолить грехи. Люди из низов восторжествуют над человеческой личностью, да, человеческая личность будет уничтожена, и вместе с ней одним махом исчезнет то, что приносит нам мучение и одновременно является источником милого нашему сердцу наслаждения: любовь. Не будет больше сумасшедших, превращающих бесконечное в конечное. Радость от мысли о том, что, вероятно, близко то время, когда из-за нехватки воздуха все Фронтенаки исчезнут с лица земли и ни одно существо не сможет даже представить себе того, что испытываю в эту секунду я, стоя облокотившись о поручни метро: этого пресного умиления, этого пережевывания того, что любимая могла бы мне сказать, начиная со дня нашего знакомства, и как она стремится заставить меня поверить в то, что она все же дорожит мной, — так же ведет себя изолированный ото всех больной, повторяя про себя слова врача, в которых он обрел надежду на выздоровление и которые он знает наизусть.

Притом что они не имеют над ним больше никакой власти, он не перестает повторять их про себя вновь и вновь…»

После Марли… Он не мог придумать ничего лучшего, чем пойти домой и лечь спать. Умереть для него, несчастного бессмертного, не имело ни малейшего смысла. Он оказался в окружении по эту сторону. Кто носит фамилию Фронтенак, узнает, что в небытие нет выхода и что дверь в могилу надежно охраняется. В том мире, который он рисовал себе, который он видел, чей приход он предчувствовал, соблазн смерти больше не будет преследовать никого, потому что это деловое и очень занятое общество будет выглядеть как живое, но на самом деле будет уже мертвым. Нужно быть личностью, человеком, отличающимся ото всех других, необходимо держать собственную жизнь в своих руках и оценивать ее, и смотреть на нее трезво под взглядом Господа, для того чтобы иметь возможность сделать выбор: умирать или жить дальше.

Забавно было думать об этом… Ив пообещал себе рассказать Жану-Луи историю, которую он придумал только что, стоя перед входом в метро; он радовался при мысли о том, как удивит его, описывая революцию будущего, способную затро-

нуть самые сокровенные стороны человеческого существа, способствовать разложению самой его природы, вплоть до того, что сделает его похожим на перепончатокрылых: пчел, муравьев… Ни один вековой парк не раскинет больше своих ветвей над отпрысками одной семьи. Сосны старинного имения не станут больше свидетелями того, как из года в год взрослеют одни и те же дети; в худых и чистых лицах, запрокинутых к вершинам, не увидят больше черт их отцов и дедов, когда те были в том же возрасте… Все дело в усталости, думал Ив, это усталость заставляет его бредить. Как хорошо было бы поспать! Перед ним не вставал вопрос — жить или умирать, он хотел лишь выспаться. Он остановил такси и нащупал в глубине кармана маленький пузырек. Он поднес его к глазам и занялся разгадыванием магической формулы на этикетке: *Allylis Opropylbarbiturate de phenyldimethyldimethylamino Pyrazolone, 0,16 g.*

В это время Жан-Луи, сначала сидя за столом напротив Мадлен, затем стоя и наспех глотая кофе, садясь за руль своей машины и, наконец, в конторе, внимательно всматриваясь в глаза подручного Жанена, отчитывавшегося ему в проделанной работе, повторял про себя: «Ив ничем

не рискует; мое беспокойство ни на чем не основано. Вчера вечером, садясь в вагон, он казался намного спокойнее, чем в целом выглядел все последнее время… Да, но именно это спокойствие…» Он слышал, как на платформе пыхтит паровоз. Это сделка, не позволяющая ему уехать… почему бы не объяснить ее сути Жанену, который находится здесь; он инициативен, страстно мечтает о продвижении по службе. Искристый взгляд молодого человека пытался перехватить мысль Жана-Луи, предвосхитить ее… И тут, вдруг, Жан-Луи понял, что сегодня вечером он уедет в Париж. Завтра утром он будет уже в Париже. Его душа мгновенно обрела спокойствие, словно неведомая сила, со вчерашнего вечера державшая его за горло, поняла, что может разжать свои объятия, ибо ее цель достигнута.

XXII

Ив слышал, как откуда-то из глубины пропасти, из бесконечности, раздался, как ему смутно показалось, телефонный звонок, после которого ему сообщили из Бордо о болезни матери (хотя он знал, что ее уже больше года нет в живых). Тем не менее минуту назад она находилась в этой

комнате, где при жизни была лишь однажды. Она приезжала из Бордо посмотреть на квартиру Ива («Чтобы потом иметь возможность мысленно представлять его в ней», — сказала она). Больше она здесь не появлялась, если не считать этой ночи, — и Ив все еще очень живо представлял ее себе в кресле, у изголовья кровати, она не занималась своим привычным рукоделием, потому что была мертва. Мертвые не вяжут и не разговаривают… Но губы ее шевелились: она торопилась выговорить что-то очень важное, но у нее ничего не получалось. Она вошла точно так же, как делала это в Буриде, когда ей что-то было нужно: без стука, мягко нажимая на ручку и толкая дверь всем телом, погруженная в тревожные мысли, не обращая внимания на то, что могла своим вторжением прервать письмо, чтение, сон, слезы… Она находилась здесь, но при этом звонили из Бордо, чтобы сообщить о ее смерти, и Ив смотрел на нее с тревогой, стараясь уловить никак не желавшее слетать с ее губ слово. Раздался новый звонок. Что он должен был ответить? Хлопнула входная дверь. Он услышал голос консьержки: «Хорошо еще, что у меня есть свой ключ…» Ей ответил Жан-Луи (но ведь он в Бордо?..): «Вид умиротворенный… Он мирно

спит… Нет, пузырек практически полный; он проглотил совсем немного…» Жан-Луи в комнате. В Бордо и одновременно в этой комнате. Ив, желая его успокоить, улыбнулся.

— Ну как дела, старик?

— Ты в Париже?

— Да, мне необходимо сделать…

Жизнь проникает в Ива отовсюду, а сон постепенно отступает на второй план. Жизнь струится, заполняет его… Он вспоминает: какая трусость, три таблетки! Жан-Луи спрашивает Ива о том, что не дает ему покоя. Ив не пытается притворяться. Он бы и не смог, у него не осталось больше на это ни сил, ни желания, как, впрочем, не осталось и крови. Все события вставали на свои места: позавчера он был в Бордо, вчера утром в небольшом баре, а потом этот безумный день… И вот Жан-Луи здесь.

— Но почему ты здесь? Сегодня же день той самой знаменитой сделки…

Жан-Луи опустил голову: больной не должен забивать себе голову всем этим. Тогда Ив сказал:

— Нет, я не болен. Просто чувствую себя совершенно подавленным, разбитым…

Жан-Луи взял его за запястье и, сверяясь с часами, измерил пульс, как это делала мама, когда

они в детстве болели. Затем движением, тоже позаимствованным у мамы, старший брат откинул волосы, закрывавшие лоб Ива, чтобы убедиться, что у него нет температуры, — а может быть, и для того, чтобы при полном освещении лучше рассмотреть его черты, и, наконец, просто из нежности.

— Не волнуйся, — сказал Жан-Луи, — не разговаривай.

— Останься!

— Ну конечно же, я останусь.

— Присядь… Нет, только не на мою кровать. Пододвинь кресло.

Больше они не шевелились. Смутный шум осеннего утра не нарушал их покоя. Иногда Ив приоткрывал глаза, видел это сосредоточенное и чистое лицо, на котором накопившаяся за ночь усталость оставила свой отпечаток. Жан-Луи, избавившись от тревоги, точившей его с предыдущего вечера, отдался наконец глубокому отдыху, сидя возле кровати, на которой лежал его живой брат. Ближе к полудню он наспех что-то перекусил, не выходя из комнаты. День таял, словно песок, сыплющийся сквозь пальцы. Вдруг раздался телефонный звонок… Больной забеспокоился; Жан-Луи приложил палец к губам

и прошел в кабинет. Ив испытывал счастье от того, что больше его ничто не касалось: пусть выкручиваются другие; Жан-Луи все устроит.

— …из Бордо? Да… Дюссоль? Да, это я… Да, я вас слышу… Я ничего не могу поделать… Разумеется, поездка, которую невозможно было перенести… Да нет же. Жанен заменит меня. Нет… да… поскольку… я вам объясняю, я дал ему необходимые инструкции… Ну что ж, тем хуже… Да, я понял: больше ста тысяч франков… Да, я сказал: тем хуже…

— Повесил трубку, — сказал Жан-Луи, входя в спальню. Он опять сел около кровати. Ив спросил: не будет ли из-за него загублена сделка, о которой говорил Дюссоль? Брат заверил его, что перед отъездом принял все необходимые меры. Хорошим знаком было то, что Ив проявлял беспокойство о подобных вещах, что он волновался, получила ли Жозефа чек, который они решили ей послать.

— Старик, ты только представь себе, она его отправила обратно…

— Я же говорил тебе, что сумма слишком маленькая…

— Да нет же, она, наоборот, считает, что это слишком много. Дядя Ксавье передал ей из рук в

руки сто тысяч франков. Она написала мне, что он испытывал мучительные угрызения совести из-за этих денег, считая, что не имел права отнимать их у нас. Она не хочет идти против его воли. Она лишь просит у нас, бедная женщина, позволения присылать нам поздравительные открытки на Новый год и надеется, что я буду сообщать ей новости обо всех нас и давать ей советы по поводу ее капиталовложений.

— А какие ценные бумаги приобрел для нее дядя Ксавье?

— Акции *«Старого Ломбарда»* и *«Русского Дворянства»,* 3,5 %. С ними она может быта спокойна.

— Она живет в Ниоре, у дочери?

— Да… представь себе, она захотела также оставить у себя наши фотографии. Мари и Даниэль считают, что с ее стороны это нескромно. Но она обещает, что никому не станет их показывать, будет хранить их в своем зеркальном шкафу. Что ты об этом думаешь?

Жан-Луи думал о том, что несчастная Жозефа проникла в тайну семьи Фронтенак и стала неотъемлемой ее частью, ничто больше не могло уничтожить ее причастность к ней. Разумеется, у нее были права на фотографии, на новогодние

поздравления…

— Жан-Луи, когда Жозе вернется со службы, нужно, чтобы мы поселились вместе, прижались бы поплотнее друг к другу, как щенки в своей корзинке… (Он прекрасно понимал, что это невозможно.)

— Совсем как тогда, когда мы водружали столовые салфетки себе на головы и играли в «общину» в маленькой комнате, ты помнишь?

— Только представь себе, что эта квартира все еще существует! Но одни жизни стираются другими… По крайней мере хоть Буриде остался прежним.

— Увы, — ответил Жан-Луи, — сейчас много вырубают… Знаешь, что со стороны Лассю все будет вырублено под корень… И по обочине дорога тоже… Только представь себе мельницу в окружении голых ланд…

— Но останутся сосны парка.

— Они «огрибковываются». Каждый год какое-то их число гибнет…

Ив вздохнул:

— Сосны семьи Фронтенак подточены, как и сами люди!

— Ив, хочешь, мы вернемся в Буриде вместе?

Ив, ничего не ответив, представил себе Буриде в

это время суток: в сумеречном небе ветер, должно быть, то соединяет, то разводит в стороны, затем вновь перемешивает друг с другом вершины сосен, как будто бы у этих пленников есть секрет, который они спешат передать друг другу и разнести по всему свету. После ливня со всех деревьев падают крупные капли. Они выходят на крыльцо, чтобы подышать осенним вечерним воздухом. Правда, хоть Буриде еще и стоял перед глазами Ива, это было похоже на то, как несколько минут назад ему представлялась мать: в грезах, где она еще была живая, и при этом он знал, что она уже умерла. Точно так же и сегодняшний Буриде представлял собой лишь пустой кокон того, что было его детством, его любовью. Как объяснить такие вещи дорогому брату? Он сослался на то, что трудно будет долго оставаться вместе:

— Ты не смог бы дождаться, пока я выздоровею окончательно.

Жан-Луи не стал спрашивать его: выздоровеет от чего? (Он знал, что ему следовало бы спросить: выздоровеет от чего?) И удивился, что существует на свете столько молодых и симпатичных людей, как Ив, которым любовь приносит лишь страдания. Для них любовь неизменно сопряжена с мучительной игрой воображения. Но Жану-Луи

она представлялась вещью самой что ни на есть простой, самой легкой… Ах, если бы только он не выбрал Бога! Он глубоко дорожил Мадлен и каждое воскресенье причащался, но уже два раза — сначала со служащей в конторе, затем с подругой своей жены — он заметил сигнал, на который уже почти готов был ответить… Ему пришлось много молиться; он вовсе не был уверен в том, что не согрешил желанием, потому что не понимал, как отличить соблазн от желания? Держа за руку своего брата, он с грустным удивлением вглядывался при свете ночной лампы в такое горестное выражение на его лице, плотно сжатые губы, все эти свидетельства усталости и истощения.

Возможно, Ив был бы счастлив, если бы Жан-Луи все-таки задал ему этот вопрос; но разделявшая их стыдливость была невероятно сильна. Жан-Луи хотел было сказать ему: «Твое произведение…» Но этим вопросом он рисковал ранить его. Впрочем, он смутно чувствовал, что это произведение, если ему суждено быть дописанным до конца, оказалось бы всего лишь отражением его отчаяния. Он наизусть знал то стихотворение, в котором Ив, будучи еще почти ребенком, рассказывал: чтобы вырвать его из объятий тишины, ему, так же как и соснам Буриде, необходимо,

чтобы налетели западные ветра, разразилась бы необузданная буря.

А еще Жан-Луи хотел ему сказать: «Домашний очаг… жена… другие дети Фронтенак…» Но особенно он хотел поговорить с ним о Боге. Но не осмелился.

Чуть позже (уже ночью) он наклонился к Иву, лежавшему с закрытыми глазами, и с удивлением обнаружил, что тот улыбается и даже уверяет, что не хочет спать. Жан-Луи обрадовался столь нежному и спокойному взгляду, которым брат долго смотрел ему в глаза. Ему хотелось бы знать, о чем думал Ив в этот момент; он не сомневался, что его младший брат думает о том, что большое счастье умереть не в одиночестве: нет, он не умрет в одиночестве; где бы смерть ни настигла его, он знал, что его старший брат обязательно будет с ним, будет держать его за руку и проводит до порога страны теней так далеко, как только сможет.

А там, в краю Фронтенаков и Пелуеров, за затерявшимся участком, где обрываются все дороги, сияла луна над залитыми водой ландами; она царила прежде всего над той поляной, которую предваряют сосновые боры, поляной с пятью или шестью очень древними, огромными, ко-

ренастыми дубами, настоящими детьми земли, заставляющими разрозненные сосны тянуться вверх, к небу. Колокольчики уснувших овец мелко позвякивали в парке, под названием «парк Человека», в котором пастух семьи Фронтенак провел эту октябрьскую ночь. Если не считать всхлипывания какой-то ночной птицы, дребезжания трясущейся повозки, ничто не нарушало жалобы, которую от самого океана с благоговением передавали друг другу сосны своими переплетенными ветвями. В глубине хижины, оставленной охотником до зари, волновались обычно выполняющие роль манков голодные и непоеные вяхири с выколотыми глазами. Небесную высь прорезал полет журавля. Непролазная топь Тешуэйры собирала в своих укрытых камышами, торфом и водой таинственных уголках парочки диких уток и чирков со свистящими крыльями. Если бы старики семейств Фронтенак и Пелуер восстали из мертвых в этой части света, они бы решили, что все в мире осталось на своих местах. А эти дубы, питаемые уже два века самыми потайными соками ланд, в эту минуту жили своей второй, очень эфемерной жизнью в мыслях лежащего в своей парижской комнате юноши, чей покой любовно оберегал его старший брат.

Именно о тенистой поляне под ними думал Ив, размышляя о месте, где нужно было бы вырыть глубокую яму, чтобы поместить в нее, одно за другим, тела всех супругов, братьев, дядюшек, сыновей семьи Фронтенак. Так вся семья обрела бы благодать, и каждый смог бы обнять друг друга единым объятием, навсегда смешаться в своем небытии с этой обожаемой ими землей.

Вокруг сосны, наклонившиеся все в одну сторону из-за дувшего с моря ветра и повернувшиеся к западу своей черной от дождя корой, продолжали стремиться к небу, тянуться, изгибаться. Каждый сбережет свою рану — рану, отличающуюся ото всех других (каждый из нас знает, по чему кровоточит его рана). А сам он, Ив Фронтенак, раненый, засыпанный, как и они, песком, но существо свободное, существо, которое могло бы вырваться из этого мира, предпочел понапрасну стонать, смешанный с остальными деревьями в лесу человечества. Но любой его жест был знаком мольбы, любым криком он стремился привлечь чье-то внимание. Он вспомнил изнуренное лицо матери под конец одного из сентябрьских дней в Буриде; ее глаза, которые старались за самыми верхними ветками отыскать Бога: «Я хотела бы знать, мой маленький Ив, ведь тебе так много

известно… думают ли еще на небесах о тех, кого оставили на земле?» Поскольку она не могла представить себе такого мира, в котором ее сыновьями не был бы занят самый сокровенный уголок ее сердца. Ив убедил мать в том, что вся любовь воплотится в единой вселенской любви. Этой ночью, хотя прошло уже много лет, те же слова, что он произнес, желая успокоить свою мать, всплыли в его памяти. Ночник освещает чудесное лицо заснувшего Жана-Луи. О, божественная родственная связь! Подобие Божьей сути! Тайна семьи Фронтенак сумела избежать разрушения, ибо была лучом вечной любви, преломленной в рамках одного рода. Невероятный союз супругов, братьев и сыновей очень скоро канет в Лету, и последние сосны Буриде увидят проходящую, но уже не у их основания, в аллее, идущей к большому дубу, а очень высоко, гораздо выше их вершин, группу навечно прижавшихся друг к другу матери и ее пятерых детей.

1933 г.

ДОРОГА В НИКУДА

Жизнь большинства людей — мертвая дорога и никуда не ведет. Но иные с самого детства знают, что идут они к неведомому морю. И они чувствуют веяние ветра, удивляясь его горечи, и вкус соли на своих губах, но еще не видят цели, пока не преодолеют последнюю дюну, а тогда перед ними раскинется беспредельная, клокочущая ширь и ударит им в лицо песок и пена морская. И что ж остается им? Ринуться в пучину или возвратиться вспять…

Глава первая

Дени Револю притворялся, будто он зубрит, готовит урок, а на самом деле прислушивался к шагам матери; ее длинный шлейф скользил по ковру с мягким и торжественным шелестом. Лицо ее приняло сугубо строгое выражение — благодаря прическе, которую ей всегда сооружал для балов мсье Тарди, парикмахер с бульвара Фоссе; точно такую же величавость она напускала на себя, позируя перед аппаратом фотографа. Седые с желтизной волосы, завитые щипцами парикмахера, были уложены в виде хрупкой башни, перевитой вуалеткой и увенчанной изумрудным полумесяцем. Роза, сестра Дени, тоже была уже причесана, но все еще расхаживала в пеньюаре: из мастерской Габриа не успели принести платье, в котором понадобилось кое-что подправить.

— Если через пять минут платья не доставят, я не знаю, что и делать, — сказала мадам Револю.

Дени не успел подавить смешок.

— Почему ты до сих пор не в постели, Дени?

— Жду платья, — ответил он.

Лампа на высокой подставке ярко освещала его волосы, причесанные на косой пробор. Большая

рука лежала на учебнике психологии. Крупная голова резко выделялась на фоне выцветшего шелка гардины, падавшей длинными складками из-под плюшевого ламбрекена[23]. Дени хотелось поглядеть на новое платье сестры, за которым послали в мастерскую мальчишку-лакея. «Наверно, такое же бесстыдное платье, как и все эти бальные наряды», — думал он, хмуро вглядываясь в детское личико сестры и не отвечая на ее улыбку. Не пройдет и часа, как она появится на пороге ярко освещенного салона, предоставляя всем и каждому любоваться ее шейкой, ее плечами, оголенной спиной и даже молодой, слишком высокой грудью. И ей не стыдно будет, что ее, такую вот полуодетую, обнимает в танце первый подскочивший кавалер. Да нет, почему же «первый подскочивший»? Там ведь будет Робер Костадо… Скоро у них обручение, а потом они поженятся и будут жить вместе. Что ж, ее могли бы выдать и за кого-нибудь нелюбимого. В романах женщины почти никогда не любят своих мужей. Свадьба, конечно, еще неизвестно когда будет. Мамаша Робера ставит палки в колеса и распускает какие-то темные слухи о папиных делах, хотя у него

[23] Примечания: 23

Вырезки из материи, служащие для украшения дверных и оконных амбразур.

лучшая в городе нотариальная контора. Ценнее и надежнее миллионного состояния. Но уж это такая женщина… такие вот, как она, всегда создают тяжелую атмосферу. А ведь если б имелись какие-нибудь основания тревожиться, разве могла бы мама так горячо обсуждать вопрос о прыщике, вскочившем на носу у Розетты, с левой стороны.

— Он еще больше стал! — ужасалась мадам Револю. — Это тебе урок! Сама виновата! Поменьше объедайся шоколадом и ешь лучше сырые овощи. (Мадам Револю всегда нужно было установить, кто и в чем виноват.) При такой коже, как у тебя, надо избегать всего, что может ее раздражать. И в кого, спрашивается, у тебя такая кожа? — задумчиво добавила она.

«Уж не в тебя, разумеется!» — думал Дени. Его возмущало, что мать, у которой кожа была шершавая, с широкими порами, осмеливается критиковать прозрачное личико Розетты, вспыхивающее от малейшего волнения.

Мадам Револю постоянно ополчалась на дочь и с безотчетным злорадством «резала ей правду прямо в глаза». Раздражение ее быстро переходило в негодование, а затем в неистовую ярость. Не жалея сил, она с беспощадной жестокостью терзала дочь.

— Ах, Роза! До чего ж ты нынче дурна! Бедняжка! Просидишь весь вечер у стенки, никто тебя и не пригласит. Скажи спасибо, что у тебя родители — люди известные, а то бы… Ну вот, теперь ревет в три ручья! Еще этого не хватало! Ведь у тебя глаза распухнут и нос будет как картошка. Перестань сейчас же! Поди умойся холодной водой.

Роза, рыдая, вышла из комнаты, а Дени крикнул ей вслед:

— Не расстраивайся, все равно будешь на балу самая хорошенькая.

Мадам Револю возмущенно заявила, что все говорилось ею для пользы «девочки».

«Странное дело, — думал Дени, — почему она Жюльена и меня любит больше, чем Розу? Жюльен — просто дубина, а я…»

— Бедняга ты, Дени, — прошептал он, потирая щеку, покрытую нежным пушком.

* * *

Лакей Луи Ларп доложил, что пришел старший клерк мсье Ланден и желает видеть мадам Револю. Лицо ее приняло удивленное и негодующее выражение. Это в десятом-то часу вечера? С ума он сошел, что ли? И разве Ланден не знает, что она никогда не вмешивается в дела мужниной

конторы? Завтра к вечеру муж вернется из Леоньяна. А если Ландену надо что-нибудь срочно сообщить ему, пусть съездит в Леоньян (имение находилось километрах в десяти от города).

Дени настороженно следил за матерью. Неужели позднее появление Ландена не заронило в ее душу ни малейшего беспокойства? Бросив на стол учебник психологии, он поспешил вслед за лакеем в переднюю. Словно тощая собачонка, проскользнул он в приоткрытую дверь, почуяв «ветер судьбы», как говорил лучший его друг Пьер Костадо, младший брат Робера, жениха Розы.

Ланден стоял в передней, расставив ноги и держа в руке мокрый от дождя котелок. Пальто он уже снял. На нем были кургузый, слишком облегающий фигуру пиджачок и старые брюки в серую и черную полоску. Густая черная борода начиналась чуть ли не от самых глаз, но все же не скрывала дряблости обвислых щек. Оскар Революю, смеясь, уверял, что покатой линией плеч их клерк поспорит с самой императрицей Евгенией; младшее же поколение семейства Революю высмеивало его брюшко, а еще больше его блестящий и шишковатый лысый череп, похожий на старую начищенную кастрюльку, всю во вмятинах и буграх. В глазах этих юнцов Лан-

ден был самым противным на свете созданием; недаром их отец, всегда очень вежливый с подчиненными, в обращении с Ланденом позволял себе ужасные и ничем не оправданные грубости, словно хотел посмотреть, сколько оскорблений тот способен вытерпеть, или как будто мстил ему за что-то. Но если кто-либо говорил: «В конторе все держится на Ландене», — никто из семейства Револю и не думал возражать, да никто и не поверил бы их возражениям. Все в городе знали, что самая важная работа лежала на плечах Ландена. Сколько раз дети нотариуса слышали, как отец скучающим тоном говорил: «Спросите у Ландена… Обратитесь к Ландену… Ланден должен знать, где лежит папка с этим делом…» О Ландене им было известно лишь то, что он — сын университетского швейцара, служившего при литературном факультете, однокашник их отца — вместе с ним учился в лицее; живет одиноко — при нем только сестра, старая дева, которую он не познакомил с семейством своего патрона, считая ее недостойной такой чести. Никто из Револю ни разу не бывал в доме старшего клерка. Сам нотариус говорил: «У Ландена нет личной жизни», — и считал это вполне естественным.

Самые необыкновенные чувства перестают

удивлять, когда становятся привычными. Перед глазами домочадцев нотариуса свершалось чудо любви, но что это за чудо, если оно длится всю жизнь? Может быть, и резкость Оскара Революю с Ланденом объяснялась тем раздражением, какое испытывает каждый человек, чувствуя, что на него обращена какая-то необычайная, чрезмерная и необъяснимая страстная привязанность, к тому же очень выгодная для него. Откровенное презрение нотариуса к своему старшему клерку, презрение, причины которого оставались для всего семейства Революю тайной, началось, должно быть, еще много лет назад, в лицее, когда сын швейцара был смиренным рабом богатого барчука.

— Если дело очень срочное, можно завтра утром на трамвае съездить, — сказал лакей насмешливым тоном, каким даже слуги разговаривали с Ланденом. — А только барин не очень-то любит, чтоб его беспокоили в Леоньяне. — И, не удержавшись, лакей добавил: — Ох, и нагорит вам, мсье Ланден! Жалко мне вас.

— А мадам Революю никак нельзя увидеть? Хоть на минутку. Нет? Ну, раз нельзя, что ж делать!..

Видимо, Ланден почувствовал облегчение при мысли, что встреча с хозяйкой дома не состоится

и притом не по его вине. Лакей не заметил того, что сразу бросилось в глаза Дени: шишковатая лысина, отражавшая свет лампы, и венчик жиденьких шелковистых волос, которые Оскар Революю всегда сравнивал со шкуркой дохлой мыши, взмокли от пота. Волосы Ланден красил, пот стекал с них темными каплями и, скатываясь по одутловатым щекам, оставлял коричневые подтеки. Ланден бормотал, словно разговаривая сам с собой:

— Надо поскорее найти извозчика или такси… А где их разыщешь в такой час?.. Тем более что всех разобрали из-за этого бала у Фреди-Дюпонов… Если я зачем-либо понадоблюсь, скажите, что я поехал в Леоньян…

Только тут он заметил Дени и пристально посмотрел на него. Взгляд Ландена, казалось, обладал материальной, физической тяжестью: устремив глаза на собеседника, он с трудом отводил их в сторону. В тот вечер он дерзнул положить на голову Дени свою жирную влажную руку, служившую пугалом в семействе Революю, — когда дети грызли ногти, их пугали: «Перестань сейчас же, а не то будут такие руки, как у Ландена!» Дени брезгливо отшатнулся.

— Не надо, мсье Ланден!

Но и взгляд и рука по-прежнему свинцовой тяжестью давили на его голову: грузная рука как будто окаменела, а взгляд бледно-голубых глаз, вечно подернутых слезой, выражал какое-то непередаваемое чувство. Не жалость ли была в нем? И вдруг Ланден сказал:

— Ступайте к маме, Дени… Будьте с ней ласковы… Скажите ей… Нет, нет… ничего не говорите…

Он круто повернулся и бросился вон. Ошеломленный мальчик слышал, как Ланден стремглав сбежал по лестнице. Дени присел на резной ларь. Шипел газ, горевший в старинном фонаре. Вокруг были такие знакомые, такие привычные вещи: испанские зеркала, полинезийское оружие, привезенное «с островов» еще двоюродным дедом Оскара Револю, картины на шелку, старинные гравюры и прочие украшения, висевшие тут на стенах «испокон веков», по мнению Дени. Через переднюю пробежал в комнату мадам Револю запыхавшийся мальчик-лакей с большой картонкой под мышкой. Он подмигнул Дени:

— Платье привез.

Дени направился вслед за ним и торопливым шепотом сказал матери, искоса глядя, как Роза развязывает картонку.

— Ланден побежал искать извозчика или такси. Едет в Леоньян.

— Скатертью дорога!

Дени знал, что такие слова отнюдь не соответствуют тревоге, томившей его мать в эту минуту. Она смотрела на Розу, уже успевшую надеть платье.

— Повернись, дай поглядеть. Ну вот, теперь складки ровно лежат… Повернись еще… Хорошо. Ты растрепалась. Поправь волосы.

— Звонок. Кто-то пришел, — сказал вдруг Дени. Слух у него был тонкий, и только он один услышал из комнаты матери звонок у входной двери.

Мадам Револю удивленно воскликнула:

— Да кто это может прийти в такой час?

* * *

Позднее и брат и сестра, верно, вспоминали, что уже в ту минуту голос матери дрогнул, изменился до неузнаваемости. Дени выбежал в прихожую, и как раз в это время лакей Луи Ларп отпер дверь. Вошла Леони Костадо. В каракулевом жакете она казалась особенно толстой, огромной. Дыхание со свистом вырывалось у нее из груди. Хотя она была очень близка с семьей Револю, но впервые заглянула к ним так поздно. Леони Костадо, мать

Робера и Пьера… У Дени мелькнула мысль, что она приехала для официального сватовства.

«Леони привередничает, — говорил Оскар Револю, — а решится — подавай ей свадьбу через две недели, не позднее. Я ее знаю».

Леони Костадо спросила у Дени:

— Мама у себя? — и, пройдя через коридор, не постучавшись, отворила дверь.

Мадам Револю уже была в скунсовой пелерине, накинутой на бальное платье, и в последний раз проводила пуховкой по носику Розетты.

— Ты едешь на бал, душечка?

Роза, улыбаясь, подставила щечку матери Робера. Она тоже подумала: «Приехала говорить о свадьбе». Однако Дени заметил, что на щеке у матери показалось темно-желтое пятно, всегда выступавшее, когда она бледнела от сильного волнения, — словно предвестник несчастья. Она залепетала:

— Ах, какой сюрприз! Какими судьбами?..

— Мне надо поговорить с тобой… Только наедине. Можно?

Дени заметил, как заблестели у Розы глаза, но он-то уже знал, что разговор пойдет не о свадьбе. Бедняжка Розетта! Теперь уж никогда для нее не зайдет речь о свадьбе, — по крайней мере, о сва-

дьбе с Робером Костадо… Роза увела брата в свою комнату, сообщавшуюся со спальней матери.

Роза села на кровать. Дени стоял спиной к ней, но видел ее в зеркале, висевшем над камином. Хрупкие, худенькие плечи выступали из глубокого выреза, окаймленного широкой тюлевой оборкой с мелкими блестками. Она сидела нагнувшись, и вырез корсажа приоткрывал ее маленькие девичьи груди. Надежда зажгла ее щеки ярким румянцем. И в том же зеркале Дени увидел, как сразу переменилась она в лице, когда послышались первые раскаты зычного контральто Леони Костадо, которая всегда кричала, как будто разговаривала с глухими, вынуждая и собеседника повышать голос. Но именно оттого, что она кричала слишком громко, Дени и Роза разбирали не все, что она говорила, однако улавливали достаточно, чтобы понять причину ее появления.

— Послушай, Люсьенна, оставим всякие любезности, сейчас не до них. Момент слишком серьезный. Тебе известно, где сейчас Оскар?

Дени и Роза с трудом узнали раздавшийся в ответ голос матери — таким он стал детским, робким, искательным. Конечно, ей известно, где Оскар, — в Леоньяне.

— Ну, если он все еще там, то можешь быть уверена — не по своей воле.

Послышалось невнятное, тихое бормотанье. Леони Костадо прервала его:

— Да что ты притворяешься! Ты прекрасно понимаешь меня. Ведь это уже стало басней всего города. Три дня люди только об этом и говорят. Уж кому-кому, а жене следовало бы знать, что происходит.

И Леони Костадо продолжала свои обличения, лишь немного понизив голос. Дети слышали, как мать простонала: «По какому праву?..» И тут мадам Костадо заговорила о деньгах. Четыреста тысяч франков, принадлежащих семейству Костадо, отданы Оскару Револю, пообещавшему «пустить их в оборот».

— Что он говорил, помнишь? Они у нас раз сто обернутся! Еще неизвестно, как пойдут дела у домовладельцев. И самое, мол, лучшее помещение капитала — давать деньги в ссуду под залог земли. Пусть у вас эти денежки будут про черный день. Чей, спрашивается, черный день? Чей?..

Но тут Дени отвлекли рыдания сестры; ее тоненькая фигурка, как подкошенная, упала на постель. Дени видел ее в зеркале, но не посмел обернуться. Он все пятился, пятился от зеркала и,

наткнувшись на кровать, сел около Розы. Не решаясь обнять ее за обнаженные плечи, он только ласково бормотал:

— Не плачь. Ничего еще не потеряно. Я уверен, что Робер никогда от тебя не откажется. Мне Пьер в прошлый четверг так сказал… А ведь Пьер ему родной брат, он знает. — И Дени все говорил утешительные слова, которым сам не верил.

Характер Леони Костадо был всем известен: она командовала своими сыновьями, особенно Робером. За своим любимцем, старшим сыном, носившим прозвище «красавчик Гастон», она еще признавала некоторые права, подобающие главе семьи: ей льстила его красота, его любовницы, его успехи на скачках… Но ведь любил-то Розетту не Гастон, а слабовольный Робер, которым мать вертит как хочет. В час нежданного крушения, когда рушилось богатство, положение семейства Револю и, быть может, даже их честное имя, у Дени была только одна мысль: теперь Роза не выйдет за Робера Костадо. Лишь эта мысль, ясная и четкая, упрямо вставала из груды обломков. Дени не осмеливался смотреть в лицо очевидности и постарался отогнать эту мысль, схоронить поглубже, решив вернуться к ней позднее. И тогда снова стало возможно прислушаться к тому, что

кричали за дверью.

— Где доказательства? У тебя нет доказательств, Леони. Все это сплетни, а ты им веришь. Чуть дело коснется твоих сыновей, ты сразу теряешь голову… Ну что? Что ты молчишь? Видишь, тебе самой неловко. Ты не знаешь, что сказать…

— Да просто мне жаль тебя, — спокойно прервала свою жертву Леони Костадо.

Она решила без лишних церемоний высказать все, чтобы спасти наследство сыновей. И тут она разошлась. Розе и Дени чудилось, что на чье-то бесчувственное тело сыплются градом глухие удары. Их мать молчала как мертвая. Роза стиснула брату руку. Она уже не плакала, только шептала: «Бедная мама… бедная мама… Надо пойти туда». Но оба не в силах были двинуться с места.

— Мне очень тяжело причинять тебе боль, но я должна подумать о своих мальчиках… Да и все равно придется же тебе узнать… Часом позже, часом раньше, но все равно ты узнаешь… Регина Лорати все выболтала моему сыну Гастону… Да, да, Лорати, эта самая, танцовщица из оперного театра. Ну что ты так смотришь на меня? Как будто удивляешься — при чем тут Регина Лорати. Люсьенна, душенька моя, бедная ты моя, неужели ты будешь меня уверять, что ничего не

знала?.. Ну не надо разыгрывать комедию. Я, конечно, тебя понимаю и готова извинить, бедный дружок мой… Но ты ведь прекрасно знаешь, что Оскар содержал ее… Да еще в какой роскоши она жила. Ведь решительно всем известно, что у нее был великолепный выезд, и ливрейные лакеи, и вилла за городом, а в городе, на улице Пессак, собственный дом, и вся мебель в нем старинная… Ты этого не знала, нет? Дорогая, бедненькая моя, только ради бога не падай в обморок, не такая сейчас минута, нельзя терять голову. Что? Что ты говоришь? Нет доказательств? Вот заладила! Несчастная ты женщина, разве я тебе зла желаю? Лорати давала Гастону читать письма твоего мужа… Если хочешь знать, Оскар предлагал ей бежать в Южную Америку! Тебе, конечно, тяжело это слушать, но, уверяю тебя, мне еще тяжелее открывать тебе глаза. Но что поделаешь — приходится! Да, вот до чего докатился Оскар. Разумеется, Гастон — любовник этой Регины Лорати… Некрасиво? Почему, спрашивается, некрасиво? Что тут такого? Мой сын не святой, не ангел небесный…

* * *

Дени и Роза слушали, прижавшись к створке двери. Вдруг раздался какой-то незнакомый дрожащий голос:

— Уйди, Леони, уйди! Зачем ты меня мучаешь?

Леони смягчилась, как палач, нанесший удар без гнева и ненависти, лишь во исполнение долга. Теперь она говорила ровным голосом — терпеливо, упорно, упрямо настаивая на своем:

— Я не уйду, пока не получу своих денег — четыреста тысяч франков. Это деньги моих сыновей… Да, да, ты можешь, можешь… Я говорила с юристом. Ведь по брачному контракту ты сама распоряжаешься своим приданым. Твой отец умно составил контракт. Даже если приобретенное в браке имущество находится в общем владении, ты все равно имеешь право: твое личное состояние не тронуто. Подпиши дарственную в пользу моих сыновей. Я принесла акт. Нотариус Лакост сам его составил… Тебе нужно только подписаться — вот здесь и вот здесь… А на полях поставь свои инициалы… Ты, верно, считаешь меня черствой, Люсьенна… Но ведь я ради сыновей. Если б речь обо мне шла, тогда другое дела А ведь это их деньги, сыновей моих… Подпиши, у

тебя будет спокойнее на душе…

— Ты о своих сыновьях думаешь, а мои как же? Да ведь это и незаконно, я уверена, что незаконно…

— Об этом не беспокойся. Лакост — сведущий человек, он все предусмотрел. Если надо будет судиться, я пойду в суд… Главное, чтоб ты подписала… Ну, решайся же! Неужели ты хочешь, чтобы я позвала сюда твоих детей и сделала их свидетелями нашего объяснения… Они-то поймут меня. Что ты говоришь? Ах, так! Ты надеешься, что слухи окажутся ложными? Что ж, возможно. В таком случае твой муж просто вернет нам деньги, и больше о них и речи не будет. Но ведь Гастон собственными своими глазами читал письма… И в городе уже несколько дней только и разговоров, что о вас. Сядь, сядь скорее. Крепись, нельзя, не время сейчас падать в обмороки. Сядь за письменный стол.

— Я должна посоветоваться.

— С кем? С мужем? Он в Леоньяне, ждет там свою Регину, а она не приедет: она удрала с Гастоном в Монте-Карло. Можешь ехать к Оскару — тебе не грозит неприятная встреча с его содержанкой.

— Постой, дай подумать. Я посоветуюсь со стар-

шим сыном, с Жюльеном. Его сейчас нет дома. Он уже уехал на бал к Фреди-Дюпонам…

— Ждать его возвращения я не стану. Ты должна подписать… Да и о чем тут советоваться? Чего ты боишься? Ведь Оскар все равно ухитрился бы вытянуть у тебя эти деньги, я его знаю… И они пойдут прахом, в чужие карманы попадут. Так уж лучше их отдать моим детям… Послушай, ведь в конце концов ты все равно подпишешь… Так зачем тянуть, зря время терять?

Леони умолкла, переводя дыхание. Она колебалась, пустить ли в ход самое грозное оружие? Да, да, надо это сделать, может быть, она даже спасет жизнь Оскару Револю.

— Послушай, зачем ты медлишь! Тебе же надо мчаться в Леоньян. О чем ты думаешь, несчастная! Человек дошел до крайности, он на все способен…

— Что ты хочешь сказать, Леони? Боже мой! Я тут спорю с тобой, а ведь дорога каждая минута…

Теперь за дверью раздавались только всхлипывания да журчал ласковый, настойчивый, умоляющий, вкрадчивый голос:

— Ну, подпиши… Подпиши, Люсьенна… Бедненькая моя… Подпиши. И больше уж тебе не

надо будет думать об этом. Руки себе развяжешь, и поезжай тогда в Леоньян. Может быть, еще не поздно спасти его… Но сперва надо подписать… Вот тут и вот тут. А здесь только инициалы поставь.

Всхлипывания стали реже. Послышался глухой шум: передвинули стул, щелкнул ключ, очевидно, отперли ящик письменного стола, зашелестела бумага… Потом в наступившей тишине раздался громкий голос Леони Костадо:

— Ну вот и готово! Это, разумеется, еще не все, но самое важное сделано. Как знать, Люсьенна, может быть, я и ошиблась, душечка, может быть, Оскар просто решил сыграть шутку с Региной Лорати или она все налгала Гастону — хотела его раззадорить и потащить за собой… Эти мерзавки любой фортель могут выкинуть. Но все равно твоя подпись ни к чему тебя не обязывает…

Леони Костадо успокоилась, смягчилась. Она спрятала в сумочку документ, который впоследствии несколько лет тщетно оспаривали в суде кредиторы Оскара Революю. Крепко обнимая совершенно подавленную Люсьенну, она сказала:

— Бедняжечка моя! Не могу ли я чем-нибудь помочь тебе?

Глава вторая

Выйдя из особняка Революю, Леони Костадо, забыв о своей одышке, быстрым шагом двинулась по пустынной улице. Она упивалась своей победой и нисколько ее не стыдилась; она шла в пелене тумана, с наслаждением вдыхая сырой холодный воздух, и крепко прижимала к груди сумочку, в которой лежал драгоценный документ. Подумать только — она отвоевала часть наследственного достояния своих сыновей! Честь ей и слава! Вот он, документ! Составлен и подписан по всем правилам! Нотариус Лакост говорил, что при наличии такого акта она выиграет все баталии. Но достался он дорогой ценой!.. Тяжелая обязанность!.. Бедняжка Люсьенна! Какие страшные часы ей предстоит пережить.

Но Леони Костадо никак не могла заставить себя растрогаться и скорбеть о несчастье, которое ее ничуть не касалось. Вспомнив, что в девушках она проливала горькие слезы из-за того, что ее не выдали замуж за Оскара Революю, она даже вздрогнула от испуга: ведь нынче вечером она могла бы оказаться на месте Люсьенны… Правда, будь я его женой, я бы держала его в руках и не давала бы

ему делать глупости. При мне он не пошел бы ко дну. А в делах Оскар человек просто гениальный. Не зря же я доверила ему эти деньги. Уж он сумел бы пустить их в оборот, они бы «раз сто обернулись», как он говорил. Все его несчастья из-за того, что он неудачно женился. Люсьенна Револю, урожденная Вилли-Дюпон, чванливая дура, воображающая, что она сама богиня Минерва, дочь громовержца Юпитера… Всех она восстановила против себя, а сама, бедняжка, до того скучна, что Оскар чуть не с первого же дня стал ей изменять… Ах, Оскар!.. Мадам Костадо представила себе, как он сидит сейчас в Леоньяне, ждет Регину Лорати, вместо нее является Люсьенна, а в это время Регина с Гастоном катят в Монте-Карло…

Леони отогнала эти мысли, устыдившись своего злорадства. Она презирала себя за то, что гордится любовницами сына, и все же не могла побороть такие недостойные чувства. Гастон!.. Вот кто похвалил бы сейчас свою маму… Какую отвагу она проявила нынче вечером… К несчастью, Гастон уехал, и дома ее встретят двое младших — Робер и Пьер.

Запыхавшись, она замедлила шаг, теперь уж ей не хотелось возвращаться домой и беспокоила мысль — как все рассказать сыновьям. И она

возмущалась: право, это уж слишком! Вот она выдержала ужасное, душераздирающее объяснение и сумела спасти состояние детей, и ей же еще придется просить у них за это прощение, словно она какая-то преступница. Да, да… Она своих сыночков знает!.. Нет, как раз наоборот, — совсем их не знает.

Отношения с двумя младшими сыновьями не ладились вовсе не из-за разницы во взглядах. Казалось бы, она и с Гастоном ровно ни в чем не согласна, и все же у них как-то находится общий язык. Гастон — кутила и вообще ведет такую жизнь, которая противоречит всем принципам, провозглашаемым его матерью, но он понимает ее, да и ей все в нем понятно. Оба младших очень трудолюбивые, очень скромные юноши, но никогда не угадаешь, что они могут выкинуть…

Например, свое поведение в тот вечер Леони Костадо считала безупречным: деньги, которые она несет сейчас домой, — это наследство ее сыновей, доставшееся им от отца, священный клад, доверенный ей как хранительнице; и она испытывала чувство законной гордости оттого, что сумела отвоевать их в упорной борьбе. А Люсьенна?.. Что ж, эти деньги все равно были бы для нее потеряны, попали бы в руки других кредиторов.

«Так уж пусть лучше мои дети попользуются. А нынешний мой разговор с ней в такой неурочный час и в таких обстоятельствах… Я, конечно, понимаю, чувствую, как все это ужасно, но надо же смотреть на вещи здраво, и я скажу своим мальчикам истинную правду, да, да, я им скажу, что, может быть, я спасла жизнь Оскару Революю: благодаря мне Люсьенна помчалась в Леоньян. Будем надеяться, что она не опоздает…»

Но чем больше Леони обо всем этом думала, тем труднее было представить себе, что ответят ей сыновья. Лучше всего изобразить глубокое изумление: «Как! Вы даже не находите нужным поблагодарить меня!» Она нисколько не сомневалась, что сыновья будут возмущены. Ведь были два обстоятельства, о которых она умышленно старалась не думать: во-первых, любовь, связывавшая Робера и Розетту, а во-вторых, дружба между Пьером и Дени, — обстоятельство менее важное… Это еще неизвестно! Робер — такой нерешительный, безвольный… А Пьер сейчас в переходном возрасте и стал просто сумасшедший какой-то… иной раз даже страшно делается: пишет совершенно идиотские стихи, голова набита всякими нелепыми бреднями… Робер, надеюсь, поймет, что женитьба на Розетте для него теперь

невозможна, — со всех точек зрения невозможна. Даже если пренебречь позором, который, верно, обрушится на семейство Революю, и несомненным их разорением, то возникнет другое препятствие: сколько еще лет Роберу придется изучать медицину, прежде чем он начнет зарабатывать себе на хлеб? Надо кончить курс, потом отбывать стаж в больнице, потом сдать конкурсный экзамен… Только к тридцати годам он наконец встанет на ноги… Даже в интересах Розетты (надо именно на это напирать) он обязан вернуть ей свободу и не компрометировать девушку.

* * *

Наконец Леони Костадо дошла до своего дома, где она с сыновьями занимала два этажа — первый и второй… Поднимаясь по лестнице, она вспомнила, что Робер тоже собирался сегодня быть на балу у Фреди-Дюпонов. «Когда он заметит, что Розы нет, то, конечно, уедет. Его и так уж беспокоили слухи, распространившиеся нынче днем… Наверно, он уже дома…»

Нет, оказывается, Робер не вернулся.

Еще не сняв шляпу и каракулевый жакет, Леони Костадо отперла свой секретер, достала ключ от несгораемого шкафа, привинченного к полу

у изголовья ее кровати. Шкаф был «переряжен в ночной столик», как говорил Пьер. Фальшивые ящики маскировали тяжелую стальную дверцу. Леони набрала шифр и, отворив шкаф, положила на полочку документ, подписанный Люсьенной Револю. Потом, захватив лампу, прошла по длинному коридору «на детскую половину».

В комнате младшего сына горел свет, и, по своему обыкновению, мать вошла, не постучавшись. Пьеро читал в постели и, засыпая, не погасил лампу. Книга выскользнула из рук на одеяло. Пьер уснул в неудобной позе — полусидя и сильно запрокинув голову, как будто подставлял горло под нож. У изголовья на ночном столике лежали листочки бумаги, карандаш и раскрытая толстая тетрадь в красивом кожаном переплете. Свет от низенькой лампы падал на исписанную страницу, и каждая буква в ровных, аккуратных строчках была старательно выведена изящным почерком: Пьер всегда тщательно переписывал свои стихи. Вооружившись лорнетом, Леони Костадо с досадой разбирала написанные слова — все они как будто были ясными, а смысла она не могла уловить.

Кибела смотрит на спящего Атиса[24]
и думает:

Самим богам велю умолкнуть я.
Откинулась рука — уснувшая змея,
Лаская, в забытьи охватывает землю,
Как мертвая лежит, жар жизни затая.
И содрогается от страсти глубь земная, —
Кибела млеет, сон невинный созерцая.

«Это еще что за чепуха? Что все это значит?» — сердито вопрошала себя Леони Костадо. Но почему эти стихи вызывали в ней такое раздражение?

Жужжаньем тихим мух баюкаю твой сон,
Нарушит тишину лишь голос петушиный.
А ты не чувствуешь, в дремоту погружен,

---

[24] Примечания: 24
В древнегреческой мифологии Атис, фригийский юноша необычайной красоты, — возлюбленный Великой матери богов Кибелы, дарительницы плодородия земли.

Как давит небосвод, как гнет древес вершины

Порыв желания, что ветром принесен,

Как ливень слезы льет, звеня моей обидой, —

Во сне владеешь ты прекрасной Сангаридой,

Что нежится в реке, чье ложе — мягкий ил.

Что я в сравненьи с ней? Что аромат мой пряный?

Терзают грудь мою приливы океана.

Царица жалкая, безрукая! Нет сил

В объятьях сжать тебя. Чело мое обвили

Гирлянды черных трав, медузы осенили.[25]

Почему у Леони Костадо поднималась в груди глухая, бешеная злоба и постыдное желание схватить и разорвать на мелкие клочки красивую тетрадь, купленную поэтом в «Английском магазине»? Она сама не понимала причину этого

---

[25] Примечания: 25
Здесь и далее стихи даны в переводе Е. Сиговой.

Не знала она и того, что точно такие же с трудом сдерживаемые порывы ярости овладевали порою и Пьером и что в ту минуту, когда она почти ненавидела своего сына, между ними было глубокое сходство — не сходство ума и сердца, а той темной жажды разрушения, которой Леони Костадо сама боялась в себе. Она отошла от столика и постояла у окна, прижавшись лбом к стеклу. Пьер вскрикнул испуганно: «Кто тут?»

— Это я… Робер еще не вернулся?

— Нет еще. Но он скоро придет. Он хотел только на минутку заглянуть туда. Может, уже известно что-нибудь… — И Пьер широко зевнул, обнажив редкие зубы. — А ты что-нибудь узнала, мама?

— Да, я сейчас была у них.

— Что?! Ты ходила на Биржевую площадь?

Пьер окончательно проснулся и посмотрел на мать суровым и недоверчивым взглядом.

— Это был мой долг, — сказала она.

Пьер подумал: «Какое лицемерие!». Однако Леони Костадо действительно была глубоко убеждена, что она выполнила свой долг перед сыновьями, первейший свой долг. Да еще ей, может быть, удалось вовремя предупредить Люсьенну.

— И я очень хорошо сделала, что пошла к ним. Вообрази, ведь эта несчастная женщина ни о чем

и не подозревала… Конечно, она за последнее время сильно тревожилась, но никак уж не думала, что близится катастрофа.

— Ну? И что же ты ей сказала?

Леони Костадо возмутилась: по какому праву он допрашивает мать, да еще таким тоном? Уж не подозревает ли он ее в неблаговидном поступке?

— Да нет, мама… Я просто хотел узнать…

— А я не обязана отдавать какому-то сопляку отчет в своих действиях. Я поговорю с Робером, когда он вернется. Спи! Чтоб я тебя больше не слышала!

И Леони Костадо вышла из комнаты, захватив с собой лампу. Но сейчас ею руководило не чувство гнева, она поняла, что лучше всего поговорить с Робером наедине, без этого бесноватого мальчишки. Едва она успела переодеться и накинуть на себя халат, как услышала неуверенный шорох у входной двери — Робер нащупывал ключом замочную скважину. Леони кашлянула, желая показать, что она не спит и поджидает сына. Он вошел, перебросив через руку пальто. И как всегда, Леони подумала о том, что фрак очень ему к лицу. Право, в высоком стройном Робере куда больше изящества, чем в коренастом Гастоне. И хотя Леони скорее нравились мужчины такого

типа, как ее старший сын, она из чувства справедливости признавала, что в Робере больше тонкости и породистости…

— Разумеется, ее не было на балу, — сказал Робер с какими-то нерешительными, робкими интонациями, всегда раздражавшими его мать. — Видел там Жюльена, но издали, и не мог к нему пробраться. Кое-кто из приятелей уже дал ему почувствовать, что его присутствие неуместно… Я сейчас же помчался на Биржевую площадь и не застал их — они уехали.

В эту минуту вошел Пьеро, босой, в пижаме, с всклокоченной шевелюрой.

Мадам Костадо раздраженно воскликнула:

— Я тебе что сказала? Я ведь велела тебе спать!

— А сон твоего веления не слушается. Взял да и не пришел.

Робер вяло запротестовал:

— Пьеро, как тебе не стыдно! Зачем ты дерзишь?

Пьер крикнул в ответ:

— Уверен, что она не решилась признаться тебе, откуда она сейчас явилась, куда она ходила вечером…

— Как ты смеешь называть меня «она», когда говоришь обо мне, да еще в моем присутствии!..

Но Пьер, не обращая на мать внимания, продолжал:

— Она была на Биржевой площади, тайком от нас… Весь вечер там провела.

Робер посмотрел на мать. Красивое лицо его помрачнело.

— Ведь это неправда, мама?

Мать ответила вызывающим тоном:

— Почему же неправда? Правда.

— Ты видела мсье Революю?

— Нет, он в Леоньяне. Я это знала и знала также, зачем он туда отправился, а Люсьенна ничего не знала… Понятно вам? Я решила ее предостеречь, и благодаря мне она поехала в Леоньян… А то вдруг, не ровен час, Оскар наложит на себя руки… Я, может быть, спасла ему жизнь. Да, да, очень просто…

Робер тяжело вздохнул.

— Ну, раз его самого не было дома, ты, конечно, не стала говорить о наших деньгах…

Леони Костадо промолчала. А Пьер пробормотал:

— Как бы не так! Станет она стесняться…

— Повтори, Пьер! Повтори громко то, что ты сейчас сказал…

— Я сказал, что наверняка ты не постеснялась

и говорила о деньгах… Ты только для этого и ходила туда.

Все шло именно так, как Леони Костадо и ожидала. Младшие сыновья выступали в роли ее судей, тогда как Гастон был бы восхищен и поблагодарил бы мать… А с этими мальчишками не избежать борьбы. Хотя она совершенно права.

И Леони Костадо бросилась в атаку:

— Я защищала не свои, а ваши деньги, доставшиеся вам от отца. И великодушничать я могла бы лишь в том случае, если б это был мой собственный капитал.

Робер прервал ее: раз этот капитал принадлежал им, сыновьям, значит, они вольны не требовать его…

— А ты о Гастоне подумал? Он ведь не связан такими соображениями, как вы. И потом не забывай, что Пьеру только восемнадцать лет… До его совершеннолетия я, как мать и опекунша, обязана защищать его интересы, сколько бы он там ни капризничал…

— Погоди, — остановил ее Робер. — Раз мсье Револю уехал, зачем же ты понапрасну мучила их?

Мать посмотрела на него жалостливым взглядом. Вот глупец! До чего беспомощны в житейских делах эти мальчишки, а воображают себя

орлами!

— Успокойся, — сказала она, — у нас с Люсьенной был вполне дружеский разговор.

Робер осведомился, присутствовала ли при этом разговоре Розетта. Мадам Костадо отрицательно покачала головой.

— А Дени был? — спросил Пьер.

Нет, нет, оба вышли из комнаты… Мадам Костадо ломала себе голову, как сказать сыновьям о своей победе. Нет, это просто невероятно! Мать должна чуть ли не на колени стать перед этими дурачками, для того чтобы сообщить им: «Наш нотариус обанкротился, но благодаря мне вы ни гроша не потеряли».

— Люсьенна, надо это признать, повела себя прекрасно, с большим благородством. Она сразу же поняла, что у ее мужа есть священные обязанности в отношении вас, сирот.

— Каких еще сирот? Мы вовсе не сироты! — возмутился Пьер. Он с детских лет ненавидел слова: «сирота», «сиротка», «сиротский».

— Люсьенна сама мне сказала, что она располагает как раз такой суммой, какую они нам должны — четыреста тысяч франков.

Пьер воскликнул:

— Удивительное совпадение!

Однако мать пропустила эту дерзость мимо ушей. Ее томила мысль, что пришлось унизиться до лжи, совсем не свойственной ее характеру. Но ведь на это ее толкнули «два дурачка», как называл своих братьев Гастон.

— Четыреста тысяч франков? — переспросил Робер дрогнувшим голосом. — Где же они их взяли? Таких денег при себе не держат.

Что за наивность! Леони Костадо пожала плечами.

— Разумеется, в кошельке у нее не имелось четырехсот тысяч. Но с меня вполне было достаточно ее подписи…

— Это, думается мне, незаконно.

— Не беспокойся… Может быть, придется судиться с другими кредиторами… даже весьма вероятно, что придется… Но я имею гарантии и уверена, что выиграю процесс.

Робер ничего не ответил, и мать решила, что «все сошло благополучно».

— Понятно, я прежде всего посоветовалась со сведущим человеком — все обсудила с Лакостом, и мы с ним приняли необходимые меры предосторожности…

Ни Робер, ни Пьер не промолвили ни слова. Молчание их начало смущать Леони Костадо.

Между нею и сыновьями лежала пропасть. Не к чему и пытаться заводить разговоры. Братья сидели рядышком в шезлонге, стоявшем у кровати. Оба понурили головы, и свет лампы бросал золотистые блики на их волосы, белокурые с рыжеватым отливом: из растрепавшейся во сне густой шевелюры Пьера выбивались крупные завитки, у Робера тщательно приглаженные щеткой волосы, разделенные ниточкой пробора, слегка вились на затылке.

— Как только я получу эти деньги, — сказал Робер, — я их передам им в полное распоряжение…

— Нет уж, извини! — запротестовала мать. — Вы являетесь собственниками капитала, но доходы с него, пока я жива, поступают в мое распоряжение.

— Здорово! — буркнул Пьер. — Ишь ты как ловко устроила!

И тут мать взорвало.

— Ах, вот оно что! Вы презираете деньги? Похвальные чувства, мои дорогие сыночки! Поистине похвальные! Но разрешите спросить: на какие средства вы живете? Ты знаешь, Робер, сколько стоил новый фрак, который так идет тебе? А ты, Пьер, ты ведь любишь хорошо покушать и сердишься, если за ужином подают

одно только вареное холодное мясо. Не мешало бы тебе посмотреть, какие счета прислали из книжного магазина и от переплетчика. Мне пришлось заплатить по ним изрядную сумму. Гастон обходится мне дорого, но он-то хоть знает это и просит у меня извинения за свои траты, благодарит. Он не напускает на себя презрительный вид и не смеет меня осуждать. А вы! По-вашему, я женщина, лишенная идеалов, не так ли? Стригу купоны, собираю с жильцов плату за квартиру и больше ни о чем не думаю. Зато вы блаженствуете, витаете в небесах и тратите бешеные деньги на груды глупых, бессмысленных книжонок… А я гожусь только на то, чтобы вас кормить, поить, одевать, обувать, предоставлять нам квартиру с отоплением и освещением, нанимать для вас слуг, без которых вы не в состоянии обойтись. Как вам не совестно так важничать перед своей матерью, ведь я гроша на себя не трачу, все на вас идет!.. Мало вы, что ли, смеялись над моими облезлыми мехами, над моими платьями, которые мне шьют дома дешевые портнихи. Вы, изволите ли видеть, презираете деньги, а сами живете, ни в чем себе не отказывая; вам и в голову не придет поразмыслить, чего стоило вашим дедам скопить эти деньги: каких трудов, усилий, лишений… Эти

деньги должны быть для вас священны…

Она чувствовала, что может дать себе волю, что она заткнула сыновьям глотку. Робер пролепетал только, что он не виноват, если изучать медицину приходится много лет. Мать, успокоившись, милостиво сказала, что она и не упрекает его за это, пусть учится столько времени, сколько требуется; главное, чтоб он встал на ноги.

— Ну, а вот этого дурачка, этого молокососа, — сказала она, повернувшись к Пьеру, — еще надо хорошенько вышколить, и придется взяться за него как следует!

Пьер низко опустил голову. Мать чувствовала, что он глубоко задет, но от этого только больше раздражалась. Да, да, очень легко, очень приятно кропать по целым дням стишки вместо того, чтобы готовиться к экзаменам… Однако со стихами далеко не уедешь… Даже если хорошие стихи получаются, и то ими не прокормишься, а уж если ерунду какую-то сочинять…

Пьер вскочил и, не взглянув на мать, вышел из комнаты. Опомнившись, она остановилась в некотором смущении. Пожалуй, зря она так… Но мальчишка совсем ее извел.

— Напрасно ты так, — заметил Робер. — Не забывай, что он в переходном возрасте…

— Ну и что тут особенного? Разве он не такой, как все?

— Не такой… Не похож на других.

Мать стала возражать. Вовсе не в этом дело, вся беда в том, что в доме нет отца, главы семьи, уж он-то сумел бы образумить мальчишку. В глубине души мадам Костадо нисколько не сомневалась, что Пьеро не похож на других, но она не считала его существом выдающимся. Ее отец, ее дед, ее свекор были крупные коммерсанты — местные тузы, и, глядя на них, она составила себе определенное представление о человеческой ценности. Она полагала, что прекрасно понимает смысл выражения «это выдающийся человек».

— Итак, — сказала она в заключение, — видно, мне ничего иного не остается, как просить у вас прощения за то, что я принесла вам сегодня целое состояние… Я так и думала… Но все же…

— Да зачем мне эти деньги? Скажи, зачем? Ведь я все, все потерял!

Мать пожалела Робера, но вместе с тем обрадовалась, услышав такие слова. Первый раз в жизни она была довольна, что у ее среднего сына так мало воли. У него, очевидно, даже не возникал вопрос, как поступить. Он без борьбы отказывался от дочери Оскара Револю. Мать все же не

решилась повести лобовую атаку, а со слезами в голосе заговорила о Розе. Она — невинная жертва и такая привязчивая, ласковая девушка. Имя ее отца опозорено — пожалуй, можно этим и пренебречь… Но ведь Робер сам прекрасно понимает, что ему еще рано обзаводиться семьей. До этой катастрофы и Люсьенна и Оскар давали понять, что они приютят молодую чету в своем доме, но теперь… Робер дерзнул спросить тихим голосом:

— А здесь мы не могли бы жить?

— Ты с ума сошел? Где же это жить? В твоей комнате? А когда ребенок появится, как тогда быть? Да еще не забывай, что вся их семья будет сидеть у тебя на шее. Впрочем, не на твоей шее, а на моей… Ну, перестань, перестань… Крепись, мой дорогой. Конечно, я понимаю, как тебе тяжело, — говорила она, обнимая за плечи плачущего сына.

Робер знал, что мать делает ставку на его слабохарактерность, и знал также, что он не обманет ее расчетов. Чем ее убедить? Сказать, что возле Розы он чувствует себя совсем другим человеком? Что тогда он полон надежд и мужества? Но стоит ему выразить эту мысль, как мать обрушится на него и отметет начисто все его доводы.

* * *

У двери своей комнаты Робер с минуту постоял в нерешительности и прошел по коридору дальше — в комнату младшего брата. Пьер сидел на кровати.

— Ложись, старик, уже первый час.

Пьер, не глядя на него, пробормотал:

— Поганые их деньги!..

— Мы с матерью не можем понять друг друга! — простонал Робер. — Маме, верно, кажется, что нынче вечером она совершила похвальный поступок, что так и полагается действовать главе семейства. Нас она считает неблагодарными, и, быть может, по-своему она права…

— Да не в том дело, — сказал Пьер, уставившись в одну точку, и сердито замотал головой. — Обидно, что она правильно про нас говорит… Нет, скорее обидно, что мне нечего было ей возразить… Я ненавижу деньги за то, что я всецело в их власти. Выхода нет… Я уже думал об этом: нам не вырваться. Ведь мы живем в таком мире, где сущность всего — деньги. Мать права: взбунтоваться против нее — значит восстать против всего нашего мира, против его образа жизни. Или уж надо изменить лик земли… Остается только…

— Что остается?

— Революция… или бог…

Эти слова казались такими огромными, непомерными в уютной комнатке, где было так много книг, репродукций картин и гипсовых слепков с античных статуй. Робер подошел к брату, прижал к себе его голову.

— Не говори глупостей.

Пьеро молчал, уткнувшись лицом ему в грудь. Робер поглядел на ночной столик, где лежала тетрадь, развернутая на той самой странице, которую недавно пыталась разгадать мадам Костадо. Он машинально читал и перечитывал:

Что я в сравненьи с ней? Что аромат мой пряный?

Терзают грудь мою приливы океана.

Царица жалкая, безрукая! Нет сил

В объятьях сжать тебя. Чело мое обвили

Гирлянды черных трав, медузы осенили.

— Послушай, — сказал вдруг Пьер, ухватившись за плечи Робера. — Неужели ты ее бросишь? Скажи, ведь ты не бросишь Розу, нет?

Старший брат вздохнул и, сняв со своих плеч руки Пьера, проговорил:

— Что ж делать! Ты ведь сам сейчас сказал… Мы крепко связаны.

Глава третья

Лишь только Леони Костадо вышла из подъезда, унося с собою в качестве трофея драгоценный документ, Люсьенна Револю направилась в комнату Розы. Из прически ее не выбился ни один волосок, и по-прежнему на верхушке шиньона блистал изумрудный полумесяц. Но она уже успела снять с себя ожерелье и кольца. Сын и дочь заметили, что драгоценности лежат в ее полураскрытой сумочке, из которой она поминутно доставала скомканный носовой платочек и прикладывала его к глазам. Впервые дети увидели, что их всемогущая мать плачет, но они не осмелились броситься в ее объятья.

— Вы все слышали? — спросила она.

Дени нашел наконец слова, чтобы выразить мысль, преследовавшую его в эти часы, — он чувствовал себя погребенным под обломками рухнувшего дома.

— Мы заживо похоронены, раздавлены.

Роза тихо плакала, уткнувшись в подушку. Она оплакивала себя, свою любовь, свое счастье, которому уже не вернуться. Мать посмотрела на сына и спросила у него, словно у взрослого:

— Что же теперь делать?

— Немедленно ехать всем троим в Леоньян. По дороге заедем за Жюльеном к Фреди-Дюпонам.

— Нет, — взмолилась мать, — не надо заезжать к Фреди-Дюпонам. Там, должно быть, уже все знают…

Дени пообещал, что войдет в дом с черного хода, но от этого испытания они были избавлены: когда садились в ландо, подоспел Жюльен в бальном фраке, бледный как полотно; кое-кто из приятелей шепнул ему:

— Тебе здесь не место. Иди скорее домой.

* * *

Ландо покатило по булыжной мостовой, и мадам Револю, стараясь перекричать стук колес, заговорила во весь голос, пересказывая старшему сыну ужасную сцену объяснения с Леони Костадо. Жюльен был подавлен, да и как могло быть иначе? Все, что касалось светской жизни, имело для него величайшую ценность; в обществе недаром расхваливали его корректность, его превосходные манеры Он слушал мать, машинально протирая стеклышко монокля, иногда что-то бормотал тягучим гнусавым голосом, приводил цифры, суммы расходов.

— Согласитесь, — говорил он, пытаясь установить размер бюджета Регины Лорати, — согласитесь, что на одних только лошадей да на ливрейных лакеев самое малое уходило…

«Самое малое», «самое малое» — этот припев повторялся поминутно. Жюльен просто пьянел от этих подсчетов, не мог отстать от них; катастрофа затронула его глубже, чем остальных членов семьи; он еще не почувствовал боли, но знал, что ранен смертельно. А ведь до этого дня люди почтительно ловили поклон, пожатие руки Жюльена Револю, сына богатого нотариуса, завидного жениха…

— Во всяком случае, мы уплатим долги, — твердил он и снова принимался жонглировать цифрами. Контору можно продать за столько-то, да столько-то можно получить за Леоньян, да за особняк на Биржевой площади… Мать не решалась высказать свое предположение, что все это, вероятно, заложено и перезаложено. Не слыша ответных реплик, Жюльен постепенно притих, пыл его красноречия угас, приплюснутая голова с редкими волосами болталась от дорожной тряски из стороны в сторону. Вдруг мадам Револю громко выкрикнула:

— Нет, он не сделает этого, он подумает обо

мне! Нет, это было бы слишком!

Сыновья поняли, что она говорит о возможном самоубийстве отца; одна лишь Роза, замкнувшись в своем безысходном отчаянии, ничего, быть может, не слышала, ничего не замечала. У братьев слова матери не выходили из головы, — Жюльен думал об этом как человек светский, который считает, что в иных случаях лучше сразу исчезнуть из жизни, как из игорного зала, где ты передернул за карточным столом. Дени тоже думал об этом, но по-своему, как юноша, которого захватывает всякая драма и втайне увлекают катастрофы. Он не только не отгонял от себя мысли о страшном несчастье, а, напротив, рисовал в воображении жуткие картины, хотя и был уверен (вопреки повседневным фактам, опровергающим такого рода уверенность), что беда, которую он заранее старался себе представить, не может произойти, ибо предчувствие, казалось ему, почти никогда не совпадает с действительностью. И вот Дени создал в воображении декорацию и зловещие подробности трагической сцены: широкие решетчатые ворота распахнуты настежь, по дому растерянно снуют обезумевшие слуги, персидские ковры истоптаны грязными сапогами полицейских.

А мадам Револю все твердила: «Неужели он так обидит меня?» — как будто несчастный самоубийца прежде всего поставил себе целью обидеть ее. И ведь она была его женой — очень недолго… но все же была его женой, правда, равнодушной к супружеским ласкам, — по крайней мере она так думала, — а теперь в этой холодной женщине вдруг заговорил голос крови. Страсть острой болью пронизала все ее существо. Она крикнула кучеру в медный рожок: «Погоняйте лошадей!»

Ландо катилось по той самой дороге, по которой каждый год ездили на каникулы в Леоньян. Топот конских копыт и стук колес будили уснувшие пригороды, через которые Дени проезжал когда-то в июльских сумерках после экзаменов, в день раздачи похвальных листов и наград. Порывы влажного ветра трепали обрывки старой афиши, возвещавшей о бое быков, — Дени видел эту афишу еще в прошлом году. Иногда в темноте сверкало яркими огнями питейное заведение, в окна виднелась стойка и теснившиеся перед ней мужчины. Дени взял сестру за руку. Теперь уж Розетта никогда не выйдет за Робера Костадо.

Вот-вот должен был показаться старый дом. Дени из осторожности добавил несколько штрихов к созданной его фантазией сцене самоубийства.

— Да что ж беспокоиться, — сказал он вслух. — Ланден, должно быть, уже приехал. На него можно положиться.

Мать раздраженно воскликнула:

— Ах этот человек!

— Ведь он всем заправлял, — отозвался Жюльен. — Отец всецело ему доверился.

— Надо еще разобраться, что за игру он ведет.

— О-о, он хитрец!.. Можешь быть уверена, что он увильнет от всякой ответственности.

— И от ответственности увернется и капитал наживет. Уж он-то на нашей беде погреет руки.

И мать и сын яростно хулили Ландена без всяких доказательств, без всякого основания — просто потому, что ненавидели его. Дени тоже питал к нему отвращение, но, как и многие юноши его возраста, он жаждал справедливости. Однако он не счел нужным вступиться за Ландена. Наплевать ему на несправедливо обиженного Ландена. Уже приближались к Леоньяну. Запахи зимних полей были такими незнакомыми, удивительными. Значит, жизнь теперь пойдет совсем по-иному, чем он мечтал? Жизнь… Самому построить свою жизнь. Вдруг он почувствовал на своем плече голову сестры. У нее уже иссякли слезы, и больше она не плакала.

Лошади свернули на дорогу, тянувшуюся вдоль парка и приводившую к воротам заднего двора. Нет, конечно, невозможно, чтобы трагические сцены, сочиненные Дени, обдуманные им до мелочей, воплотились в действительность. Дени прекрасно знал, что пророческого дара не существует. Под колесами шуршал гравий, этот знакомый с детства звук всегда был связан с радостью каникул. Будь Дени музыкантом и вздумай он сочинить ту оперу, о которой мечтал Пьер Костадо, он именно в этом шорохе искал бы лейтмотив увертюры. Фонари экипажа освещали разрушенную кое-где ограду парка, над которой деревья вздымали свои черные ветви. На них еще трепетали обрывки сухих листьев, а ветви тянулись, словно руки, то с мольбой, то с угрозой. Прильнув лицом к застекленной дверце, Дени с жадностью впивал успокаивающую ласку сумерек. Вокруг все как будто спало спокойным сном, и казалось, здесь в тишине ночей никогда ничего не случается. О боже! Неужели вымысел обратился в действительность? Неужели перед ним предстала картина, созданная в воображении? Во всех окнах горел свет, и такой яркий, что Дени сперва подумал: «Пожар!» Перед мокрыми от дождя ступенями крыльца в большой луже

отражались огни. Жюльен пробормотал:

— Что-то случилось…

Мадам Револю все повторяла слова своей молитвы:

— Сделай так, чтобы этого не было!.. Сделай так, чтобы он этого не сделал!..

Дени подумал о том, что сейчас он увидит покойника; обязательно придется смотреть на него, а он еще никогда не видел покойников, и от одной мысли о том, что ему предстоит увидеть, у него кровь заледенела в жилах. Встретив на улице катафалк, где под крышкой гроба, под погребальным покровом лежало нечто невидимое, но страшное, он спешил свернуть в ближайший переулок. Он так боялся мертвецов, что, бывая в Леоньяне, никогда не входил один в пустующую комнату, в которой умер его дед — в том году, когда Дени еще лежал в колыбели. Иной раз он осмеливался приоткрыть двери и, просунув голову, заглянуть в этот полумрак, где царила глубокая тишина, пахло лаком и левкоями; он подолгу всматривался в широкую кровать, на которой уже давно никто не спал, на это смертное ложе, где свершилась ужасная тайна. Складки полога, ниспадавшие из-под балдахина, и каждая вещь со своего места видели то, что здесь произо-

шло. Стенные часы были остановлены в ту самую минуту, когда перестало биться сердце старика. И оттого, что все вещи в этой комнате как-то были причастны к агонии умирающего, к его переходу в небытие, они приобрели особое, таинственное значение, ибо при них побывала здесь страшная гостья — смерть… Нет, нет, ведь смерть — это что-то непостижимое, безликое. Можно вступить в сговор с дьяволом, можно столковаться с самым страшным чудовищем… Но смерть — это ужас небытия, несуществования; ее назначение — уничтожить, стереть с лица земли. Вот спинка кровати, полог, кресла, часы, зеркало, столик, покрытый зеленоватой ковровой скатертью, — их захлестнула волна вечности и, отхлынув, оставила на них пенные струи небытия.

Дени, для которого было целым событием войти в комнату, где в год его рождения умер человек, теперь уже не сомневался, что он сейчас увидит отца мертвым, в той самой позе, которую дорогой рисовало ему воображение: самоубийца сидит неподвижно, упав головой на стол, или же мертвое тело распростерто на постели…

* * *

И вот один за другим сбывались его вымыслы. Управляющий Кавельге, поджидавший их, знаками велел кучеру остановиться у ворот. И говорил он как раз то, что Дени заранее вкладывал в его уста!..

— Приехала полиция. Пока не разрешают трогать тело. Бригадир сначала хочет расспросить вдову… Представьте себе, никто не слышал выстрела. Сейчас все хлопоты легли на мсье Ландена…

Все четверо Револю стояли у обочины дороги. Шлейфы бальных платьев, выглядывавшие из-под темных накидок, волочились по лужам. Свет от фонарей коляски и ручного фонаря, который покачивал в руках Кавельге, выхватывал из темноты четыре бледных лица, открывал тайную сущность четырех сердец. Люсьенна уже замыкалась в своем горе, уже окружала себя им, как защитным укреплением; теперь она имела право ничем не заниматься, отдаться своим страданиям; она совсем разбита своими муками, никто не может за это ее осуждать. Жюльен, лишившийся всего, что служило ему опорой в этом мире, стал просто жалок: существо без возраста, с

покатым лбом и большой плешью, с трясущимся подбородком, растерянный близорукий человек, потерявший свой монокль; он с ужасом смотрел на Кавельге, говорившего ему:

— Теперь вы глава семьи, мсье Жюльен… Мсье Ланден говорит, что без вас он ничего не может решать…

Жюльен запротестовал: нет, нет, пусть Ланден все сам решает… Он все сделает как нужно…

— Жюльен, ну что ты! — укоризненно сказала Роза. — Нельзя же, чтоб Ланден заменял нас…

И твердым голосом она старалась ободрить мать, поддерживала ее под руку. Сама же Розетта точно окаменела с той минуты, как все было для нее потеряно; ничто теперь ее не трогало. Она повела мать и Жюльена к дому, а Кавельге попросила взять пока Дени к себе, поручив заботу о нем жене (Мария Кавельге была в свое время кормилицей Дени).

Дени подхватили, понесли на руках — он постарался сделать вид, что потерял сознание. Казалось, Кавельге без всякого труда несет этого рослого шестнадцатилетнего юношу. Твердым шагом он прошел со своей ношей через цветник и ударом ноги отворил дверь флигеля. Дени не открывал глаз, но прекрасно слышал, как испу-

ганно вскрикнула кормилица. Его положили на постель, раздели, поднесли к носу бутылочку с крепким уксусом, он чихнул; потом ему обожгла ступни горячая грелка. Приятно было вытянуться под теплым одеялом. В комнате было душно, пахло какими-то пряностями. Мария Кавельге сидела у его изголовья, прикладывала ему компрессы ко лбу. Он прижался головой к ее груди. Мария успокаивала его ласковым, неумолчным бормотанием:

— Бедненький твой папа еще прожил минут десять, успел, значит, попросить у господа бога прощения. Ланден думает, что удастся заплатить всем кредиторам и, пожалуй, спасти Леоньян, — хотя бы дом и парк. А землю придется продать.

Вопрос этот очень волновал обоих супругов Кавельге. Уж сколько лет они питали надежду, что флигелек, в котором они жили, сад и огород перейдут в их собственность. Тогда бы они чувствовали себя тут настоящими хозяевами, но по-прежнему работали бы на семейство Революю. Иногда, правда, управляющий нет-нет да и выдавал свои замыслы: он заявлял, что господский дом без земли можно продать только за бесценок — никому теперь не нужны эти огромные сараи. У него была прикоплена «малая толика», и этими

деньгами он никому не был обязан: покойный хозяин разрешал ему держать винные подвалы в окрестностях… Да еще он получал комиссионные при заключении всяких сделок — «все по правилам, честь по чести!..» Но Мария Кавельге не желала воспользоваться бедой, приключившейся в семействе Революю, и отнять у них дом в Леоньяне. А Дени думал, лежа в теплой постели: «Теперь уж мне нельзя учиться в коллеже… Мы будем жить в Леоньяне, будем разводить кур, сажать капусту».

* * *

Мария Кавельге вышла на цыпочках из комнаты, не загасив свечу. Вытянувшись под стеганым пуховым одеялом, Дени уже устраивал в мечтах райскую жизнь. На его обязанности будет лежать охота и рыбная ловля: придется стрелять куропаток, ставить в реке сети и переметы. Есть они будут ржаной хлеб. Розетта теперь уж не выйдет замуж, во всяком случае, не скоро выйдет, когда-нибудь позднее, через несколько лет… А сейчас эта опасность отпала… Он вздохнул полной грудью и потянулся под одеялом. Да… а как же покойник?.. Предстоит пережить несколько мучительных дней. Хоть бы заболеть, что ли!..

Все будут его жалеть: «Какой впечатлительный мальчик!» А когда мертвых похоронят, уложат аккуратненько в склепе, о них больше не говорят, все опять приходит в порядок, и жизнь снова налаживается…

Все эти смутные мысли проносились в голове Дени. Он вовсе не был чудовищем, но еще не почувствовал всем существом боль вечной разлуки с отцом. Сейчас он просто отдыхал на широкой кровати. Когда поворачивался на другой бок, похрустывала солома, которой был набит тюфяк. Телу было приятно ощущать грубый холст простынь. При тусклом свете горевшей свечи взгляд сперва различал только красные плитки пола, голубые и белые разводы кретонового полога, полустершегося льва, вытканного на коврике, который был постлан перед кроватью; потом у противоположной стены обозначилось приподнявшееся горбом стеганое одеяло, в полумраке слышалось чье-то ровное дыхание. Какое же таинственное существо находилось там?

В комнате совсем не было мебели. В углу были свалены мешки с зерном, стояли корзины с винными бутылками. Дени стало страшно, что его оставили одного. Но от тела, лежавшего на другой кровати, исходило дружеское тепло,

успокаивающее посапывание. Дени не знал, кто спит там таким безмятежным, тихим сном: его молочная сестра Ирен, или служанка, или сын управляющего Изидор Кавельге; правда, Изидор отбывал в Тарбе воинскую повинность, но ведь могло случиться, что он приехал домой на побывку. Прижавшись щекой к подушке, Дени вглядывался издали в этот островок, в этот континент, вырисовывавшийся среди волн сумрака, в эти волосы, черневшие словно темный лес. Пропел петух. Со двора доносился невнятный гул голосов, чьи-то шаги, хлопала калитка — все свидетельствовало, что печальная история человеческой судьбы идет своим чередом.

Близился рассвет. Дени так и не заснул. Кровь горячей струей бежала по его жилам и по жилам второго молодого существа, чье соседство приносило приятное чувство какого-то животного успокоения. Дени смутно ощущал, что совершившаяся трагедия по-настоящему никого из посторонних не затронет, в мире из-за нее ничто не изменится. И тут его охватила тоска. Захотелось, чтоб рядом был живой человек, свидетель, и Дени кашлянул, стараясь разбудить спящего соседа. Потом громко застонал: «Боже мой! Как мне тяжело!» Но призывы эти не долетали до сладост-

ной бездны крепкого сна, в который погрузила спящего всемогущая юность. Дени поднялся и, дрожа от холода, осторожно переступая по ледяному кафельному полу, подошел к кровати.

Но еще не дойдя до нее, он уже угадал, что там спит девушка: может быть, это подсказало ему чутье, — он уловил какие-то особые исходившие от нее токи. Девушка… Одна из тайн жизни. Другой тайной была смерть. Дени испугался, что девушка его увидит. Ему было стыдно, что он такой худой, узкогрудый. Он торопливо оделся. Умываться не стал — можно в такой день обойтись и без умывания.

Дверь кухни, выходившая в сад, была не заперта. Должно быть, сам Кавельге и Мария провели ночь в господском доме. В дымке тумана вырисовывались большие растрепанные хризантемы. Въездную аллею изрезали свежие колеи. Подбежала собака и, прыгнув, уперлась Дени в грудь грязными лапами. У крыльца зябко вздрагивали на ветру поздние розы. Войти в дом, или можно еще подождать? Надо же наконец решиться.

В передней на тумбочке стиля ампир горела лампа. Ее забыли потушить, и пламя казалось таким зловещим при свете зари. За дверью отцовского кабинета слышались голоса, потом что-то

стукнуло — видимо, кто-то задвинул ящик стола. На большом кожаном диване грудой набросаны были фетровые выцветшие шляпы, дешевые пальто. Дени догадался, что отца уже перенесли на второй этаж, в спальню, — окна ее, выходившие в сад, были полуотворены.

Дени стал подниматься по лестнице, заставляя себя думать только об отце. При жизни отец не обращал на него никакого внимания, не интересовался его занятиями, его успехами; был какой-то чужой, непонятный, его вежливые вопросы обычно не требовали ответов. Но иной раз случалось, что он вдруг открывал нечто любопытное в своем сыне, и тогда приближал его к себе. Дени вспоминалась худая отцовская рука с пожелтевшими от никотина пальцами, его помятые темные веки и карие глаза, в которых искрился веселый огонек, а порой они светились лаской, когда отец, наклоняясь, смотрел на своего мальчика. Но чаще у него бывали короткие приливы нежности к дочери — он приносил ей цветы, флакон духов, говорил о будущей поездке по морю, обещал свозить в Париж…

У двери Дени не задержался ни на одну секунду, не дал себе времени на раздумье. Люди, сидевшие вокруг неподвижной куклы, одетой во фрак, не

знали, что уже занялась заря. Хрустальный резервуар керосиновой лампы почти совсем опустел. На ночном столике поставлено было распятие, по обеим сторонам его горели две свечи, а перед ним в блюдечке со святой водой лежала веточка букса.

Дени бросились в глаза ступни покойника, обтянутые простыней. Тело уже приняло форму саркофага. Из-под белых повязок, окутывавших голову, торчали совсем живые длинные усы с проседью. И тут Дени задрожал с головы до ног, как молодое деревцо на ветру. Даже не оттого, что перед ним лежал мертвый отец. Все равно, это был покойник, мертвец, каким будут все: и я, и ты, и все люди. Смерть — единственная бесспорная истина, единственная достоверность. Как же это? Зачем по-прежнему ходят трамваи? Нужно остановить все поезда, вытащить из вагонов всех пассажиров, крикнуть им: «Да разве вы не знаете, что вас ожидает? Ведь вы все умрете!» Зачем люди читают газеты, ищут в них, что случилось в мире? Какое это имеет значение, раз каждый обречен умереть? Перед этой вестью так ничтожны, так не нужны все газетные новости. Зачем чему-то учиться, раз завтра умрешь и тебя, гниющую, разлагающуюся падаль зароют в яму. Вот

она, одна-единственная истина… А если и есть что-нибудь еще, мы этого не знаем. Мы убеждены лишь в одном — существует смерть. Религии, социальные системы — что это такое? Колонны, воздвигнутые на краю пропасти, чтобы придать видимость порядка и устойчивости клубам тумана и облаков, затягивающих зияющую бездну.

И он заплакал, но не об отце, а от страха перед непреложным законом, представшим перед ним с такой очевидностью; он готов был завыть у ложа мертвеца, как воют собаки, учуяв смерть. Жеребенок взвивается на дыбы у ворот бойни; ягненок блеет, услышав запах пролитой крови; юноша, дитя человеческое, вынужден был открыть глаза и заглянуть в бездну, ожидающую все живое. Да как же это люди могут что-то делать, суетиться, хлопотать, думать о всяких пустяках, отдавать свою привязанность другому существу, такому же смертному, как они сами? Как могут они заниматься любовной возней, плодить будущие трупы, жертвы неумолимой смерти. У людей есть всякие верования, они верят в то или в другое. А в смерть не нужно верить, ее видишь воочию, собственными своими глазами, соприкасаешься с нею каждое мгновение, снимаешь перед ней шапку на улице… Дени почувствовал, что Роза

обняла его за плечи, и спрятал свое мокрое от слез лицо, прижавшись к ее тоненькой шейке. Он цеплялся за свою сестру, за живое существо — живое и, следовательно, обреченное смерти. Не умирают только камни. А Роза думала: «Как он любит папу. Я и не знала, что Дени так любил отца». Дени угадывал, что она обманывается, что он обманывает ее, что у Розы совсем неверное представление о нем и его горе. Но для того, чтобы сестра посвятила себя ему одному, заботилась бы только о нем, утешала, поддерживала, нужно было обманывать ее — пусть он в ее глазах будет иным, лучше, чем в действительности, пусть она приписывает ему глубокие чувства, отдаст ему все свое сердце и льнет к нему, как льнет к мертвому, засохшему дереву зеленая ветка плюща, живая его краса.

Волна отчаяния уже спадала. Дени окинул взглядом комнату: ни матери, ни Жюльена в ней не было — только Ланден и Роза. Роза загасила лампу и, приотворив раму, велела брату сесть возле окна. Дени полной грудью вдохнул чистый холодный воздух.

Отсюда ему хорошо был виден Ланден, освещенный светом восковых свечей и разгорающейся розовой зари. Даже скорбь не придала благород-

ства его лицу. Он не уронил ни одной слезинки и, ничего не замечая вокруг, смотрел на покойника, смотрел с какой-то жадностью, разглядывая черту за чертой, словно заучивал их наизусть. Быть может, при жизни хозяина Ланден никогда не осмеливался смотреть ему прямо в лицо, а теперь смерть отдала эти черты в полную его власть. Ланден мог наконец утолить томившее его жгучее любопытство. Теперь уж Оскар Револю не в силах был заставить его потупить глаза. И Ланден пожирал взглядом своего обезоруженного кумира. Он хотел запечатлеть в душе его облик, он запасался воспоминаниями, собираясь жить ими до конца своих дней. Пожалуй, он способен был бы прийти сюда после похорон и лечь на коврике у смертного одра своего господина, как, говорят, делают это иногда собаки.

Почувствовав, что Дени смотрит на него, Ланден повернулся и устремил на юношу тусклые бледно-голубые глазки. Потом поднялся с кресла, обогнул кровать и подошел к Розе; пошептав ей что-то на ухо, он направился к двери, поманив за собой Дени.

— Помогите нам, Дени. Ваш брат заперся у себя в комнате, говорит, что никогда больше оттуда не выйдет, хочет уморить себя голодом. Это у

него, конечно, пройдет, но сейчас-то он просто невменяем, а он нам нужен, — ведь из вас троих только он совершеннолетний. Я на него никакого влияния не имею… Вы же знаете, он меня недолюбливает… А вас он, может быть, послушает… Поговорите с ним, напомните, что он должен заменить вам отца…

В комнате живого пахло хуже, чем в комнате покойника. Дени поспешил распахнуть окно. Жюльен высунул из-под одеяла плешивую голову.

— Закрой! Сейчас же закрой! Кто тебе позволял?

Дени послушно повторил слова Ландена о том, что Жюльен нужен для всяких распоряжений, пусть он сойдет вниз. Но плешивая голова снова нырнула под одеяло. Убирайтесь, не лезьте, ему теперь все, решительно все безразлично.

— Жюльен, но ты же старший, ты совершеннолетний…

— А если бы я был сумасшедший или идиот, без меня обошлись вы?.. Ну так вот, отлично, я идиот или сумасшедший — это уж как вам угодно, по вашему выбору. Я больше никогда не встану с постели. Слышишь? Не хочу больше никого видеть. Если не будут приносить мне еды, я подохну. Чем скорее, тем лучше… Ты еще мальчишка, тебе не

понять, с какой высоты я упал. Ты ведь не представляешь себе (в голосе его звучало мрачное воодушевление)… ты не знаешь, кем я был, какое положение занимал в обществе как сын Оскара Револю… Я был среди первых, самых первых… Теперь-то можно это сказать. Все шептали: «Вот сын Оскара Револю…» Да разве тебе понять, какая пытка меня ожидает!.. Я, случалось, отказывался подать руку тому или другому, но мне никто не посмел бы не подать руки. А теперь те, кому я когда-то не кланялся, будут делать вид, что они меня не замечают.

— Ты же можешь переехать в другой город, — дерзнул сказать Дени.

— В другой город? Ты с ума сошел! Нет уж, увольте! Я с достоинством перенесу свое несчастье. Я уже послал заявление о выходе из клуба… Жертва принесена… Я исчезну. Исчезну бесследно, насколько может исчезнуть человек, которому принципы не позволяют прибегнуть к самоубийству — умру медленной смертью. Во всем виноват этот негодяй Ланден, так пусть теперь и придумывает всякие махинации, пусть сам выворачивается, как хочет.

— Но как же быть с мамой? А с Розой что будет?

— А если б я был неврастеник, вы как-нибудь вышли бы из положения, верно? Ну так вот, у меня неврастения, меня в ужас приводит одна мысль о встречах с людьми, об их глазах, их взглядах…

Как птица свивает себе гнездо, так и он устраивал себе убежище из своей боязни людей, он ее изобрел, постепенно углублял, уютно расположился в ней. Повернувшись лицом к стене, Жюльен затих и больше не проронил ни слова.

Глава четвертая

После того как сыновья вышли из комнаты, Леони Костадо еще долго сидела на кровати; разбитая душевной усталостью, она не в силах была раздеться. Разве возможно забыть, думалось ей, какое расстроенное лицо было у Люсьенны, когда ее близкая подруга, Леони Костадо, требовала с нее четыреста тысяч франков? «Может быть, я была с ней слишком резка? Нет, я только выполнила свой долг». Но лишний раз Леони убеждалась, что доводы сыновей задевают ее. Эти юнцы всегда ухитрялись смутить душу матери и, взывая к ее совести, пробудить в ней щепетильность, совсем ненужную. Она сердилась на сыновей: и без них тяжело, а они еще усиливают ее треволнения. Если б не пришлось предстать перед их судом, она, может быть, спокойно спала бы эту ночь.

А между тем она сказала им правду: в сущности, ей лично деньги совсем и не нужны, на себя она почти ничего не тратит, никогда она не искала и не ищет развлечений. Теперь вот состарилась, так и умрет, не изведав в жизни ничего хорошего. Никогда ей даже в голову не приходила мысль поездить по белу свету, никогда не бывало

у нее никаких прихотей. До того ли человеку, если он должен заботиться о своем капитале, о своей недвижимости… Даже бриллиантов у нее не было… А напрасно она не заводила этих побрякушек: золото и каменья — самые надежные ценности.

Деньги поглощали все ее думы, но не давали ей ни тех наслаждений, которые они приносят расточителям, ни тех мрачных радостей, какие дарят они скупцам. Все в ее жизни было так обыденно: она продолжала делать то, что делали ее родители, была верна испытанным правилам: порядок, экономия, бережливость. Тратить только половину доходов, остальные же обращать в капитал и пускать его в оборот. А приумножая капитал, тоже полагалось следовать определенным правилам, предохраняющим от неприятностей: избегать риска — «не клади все яйца в одну корзинку», держи достаточную сумму денег наличными для того, чтобы можно было при каждом получении или передаче наследства надувать налоговое управление, которое все труднее становится водить за нос.

А эти «два дурачка» не понимают, что она не имеет права нарушать установленные законы игры: она идет по стопам родителей и во всем

следует их примеру. «Деньги над нами властвуют, у них свои законы, и приходится им подчиняться, идет ли речь о скромном состоянии, вроде нашего, или о таких несметных богатствах, что у человека может голова закружиться. Я обязана была сделать все возможное и невозможное, но спасти эти четыреста тысяч. Да ведь ради четырехсот тысяч небо и землю перевернешь! Чего только ради таких денег не сделаешь!» — думала Леони Костадо. Когда Робер и Пьеро вступят во владение наследством, они прекраснейшим образом подчинятся тем требованиям, какие предъявляют деньги. А что, если отдать все сыновьям?! Пожалуй, так лучше всего. Они тотчас образумятся и сразу поверят, что их мама действительно бескорыстна. «Ведь мне-то ничего не надо, — со вздохом шептала Леони, укрываясь одеялом. — Мне ничего, ровно ничего не надо!»

Выделить сыновей… Выделить. Не впервые ей приходила в голову эта мысль. Леони гнала ее от себя потому, что тогда пришлось бы освободить Пьера из-под опеки. Но в конце концов, почему же этого не сделать? Он, несомненно, предоставит матери право управлять его долей наследства, а если не матери, то старшим братьям, — следовательно, с этой стороны никакого риска. За

Робера нечего бояться, он трусливый, из страха лишиться капитала будет дрожать за свои деньги и быстро окажется в их власти. Да, в сущности, и Гастон тоже… Сейчас-то он, конечно, кутит и делает долги, зная, что мать заплатит, но какой из него расточитель! Он очень дорожит своими удовольствиями и не захочет лишиться денег, источника всех наслаждений. Да ведь в случае чего всегда можно обратиться в опекунский совет…

А с какой гордостью она бы им сказала: «Вы воображали, что для меня деньги дороже всего на свете, так вот вам!.. Берите все, отдаю вам все свое состояние, себе оставляю только самую малость, чтоб не протягивать руку за подаянием». Такие мысли взволновали ее, переполнили душу восторгом, усталость как рукой сняло. Ей так хотелось пойти постучаться к Роберу и сейчас же, сию минуту поговорить с ним. Но как женщина благоразумная, она не поддалась этому порыву. Утро вечера мудренее. Лучше поговорить завтра или даже выждать несколько дней. От смелого замысла произвести раздел наследства ей сразу стало легче на душе; так хорошо было думать, что она станет такой же бедной, как Люсьенна Револю, но не из-за постыдного разорения, а из-за того, что совершит благородный поступок и доб-

ровольно отречется от богатства.

Она не смыкала глаз до рассвета, все прикидывала, рассчитывала, не подозревая того, что в этих планах она ищет защиты от укоров совести за то, что она натворила в особняке на Биржевой площади, и пытается смягчить гнев его разоренных владельцев — во мраке ночи они обступали ее со всех сторон: она видела их мрачные лица, чувствовала на себе их неумолимые взгляды.

* * *

Спала она часа три, и ее разбудил шелест газеты. Потом послышался голос Пьера: «Ночью он покончил с собой». Открыв глаза, Леони увидела, что Робер сидит на стуле у ее кровати и плачет.

— Погодите. Давайте рассудим. Я была у них на Биржевой площади около половины одиннадцатого. Несчастье же произошло в Леоньяне через четверть часа после этого. Значит, нет никакой связи между тем, что Люсьенна дала свою подпись, и смертью ее мужа. Не понимаю, за что вы меня мучаете. Беда только в том, что пошла я к ней слишком поздно, — весь день боролась с собой. Если б я решилась на это раньше, пришла бы днем, может быть, Оскар был бы сейчас жив. Ну что вы? Что вы так смотрите на меня?

— Есть еще одно, — сказал Ребер. — Пока ты отнимала у его жены и детей последние крохи, наш старший братец Гастон отнял у него любовницу…

— Подумаешь! При чем тут я? Разве я могу водить Гастона на веревочке? Впрочем, бедняга Оскар и не знал, что это Гастон, — по крайней мере, я так думаю… Да и если б не Гастон, так другой бы кто-нибудь подвернулся. Эти дряни всегда так поступают!.. Ведь у Оскара вытянуть уже было нечего… Да что вы в самом деле! Я горюю не меньше вашего, но ведь мы тут ни при чем…

Уж лучше бы они упрекали ее, говорили ей дерзости. Почему они молчат и не дают ей заглянуть в их внутренний мир? Зачем они оскорбляют мать, считая, что она не способна понять их страдания? У Робера — любовь, у Пьера — дружба. Но разве у нее самой нет сердца? Когда-то оно билось ради юного красавца Оскара Револю, того самого Оскара, о котором нынче напечатано в газете… С мольбой посмотрела она на замкнутые, угрюмые лица сыновей. Нет никакой надежды… Ей не одолеть этой преграды презрения… Разве только… И вдруг вновь возникла мысль, не дававшая ей ночью покоя, — выделить сыновей. Как ей хотелось бросить им сейчас в лицо это предложение! Не

смейте дурно думать о матери! Только ради вас она цеплялась за эти деньги, а сама она деньгами не дорожит, во всяком случае теперь уже не дорожит, ей ничего не надо. Жизнь не задалась, она всем пожертвовала для сыновей, а они не понимают матери. Не терзайте свою несчастную мать, дайте ей спокойно умереть в каком-нибудь углу. Неужели они воображают, что ей так нужны все эти дома и прочая недвижимость? Да кстати сказать, все законы — против домовладельцев, их права стали просто мифом. Нет, ничего на свете ей больше не нужно, только бы увидеть, как изумятся ее судьи, как просветлеют их лица. И Леони Костадо уже не могла удержаться.

— Ну что ж, дорогие мои сыночки, все очень просто. Нынче ночью, когда я еще не знала о смерти Оскара Револю, я приняла бесповоротное решение, и, надеюсь, теперь вы будете обо мне другого мнения. Я хочу произвести раздел наследства. Да, да, вы не ослышались. Только надо будет освободить Пьеро от опеки, ведь ему всего восемнадцать лет. Конечно, это, может быть, неосторожно с моей стороны. Но я полагаю, что Пьеро будет умником и предоставит мне по-прежнему управлять своей долей наследства.

Ее постигло разочарование: сыновья не выра-

зили ни малейшего удивления. Может быть, они не поняли ее или не поверили? Мать решила разъяснить. Что они, не слышали, что ли? Не понимают всей важности ее намерения?

— Раздел? Хочешь разделить то, что нам от папы досталось?

— И то, что от папы досталось, и мое личное состояние. Конечно, себе я оставлю небольшую ренту. Ведь жить на что-нибудь надо.

Из всех многообещающих речей матери Пьеру запомнились только постоянно повторявшиеся, всегда ужасавшие его слова: «ценные бумаги», «акции», «рента», «недвижимость». Оттого, что все эти блага собирались разделить, его отвращение к ним не уменьшилось.

— Перестань, мамочка, — заметил Робер. — Ведь ты это предлагаешь в минуту отчаяния. А если произведешь раздел, потом будешь горько раскаиваться. Нет, все это несерьезно, сама понимаешь.

Мать запротестовала, пьянея от своей жертвы:

— А я вам говорю, что я решила, бесповоротно решила. Всю ночь об этом думала, когда еще не знала, какая ужасная трагедия произошла в Леоньяне. Вы меня считаете корыстной, этого у вас из головы не вышибешь. Посмотрим, что вы

скажете, когда я от всего откажусь и оставлю себе лишь столько, чтоб не умереть с голоду.

Сыновья наконец как будто взволновались. Пьеро спросил:

— Тогда, значит, как же? Роберу можно будет жениться на Розе?

Мать, не задумываясь, ответила:

— Разумеется. Если захочет. Только не воображайте, что у вас будут золотые горы… Богачами вас не назовешь. Отнюдь! Доходные дома теперь совсем обесценились. А курс ренты все понижается. Наше состояние очень уменьшилось. И ведь придется разделить его между вами троими, да еще выделить мне на содержание… Нет, Робер, не строй себе иллюзий, тебе не на что будет содержать все семейство Револю…

— Это уж его дело, — вмешался Пьер.

— Конечно, только его дело. Но даже если он захочет сам полезть в петлю, я не изменю своего решения.

Пьер с тоской смотрел на брата. Робер курил, стоя немного в стороне, как будто весь этот разговор его нисколько не касался.

— О чем ты думаешь, Робер?

Робер ответил обычным своих нерешительным тоном, что он раздумывает — ехать ему в Леоньян

или нет.

— Не надо, — отрезала мать. — Им будет тяжело вас видеть. Напиши Розе, Пьеро напишет своему другу Дени, а я напишу Люсьенне. Я полагаюсь на твое благоразумие, дитя мое, я надеюсь, что ты не станешь опрометчиво связывать себя, пока не узнаешь в точности, какими средствами ты будешь располагать. И ведь нужно некоторое время, чтобы произвести оценку имущества, определить долю каждого из вас, выполнить все формальности…

— Ну, разумеется, — прервал ее Пьер. — Значит, это все только разговоры. Подождем, пока до дела дойдет.

У Леони Костадо слезы полились из глаз. Сыновей это смутило. Пьеро наклонился, хотел поцеловать ее, но она отстранилась.

— Нет, нет. Оставьте меня… Вы неблагодарные. Но все равно, как я решила, так и сделаю. Конечно, я нисколько не надеюсь, что вы справедливо оцените мои поступок. Если я даже всего, решительно всего лишусь, вы все равно еще какую-нибудь напраслину взведете на меня, с грязью меня смешаете. Знаю я вас, вы оба бессердечные. Гастон ведет себя легкомысленно, но он причиняет зло, не думая, не размышляя,

просто поддается своим порывам. Это, конечно, нехорошо, но у него все-таки есть сердце… Нет, оставьте меня, уходите.

— Ведь вот что печально, — сказал Пьер, когда Робер вошел вслед за ним в его комнату, — не трогают меня сегодняшние мамины слезы, а между тем я ведь не могу выносить, когда люди плачут, меня всего переворачивает от жалости. Почему это человек бывает то черствым, то добрым — смотря по тому, с кем имеет дело?

— А все-таки мы нарушили ее душевный покой, теперь она уже не доверяет прежнему своему мерилу моральных ценностей, которое прекрасно служило ей до сих пор. Будь уверен, что раздел имущества она произведет… Тебе повезло, малыш! — вдруг воскликнул он. — Куда ты денешь такую кучу денег, Пьеро?

— То есть как? У меня будут деньги? У меня?

— Ну, разумеется! Тебя же освободят от опеки.

Пьер посмотрел на брата и в радостном порыве закричал:

— Так я все тебе отдам! Бери и женись на Розе!

Старший брат провел рукой по его голове.

— С ума ты сошел, малыш!

— А ты, что ж, хочешь, чтоб я в восемнадцать лет…

Казалось, призрак алчности, страшной болезни, которая могла бы угрожать ему лишь к концу жизни, вдруг возник перед ним на заре юности и готов был ринуться на него. Бедняга Пьеро! Как же ему быть сильнее окружающих? Разве вот только бежать… Дождаться раздела, отдать Роберу свою часть наследства, а когда они с Розой поженятся, уйти отсюда… уйти куда глаза глядят. Работать. Ничего не иметь, кроме пары молодых, сильных рук.

Глава пятая

Позднее Дени Револю без особой грусти вспоминал те дни, которые следовали за похоронами отца, чуть ли не тайными похоронами. Мать, Роза и Ланден еще на рассвете уезжали в город распутывать дела и возвращались только вечером. В доме оставался лишь один Жюльен, но, как он и грозился, не выходил из своей комнаты. Дени жил у Кавельге. Решено было, что он бросит коллеж, но с третьей четверти поступит в старший класс лицея. Дени радовался неожиданным каникулам. Он спал все на той же кровати, стоявшей напротив кровати Ирен Кавельге, но теперь девушка переселилась в спальню родителей. Каждый день она ходила к местной портнихе учиться шить. «Нужды, конечно, никакой в этом нет, — говорила ее мать, — но люди станут судачить, если мы не обучим девушку какому-нибудь ремеслу. К тому же у нашей дочки есть способности к шитью; вырастет, мы дадим ей средства, и она откроет свою мастерскую». Ирен возвращалась домой затемно, когда Дени уже начинало казаться, что время тянется бесконечно долго.

Пока было светло, Дени не скучал. Ему никогда

еще не приходилось бывать в деревне зимой, и теперь его удивляло, что в декабре стоит такая мягкая погода. Он любил посидеть у южной стороны дома, когда солнце, торопливо совершавшее свой дневной путь, изо всех сил старалось пробиться сквозь туман и в час краткой своей победы разливало вокруг Дени ласковый и какой-то усталый свет. Зимние краски полей оказались вовсе не такими уж тусклыми, как он воображал, а саду было много деревьев с вечнозеленой листвой, а за оградой простирались ланды[26], — из окон второго этажа открывался вид на темно-зеленые холмистые просторы. Свет мерцал блестками в разлившихся от дождей ручьях. Виноградники на южных склонах холмов еще не были подстрижены, и издали голые рыжеватые лозы походили на мягкие лисьи шкурки; ивняк на берегах озер радовал глаз своей окраской, нежной, как цвет живого тела. От полей поднимался в эти дни запах более строгий и таинственный, чем летом, исходивший не столько от растений, сколько от самой почвы, — резкий, но приятный запах

[26] Примечания: 26

Низменные песчаные равнины шириной в 100–150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7–8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

мокрой земли.

Но ко всему, о чем думал Дени, примешивалась мысль о смерти, которую он знал теперь, и ему казалось, что смерть — единственная достоверная истина, открывшаяся ему, что не осталось ему больше никакого счастья, кроме примитивных радостей этой чувственной близости с природой, которая в конце концов поглощает всякую живую плоть. Но как коротки были эти теплые и светлые дневные часы, постоянно находившиеся под угрозой. Стоило набежать облачку, солнцу уже не хватало силы согреть озябший мир.

Тогда Дени шел во флигель посидеть у очага. Мария Кавельге старалась развлечь его, вызвать на разговор и обсуждала с ним все вести о положении дел. Иной раз казалось, что все уладится: сама Палата нотариусов берет на себя ликвидацию… А на другой день появлялись слухи, что кое-какие операции Оскара Револю носили бесспорно мошеннический характер. Мария Кавельге удивлялась: как же это вдова и дети покойного до сих пор ни в чем себе не отказывают? «Чудно, право! Богачи разоряются, а живут все по-старому, будто ничего у них и не переменилось».

В шестом часу вечера возвращалась Ирен Кавельге и бралась за свое рукоделие. Дени читал ей

вслух книги: «Без семьи», «Андромаху», «Семью Фенуяр» или «Федру». Соседство этой девушки вызывало у него приятное волнение, какую-то смутную радость. За ужином не спеша ели рагу, целый день тушившееся на слабом огне; иной раз крепкий запах кушанья доносился до господского дома. Около девяти часов вечера выгребали из очага золу, снова подкладывали дров. Потом все расходились по своим комнатам и укладывались спать. Дени сразу засыпал, и от первого сладкого сна его будил знакомый шорох гравия, шуршавшего под колесами старого ландо. (В первые дни еще ездили ландо, а потом пришлось довольствоваться трамваем.) Прибегала Роза поцеловать брата. От нее веяло влажным туманом и запахами города; на вопросы Дени она отвечала уклончиво: «Это все очень сложно, долго рассказывать… Все уладится. Спи, дорогой». Равнодушным тоном спрашивала, нет ли ей писем. Дени прекрасно знал, от кого она ждет письма. «Нет, никаких интересных писем не было», — отвечал он.

* * *

В тот день — это было в четверг — Дени стоял в саду, прислонившись к забору. Из отворенной двери теплицы тянуло густым запахом герани и

чернозема. Кто-то шел по дорожке, ведя за руль велосипед. Дени узнал Пьера Костадо, которого не видел со дня зловещего появления его матери в особняке на Биржевой площади. Убежать было уже поздно. И тогда Дени понял переживания своего брата Жюльена: ему тоже захотелось запереться от всех, исчезнуть. Пьеро остановился в нескольких шагах; Дени видел, что его друг глубоко взволнован. Ну вот, еще и этот приукрашивает его в своем воображении, приписывает ему всякие возвышенные чувства. Впрочем, Дени уже давно перестал возмущаться: «Я вовсе не такой, каким вы меня считаете…» Право, худшие наши враги не те, кто, искажая наш внутренний облик, принижает нас, — нет, нашими врагами надо считать тех, кто на свой лад переделывает наш образ, создавая себе из нас кумира. Дени ужасала эта неизбежная встреча: придется барахтаться в трясине фальшивых чувств, играть совершенно чуждую ему роль, соответствующую образу, выдуманному Пьером Костадо.

— Ты не откажешься подать мне руку? — робко спросил Пьер.

Он прислонил велосипед к стенке теплицы. В восемнадцать лет Пьер Костадо ростом был не выше Дени и все-таки уже выглядел настоящим

мужчиной, был широк в плечах; солнце золотило волоски на его плохо выбритых щеках. Несмотря на зимний холод, он был весь в испарине и на кончике его короткого горбатого носа блестела капелька пота. Когда Дени милостиво пожал протянутую руку, Пьер сказал взволнованно:

— Я знал, что ты будешь великодушен… Мы причинили вам столько зла…

Дени пожал плечами.

— Не надо об этом говорить, — сказал он устало. — Ты здесь ни при чем.

— Я хочу, чтобы ты знал, Дени, — все это окажет большое влияние на мою жизнь.

Дени протянул рассеянно:

— В самом деле? — И по тону его сразу чувствовалось, что он не придает важности душевным излияниям Пьера.

— Никогда я не прощу своей матери, что она так поступила с вами… Ты, пожалуй, думаешь: «Ну, для тебя-то ничего не изменится». А вот изменится… Только ты никому не рассказывай. Не скажешь? Слушай, я уйду из дома. Уеду отсюда.

Дени не выразил ни малейшего интереса или хотя бы удивления.

— Да ты уж давно об этом толкуешь.

Пьер заявил, что на сей раз его решение непре-

клонно. Останавливала его до сих нор только одна мысль — наверно, Дени догадывается, какая? Дени отрицательно покачал головой.

— Не хотелось с тобой расставаться, дружище. А тебе наплевать, да?

— Ну, знаешь… Чего ж огорчаться прежде времени? Подождем, пока ты и в самом деле уедешь…

— Послушай, Дени. Я вот что надумал… — Пьер придвинулся поближе к своему другу, рассеянно слушавшему его, и вдруг выпалил: — А что если нам вдвоем двинуть?

Он ждал возмущения, упреков, насмешек, но Дени выслушал предложение так равнодушно, так невнимательно. Да и слышал ли он его слова? И Пьер тогда сказал:

— Я, конечно, просто так говорю, для смеха… Я же знаю, ты не бросишь близких в такую минуту…

Дени сдержался и не задал вертевшегося на языке вопроса: «Твой брат отказался от Розы?» А вдруг не отказался? Это было бы просто ужасно. И когда Пьер, не выдержав наступившего тяжелого молчания, смиренно сказал: «Ну, мне пора. До свидания…» — Дени заколебался, пойти проводить его или нет.

Они направились к шоссе. Пьеро вел велосипед, оставлявший на мягкой грязи чешуйчатый след, похожий на змеиный. Увидятся ли они еще когда-нибудь? Может быть, их дружба умерла? И в ту минуту, когда Пьер больше не сомневался, что все между ними кончено, Дени вдруг заговорил обычным своим тоном, каким прежде всегда беседовал с другом.

— А как двигается «Атис»? — спросил он.

От неожиданности Пьер не нашелся, что ответить. Он остановился у придорожного вяза и поднял воротник куртки.

— Тебя это еще интересует?

Дени ответил:

— Как будто ты не знаешь!

И действительно, Пьер Костадо, автор поэмы «Атис и Кибела», в его глазах жил совсем на другой планете, чем «малыш Костадо». В его чувстве к Пьеру было больше восхищения, чем любви, он ценил поэтическое дарование Пьера не потому, что был ослеплен любовью. Семнадцатилетний Дени хорошо знал, каким беспросветным тупицей был учитель, который, утащив тетрадь со стихами Пьера, принялся высмеивать их перед всем классом.

— Я понимаю теперь муки Кибелы, — сказал

Пьер. — Она страдает от своей огромности; она не по мерке человеку, ее тело недоступно человеческим объятиям. Понимаешь? Очень трудно это выразить… И вот она говорит Атису:

Твой смех звенел среди ручьев моих журчанья,

И я тогда туман разорвала ветвями.

Твои глаза горят. Что звезды мирозданья?

Что для меня безжизненный их взгляд?!

Твой свет дремал в моих источниках сокрытых,

Манящих холодом и привкусом земли.

Из плоти всей земной, со мною вечно слитой,

Все, Атис, кроме рук твоих, забыто:

Ты гладишь травы — волосы мои.

Когда б мой скорбный стон раздался над морями,

Народ проснулся бы на мрачном берегу.

О я, безрукая. Ты жег меня устами —

Я сжать тебя в объятьях не могу.

Пьер читал свою поэму нараспев, произнося слова в нос. Постороннему слушателю эта манера, вероятно, показалась бы смешной, но Дени и не представлял себе, чтоб эти стихи можно было декламировать иначе, и никогда, думалось ему, не могли бы они звучать так таинственно, как в эти зимние сумерки, на краю пустынной дороги.

— Кибела — это земля, и Атис для нее — целый мир… Греки, обожествляя стихийные силы природы и небесные светила, придавали им человеческий облик, а моя Кибела, наоборот, обожая пастуха Атиса, видит в нем неведомую Землю… Я пытался выразить это переплетение: мыслящее существо и планета, живое тело, жалкое смертное тело и Земля, где плещут волны океанов, высятся горные хребты, вздымая снежные свои вершины, зияют пропасти и благоухают леса…

Над полосой песков встают златые дюны,

И пены бахрома на берегу морском.

Бровей твоих изгиб пленительный, взор юный

И темный лес волос над мраморным челом.

Прелестное лицо… Огни зениц огром-

ных —

Две пламенных звезды ночей моих бессонных,

Вы светите другой ласкающим лучом.

Одна лишь мысль меня, возлюбленный, тревожит:

Меня казнит дитя, прибой жестокий гложет.

— Да, — задумчиво сказал Дени. — Я понимаю, что Атис для Кибелы — целый мир…

— Ведь если все мысли, все чувства, как говорится, вертятся вокруг одного существа… — Пьер, не договорив, умолк и вдруг взволнованно воскликнул: — Ну вот… А я уж думал, что мы теперь никогда, никогда не найдем пути друг к другу!

Он вскочил на велосипед, но еще не трогался с места и смотрел на Дени, положив ему руку на плечо.

— Перед тем как уйти, я отдам тебе рукопись «Кибелы». В тот день, когда ты получишь ее от меня, так и знай, что я решился.

И Пьер покатил по дороге, подняв руку в знак прощального приветствия. Он растаял в вечерней мгле, он мчался на своем велосипеде, как самый обыкновенный юноша, будто всю его ду-

шу, все его существо не наполняла собой до краев эта поэма. Приближался вагон трамвая. Застыв у обочины дороги, Дени смотрел, как в тумане вырастал и разгорался круглый фонарь, словно огненный глаз циклопа. Вспомнились недавно прочитанные стихи, в которых говорилось, что трамвай, пробегая в ночи, задевает листву — «сбрую снов, дождем окропленную». Он знал, что в этом большом желтом ящике едут его мать, Розетта и, разумеется, Ланден — он, наверно, в последний раз переночует в Леоньяне, потому что дела почти совсем уже закончены… Все будет продано, но в пользовании матери остаются дом и парк…

Дени догадывался, что дорогой они, наверно, обсуждали эти вопросы. Ланден, хотя ему хорошо было известно, что он необходим семейству Револю, шел позади всех, с боязливым и смиренным видом.

— Ну вот, — сказала сыну мадам Револю, — вот все и кончено!.. Слава богу, избавимся теперь от этого человека!

— Тише, мама, он услышит.

— Тем лучше! Пусть слышит!

Роза, которая шла рядом с Ланденом, вдруг побежала бегом и, догнав своих, сказала вполголоса

брату:

— А у меня новость! Угадай какая! Я нашла себе место!

— Ах, пожалуйста, не спеши! — возразила мать. — Мы еще обсудим это в кругу семьи…

— Мама, ведь это такая удача!

— Нет уж, извини, — ужасная неудача! Я примирилась с мыслью, что тебе придется работать, давать, например, уроки, но…

— Давать уроки? Какие? Я ведь не музыкантша и вообще ничего не знаю. Я невежественна, как чурбан.

— Перестань, пожалуйста. Воспитанная девушка всегда знает достаточно, чтобы учить детей. А ты что придумала? Ты, Роза Революю, будешь продавщицей в какой-то лавке!

— Извини, мамочка, не в «какой-то», а в книжной лавке — это совсем другое дело. Да, Дени, представь себе — поступаю к Шардону.

— К Шардону? У которого мы всегда покупали книги?

Роза была оживлена, полна радостного возбуждения. У Дени шевельнулось смутное чувство досады — чересчур уж она радуется. Его раздражало, оскорбляло это ликование. Он резко сказал, когда вошли в ворота:

— У меня сегодня был Пьер.

— Ах, вот как! — тихо вскрикнула она.

Уже совсем стемнело, и Дени не мог видеть ее лица, но слышал, как дрогнул ее голос.

— Говорил он что-нибудь о Робере?

Дени буркнул: «Нет», — и с наслаждением вдохнул сырой воздух.

Как только вошла в прихожую, мадам Револю заявила:

— Мы ничего не можем решить, пока не посоветуемся с Жюльеном, он — глава семьи.

Роза, не удержавшись, воскликнула с юной запальчивостью:

— Я не обязана советоваться с Жюльеном, как мне зарабатывать для него кусок хлеба!

Мять возмущенно вскинула голову: «Роза!» — и суровым тоном добавила:

— Он твой старший брат; этого, кажется, достаточно. А кроме того, он болен, тяжко болен.

— Верно, мамочка, верно!.. Ну что ж, сходим к нему, только сейчас же. Завтра я должна дать ответ Шардону.

Печей в доме не топили. «Эта лестница — сущий ледник!» — вздыхала мадам Револю. Она поднималась первая, держа в руке лампу; за ней шла дочь, а Дени замыкал шествие. На стене пля-

сали три тени, срезанные ступенями лестницы. На площадке мадам Револю остановилась.

— Подождите, я пойду посмотрю, не спит ли Жюльен, — сказала она, передавая лампу Розетте.

Дени внимательно смотрел на сестру; только в эту минуту он заметил, как она переменилась. Все несчастья последних недель, словно удары молота, по-новому перековали ее лицо: ни одной детской черточки не осталось в нем; темные круги легли под глазами, тень подчеркивала впадины исхудалых щек и запавшие виски; нос заострился и словно вытянулся, что совсем ее не красило. Изящные хрупкие плечи стали худыми, угловатыми. У Дени сжалось сердце. А ведь для того, чтобы это страдальческое личико озарилось радостью, достаточно было шепнуть: «Пьеро приезжал поговорить со мной о Робере и о тебе…» Вернулась мать и поманила их рукой, приглашая войти в комнату.

Из полуотворенной двери поползло облако сизого дыма, запахло табаком. Жюльен чуть-чуть высунул голову из-под зеленого пухового одеяла, выстеганного крупными клетками; голова была узкая, костлявая, как у облезлой птицы.

Болезнь, которой он вначале только прикры-

вался, теперь действительно завладела им. Созданное им для себя убежище замкнулось и стало темницей. В его тоске уже ничего не было притворного, он и в самом деле страдал атрофией воли и не мог принудить себя к самым простым действиям. Он заявлял, что хочет уйти от жизни, а жизнь сама уходила от него. Как только Розетта увидела брата, ей стало стыдно тех резких слов, которые недавно вырвались у нее. Она с жалостью глядела на брата и без всякого отвращения погладила его волосатую руку, торчавшую из обшлага рубашки.

— Сегодня чудесная погода, Жюльен. Солнышко грело совсем по-весеннему. Если б ты знал, как хорошо! Право, вот, кажется, все уж потеряно, и вдруг видишь, что у тебя все, все осталось. И солнечный свет, и деревья, и улицы, и люди…

Жюльен отвернулся к стене и заворчал:

— Отстаньте вы от меня… Не говорите. Не смейте со мной говорить.

Мать старалась успокоить его:

— Дорогой мой мальчик, мы сейчас уйдем, не будем мешать тебе. Мы хотели только спросить твое мнение.

— Нет, нет!.. Не надо! — закричал Жюльен. — Не хочу ничего знать… Никаких мнений у меня

нет!..

— Да тут не о делах речь… Просто мы хотели спросить твоего совета — ты же старший сын. Кому же, как не тебе, решать, можно ли Розе поступить на то место, которое ей предлагают, — к Шардону, в книжную лавку…

— Пусть делает, что хочет, — забормотал Жюльен. — Все погибло. А раз все погибло, так чего уж теперь…

— Послушай, Жюльен, — сказала Роза, — ты, наверно, удивишься, но я ужасно рада… Знаешь, меня просто восхищает мысль, что я буду работать, стану одной из тех девушек, которые гурьбой высыпают на улицы, когда закрываются магазины… Начнется новая жизнь. Значит, у меня будут две жизни… была одна, а теперь другая. А что если б и ты тоже… Стоит тебе захотеть…

Жюльен перестал слушать и умоляюще захныкал:

— Пощадите меня, оставьте меня, уходите… За что вы меня мучаете?

И он натянул на голову одеяло. Мать сказала тихонько:

— Тут слова ничему не помогут, Роза. Замолчи, ты только его утомляешь. Ты же видишь, он затыкает себе уши. Ступайте. Пообедайте без меня,

мне не хочется есть. Я побуду тут.

И она расположилась у кровати. Инстинкт подсказывал ей, что теперь эта комната станет и для нее убежищем, более того — здесь весь смысл ее существования. Она должна ухаживать за Жюльеном — вот и все. Больше ничего с нее не спрашивайте. Вот в чем ее обязанность, смысл жизни, ее долг. Для нее весь мир сосредоточится теперь в стенах этой комнаты, которую ее сын обратил в свою тюрьму. Она посвятит себя сыну, и о ней будут говорить: «Какая самоотверженная мать! Никогда ни слова жалобы!»

Глава шестая

Ланден ждал, стоя у своего стула, и сел лишь после того, как Розетта и Дени заняли места за столом. Он видел тонкий профиль Розы. Она накинула на плечи шаль. Иногда она приподнималась, брала ломтик хлеба. И сестра, и брат избегали смотреть на Ландена, и его это смущало, так же как других смущает, если их слишком внимательно разглядывают. Дени порой даже отворачивался, чтобы не видеть лежавшую на скатерти руку Ландена, мохнатую, короткопалую руку с обгрызенными ногтями, — ведь человеческие руки словно носят на себе отпечаток тех действий, которые они производили, как будто постепенно формуются этими действиями.

Боясь поднять глаза от тарелки, Ланден делал вид, что он весь поглощен обедом, и ел с притворной жадностью; на его бороде оставались следы всех съеденных кушаний. Свет люстры играл отблесками на его шишковатом черепе. Ландену хотелось поскорее уйти из столовой и вместе с тем приятно было побыть с детьми покойного хозяина. Он тоже видел на скатерти руку — маленькую руку Розы, мочку розового уха,

полоску шеи. Два юных прекрасных существа, сидевших в этой столовой, дышали одним с ним воздухом. Ланден внушал им ужас, но все же они сидели с ним рядом. Роза тяжело вздохнула. Ланден встал.

— Не хотите ли сыру, мсье Ланден?

— Нет, благодарю вас, мадемуазель. Это последний вечер. А мне нужно разобрать еще несколько связок бумаг и произвести опись. Не хватает кое-каких документов, Я не теряю надежды, что они найдутся в кабинете…

— Там, вероятно, уже затопили камин. А как поживает ваша сестра? Как ее здоровье?

— Благодарю вас, вы очень любезны. Сестра простудилась, прострел ее замучил, знаете ли, но теперь все прошло… Опять суетится, хлопочет…

Ответ его пропал впустую. Вопрос был задан только из вежливости, ибо здоровье старой девы нисколько не интересовало Розу Революю.

Ланден старательно запер дверь кабинета, где он собирался поработать в последний раз. Он сел в кресло за письменный стол, как и каждый вечер в течение трех недель, и, подперев голову руками, долго сидел неподвижно, наслаждаясь тишиной и глубоким покоем.

Мертвого уже не нужно бояться, он ничем не

может обидеть — ни резким словом, ни презрением. Не может он оттолкнуть преданное сердце и больше не обороняется, не воздвигает преграду гордыни, защищаясь от внушенного им чувства, как то бывало при его жизни. Не надо больше ни щадить его, ни обманывать; даже когда человек называется Ланденом, а покойник был таким блестящим созданием, как Оскар Революю, этот живой Ланден может свободно отдаться странному и такому новому для него чувству — жалости. Ланден удивлялся, как может он испытывать жалость к человеку, который больше всех в мире вызывал у него восхищение. И он старался представить себе, какие муки терзали Оскара Революю в последние недели жизни. Несомненно, причиной его страданий было не столько расстройство в делах, сколько измена содержанки. Разумеется, он вел крупную игру и проигрался, но разве это уж так страшно? Он бы выправился, это сущий пустяк для такого человека. Если он не мог устоять на ногах, если денежные неприятности привели к катастрофе, то случилось это лишь потому, что все его мысли, все силы души были заняты только одним, поглощены были женщиной. И какой женщиной! Негодяйкой Лорати! «Но оттуда, где ты сейчас пребываешь, — шептал Ланден, обра-

щаясь к умершему, — ты ведь видишь, наконец, какая это подлая тварь».

Ланден не сомневался, что мертвые могут читать в сердцах живых. От такой уверенности становилось легче жить: значит, Оскар Револю видит теперь истинную сущность Регины Лорати, так же как он видит истинную сущность Ландена. Старший клерк верил в эту загробную прозорливость и находил в такой мысли успокоение; он даже решил отныне руководствоваться ею в жизни: теперь уж дела не будут тяготеть над ним и никому больше он не будет преданным рабом. Ему предлагают немало мест, но он поступит на такое, которое оставит ему побольше досуга. Одно время он было колебался, не принять ли предложение известного парижского поверенного, бывшего нотариуса, которого так пленили деловые таланты Ландена, что он обещал ему долю во всех своих операциях. Но нет, Ланден решил не разлучаться с Оскаром Револю — прежний хозяин, даже мертвый, сохранял над ним свою власть.

Прежде всего привести в порядок наследство Оскара, если понадобится — защитить его память. Но главное (эта мысль пронизывала Ландена острой радостью) — должно свершиться возмез-

дие. Ланден считал своим непреложным долгом отомстить Регине Лорати, но пока еще ему оставалось неясным, как практически это осуществить: все не было времени обдумать вопрос как следует. Он твердо знал, что обязан свести с Лорати счеты, взыскать, так сказать, неуплаченные проценты, а в подробности дела пока не входил. Он ненавидел, жаждал утолить свою ненависть, и, как все его страсти, она приобрела облик долга: безотчетная маскировка вызвана была врожденным преклонением Ландена перед добродетелью. Все ужасные признаки, которые могли бы предостеречь его против того, что таилось в нем, видны были только другим, лишь они замечали его бегающий взгляд, его походку, его голос, самому же ему казалось, что он полон добродетельных чувств. И обманывался он искренне. Разумеется, он видел, что люди сторонятся его, но причиной этого считал свою неблагодарную внешность и свое доброе сердце, выдававшее себя на каждом шагу. И он с горечью думал, что мир страшно жесток к нежным душам.

Итак, у Ландена был долг — расправиться с Региной Лорати. Впрочем, он не торопился. Спешка тут была не нужна. Существовала в мире женщина, виновная в смерти Оскара Револю. Теперь

надо только не терять ее из виду и пойти по следу этой подлой самки.

Вокруг была тишина, глубокая, как бездонная пучина стоячих вод, затопивших спящий дом. Вдалеке от враждебных людей, от всего злобного мира Ланден проводил тут последнюю ночь в беседе с тенью своего обожаемого хозяина. Он хорошо знал, какие чувства питают к нему наследники, он знал: стоит ему теперь выйти из этого дома — и вряд ли его снова когда-нибудь пустят сюда. «Ах, Оскар! — вздыхал Ланден, — если несчастной твоей душе положено вернуться в дом свой с мрачных берегов — то именно в эту ночь!» Что, если дверь кабинета вдруг отворится и войдет обычной своей торопливой походкой Оскар Револю и, как всегда озабоченный, даже не взглянув на своего старшего клерка, бросит ему на ходу какое-нибудь приказание; постоит у окна, прижавшись лбом к стеклу, а потом сядет вот за этот стол, откинется на спинку кресла и будет о чем-то думать, позвякивая в кармане связкой ключей; потом, отперев ящик стола, поищет нужный ему документ и, не найдя его, устало оттолкнет груду бумаг и возьмет из коробки огромную толстую сигару — он всегда курил очень дорогие и крепкие сигары, от которых у

Ландена делалась мигрень… Да, если б все это случилось сейчас, старший клерк нисколько бы не удивился, не задал бы ни единого вопроса. Он молча ждал бы, устремив нежный взгляд верного пса не в глаза хозяина, а на его руки, которые не чувствуют, что за ними наблюдают, не прячутся и не избегают взоров преданного существа.

Ничего этого не могло случиться и, конечно, не случится, а меж тем Ланден, развязывая веревочку, стягивавшую последнюю неразобранную пачку бумаг, испытывал смутное волнение. В нем пробудилось столько подавленных дотоле чувств. В пачке оказались записные книжки, памятки, блокноты, а в них — совсем еще недавние, неразборчивые записи: назначенные деловые свидания, адреса или какая-нибудь цифра, алгебраическая формула. Иногда попадалось женское имя, ничего не говорившее Ландену, уменьшительное короткое имя, милое и нежное, не вызывавшее, однако, у него воспоминаний о каком-нибудь знакомом личике. Ланден читал и перечитывал эти имена с чувством брезгливости, ибо по своему кодексу приличий считал законными утехами хозяина лишь те похождения, о которых Оскар Револю доверительно сообщал ему.

* * *

И вдруг в одной из записных книжек, под адресом какой-то цветочницы, оказалась заметка, брошенное тут размышление — словно живой Оскар Революю, как обычно, высказал в присутствии Ландена пришедшую ему в голову мысль, заговорив совсем неожиданно и, в сущности, не обращаясь к Ландену. В заметке тайну высказывания оберегал неразборчивый почерк: даже Ландену, хотя ему была так знакома каждая черточка в этих каракулях, пришлось прибегнуть к лупе.

«Незнакомка, женщина этой ночи, доставила мне наслаждение, потому что я не любил ее. Меня не отвлекала мучительная тревога, которая томит меня близ Регины. Любовь к Регине лишает меня силы, я цепенею в ее присутствии. Близость той, которую люблю, опустошает меня. И я мог обладать ею только в воображении или когда сжимал в объятиях другую. Ни за что на свете я не посмел бы кому-нибудь в этом признаться. Лучше умереть! Но вот я только что доверил это...»

Ланден никак не мог разобрать следующего слова, хотя прекрасно знал почерк хозяина

(настолько, что, когда Оскару Револю не удавалось расшифровать свои иероглифы, он звал на помощь старшего клерка). Наконец Ланден разобрал три первые буквы — «*гад*» и последнюю букву — «*е*». Все слово, несомненно, «*гадине*». Да, да… «*…я только что доверил это гадине…*»

Ланден и бровью не повел. Он еще не знал, кого Оскар Револю именовал «гадиной». Пуля ранила его навылет, и рана закрылась. Кровь не потекла. И Ланден стал читать дальше, все так же старательно разгадывая слова, в особо трудных местах брался за лупу.

«…В этом вся его сила. Он всегда рядом. Словно корзина для бумаг, словно пепельница, словно половик или плевательница. То, что другие люди доверяют лишь самим себе, то, что они бормочут, когда в одиночестве разговаривают сами с собой на улице или рассказывают себе в конце обеда в ресторане под звяканье посуды в рыдание скрипок оркестра, — все эти постыдные признания, которые немыслимо доверить даже шепотом чужому уху, я выплевывал в душу гадины.

Как противна близость этого человека, вошедшего в мою жизнь в школьные годы и с тех пор не разлучавшегося со мной. Это помойная яма,

возле которой мне привелось работать, любить, наслаждаться, страдать, которую не я выбрал, которая сама меня выбрала… На склоне лет меня вдруг объял ужас, что моя жизнь протекала под таким знаком, что над нею господствовала и направляла ее эта тварь, избравшая меня своим кумиром, — ведь только я один знаю, что его истинное, неведомое ему самому призвание — совершать преступления…»

Ланден прижал руки к груди, как будто кровь вдруг брызнула из раны и полилась широкой струей. Он подошел к зеркалу, висевшему над камином, поглядел на себя. Лицо как лицо, такое же, как у всех людей, созданных по образу и подобию божию, а взгляд даже чище, чем у многих, — в глазах есть что-то детское, словно отблеск зари в дождевой луже. Он внимательно вглядывался в свое отражение. Лысая голова, лицо бородатое и все же ребяческое. Комическая внешность, только и всего. Что же в ней оказалось вдруг ужасного, почему в ней видели личину еще неведомой ему роли? В какой безыменной трагедии предстоит играть несчастному актеру?

Ночную тишину теперь нарушали глухие удары прибоя, с шуршанием катившего по песку тяжелые волны, — словно алые духи вдруг пе-

ренесли дом на берег океана. Ланден не сразу понял, что это кровь стучит у него в висках. Он провел ладонями по щекам, по бороде, по глазам, по своим красивым глазам, которые кто-то мог бы полюбить. И он все повторял тихонько простые слова, какими когда-то утешала его в детстве старшая сестра: «Бедный ты мой, бедный!» Ему стало жалко себя. Если бы он умер в эту минуту и предстал нагим и одиноким пред лицом всевышнего, то сам потребовал бы отчета у своего судьи и спросил бы его, зачем явился на свет Ланден. Но ведь он не умер. Удары тарана, которыми морской прибой наполнял его слух, не сломили слабую оболочку человеческого тела. Покорившись своей участи, он снова сел за письменный стол и устремил взгляд на листок бумаги, густо исписанный неразборчивыми словами — неразборчивыми для всякого другого, но только не для Ландена, — ему теперь не нужна была даже лупа.

«В городе говорят, что за меня все делает Ланден; люди убеждены, что он верно служит мне, да и сам он пребывает в этом убеждении; и только я один знаю, что не он мне служит, а я служу этой гадине. Я, конечно, нужен ему, так как являюсь для него „отвлекающей болью“. Его разрушитель-

ную силу я, по видимости, обратил в свою пользу. А на самом деле я всецело в его власти. Еще со времен лицея он знает всю мою подноготную. Вспоминаю, какими были наши отношения в двенадцать лет. Гадина, в конце концов, умел выпытать у меня куда больше, чем духовник на исповеди. И бесхитростные провинности, не оставлявшие во мне угрызений совести, превращались в сознательное грехопадение. Уже и тогда я ненавидел этого свидетеля моих проступков, раскрывавшего мне их истинное значение, всю тяжесть моей вины. Впрочем, что было толку ненавидеть? Его любовь перекрывала, поглощала мою ненависть. Она окружала меня огненным кольцом. И этот магический круг перемещался вместе со мною, расширялся по мере того, как я рос и становился сильнее. Осада крепла с каждой услугой, которую он мне оказывал, с каждой доверенной ему тайной. Сначала он делал за меня переводы с латинского и упражнения, задававшиеся в наказание за какую-нибудь проказу, усердно подсказывал мне на уроках. И так всю жизнь — на его плечи падало все, что не доставляло мне радости или наслаждения. Позднее он стал свидетелем моих страданий, я проливал при нем слезы, которые следовало бы скрывать от само-

го господа бога. Я не сдерживал при нем жалоб, которые исторгает у человека мучительная ревность. Зачем мне было таиться от него? Ведь он стал частью меня самого, воплощением моей собственной души. Я осыпал его оскорблениями, попирал ногами. Но все мои издевательства и глумления лишь яснее показывали, какая нерасторжимая цепь сковала нас. Может быть, я и создан-то был лишь для того, чтобы заполнить собою пустоту существования гадины, отвлечь гадину от истинного его призвания. Если он переживет меня, если решится пережить, что станет с ним, с этой черной силой, брошенной в мир? Регина все твердила: „Рыбак рыбака видит издалека. Недаром вы дружили. Какой труп зарыт между вами?“ Какой труп? Ну, разумеется, деловые тайны... Но он ни разу не воспользовался ими в ущерб мне. Ни один секрет, который я доверил ему, не обратился в оружие против меня.

И все же он погубит меня. Бешеный темп моей жизни, превращение моей конторы в настоящую фабрику — это его рук дело. Я требую от него доходности, требую денег. Он самоотверженно служит мне, но всячески потакает моим разрушительным страстям, хотя, как друг, должен был бы останавливать меня. Тут какая-то

тайна!.. Вероятно, у него нет иного способа удержаться в центре паутины, в которой я увяз. Он убьет меня. Если б не он, во мне уже заговорил бы инстинкт самосохранения; годы уже приглушили бы голос желания. Из-за гадины все в моей жизни перевернулось. Он усердно поддерживает во мне и разжигает огонек молодости, за который меня так восхваляют. Но самому-то мне хорошо известно, что я обессилел, выдохся, вот-вот свалюсь с ног. А он всегда тут как тут, готов подхватить, поддержать, все уладить, устроить, в последнюю минуту найдет нужную сумму денег, сражается на всех фронтах. Зато меня он вынуждает бездельничать, наслаждаться досугом, а это меня убивает. Путь, на который меня заводят порывы страстей, он старательно освобождает от всех препятствий — меж тем они заставили бы меня остановиться, хоть ненадолго, хоть перевести дыхание. Я знаю многих людей, которых спасла работа, профессиональный долг, спасла семья. Но ведь в нотариальной конторе Оскара Револю я уже никто, а гадина — все. Семья? Он меня разлучил с моими близкими. Каким образом? Не могу это выразить, но глубоко это чувствую... Быть может, он отдалил их тем, что окружил меня темными загадками

и тайнами, куда им не было доступа. Он сделал этот мрак безысходным для тех, кто любит меня. В то же время он вел подкоп, подрывая почву под нашим семейным очагом. Но даже подземная работа такого зловредного крота не могла помешать мне порою отдыхать душой возле моих детей».

Ланден отодвинул стул и встал. Он мотал головой и беззвучно кричал тому, кого уже не было в живых: «Нет! Нет!» Он спрашивал: «Да неужели это правда? Неужели тут есть хоть крупица правды?» Он закрывал глаза ладонью и шептал: «Успокойся! Успокойся! Поразмысли! Ну вот, например, в лицее...» В висках уже не стучала пульсирующая кровь, нет — он слышал протяжный гуд, как будто ночной ветер проносился в ельнике. Он никак не мог собраться с мыслями. На столе лежала записная книжка, она притягивала его, звала, требовала. Но Ланден не сел на прежнее место, а только наклонился и дальше читал, стоя.

«А что будет после моей смерти? Оставит ли гадина в покое моих детей? Или по-прежнему станет бродить вокруг тех мест, где меня уже не будет, но где останутся они? Исчезнет ли его власть вместе со мной? Увлеку ли я его за собой

в небытие?»

Ланден застыл, положив ладони на раскрытую записную книжку. Долго стоял он, не шелохнувшись. Напротив него, за черными стеклами окон, которые никто и не подумал закрыть ставнями, сверкал Орион. Наконец Ланден зашевелился, схватил записную книжку, бросил ее в камин, где тлели угли, и, присев на корточки, стал смотреть, как дрожащие языки пламени лижут исписанные страницы, как они с трудом вгрызаются в книжку, гаснут и снова вспыхивают. Раза два он выхватывал щипцами обгоревшую книжку и размахивал ею в воздухе, чтоб огонь разгорелся посильнее… Он долго ждал, пока все сгорит, он хотел убедиться, что все сожжено, уничтожено и от страшных записей осталась лишь кучка пушистого пепла.

* * *

Розетта вдруг проснулась. Ей показалось, что скрипнула дверь и кто-то, осторожно ступая по каменным плитам, прошел через переднюю. Старый помещичий дом, где все замки пришли в негодность, стоял в пригородной дачной местности, за которой начинались поля и деревни; зимой в этом доме никогда не жили, и, по мне-

нию мадам Революю, он обязательно должен был стать ареной преступления. Роза сидела на постели и настороженно прислушивалась, но до нее доносился только шум ветра, гудевшего в ельнике. «Должно быть, мне приснилось», — подумала она. Только четыре часа утра. Еще можно поспать два часика, пока не затрещит будильник, а как затрещит — надо мигом одеться и бежать на остановку трамвая. Так начнется ее новая жизнь, жизнь трудящейся девушки. Мадемуазель Революю надо работать, чтобы поддерживать своих близких. Она будет смело смотреть людям в глаза и никому не станет кланяться первая. И непременно когда-нибудь случится так, что Робер отворит дверь книжного магазина и войдет туда. Или нет; пожалуй, встреча произойдет иначе. Робер будет бродить около магазина, поджидать, когда она выйдет и отправится домой… Волна радости прихлынула к сердцу. Нет, вовсе жизнь не кончена, а только еще начинается. Несчастье, которое унесло папу в могилу, кроме него, сразило лишь тех, кто никогда и не жил по-настоящему, а просто был живым трупом, — как, например, Жюльен. А она, Роза Революю, пойдет своей дорогой; все вперед, вперед, ни разу не оглянется и поведет за собой любимого братишку Дени. Мате-

ри и Жюльену она будет отдавать свой заработок, в отношении их у нее только одна обязанность: обеспечить их существование… А с Дени — другое дело, для него надо сохранить местечко в сердце, рядом с Робером… Вся душа ее была полна предвкушения будущего счастья, от волнения пропал в сон. Заснула она лишь за несколько минут до того, как будильник загремел, словно труба архангела, возвещающая Страшный суд.

Роза вскочила и, дрожа от холода, торопливо оделась при свече. В кухне она выпила чашку кофе, сохранившегося еще горячим на углях в очаге. Поднимаясь по лестнице в свою спальню, она заметила в коридоре светлый лучик, протянувшийся из-под двери отцовского кабинета. Неужели Ланден провел всю ночь за разборкой документов? Она постучалась, вошла и в изумлении остановилась у порога: в комнате никого не было, но все — и опрокинутый стул, и диванные подушки, сброшенные на ковер, и пепел от сожженных бумаг казались ей зловещими следами какого-то загадочного происшествия. И тут она вспомнила, что ее разбудили ночью чьи-то шаги. Может быть, Ландена убили? Она не смела пошевелиться, боялась даже посмотреть внимательнее в темные углы… Надо было бы заглянуть

под диван, за портьеры… Уж не спрятано ли там мертвое тело… А может быть, просто-напросто Ланден, уходя спать, забыл потушить свет…

Сама она не решилась погасить лампу, но, пройдя через двор и увидев свет в кухне Кавельге, постучалась к ним в окно. Мария приоткрыла створку окна, и слова ее сразу успокоили Розу: оказалось, что Ланден среди ночи попросил отпереть ему ворота — ему взбрело в голову пешком вернуться в Бордо. «Чтобы времени не терять, говорит. Не сидится ему на месте. Торопыга какой! Кто его, спрашивается, в шею гонит?»

«От кого и от чего он бежал? — думала Роза, поеживаясь от холода на перекрестке шоссе и проселочной дороги. — С кем он сражался? Несчастный Ланден! Ведь это ужасно — быть таким, как Ланден!» И она внимательно всматривалась в пелену тумана, где вырастали огни первого трамвая.

Она ехала в переполненном вагоне и, уже чувствуя себя усталой, все вспоминала о тех сказочных днях, когда солнце будило ее в уютной спальне и горничная приносила ей на подносе чашку дымящегося кофе. Запах поджаренных гренок смешивался со смолистым запахом мелких полешек, горевших в камине. А теперь ее участь

такая же, как у большинства людей, как у всех, кто тянет лямку. Теперь уж нельзя будет, внезапно проснувшись от заводских гудков, закутаться потеплее в одеяло и, опять засыпая, прошептать с жалостью: «Бедненькие рабочие, ведь совсем еще темно!» Нет, теперь этот властный призыв будет относиться и к ней самой. Теперь она уж не может стоять в стороне от жизни. Но эта мысль не только не удручала Розу Революю, но, напротив, выводила из сонного оцепенения и влекла ее все вперед по новому пути.

Глава седьмая

— Мы здесь самые давнишние жильцы, — говорила мадемуазель Фелиция Ланден тощей консьержке, возникшей перед ней из подвала с младенцем на руках, которого она поддерживала торчащим животом. — На вас я смотрю не как на консьержку, а скорее как на знакомую. Я хочу вам кое-что рассказать и нисколько на вас не обижусь, если вы это кому-нибудь передадите… Напротив, я даже буду рада, если вы всем перескажете мои слова. Жильцы с третьего этажа говорят про моего брата, будто он уезжает из-за банкротства своего покойного хозяина: он, дескать, боится попасть под суд. Да, именно так болтают в нашем доме, но я вас за это не корю, мадам Жозеф. Разве вы можете отвечать за всякие гнусные сплетни, какие ходят в доме? Но ведь каждый может проверить мои слова, а я утверждаю, что все, до единой, нотариальные конторы в нашем городе пытались залучить к себе моего брата, — такая у него хорошая и прочная репутация. Да вот, на днях старший клерк из конторы Боста уж так мне его хвалил, так хвалил! Оскар Револю мог, говорит, столько лет кутить да

развлекаться без вреда для своей конторы только потому, что у вашего брата, говорит, настоящий финансовый гений. Да, уж можете поверить: в судейских и биржевых кругах никто не позволит себе усомниться в его честности.

Вот сами посудите!.. Он должен был поступить к Мальбурге, совсем уж договорились. Брат только попросил, чтоб там немного подождали, пока он поможет в ликвидации дел покойного Революо. И как же он, бедный, надрывался на этой самой ликвидации, ночи напролет работал, а господа Революо ему хоть бы спасибо сказали. Да чего от них и ждать! Они и мне-то сроду «здравствуйте» не говорили. А мой брат, на свою беду, преданный человек, ну до того преданный — просто как верный пес. И вы не думайте, я это говорю не в похвалу ему. Я, конечно, его люблю — как мне брата не любить? — но никогда ему не прощу, что он кровную свою родню презрел и в жертву принес, да еще кому? Таким людям, которые нос задирают, кичатся, а сами во сто раз нас ниже, потому что у них ни чести, ни совести, ни веры, — одна безнравственность, вот и все! Мы теперь в этом убедились, насмотрелись на их скандальное поведение!

И ведь они чем-то обидели его в тот вечер, когда

он в последний раз был в Леоньяне — заканчивал там разбор бумаг. Если б вы только знали, в каком он виде вернулся домой на рассвете. Оттуда вышел ночью, еще до первых трамваев, и всю дорогу шел пешком. Боже ты мой! Что он пешком шел, так это, разумеется, неудивительно, — вы же знаете, он обожает ходить пешком. У каждого свои чудачества, ну вот мой брат, можно сказать, просто без ума от пеших прогулок: ходит, ходит до одури, пока с ног не валится. И днем бродит, и ночью, да, можно сказать, ночью-то он больше всего и бродит, и все по безлюдным улицам, до самой гавани добирается. Я просто диву даюсь, как это его ни разу не ограбили. Верно, потому, что с виду-то он совсем бедный да простоватый. Один раз, думается мне, его избили, но он ничего мне не посмел рассказать. Всю жизнь я только и делаю, что отчищаю ему брюки от грязи да пришиваю оторванные штрипки. Нет, вы даже не представляете себе, сколько он может километров отмахать; и все не устает. А потом вдруг ноги его больше не носят, и он как возвратится ночью домой (все больше в ночь с субботы на воскресенье), так и рухнет на постель одетый и проспит беспробудно часов двенадцать.

Вот я, значит, нисколько и не удивилась, что

он вернулся в таком, можно сказать, ужасном виде: на дворе холод, а он весь в поту и в грязи до пояса, а на самом лица нет от усталости. И чудной какой-то. Это бы еще ничего, но, гляжу: он не ложится спать — не так, как обычно. При таких обстоятельствах ему, конечно, ни малейших замечаний лучше не делай… Вообще-то он кроткий, как ягненок, но, когда возвратится со своих прогулок — не скрою, дорогая, иной раз бывает хуже лютого зверя. Да ведь вы и сами за пятнадцать-то лет могли убедиться. Не часто это с ним случается, но я уж всегда начеку. Вот и тут, — ему бы в постель лечь, а он вместо того говорит: «Фелиция, подогрей кофе!» Я сейчас же кофе на огонь, а он мне говорит: «Фелиция, почисти меня щеткой». — «А ты разве, Луи, не ляжешь?» — говорю. — «Нет, — отвечает, — у меня нынче дел много».

Сам такой угрюмый, но не сердитый, и все сморкается. Попил, поел (хорошо, что у меня и хлеб и масло были), потом написал телеграмму и велит мне отнести ее в почтовое отделение, что на площади Сен-Проже, с оплаченным ответом телеграмма. Я говорю: «Вот приберусь и схожу». — «Нет, — говорит, — Фелиция, сейчас сходи и можешь прочесть, что там написано, я

тебе разрешаю».

И до того кротко говорит, что я даже испугалась. Прямо вся дрожу от страха и никак прочесть не могу, что в телеграмме написано. Наконец разобрала, что посылает он телеграмму Эдгару Салему, в Париж, на улицу Сен-Лазар. И написано так: «Предложение принимаю. Телеграфируете окончательное согласие. Выеду немедленно». А надо вам сказать, этот самый Салем — крупный биржевой маклер и у него большая контора; он предлагал моему брату прекрасное место. Но вы же знаете, мой брат перемен не любит. Взять хоть нашу квартиру! Уж хуже этого дома, не в обиду вам будь сказано, во всем городе не сыщешь, даже вода в кухне не проведена, а ведь он не хочет отсюда съезжать.

«Луи, — говорю, — что это значит?» А он мне: «Потом, потом расспросишь, сначала ступай отправь телеграмму», — и смотрит на меня не то чтобы зло, но, знаете, какой у него бывает иногда взгляд… Я, конечно, спорить не стала и живо собралась на почту. Должна вам сказать, я чуть с ума не сошла от радости; вот, мол, увижу наконец Париж. «Луи, — говорю, — я волнуюсь, ну прямо ужас как волнуюсь. Но только это я от счастья». А он вдруг говорит: «Напрасно ты волнуешься,

Фелиция. Для тебя перемен особых нет: ты ведь здесь останешься». — «Одна останусь, Луи?» Можете себе представить, как я изменилась в лице. И тогда я ему сказала: «Это, — говорю, — никак невозможно, мы, — говорю, — с тобой никогда не разлучались. И, наверно, это опять штучки господ Революю». — «Нет, Фелиция, не они вынуждают меня уехать, а он…» — «Кто это „он“?» — «Оскар…»

Между нами говоря, дорогая мадам Жозеф, мы ведь с вами знаем, что у моего брата, хоть он и замечательный человек, есть кое-какие странности. Что ж удивительного? Я ведь вам рассказывала: мать-то у нас страдала неврастенией. Отца она просто видеть не могла. Как-то раз бедненький папа даже сказал мне: «Не понимаю, право, как это у нас дети родились. Откуда ты взялась, откуда Луи?» Так на чем я остановилась-то? Ах, да… Можете себе представить, что со мной сделалось, когда я услышала от Луи такие слова? «Ты что, — говорю, — Луи! Что ты! Твой Оскар умер, ты же это хорошо знаешь». А он вдруг говорит? «Никому неведома, говорит, власть мертвых. Если умерший захочет о чем-нибудь предупредить живого, у него найдутся для этого тысячи способов, тысячи уловок. Мертвецы ужасно хитрые». Говорит, а сам смеется,

да таким нехорошим смехом. Вы ведь знаете, какой у него иногда неприятный смех, мне прямо жутко становится, поневоле крикнешь ему: «Луи, не смейся так, а не то заболеешь». Ну вот, засмеялся он, а я ему говорю: «Ты с ума сошел, братец бедненький мой». Он смеяться перестал и нахмурился. Потом посмотрел на меня детскими своими ясными глазами, и мне так жаль его стало, до чего ж он осунулся от усталости да от горя. «Что ж, — говорит, — раз я сумасшедший, так и буду жить по-сумасшедшему. А то ведь это неразумно, Фелиция, чтоб сумасшедшие жили, как люди разумные».

Тут младенец консьержки запищал, и, подкидывая его, мать спросила у мадемуазель Ланден, не думает ли она, что ее брат иной раз выпивает.

— Да что вы! Сроду не пил. Но, представьте, сколько раз случалось, что он ни капли не выпил, а посмотреть на него — ну пьяный и только! Есть в нем какая-то порча, и он от нее словно хмельной ходит. Я думаю, это все нервы. Да, а насчет дурных слухов, так вы ничему такому не верьте. Он, знаете ли, сохранил связь с теми людьми, которые ведут ликвидацию конторы покойного Оскара Револю, и сам этим тоже занимается — издали, так сказать. Мне он оставил всю обстановку,

ценные бумаги, да еще будет посылать по триста франков в месяц. Хватит мне на прожитие, даже больше чем надо. А только я буду скучать без него. Мы, конечно, мало виделись; днем он в конторе, а по ночам бегает как шальной. Но ведь домой-то он все-таки возвращался, и у меня всегда была работа: ухаживать за братом. И выпадали светлые деньки, — глядишь, вдруг он какой-то станет спокойный, тихий, довольный и, можно сказать, почти счастливый… Ну что ж, я иногда буду ездить к нему в гости, он мне обещал… Но какое же мне теперь занятие себе найти? Прежде-то целыми днями его ждала, а теперь что?

— Послушайте, мадемуазель Фелиция, а вы могли бы найти себе кого-нибудь, — ведь у вас и рента, и ценные бумаги, и квартирка с полной обстановкой…

— Какое ужас! Да за кого вы меня принимаете, мадам Жозеф?

— Ну какие же тут ужасы? — обиженно возразила консьержка. — Неужели в сорок пять лет и жизни конец?

Фелиция Ланден оглядела тощую, изможденную консьержку с большим выпирающим животом и буркнула:

— Подумать и то страшно!..

— Напрасно брезгуете, раз не знаете, мадемуазель Фелиция.

Глава восьмая

Существование семейства Револю вошло в русло и как-то наладилось. На рассвете Роза, которую сопровождал теперь Дени, уже поджидала первый трамвай. Зима стояла мягкая. Почти всегда огненный глаз циклопа возникал из густого тумана. В вагоне Дени спал, уронив голову на плечо сестры, да и она дремала до самых бульваров. Оттуда оба шли пешком — Дени в лицей, а Роза в книжную лавку Шардона, находившуюся в пассаже на улице Сент-Катрин; лавка эта была хорошо знакома и брату и сестре: в те времена, когда у них не переводились карманные деньги, они по четвергам проводили там целые часы, разыскивая на полках интересные книжки.

В эти длинные и хмурые дни для брата было большой поддержкой думать, что сестра где-то здесь, недалеко, и в мыслях представлять себе, как она стоит за прилавком, забирается на лесенку, чтобы достать покупателю книгу. В половине седьмого они встречались на трамвайной остановке. Дени прежде всего осведомлялся: «Ну, спрашивали у тебя совета о книгах?»

Этот вопрос уже вошел в традицию с первых

дней вступления Розы на поприще продавщицы книжного магазина, когда она тешила себя надеждами, что будет руководить чтением своих сограждан и приобщать их к великим творениям. Но первый покупатель, обратившейся к ее компетентному мнению, попросил порекомендовать ему какую-нибудь «забавную книжицу».

— Как вы говорите? «Белокурая негритянка»? А вы уверены, что это пикантно? Может, лучше взять вон ту: «У меня будут пышные похороны»? Что это — смешно, а?

— Некоторым смешно, а другим — нет, — ответила Роза, — это зависит от характера.

— А вот эта книжка? Есть в ней это самое? Ну, клубничка… понимаете? Я, конечно, сальностей в книгах не люблю: когда воображение разгорится, так и без чужой подсказки обходишься, правда, а?

— И он осмелился тебе это сказать? — яростно возмущался Дени. — А сколько книжек стихов ты продала с тех пор, как поступала в лавку?

— «Сады инфанты» — один экземпляр, да еще несколько томиков, которые мы выписали из «Меркурия» для твоего дружка Пьера.

— А почему ты мне не сказала, что видела Пьера?

* * *

Днем, когда Жюльен был избавлен от присутствия брата и сестры, дом оставался в полном его распоряжении, и он теперь удостаивал выйти из своей спальни, пока мать проветривала ее и перестилала постель. Если не было дождя, он даже решался пройтись по саду, удостоверившись сначала, что поблизости нет никого из Кавельге. Ему не хотелось видеть ни одной живой души. К пяти часам он снова укладывался в постель. Мать приносила ему обед, а затем он углублялся в чтение какого-нибудь уголовно-приключенческого романа.

С младшими своими детьми мадам Револю встречалась только за ужином. Словно спустившись на землю с другой планеты, она с таким торжественным видом извещала о том, что делается в комнате Жюльена, как будто мелкие происшествия, ареной которых являлась эта комната, не уступали по своему значению важным событиям, происходящим в мире. Если случалось, что Жюльен нарушал свое упорное молчание, она пересказывала его слова, сообщала, есть ли у него аппетит и хорошо ли работал желудок.

Однажды в доме поднялось великое волнение:

Жюльен пожелал прочесть газету. К несчастью, ему попалась на глаза хроникерская заметка о великосветской свадьбе; все упомянутые имена гостей оказались ему знакомы. От такого огорчения ему стало хуже. Мать горько упрекала себя за свою небрежность: зачем она не просмотрела газету, прежде чем дать ему. Теперь вот начинай все сначала.

Больше всего ее огорчало, что Жюльен, прежде такой холеный, вылощенный, перестал мыться. «А вы помните, ведь он по два раза в день принимал ванну, ногти всегда были безукоризненно отделаны… А теперь!.. Мне еще более или менее удается держать в чистоте его лицо, руки, ноги, но все остальное!.. Боже мой!»

Дени старался не слушать, выказывая вместе с тем видимость внимания и интереса к рассказу. Он наблюдал за сестрой, смотревшей вокруг отсутствующим взглядом. «Смертельно устаю», — говорила она. И в самом деле она побледнела, под глазами легли темные тени. Хорошо еще, что старик Шардон из уважения к своей бывшей покупательнице позволял ей присесть, когда в лавке никого не было. Но Роза совсем не вызывала чувства презрительной жалости. В сердце у нее горел и вырывался во внешний мир огонь

счастья; Дени чувствовал его теплые лучи. Роза смеялась каждой шуточке брата, как будто ей нужно было излить переполнявшее ее ликование и радость жизни. Никогда еще она не была такой ласковой с братом, но ни о чем не расспрашивала его. Он даже пожаловался:

— Тебе теперь совсем не интересно, как я живу.

— Ты что, хочешь, чтоб я осведомлялась, как идут твои занятия? Но ведь нам никогда не приходилось беспокоиться об этом. Да и ты уж, слава богу, не маленький — семнадцать лет…

— И вовсе не о моих занятиях речь, Розетта, а обо мне самом, о твоем брате, хоть мне и семнадцать лет.

— Ты прекрасно знаешь, что я всегда готова выслушать все, что ты пожелаешь сказать мне. Да я и выслушиваю. Я только и делаю, что выслушиваю тебя. Но ведь ты мне ничего не рассказываешь.

— А взрослой сестре ничего и не расскажешь.

— Ну так на что же ты, дурачок, жалуешься?

— Я же тебе сказал — на то, что ты меня забросила и тебе со мной скучно…

— Вот еще выдумал!

— Ты считаешь меня глупее Пьера Костадо.

— Ну что ты! Просто у тебя нет такого таланта, как у чего… Знаешь, я вчера видела Пьера, он к нам приедет в следующий четверг, хочет почитать тебе новый отрывок из «Кибелы».

— Ты видела его? О чем вы говорили?

Сестра ответила, что говорили о стихах Пьера, — забежал он только на минутку. «Погоди, — думал Дени, — как-нибудь в четверг я поеду тайком от тебя в город и сам все проверю…» В течение дня был некоторый промежуток времени, весьма беспокоивший его, — обеденный перерыв. Где и как проводила Роза эти два часа? Ясно, после закрытия магазина она бегала на трамвайную остановку. Дени очень хотелось произвести расследование — останавливало его не чувство деликатности, а страх перед тем, что могло ему тут открыться, к тому же он не желал встречаться с Пьером Костадо.

* * *

И вот в четверг Пьеро Костадо прикатил на велосипеде, хотя день был холодный, лил дождь, и Дени уже стал надеяться, что он не приедет.

Дени повел его в маленькую гостиную, из окон которой видны были поля, затопленные растаявшим снегом и дождевой водой. Он тотчас же

завел разговор о «Кибеле», хотя чувствовал, что Пьеру хочется что-то ему сказать, — видимо, он с трудом сдерживал желание поделиться важной, волнующей его новостью. Но Дени знать ничего не желал и нарочно сводил все разговоры к поэме Пьера, которая и в самом деле нравились ему.

— «Кибела» не очень-то подвигается, — сообщил Пьер. — У меня теперь не тем голова занята. А тебе вправду хочется послушать «Кибелу»? (Его, конечно, это очень трогало и даже умиляло.) Я сейчас работаю над тем куском, где Атис изменяет Кибеле, она застает его с нимфой Сангаридой. Целую неделю бьюсь над двумя десятками строк.

— Знаешь их наизусть?

— Прочесть тебе? Ты действительно хочешь послушать?

И Пьер сунул в пепельницу сигарету, которую закурил.

— Это, разумеется, опять монолог: Кибела говорит сама с собой.

И он начал декламировать, произнося слова нараспев и немного гнусаво, — манера, которая на этот раз совсем не восхищала Дени.

Врывался сосен шум и протяжный гул прибоя.

Раскатывался гром. Слепящею стрелою

Прекрасный Атис был внезапно озарен, —

Лежал в объятьях Сангариды он.

Своею белизной она меня пленила —

И ненависть свою на миг я позабыла.

Над их сплетенными телами сотни рук

Ломала я, скорбя, напрасно призывая

Отмщение богов. Но грома грозный звук

Бессилен разомкнуть любви заклятый круг,

Ничто не вырвет их из сладостного рая.

О молния, бессильна даже ты!

И вот в немой тоске покровом темноты

И мирной тишиной их счастье окружаю,

Лишь слезы капают, с ветвей на них спадая.

Дени слушал, прикрыв глаза ладонями, а когда Пьер кончил, отвел руки и, помолчав, сказал:

— Одиночество перед лицом чужой любви. Вот, в сущности, в чем трагедия твоей Кибелы: перед ней раскрылась бездна наслаждений, в которых ей нет доли. В любви ей ведомо лишь одинокое безответное чувство, пламя сжигает ее, но никому не светит, никого не согревает…

— Ну, нас с тобой такие дела не касаются. Ты что, с ума сошел? Мы же еще не любили… Еще не любили «по-заправдашнему», как ты говорил когда-то.

Ничего не ответив другу, Дени задумчиво смотрел на огонь, горевший в камине. Пьер продолжал:

— Пока что будем радоваться любви других людей… Я нарочно ждал, когда все будет наверняка известно… Даже не хотел, чтоб тебе говорили, пока не будет подписано…

Дени поднял голову и с ненавистью посмотрел на друга. Как ему противно было лицо Пьера, раскрасневшееся от быстрой езды на велосипеде и от жаркого огня. Противен был и золотистый пушок на его пылающих щеках.

— Все так неожиданно получилось. Мы с Робером плохо судили о матери. А ведь она, знаешь,

так была потрясена вашим несчастьем… И вот она приняла решение, которого мы никак уж от нее не ожидали. Я долго не верил, пока все это не произошло на самом деле: меня, дружище, освободили от опеки, хотят произвести раздел имущества — не только отцовского наследства, но даже всего, что лично матери принадлежит…

Дени нетерпеливо прервал его:

— А мне-то какое до этого дело?

— Дени, милый, да разве ты не понимаешь? Робер будет теперь независимым человеком. Может жить самостоятельно, даже если он женится, и закончить свое образование. Ну, что теперь скажешь?

Дени поднялся. Он стоял, молча глядя на огонь, и все не поворачивался лицом к Пьеру. Наконец сказал спокойно:

— Ты забыл, что у моей сестры теперь другие заботы. Что было, то прошло и быльем поросло — это ее больше не интересует… Что ты смеешься, как дурачок?..

— Ну что ты болтаешь? Ничего быльем не поросло!.. Роза тебе нарочно не говорила, ведь она, как и мы с Робером, не очень-то верила, что наша мамаша доведет до конца свое решение. Словом, не хотела внушать тебе ложных надежд…

Дени сказал равнодушным тоном:

— Ага, понимаю? Они, значит, встречались иногда?

— Иногда? Да будет тебе известно, дорогой мой, что они каждый день завтракают вместе в одной молочной около Медицинского института… И я тоже завтракаю с ними по четвергам… Меня так я подмывало рассказать тебе, а Розетта не позволяла. Ну что, брат? Что скажешь? — Он положил руки на плечи Дени. — Признайся все-таки, что я начал понемножку исправлять…

Дени покачал головой.

— Не понимаю, ты-то какую роль играл в этой истории?

— Огромную роль, голубчик, огромную! Скажу тебе по секрету, что насчет раздела состояния мать оказалась молодцом, но она без конца твердит, что наши дома все меньше приносят дохода, ремонт в квартирах жильцов обходится несусветно дорого, налоги растут, — словом, доходов мало, и Роберу не на что будет содержать целую семью… Ну, ты ведь знаешь маму!..

— Можешь ее успокоить. Мы ни гроша не попросим у ее сыночка.

Дени наконец повернулся, и Пьера поразила его бледность.

— Какая я скотина! Прости меня, Дени. Опять мы увязли в болоте каких-то гнусных денежных расчетов. А ведь все это не имеет никакого значения… Придется подождать всего несколько лет, пока Робер начнет зарабатывать себе на жизнь… Впрочем, все свои деньги я отдам Роберу. И вообще, тут важно только одно, — чтобы не было разбито счастье Розы. А все остальное — пустяки…

— Так ты, значит, решил, что Роза будет счастлива с твоим братом? Ты в этом уверен?

Пьер обиделся и возмущенно заявил:

— А уж это не мне, да и не тебе решать. Это их дело, им и судить. И мне кажется… Послушай, Дени, я ведь обедаю с ними каждый четверг, я наблюдаю… Робер всегда задерживается в клинике и приходит последним. Если бы ты видел, какое делается лицо у Розы, когда он входит. Право, старик, тут хочется сказать, как у меня в «Кибеле» написано: «И мирной тишиной их счастье окружаю». Моя Кибела не отличает наслаждения от счастья, однако ж любовь расцветает во всей своей силе еще до того, как мужчина и женщина обменяются хотя бы малейшей лаской.

Дени спросил:

— Они целуются?

Пьер засмеялся несколько деланным смехом.

— Ну, знаешь, старик, ты уж очень любопытен.

— Тебе пора ехать, Пьеро, — сказал Дени, подойдя к окну. — Снег повалил по-настоящему… Сразу стемнеет. По нашей дороге тогда не проедешь, а путешествовать пешком ты не привык. Да и зачем тебе? Ты, я думаю, теперь и самокат свой оставишь. Заведешь себе автомобиль, верно?

— Не говори так, Дени, слышишь! Мне это неприятно, ты меня обижаешь.

Они спустились по черной лестнице на кухню, где Пьер оставил свой велосипед.

— А почему это тебя обижает? Ведь теперь ты откроешь свой счет в банке, будешь подписывать чеки. Чего же тут стыдиться? Подписывай чеки да стриги купоны — это отныне твой долг, твоя обязанность, дело государственной важности. А в конце концов ты будешь походить на свою мамашу. Впрочем, ты и сейчас на нее похож. У тебя и голос в точности как у нее. А если ты еще больше потолстеешь…

Они стояли в каморке, отделявшей лестницу от кухни. При слабом свете ночника Дени не мог различить выражение лица своего друга и увидеть, как подействовали на него эти насмешки. Но когда Пьер заговорил, Дени едва узнал его

голос — так он изменился.

— Дени, что я тебе сделал?

Никакого ответа. Слышно было только тяжелое дыхание Дени. Над их головами блестели начищенные кастрюли, на полках выстроились банки с маринадами. Пахло стиркой и пряностями. Дени задышал часто-часто, как будто запыхался от долгого бега, и вдруг заплакал, отвернувшись к стене и уткнув голову в согнутые руки.

— Дени, — повторил Пьер Костадо, — что я тебе сделал? — Он обнял его за плечи, Дени вырвался. Пьер настаивал: — Почему ты не говоришь? Объясни, что я тебе сделал?

— Я и сам не знаю. Я бы сказал тебе, если б знал… Не знаю, отчего мне так больно.

Вечером он сослался на мигрень и лег спать без ужина. Зашла на минутку Роза посидеть у его постели. Дени сказал, что ему ничего не надо, пусть только оставят его в покое. Сестра предложила побыть около него; она возьмет книгу и будет читать про себя, а разговаривать они не станут. Дени согласился. Роза исподтишка наблюдала за ним. Она знала, что днем к нему приезжал Пьер: «Верно, Дени сердится, что я ему не доверяла, все от него скрыла и, значит, обманула своего брата», — думала она. Дени понимал, почему Роза

пришла и сидит возле него; она как будто говорила: «Прости меня!» Оба молчали, предпочитая обойтись без всяких объяснений.

Глава девятая

Свидания назначались в шесть часов вечера в сквере у статуи «Юноша и Химера». Робер всегда являлся первым; он знал, что как раз в это время Роза выходит из книжной лавки Шардона и через десять минут ее фигурка появится в конце аллеи на фоне радужного веера водяных брызг, разлетающихся в воздухе при поливке сада. Пахло свежестью, влажной пылью, мокрой травой и краской, которой окрашены были садовые стулья. Он ждал ее, и ему так хотелось убедиться, что она все та же девушка, образ которой он носил в своем сердце, та Роза Револю, с которой он танцевал на балах прошлую зиму, да еще и в этом году; у нее все то же сияющее личико, рассеянный взгляд и такие изящные туалеты, оттеняющие ее очарование… В прежние дни почти всегда какая-нибудь черточка свидетельствовала об ее ангельском равнодушии к житейским мелочам: чуть-чуть видневшееся плечико рубашки, расстегнувшийся крючок, прядка волос, нарушавшая строгую гармонию прически, сооруженной знаменитым парикмахером Тарди. «Все у нее в беспорядке», — говорила тогда Леони

Костадо. Но в те времена Робера умиляла легкая небрежность этого хрупкого создания, жившего в роскоши, — ведь никогда она не доходила до неприятной неряшливости.

Робер ждал в сквере, а Роза в эти минуты поспешно мыла руки в комнате за лавкой, прощалась с Шардоном и, выйдя на Интендантский бульвар, с наслаждением вдыхала свежий воздух. Заходящее солнце заливало ее всю ярким светом, беспощадно подчеркивая убожество ее запыленного платья, землистый цвет лица и тусклый оттенок волос — ее появление на дорожке сквера неизменно вызывало у Робера разочарование и глухое раздражение — так не похожа была она теперь на прежнюю обожаемую им девушку. Только глаза были хороши, и даже никогда еще они не были так прекрасны, ее глаза, смотревшие глубоким и отрешенным взглядом на этот мир, где все, кроме любви, было сплошным мученьем.

Роза и не замечала, что ее дешевенькое траурное платье плохо вычищено, а каблучки туфель стоптаны. Она не шла — она летела на крыльях, проносилась через Питомники, никого не замечая, никого не узнавая, и в конце улицы Гург перед ней вырастала высокая, черная с золотом решетка сквера.

И вот она появлялась на аллее; Робер видел, как спешит к нему та девушка, чье лицо он уже успел позабыть с прошлого вечера. Он брал ее за руки, наклонялся к ней, вдыхая немножко терпкий запах, исходивший от нее; потом она отстранялась от него и впивала его глазами. Да, именно впивала, жадными большими глотками, словно утоляя жажду, истомившую ее за долгий знойный день. А все же ее глаза, смотревшие так пристально, были незрячими и не умели разглядеть разочарования Робера, не видели, что его любовь вдруг превратилась в жалость — жалость к девушке, которая так быстро подурнела, занявшись какой-то убогой работой, и жалость к самому себе, ибо жизнь его потечет отныне в узком, тесном русле, под знаком нужды. Вместе с тем ему становилось стыдно за эти чувства и он находил в себе силы улыбаться Розе, пожимать ей руки и говорить такие ласковые слова, что их одних было бы достаточно, чтобы успокоить девушку, если б у нее возникли подозрения; но ни малейшая тень не омрачала ее светлой веры в любовь Робера — ведь она судила о нем по себе самой. Иногда она говорила:

— Ты сегодня какой-то усталый и печальный. Ты слишком много работаешь.

Ей и на ум не приходило, что он может разочароваться в ней. Ведь он попросил ее руки, несмотря на катастрофу, которая принесла семейству Революю разорение и почти бесчестье; он выдержал борьбу со своей грозной матерью. Разве могла Роза усомниться в его любви?

* * *

Она увлекала его на любимую их скамью, стоявшую на островке, позади раковины для оркестра. Если на скамье кто-нибудь сидел, они брали два стула. Роза говорила мало — она наслаждалась минутой отдыха и близостью любимого. В пруду утки и большие золотистые карпы раздергивали на части кусок хлеба, брошенный им каким-то мальчуганом. Роза отдыхала здесь душой. Она рассеянно отвечала на слова Робера, когда он говорил, что надо подыскать квартиру, купить мебель. Прекрасно. Все, что он сделает, наверняка будет прекрасно. Роза уже заранее любила те комнаты, где они будут жить вместе, и ту спальню, где он будет держать ее в объятиях. Ни о чем ином она и не помышляла. Она свивала себе в мечтах гнездышко, где ей будет так сладко отдохнуть на родной груди. Работать она больше не будет. Робер предлагал ей сейчас же уйти от Шардона,

но она не согласилась, заявив, что не хочет жить на его средства, пока еще не носит его имени.

Если б Робер стал очень настаивать, она, несомненно, послушалась бы, но он весьма быстро сдался на ее доводы и даже сам подумал, что он словно боится, как бы Роза не потеряла заработка. Не было ли у него какой-нибудь задней мысли? Уж не думал ли он, что еще не поздно отступить, отказаться от принятого решения? Девичья головка, доверчиво склонявшаяся на его плечо, казалась ему такой тяжелой. Пыльные, лишенные блеска волосы щекотали ему щеку. Нет, это было просто невообразимо, немыслимо!

— Ну, пойдем, — говорил он, — до последнего трамвая остается только час…

Они заходили в молочную, заказывали себе по два яйца и по чашке шоколада. Роза не замечала, что она ест. Ее нисколько не раздражали неприятные мелочи, приводившие Робера в ужас: плохо вымытая чашка, следы от засаленной тряпки, которой вытирали столик, мокрые круги, оставленные донышком стакана. Она отметала от своей любви ту жалкую обстановку, в которой вынуждены жить люди, когда у них нет денег. Как-то вечером Робер сказал ей:

— Право, кто тебя не знает, не поверит, что ты

жила в одном из лучших в городе особняков. За какие-нибудь два месяца ты совсем отвыкла от роскоши, от драгоценностей.

— От роскоши?

Она подняла к нему усталое лицо. Он заметил черные точки на крыльях ее носа и напряженные мышцы худенькой шеи.

— На свете есть лишь одно драгоценное…

Он понял, что она хотела сказать: «Наша любовь»… и тогда он положил свою большую ладонь на тоненькую руку с обломанными ноготками. «Пусть она не знает… Пусть никогда не догадывается». Всю жизнь он будет тешить ее иллюзии… Совсем нетрудно обманывать эту слепую девочку.

Он проводил ее до бульвара, где на остановке уже ждал трамвай, который шел в Леоньян.

— Послезавтра суббота, — сказала она. — Ты приедешь к нам в Леоньян, останешься ночевать. В нашем распоряжении будет весь вечер, даже целая ночь. Можно хоть до утра сидеть в саду. Так тепло, так тихо, ни малейшего ветерка.

Робер подумал, что к цепи, которая сковывает его, прибавится еще одно звено. В субботу он приедет в Леоньян в качестве жениха Розы, его выставят для всеобщего обозрения.

Роза уже стояла на площадке трамвая. Свет от фонаря падал на объявление налогового управления. Робер помахал рукой, а Роза до первого поворота глядела на своего жениха. Потом она вошла в вагон и, сев на скамью, вся отдалась радостным мечтам.

Она и с закрытыми глазами чувствовала, что уже близки поля и деревни. В городскую духоту вливался запах смоковниц и хлева. И в то время как она все дальше уходила в мир деревенской тишины и прохлады, Робер брел вялой походкой к центру душного города мимо накалившихся за день каменных стен. Иногда из сада разливался по улице сильный запах цветущих лип. Окна в домах были распахнуты настежь, и в этих черных прямоугольниках бледными пятнами выступали человеческие лица.

Пройти в свою комнату, не простившись по заведенному порядку с матерью, было невозможно. Леони Костадо утверждала, что ей не уснуть, пока сыновья не возвратятся домой и она не поцелует своих мальчиков. Впрочем, в тот вечер Робер вернулся домой в начале десятого и был уверен, что мать сидит в потемках у открытого окна. Он боялся разговора с ней и все же хотел этого разговора, словно ждал от нее какой-то помощи.

А вдруг то, что кажется ему немыслимым, станет возможным. Ведь сколько раз при самых запутанных обстоятельствах он слышал, как мать говорила: «Мы найдем выход».

Действительно, она всегда находила выход, и Робер все еще смотрел на мать так же, как в детские годы: никакой непоправимой беды с ним не случится, пока мама возле него.

Однако ж она как будто смирилась с мыслью о его женитьбе на Розе и уже не выставляла никаких возражений. Робер заметил только, что она все оттягивает день свадьбы. Да ведь и Роза не торопила его — из-за конкурсных экзаменов, которые он должен был держать перед стажировкой… Поднимаясь по лестнице, он старался отогнать от себя подлые мыслишки. Нет, Роза будет его женой. И вновь вставал перед ним прежний ее образ — образ изящной девушки, с которой он танцевал на балах в прошлом году, и стиралось, уходило куда-то в темноту воспоминание о худенькой, усталой продавщице, дурно одетой, совсем не холеной и лишенной материнского надзора.

Глава десятая

Леони Костадо сидела не у раскрытого окна, как полагал ее сын, а за письменным столом, на котором горела низкая лампа. Все окна и двери были заперты из-за москитов. На ночном столике, как всегда, стоял букет лаванды, распространявший одурманивающий запах. Старуха мать, не глядя на сына, подставила ему лоб для поцелуя.

— Вот смету рассматриваю на ремонт по улице Гург, — сказала она.

Она всегда обозначала свои доходные дома по названиям улиц, на которых они находились; говорила, например:

«Скоро надо будет новую крышу поставить на бульваре Мартиник. А на набережной Палюдат сточный желоб придется сменить».

— Ну, бедные мои дети, не везет вам в этом году, как раз когда вы вступаете во владение имуществом. Пожалуй, еще попросите у меня денег на текущие расходы. Да… — задумчиво добавила она. — А где мне их взять, из каких капиталов?

Робер ничего не ответил. Но мать догадывалась, что ее слова находят отклик в этом малодушном существе. Она чувствовала, что он разочарован,

колеблется, но еще не определила, какой тактики ей следует держаться. Легче всего ограничиться оттяжками. Так-то оно так, но ведь с каждым днем он увязает все больше. И все же она решила не начинать прямого наступления, пока не будет назначен день свадьбы. Однако чуть ли не каждой своей фразой она почти бессознательно вела на сына атаку. Робер смотрел, как в кругу света, падавшего из-под абажура, темной глыбой вырисовывается грузная фигура матери, угол письменного стола и спинка резного кресла. И тогда в этом безвольном человеке заговорило сердце и повлекло его к некоему хрупкому существу, которое в эту минуту было уже в четырех километрах от города и, закрыв глаза, подставляло лицо первым дуновениям ветра, напоенного запахом вереска и сосновой смолы.

* * *

Трамвай остановился; Роза вышла, сказав кондуктору:

— До свидания, до завтра.

Он ответил:

— Нет, завтра утром я не работаю. Моему сменщику черед заступать.

В детстве он, вероятно, был худосочным, зо-

лотушным ребенком и до сих пор выглядел болезненным мальчиком, хотя на руке у него уже было толстое обручальное кольцо. Роза пожелала ему спокойной ночи и пошла вдоль ограды темного парка. Ей хотелось погладить рукой ветки, перекинувшиеся через низкую изгородь, оплетенную вьюнком. Лучше, чем люди, они знали о ее любви, вернее, были к ней ближе, были сопричастны к тайному миру ее радостей, окутывали его шорохом своей листвы. Они и знать не знали, что Роза Револю бедна, плохо одета, плохо причесана и даже не очень хорошо умыта, так как она встает еще до рассвета, одевается наспех при свече и никто ей не приносит кувшин горячей воды. Деревья протягивали над головой исхудалой продавщицы те же зеленые опахала, под которыми когда-то проходила юная свеженькая девушка в летних светлых платьицах, похожих на венчики цветов.

Как всегда, для нее было приготовлено в столовой «перекусить» и, как всегда, в дальнем углу комнаты стоял брат, поджидая Розу. Однако он не подошел поцеловать ее. Она сама подошла и погладила его по голове.

— Тебе пора постричься, — сказала она.

От взлохмаченных волос большая голова Де-

ни казалась еще больше. В упор глядя на сестру красивыми и круглыми, как у совы, глазами, он спросил:

— У Робера все благополучно?

— Вполне, — ответила она. — А знаешь, он в субботу приедет к нам и останется ночевать.

Дени осведомился, где поместят гостя.

— В зеленой комнате.

— Нельзя. Там крыша протекает.

— Ничего, погода прекрасная.

— А если гроза будет?.. Лучше уж в комнату с гвоздиками.

— Что ж, можно и сюда.

В воображении Розы Роберу всегда отводили в их старом доме зеленую комнату. Но она покорно переселила его образ в более тесные рамки комнаты, обитой кретоном с букетиками красных и розовых гвоздик. Дени предложил сестре прогуляться перед сном по саду. Ей и самой очень хотелось пройтись по той аллее, где молодые невысокие деревца не закрывали звездного неба, но она едва стояла на ногах от усталости и знала, что уже на половине вечерней молитвы ее сморит сон и сразу же она провалится в черную бездну.

Проходя мимо комнаты Жюльена, она услыша-

ла голос матери:

— Это ты, Роза? Не входи: Жюльен раздевается. Какие у тебя новости?

— Никаких. Только вот Робер в субботу приедет.

— Робер? Ужасно мило… Как раз в субботу вечером у нас будет сюрприз… Да, да, большой сюрприз, — по-ребячьи сюсюкала мадам Револю. — Вот увидишь.

Роза терпеть не могла, когда мать начинала говорить тоненьким голоском шаловливой девчушки. Раздеваясь, дочь думала: «Бедная мама! Как она сдала!»

Дени бродил один по тенистым аллеям в густой тьме, такой же непроглядной, как мрак, застывший в его душе.

В тишине звонко трещали цикады. Из всех планет в мире только на Земле раздавалось их стрекотанье. Дени думал: «Через десять, через двадцать лет я буду помнить этот вечер и мои теперешние муки». Он был один, и не только в садовых аллеях или на лужайке, — совсем один в беспредельном пространстве, где движутся бесчисленные миры. Послезавтра в этот час здесь будет Робер… И вдруг Дени услышал запах цветущих лип — вот так же в субботний вечер

будут вдыхать этот аромат жених и невеста. И он представил себе, как их любовный шепот нарушит вечерний покоя. Внезапно над его головой зашелестела листва, словно в предчувствии страстного волнения влюбленных, которых ей предстояло укрыть своим шатром. Дени подумал: «Может быть, в субботу будет гроза», — и тотчас почувствовал запах мокрой земли и ветвей, отяжелевших от долгого ливня. Почудилось даже, что на лоб ему упали первые крупные капли теплого летнего дождя, как упадут они послезавтра на волосы Розы и Робера. Лишь через чужие ощущения он воспринимал эту ночь, самого же его она как будто и не касалась.

Он повернул обратно, к дому, и шел, размышляя о том, что чувствовал бы в такую ночь Пьер Костадо. Вот он, наоборот, воспринимает людей только через природу и почти всегда погружен в ее созерцание, а люди, все люди, остаются для него чужими и далекими существами. Никогда Пьер не мог думать ни о себе, ни о других, ни даже о боге отдельно от жизни вселенной — настолько она поглощала его… Как это там у него в стихах написано?.. Странные такие стихи, которые он посвятил Розе, когда обожал ее. Дени запомнил только две первые строфы; он прочел их вполь-

голоса:

Ты спишь. Я ухожу
Беззвучно пред зарею.
Твой образ уношу —
Он будет век со мною.
Я в полдень золотой
Твоим согрет лишь жаром,
В безмолвный час ночной
Подвластен знойным чарам.

А любит ли еще Пьер Розу? Ревнует ли ее к брату? Все его страсти растворялись в восторженном созерцании вещественного мира… «А у меня вот не так, — думал Дени. — Что мне земля, травы, деревья? Все это слепое, глухое и ничего не чувствует!»

В прихожей на столе горела оставленная для него свеча. Он поднялся на второй этаж, и ему захотелось заглянуть в комнату с гвоздиками, где будет спать Робер. Ее называли также «Комнатой дяди Дениза», по имени двоюродного деда, жившего еще во времена Второй империи. У этой комнаты не было особого назначения, дети заглядывали в нее, лишь когда играли в прятки и в поисках укромных закоулков разбегались по

всему дому.

Дени поставил свечу на комод. Вся мебель в комнате сохранилась со времен Реставрации. Ему вспомнилось, что вазы, стоявшие на камине под стеклянными колпаками, расписаны были с двух сторон, и притом по-разному: спереди на картинке обнимались влюбленный пастушок и пастушка, а на другой стороне два ангела преклоняли колени перед чашей со святыми дарами; таким образом, эти вазы могли украшать и гостиную и церковный алтарь. Дени вспомнил также, как однажды в детстве, расшалившись, он стал раскачивать надтреснутый край подоконника. Откинув ставни, он распахнул окно в прохладную благоухающую бездну летней ночи и, потрогав рукой подоконник, убедился, что край его действительно качается. Он принялся дергать ненадежную планку изо всех сил, тщетно пытаясь ее оторвать. Ведь Робер мог облокотиться на этот подоконник. Робер… Такой рослый малый и с такой атлетической фигурой, а все равно не кажется сильным, потому что у него нерешительное выражение лица и вялые движения. Как это Розу не раздражает такое противное несоответствие? Дени представил себе, как Робер обопрется своими сильными руками на этот расшатанный

подоконник, выглянет в сад, перевесившись всем туловищем, и вдруг полетит вниз со второго этажа. Отогнав возникшую в воображения картину, Дени затворил окно.

Глава одиннадцатая

В субботу Роза, Робер и Дени все вместе отправились в шесть часов вечера в Леоньян. Дени всю дорогу стоял на передней площадке трамвая. Роза чувствовала себя усталой и поэтому сидела с женихом в вагоне. Она не смотрела на Робера, ей достаточно было знать, что он тут, рядом с нею; ее обнаженная рука касалась шершавой ткани его пиджака. Два дня они проведут вместе, будут неразлучны. Два дня! Счастье просто невероятное!.. И все же разве можно сравнить эти светлые часы с тем, что ждет ее и Робера впереди, где будут чудесные дни и чудесные ночи нерасторжимой близости. Жизнь прекрасна! Робер молчал. Розетта знала, что нелегко проникнуть в его мысли… Но ведь у нее впереди так много времени, она научится их разгадывать.

Вагон обгонял велосипедистов — обычных субботних путешественников, слышалось дребезжанье звонков и молодой смех. По скошенным лугам бродили коровы, отыскивая уцелевшие пучки травы. Из отворенных дверей низких хлевов тянуло густым, резким запахом.

«Это последний шаг, — думал Робер. — Теперь

и все их соседи, и прислуга будут считать меня женихом… Что же, тем лучше… Раз уж решено, так решено. Поздно идти на попятный». Он был спокоен и, зная, какое счастье он дарит невесте, гордился собой.

Дени не оборачивался и не смотрел на сестру и ее жениха, сидевших рядышком в вагоне. Когда трамвай бежал быстрее, он запрокидывал голову и, закрыв глаза, подставлял лицо прохладному ветерку. Смутные и довольно непристойные картины вставали в его воображении, и он старался отогнать их. Ничего, утешал он себя, никто ведь никогда не узнает, о чем он думает. А как у других? Они тоже носят в себе целый мир потаенных мыслей и стараются не выдать их ни единым словом? Неужели у всех людей существует разрыв между тем, что они говорят откровенно, и тем, что они скрывают? И у каждого вот так же копошится в душе что-то темное, одному только господу богу известное. Каков смысл выражения: «отгонять от себя дурные мысли»? Не принимать во внимание того, что хочешь не хочешь, а таится в тебе… Вдруг он услышал голос Розы:

— Дени, возьми саквояж Робера.

Трамвай остановился у перекрестка, где начиналась проселочная дорога, и сразу стало слышно,

как отчаянно стрекочут в траве кузнечики и басисто гудят пчелы вокруг цветущей липы.

Роза пошла переодеться, а Дени повел Робера в комнату дяди Дениза.

— Окна выходят на север, так что тебе не будет жарко. Только, смотри, вечером раздевайся без огня, а не то налетят москиты.

Дени вышел из комнаты, потом, приоткрыв дверь, добавил:

— Осторожнее, не очень-то облокачивайся на подоконник, он еле держится. Весь дом ни к черту! Старая рухлядь!

— А я думал, что ваш отец все тут поддерживал, ремонтировал.

— Да как сказать... Мелкие починки делались постоянно, а самый дорогой ремонт не помню, чтоб проводили...

Дени ответил так без всякой задней мысли, но внимательно посмотрел на Робера, когда тот спросил:

— А что ты называешь «самый дорогой»?

— Прежде всего — крыши. Тебе вот эту комнату отвели, а сначала хотели в другой поместить, но там потолок протекает. В сильный дождь приходится по всему чердаку расставлять лохани, тазы, кадки. Крыша вся дырявая, стропила сгнили.

Ты представляешь себе, сколько стоит покрыть новой крышей этакий домище?.. Даже отец во времена нашего процветания отступал перед таким расходом — каждый год все собирался и не мог решиться… Но теперь уж тянуть дальше нельзя.

— Так что же вы намерены делать?

Дени замялся, потом сказал:

— Мне кажется, мама хочет у тебя попросить совета.

— Я не могу давать ей советов (Робер вдруг заговорил твердым, уверенным тоном). Меня это не касается. У нас у самих столько хлопот с домами!..

— Ну что ж, — сказал Дени со вздохом. — Придется продать Леоньян. За бесценок, конечно. Только не говори маме и Розе тоже. Для них это тяжелый удар… У них, понимаешь, всякие там несбыточные мечтания. Обе воображают: вот придет Робер, все возьмет в свои руки…

— Вот как? Я с ними сам поговорю, — сухо заметил Робер. — Надо объясниться начистоту. (Интонации и даже голос у него вдруг стали точь-в-точь как у матери.) Я не допущу никаких недоразумений.

* * *

— Ты тут, Робер?

Вошла Роза. На ней было вышитое гладью белое платье с глубоким вырезом и короткими рукавами. Должно быть, она только что приняла ванну. От нее веяло свежестью и запахом одеколона. И теперь, несмотря на заострившиеся черты лица, на жилистую, худенькую шею, она походила на прежнюю прелестную Розу... Робер обнял ее и прижал к себе, тихонько вдыхая запах ее волос. Она не рассердилась, только испугалась, что он изомнет ее нарядное вышитое платье. Немного отстранившись, она ласково провела ладонью по его шершавой щеке, по рыжеватым усам, по красиво очерченным губам; задержав у рта ее руку, он тихонько покусывал ей кончики пальцев. Вдруг раздался глухой стук и что-то тяжелое упало в кусты рододендронов. Роза вскрикнула.

— Это подоконник упал, — сказал Дени. — И я чуть было вместе с ним не хлопнулся.

Роза сжала руку Роберу.

— Какой ужас! Вдруг бы ты нынче вечером, дорогой, оперся на этот подоконник!

Дени, побледнев, пристально смотрел на них.

* * *

— Ну вот, смотрите! Вот вам мой сюрприз!

Рядом с мадам Револю стоял Жюльен в элегантном смокинге, пухлый, бледный и почти величественный, полный сознания торжественности, которую он придавал этому вечеру своем присутствием. На его одутловатой и какой-то безглазой физиономии застыла снисходительная улыбка.

— Вы совершили чудо, Робер, настоящее чудо! — твердила мадам Револю, жеманно растягивая слова, как она имела обыкновение говорить в светском обществе.

— Я ведь глава семьи и не забываю этого, — заявил Жюльен. — Принять тебя в Леоньяне — мой долг. И я решился… Мне, конечно, придется дорого поплатиться за такое неблагоразумие, но что ж делать…

Мать, сияя от восторга, слушала светский разговор, которым он занимал Робера.

— Ну, как скачки в этом сезоне? Блестяще, не правда ли? Кто взял приз? Кастельбажак, разумеется? На Фаворите Втором? Ах, вот забавно! Ведь я чуть было не купил его в прошлом году. Ты этого не знал? Я сразу понял, что это великолепная ло-

шадь… Знаешь его родословную? Он сын Стеллы. Помнишь Стеллу?

Робер поглядывал на свою невесту. Да, она все еще похожа на прежнюю Розетту, на ту барышню, с которой он кружился в вальсе на балах. От бокала шампанского на ее щеках заиграл румянец. Робер с гордостью думал, что благодаря ему глаза Розы горят огнем счастья. И вдруг Дени заявил во всеуслышанье:

— Мама, знаешь, что случилось? В комнате дяди Дениза подоконник отвалился.

Мадам Револю горестно вздохнула.

— Тут все кругом рушится. Сколько нам забот с этим домом! — сказала она, глядя на Робера.

Ничего не ответив, он наклонился к своей тарелке, а мадам Револю продолжала:

— Продать? Но что за него дадут? И ведь все-таки у нас здесь пристанище. Да еще при доме есть и сад, и огород, и птичник, и скотный двор. Не надо платить ни за молоко, ни за дрова. А если продать, куда нам деваться, скажите пожалуйста. Как мы жить будем?

Вопросы эти обращены были к Роберу. Но он окутал себя плотной завесой равнодушия. Как звон будильника, в ушах у него звучали наставления матери: «Будь осторожен. Делай вид, что

не слышишь, не понимаешь…»

К концу обеда все уже чувствовали некоторую стесненность. На дворе темнело, но ламп не зажигали. Весь угасающий свет как будто сосредоточился на белой скатерти и на крахмальной манишке Жюльена. Роза трепетала, чувствуя смутную угрозу своему счастью. Она повела Робера в прихожую, набросила на плечи старенькую накидку.

— Пойдем в сад, пока они пьют кофе. Пойдем скорее! Какая тишина!.. Вот именно о таком вечере я мечтала.

Робер взял ее обнаженную руку и тихонько сжал. Он твердил про себя: «Все отбросить. Думать только об этой руке, об этом прелестном теле, которое отныне принадлежит мне… А драгоценный свой Леоньян пусть продают. Мы снимем квартиру в Бордо… Да, но ведь тогда придется снимать квартиру и для ее родных и платить за нее. Может, не все на меня ляжет? Не совсем же они нищие!»

Роза шла торопливым шагом, ей хотелось поскорее дойти до заветной скамьи под липами, которую она заранее выбрала для этого вечера. Ее поднимала, несла, влекла какая-то неведомая сила, от которой трепетали опьяненные жизнью

окрестные луга. Через аллею пробежали два ежа.

— Сюда, — сказала Роза. — Иди скорее!

Широкий свод цветущих лип укрыл их черной тенью, сгустившей ночную тьму, и там, прильнув к его груди, она до боли ощутила свое счастье. Текли блаженные минуты, безвозвратно уходили одна за другой, и она не могла их остановить. Но как радостно было думать, что она сейчас лишь у истоков счастья. Еще нельзя зачерпнуть волшебной влаги и прильнуть к ней горящими устами, но ведь река любви вечно будет омывать их. Чего же тревожиться? Дорогие мгновения не так уж драгоценны, как ей думалось, — все, все еще впереди. Голова ее покоилась на его груди, приподнимавшейся и опускавшейся от дыхания. Как сладко убаюкивают эти волны, как хорошо довериться любимому! Пусть он держит ее у своей груди целые месяцы, целые годы, целую вечность, — слышно, как бьется в этой груди сердце, его сердце, сердце человека самого родного, самого близкого из всех людей на свете. Она чувствовала, как он взволнован ее близостью. Откуда же ей было знать, что жених, искавший ее поцелуев, полон мелких и низких мыслей, подозрений, расчетов. Одно лишь его крупное, сильное тело отвечало на призыв девушки, и он

не сдерживал его стремлений, давал им волю, как охотник, который, думая о своем, не глядя видит, что его собака, почуяв дичь, обнюхивает траву и царапает лапами влажную землю.

А в доме, стоя у дверей бильярдной, выходившей в сад, мадам Револю говорила Жюльену:

— Они все не возвращаются. Не жди их. Ты и так засиделся слишком долго для первого раза. Конечно, жениху и невесте все полагается прощать, но, признаться, они плохо вознаграждают тебя… А ведь ты ради них потратил столько сил… Подумайте — убежали и хоть бы словечко в извинение! Неблагодарные!

— Я и не требую никакой благодарности. Ведь я обязан был принять жениха своей сестры и вот встал с постели… решил не щадить себя… При таких обстоятельствах надо жертвовать собою, забыть о своей жалкой телесной оболочке… Конечно, я за это дорого поплачусь… Заранее знаю, что нынче ночью глаз не сомкну.

— Может быть, тебе принять аллоналу?

— Ну, это просто неслыханно! Разве ты не знаешь, что моя печень не выносит аллонала! Моя печень не выносит никаких наркотиков. Прошу тебя, Дени, не кури здесь, выйди в сад.

Дени лениво поднялся, вышел на веранду и,

походив там, сел в плетеное кресло. Где-то совсем близко через равномерные промежутки лягушка бросала в пространство металлическую ноту, чистую, как соловьиная трель. Бесшумно проносились летучие мыши. Лягушки, летучие мыши, соловьи, небо, усеянное звездами, и цветущие липы — что ему до них? Ничто, ничто в этом мире не облегчит его страданий, не утолит его жажды. Все сухо в груди, и такая тоска на душе. Он напряженно вслушивался в тишину. Нет, ни малейший шум не нарушал трепетного безмолвия лугов… Почему он боится смерти?.. И по своему обыкновению он нарисовал себе картину: вот он ложится в постель, раскрывает коробочку с таблетками снотворного… «Нет, нет! — с безмерным ужасом подумал он. — Я хочу жить, мне только семнадцать лет». Он наклонился, потрогал теплые каменные плиты веранды. Мать заговорила громче:

— Все-таки меня это тревожит. Он мог бы сказать хоть несколько слов, успокоить нас. А он, наоборот, постарался показать, что наши заботы о Леоньяне его не касаются… Но, может быть, это объясняется его замкнутостью или беспечностью…

— Надо, однако, поднять этот вопрос, — сказал

Жюльен. — У меня в комнате потолок в ужасном состоянии… Того и гляди рухнет мне на голову.

— Думаю, что следует вернуться к нашему проекту…

Жюльен спросил, позевывая:

— Какому проекту?

— Дать Леоньян Розе в приданое, обязав ее предоставить нам здесь жилье пожизненно, до самой нашей смерти. Ремонт и всякие починки она будет делать на свой счет, а с нас пусть берет небольшую плату за помещение и за наше содержание. Разумеется, Робер должен будет подписать обязательство не продавать Леоньяна… а иначе восстанавливаются наши права на него. Да, — прибавила она помолчав, — хорошо бы так, но Леони ни за что не позволит ему принять такие условия.

Дени крикнул с веранды:

— У Робера больше воли, чем вы думаете. Хватило же у него мужества попросить руки Розы…

— Погаси свою сигарету и иди сюда.

Дени вошел в комнату и сел подле матери. Жюльен, хлопнув себя по щеке, пробормотал:

— Ах, уж эти москиты!

Мать спросила:

— Ну, как ты считаешь, Дени?

— Пусть сначала Роза позондирует почву.

— Она ни за что не согласится… Да и не опасно ли это?

— О нет! Он, видимо, сильно влюбился. И притом можно как-нибудь поумнее подойти.

— Ну, конечно, конечно. Она бы могла сказать так: мои родные собираются продать Леоньян. У меня просто сердце разрывается — я так мечтала, что здесь будет наше гнездышко.

— А кроме того, указать ему, — добавил Жюльен, — что с Леоньяна можно получать хороший доход. Надо только вложить в него некоторый капитал… Заняться, например, разведением скота…

— Да, да, все это можно сказать. Но после свадьбы мы не дадим ему пускаться в такие дела. Ведь он здесь все свое состояние ухлопает. Но это между нами! А в разговоре, что ж — не лишнее представить Леоньян как выгодное помещение капитала, может быть, это обезоружит Леони.

Дени спросил:

— Так вы согласны, чтоб я поговорил с Розой?

А в эту минуту на скамье под липами девушка молила:

— Пусти меня! Пусти! Умоляю!

Она натянула на колени платье, поправила

волосы. Потом робко спросила:

— Ты не сердишься?

Он ответил: «Да нет» — и достал из кармана портсигар. Очнувшись от своих грез, Роза попыталась разгадать выражение его лица, на миг возникшего перед нею, когда он закуривал сигарету, защищая обеими руками огонек спички. Робер, разумеется, не сделал и не хотел сделать ничего такого, к чему не стремился бы каждый молодой человек, став женихом в двадцать три года. Но ей было грустно, она проснулась от сладкого сна и теперь настороженно следила за ним; ей казалось, что все в нем стало вдруг каким-то чужим: и голос, и движения, и даже его молчание. Подле нее был человек, совсем не похожий на тот образ, который она носила а своей душе каждое мгновение жизни. Ей так хотелось вернуть прежнего Робера, она прильнула к нему. Он отшатнулся, передернул плечами. Она спросила:

— Значит, все-таки сердишься?

— Да нет… Но ты все равно не поймешь, ты ведь ужаснейшая невинность. По-твоему, все так просто… Прижимаешься, ластишься, а потом: «Ах, пусти меня!»

Он говорил угрюмым и довольно грубым тоном. Она почувствовала себя такой одинокой,

еще более одинокой, чем в те дни, когда его не было с нею.

Только бы он не заметил, что она плачет. Она боялась вытереть глаза, чтобы не выдать себя. По щекам ее текли и стыли в ночной прохладе горючие слезы. Ей казалось, что своей скорбью она наносит оскорбление Роберу, и, когда он бросил сигарету, она взяла его руку и смиренно поднесла к губам. Он не отдернул руки и притворился, будто не заметил, что у нее мокрое от слез лицо. У него мелькнула мысль, что он уже не раз бросал женщин и они от горя не умерли. Но бросить эту?.. Лучше уж сдавить двумя пальцами ее худенькую птичью шейку и сразу прикончить. В порыве жалости, желания и стыда он крепко ее обнял и прижал к себе. Дрожа всем телом, она не смела ответить на объятие. Она не знала, чего он хочет. Он дышал прерывисто и быстро. Она сказала:

— Кто-то идет по аллее. — Узнав брата, она крикнула: — Мы здесь, под липами.

Дени прошел еще немного и остановился.

— Пора домой, — сказал он. — Жюльен велит запереть дверь на засов.

Парочка вышла из черной тьмы, царившей под липами. По сравнению с этим мраком на аллее им показалось очень светло. Все трое шли молча

и, войдя в бильярдную, щурили от света глаза. Дени окинул влюбленных быстрым взглядом и сразу заметил смятое платье Розы, влажные следы слез на ее щеках и блуждающий взгляд Робера. Он сказал:

— Свечи вон там, в передней. А Роберу полагается лампа.

* * *

Сев у окна в своей спальне, Роза задумалась. «Мы же ничего дурного не делали, — успокаивала она себя. — И ведь все это потому, что он меня любит». Любит. Слово это уже не опьяняло ее. За беспокойным ропотом молодой крови она различала предостерегающий голос. Чей? Что в ней заговорило? Позднее она не раз думала, — не было ли то предчувствием? Нет, скорее в душе глухо прозвучала едва задетая струна. «Завтра утром я опять буду счастлива. Не знаю, право, что это с нами случилось сегодня... Скорее, скорей бы увидеть лицо Робера при свете ясного утра! Посмотрю ему тогда в глаза, и на сердце станет спокойно».

Робер позабыл затворить окно, а когда спохватился, было уже поздно: в комнату налетели москиты. Он поспешил загасить лампу, но это не

помогло — всю ночь его терзали злые укусы. В высокой оконной раме без подоконника вырисовывался меж густой черной листвы клочок неба, похожий на глубоко врезанный в сушу залив. И, глядя на этот голый и какой-то зияющий прямоугольник окна, Робер испытывал неприятное ощущение, будто он ночевал в полуразрушенном строении. Уж не за тем ли его положили в этой комнате, чтобы внушить ему желание отремонтировать обветшалый дом? Он отогнал от себя это нелепое подозрение, решив думать только о Розе. Разве не была она ему дорога и желанна в этот вечер? А все остальное не имеет значения. Он уедет с нею, нисколько не беспокоясь о ее родне. Самое главное — все выяснить и обо всем договориться до свадьбы... Заснул он незадолго до рассвета, когда москиты, вдоволь напившись его крови и присмирев от предутреннего холодка, оставили его наконец в покое.

* * *

Утром, встретившись с Розой в столовой, он, как ему казалось, преодолел в себе все низкие мысли. На ней было белое кисейное платье, которое она надела, чтоб ехать к обедне, — платье, сшитое еще в те времена, когда и она и мать

одевались у Габриа. В большую коляску запрягли рабочую лошадь, на козлы сел Кавельге. Робер уже чувствовал себя членом семьи своей невесты. Он смеялся с Дени и Розой над нарядом управителя, — Кавельге снизошел до исполнения кучерских обязанностей, но, желая подчеркнуть, что делает это только из любезности, не надел кучерской ливреи и сдвинул набекрень свой зеленый котелок.

Однако в церкви Робер вновь пришел в дурное настроение. Его раздражало и то, что он оказался предметом всеобщего внимания, перешептывания, и то, что взволнованное личико Розы сияло гордостью. Все, что подчеркивало в глазах публики его положение жениха, было ему невыносимо. Вот еще, в самом деле! Ведь он покорился своей участи, верно? Разве есть у него какая-нибудь задняя мысль? Так, пожалуйста, не запирайте выходную дверь на замок. «А впрочем, — думал он, — все равно не убежишь, нет никакой возможности».

Перед проповедью, когда прихожане с громким стуком передвигали стулья и рассаживались по местам, они, воспользовавшись случаем, оглядывались и бесцеремонно рассматривали жениха. Роберу было стыдно, но все же ему хоте-

лось успокоить Розу: «Моя досада ничего еще не доказывает...» И в то же время он злился на нее — ему казалось, что она внутренне торжествует: «А все-таки я, несмотря на наше несчастье, подцепила себе жениха». В самом деле, и простофиля же он! Попался, теперь не вырвешься из западни! А ведь он мог жениться на любой красавице. Наверно, все говорят: «Подумайте, кого выбрал! Ведь столько есть на свете хорошеньких девушек, да еще и с солидным приданым!..»

Роза опустилась на колени. Широкие поля соломенной шляпы скрывали ее лицо. Она молилась, низко склонив голову. Видна была только ее шея, и в этой худенькой шейке уже не было прежнего изящества. Лишь в темноте, царившей вчера вечером под липами, эта девушка могла его взволновать.

По рядам проходила сторожиха, собирала деньги за стулья, давала сдачу; потом прошел кюре; утирая потное лицо носовым платком и протягивая кружку для сбора пожертвований, он со свистом шипел сквозь зубы: «Спасибо, спасибо, спасибо». Мальчишки, изучавшие катехизис для первого причастия, вертелись на скамейках, строили девочкам рожи. После чтения Евангелия прихожане обрадованно ринулись к выходу и,

распахнув обе створки двери, не выдержавшие напора, высыпали на паперть.

Площадь была залита солнцем. Подходили какие-то старухи, бесцеремонно разглядывали Робера. Он поспешил укрыться в коляске, выжидая, когда мадам Револю и Роза закончат обход магазинов.

Робер ворчал:

— Что они так пялят на меня глаза? Вот болваны!

— Любуются женихом мадемуазель Розы Револю, — с лукавым видом ответил Дени.

— А я полагал, что наше обручение пока что останется в тайне.

— О, это невозможно! Кавельге и его супруга уже все разболтали. Разве их удержишь. Сам понимаешь.

— А если невозможно сохранить это в тайне, так зачем же мне клялись и божились, что объявят только через год?

— Вот как! Ты, значит, недоволен? — спросил Дени самым невинным тоном.

— Знаешь, меня больше всего раздражает, когда люди дают обещание, хотя сами прекрасно знают, что сдержать его не могут. Раз мы еще не скоро поженимся, так лучше было бы…

— Ну что ты, — перебил его Дени. — Я уверен, что ты не станешь дожидаться, пока отбудешь стажировку. Да и все у нас в доме так думают.

Робер даже покраснел от негодования.

— Вот как? Неужели? Ну, это мы еще посмотрим! Стажировка прежде всего.

Дени подмигнул ему с видом сообщника:

— Знаем мы влюбленных…

Робер вскипел было, но тут вернулись Роза и мадам Револю, пришлось промолчать.

— Осторожнее, Дени, не раздави торт, — сказала мадам Револю. — Мы купили и трубочки с кремом для Жюльена.

Коляска покатила к Леоньяну. Солнце палило нещадно. Робер, весь красный, смотрел в сторону, притворяясь, что не замечает, как Роза старается поймать его взгляд.

Он уехал около пяти часов вечера, — это, впрочем, было условлено заранее, так как вечером ему полагалось готовиться к экзамену. Жара избавила его от уединенной прогулки с Розой. Они сидели в бильярдной, перелистывая старые комплекты журнала «Мир в картинах». Потом Роза проводила его до остановки трамвая и назначила ему свидание на следующий день в сквере. Она замечала в нем какую-то перемену и была

удивлена; но ей казалось, что это не холодность, а просто смущение, — должно быть, он чувствует себя неловко после того, что было вчера под липами. Робер поднялся в вагон, она смотрела ему вслед без щемящей грусти. По дороге целыми отрядами мчались велосипедисты; поднимая пыль и пронзительно гудя, проносились автомобили с дизельным мотором. Роза была почти довольна, что может побыть одна.

Домой идти не хотелось, и она свернула в парк. Было еще жарко. Трава на лужайках стояла некошеная: не могли найти поденщиков; дорожки заросли. Неожиданно откуда-то вынырнул Дени. Роза подумала, что лучше было бы погулять одной, но Дени уже подошел к ней и молча зашагал рядом. Он успел зазеленить травой свою белую полотняную куртку и парусиновые туфли. Вдруг он сказал:

— Тебе, конечно, приятнее было бы, чтобы не я тут был, а Робер.

Сестра обняла его за плечи.

— Вот глупый! Да разве кто-нибудь займет у меня в сердце место любимого моего брата?

Дени шел, понурив голову, и покусывал сорванную травинку. Роза добавила:

— Ведь есть много такого, что можем понять

только мы с тобой, а другие никогда не поймут.

Он поднял голову.

— Ты правду говоришь или просто так, в утешение?

— Нет, я серьезно, — ответила она. — Вот… как ни любишь жениха… а ведь один только бог знает (она инстинктивно оборвала признанье)… Как ни любишь жениха, — продолжала она после долгого молчания, — есть в душе такие уголки, куда он еще не скоро проникнет, а может быть, и никогда не найдет туда пути.

— А я?

— С тобой иначе. Многое я чувствую в одно мгновение с тобой и совершенно так же, как ты. Нам не надо слов.

— Слушай, как мы тут хорошо жили… Все ведь детство тут прошло. А для него, для Робера. Ну что для него Леоньян? Просто «недвижимость», да еще убыточная, Роберу только бы избавиться от нее…

Он умолк, выжидающе посмотрел на сестру. Но Роза рассердилась.

— Главное, не приставай к нему с Леоньяном!

— Да ведь это очень важно для всех нас, Роза, и в первую очередь для тебя важно. Ты просто не отдаешь себе в этом отчета… Конечно, не надо

приставать к Роберу, но вот какая мне замечательная мысль пришла… Мама со мной согласна. Я тебе сейчас все расскажу, а ты сама решай, хорошо я придумал или нет.

Он принялся излагать эту «замечательную мысль» и как будто со стороны слышал свой голос, произносящий заранее обдуманные фразы.

Девушке из семейства Револю не пристало выходить замуж без приданого. Поэтому за Розой дают в приданое Леоньян, именье находится в окрестностях такого большого города, как Бордо, расположено на стыке четырех дорог; словом, ему цена по меньшей мере миллион. Робер, разумеется, должен дать обязательство не продавать его и нести расходы по Леоньяну; зато будет обеспечено существование всей семьи. Управителя выставить за дверь, и тогда для всех будет не только квартира, но и отопление и пропитание. Роза станет тут хозяйкой, под ее властью будут птичник, крольчатник, огород и скотный двор. Бордо совсем недалеко, значит, можно отправлять туда на продажу молоко, яйца, овощи и фрукты.

Дени говорил с жаром, тем более что и он и сестра с детства любили строить такие планы. Их всегда увлекала мысль «жить на земле», играть в «фермера и фермершу».

— Тебе это будет гораздо приятнее, чем корпеть с утра до вечера в лавке Шардона.

— И мы всегда жили бы вместе, ничего тогда не изменится.

Он не мог сдержать возмущение и крикнул:

— По-твоему, ничего не изменится? Ведь теперь он тут будет, он!

— Ты его не знаешь…

— Нет, знаю. И знаю, почему он тебе нравится, — злобно сказал Дени, — лучше тебя знаю. Но вот увидишь, каким он будет, и притом очень скоро.

Сестра закрыла ему рот ладонью. Он отшатнулся.

— Ты прекрасно знаешь, что все Костадо дураки, у них только один Пьер умный — весь их семейный ум себе забрал, другим ничего не осталось… Вот Пьер был бы достоин тебя…

Роза сжала ему локоть.

— А не будь Пьер еще мальчиком и полюби я его по-настоящему, ты бы и ему этого не простил. Признайся.

— Понятно, не простил бы, — буркнул Дени. — Я и то уж ему не прощаю…

— Что ж он такого сделал? Скажи.

Дени шумно вздохнул, провел рукой по влаж-

ному лбу.

— Глупости я говорю. Прости меня. Я люблю Пьера, я полюблю и Робера, всех вас буду любить, только бы нам с тобой не разлучаться. А Леоньян надо сберечь, ведь правда, дорогая? Хоть бы Робер согласился. Да неужели ему трудно принять такой подарок?

Роза обещала поговорить с Робером, лишь бы удалось улучить подходящую минуту.

— Вы тут сидели вчера? — спросил вдруг Дени.

И остановившись в начале короткой дорожки, которая вела к тенистым липам, он угрюмо посмотрел на пустую скамью.

— Мало вам было, что ночь на дворе, — сердито добавил он, — вам еще сюда понадобилось запрятаться!

Обиженным, тоненьким голоском, каким Роза спорила в детстве с братом, она спросила, зачем он вмешивается не в свое дело. Дени ответил, что раз у них отец умер, а Жюльен в счет не идет, то надо хоть младшему брату последить за ней. Роза пожала плечами и, свернув с аллеи, быстро пошла напрямик через лужайку.

— Довольно! Замолчи! Не смей за мной ходить.

Но Дени побежал за нею следом. Из-под ног его взлетали голубые мотыльки. Кузнечики

умолкли.

— А ты думаешь, что ты не такая, как все? Из другого теста? Ошибаешься, деточка, — запыхавшись, крикнул Дени. — Все девушки одинаковы. Вы защищаетесь только от таких поклонников, которые вам не нравятся, да и то!..

— Какое глубокое наблюдение! Где ты это вычитал, дуралей несчастный!

— Не вычитал, а сам знаю. Я знаю жизнь лучше, чем ты думаешь… Может, не так хорошо знаю, как ты, — особенно со вчерашнего вечера…

Роза шла быстро, почти бежала, Дени не отставал от нее. Но тут она круто остановилась и, обернувшись, гневно спросила, что он хочет этим сказать. Он смотрел на нее в упор, весь бледный от злобы.

— А то хочу сказать, что со вчерашнего вечера ты, вероятно, просветилась, постигла некоторые тайны…

Раздались две звонкие пощечины, раз-раз, по обеим щекам.

— Ну, милый мой, всему есть границы.

И Роза бегом побежала к дому. Он застыл на месте, беспомощно уронив руки. Щеки его горели. А вокруг уже вновь затрепетала жизнь, вновь заструилась оборванная песня, послышался тот

особый таинственный гул, какой разливается над лугами летним вечером в звучит у нас в душе, когда нам вспоминаются печали нашего детства. Дени оцепенел от горя и стоял, не шелохнувшись, словно прирос к земле, и насекомые уже не отличали его от мира растений. Стрекоза — из тех, что зовут «коромысло», — опустившись на его плечо, открывала и закрывала прозрачные крылышки. Муравьи деловито поползли вверх по его ногам, как по стволам деревьев. Басисто гудели большие рогатые жуки — «олени», «дровосеки» — и копошились в листве старого дуба, залитого багровым светом заката. Дени не шевелился, ожидая, чтоб стихла, замерла боль в душе. Вот так бы и умереть, застыть в мертвенной неподвижности, кровь твоя обратится в соки земные, а ты спокойно, плавно, незаметно перейдешь из мира людей в растительный мир, из одного царства природы в другое, из царства любви и скорби в царство сна, который тоже есть жизнь.

Зазвонил колокол, приглашавший к обеду. На краю лужайки появилась Роза и направилась к брату. Подойдя к нему вплотную, она обвила рукой его шею, расцеловала в обе пылающие щеки.

— Прости меня!.. Я виновата. Но, знаешь, ты меня из себя вывел.

Дени не двигался, не отвечал на поцелуи. Роза, смеясь, сказала:

— Не смотри на меня так, совенок!

Но Дени, для забавы и чтоб напугать сестру, стоял как вкопанный и, широко раскрыв глаза, смотрел на нее не мигая. Тогда Роза сорвала былинку и принялась щекотать ему нос и уголки рта, пока он не засмеялся звонким детским смехом.

* * *

А в доме Костадо в тот вечер Пьер, как обычно, сразу после обеда ушел в свою комнату; Робер же, прежде чем приняться за книги, посидел недолго с матерью в маленькой гостиной. Мать не задала ему ни одного вопроса, но иногда каким-нибудь возгласом или даже просто взглядом помогала высказать то, что его тяготило. Однако, когда Робер дал ей понять, что Роза пыталась воздействовать на него в интересах своей семьи, заведя речь о Леоньяне, мадам Костадо возмутилась:

— Ну уж нет, дорогой мой, нет! Это твои выдумки. Ни за что не поверю, что Роза способна хитрить. Я ее знаю. Бедная девочка! Разумеется, я нисколько не обольщаюсь относительно ее, у меня нет твоих иллюзий, да, я думаю, ты и не

можешь от меня этого требовать. Я никогда не воображала, что она девушка с головой. Если я тут ошибаюсь — очень хорошо, буду только рада. Она оказалась очень мужественной, этого у нее не отнимешь, но ведь хорошие наклонности не могут возместить больших недостатков. И, знаешь, она такая слабенькая, хилая! Прошлый раз, когда ты ее к нам привел — ведь я ее не видала со дня их несчастья, я просто ее не узнала. Надо ее хорошенько подкормить, дать ей отдохнуть… До свадьбы это, конечно, неудобно. Я бы ни за что не хотела, чтоб она из-за нас лишилась заработка: ведь это ее кусок хлеба… Всему свое время. Даст бог, с ребенком вы не поспешите… А все-таки странные у мужчин вкусы! Не понимаю, как может нравиться худосочная девочка… Что поделаешь, раз она тебе по сердцу, не стоит об этом и говорить. Но как-никак, а корыстной интриганкой я ее не считаю и не верю, что она способна позариться на твои капиталы…

Робер запротестовал. Нет, нет, как это возможно, он никогда ее в этом не подозревал. Он только думает, что ее настраивают родные и Роза поддается им.

— Слушай, мальчик, если она еще раз заведет об этом разговор, не стесняйся, — сразу ее оборви.

Есть, знаешь ли, два типа девушек. Одна вылетит из родного гнезда и кончено — больше о своих не думает, отрезанный ломоть: все заботы, все мысли только об интересах мужа. А другая всем сердцем со своими родными и в мужниной семье как чужая. Если твоя Роза из таких девиц — очень жаль. Обидно и за тебя, и за всех нас. И так уж твоя женитьба в самом начале карьеры — настоящее бедствие…

Робер поднялся с кресла.

— Зачем ты расстраиваешь меня? Скажи, зачем? — жалобно спросил он. — Можно подумать, что ты это нарочно делаешь, для своего удовольствия.

Мать возмутилась:

— Я? Я нарочно тебя расстраиваю?

Робер подошел к ней.

— Чего ты добиваешься? Ведь моя женитьба на Розе — дело решенное, бесповоротно решенное. Постараемся же найти в этом браке хорошие стороны.

Мадам Костадо безжалостно заявила:

— Нет тут хороших сторон.

— Пусть так, — упирался Робер. — Но ведь я дал слово. Мы обручились.

— Ну и что ж? Обручились. Но еще не по-

женились. Священник вас не венчал, мэр не записывал. Вы пока еще нареченные. Нет, нет, ни за что! — вдруг закричала она. — Сколько угодно сердись на меня, все равно я до последней минуты буду надеяться, что этого не произойдет. Знаешь, какое у меня чувство? Как будто тебя к смертной казни приговорили, и я жду чуда, уповаю на какую-нибудь болезнь, на землетрясение.

Она ждала бури негодования. Но Робер ничего не ответил и после долгого молчания произнес вполголоса:

— Она умрет из-за этого.

У Леони Костадо от волнения сжалось горло; с трудом проглотив слюну, она грузно поднялась, положила сыну руки на плечи и, заглядывая ему в глаза, сказала:

— Мальчик мой, значит, ты все ясно видишь и все-таки сознательно, собственными руками надеваешь себе петлю на шею.

Робер вяло возразил, что он любит Розу, да и теперь уже поздно; повторил, что Роза из-за этого умрет.

— Нет, не умрет… Страдать будет — это верно. Но ведь она еще больше будет страдать, если выйдет за тебя замуж: она ведь поймет, что из-за нее жизнь твоя не задалась и что ты ей этого не

можешь простить.

Леони Костадо чувствовала, что на этом следует пока остановиться и сейчас не предпринимать новых шагов. Но она не могла устоять перед искушением и достала из ящика письменного стола хорошо знакомую Роберу желтую папку с бумагами о разделе имущества.

— Вот вчера получила приблизительные подсчеты. Знаешь, сколько вам останется, когда внесем налоги в казну, заплатим деньги нотариусу, поверенному да экспертам? Сущие пустяки останутся: будете получать по десять тысяч ренты. Самое большее!..

— А доходы с домов?

— Какие там доходы? Расходов не покрываем.

Робер ответил дрогнувшим голосом:

— У тебя на уме только деньги! А ведь тут живой человек, тут судьба чистой и беззащитной девочки.

Мать обняла его, прижала к груди.

— Я о тебе думаю, мой родной. Не можешь ты сердиться на свою маму за то, что у нее на первом месте родной сын. Я не хочу, чтобы ты был несчастным.

— Если она будет счастлива, и я буду счастлив, — с неожиданным горячим чувством сказал

Робер. — Мне невыносима мысль, что она будет из-за меня страдать.

— Я понимаю тебя! — воскликнула мать. — Прекрасно понимаю. Ты должен поступать так, чтобы не пришлось тебе потом краснеть.

— Ну вот, значит, ты и сама признаешь, что выхода нет?

Мать почувствовала в его тоне некоторое разочарование и осторожно добавила:

— Из всякого положения можно найти выход. Только не сразу его видишь.

В дверях Робер обернулся и сказал:

— Не воображай, пожалуйста, что тебе удастся меня отговорить…

— Ничего я не воображаю, дорогой мой. Ложись-ка сегодня пораньше. Не засиживайся за работой.

Глава двенадцатая

Уже третий день стояла грозовая погода, лили дожди, над городом гремели раскаты грома. Роза сказала Роберу:

— Если пойдет дождь, подожди меня в кондитерской, напротив сквера. Да, да, у Егера, в шесть часов — там в это время никого не бывает.

Пробило четверть седьмого. Робер съел уже три пирожных, и его мутило. По зеркальному стеклу витрины струилась вода.

«Если Роза не придет через пять минут, я уйду», — думал Робер. В грозу у него всегда были взвинчены нервы. Он знал это и боялся, что может вспылить, наговорить дерзостей. Прижавшись лбом к стеклу, он, как бывало в детстве, смотрел в окно на мокрый тротуар, по которому прыгали дождевые капли, разбрасывая фонтанчики брызг.

«Роза опаздывает из-за дождя, конечно, — убеждал он себя. — Наверняка не захватила из дома зонта, — она ведь никогда о таких вещах не думает. Воображаю, в каком виде она явится!..» И, повернувшись, он поглядел на двух молоденьких официанток, которые, обслужив его, перешепты-

вались за прилавком. Робер заранее представил себе, какое жалкое впечатление произведет на них промокшая до нитки Роза, но ему стало стыдно, что он стыдится ее. Решив все же уйти, он поднялся, положил на столик деньги и тут увидел Розу: остановившись у входной двери, она старалась закрыть какой-то безобразный мужской зонт, который ей, очевидно, дал Шардон. Мокрая юбка облепила на ветру ее ноги. Наконец она вошла и, беспомощно озираясь, стала у порога, не зная, куда девать зонт, с которого текла вода; одна из официанток взяла у нее зонт, и тогда Роза села за столик Робера.

— Я так бежала! — воскликнула она.

Он бросил на нее косой взгляд.

— В каком ты виде! Смотри, простудишься.

— Ничего, я выносливая. Юбка у меня стала на дожде тяжелая, как свинцовая, ноги промокли, а переодеться можно будет часа через два, не раньше. Но все это такие пустяки, раз ты со мной.

— Ты совсем не заботишься о себе, Роза. Даже слишком пренебрегаешь…

Она прервала Робера, приняв его слова за похвалу.

— Нет, нет… мужества у меня не больше, чем у других. Я, конечно, на многое не обращаю внима-

ния, но тут никакой моей заслуги нет. Ведь для меня важно только одно — наша любовь, — добавила она тихонько.

Она поднесла к губам рюмку малаги, которую ей подали.

— А надо подумать и обо мне, — сказал Робер, — подумать о милой моей Розетте, которую я так любил…

Роза удивленно на него посмотрела. Он продолжал, подчеркивая каждое слово:

— Моя Розетта не ходила в мокрой от дождя юбке, вода не хлюпала у нее в ботинках, волосы не висели из-под старенькой шляпы слипшимися косицами. Я это не в упрек тебе говорю, — спохватился он, — но, право, мне иной раз приходится делать над собой усилие…

Она слушала, не сводя с него глаз. Робер смутился.

— Ну почему тебе не уделять больше внимания своей внешности, заботиться о своем лице, о своих ногтях, о своем теле?

Роза быстро спрятала руки под стол. Она вдруг побледнела.

— Я тебе больше не нравлюсь?

— Не в том дело. Роза… Я прошу тебя, пожалей самое себя. Я никогда не видел, чтобы ты

смотрелась в зеркало. Это так не по-женски. Но достаточно тебе будет хоть раз поглядеть на себя в зеркало, и ты сразу поймешь, что я хочу сказать.

Из-за проливного дождя, барабанившего в окна, и тени, падавшей от высоких вязов на улице Гург, в кондитерской стоял полумрак. Роза низко наклонила голову над тарелочкой с ромовой бабой. Робер догадался, что она плачет, но эти слезы нисколько его не тронули, напротив, он был полон злобного раздражения и выразил свои чувства шипящим шепотом:

— Ну вот, теперь пошли слезы!..

Она сказала, не поднимая головы:

— Ты, конечно, прав, милый. Упреки вполне заслуженные. Только вот... Я сейчас объясню... Знаешь, я с детства привыкла, чтоб мне прислуживали; за меня все делали горничные: ванну приготовят, пеньюар нагреют, помассируют, причешут... Поверишь ли, ведь я раньше и ботинок никогда себе не застегивала! А теперь я возвращаюсь домой поздно, встаю на рассвете... Ну вот, я все и упростила... Я понимаю, что надо больше следить за собой... Но я думала, что наша любовь выше этих мелочей... думала, что мы друг друга любим...

Она не могла говорить, слезы душили ее. Робер

ни единым словом не пожелал помочь ей. Он ждал, смутно чувствуя, что оба они вступили на какой-то неведомый путь, который может увести куда-то далеко, дальше, чем он, Робер, смел мечтать. Вдруг Роза взяла его за руку, наклонилась, он увидел совсем близко от себя ее бледное и мокрое от слез личико, почувствовал ее горькое дыхание.

— А как же в тот вечер, в субботу, под липами? Тогда я нравилась тебе?

Он ответил скучающим тоном: «Ну, конечно, конечно». Она позвала: «Робер!» — у нее было такое чувство, что он куда-то уходит, все дальше, дальше и уже не слышит ее голоса. Да нет, это неправда, — вот он тут, близко, сидит напротив нее, их разделяет только столик. Он — ее жених. В октябре будет свадьба. А на душе у Робера в эту минуту тоже было тревожно, и он придумывал, как бы смягчить удар.

— Ты простудишься, — сказал он. — Пойдем к нам. Я велю затопить камин.

Роза робко поблагодарила его. Они быстро зашагали под дождем и до самого дома не перемолвились ни единым словом. Робер знал, что в этот день мать вернется поздно с собрания дам-благотворительниц. Он повел Розу не в

свою комнату, а в маленькую гостиную и велел прислуге принести из кухни хворосту. Розе он предложил снять ботинки. Она сконфузилась, покраснела:

— Не смотри. У меня, кажется, дырка на чулке.

Робер деликатно отвернулся. От мокрого платья валил пар и легкой дымкой вился около Розы. Она посмотрелась в зеркало, висевшее над камином, и вдруг поняла, какой она была в глазах Робера. Торопливо сняв шляпу, она попыталась подобрать растрепавшиеся прядки волос. Робер поднял с полу ее ботинки, потрогал мокрые подошвы и поставил ближе к огню. Он сидел в кресле, немного отодвинувшись от каминной решетки. Стоя перед ним, Роза наклонилась и, взяв обеими руками его голову, чуть запрокинула, чтоб он смотрел ей прямо в глаза.

— Какой ты добрый! — в порыве восторга сказала она.

Он запротестовал:

— Нет, не думай так, Роза. Нет, я совсем не добрый.

И вдруг нечаянно вырвались слова, которые он вовсе не собирался говорить: слова эти нежданно слетели с губ и ударили ей в лицо, как плевок, как брызнувшая струя гноя или крови.

— Прости меня, я больше тебя не люблю.

* * *

Она не вскрикнула. Ничем не выдала боли или хотя бы изумления. Она лишь подумала: «Ну вот. Все кончена Он сказал. Значит, все кончено». И тут же мелькнула другая мысль: «Ведь он еще тут, близ меня. Ничего еще не потеряно. Можно вновь коснуться рукой его волос, его щек, его красивых по-детски надутых губ». Пока он тут, рядом с ней, можно сопротивляться, бороться, можно победить. Как молния, сверкнуло воспоминание о недавних его объятиях под липами. И вдруг откуда-то из далекого тайника души послышался шепот — те самые слова, которые говорят опытные девицы: «С мужчинами надо, знаете ли… Самый верный способ удержать при себе мужчину…» А ведь Робер — мужчина, существо из плоти и крови, и притом слабовольный мужчина. Еще можно погнаться за ним, настигнуть, завладеть им в том страшном мире звериных хитростей и ласк, где женщины ведут свою игру. Тревога ее улеглась: все сейчас пойдет хорошо. Словно со стороны, она услышала свой голос, звучавший почти весело:

— Это у тебя просто мимолетное настроение.

Это скоро пройдет. Я сразу почувствовала, что ты меня сегодня не любишь. И тут я сама виновата. Вид у меня сегодня ужасный! Настоящее чучело! Но завтра я буду совсем другая. Вот увидишь! — И она добавила лукавым голоском: — Ведь я же была не такая в тот вечер. Помнишь?

Снова она взяла обеими руками его голову, но напрасно пыталась заглянуть ему в глаза — он отводил взгляд. «Опять она подцепит меня на крючок, — думал он. — Только бы не поддаваться». Он весь трепетал от испуга, словно человек, который, потерпев крушение в море, видит, как над волнами поднялись и судорожно ухватились за борт его утлого челна две детские руки, грозя и его утянуть в пучину, но, видя это и дрожа за свою жизнь, человек все не решается ударить веслом по этим опасным ручонкам. А Роза твердила свое:

— Вспомни, какой я была в тот вечер под липами… Разве я походила на забрызганную грязью, закоченевшую нищенку? Ведь нет? Правда? Ты говорил мне: «Моя девчурка!» На мне было белое платье от Габриа. Ты словно опьянел, ты стал совсем безумный. Помнишь? У меня и сейчас голова кружится. Ведь ты дрожал от волнения, весь горел как в лихорадке. Ведь все это было, не

во сне же мне приснилось. Можешь говорить что хочешь, но все это было.

Ему стало страшно. Нет, нет, надо вырваться. Он сказал:

— Это ровно ничего не доказывает. Ты сама не знаешь, что говоришь. Всякий мужчина волнуется, когда ночью девушка жмется к нему… Нечего и говорить об этом. Любая женщина привела бы меня в такое же состояние.

— Но ведь это была не «любая женщина», а я, твоя Розетта, это меня ты обнимал. Меня, меня!

И она затыкала себе уши, чтоб не слышать его наглых слов, когда он стал говорить, что под липами было очень темно, он ее и не видел, а если бы разглядел хорошенько, то…

— Нет! — закричала она. — Нет! Нет!

И, схватившись за горло, умолкла, поникнув у огня. Неужели это сказал тот самый человек, которому она вернула слово после разорения своей семьи, а он сам потом явился к ней и так горячо просил ее руки? Нет, невозможно этому поверить. Она не пришла в ярость, не выкрикнула ни одного из тех резких слов, которых ждал от нее Робер, — гневных слов, в которых вылилось бы возмущение униженной женщины. Тогда он мог бы ответить оскорблением на оскорбление.

Разрыв произошел бы после ужасной сцены, и он, Робер, не оказался бы в роли трусливого убийцы маленькой беззащитной девочки. Но Роза умела только любить и страдать. И сколько же было силы в ее безоружности! Он знал: стоит ему только растрогаться, поддаться чувству умиления, и конец, — снова она свяжет его, и уже навсегда. Нет! Еще чуть-чуть нажать плечом — и дверь отворится. Ведь удар уже нанесен, самое неприятное позади…

— Ты, верно, считаешь меня жестоким… Но я о тебе же забочусь… Теперь я не уверен, что ты будешь счастлива со мной. Я переменился… потому что и ты переменилась, бедняжка. Ты теперь совсем другая. Не стоит тебе надевать свои прежние платья. Ты уже никогда не будешь той Розой, которую я любил в прошлом году.

Итак, он вступил в спор, приводил свои доводы. У Розы появилась надежда.

— Нет, я все та же. Я уйду от Шардона, не стану служить в его лавке, и ты завтра же узнаешь свою Розу. Буду безвыездно жить в Леоньяне и гораздо больше заработаю, если серьезно займусь хозяйством — птицей, коровами, огородом. — Она умолкла, и вдруг, словно ее осенило вдохновение, заговорила взволнованно и быстро: — Ведь ты

знаешь, я не бесприданница. Да, да, у меня очень хорошее приданое — мне отдают Леоньян, и мама и братья согласны. Леоньян! Ты только представь себе! Конечно, потребуются некоторые расходы, но ведь все будет свое, жизнь нам ничего не будет стоить. Уж и то хорошо, что в мясную больше одного раза в неделю ходить не придется.

Он не останавливал ее. Нежданно близилось спасение. Теперь можно будет не сдерживать гнева, который уже закипал в душе. А Роза, воображая, что жених пленен ее словами, старалась усилить соблазн:

— Мы ведь даже и не знаем цены такой усадьбе, как Леоньян. Ну сколько она стоит? Не меньше миллиона. Честное слово…

Робер сказал резким тоном:

— Да ну? Так лучше всего продать его.

— Ах нет, на это у нас с тобой не будет права.

— Почему не будет? Ведь усадьба перейдет в нашу собственность.

Роза простодушно ответила (как видно, считая это вполне естественным), что Леоньян им отдают для того, чтоб они его сохранили. Робер встал с кресла и злым голосом сказал:

— Твои родные просто-напросто считают меня дурачком. Ошибаются! Вот что придумали! Полу-

чи убыточную усадьбу, ухлопай на нее деньги, да еще корми ее милейших обитателей.

Боже мой, значит, она пошла по ложному пути? И Роза растерянно залепетала:

— Как это? Каких обитателей?

— Твою мамашу и твоих братцев. Они, конечно, не намереваются уезжать из Леоньяна, очистить для нас место.

— Погоди, Робер… Дом в Леоньяне такой большой. Для всех хватит места.

Робер засмеялся громким, деланным смехом.

— Для всех? Вот именно!

Она поняла, что он нашел прекрасный предлог, теперь ему есть за что ухватиться; поняла, что для нее все потеряно.

— Я не думала обо всех этих делах. Вернее, я отстраняла от себя такие мысли, — кротко сказала она. — Я предвидела, что тут возникнут затруднения, может быть, даже много затруднений, но считала, что ты со всем этим прекрасно справишься. Я так верила в тебя, что возложила на твои плечи все заботы о нашем будущем. Я считала, что ты меня любишь, — сказала она со слезами, — так же, как я тебя люблю. А, по-моему, если любишь, то не думаешь, что тебе будет тяжело, не боишься никакого бремени, напротив,

заранее любишь его и благословляешь. Ради тебя я все готова перенести. Вот я и думала, что и ты тоже…

Он поднялся и, подойдя к раскрытому окну, стал смотреть на улицу. Роза поняла: он хочет, чтоб она ушла. И только в это мгновение она почувствовала всем своим существом, что счастье рухнуло, что больше уж никогда не будет счастья… Но ведь он все еще здесь, в одной комнате с нею. Можно даже потрогать золотистые завитки волос у него на затылке. Она встала, сделала несколько шагов к двери. Робер подумал: «Сейчас все кончится» — и вздохнул полной грудью. Но она вдруг остановилась и сказала:

— Робер… Послушай, Робер… Я на все согласна. Я не буду твоей женой. Только не отталкивай меня совсем, сохрани мне местечко в сердце. Может быть, ты будешь любить меня немножко, когда убедишься, что я уже не требую брака… Мне бы только видеть тебя хоть изредка…

Он стоял, не оборачиваясь, а она тихонько добавила:

— Делай со мной, что хочешь…

Ему стало стыдно за нее. Он сказал:

— Зачем ты так унижаешь себя? Когда ты вернешься домой и опомнишься, ты мне этого

никогда не простишь... Знай, что я забыл твои слова. Я конечно, не придаю им никакого значения. Слышишь?

— Нет, Робер, какое же тут унижение?.. — возразила она упавшим голосом. — Я люблю тебя. Я твоя. И останусь твоей, хочешь ты этого или не хочешь. Ничто на свете не изменит моей любви к тебе. Ты отталкиваешь меня. Но все равно я люблю тебя.

Его охватило злобное раздражение, которое чувствует мужчина, когда за него упорно цепляется отвергнутая им и дошедшая до отчаяния женщина, жестокое чувство презрения самца к назойливой самке, уже не возбуждающей в нем желания. Он проворчал:

— Вот ты чем хочешь вернуть меня? Предлагаешь себя? Какая мерзость! Хуже этого нельзя и придумать. Тут уж поневоле скажешь: «Между нами все кончено». Ты загрязнила, запачкала самые мои светлые, святые воспоминания.

Он сам почувствовал всю пошлость и нелепость этих слов. Он знал, что у Розы не может быть низких чувств, но он знал также, что освобождение совсем близко — уже пройден почти весь путь к нему. Еще одно усилие — и он будет свободен. Как славно он тогда заживет!

Роза чуть слышно сказала:

— Я загрязнила? Запачкала?..

Она не могла понять. Ей неведомо было уменье вставать в театральную позу, украшать свои переживания фальшивой мишурой громких слов, лишенных истинного чувства, живой страсти. Быть может, еще ни разу в жизни ей не случалось произнести слово, которое не шло бы от сердца, и уж тем более в эту минуту. Она всегда угадывала, когда люди говорят не то, что думают. Угадывала у всех, кроме Робера: его она не знала. Самая сила чувства отдаляла их — меж ними лежал океан ее любви. Но в тот вечер ненависть, закипевшая в том, кого она так глубоко любила, рассеяла мираж; два берега океана приблизились друг к другу, Робер, настоящий Робер, оказался прямо против нее, смотрел на нее в упор. Она так ясно видела выражение его глаз, так ясно чувствовала всю ложь и наглость его слов. Душа его вдруг предстала перед нею обнаженной, — такою он никогда не решался ее показывать, а Роза до этой минуты отказывалась видеть ее такой, ибо страдала добровольной слепотою, которая поражает людей, исполненных высокого благородства и отдавших свою любовь низкому существу. Она знала теперь, что у него не вырвется ни единого

сердечного слова, что ничего, кроме притворного негодования, она от него не увидит, что он ждет не дождется, когда она уйдет. И еще до того, как она вышла за дверь, как поставила ногу на первую ступень лестницы, она уже ясно видела, что все кончено, что перед ней открылась страшная пустыня одиночества. Уйти, поскорее уйти. Но слезы слепили глаза, она не могла найти двери. Робер ничем ей не помогал — он упрямо смотрел в окно. Наконец Роза нажала дверную ручку, но оказалось, что дверь выходит не на лестницу, а в большую гостиную. Роза натолкнулась на какую-то застывшую у двери огромную тушу, увенчанную шляпкой, на которой колыхалась гроздь черного винограда.

— А я только что из благотворительного общества, — торопливо заговорила Леони Костадо. — Мне сказали, что вы у нас…

Как подобает благовоспитанной, хорошо вышколенной девице, Роза сделала реверанс и ответила звонким, спокойным голосом:

— Не беспокойтесь, мадам Костадо, я уже ухожу. Боюсь пропустить трамвай. Робер в маленькой гостиной.

— До свидания, Роза. Как у вас там, в Леоньяне? Все благополучно? Передайте, пожалуйста, от

меня привет маме. Совсем она забыла свою старую подругу…

Шагая по пятам за девушкой, Леони спустилась до площадки первого этажа. Она чувствовала, что следовало бы проводить Розу, не оставлять ее сейчас одну, ну хотя бы идти за нею немного поодаль. Она стояла в нерешительности. Но вот уже стукнула в подъезде дверь и Леони, вдруг обессилев, прислонилась к стене, не понимая, что с ней, почему она так волнуется. Впервые она столкнулась лицом к лицу с жертвой своих поступков. Обычно наши злые действия не являются перед нами в человеческом облике. Редко бывает, что наши преступления предстают нам в образе смертельно раненного ребенка.

Еще в дверях Леони крикнула сыну:

— Скорее! Беги, догони ее.

Он покачал головой, сказав, что уже поздно, не догнать теперь.

— Догонишь, если быстро побежишь.

Робер не решался взглянуть матери в лицо и молча вытирал руки носовым платком.

— Послушай, мама, зачем ты так?… Сама подумай… Конечно, это было ужасно. Но самое страшное уже позади.

Леони удивлялась его спокойствию. Неужели

он не видел, какое лицо у Розы. Нет, это невозможно. Значит, он просто не смотрел на нее.

Робер подошел к матери.

— Да перестань, мама, — сказал он вполголоса. — Я, право, тебя не понимаю. Ты недовольна?

Да, Леони была недовольна. Разумеется, она против этого брака. Но она вовсе не хочет, чтобы ее сын вел себя по-хамски. Ей стыдно за него. Неприятно краснеть за родного сына.

— Ну, знаешь, насчет логики у тебя всегда было слабовато. Ведь ты сама натравила меня, — пожалуйста, не говори, что это неправда! И потом вот что: ты вечно упрекаешь меня в бесхарактерности, а когда я набрался духу, проявил твердость, ты…

Мать оборвала его: «Перестань!» Разве эта грубость, это неуменье владеть собой — не от бесхарактерности, не от отсутствия воли? Что это, в самом деле! Ведь так можно довести до отчаяния бедную беззащитную девушку. А ведь очень легко было бы постепенно отстранить ее. Робер отвернулся.

— Возможно, ты и права, — сказал он упавшим голодом. — Я бил кулаком по чему попало, только бы скорее кончить. Ты слышала, что я ей говорил?

— Только последние твои слова. Но и этого достаточно. И к тому же я видела ее…

Помолчав, она спросила, куда направилась Роза. В Леоньян? Да, в Леоньян, и поехала одна, — он как-то не подумал об этом. Мадам Костадо сказала тихо:

— Боже! Нам не уснуть сегодня ночью!..

Робер предупредил ее, что он уходит и вернется поздно, совсем поздно. И пусть не спрашивают, куда он идет и что собирается делать. Ведь он теперь свободный человек. Это все же хорошо, несмотря ни на что, — он свободен! Свободен…

В ее сыне, таком послушном и замкнутом юноше, вдруг открылось что-то страшное, встревожившее мать; он смеялся. Он не был пьян, нисколько. Но ведь иногда мы бываем пьяны от наших поступков. А потом вдруг он уставился в одну точку и сказал:

— А как же Пьеро? Я и не подумал о нем… Он где?..

— Обедает сегодня в ресторане с каким-то приятелем. Ты же знаешь, я теперь не держу его на веревочке… Да он и не спрашивает у меня позволения.

Пришибленный вид сына возмутил ее. Робер твердил:

— А как же Пьеро? Ведь придется ему сказать…

— Послушай, Робер, это уж слишком! Ты ведь старший брат и не обязан отдавать ему отчет в своих действиях.

Робер покачал головой. Плохо мать знает Пьера. Даже и представить себе нельзя, что он способен выкинуть.

* * *

Он вышел, а Леони так и не вспомнила, что надо снять шляпу. Черные виноградины подрагивали над ее головой, в душе ее вдруг остановилась счетная машина и перестала отщелкивать цифры доходов, расходов, суммы смет на ремонт и починки, в воображении не вырастали неумолимые фасады доходных домов; умолкла тревога по поводу невозобновленного страхового полиса или платежной расписки, которую во что бы то ни стало нужно найти в пачке оплаченных счетов и прочих денежных документов.

Но то был лишь мгновенный проблеск. Она уже справилась с первым порывом чувств, и вновь в ней заговорило инстинктивное стремление «взять верх».

«Надо его поскорее женить, — думала она, — а то еще пойдет по следам Гастона. Довольно уж

одного шалопая в семье! А девушка? Что ж! — потеря не велика — найдем других. Такую найдем, чтобы у нее не висла на шее родня и было бы приданое. Надо подумать, какие у нас есть приличные партии. Конечно, не скажешь, что в городе богатые невесты кишмя кишат. Придется поискать. Только уж не в тех домах, где любят пускать пыль в глаза. А почему бы не поискать в деревенской глуши? В Ландах, например. Вот где надежное будущее! Сосновые леса входят в цену. Лучше без блеску, зато солидно, прочно… Все порвано, отрезано, — ну что ж, начнем заново».

Глава тринадцатая

В тот день Пьер вовсе и не думал обедать с приятелем, как он сказал матери; кроме Дени Револю, у него не было близких приятелей, с которыми ему было бы приятно пообедать в ресторане. Он зашел в портовый кабачок и пообедал один, заказав себе мидий, угря, салат и сыру рокфор; выпил рюмку коньяку и в одиночку осушил бутылку белого вина.

Он был уже пьян, но легким, приятным опьянением, ему хотелось тихонько бубнить строчки и строфы стихов. Голова оставалась ясной. В мозгу, как метеоры, проносились ослепительно яркие мысли. Тысячи тропинок открывались уму, удивительные сопоставления фактов, рождались глубокие суждения о литературе. Он ничего не записывал: не стоило ему при его богатствах подбирать алмазы, выпавшие из кармана. И без них достаточно останется, думал он.

Зато оказалось очень нелегким делом достать из кармана и отсчитать деньги, чтоб заплатить за обед, подняться со стула, пройти по прямой до гардеробной, выйти в дверь, не пошатываясь. А на улице, как надоевшая жена, поджидающая

мужа под окном питейного заведения, к нему опять привязалось одиночество — настоящее, будничное одиночество…

Он медленно пробирался в толпе прохожих, которых квартал Сен-Мишель выбрасывал из своих улиц на набережную; шел он, понурившись, обремененный своим богатством, которым не с кем ему было поделиться в этой гуще людей. Эх, если бы рядом шел Дени, дружок Дени с круглыми, как у совенка, глазами! Это ничего, что он никогда не отдаривал за те дары, что получал от друга. А кроме Дени, и нет никого. Роза не в счет. Роза скоро станет ему сестрой и, значит, будет недосягаемой, неприкосновенной…

Но ведь есть еще красота мира. Вот кончается гроза; в небе, затянутом серой пеленой, с криком носятся стрижи. Пустынная река несет к океану свои мутные воды. К пристани жмутся черные барки. Темно-зеленые молодые рощи венчают холмы. Красота мира — вот в чем утешение, думал Пьер.

Он шел по бульвару Фоссе, устремив вдаль свой поэтический взор, не замечая местных представителей человечества, которые без пиджаков, в подтяжках, раскиснув от жары, сидели на стульях у дверей домов. Словно ласточки, чер-

тившие небо своим полетом, мелькали в памяти и ускользали строчки написанных накануне стихов, на которые так хотелось взглянуть поскорее, развернув тетрадь по естествознанию, где они были нацарапаны на полях. Он упорно старался их вспомнить, и наконец все слова собрались в памяти, будто стайка пойманных диких голубей, которые беспокойно бьются о прутья клетки. Не замечая, что на него насмешливо смотрит девушка, остановившись на тротуаре, он бормотал нараспев свои стихи, декламируя жалобу Кибелы:

Ручьи, чей свежий плеск мне слышится повсюду,
Ключи веселые, бегущие в камнях,
Вы травы длинные у нимфы в волосах
Колеблете и мох, что ярче изумруда.
Но что вы для меня? Я зрю лицо твое
И алые уста, все в соке ягод винных.
В очах блестит слеза. И скорбный след ее
Ланиты бороздит, как глину гор пустынных.

Поглощенный своей поэмой, звучавшей в душе,

как звонкое гуденье улья, он дошел до соседней с его домом площади, на которой высился собор и бронзовый памятник во славу павших на войне 1870 года. Рядом с павильоном трамвайных кондукторов на скамье сидела женщина, похожая на Розу. Подойдя поближе, Пьер узнал ее, но все же не был уверен, что это действительно Роза. Он окликнул ее, она вздрогнула.

— Голова закружилась, — сказала она. — Наверно, от грозы. Вид у меня, должно быть, ужасный… Я только что от вас… Мне уже лучше, но вот последний трамвай я пропустила. Нет, нет, не беспокой Робера. Да его, впрочем, и дома нет — пошел к какому-то приятелю заниматься. Вот если б ты мог нанять мне извозчика.

Он вспомнил, что на улице Труа-Кониль есть извозный двор. Когда Пьер направился туда, Роза подошла к фонтанчику с питьевой водой и, намочив носовой платок, отерла глаза и лицо, вымыла руки. Подъехал Пьер в открытой коляске.

— Я, конечно, поеду провожать тебя. Ты что же думаешь, я пущу тебя одну в такой час, да еще когда ты так плохо себя чувствуешь? Мне приятно будет прокатиться за город ночью.

Роза вяло протестовала, у нее не хватало сил спорить. Пьер расположился рядом с ней, и вет-

хая коляска затряслась по мощеным улицам.

Роза вдруг стала необыкновенно словоохотливой и пустилась в разговоры, чтоб обмануть Пьера. Она сообщила, что дома, в Леоньяне, о ней, несомненно, не будут беспокоиться: ей уже два раза случалось опаздывать на последний трамвай. Отчаянно фальшивя, Пьер напевал: «Звезда вечерняя, мой милый огонек».

— Я, знаешь, немножко выпил. Только ты не думай, я не пьян, — торопливо добавил он. — А так, чуть-чуть… Как хорошо, что я с тобой еду!.. Нежданно-негаданно… В полях после дождя, должно быть, чудесно пахнет.

Он робко придвинул руку к маленькой холодной руке, лежавшей на подушке экипажа. Роза не отдернула руку. Сперва ее в ужас привела мысль, что придется до самого Леоньяна терпеть общество Пьера. Но теперь ей были даже приятны и его соседство, и тепло его большой руки: пусть ладонь его стала немного влажной, но Роза и не думала отдергивать руку. И он не удивлялся этому доверию. Запрокинув голову, он смотрел в небо, уже не закрытое крышами домов, широко распростершееся над полями, освеженными дождем. Из-за усадьбы Рабата выплыла луна. Глубокая нежность охватила Пьера и вместе с

тем кроткая умиротворенность. Это успокаивало его. Значит, он ничего не похищает у брата, когда держит в большой своей руке доверчивую девичью руку.

— Роза, — вдруг сказал он, словно подумал вслух. — Как по-твоему, дети могут любить? Ну, по-настоящему, любить?

Она коротко ответила:

— Не знаю, — и плотно сжала губы.

— Ты и представить себе не можешь, как я тебя любил… И всегда буду тебя любить. Только ты не смейся надо мной, — умоляюще сказал он. — Что хочешь говори, только не смейся. Конечно, мне еще только восемнадцать лет. Не смотри на меня, позабудь, пожалуйста, какая у меня физиономия.

— Зачем же мне забывать? — сказала Роза, не поворачивая головы. — Ты — вот такой, какой ты есть, — глубоко у меня в душе и навечно. Когда-нибудь ты станешь знаменитым, имя твое прославится по всему миру, а я тогда буду вспоминать, что ты был возле меня в этот вечер, именно в этот вечер. Никогда не забуду…

Она не могла договорить. В бурном порыве отчаяния, непреодолимом, как припадок падучей, все тело ее содрогалось от рыдании. Но это случилось в том месте, где дорога была вымощена

крупными булыжниками, и грохот колес, толчки старой колымаги помогли ей справиться с собой. Пьер ничего не заметил. Он сидел, откинув голову на кожаную подушку.

— Ты помнишь Понтэйяк? — спросил он. — Пляж в Понтэйяке… Уже два года прошло. Мы после купанья жарились на солнышке… Помнишь, ты еще обиделась тогда на меня за стихи, которые я тебе написал, ты не поняла, что речь-то шла не только о тебе одной… Я исходил от тебя, и логика поэмы приводила меня к мифологическому образу… Ведь даже и теперь я почти всегда исхожу от тебя…

Волна боли вновь прихлынула к сердцу Розы, поднялась высоко и готова была ударить, разорвать грудь. «Хоть бы он стал читать свои стихи, — думала она, — я бы тем временем успокоилась». А Пьер, смеясь, говорил:

— Забавно, что меня вдохновили тогда солнечные ожоги на твоей спине и плечах. Помнишь?

Я на груди твоей взволнованно искала
Следы объятий. Но промолвил ты: «Стрела
Полудня знойного мне кожу обожгла,
Рукой ударился во время сна о скалы».

Но, как пески пустынь, нагая плоть хранит

Следы горячих ласк, их оттиск в кожу вдавлен,

Так в сумраке лесов порой костер горит,

Среди прогалины охотником оставлен.

— А потом шли те самые строки, из-за которых ты рассердилась, тебе показалось, что опять там говорится про тебя.

— Сегодня я не стану сердиться, милый мой Пьеро. Прочти.

«Говори же, говори, — думала она, — не останавливайся». И когда он умолкал, она шептала одним дыханием, беззвучно, как ребенок, увлеченный волшебной сказкой:

— А дальше?

Он сказал наконец:

— Дальше? Дальше не помню наизусть.

Пьер замолчал, стараясь припомнить, и тогда ему показалось, что он услышал рыдание. Он повернулся, посмотрел на свою соседку. Роза сидела, запрокинув голову, ему видны были только ее вытянутая шейка и тонкая линия подбородка. Никаких тревожных признаков. Она сказала

спокойно:

— Читай, читай. Я не сплю, слушаю.

Пьера удивил надтреснутый звук ее голоса. Он подумал, что она взволнована этим ночным путешествием, этими благоухающими полями, напоенными дождем, лунным светом, разлитым вокруг, и, может быть, взволнована его стихами. Ведь она сама взяла вдруг его руку и крепко сжала.

— Ну, что ж ты? — настойчиво сказала она. — Читай с того места, которое помнишь.

Он прочел шесть строк.

О боль сладчайшая, в глубины проникая,

Ты разжигаешь вновь извечный голод мой,

В себе я кровь твою, как реку, ощущаю,

Как волны бурные, ток страсти роковой.

Когда б иссяк во мне поток любви мятежной!

Когда б извергла я из недр твой образ нежный!..

И тотчас оборвал чтение — на этот раз ошибки

быть не могло: рука, лежавшая в его руке, дрожала, дрожала от кисти до плеча, дрожало и все тело Розы.

Она прошептала:

— Кончено! Все кончено!

Сначала он не понял и, притянув ее к себе, спросил:

— Что кончено?

И не сразу он догадался, что она говорит о Робере.

— Он бросил меня, больше не любит. Все кончено.

Пьер с негодованием крикнул:

— Как это «кончено»? Что ты! Ничего не кончено! Вот увидишь! Завтра же я притащу его к тебе. Он на коленях приползет — слышишь, на коленях!

Роза качала головой, шептала жалобно:

— Ничем ты мне помочь не можешь! И никто не поможет. И сам он ничего с собой поделать не может. Разлюбил, и все тут. Мертвого не воскресишь. Ах, если бы ты только видел его, если б слышал!..

* * *

Редко бывает, чтоб человек знал, в какой именно день и час, на каком повороте пройденного пути целый кусок его прежней жизни вдруг отпал, и еще расплывчатые, по-детски мягкие черты его облика внезапно и раз навсегда определились, стали взрослыми. До конца дней своих, быть может, до самого последнего мгновенья, Пьер будет помнить, так ясно и зримо помнить крутой подъем на пригорок, перед поворотом на проселочную дорогу, и то, как лошадь сама пошла тогда шагом, и как двигалась по откосу дороги тень коляски и кучера, сидевшего на козлах; всегда он будет помнить и шорохи грозовой ночи, и влажный воздух, и шепот Розы, защищавшей его брата, но невольно бросавшей тяжкие обвинения тому, кого хотела она оправдать.

Пьер слушал, стиснув зубы; отвращение, гадливость, смешанная с презрением, камнем навалились ему на грудь, и происходивший в нем внутренний перелом был так глубок, что в эту минуту все другие чувства замерли в его сердце, он даже не испытывал жалости к бесконечно любимой девушке, которая горько плакала, роняя слезы на его пиджак, — ведь она принадлежала

к тому миру, который он хотел отринуть от себя, ведь нельзя отделить паука от мухи, нужно было все и всех отбросить от себя — и палачей и жертвы, — все уничтожить; во что бы то ни стало вырваться из их мира, больше не принадлежать к нему. Вновь его охватило и подняло над житейской грязью и пошлостью то самое возбужденное состояние ума, которое вызывало в нем легкое опьянение. Мучительная скорбь души, искавшей у него утешения, не мешала ему видеть так же ясно, как дорогу, блестевшую при луне, два выхода, в выборе которых он до сих пор колебался: отдаться ли самосовершенствованию, махнув рукой на устройство общества, или же в корне изменить устройство общества. Найти путь к богу через самоуглубление или же, презрев свое моральное совершенствование, бесповоротно посвятить себя делу разрушения, пробивать ударами тарана обветшалые стены старого общества, объявить войну не на живот, а на смерть всем Костадо в мире, и пускай все взорвется, пускай все полетит к черту…

— А я еще зачем-то напомнила ему об этом несчастном ремонте, — журчал голосок Розы (чтоб не привлекать внимания извозчика, она говорила таким тоном, словно вела самый

обыденный разговор). — Он подумал, что у нас заговор, может быть, даже подумал, что я хочу обмануть его. И потом, знаешь, я ведь так подурнела, он стыдится меня. Мне бы надо было теперь особенно ухаживать за собой и кокетничать, раз я стала продавщицей…

Пьер прервал ее:

— Довольно, замолчи ради бога!.. Это просто ужасно!..

Она подумала, что ему тяжело все это слышать из жалости к ней. А он мысленно говорил: «За каждое из таких постыдных чувств следовало бы казнить. Должно существовать совсем другое правосудие. Надо наново переделать мир, чтоб такие расчеты стали немыслимы…»

Одолев подъем, лошадь опять побежала рысцой. Пьер заметил вдали у перекрестка дорог неподвижную фигуру. Боже ты мой! О Дени мы и позабыли!

— Вон он стоит у дороги. Стережет… Как же теперь быть? Как ему сказать?

К великому его изумлению. Роза засмеялась деланным смехом.

— О! — воскликнула она. — Не беспокойся, пожалуйста, его не очень-то огорчит этот разрыв, вот увидишь! Пожалуй, он даже и не удивит-

ся… Я кое о чем догадываюсь, — добавила она шепотом.

Пьер запротестовал:

— Ну что ты, Роза, что ты, милая… Нет, нет!

Значит, он ее понял? Он тоже догадался? Боясь перебудить всех в доме, Роза велела извозчику остановиться и подождать на шоссе. Дени бросился к ним.

— Что-нибудь случилось?

— Да, кое-что случилось, — ответил Пьер, помогая Розе сойти с подножки. — Сейчас тебе объясним…

Дени узнал его и, не протягивая ему руки, сказал взволнованно и раздраженно:

— А ты зачем здесь? Ты ее провожал? Вы одни ехали?

В это мгновение Пьер Костадо ясно увидел, коснулся и как будто даже подержал в руке тот острый камень, о который ударилась и навсегда разбилась его дружба с Дени, его нежная привязанность к Дени. «Ах так? Значит, и это тоже предстоит вырвать с корнем, сжечь, уничтожить! Это тоже частица того мира, который надо разрушить». Они шли по дороге в ряд, все трое — Роза посередине, Дени и Пьер по бокам. Дени настойчиво переспросил:

— Почему тебе вздумалось провожать ее? А что же Робер?..

И он умолк, произнеся ненавистное имя. Но если б он даже не угадал все с первого взгляда по изменившемуся до неузнаваемости личику сестры, для него достаточно было поцеловать щеку, которую она подставила, почувствовать горечь жгучих слез на этой пылающей худенькой щеке… Роза сухо сказала:

— Больше никогда не говори о Робере. Слушай, вот в двух словах вся правда: он не любил меня настолько, чтобы принять все трудности, все неудобства такого брака. Мы разошлись с взаимного согласия. Вот и все. Больше говорить нечего.

— Да, сейчас не стоит говорить, — буркнул Дени, — но когда мы будем одни, мне думается, я смогу задать тебе один вопрос?

Роза тяжело вздохнула:

— Говори уж сразу. Чем скорей, тем лучше.

— Нет, при чужих не стану говорить.

Они уже подошли к воротам. Пьер, как клещами, сжал руку Дени выше локтя, тот крикнул:

— Пусти, скотина!

Но Пьер стиснул ему руку еще крепче.

— Послушай, — сказал он, — с этой минуты ты

мне действительно чужой. Но я хочу при тебе еще раз сказать Розе, что я отдаю в полную ее власть и самого себя и все, что у меня есть в этом мире… Где бы я ни был, куда бы ни укрылся, она всегда будет знать мой адрес и как найти меня, если она пожелает.

Роза неподвижно стояла на дороге, оцепеневшая, ничего не замечая вокруг.

— Оставьте вы ее все: и ты и твои родичи! Вот самое лучшее, что вы можете сделать для нее. Вы всегда приносили нам только горе — и ей, и всем нам приносили горе.

— Но ведь и ты, Дени, приносишь ей горе… Если она когда-нибудь устанет от твоей защиты, захочет избавиться от твоего покровительства и ей нужна будет помощь друга…

Дени замахнулся на него, но Пьер схватил на лету его хилую руку. «Дени!» — крикнул он, и звук его голоса совсем не соответствовал этому гневному движению. Он выдержал пристальный взгляд Дени, смотревшего на него в упор, взгляд связанного волчонка. Быть может, Пьер прощался в эту минуту со своим другом, который был ему когда-то дорог, и с жалостью глядел в глаза этому слабому существу, в смятении стоявшему перед ним, полному смутных, неизъяснимых чувств,

которые люди не могут выразить словами.

— Прощай! — сказал Пьер и быстро побежал к большой дороге, где светились в темноте фонари коляски.

* * *

— Вот скотина! — воскликнул Дени, потирая себе руку. — Да, я о чем-то хотел тебя спросить, — бурчал он, поднимаясь вслед за Розой по ступенькам веранды. — Ах, да… Каким это образом Пьер оказался вместе с тобой в этой колымаге?

Они уже были у дверей бильярдной. Роза обернулась.

— Перестань, Дени. Не знаю, как я еще на ногах держусь, как это сердце еще бьется… Уйди, оставь меня. Завтра надо вставать чуть свет, опять ехать на работу. Ну конечно, надо… конечно. Ведь теперь у вас никого, кроме меня, нет. И мне надо выдержать во что бы то ни стало! Не знаю, что со мной будет завтра утром, но в шесть я должна быть на трамвайной остановке…

Дыхание у нее перехватило, она умолкла и, пройдя через бильярдную, взяла в передней одну из горевших там свечей. Дени шел за ней по пятам.

— А я-то на что, Роза? Ведь я тут, я всегда буду

с тобой.

— Ты?!

Она пожала плечами. Хватаясь за перила, стала подниматься по лестнице. Разве близкие в силах нам помочь, когда рушится любовь? Никогда еще никто в час крушения любви не находил помощи ни у брата, ни у отца, ни у сына. Круг нашего ада для них закрыт. Роза нежно любила брата, но ни единой каплей целительной влаги он не мог освежить ее запекшиеся от жажды уста. В ту минуту Дени понял, что этот разрыв не только не возвращал ему сестру, но, быть может, отдалил ее от него. Мучения, виной которых был Робер, разлучили ее с братом; отчаяние ее было, словно беспредельное море. Дени оставалось лишь одно: броситься на голый песчаный берег и смотреть, как она страдает.

* * *

На обратном пути Пьер сам с собой разыгрывал сцену объяснения, которого он решил потребовать от брата немедленно, не откладывая до утра… Нет, нет, ждать он не станет, ворвется в спальню этого негодяя, без церемоний растолкает его и скажет… А что ему сказать? Ну, это еще надо обдумать. Еще успеется. И, откинув голову на ко-

жаную подушку, наш путник смотрит в высокое небо, где уже заходит луна, затмевая своим сиянием последние звезды, и кажется ему, что ехать надо долго-долго, дороге нет конца… Но вот уже стук колес будит заснувшее предместье. Тусклые, как ночники, фонари еле освещают улицы, кое-где в жалких домишках, объятых мертвым сном, черным прямоугольником выделяется раскрытое настежь окно. У ворот стоят ящики с отбросами, ждут, когда проедет со своей телегой «золотарь».

Показался угрюмый фасад дома, где родился Пьер и где он совершит сейчас то, что задумал. Не постучавшись, он вошел в комнату Робера, но, еще не чиркнув спичкой, понял, что там никого нет. Постель была постлана, на столе все аккуратно прибрано. В комнате стоял хорошо знакомые Пьеру запах табака, крепких духов и другой, какой-то звериный запах, который он помнил с самого детства. Что ж, зверь в конце концов вернется в свою берлогу, где бы он ни охотился в эту ночь.

Пьеру ужасно хотелось спать, но он решил дождаться брата. Он сел в глубокое мягкое кресло, где так часто свертывался клубочком в детстве, и, чтобы не заснуть, стал считать визитные карточки с приглашениями, засунутые за раму зеркала,

потом принялся обдумывать, фразу за фразой, обвинительную речь, которую он собирался произнести. Да нет, лучше положиться на вдохновение… Но как трудно было бороться со сном! Глаза слипались. Иногда с улицы доносились шаги, и казалось, вот-вот они стихнут у парадного, — но нет, они не останавливались. Все ближе цокали по мостовой конские копыта, и лошадь как будто задерживалась у подъезда, — но нет, тяжелой рысцой она бежала дальше. Мысли Пьера уносились далеко от цели его ночного бдения, в памяти всплывала то одна, то другая строчка из «Атиса» и вдруг (какая гнусность!) ему в голову пришла идея: Кибела превращает Атиса в молодое деревцо — но не для того, чтобы отомстить неверному, нет, она хочет вечно обладать им, и чтоб он вечно обладал ею, — пусть они будут слиты, как земля и растения. И, отдавшись своим поэтическим грезам, он все дальше отходил от Робера, вдруг ставшего Атисом, и от Розы, ставшей Кибелой.

У порога послышались чьи-то нерешительные шаги, которые Пьер, несомненно, сразу узнал бы, но он их не слышал. Отворив дверь, Робер увидел, что брат спит в кресле, припав к спинке правой щекой. Заметив его, Робер готов был убе-

жать. Но к чему? Все равно не сегодня, так завтра придется выдержать столкновение с этим бешеным мальчишкой. Кто же ему успел сказать? Робер протянул было руку, хотел его разбудить. И не решился. Над спящим братом он увидел себя самого в зеркале, врезанном в шкаф. Как он провел ночь — нельзя прочесть на его лице. И глаза не опухшие, такие же, как всегда. На лбу — ни тени заботы, ясное безмятежное чело. Свет зари, проникающий сквозь решетчатые ставни, зажигает искорки в рыжеватых волосах. На крыше заворковал голубь. В сквере Пэй-Берлан проснулись все воробьи разом. Пьер спал, слегка приоткрыв рот, дышал спокойно, ровно. Спала ли Роза в этот час? Хватило ли у нее сил сорвать с себя одежду и вытянуться в постели? Может быть, Пьер что-нибудь узнал о ней через Дени? А вдруг случилось несчастье?..

— Пьеро! — окликнул он брата. — Пьеро, что случилось?

Юноша открыл глаза, взглянул на брата сонным взглядом и ласково ему улыбнулся, но вдруг, все вспомнив, крикнул:

— Негодяй!

Робер, как будто и не слыша, допытывался — знает ли он что-нибудь о Розе. Пьер поднялся

с кресла.

— Я ее видел, проводил ее до Леоньяна. Можешь не хныкать — она жива и почти спокойна. Прежде чем уйти от всех вас, я хотел тебе сказать, что ты негодяй, я отрекаюсь от тебя, ты больше не брат мне…

— Ну что ты, Пьер!.. Какие громкие слова, малыш!

Из чувства самозащиты Робер безотчетно, без всяких размышлений заговорил с нежной грустью, в голосе его зазвучали теплые нотки, всегда располагавшие к нему сердца. Пьер сразу размяк. Ведь перед ним был любимый старший брат. «Погоди, вот я пожалуюсь старшему брату, он тебя побьет», — так говорил он пятилетним мальчуганом, когда озорники постарше колотили его. «Вот я пожалуюсь старшему брату», — и всегда он имел в виду Робера, о Гастоне он даже и не вспоминал. И теперь так трудно было выдержать молящий взгляд Робера, — ведь в детстве Пьер обожал его за то, что он «такой большой, такой сильный и такой красивый». И до сих пор у Робера такой же, как в детстве, ласковый, хотя несколько вялый взгляд, бархатные глаза и вкрадчивый голос.

— Почему ты это сделал? — горестно спросил Пьер.

Робер слегка развел руками, беззвучно прошептал что-то, а когда Пьер проронил: «Деньги?» — старший брат пожал плечами.

— Нет, Пьеро… Ты только пойми…

Но как может понять и простить восемнадцатилетний строгий судья убожество души у человека двадцати трех лет, снизойти к его слабости, скрытой под такой великолепной уравновешенностью и физической силой? Готовясь к этому объяснению, Робер немало передумал минувшей угарной ночью. Голова у него нигде не бывала такой ясной, как в злачных местах и в подозрительней компании. Среди подонков общества можно не стесняться, и этот безвольный красавец чувствовал себя свободно только близ женщин, которые уже никого не видят, не различают своих случайных клиентов.

Итак, Робер не один час раздумывал над совершенным поступком. И он мог бы ответить брату: «Разумеется, в конечном счете вопрос решили деньги: я вовсе не хотел тащить на себе всю эту семью. Однако не одни только деньги сыграли тут роль. Надо всем возобладали низменные аппетиты и боязнь, что придется их сдерживать, подавлять, если в мою жизнь навсегда войдет такое чистое существо, как Роза. Пока я ее любил, то

есть желал, как самую обыкновенную женщину, я мог бороться с той частицей моего „я“, которая с ужасом отталкивала ее. Но с тех пор как она обеднела, должна работать, превратилась в какую-то жалкую продавщицу, она больше меня не волнует, и каким же теперь стал убедительным слегка притихший было голос искушения: „Если рядом с тобою всегда будет столь возвышенная девица, — конец нашим с тобой наслаждениям, или же мы будем уступать соблазнам лишь тайком, с чувством стесненности и стыда. Не избежать тебе ее, как говорится, благотворного влияния на твою жизнь, и ты будешь обречен на жертвы, на бедность, на великодушные поступки. Ты ведь знаешь, насытить меня стоит не дешево, пожалуй, и не хватит всех твоих средств, чтобы удовлетворить мои требования, к тому же у тебя уже не будет больше свободы, ты не сможешь все бросить и бежать туда, куда я тебя повлеку“.»

— О чем ты думаешь, Робер? Тебе нечего мне сказать?

Робер вздрогнул, мгновение испытующе смотрел на брата… Нет, сказать все это невозможно, немыслимо.

— Что ж, Пьеро… Мне нет оправданья, — пробормотал он. — Я и не стану оправдываться. Хочу

только, чтоб ты простил меня... А тебе нечего мне сказать?

— Скажу. Как только кончатся экзамены — все равно, провалюсь я или выдержу, — уйду из дому. Ты, думаю, ждал этого.

Робер опустил голову. Это должно было случиться. «Да так оно и лучше, — говорил в его душе все тот же голос. — Прочь с дороги еще один свидетель, слишком любящий и слишком требовательный свидетель и неподкупный судья. Этот юнец, твой младший брат, стеснял меня. Пожалуй, он еще больше, чем Роза, требовал бы от тебя душевного благородства или некоего его подобия. Раз уж Роза уходит из твоей жизни, так пусть и он исчезнет — пусть не видит, как мы опускаемся все ниже, ниже и бежим, ускользаем через подземный ход. Все складывается к лучшему, не то он, чего доброго, стал бы уговаривать тебя вернуться к брошенной девчонке. А ты ведь такой слабохарактерный! Не дай бог, еще он убедит тебя. А, впрочем, нет, твой Пьеро даже и не делает попыток к этому, — он словно предчувствует, что таится в твоей душе, что дает тебе силу отказываться, он каким-то чутьем угадывает мое присутствие. Поплачь — я разрешаю, поплачь — ведь ты навсегда теряешь нежно любимого

младшего брата. А втихомолку порадуйся, что больше уж не будет свидетелей твоих утех, вернее, наших с тобой утех и мы теперь без помехи будем блаженствовать до самой смерти».

Робер плакал, облокотившись о спинку кресла и закрыв лицо руками. Когда же он отвел руки, Пьера в комнате уже не было. Первые лучи солнца, пробиваясь сквозь жалюзи, освещали все углы этой страшной комнаты и все темные закоулки этой погибшей души.

Глава четырнадцатая

— Да вы не беспокойтесь, мадемуазель Ланден, — сказала консьержка, — я вам донесу чемодан. У меня ведь силы-то побольше вашего, да и дело мне привычное.

— Ах, пожалуйста, мадам Жозеф, не спешите, а то надорветесь. И так уж трудно подниматься по лестнице, а тут еще с такой ношей! Я, знаете ли, всегда сама себя обслуживаю и нисколько этого не стыжусь. Но надо правду сказать: пока я гостила у брата, он мне ни к чему не позволял притрагиваться. Ведь у него как теперь заведено? Подумайте только: живет один, а держит и камердинера и кухарку. Вы, наверно, думаете: откуда же у него такое солидное положение? А он, знаете ли, ведет у мсье Эдгара Салема все тяжбы. Мы с вами, моя дорогая, женщины простые, нам и не понять всех этих мудреных дел. Мсье Салем, знаете ли, издает несколько газет высоконравственного направления. Мой брат говорит, что их назначение — бичевать современные нравы. Теперь ведь кругом столько грязи, столько грязи! Просто ужас! Мсье Салем нанял к себе на работу людей разных взглядов для того, чтобы его газе-

ты никому не мирволили. Так у него спокойнее на душе: не будет того, чтоб одним спускать, а с других взыскивать. Он, знаете, никого не боится, нападает и на тех, кто в большой силе. А закон-то, разумеется, на их стороне — на стороне сильных. Что ж удивительного! Ведь они сами же издают законы. И вот тут-то мой брат показывает свой талант. Уж он-то во всех судебных тонкостях собаку съел. И надо сказать, мсье Салем не какой-нибудь неблагодарный, вроде покойного Оскара Револю, — нет, он умеет ценить услуги и все твердит: «Ах, — говорит, — Ланден, что бы я без вас делал!»

— Да уж чего там! — вставила свое слово консьержка. — Известное дело, мсье Ланден хитер. Поди, держит своего хозяина в руках…

— Хитер? Ну уж нет! Сразу видно, что вы моего брата плохо знаете. Бедняжка Луи! Да ведь первый встречный мальчишка его надует. Боюсь я за него! Из-за своей простоты умрет он в нищете. У него вот завелись теперь лишние деньги, и как вы полагаете, куда он их девает? Думаете, пускает в оборот, пользуясь своей осведомленностью? Ничего подобного! Занялся благотворительностью! Подумайте, основал и на свой счет содержит пансион для молодых иностранцев, приезжающих в

Париж Для юнцов моложе двадцати лет, — надо же предел поставить, сами понимаете. Бедняков там, конечно, куда больше, чем богатых, отбою нет. Вы и представить не можете, до чего мой брат любит простой народ…

— Зачем же для иностранцев, мадемуазель Ланден? Неужели мало еще они нас объедают? Уж лучше бы французам помогать.

— Тут я с вами согласна. Как-то раз я то же самое сказала брату, но у него на этот счет свои взгляды. Он находит, что молодые французы все распущенные, невоспитанные и совсем не умеют себя держать. Но он и им тоже сочувствует. Да и кому только он не сочувствует! Вы бы послушали, что о нем говорит консьержка. «Вот, — говорит, — негордый человек. Рассказываешь ему про то, про се, он слушает, расспрашивает: про старшего сына спросил, который на военной службе, и про младшего, который к первому причастию скоро дойдет. У самого столько забот, столько хлопот, беспокойства, а ты ему хоть до утра рассказывай про всякие свои домашние дела, и он все будет слушать, и так внимательно слушает: одно удовольствие рассказывать, видно, что ему все интересно. А какие он советы дает! Самые разумные. Муж у меня выпивает, так мсье Ланден учит

его — не пей. Нет, это не человек, а сущий ангел! Вот он каков, ваш брат, мадемуазель Ланден. У него, — говорит, — и глаза-то какие-то небесные». (Надо вам сказать, наружность Луи очень даже изменилась к лучшему: он сбрил бороду и стал просто красавцем.) И вот еще что консьержка говорит: «Когда он переехал в наш дом, у меня, — говорит — ребеночек заболел менингитом и умер. Ваш братец, — говорит, — сколько раз тогда приходил навестить меня; придет, встанет около колыбели и все смотрит, то на моего бедного малютку, то на меня. Конечно, все тогда были добры к нам, но какое же сравнение! Заглянут, скажут что-нибудь сочувственное и уйдут. А он сидит с нами, смотрит, как мы страдаем».

Тут мадемуазель Ланден сняла, наконец, шляпу и, высунувшись из окна, поглядела на шумную улицу, залитую июльским утренним солнцем. Ночью прошел грозовой ливень, на тротуарах стояли еще не высохшие лужи.

— Удивительно мне только, — сказала консьержка, уже берясь за дверную ручку, — удивительно! Такой добрый, жалостливый человек, а занимается сутяжничеством в суде. Ведь уж тут надо иметь волчьи зубы…

Мадемуазель Ланден хотела было ответить, но

спохватилась — сорочий глаз консьержки вовремя охладил ее порыв. Ах, всегда эта слабость, эта жажда вызывать восхищение у людей, стоящих ниже тебя! Никак она не может держать их на почтительном расстоянии. Брату, слава богу, нечего скрывать, но ведь он все-таки велел ей держать язык за зубами, никому не говорить о том, что она видела в Париже. Она обещала молчать, а что получилось? Как-то несолидно, неловко! Не может сдержать своего слова — только приехала, еще не успела снять шляпку, а сразу же принялась болтать.

— Вы уже уходите, мадам Жозеф?

И мадемуазель Ланден поспешила вернуть консьержку, решив новым доверительным сообщением сгладить дурное впечатление, которое могли произвести ее слова на эту женщину, смиренную, подобострастную, но втайне, может быть, и недоброжелательную особу.

— Я, знаете ли, мадам Жозеф, о своем брате готова хоть до самого утра говорить. Ведь это какой человек? О себе нисколько и не думает, все для других, все для других. Когда он жил в бедности, за гроши гнул горб ради этих бессовестных Револю, он в ту пору готов был для них наизнанку вывернуться. А представьте себе, сколько он

может сделать добра людям теперь, когда у него денег куры не клюют!

— Денег куры не клюют! — Консьержка всплеснула руками. — Вот счастливец! Везет же некоторым людям. Право, счастливец!

— Он, дорогая моя, очень уж чувствительный, где же тут быть счастливцем! Постоянно его огорчают. Он не может переносить нехороших поступков, у него за все душа болит. Слишком в нем много благородства, не может он мириться с тем, что в жизни столько творится безобразия, и потому беспрестанно страдает. Истинная правда! Я бывало спрошу: «Луи, все у тебя есть, что душе угодно. Почему же ты такой печальный?» А он отвечает: «Фелиция, удел людской — одиночество. Испокон веков одинок человек!» И ведь это правда, мадам Жозеф, но видят ее лишь избранные души.

— А я так думаю, — сказала консьержка. — Незачем быть очень уж хорошим. Ну что бы мсье Ландену хоть разок в месяц кутнуть как следует для прочистки души и тела…

— Позвольте вам сказать, дорогая, это все очень тонко… вам не понять!..

— А что ж, ваш брат святой, что ли?

Мадемуазель Ланден ответила, что, конечно,

ее брат не святой, есть и у него маленькие слабости. И тут сорочьи глаза консьержки загорелись любопытством. Она уже раздумала уходить, заинтересовавшись, какие же могут быть слабости у такого добродетельного человека.

— А ну-ка, ну-ка, — приставала она, — скажите, мадемуазель Ланден, какие за ним водятся грешки. Хоть один опишите. А-а, вам неловко!

— Да нет, пожалуйста. Как покопаешься, найдутся. Ну, вот, например, случается — правда, очень, очень редко, — случается, что он, как ему кажется, поступает по справедливости, по совести, а на самом-то деле — из мести, по злопамятству… Взять хотя бы такое дело… Вы про Регину Лорати слыхали? Ну, та самая… балерина из оперного театра, из-за которой Оскар Револю разорился. Как с ним стряслась беда, Регина удрала в Париж со старшим сыночком мадам Костадо… Так вы подумайте только, что ей подстроил мой брат! Взял да и напустил на нее все газеты мсье Салема. Они и давай ее травить. Что ж получилось? Из Комической оперы ее выставили, из Олимпии ее выставили… Я говорю брату: «Послушай, Луи, ты не ради справедливости так поступаешь. Хоть твой хозяин и умер, а как будто ничего и не переменилось, ты ему по-прежнему

подчиняешься, и это он заставляет тебя мстить за него». А он и слушать меня не стал. Конечно, отчасти он так поступил из добрых чувств, если только можно назвать добрым чувством, что он чтит память своего эксплуататора. Я потому и рассказала вам эту историю, чтобы вы убедились, что у моего брата есть свои недостатки, а все-таки он замечательный человек.

— Еще бы не замечательный! Вон сколько денег зашибает!

Выразив свое мнение, мадам Жозеф распростилась с жилицей, получив в ловко подставленную и ловко отдернутую ладонь серебряную монету достоинством в один франк.

Совсем позабыв о своих чемоданах, Фелиция Ланден в отчаянии бродила по комнатам, стараясь припомнить, что она сейчас наговорила. Право же, не ее вина, если ей всю жизнь не с кем поговорить и приходится «отводить душу» с первым встречным. Господь бог все видит, он-то знает, что она вовсе не хотела повредить брату, — все ее рассказы, приукрашавшие действительность, предназначались к возвеличению его славы. Дай-то бог, чтоб в парижском существовании ее брата не оказалось ничего дурного. Какая-то подозрительная у него жизнь. Но будет

просто ужасно, если проскользнул хоть намек на это в доверительном разговоре, который она вела сейчас с консьержкой, особой недостойной такой чести и, быть может, опасной. Вот что значит семейное сходство характеров: и она и брат чересчур уж негордые люди и всегда запанибрата с простонародьем. Однако надо сказать, она мужланов совсем не любит и мечтала завязать через брата знакомства в хороших домах. Но он нисколько не старался создать сестре положение в обществе. А как Луи обидел ее, когда она приехала к нему в Париж! Погостила у дорогого братца неделю, и вдруг пришлось срочно «вытряхиваться» в гостиницу. Сколько она крови себе испортила, как расстраивалась! И все из-за того, что не с кем было поговорить, поделиться своими наблюдениями. Ее просто распирало от всего того, что она подглядела, подслушала или угадала, и надо же было дать выход своим чувствам. Будьте уверены, в благотворительности она знала толк, потому что всегда помогала в своем приходе устраивать разные добрые дела. Ну так вот, она считает, что ее брат несет свое апостольское служение ближнему как-то уж очень неосторожно. Все-таки она удержалась, не рассказала консьержке, что Луи отправил ее в

гостиницу после бурной сцены, когда она высказала ему горькую истину: «Ты, верно, думаешь, что все люди на тебя похожи… Ну зачем ты всякой шантрапе делаешь добро? Неужели надеешься, что бандиты станут ягнятками! Вот попомни мое слово: они тебя когда-нибудь ограбят и зарежут!» А он заткнул себе уши, выбежал из комнаты и кричит своему камердинеру: «Пускай она сейчас же собирает свои пожитки и вытряхивается отсюда». Вот как он ее унизил, да еще перед лакеем. Но такого рода неприятности мадемуазель Фелиция Ланден предпочитала все же держать про себя и ни с кем, даже со своей консьержкой, не стала бы о них откровенничать.

Глава пятнадцатая

— Провалился! — крикнул Дени сестре, пробиравшейся сквозь толпу юношей, которые теснились у вывешенного списка.

— Да что ты! Не может быть!

Он потащил Розу к выходу, она едва поспевала за ним.

— Знаешь что, Дени? Давай поедем домой на извозчике. Я хочу прокатить тебя в коляске.

Дени проворчал раздраженно:

— Обойдемся без колясок…

Роза не посмела его уговаривать. Они отправились к остановке на углу улицы Кюрсоль, стали ждать трамвая. Надвигалась гроза, было душно, солнце, закрытое тучей, нещадно палило. Из соседней больницы несло карболкой. Весь квартал Сент-Элали был пропитан этим запахом. Как хороший пловец, который сильными взмахами рук разрезает волны, Роза пыталась вырваться из захлестнувшей ее пучины горя, приблизиться к брату. «За три недели первый раз вспомнила обо мне», — думал Дени. Но и в эту минуту она не могла найти нужных слов и очень некстати спросила, выдержал ли экзамен Пьер Костадо.

— Кажется, выдержал, — ответил Дени.

Он сам себе удивлялся, почему для него так мучительна эта неудача, таким унизительным кажется то, что он не выдержал экзаменов на аттестат зрелости. Вспомнилось, как хорошо о нем отзывались учителя в коллеже, а потом в лицее, где он учился в последнем классе. Но какое это имеет в конце концов значение? Все равно дальше учиться нельзя. Леоньян продадут, надо искать себе место, служить.

— Ну, раз уж по математике были письменные экзамены, то неудивительно, — сказала Роза.

Он промолчал — не хотелось говорить об экзаменах. Нет, провалился он не по математике, а по философии, — и провалился оттого, что отвечал «своими словами», а не по учебнику и высказывал свои собственные суждения.

На бульваре пересели в другой трамвай. Роза уже вновь отдалилась от брата, вновь стала чужой, она все думала — и не могла не думать — о том мгновении, когда сломалась ее жизнь. «Уже успела позабыть про мое несчастье!» — возмущался Дени. Провалиться на экзаменах — не такая уж страшная беда, но в семнадцать лет первая неудача воспринимается болезненно. В душу закрадывается сомнение в своих силах, боишься,

что ты не такой ловкий, как другие, может быть, даже глупее, хуже их, и внезапно рождается убеждение, что ты никогда не будешь принадлежать к числу победителей, хозяев своей судьбы…

И все же, если б Роза взяла его за руку, посмотрела бы на него, как бывало, долгим ласковым взглядом, который он так любил, если б она разделила с братом его горе, поплакала вместе с ним, этот вечер не был бы для Дени таким грустным и, пожалуй, сладостна была бы его печаль… Неужели навсегда Роза будет замкнута, как в темнице, в своем страданье, будет томиться в тесном закоулке жизни, терзаясь муками, виновником которых был Робер, такое жалкое, такое ничтожное существо?

* * *

Мать, по-видимому, была удручена провалом Дени больше, чем он ожидал: это оказалось для нее еще одним разочарованием, новым треволнением среди других тревог, мучивших ее в это время. Надвигается зима, и Леоньян придется продать, так как не на что починить крышу… Если б Дени выдержал экзамен на аттестат зрелости, легче было бы пристроить его на службу. А что если он и в октябре провалится? Стоит ли

ему упорствовать дальше? Не лучше ли бросить ученье? Как притоки большой реки, поглощаемые ее водами, все беды и огорчения Люсьенны Революю, начиная с расстроившейся свадьбы дочери, терялись в неминуемом несчастье — продаже Леоньяна. Живя в своей усадьбе, она не чувствовала себя разоренной. Но маленькая квартирка за две тысячи франков, которую не так-то и легко найти в Бордо, была в ее глазах воплощением безысходной нищеты. Кроме того, мадам Революю начинало беспокоить и пошатнувшееся здоровье, появились тревожные симптомы, предупреждающие о страшном недуге, но она никому об этом не говорила. А если она умрет, что будет с Жюльеном? Ему опять стало хуже, он больше не выходит из своей комнаты. Мать надрывалась, ухаживая за ним, и никогда не слышала от него ни слова благодарности. Теперь он уже не замыкался в угрюмом молчании, как в первый период болезни, напротив, он вел бесконечный монолог, жалуясь на свою горькую судьбу и во всем обвиняя бедняжку Розу. Подумайте только, какое счастье было у нее в руках, а она его упустила! После их ужасной катастрофы руки этой глупой девчонки попросил не кто-нибудь, а Робер Костадо, и она не сумела его удержать возле себя. Вот к

чему привели ее претензии. Все хотела прослыть образованной, интеллигентной девицей. Ну что, скажите на милость, здоровому малому делать с каким-то синим чулком? Не удивительно, что он от нее убежал. Теперь вот не вернешь. Рухнуло неслыханное, нежданное счастье. «А мы плати за разбитые горшки!»

* * *

Роза спросила:

— Ты хочешь компоту, мама?

— Как еще Жюльен примет твою неудачу, Дени! Пойду подготовлю его, — не отвечая на вопрос, сказала мадам Револю и, сложив салфетку, встала из-за стола.

Поднялся и Дени, он не мог проглотить ни куска. Роза догнала его и немного прошлась с ним по аллее.

— Какая, право, досада! Теперь у тебя, Дени, все каникулы будут испорчены.

Он ничего не ответил, он ждал ласки, доброго взгляда, говорившего, что она с ним всей душой и разделяет его немудреное, обыденное горе неудачливого школьника, провалившегося на экзаменах. Она же думала, что Дени по-прежнему «дуется», как все это время, со дня ее разрыва с

женихом.

— В октябре ты, наверно, выдержишь.

— Это еще неизвестно… Да и не все ли равно? Будет у меня диплом или не будет — мне одна дорога: до конца своих дней скрипеть перышком в какой-нибудь канцелярии.

Роза чувствовала, что надо поговорить с ним иначе, побеседовать душевно, утешить его «от сердца», а не пустыми словами. Но сейчас ею владело неодолимое желание поскорее убежать в свою комнату, в сотый раз перечесть письмо, полученное накануне. И она вдруг сказала торопливо:

— Я чувствую, что тебе хочется побыть одному.

— Нет, Роза, нет!.. Не уходи!

Но Дени сказал это еле слышно, а сестра уже была далеко, и его слова не дошли до нее. Она спешила к себе в комнату, где ее ждало великое утешение, великая радость — письмо Робера, которое ей хотелось без конца читать и перечитывать, — она с трудом сдерживала такое желание, боясь ослабить благотворное действие доброй весточки. Письмо не давало повода надеяться, что жених вернется к ней, но по крайней мере в этом письме он отрекался от страшных, от жестоких оскорблений, которые она услышала

от него в тот день, когда Робер бросил ее.

«*Я ищу таких слов, которые скажут, что между нами совершилось непоправимое. Я должен был избавить вас от себя…*» Все письмо было перепевом этих фраз, которые сначала показались Розе довольно туманными. Но она столько думала над ними, что в конце концов почувствовала какую-то связь между этими уклончивыми словами и некоторыми чертами в облике Робера. То, чего она почти не замечала в дни радости, потому что все заслонял выдуманный образ любимого, живший в ее душе, невольно, однако, запомнилось; эти грубые, реальные черты запечатлелись в ее сознании, они принадлежали какому-то чужому и опасному человеку, безликому незнакомцу, чьи руки она однажды отстраняла темным вечером под густыми ветвями лип; от этого человека Робер хотел, как он утверждал, избавить ее, — но ведь это был сам Робер, и она любила его.

В первые дни после разрыва, когда мать в бешенстве повторяла россказни Жюльена о похождениях братьев Костадо, Роза выходила из-за стола, не желая слушать «этих ужасов». И все-таки она знала теперь, какую жизнь ведет человек, о котором ее мать говорила столько дурного. Но ведь этот незнакомец был тот са-

мый Робер, которого она любила. Разве можно тут выбирать, отбрасывать то или иное в душе любимого? — думала она. Надо принимать его целиком, таким, каков он есть, — таким уж нам дал его бог, и мы должны нести свой крест; она верила в эти тайные узы, более крепкие, чем узы кровного родства.

«*Если у вас достанет на это силы и мужества, не отталкивайте меня, мне будет радостно думать, что я причастен к вашей жизни, но не обрекаю вас на рабское служение моему жалкому существу*».

Итак, она еще могла что-то сделать для него. И без конца перечитывая письмо, Роза с каждым днем все больше убеждала себя в этом. Хотя она совсем не отличалась набожностью и была довольно равнодушна к той чисто формальной религии, которую одну только и знала ее мать и внушала своей дочери, она теперь стала молиться. Она сделала открытие, что лучше всего ей думается о Робере перед лицом незримого свидетеля наших мыслей.

Вечерами она подолгу простаивала на коленях, уткнувшись лицом в одеяло. Человек, покинувший ее, привел ее не к набожности, а к какой-то сердечной близости к всевышнему, — он теперь

существовал для нее, и она, Роза Революю, брошенная Робером Костадо, обращалась к нему за помощью.

Но сейчас, в минуту сладостного экстаза, слез и коленопреклоненной молитвы, ее не покидала тревога за младшего брата. Зачем она оставила его одного нынче вечером? У него от природы болезненная впечатлительность. Пьер Костадо говорил, что у Дени врожденная склонность терзаться — это его истинное призвание. И она внезапно поднялась с колен: «Это грех против бога, что я под предлогом молитвы покинула в тяжелую минуту брата...» Мучаясь угрызениями совести, она быстро спустилась по лестнице и побежала в сад.

* * *

«В такой час, когда у меня беда, она оставила меня одного, — твердил про себя Дени. — Я самый одинокий человек на свете». И он с глубоким негодованием думал о Розе: вот бросила его, нет ей прощения, нет оправдания. Никогда еще она не была так равнодушна к своему родному брату. И Дени все повторял двустишие Корнеля, за которое отдал бы всего Расина, обожаемого Пьером Костадо:

Несчастье страшное случилось. Но клянусь,

Смотрю в лицо ему — его я не страшусь.

Он с ожесточением скандировал эти строки, отчеканивая каждое слово, останавливаясь на цезуре, и для него сливались в одну горчайшую, непереносимую обиду и этот унизительный провал на экзаменах, и равнодушие сестры, и уверенность, что он обречен на безвестный труд и нужду. Хмелея от своего несчастья, он шел по аллее к воротам, выходившим на задний двор. В темноте мелькнул и исчез огонек сигареты. Потом раздался смех Ирен Кавельге, и на миг зеленоватый свет, словно отблеск венецианского фонарика, выхватил из густого мрака ее лицо. По дороге покатил на велосипеде сын мясника.

— Ага, попалась, Ирен! — сказал Дени.

— Ой, как вы меня испугали!.. Почему это я попалась? За кого вы меня принимаете? Уж и поболтать нельзя! Это Параж, сын мясника… Он приезжал за заказом…

— Вот уж не думал, что мясник станет для нас утруждать своего сына…

— Не для вас, а для нас.

Дени язвительно засмеялся.

Ирен почувствовала, что у нее горят щеки, и пробормотала:

— Извините, пожалуйста…

Дени ответил, что она напрасно извиняется.

— Нет, как же напрасно? Я ведь понимаю, что вам тяжело.

Он успокоил ее: не из-за этого ему тяжело — он провалился на письменном экзамене… Никак уж не ждал этого… Ирен разахалась.

— Вы? Вы провалились? Да как же это может быть? Ведь вы же все знаете. Это уж кто-нибудь нарочно подложил вам свинью… Может, из-за вашей мамаши… Много на свете злых людей. — И в ответ на возражения Дени она воскликнула: — Да полно вам! Ведь вы больше всех знаете, всякие науки превзошли.

Дени стало стыдно от такого дурацкого восхищения его особой. Он подошел к Ирен вплотную, заговорил вполголоса:

— Мне грустно. Утешь меня.

— Нет, — зашептала она. — Нет, это грех.

— Ох, как страшно! А с сыном мясника можно?

Она запротестовала: ни с сыном мясника и ни с кем. За кого он ее принимает? И к тому же Дени еще мальчик. Да, да, — для нее он просто-напро-

сто ребенок. Она провела пальцем по его щеке.

— Чисто персик! Ведь вы еще и не бреетесь.

— Ничего подобного! По два раза в неделю бреюсь.

Кусты жимолости вдруг осветились — Мария Кавельге отворила дверь из кухни. Стоя у порога, позвала:

— Ирен! Где ты?

— Здесь, мама. Я с Дени стою.

— Иди домой. Пора уже запирать.

— Оставь ты ее! — сказал отец, сидевший на скамье у двери. — Я еще посижу немножко на воздухе. Трубочку выкурю.

— А они будут вдвоем тут в потемках? Да? Не годится!

— Да ведь он ей молочный брат.

Мария недовольно забормотала:

— Молочный брат! Молочный брат!

— Оставь ее в покое. Слышишь?

«И что у него такое в голове?» — тревожно думала Мария. Кавельге попробовал затянуться, но трубка погасла. Он чиркнул спичкой. Огонек осветил козырек его фуражки, большой нос, огромные усы, загнутые под прямым углом, как у императора Вильгельма, волосатые руки, торчавшие из засученных рукавов. Несмотря на жару, он

носил вязаный шерстяной жилет, расстегнутый внизу на толстом животе. Кавельге никогда ни в чем не советовался с женой, никогда не спрашивал ее мнения; она всегда ему прислуживала и во всем ему угождала, но только не в постели; он спал со всеми женщинами, которые работали в усадьбе. Но теперь у него только и было свету в окошке, что любимая дочка, они всегда о чем-то оживленно беседовали и сразу умолкали, когда в комнату входила Мария…

— Нет, — лепетала Ирен, — нет, Дени, под липы я не пойду. Да что вас туда так тянет? Там духотища! За день накалило площадку, жара и теперь там стоит. А темнота какая, ни зги не видать! Сядем-ка лучше вот на эту скамейку, тут приятнее для разговору.

Дени ответил, что ему не до разговоров, пусть лучше Ирен его утешит.

— Да в чем утешать-то? Нечего вам и горевать. Подумаешь, большое несчастье!

Оба замолчали. Потом Дени прошептал:

— Какая ты толстая, Ирен!

— Ну вот уж неправда, — обиженно возразила она. — Вовсе я не толстая.

— Да я ж тебе комплимент делаю! Ведь это хорошо, когда девчонка толстая.

Она немного отодвинулась и опять вернулась к своим мыслям:

— Подумаешь, горе какое — на экзамене провалиться! На что они, эти экзамены?

— Ни на что, конечно, — согласился Дени. Ведь ему все равно нельзя дальше учиться, придется искать места, как только продадут Леоньян.

— А как бы хорошо-то было, если б вы остались здесь! Жили бы спокойно, хозяйничали на пару с моим отцом…

Дени прервал ее рассуждения: его родные и слышать об этом не хотят.

— Не понимаю, чего они только боятся! Взял бы отец закладную на Леоньян и поднял бы хозяйство на ноги, а ваши ничего бы и не замечали, все бы жили тут по-старому, как раньше жили, из своей доли доходов платили бы отцу проценты. Мадам Революю не верит нам, а мы очень привязаны к вашей семье, мы за вас в огонь и воду…

— Мама-то, может быть, и согласилась бы, а вот Жюльен и Роза ни за что…

— Гордячка у вас сестрица, — сказала Ирен. — А чего уж ей теперь гордиться, раз она на работу нанялась. Такая же, значит, как и все.

Дени отвел свою руку, обхватившую стан соседки.

— Ты в самом деле думаешь, что она такая же, как все? Не смеши, пожалуйста. Она нанялась на работу, это верно. А все равно, хоть проси она милостыню на улице, сразу видно будет, что она не такая, как все, — другой породы.

— Вот и вы тоже гордый.

Дени тяжело вздохнул.

— А уж мне-то чем гордиться, боже ты мой! — тихо сказал он и положил голову на плечо «толстой девчонки». Польщенная, даже немного растроганная, она не оттолкнула его и почтительно провела рукой по его волосам, по лбу. Она и не подозревала, каким бременем горького отчаяния отягощена голова, припавшая к ней. Дени говорил себе в эту минуту: «Вот она, моя доля в жизни, вот все, что я нашел в вечер своего поражения, своего унижения…»

А что ж, в конце концов. Раз он не способен бороться, скорее готов уподобиться насекомому, которое в минуту опасности притворяется мертвым, так почему же не забиться ему в щелку, почему не поладить с семейством Кавельге? Сначала такие планы ужасали его, поскольку они ужасали Розу, а теперь он ругал себя дураком, — нечего было считаться с мнением Розы. «В сущности, я ее ненавижу…»

Он не заметил, что заговорил вслух. Ирен спросила:

— Что вы сказали?

Дени, не отвечая, прижался к ней и закрыл глаза. Он любил такие темные, беззвездные и безветренные ночи. Вдали глухо гремят раскаты грома, а может быть, это учебная стрельба в лагере Сен-Медар… Нет, в такой час на стрельбище занятий нет, наверное гроза собирается… Но она пройдет стороной. А здесь ни земле, ни корням растений не на что надеяться. Поблекшие травы и листья все же окропит роса на заре, а вот ему даже и росы не знать. Нет у него такой цели в жизни, чтобы она зажгла сердце огнем, и нет никого, кому бы он пошел навстречу.

И вдруг он услышал голос сестры, — она звала его. Он шепнул Ирен:

— Тс-сс! Не шевелись.

— Дени, где ты?

— Она сейчас пройдет мимо нас, — тихо сказала Ирен. — Лучше откликнуться, все равно заметит…

— Нет, молчи.

Он скорее угадывал, чем видел, тоненькую фигурку растерянно озиравшейся сестры. Когда она была уже совсем близко, раздался его смешок.

Роза вскрикнула:

— Ой! Как ты меня испугал! Куда ты девался? Где ты?

— Да здесь, на скамье. С Ирен сижу.

Ирен тотчас вскочила.

— Добрый вечер, барышня!

Роза ответила очень сухо и, отвернувшись, заговорила с Дени, как будто Ирен тут и не было.

— Ты же знаешь, мама требует, чтобы в десять часов дверь запирали. Пора домой…

— Не запирай сегодня дверь. Я сам закрою.

Роза спросила, в котором часу он вернется. Дени ответил:

— Когда вздумается.

— Тебе нечего тут делать, да и после такого тяжелого дня нужно отдохнуть.

— Нет, мне нужно развлечься. Ирен, — вдруг сказал он, — пойдем попросим у твоей матери вишни, настоянной на водке… Устроим пирушку, если ваши еще не легли.

— Только ты уж сам, пожалуйста, с мамой объясняйся, — чересчур звонким голосом заявила Роза. — Не удивляйся, если дверь окажется запертой.

— Ну что ж, тогда я переночую у Кавельге. Я ведь жил у них, когда мы сюда переселились. И

— помнишь, Ирен? — первую ночь я спал в твоей комнате. Я не знал, что на другой постели спишь ты… Такая жуткая была ночь для нашей семьи, но у меня навсегда останется от нее еще и другое воспоминание — какое-то необыкновенное и приятное воспоминание, благодаря тебе, Ирен…

Могло показаться, что Роза уже ушла, но среди шелеста листвы, жужжания насекомых, среди всех шорохов ночи Дени различал едва уловимое неровное дыхание сестры.

— Дверь будет отперта, — сказала она наконец.

И, растаяв в черней тьме, пошла прочь, взволнованная, полная какого-то неясного щемящего чувства, в котором было и раздражение, и смутная ревность, и раскаяние, что они бросила Дени одного в такой печальный для него вечер, и, кроме того, беспокойство, страх перед «замыслом Кавельге», как говорилось в семье Революю. Лучше уж жить в нищете, но ничем не быть им обязанным, не зависеть от них. Пусть себе покупают Леоньян — и землю, и дом, пусть водворятся здесь, если накопили столько денег, что могут позволить себе такую роскошь, но невозможно же связываться с Кавельге, вступать с ним в компанию! А теперь они бог знает что вдолбят мальчишке в голову…

Не находя себе места от беспокойства, Роза подошла к комнате Жюльена, постучалась и тихонько позвала мать. Мадам Революю выглянула в ночной кофте, с заплетенными в толстую косу седеющими волосами. В ночном одеянии она казалась необыкновенно толстой. Роза подумала: «Мама у нас просто разбухает». Ей бы нужно было с жалостью взглянуть на эти одутловатые землистые щеки, задуматься… Но когда девушка ослеплена страданием, она не видит, что творится с матерью. А ведь смерть задолго до рокового часа отмечает нас своим особым знаком, заметным не менее, чем темный крест на курчавых спинах овец.

— Послушай, мама, такая досада! Дени отправился в гости к Кавельге. Бог знает, чем они станут забивать ему голову.

— Потише говори. Ну чего ты беспокоишься? В конечном счете все будет зависеть от меня.

— Да, но ты знаешь, что Дени придумал? Работать на земле в компании с Кавельге… Ты представляешь себе, что это будет? Мы все окажемся в зависимости от этого человека…

Мадам Революю старалась успокоить ее: Кавельге в общем хороший человек… И не надо забывать, что Жюльен тяжело болен, да и она

сама начинает сдавать, годы дают себя знать…

— И я ведь тоже могу на тот свет отправиться… А Кавельге преданные люди, любят нашу семью…

— Это они только так говорят.

— Нет, нет! Когда меня не станет, Жюльен по-прежнему будет в их глазах главой семейства Революю.

Из спальни донеслось невнятное бормотанье: Жюльен что-то говорил во сне.

— Уходи, Роза, слышишь, как он ворочается в постели. А то разбудишь его, придется мне до утра читать ему вслух.

Но Роза не вернулась в свою спальню, а вышла в сад. За кустами жимолости в темноте огненным прямоугольником вырисовывалась открытая дверь кухни Кавельге. Отец, дочь и Дени сидели за столом, перед ними стояли стаканы и откупоренные бутылки. Кавельге что-то говорил, но так тихо, что Роза ничего не могла слышать. Мужчины чокнулись. Дени произнес короткую речь, хозяева прерывали ее веселым смехом. Потом Дени поцеловал обеих хозяек, Ирен отбивалась, кокетливо похохатывая.

Когда он вышел, Мария взяла лампу и, встав у порога, высоко подняла ее. Дени крикнул, что

он хорошо знает дорогу, и еще раз пожелал всем покойной ночи. Дверь затворилась, щелкнул засов. Сразу исчезла из глаз аллея. На волосы Дени упали тяжелые капли дождя, он запрокинул голову: пусть капает и на лицо. От выпитого белого кисленького винца он не опьянел, но все его страдания как рукой сняло. Радостно было слышать шорох дождя в густой листве: сейчас начнется ливень, не укроешься от него под деревьями. Послышались чьи-то шаги в аллее. Дени крикнул:

— Кто там?

— Это я, Роза.

— Ах, так ты уже стала шпионить за мной?

Они сошлись почти вплотную, так близко, что каждый слышал, как дышит другой, но не видел его в темноте. Роза оправдывалась: нет, она вовсе и не думает надзирать за ним, а просто опасается хитрых происков со стороны этих Кавельге. Даже если у Кавельге и нет дурных намерений, она у таких людей ни гроша не возьмет в долг. Дени спокойно ответил:

— Нечего нам перед ними чваниться.

Вообще надо поговорить серьезно. Если бы дать Кавельге закладную на усадьбу, можно сделать самый необходимый ремонт. Кавельге вложил бы все свои деньги в Леоньян и стал бы вести

интенсивное хозяйство, завел бы хороших коров, занялся бы огородными культурами.

— Он говорит, что без него мы тут окончательно разоримся, а с ним станем получать такие доходы, что сами будем диву даваться… Говорит, нам проценты будет платить не трудно, а на остальное прекрасно проживем, поставим дом на широкую ногу и сохраним свое положение в обществе. Он, знаешь, все твердит: «Вы должны сохранить свое положение в обществе». Ты просто не представляешь себе, с каким почтением он относится к нашей семье.

— А как Ирен? Что она говорит об этих прекрасных планах?

Дени был поражен язвительным тоном сестры, этот тон привел его в ярость, а вместе с тем так сладко было почувствовать ее тревогу и обиду. Он спросил, какое отношение имеет Ирен ко всей этой истории. Роза заявила, что «у этой девицы, несомненно, свои планы».

— А хотя бы и так? Я не обязан отдавать тебе отчет… И, по-моему, ты уж чересчур много на себя берешь… По какому праву ты мешаешь мне искать помощи?..

У нее вертелся на языке ответ, услышав который Дени, быть может, бросился бы к ней и,

заливаясь слезами, крепко обнял бы сестру: «Кто тебе поможет, кто тебя согреет лучше, чем я?» Но она не произнесла этих слов: ведь мы стыдимся выражать свои чувства, и такая целомудренная сдержанность иной раз играет в нашей жизни более опасную роль, чем любой порок. Меж братом и сестрой пока еще была лишь неглубокая размолвка, просто обида, — все можно было еще рассеять пожатием руки, ласковым словом и простить друг друга. А Роза стояла, замкнувшись в молчании, которое Дени казалось враждебным, меж тем как это просто был ложный стыд, детское желание не делать самой первого шага к примирению. И достаточно было нескольких мгновений, чтоб Дени вновь отдалился от сестры.

Однако Роза в эту минуту понимала гораздо лучше, чем прежде, что не следует легко относиться к душевным ранам этого юного колючего существа, понимала, что сейчас, быть может, решается его судьба, вся его дальнейшая внутренняя жизнь, сокрытая за пределами чисто внешней жизни. То новое, что появилось за последнюю неделю в ее чувстве к Роберу, она сейчас чувствовала к брату: «Что сделал ты с братом твоим?» Извечный вопрос, пройдя сквозь тьму

веков, — от ночи первого убийства, совершенного на земле, — настиг эту хрупкую девушку в теплую летнюю ночь среди полей в окрестностях Бордо.

Она искала и не находила нужных слов, чтоб отомкнуть дверь, за которой страдал Дени в темнице одиночества. Но пока она колебалась и раздумывала, он снова принялся язвить ее насмешками, пугать туманными угрозами: ни в чьих советах он не нуждается, проживет прекрасно и без них; уж он-то ни в коем случае не принесет себя в жертву из-за дурацкого тщеславия. Роза шла вслед за ним по аллее, не смея ничего ответить. В прихожей, где горели две оставленные для них свечи, она сделала то, чего брат недавно так ждал от нее, — обняла его и, притянув к себе, хотела поцеловать; но было слишком поздно; он весь съежился и, дернув головой, увернулся от поцелуя.

* * *

Хотя Роза уже помолилась на ночь, она опять опустилась на колени. Но ей и на ум не приходило во второй раз произносить привычные слова; неведомая ей прежде молитва сама собой вознеслась из раскрывшегося сердца, она взывала к безликой Любви и говорила с нею так, словно имя

ей было не бог, а просто — Любовь. Наконец-то она прошла весь путь, одолела последний ров, последнюю траншею, последние заграждения из колючей проволоки. Ее собственные муки, горе покинутой невесты, семейные неприятности еще провожали ее глухим рокотом, каким всегда нас окружают наши житейские дела, но этот смутный гул доносился откуда-то издалека, будничные заботы не обступали ее глухой стеной со всех сторон. Роза уже отошла от всего этого.

«Теперь я знаю, — шептала она, — знаю, что я не заблудилась в темном лесу, я нашла дорогу, и, хотя я в кровь изранила себе о колючки ноги, вся исцарапалась о шипы терновника, все же я выбралась на верную дорогу… Но я иду по ней одна, и этого я понять не могу, — ведь каждое мгновение ты мне внушал, что надо идти вместе с теми, чью судьбу ты отдал в мои руки. Не могу понять, почему я бессильна помочь тем, кого ты повелел мне любить. Мне так хочется верить, и я верю всем сердцем, что все это только видимость и когда-нибудь я услышу, что Дени бежит за мной вдогонку, как бывало в детстве, я услышу, как он окликает, зовет меня; а потом, в другой счастливый день, на повороте той же дороги, я увижу путника, сидящего на земле, в грязи, и узнаю

в нем того человека, которого ты мне повелел любить, но он отверг меня. Я узнаю также, что он вышел мне навстречу кратчайшей тропинкой, которую ты ему указал неведомо для тех, кто презирает грешников. Он будет ждать меня, быть может, долгие годы, и, наконец, мы обнимемся и заплачем сладкими слезами, и, может быть, это будет в мой смертный час…»

Слезы текли по ее лицу, и она не знала, горит ли ее сердце жгучим огнем ради тех, кто был ей дороже жизни, или ради того, с кем она беседовала и кто, быть может, не носил имени бога.

Да ведь и в самом деле, у него было еще и другое имя, имя смертного человека. Как же она об этом не подумала? Имя, которое она так часто произносила по привычке, которое ничего не говорило ни ее уму, ни сердцу, имя, постоянно повторявшееся в старых, пустых заклинаниях, в мертвых обрядах, в гнусавом бормотанье, которое всегда наводило на нее скуку… И вдруг оно ожило в сердце и засияло средь мрака тихим светом.

За окном все шелестел дождь, и, подобно тому как он освежил истомленную жаждой землю, внутренняя работа, совершавшаяся в душе Розы, несла ей покой и избавление от мук. Все существо ее было потрясено радостью, но к ней примеши-

валось странное, горестное чувство. Надо было ложиться спать, а ей казалось, что сон отнимет у нее неповторимые часы и она не услышит голоса, который, быть может, никогда больше не прозвучит для нее.

Она посмотрела вокруг, ища взглядом какую-нибудь вещь, которой можно было бы коснуться, держать в руке. На стене висело гипсовое распятие, обычно Роза почти его не замечала, а если и смотрела на него, то оно не пробуждало в ней никаких чувств. Ей пришла в голову мысль поискать в ящике шкафа, среди футляров с подарками ко дню первого причастия, коробочку с четками из ляпис-лазури, которыми она никогда не пользовалась: «Такая прелесть, — говорила мать, — из них можно сделать очаровательное ожерелье...» Она внимательно оглядела лежащую на ладони горку голубых шариков, оправленных в золото, и крепко сжала их. Как раз нечто такое и хотелось найти этой хрупкой девушке, существу из плоти и крови, — ей нужен был осязаемый символ той тайны, которую ее взгляд уже начинал прозревать.

Глава шестнадцатая

— Самое важное сейчас — не упустить времени, — сказал молодой врач-хирург, приглядываясь к пожилой даме в черном, лицо которой казалось ему знакомым, хотя он и не мог припомнить ее имени. По системе, заимствованной им у своего учителя, он всегда старался напугать больного, чтобы тот решился на операцию, но все же подать ему некоторую надежду. Люсьенна Революю не спускала с него глаз, стараясь угадать, чему можно, а чему нельзя верить в словах этого начинающего доктора, еще не научившегося лгать. Тело же ее чувствовало, что его ждет гибель, и доводам разума противопоставляло какую-то странную тоску, усталость, не похожую на обычное утомление. Кашлянув в руку, обтянутую черной перчаткой, пациентка сказала:

— В настоящее время мы несколько стеснены в средствах, и я хотела бы знать, сколько будет стоить операция.

Доктор заверил ее, что он всегда считается с ресурсами своих пациентов.

— Но ведь придется еще платить и в лечебницу, не правда ли? Огромные расходы. Одни уж рент-

геновские снимки сколько стоили! Я не хотела бы, чтоб мои дети…

— Если средства вам не позволяют… В городской больнице есть очень удобные палаты, — сказал молодой хирург, краснея. — Они, правда, выходят в общую палату, но в каждой только одна койка…

— Нет, — сухо сказала пациентка, — казенная больница исключается… Я вдова Оскара Револю, — добавила она, чтобы положить конец объяснению.

Врач поклонился и пробормотал:

— Весьма польщен!..

— Повторяю, доктор, мне необходимо знать всю правду. Для меня вопрос сводится к одному: стоит ли игра свеч? Есть ли надежда?

Увидев, что врач смутился, она встала. Значит, не для чего входить в такие расходы. Если уж смерть неизбежна, то зачем, умирая, оставлять детям в наследство неоплаченный счет на большую сумму. Молодой хирург пожалел, что не проявил должного хладнокровия. Он был уверен, что болезнь зашла слишком далеко, но его поражало, что эта дама из соображений экономии отказывается от единственного шанса на спасенье.

А больная, застегивая перчатку, думала:

«Итак, решено, я не дам себя резать». Она не говорила мысленно: «Я уверена, что умру, и умру очень скоро». Воображение ее отстраняло от себя картину сошествия в вечный мрак, с нее довольно было того, что она избежит страшного ножа хирурга и расходов на бесполезную операцию.

«Ведь у них всегда так: назначат цену, а расходы будут расти, как снежный ком».

* * *

Сначала душу привести в порядок. Она отправилась на улицу Марго в часовню иезуитов. Где можно было исповедоваться в любой час в одной из многочисленных будочек-исповедален. Там сидели одинаковые старики священники, от которых одинаково пахло нюхательным табаком, все одинаково называли исповедальниц — «дочь моя» и иногда неожиданно задавали такой страшный вопрос, что от него охватывала дрожь, — так больно он бередил скрытую рану.

Духовник, с которым ей пришлось беседовать в тот день, заверил ее, что совесть ни в коем случае не обязывает христианку подвергаться операции, если исход хирургического вмешательства сомнителен, и бог требует от нас лишь детской

веры в небесного отца нашего, — положитесь на святую волю божию. Он спросил, нет ли в ее жизни каких-либо особых грехов, которые ее тревожат и в которых она хотела бы исповедаться. Люсьенна Революзадумалась… Да вот, не всегда следила за тем, чтобы ее слуги выполняли обряды христианской церкви. А не совершала ли она когда-нибудь неправедных дел? Она не поняла смысла этого вопроса и ответила: «Нет, отец мой».

Она даже чувствовала себя несколько униженной тем, что ей не в чем каяться. Жизнь ее походила на пустую, чистую страницу, на которой неведомый учитель, разгневавшись, написал наискось — с угла на угол: «Небытие». Она получила отпущение грехов, потом помолилась, выбирая в принесенной с собой книжечке с золотым обрезом такие молитвы и псалмы, где говорилось главным образом о божественном милосердии, и наконец вышла на улицу, едва передвигая ноги и тяжело дыша, измученная развивавшейся в ней болезнью, поразившей ее лоно, которое вынашивало и рожало детей, и раздувавшей теперь ее живот, как будто она была беременна собственной смертью. Она так устала, что, поколебавшись, решила все-таки позволить

себе непредвиденный расход и поехать домой на извозчике.

На улице Труа-Кониль она наняла извозчика, и ее повезла та же самая старая виктория, которая трясла по мостовым ее дочь в час беспросветного ее отчаяния. Проезжая по дачным местам, уже тронутым осенью, она все думала о прожитой своей жизни, о той пустой странице, которая предстала перед ее глазами в исповедальне иезуитской часовни. Не о чем даже вспомнить!.. А ведь она была замужем, родила троих детей, у нее были знакомые, были слуги, открытый дом, положение в обществе, которое требовалось поддерживать, — словом, у нее была своя жизнь. Потом пришли черные годы, — страшное объяснение с Леони Костадо, самоубийство мужа, болезнь Жюльена, разрыв между Розой и ее женихом, да еще Дени провалился на экзаменах. А теперь близится конец…

Коляска ехала меж опаленных солнцем полей: кое-где, однако, над лугами поднималась белая дымка первых осенних туманов. Уже отворяли настежь винные подвалы, чтобы их хорошенько проветрить. У дверей крестьянских домов высились целые горы корзин, лиловатых от сока прошлогоднего винограда. Женщины срезали

тяжелые гроздья с виноградных лоз, перекликались звонкими голосами. У Люсьенны Револю поднялись боли, и она все пыталась найти такое положение, чтобы стало легче. Долго ли ей еще можно будет обходиться без посторонней помощи и ухода? Кого нужно предупредить? Только бы поменьше доставлять хлопот детям… Больше всего она беспокоилась о судьбе Жюльена, но относительно Жюльена у нее возникла хорошая мысль. А Дени? Тревожно и за него — он такой замкнутый, непонятный мальчик! А какой он был милый до четырнадцати лет! Матери вспомнились его забавные, остроумные словечки, которые она с гордостью пересказывала знакомым. Теперь он почти уже взрослый. Роза уверяет, будто между ним и этой молоденькой девчонкой, Ирен Кавельге, роман, который зашел очень далеко. «Дальше уж некуда», — уверяла Роза. Но мадам Револю была слишком слаба и не хотела об этом думать. Она целиком посвятила себя Жюльену и, замыкая свое существование стенами его комнаты, уже подчинилась неизбежности — потребности смертельно раненного животного забиться в какой-нибудь темный угол и сжаться в комочек. Но и этого было для нее теперь слишком много: ведь недостаточно просто сказать

смерти: «Да», — чтоб она оставила нас в покое и не мучила. Непротивление злу не поможет нам в слепом царстве плоти, в этом мире клеточек и кровяных шариков, которые повинуются своим собственным, а не нашим законам, потому что не зависят от нас.

На проселочной дороге коляску обогнали Ирен и Дени, катившие на велосипедах. Они подождали у ворот.

— Передай отцу, чтоб пришел ко мне. Надо поговорить, — сказала мадам Револю, посмотрев на Ирен. — Я буду в кабинете.

Коляска въехала во двор; Ирен и Дени, обменявшись взглядом, пошли рядом вслед за ней, ведя за руль свои велосипеды. Быстро спускался вечер. Дрозды стаями ринулись к деревьям, спеша устроиться на ночлег, среди них были и перелетные птицы; Дени узнавал их по голосам, но называл не теми именами, которые они носят в книгах по естествознанию: «Вот эта — сплю-сплю, а эта — пить-пить», — говорил он. Ирен тихонько сказала:

— Нынче холодно будет ночью. Замерзнем в саду.

Дени продекламировал:

Не сядешь на скамью — прошел недавно

дождь,

Прошел недавно дождь — ржавеют купы рощ.

— Что ты там бормочешь?

Он громко прочел нараспев:

Вновь кашель дортуар лицея оглашает,

И, как всегда, умы столица развращает.

Ирен ворковала: «До чего ж ты глупый!», — но в глубине души восхищалась, какую уйму знает он всяких мудреных вещей, как будто и дурацких, но обыкновенным людям непонятных. А Дени думал о том, что сестра придет в ужас, когда после обеда явится Кавельге и мать запрется с ним а кабинете.

— По-моему, дело в шляпе, — сказал он вполголоса.

Ирен спросила, где они встретятся ночью.

— У меня в спальне… Пройди черным ходом через кухню… Да нет, зачем? Ступай смело, через бильярдную.

— Барышня увидит… Она всегда подстерегает, — с ненавистью сказала Ирен.

Дени ответил:

— А пусть видит! Подумаешь! Придется ей привыкать.

Но когда Ирен весело захохотала, он побледнел от ужаса, а ей и на ум не приходило, что у него сердце разрывалось на части: как посмел он так говорить о сестре!

Мадам Револю наводила порядок в комнате Жюльена и будто не слышала злобных упреков, раздававшихся из алькова: какое безобразие, оставила тяжело больного человека на целый день одного, а в комнате даже звонка нет! Какие мучительные часы пришлось ему пережить! Погодите, когда-нибудь мать придет, а он будет лежать мертвым, покончит с собой, как отец... Тут Жюльен заметил, что она села на стул, снимает шляпу, и поглядел на нее.

— Что с тобой? Почему ты такая? — спросил он.

Она ничего не ответила.

— Ты это нарочно? Хочешь меня встревожить?

Мать молча направилась к умывальнику, вымыла руки, потом еще раз прошла через комнату и, сказав Жюльену, что сейчас ему подадут обед, спустилась по лестнице в столовую, где ее ждали, стоя за своими стульями, Дени и Роза.

По неизменно соблюдавшемуся в доме этикету они сели лишь после того, как мать заняла свое место. Дени ел с волчьим аппетитом и быстро проглотил тарелку супа. Он стал теперь шире в плечах, возмужал, на лице играл румянец. Волосы, причесанные на пробор, удерживал в повиновении бриллиантин. Молоденькая прислуга, подав на стол блюдо с кремом, доложила, что Кавельге ждет в кабинете. Люсьенна залпом выпила стакан воды и, опираясь о стол обеими руками, тяжело поднялась.

— Сладкое кушайте без меня. Я уже кончила.

Наступила тишина, слышалось только равномерное позвякивание — Дени стучал ложкой по тарелочке. Роза спросила, знает ли он, зачем явился Кавельге.

— Мама велела ему прийти, — угрюмо ответил Дени.

Роза встала из-за стола, направилась на отцовскую половину и, постояв у двери кабинета, за которой глухо рокотал басистый голос Кавельге, набросила на плечи накидку и вышла в сад, утопавший в сырой тьме. В тот день она не продала ни одной книги, покупатели спрашивали только писчебумажные принадлежности. Старик Шардон удержал из ее жалованья двадцать

франков, так как она отпустила несколько пачек конвертов по старой цене, не зная, что этот сорт вздорожал. Ноги у нее болели от долгого стояния за прилавком, и все же она не могла сейчас усидеть на месте. Она презирала Ирен и не в силах была примириться с вторжением в их жизнь этой распутной девчонки; животное выражение, появившееся на лице брата, вызывало в ней гадливость. В жизни она теперь шла наугад, сгибаясь под тяжестью бремени, выпавшего на ее долю, и была так далека от тех блаженных краев, к которым, как ей казалось, она приблизилась однажды вечером в час восторженных мыслей и слез. Вновь молитва стала для нее лишь набором пустых слов, закостеневших фраз и сухих формул. А бог? Короткое слово… Что скрывается за ними — неизвестно. А Робер? Светский молодой человек, которому она сначала нравилась, а потом стала противна. Люди предстали перед нею такими, какими и были в действительности, уже ничто не украшало их, и все слова теперь имели только буквальный свой смысл. Роза Революю, продавщица из книжной лавки Шардона, всю жизнь будет прозябать, забившись в уголок этого старого гнезда; его восстановят на деньги Кавельге, и все семейство управителя в конце концов

непременно тут водворится по-хозяйски.

Аллея, по которой она бродила, привела ее к дому. Роза увидела, как из освещенной бильярдной вышел Дени, постоял на веранде в полосе света и поманил кого-то рукой. Потом вернулся в бильярдную, вслед за ним туда прошмыгнула Ирен; огонек свечи куда-то поплыл и исчез.

У Розы возникли вдруг низкие мысли, картины, которые она гнала от себя. Она пошла обратно и свернула на дорожку, которая вела к площадке, обсаженной липами, села там и, припав головой к спинке скамьи, заплакала, уткнувшись лицом в согнутые руки. Под густой увядшей листвой долго слышались ее рыдания, приглушенные вскрикивания. И все же сознание ее оставалось ясным, сосредоточенным. «Вот видишь, — говорила себе она, — видишь... Ты их презираешь, а ведь сама ты такая же, из той же породы. Ты не лучше их...»

Она поднялась и почти побежала к дому. Когда она уже подходила к крыльцу, на веранде с лампой в руке появилась мать, провожая управляющего...

— Осторожнее, тут ступеньки, Кавельге.

— Уж вы послушайте, мадам Револю, моего совета, съездите в Газинэ, к знахарке. За пять

франков она вам все свое представление покажет. В ихние колдовские заклинания я, понятно, не верю, но вот травами они хорошо лечат.

— Посмотрим, посмотрим, Кавельге. Так, значит, решено? Мария с завтрашнего дня будет ходить за Жюльеном.

Кавельге рассыпался в заверениях: пусть она не беспокоится, Мария будет беречь и лелеять больного. Затем Роза услышала, как мать крикнула ему вслед: «Кавельге, а я дала вам смету на новую крышу?» Девушка постояла в тени, выжидая, когда уйдет Кавельге, потом бросилась в бильярдную, думая, что мать уже поднялась к себе в спальню. Но нет, старуха неподвижно сидела возле круглого столика, на который поставила лампу.

— Надеюсь, ты еще ничего не решила? — спросила Роза. — Ты должна была посоветоваться со мной. Мне думается, я тоже имею право голоса в этом вопросе. Это уж все-таки чересчур!..

— Успокойся, доченька моя. Ничего я не решу без твоего согласия.

Уже давно мать не называла ее «своей доченькой».

— Пока что я только упросила Кавельге, чтоб он отпускал Марию ходить за нашим больным…

Я очень плохо себя чувствую… Это, может быть, не заметно…

— Ну вот… они за это и ухватятся?.. — сказала Роза, следуя своей неотвязной мысли. — Воспользуются такого рода услугами и добьются своего.

— Ты несправедлива к ним. Планы Кавельге вполне разумны. Он лучший управляющий в здешних краях, и, несомненно, у него все пойдет хороню. Он даже обещает не брать с нас процентов по долгу в те годы, когда усадьба не даст дохода. Он говорит, что ты очень будешь нужна здесь, ты будешь здесь хозяйкой… Как только подпишем соглашение, ты уйдешь от Шардона…

— Почему же ты мне не призналась сразу, что все уже решено? К чему вся эта комедия? — гневно прервала ее Роза. — Теперь уж мне обязательно надо остаться у Шардона. Я не хочу терять своей независимости. Я даже готова уехать отсюда и жить в Бордо.

— Роза, детка моя, пожалей меня!

Девушка посмотрела на нее. Никогда еще мать не говорила ей таких слов и с таким страдальческим выражением.

— Этих Кавельге, дорогая девочка, мы, конечно, не можем переделать: какие они есть, такими и останутся. Нам они, вероятно, доставят немало

мучений, особенно тебе. Но все-таки они будут нам опорой. Ты молодая, горячая. Вполне естественно, что ты возмущаешься. А я вот все в мире вижу по-другому. Недолго уж мне теперь…

Роза с изумлением слушала слова этой живой тени, едва видной вне бледного круга света, падавшего из-под абажура. Сколько раз будет ей потом вспоминаться этот сентябрьский вечер и опиравшаяся на столик старческая рука с вздутыми венами, с распухшими суставами пальцев. Дочь не бросилась в объятия матери, не прижала к сердцу седую голову, полную неотвязных денежных забот, от которых близость смерти не избавляет человека, а, наоборот, делает их еще более мучительными. Нет, дочь не обняла мать, напротив, раздраженно спросила:

— Кавельге тут разводил тебе турусы на колесах, а ты знаешь, что делал в это время Дени? Знаешь ты, с кем он заперся, кого мы сейчас обнаружили бы у него в спальне?

— Детка моя, пожалей меня! — взмолилась мать и подняла руки, как будто защищаясь от удара. — Молчи, молчи, прошу тебя.

Старуха опять заговорила тем хнычущим ребяческим голоском, который Роза терпеть не могла, — ведь это подтверждало ее убеждение,

что «бедная мама очень сдала». Она наклонилась, хотела лишь коснуться губами старческой щеки, но вдруг мать обняла ее рукой за шею и сама поцеловала дочь долгим поцелуем.

Глава семнадцатая

— А вид у бедняжки Люсьенны очень неважный!

Когда Леони Костадо находила, что у кого-либо из ее знакомых «очень неважный вид», каждый знал — жди скорых похорон. Она настойчиво добивалась, пока еще не поздно, свидания с «бедняжкой Люсьенной». Зимой она несколько раз зондировала почву, но только в начале апреля получила наконец уверенность, что ее примут в Леоньяне. В своем огромном автомобиле марки «делоне-бельвиль» она доехала туда менее чем за час. Шум мотора пробудил Люсьенну от дремоты, в которой ее теперь постоянно держал морфий. Роза подошла к окну:

— Это она. Я ее провожу сюда, но не останусь… это выше моих сил…

— Только не больше десяти минут! — умоляла больная.

— Да ты совсем неплохо выглядишь! — громогласно заявила Леони Костадо, торопливо чмокнув больную в землисто-серые щеки.

И когда Люсьенна со вздохом пожаловалась, что смерть не берет ее, посетительница автори-

тетно заявила:

— Надо верить, что выздоровеешь, милочка, надо хотеть выздороветь. Пока еще теплится жизнь, надо надеяться… Но если господь бог призовет тебя к себе, я не хочу, чтоб ты ушла от нас, не дав мне прощения…

Люсьенна еле слышно шепнула:

— Ты ведь выполнила свой долг… Так ты и должна была поступить.

— Ну да. Ведь на первом месте наш долг перед детьми, мы отвечаем за их наследственное достояние… Если б снова пришлось это сделать, я бы, конечно, опять так поступила, но… у меня всегда не хватало «умилительности речи», как говорила в монастырском пансионе матушка Лангалери, помнишь?

Больная сказала, не глядя на нее:

— Дело не во мне… А вот Роза… Моя дочь ничего вам не сделала! — вдруг крикнула она. — Зачем твой сын после нашего несчастья пришел просить ее руки, а потом бросил Розу?..

Она подняла с подушки свою страшную голову, где смерть уже обратила щеки в две черные ямы, и, хватая воздух беззубым ртом, сказала:

— Уходи, Леони!

Но, так же как и в вечер бала у Фреди-Дюпонов,

Леони Костадо решила не уходить, пока не добьется своего и не получит то, за чем явилась.

— Сначала прости меня, — упрямо твердила она. — Все несчастья обрушились на нас. Какие несчастья? Много, всякие несчастья… О Гастоне и говорить нечего — разоряется ради этой проклятой Лорати, а в конце концов, наверно, женится на ней… А тут еще Робер… Но это еще все бы ничего… Младший-то что выкинул! Сумасшедший мой Пьеро!..

— Он написал Розе, что поступил в Африканский стрелковый полк…

— Да зачем, почему?! И ушел из дому, даже не поцеловав мать на прощанье! Я освободила его от опеки — это с моей стороны настоящее преступление, — ведь вот что он натворил, когда оказался сам себе хозяин. А зачем? Скажите на милость, зачем? — кричала Леони Костадо, нисколько не беспокоясь о больной, которая не могла выносить криков и раскатов зычного голоса. — Да ведь он сущий анархист, не желает подчиняться никакой власти!.. Скажи, Роза знает причину?

— Нет, Пьеро просто сообщил ей свой адрес, без всяких объяснений.

Вошла Роза.

— Простите, маме надо отдохнуть. Она теперь

очень быстро утомляется.

Леони нагнулась, чтоб поцеловать больную, и зашептала настойчиво:

— Ты прощаешь меня? Скажи? Ну? Скажи?

Люсьенна, устав от борьбы, наклонила голову, потом вытянулась под одеялом и закрыла глаза. «Только бы ушла, — думала она, — только бы ушла поскорей!»

— А Розетта теперь уж не ездит в Бордо?

У больной вдруг откуда-то взялись силы, и она звучным голосом ответила:

— Нет, она работает дома, ведет счетные книги. Ведь теперь в Леоньяне большое хозяйство, очень прибыльное дело. У нас большие деньги завелись…

Леони опять подошла к постели и, уставившись на больную жадным взглядом, сказала:

— В Бордо ходят слухи, будто Дени каждое утро сам ездит на рынок, торгует с оптовиками.

— Только два раза в неделю. Кавельге занимается молочным хозяйством и огородом, а Дени он хочет поручить плодовый сад. С виноградниками не стоит возиться в пригородных местностях. Слишком дорого обходится обработка… Да, теперь у нас очень большое дело, — с гордостью повторила больная — Дети мои обеспечены, вполне

обеспечены. Пятьдесят гектаров земли, усадьба на стыке четырех дорог, до города рукой подать, хозяйство на полном ходу, — ведь это что-нибудь да значит! Когда подумаю, скольким мы обязаны семейству Кавельге! Какой-нибудь бездельник и шалопай все бы тут погубил!

Леони Костадо выходила из дверей, когда ее настигла эта отравленная стрела.

— Ну что, получила? Вот тебе! — сказала больная с глубоким удовлетворением и устало закрыла глаза.

Большие жуки гудели вокруг белых и розовых шатров цветущих каштанов. Леони Костадо сказала, что по всем приметам год будет хороший для виноделов. Потом стала просить Розу писать ей всякий раз, как от Пьера придет письмо. Ему, верно, дадут отпуск ко времени сбора винограда. Наконец с трудом влезла в автомобиль, он покатил по дороге, и запах бензина на мгновение заглушил аромат цветущей сирени.

Через день после этого визита у Леони Костадо был первый апоплексический удар. Умерла она за месяц до смерти своей подруги, Люсьенны Революю, у которой был, по ее мнению, «очень неважный вид». В часы агонии при ней находился только Робер; но она до последней минуты

говорила лишь о Гастоне и о Пьере.

Глава восемнадцатая

«Поразмыслим!» — твердил самому себе Пьер Костадо, как обычно в конце одинокого обеда, за которым он много пил, что лишь обостряло его мысль и порождало в нем желание шататься по белому свету, сворачивать на любую тропу, не привязываясь ни к одной. Тогда ему еще не приходило в голову поступить добровольцем в Африканский стрелковый полк. Меж тем, неведомо для себя, он был уже на пути к этому безумному решению.

Он жил в Париже третий месяц и свои посещения ресторана на улице Ройяль, где оркестр играл новомодные венские арии, считал не только неустойчивостью, а падением. Совесть подсказывала ему, что именно следовало делать: работать, заняться физическим трудом, а для этого, избрав какое-нибудь ремесло, сначала поступить в обучение. И он никак не мог убедить себя, что это утопический и неосуществимый замысел, — ведь перед его глазами оказался живой пример: один из его знакомых, юноша американец, отрекся от богатой родни и теперь работал на заводе.

«И я не имею права, — размышлял Пьер, —

успокаивать себя некоторыми доводами, даже если в них есть крупица здравого смысла. Я не могу говорить: „Первый долг человека, — как можно лучше употребить свои природные дарования“, или, например, утешать себя такими соображениями: „Я ведь окажу рабочему классу гораздо больше пользы, если останусь самим собой“. Мне нельзя приводить такого рода аргументы, даже если б они были и справедливы, потому что на самом-то деле вовсе не эти доводы убеждают меня, а просто я уступаю своему складу характера, любви к комфорту (в той мере, в какой он не мешает умственной жизни и даже благоприятствует работе мысли), уступаю своей любви к независимости; свыше сил моих подчиняться грубым приказам, терпеть ругань хозяина или старшего мастера, тогда как я имею материальную возможность послать всяких начальников к черту. Через два года мне отбывать воинскую повинность, тогда уже я покорно буду переносить оскорбления какого-нибудь сержанта, вынужден буду их терпеть… А теперь ведь я все равно ежемесячно получаю чек и даже не знаю, откуда берутся деньги: квартирная ли это плата с жильцов, проценты ли с ренты или акции какого-нибудь промышленного предприятия… Я

реализую чек и живу на эти деньги...»

Да, но разве нет у него дарования? Признаться в этом самому себе нисколько не смешно. Стоило тому молодому американцу прочесть «Атиса и Кибелу», как он стал восторженно говорить об этой поэме товарищам, и вокруг нее уже поднялся некоторый шум. И Пьер уверял себя, что у него только один долг, одна-единственная обязанность: не заглушить своего дарования, дать выход песне, что рвется из груди, как мощная подземная сила, как лава в пробудившемся вулкане. Ведь это нисколько не помешает ему быть на стороне бедных... Вот нелепая мысль! Этой самой «стороны бедных» не существует; а есть два способа эксплуатировать бедных — справа и слева. Стать самому эксплуатируемым для того, чтобы не оказаться в числе эксплуататоров? Нет, это свыше сил! Для человека верующего как будто еще остается выход: пойти в священники или надеть монашескую рясу. Но найдется ли на свете хоть один орден нищенствующих монахов, но только по-настоящему, буквально нищенствующих? А что значит твоя личная бедность, если ты вступил в могущественное и богатое сообщество?.. А потом, вот еще что — надо ведь хранить целомудрие... Как у него обстоит с этим дело?

То он считал себя преступником, то, наоборот, умилялся, что у него так незначительны, так слабы легкие вспышки чувственности. Он не мог помешать себе внимательно прислушиваться ко всему, что с ним происходило в этой области: случалось, что тот или иной день жизни бывал запятнан, омрачен, запачкан позорным актом, хотя и совершенным без свидетелей и не имевшим с житейской точки зрения последствий. Одно мгновение слабости нарушало, разбивало так много долгих и плодотворных стремлений к душевному благородству. Каких великих усилий в борьбе с самим собой стоит воздвигнуть плотину, сдерживающую мутные воды, — и вдруг они поднимаются, бурлят, и уже никаким силам человеческим и божеским не остановить их бешеного напора. Пьер убеждал себя, что придавать серьезное значение мелочам такого рода — сущее безумие, и все же не сомневался, что они, эти мелкие грехи, действительно имеют серьезное значение, по крайней мере для него: малейшие проступки отражались на самой его глубинной, внутренней жизни. Он допускал мысль, что для других людей это пустяки, не идущие в счет, и радовался за них, что они не тревожатся из-за этого, но сам судил себя по своим собственным

строгим законам.

* * *

Когда он проходил по площади Мадлен, где двигался нескончаемый поток фиакров и такси, полил дождь. Зонта у Пьера не было, но ему и подумать было страшно о том, чтоб вернуться в гостиницу, запереться в своем номере. Как все-таки унизительно, что он не может ввести в свою жизнь новых людей и позабыть тех, от кого отрекся. Теперь он ласковее отвечал на умоляющие письма матери и Робера. Только с Дени всякая связь как будто была действительно порвана, да и то он получал от Розы вести о своем бывшем друге.

Если бы он в тот вечер направился к себе в гостиницу, на улицу Турнон, ему пришлось бы идти мимо Люксембургского сада и уж наверняка он остановился бы у решетки и, прижавшись к чугунным прутьям, с наслаждением вдыхал бы запах мокрой земли. Атис и Кибела уже не пробегали по болотистым лугам, как в дни его детства, — теперь они страдали в Латинском квартале Парижа, став пленниками старого сада, исхоженного многими поколениями его юных посетителей.

Так как дождь полил сильнее, Пьер зашел в попавшийся ему на дороге мюзик-холл «Олимпия». Он подумал: «Надо же укрыться от дождя», — но в то же время говорил себе: «Удобный предлог для того, чтобы потолкаться среди завсегдатаев, понаблюдать физиономии и повадки всей этой публики, которая будет бродить вокруг меня, послушать, как перекликаются женщины, сидя на высоких табуретах у буфетных стоек… Но больше уж ни одной капли спиртного сегодня!..»

Он заплатил два франка за входной билет в партер. «Да это заведение совсем и не место для тебя», — думал он. В зеркалах он видел свое отражение: широкоплечий и крепкий румяный малый с красными ушами, а кругом такие бескровные, бледные лица. В зале плавали сизые облака табачного дыма, и в этом дыму толпа напевала слова песенки, которую заиграл оркестр. Вышел откормленный, как свинья, певец в облегающем фраке и с цветком в петлице; хохол из накладных волос удлинял его белую и плоскую, как круг швейцарского сыра, физиономию, глаза совсем заплыли, приплюснутый нос походил на куриную гузку. Словом, лицо его и жирный зад были под стать друг другу. Он подхватывал длинную фалду фрака, как подол женского платья,

делал вид, что несет картонку со шляпой, вытаскивал из своих волос воображаемые шпильки. Все его шансонетки кончались словами: «А девять месяцев спустя…» или же пакостными намеками на секретные счета аптекаря. Всякий раз, как он уходил за кулисы, публика выла от восторга, без конца вызывала своего кумира, каждый требовал свою любимую шансонетку. Пьер думал о том, что между убогой непристойностью этих песенок и вожделением его Атиса и Кибелы, может быть, и нет разницы в самой природе этого чувства. Вдруг он ощутил на себе чей-то взгляд и обернулся. Где же он видел эти светлые глаза, эти голубые, как незабудки, глаза?

— Не узнаете, мсье Костадо? Верно, потому, что я сбрил бороду… Да и шьют портные в Париже получше, чем в Бордо…

Пьер в изумлении думал: «Как! Это Ланден?.. Вот этот господин, от которого пахнет такими хорошими духами, — Ланден?.. Это припудренное лицо с острым подбородком, затененное полями дорогой фетровой надвинутой на глаза, — это лицо Ландена?..» Он тщетно старался найти в этом раздушенном щеголе сходство с бородатым клерком, который всегда отвешивал низкий поклон, встречаясь с ним по четвергам на лестнице

в особняке Оскара Революю. А Ланден уже принялся его расспрашивать. Мсье Костадо в Париже проездом? Ах, он думает поселиться здесь? Как интересно! Вероятно, он хочет заняться литературой? Ведь в Париже уже кое-что слышали о замечательном его поэтическом творении — «Атис и Кибела»...

— О, я вижу, вас огорчает моя нескромность, — добавил он, заметив сердитое и упрямое выражение, появившееся на лице Пьера. — Но я, видите ли, теперь связан с журналистами. Я контролирую несколько газет, но, должен сказать, поэзией они мало занимаются... Впрочем, совсем еще не поздно отвести в них место и поэзии.

Сразу заинтересовавшись, Пьер спросил, что это за газеты. Ланден назвал, но Пьер не знал ни одной из них, кроме «Кривой сороки», — эту газету ему случалось просматривать в парикмахерской.

— Верьте слову, мсье Костадо, на любую газету надо смотреть как на трибуну, а каково направление газеты — это не суть важно. И знаете что, давайте-ка спустимся в бар, здесь неудобно разговаривать, очень шумно и публика кругом неприятная.

Спустились по узкой лесенке в бар. Среди про-

дажных женщин, выстроившихся в ряд перед стойкой с закусками, Пьеру бросилась в глаза разряженная негритянка уже не первой молодости.

— Какое шампанское вы предпочитаете? Мумм? Кордон руж?

Пьер не посмел признаться, что он и так уж крепко выпил, его тронуло внимание, проявленное к нему Ланденом. А тот с какой-то жадностью ждал его ответов на различные свои вопросы и, казалось, ловил их на лету. Как Пьеру живется в Париже? На первых порах, должно быть, нелегко? Оказывается, Ландену всегда было очень жаль молодых провинциалов, приезжающих в столицу. Какой у этих бедных юношей растерянный вид, когда они выходят с вокзала на Кэ д'Орсе. Как им, верно, тут одиноко! Мсье Костадо, конечно, частенько вспоминает о своем друге Дени? Нет? Совсем не вспоминает? Ах, вот как!.. Кто бы мог подумать? Впрочем, эти детки покойного Оскара Революс... Лучше Ландена, конечно, никто их не знает, ведь они родились и выросли на его глазах. Верно? Боже ты мой господи, сколько он мог бы порассказать об этой семье! А что о них думает мсье Костадо? Уж у него-то, несомненно, есть свое собственное мнение о друзьях детства... Между нами говоря, у них весьма скверная на-

следственность!

Вскоре Ландену уже не нужно была засыпать своего собеседника вопросами — Пьер и сам, почти не замечая этого, пустился в разговор. Он вознаграждал себя за два долгих месяца гнетущего одиночества. А общество Ландена так располагало к откровенным излияниям, слова сами собой срывались с языка. Как Ланден чудесно умел слушать! Весь обращался в слух и внимание. Ему очень хотелось знать истинную причину приезда Пьера в Париж. Пьеру нечего было скрывать и стыдиться — причина вот какая: разрыв Робера с Розой Револю, подлый поступок родного брата.

— Как жаль! — прервал его Ланден. — Ну что бы вам приехать месяцем раньше, вы, наверно, встретились бы со своим старшим братом: ведь Гастон тут жил с Региной Лорати, знаете ее? А сейчас они оба в Брюсселе… Лорати получила там ангажемент, — боюсь, однако, что ненадолго…

Пьер возмущенно заявил, что если б он встретил в Париже своего брата Гастона, то отвернулся бы от наго. Подливая ему вина, Ланден выразил восхищение такой непримиримостью, но предупредил, что очень скоро Пьер от нее откажется: жизнь в Париже не благоприятствует прямоли-

нейности. Пьер в этом рано или поздно убедится на своем собственном опыте, если только уже не успел убедиться. Пьер залился краской, и тогда Ланден возликовал:

— Уже успели? Да? Готово? Ну, расскажите все откровенно, раз уж у нас зашла речь о таких делишках…

Он жадно заглядывал в глаза Пьеру, а тот, по милости шампанского, не видел перед собой чудовища. Наступала очень важная для Ландена минута — минута, как он говорил, «глубинных признаний», от которых все зависело, ибо, исходя из них, Ланден соответствующим образом вел себя с новообращенным.

Пьер охотно пустился в откровенности. Но он нес какую-то несусветную чепуху. Ланден даже решил, что глупый мальчишка просто насмехается над ним. Он, оказывается, собрался отречься от своего класса, отказаться от богатства, больше не пользоваться жизненными благами и всяческими привилегиями — словом, «выйти из рамок существующей социальной системы». Он уже было сделал первый шаг — поступил учеником в типографию, но с самого начала почувствовал отвращение к этому занятию. Тотчас же, конечно, сами собой возникли доводы против этого плана

— вроде следующих, например, соображений: нет никакой необходимости самому ставить себя в ужаснейшие условия наемного труда, против которых ты намереваешься бороться; если поэт хочет служить человечеству, незачем ему пачкать себе руки черной работой, найдется для него дело получше. Но Пьер не пожелал обманывать себя утешительными предлогами — нет, нет, он прекрасно знает подлинные причины провала своих благих намерений: лень, чревоугодие, чувственность и спесь.

Пьер говорил, говорил, останавливался на минутку для того, чтобы выпить вина, и снова начинал разглагольствовать, а Ланден слушал, не спуская с него пронзительного взгляда, и посмеивался, прикрывая рот широкой, как лопата, ладонью.

— Вы только еще вступили на жизненный путь, мсье Костадо, вам еще многое предстоит изведать. Но думается, вы теперь двинетесь вперед гигантскими шагами... Теперь вот, издали, вам, верно, кажутся весьма забавными эти три дня, проведенные в типографии. Подумать только — сын мсье Костадо стоит за наборной кассой! Между нами говоря, рабочие не так уж хорошо себя ведут, верно, а? Воображаю, чего

вы там насмотрелись, а? Наверно, они хотели насильно затащить вас в публичный дом? Нет? Да неужели? Не тащили? Удивительное дело! Вам просто попались какие-то феномены! А скажите, подвергали они вас, так сказать, всестороннему осмотру! Неужели нет? (Он задыхался от хохота.) Что за чудеса! В этой типографии были, конечно, и женщины, так неужели бабенки не пытались?.. Вы меня, ей-богу, удивляете…

Что касается самого Ландена, то он больше не желает самоотверженно служить народу. Кончено! Не стоит отдавать этим людям свое сердце. Ни к чему хорошему это не ведет. Сколько раз его надували.

— Вот погодите, мсье Костадо, и трех месяцев не пройдет, а вы то же самое испытаете, что и я. Разочаруетесь тогда.

— Вы просто-напросто притворяетесь циником, мсье Ланден, — сказал вдруг Пьер. — А зачем? Со мною-то уж во всяком случае не стоит. Вы вот говорили — сердце отдавать. Я-то хорошо знаю ваше сердце!

— Откуда же вы его знаете? — Выражение лица у Ландена стало недоверчивым и настороженным. — Изволите смеяться надо мной, мсье Костадо?

— Я часто говорил с Дени о вас и вашей судьбе.

Ланден побледнел.

— О моей судьбе?

— Знаете, как мы с Дени называли вас? Только, пожалуйста, не сердитесь. Мы вас называли жертва.

— Жертва? В самом деле?

И Ланден засмеялся. Вот забавная противоположность: отец называл «гадиной», а сын — «жертвой». И в ушах у него эти слова звучали в комическом смешении: гадина-жертва, гадина-жертва.

— Оскар Револю по отношению к вам был настоящим подлецом, — с воодушевлением продолжал Пьер, — хотя вы столько делали для него, вы были образцом благороднейшей преданности. А после его самоубийства вы все свои силы отдали на то, чтобы дети покойного как можно меньше пострадали от разорения. Неужели вы станете это отрицать? Я даже не представлял себе, что можно с такой простотой и скромностью воздавать добром за зло. Роза и Дени знают, скольким они вам обязаны. Если они вам не говорили и не писали этого, хотя я просил, умолял это сделать, — то только потому, что они с детства привыкли принимать от вас услуги: ведь вы всегда приносите

себя в жертву их семейству. Сколько раз наша мама говорила, что вы работаете в конторе Револю, как каторжный, а получаете нищенское жалованье. Мама даже уверяет, что если б Оскар Револю не покончил с собою «самым глупейшим образом», как она говорит, то вы бы еще раз вытащили его из ямы, в которую он попал…

— Поговорим лучше о другом, мсье Костадо, — прервал его Ланден. — Я добросовестно исполнял обязанности старшего клерка, только и всего.

Но Пьер, ласково глядя на него блестящими глазами, настойчиво говорил:

— Нет уж, как хотите, мсье Ланден! Ваше смущение выдает вас с головой. Вы замечательный, чудесный человек! Да если б у меня и возникло когда-нибудь — ну когда-нибудь раньше — сомнение, что вы не такой уж чудесный, то теперь у меня есть доказательство этому… А если даже вы решили наверстать упущенное, поразвлечься немножко, все равно вы хороший, потому что всю жизнь жертвовали собой…

Ланден не решался возражать. Обычно он сам говорил о своем добром сердце, но сейчас он испытывал чувство неловкости и смущения перед своим идеализированным портретом, который в невинности души рисовал ему сидевший с ним за

столиком юноша, весь красный от выпитого вина, с багровыми ушами и капельками пота на лбу (он все вытирал их грязным носовым платком).

У Ландена не хватило духу солгать, напротив, к собственному его удивлению, у него вырвались такие слова:

— Вы не знаете моей жизни, мсье Костадо. Вы не знаете меня.

Пьер почувствовал что-то странное в этих словах, но не различил звучавшей в них тоски.

— Разумеется, я не знаю всей вашей жизни, но вполне достаточно я того, что я наблюдал в течение многих лет…

Прервав его, Ланден заметил, что никому неведомы истоки его жизни, его поступков даже и в те годы. Пьер без всякого отвращения схватил его за руку.

— У каждого нашего поступка далеко не один источник, мсье Ланден; я думаю, вы тут со мной согласитесь. И только скудоумные люди сводят все мотивы наших действий к самой обыденной корысти. У наших действий бесчисленные истоки, — знаете, как родники в наших краях. На каждом шагу в болотистых лугах бьют ключи, они сливаются, и вода, что бежит быстрым ручьем между корнями ольхи, — светла, чиста

и отражает небесную лазурь… Я вас знаю, мсье Ланден, знаю как достойного человека, который отдавал все силы, работая на богатого хозяина, на праздного сластолюбца, — ведь он только и делал, что искал удовлетворения своим страстям. Вот это я знаю, и чего же мне еще копаться…

— Да, может быть. Но с тех пор… — И, оборвав недосказанную мысль, Ланден добавил: — Я столько выстрадал…

Но тут он заметил, что его юный собеседник отвлекся и разглядывает парочку, которая села за соседний столик. Дама была очень молода. «Начинающая», — подумал Ланден. А скорее всего просто какая-нибудь продавщица из магазина, которую ее покровитель решил побаловать, сводить в мюзик-холл. У покровителя было тучное тело, короткая бычья шея, подстриженные бобриком волосы и большие уши с торчащими из них пучками волос. Он водил толстым пальцем по карточке, выбирая вина, расспрашивал метрдотеля, не замечая того, что каждый жест его спутницы уже предназначался для юноши, сидевшего на бархатном диванчике напротив нее. Но Ланден чувствовал, ощущал эти тайные нити сближения, которые два юных существа перебрасывали друг другу, словно две сидящие

на ветвях дерева птицы, что весной подзывают, подманивают крут друга. Он знал, что ему ничего иного не остается, как наблюдать за этой игрой и развлекаться ею, если будет соответствующее настроение, или же встать и уйти из бара, хотя на улице льет дождь. Но он хорошо знал, что без борьбы не откажется от надежды впервые в жизни довериться, исповедаться начистоту, и не какому-нибудь своему сообщнику, не какому-нибудь черствому, старому распутнику, а юному, чистому существу, совсем еще недавно расставшемуся с детской порой жизни, но каким-то чудом готовому выслушать его признания и если не понять чужую темную жизнь, то хотя бы направить на нее нежданный луч света и дать ей иное объяснение, чем тот ужасный приговор, который напрашивался сам собою. Ну, конечно! Ведь у этого юноши душа и ум незаурядные, и он мог бы сказать Ландену, какова сущность некоторых людей, что остается от них, если отбросить владеющую ими манию, привычку, страсть. И тут Ландену вспомнилось, как Оскар Революю велел обрубить в Леоньянском парке весь плющ, сохранив его лишь на нескольких вязах, на которых его покров заменил собою погибшую листву. Ничего не осталось бы от этих вязов, если

б сорвали с них плющ. Что уцелеет в Луи Ландене, если… Нет, такой вопрос Пьер Костадо нынче вечером не может обсудить с Ланденом! Хотя этот мальчуган и сидит с ним рядом, но мысли его далеко. Толстяк, явившийся с молоденькой девушкой, отправился на поиски уборной. Его дама и Пьер улыбались друг другу. Слова ровно ничего не значат. Истинный голос крови — это безмолвный призыв двух юных существ, которые никогда раньше не видели, но сразу, с первого взгляда распознают друг друга, как это было бы с ними в первые ночи жизни человечества на земле, когда они издали учуяли бы друг друга и, внезапно возникнув из колючих зарослей, юные и нагие, побежали бы навстречу друг другу.

* * *

Сцена, Ландену знакомая. Но в тот вечер она, вопреки обыкновению, не вызывала в нем злобы, горького раздражения и отчаяния. «Счастье существует, — думал он, — бог милосерд и благословляет молодые чистые создания». Ничего не поделаешь, надо примириться со своей участью и страдать, раз ты какой-то отброс, вышвырнутый в грязь той самой природой, которая, творя свое дело, создает и прекрасное чудо — двоих детей,

вдруг застывших на опушке дремучего леса и восхищенно взирающих друг на друга. Если когда-нибудь еще ему, Ландену, встретится Пьер Костадо, гадина-жертва все откроет ему… Но в этот вечер лучше оставить его в покое, пусть будет счастлив. И, заплатив по счету, Ланден встал.

— Меня ждут, — сказал он. — Извините, пожалуйста.

Внезапно очнувшись, Пьер решил, что его спутник рассердился, и, поспешно поднявшись, заявил, что один он в этом баре не останется. Девушка следила за ним разочарованным взглядом.

По-прежнему лил дождь. Ланден остановил проезжавший фиакр и нанял его. «На улицу Фонтен». Пьер, все еще думая, что Ланден сердится, предложил проводить его. Тот дрогнувшим голосом выразил согласие, но добавил, что его ждут.

— Я распрощусь с вами у подъезда, — сказал Пьер.

Он нисколько не сомневался, что неразговорчивость Ландена — признак недовольства, и попытался его развлечь. Громко втягивая носом воздух, он уверял, что в этом фиакре пахнет так же, как в экипажах, которые были у его родителей, и что ему вспоминается, как в детстве он

совершал волшебные путешествия, забравшись в какое-нибудь отжившее свой век дряхлое ландо, стоявшее в углу каретника; вспоминается ему также и та коляска, в которой он однажды вечером провожал Розу Революю в Леоньян… Мсье Ланден, конечно, хорошо знает Розу Революю. Ланден подтвердил, что он прекрасно знает мадемуазель Революю. Она всегда при встрече с ним спрашивала, как поживает его сестра, и он никогда не забудет этой милой любезности.

— Ну так вот! Признаюсь вам, мсье Ланден, только вам одному скажу… Я любил ее и сейчас еще люблю. И всегда буду любить.

Ланден подумал: «Существует истина жизни, существует истинная жизнь». Фиакр поехал медленнее и наконец остановился. Ланден сказал сиплым голосом:

— Ну вот и доехали. Благодарю вас, мсье Костадо.

— Не за что, — сказал Пьер.

И тогда Ланден добавил:

— Благодарю за то, что вы отнеслись ко мне с таким доверием, с такой добротой. Ах, если б вы знали!..

Нерешительно положив руку на кнопку звонка, он умолк, видя, что Пьер не слушает его и

стоит на тротуаре, глядя затуманенным взглядом куда-то вдаль.

— Я очень доволен, что оказался далеко от своей гостиницы, — сказал Пьер. — Пойду пешком через весь Париж. Дождь перестал. От прогулки хмель пройдет. Спать буду как убитый.

Извозчик уже отъехал. Ланден, помахав на прощанье рукой, нырнул в приотворившуюся дверь парадного.

Пьера соблазняла мысль вернуться в «Олимпию». Но ему стало противно при мысли о толстом спутнике девушки. Да и вообще, надо же попробовать хранить чистоту. Он мысленно спрашивал себя, много ли юношей страдают от такого же разлада, какой он не может побороть в себе: с одной стороны, чувственность, а с другой — жажда самоотречения, — противоречие, отразившееся в Атисе, который даже стал из-за этого непонятным: образ усложнился до такой степени, что Кибела уже наталкивалась на целомудренного Атиса, душу которого переполняла вера в какого-то неведомого бога. И шагая по мокрым, покрытым жидкой грязью тротуарам, мимо черных домов, прорезанных светящимися окнами кабачков, где гулящие девицы и пьяные мужчины о чем-то говорили, низко наклонясь

друг к другу, Пьер вполголоса читал самому себе нараспев жалобу Кибелы, обиженной раскаявшимся Атисом.

Я плачу: ты так слаб и мощен, Атис мой.

Ты спишь? Тебя трава пыльцой кропит с любовью,

Звенит кузнечик в лад с твоей горячей кровью.

Замолкли песни птиц — кругом царит покой.

И сонный ветерок с далекого приморья,

Где сосны древние над скалами шумят,

Твоей возлюбленной приносят аромат.

Как ревность жжет меня, как необъятно горе!

Чтоб мог ты почивать, виденьями объят,

Умерила я жар полудня раскаленный,

Но тщетно все! С земли встаешь ты, запыленный,

Могучей, пламенней, чем лета знойный лик —

Я б не поверила, что Атис так велик.

Змеиной гибкостью мой Атис обладает,

Он тайну некую от глаз моих скрывает.

Кибеле чары те неведомы. Увы!

Леса печальные, моря, пустынны вы!

Он не сообщник вам уж ни душой, ни телом.

Он не подвластен вам, земли не внемлет зов.

Смотрю на детский лик — он ясен и суров.

Иной восторг твоим становится уделом,

Иная скорбь; тебе сужден конец иной,

Чем берегам моим, источенным волной.

«Сообщник…» Это ужасно! — упрекнул он себя. — Надо переделать строку…

Подбирая вполголоса гармоничные созвучия слов, он перешел по мосту через Сену, потом добрел до улицы Турнон, не замечая, какой дорогой идет, добираясь до дому инстинктивно, как

возвращается зверь в свое логово. Изнемогая от усталости, он разделся и сразу же уснул. Утром его разбудил не голод, как обычно, а жестокая мигрень и тошнота. Он уже знал по опыту, что впереди предстоит ужаснейший день, и поэтому снова улегся. Часов в семь вечера он поднялся, наспех привел себя в порядок и отправился в молочную, куда ходил по утрам пить кофе со сливками и хрустящими рогаликами. Но в этот вечер кофе послужило ему обедом, и он опять забрался в постель.

* * *

На следующий день заиграло яркое солнце, слишком яркое — не по сезону («Такое тепло долго не простоит!») — и к Пьеру вернулось бодрое настроение. В полдень он вышел из дому, купил свежий номер «Прессы», который продавали газетчики, и устроился за столиком в баре «Пантеон». Он умирал с голоду, так как вторые сутки почти ничего не ел. Заказав бифштекс, он взялся за газету и на первой странице увидел портрет Ландена. Над портретом жирными буквами было напечатано: «Преступление на улице Фонтен», а внизу указывалось: «Жертва преступления».

Позднее, когда он пытался восстановить в па-

мяти все пережитое в эту жуткую минуту, ему казалось, что он бессознательно вел себя так, как будто это он убил Ландена. Он принялся читать страшное сообщение, напустив на себя небрежно любопытный вид, и не поднял головы, когда официант принес бифштекс. Как это ни странно, у него не было глубокой внутренней уверенности в том, что он ни в чем не повинен, и, желая убедить себя в этом, он, прервав чтение, стал вспоминать, минута за минутой, как и где провел третьего дня вечер. Ну, конечно, он простился с Ланденом у его подъезда — как ни был пьян, а все-таки не увязался за ним… И вдруг ему бросились в глаза следующие слова: «*Разыскивают некоего молодого человека, к которому Ланден подошел около десяти часов вечера в мюзик-холле „Олимпия“. Имеются свидетели, видевшие, что Ланден и этот неизвестный спустились в бар и выпили там бутылку шампанского. Еще не было одиннадцати часов, когда Ланден потребовал счет. На бульваре он нанял фиакр № 2021 и пригласил вышеуказанного молодого человека ехать вместе с ним. Извозчик довез их до дома Ландена, но не видел, чтоб они вошли туда вдвоем. Ему даже показалось, что молодой человек пошел дальше один. Приметы, им сообщенные, совпадают с при-*

метами, указанными билетершей мюзик-холла, которая знает Ландена и заметила того молодого человека, с которым он ушел. Официант бара дал такое же описание его внешности. Только одна свидетельница, мадемуазель Ивелина Шабра, сидевшая в баре за столиком, напротив Ландена, совсем иначе описала его спутника. Расследование осложняется тем, что его приходится вести в специфической среде, где слишком многим людям выгодно молчать и хранить свои дела в тайне. Кроме того, все свидетели единодушно утверждают, что разыскиваемый молодой человек не принадлежит к числу завсегдатаев „Олимпии“, никто там не знает его в лицо, и, вероятно, он впервые зашел в этот „мюзик-холл“.»

В разделе «Последние новости» приводилось показание консьержки, которое, очевидно, должно было направить полицию по другому следу. Оказалось, что около девяти часов вечера к Ландену пришел какой-то неизвестный, должно быть, он отпер дверь в его квартиру ключом, который ему дал сам покойный. Консьержка утверждает, что Ланден вернулся домой около одиннадцати часов вечера и что она слышала, как он, стоя у подъезда, сказал кому-то: «До свидания», и человек, с которым он простился, пошел дальше по

тротуару.

Пьер залпом осушил свой стакан и, вздохнув с облегчением, посмотрел вокруг. Никто, по-видимому, не обращал на него внимания, он закрыл глаза и пробормотал молитву. Показания консьержки он перечитал пять-шесть раз. Итак, он спасен!..

Написать следователю или не стоит? Нет, это было бы просто глупо… Искать, конечно, будут во всех гостиницах Монмартра и около площади Республики, среди профессионалов. Нет никаких оснований думать, что они придут и схватят юношу из хорошей семьи, о котором хозяева номеров, где он живет, люди порядочные, могут дать только хорошие отзывы. Он долго бродил по аллеям Люксембургского сада, поджидая вечерние газеты, но не нашел в них никаких новых подробностей. Ночь (третью ночь после преступления) он провел очень тревожно: лег в постель не раздеваясь, поминутно просыпался, вздрагивая, открывал глаза и снова проваливался в черную бездну. В семь часов утра он уже был на ногах и, выйдя из дому, помчался к киоску. В газетах сообщалось, что следователь подверг долгому допросу камердинера покойного Ландена. О таинственном молодом человеке, которого виде-

ли в «Олимпии», по-прежнему не было ни слуху ни духу, а меж тем его показания были очень нужны для следствия. Но было маловероятно, что он объявится, «*поскольку в этом деле оказались постыдные стороны*».

Весь этот день у Пьера продолжали действовать рефлексы самозащиты: он счел, например, нужным надеть темный костюм, отправился в парикмахерскую и велел остричь себя «как можно короче». Его томило тоскливое чувство, но уже не оттого, что страшно было объясняться со следователем, но от удивительной уверенности в том, что он сыграл какую-то роль в этой жуткой истории, что он оказался замешанным в нее, словно кто-то повелел ему сопровождать гнусную жертву как можно дальше, до последней черты, за которой уже не могло быть для Ландена никакой помощи, никакого спасения ни на земле, ни на небе. Боже мой! Газета, которую продают на улице за два су, давала всем и каждому в руки, не боясь навеки повергнуть в отчаяние чистые души, ключ к одним из бесчисленных врат человеческого ада, земного ада, который, как и царство божие, живет внутри нас.

То, что всегда было для Пьера самым ужасным, что всегда мучило его, теперь получило

определенные очертания, воплотилось в действительность. Дьявол был бы не таким уж страшным чудовищем, если б не служил более могущественному князю тьмы. Зачем говорить о каких-то преобразованиях, о революциях? Все это ни к чему не приведет: голод и жажда справедливости столкнутся с голодом и жаждой совсем иного рода, с самыми гнусными вожделениями. Сначала надо справиться с тем, что кроется в самом существе человеческом, с этой палящей гнойной язвой, думал Пьер. Но само это убожество человека, разъедаемого тайной язвой, мерзость его, которые могли бы склонить религиозную натуру юноши к решениям мистического характера, отвратили его от них: он был слишком плохим богословом и не мог удовлетвориться рассуждениями, оправдывающими творца в том, что он создал такую мерзкую тварь. В течение следующей недели ему несколько раз как будто удавалось бежать от своих сомнений, найти прибежище в молитве, в слепой вере, но эти минуты были связаны с определенной душевной настроенностью, которую он не мог вызывать в себе по своей воле. Все же остальное время его раздирала внутренняя борьба, и она отнюдь не носила умозрительного, отвлеченного характера

для Пьера Костадо, единственного спутника, который проводил Луи Ландена до брега вечности и был последним, чье человеческое лицо предстало перед Ланденом, ибо потом уж этот несчастный видел лишь неумолимую жестокость во взгляде своего убийцы. Случай, конечно, исключительный, но вскрывающий истинное положение вещей, обыденную действительность, ужас которой проявляется в бесчисленных формах, с тех пор как существуют люди. Извечный ад начинается здесь, на земле, с самого рождения тех, кто, по мнению богословов, обречен проклятию, и даже еще до их рождения. Дорога, которой шел юный поэт, поглощенный образами Кибелы и Атиса, вдруг привела его к тому последнему пределу, где закончилась судьба Ландена, — к берегу мертвого моря.

* * *

Несколько недель Пьер был как сумасшедший. Он ходил по церквам, исповедовался и получал от духовников то формальные ответы, уснащенные казенными фразами из катехизиса, названиями богословских трудов, где разрешались все сомнения верующих, то невразумительные, туманные речения усталых людей, которым до смерти

надоело резонерство скептиков; но иногда он слышал призывы к самозабвенной вере и любви и тогда, бросавшись на колени, погружался на несколько мгновений в пламенную молитву, как это было с ним в часовне пресвятой девы, в соборе Сен-Сюльпис.

Силы его иссякали. Близилась решающая минута, когда судьба юноши с такой натурой, как у него, зависит от случайной встречи. Ему было необходимо, чтобы кто-нибудь нежданно возник на его дороге, схватил его за плечи и толкнул бы на тот или иной путь. И этим встречным оказался не кто-либо из его товарищей, не духовник и не какой-нибудь святой человек, а проститутка.

В одном из только что появившихся автобусов с империалом, которые ходили от Оперы до Сен-Жермен-де-Пре, он встретил ту самую молоденькую девушку, которую он видел в баре мюзик-холла «Олимпия». Он сел на свободное место рядом с ней и сначала ее не узнал. Но они тотчас разговорились и сошли на первой же остановке. Пьер прежде всего постарался оправдать себя в глазах этой девицы. «Да неужели вы думаете, что я вас заподозрила? — воскликнула она. — У вас и лицо-то совсем не такое! Разве мы этих самых не знаем!» Пьер был тронут тем,

что она нарочно дала следствию неверные его приметы. Она служила в кафе-кондитерской на улице Риволи.

Самым решающим для Пьера оказалась не столько его связь с этой девушкой, начавшаяся тогда, сколько новый образ жизни, к которому он сразу привык, потому что избавлен был от необходимости заниматься каким-нибудь регулярным трудом и получал в конце каждого месяца денежный перевод; он повел обычную жизнь кутилы, жизнь завсегдатая злачных мест. Теперь он мог сказать про себя: «Я настоящий Костадо», и действительно, существование его пошло по такому же руслу, как у его братьев, хотя прежде он возмущался ими. Но они-то по крайней мере никогда не претендовали на душевное благородство и не судили других с высоты своего величия, как это всегда делал Пьер. А теперь он упал в грязь, во всем стал похож на своих старших братьев, и его, так же как их, захлестывала равномерно вздымавшаяся и спадавшая мутная волна того же самого чувственного вожделения. Может быть, у него чувственность была даже более буйной и темной. Только она не сводилась, как у его братьев, к простому грубому желанию. Все запахи земли вливались в него, кровь его

бежала по жилам в гармонии с движением весенних соков, поднимавшихся в стволах деревьев, лица и тела людей открывали только ему одному свою грозную красоту — ту, которую другие не умеют видеть.

Пьер постиг непреодолимую власть над ним всего сотворенного, постиг и собственное свое бессилие принять эту власть без всякого отчаяния. Вокруг него другие люди следовали законам естества и не видели ничего трагического в удовлетворении своих страстей. Им было неведомо чувство стыда за свое падение, им не казалась унизительным погрязнуть в омуте распутства. Но Пьер чувствовал, что он-то идет ко дну. Никакие доводы рассудка не могли рассеять крепнувшее в нем убеждение, что все эти удовольствия — смерть для души. Мутная волна захлестывала его, проникала в него вратами зрения, обоняния, слуха. Какая мука! Он не мог переносить жизни, полной тех самых наслаждений, которые стали ему нужнее, чем хлеб и вино.

Жизнь была для него нестерпима, но о самоубийстве он и не помышлял. Напротив, он задыхался от жажды жизни, от счастья жить на белом свете. Даже если б ему выкололи глаза, для него достаточно было бы единой ниточки, чтобы

привязать его к милому земному миру, — достаточно было бы ему слышать плеск грозового ливня, шорох его струй в листве деревьев и чувствовать тот ни с чем не сравнимый запах, когда дымится под лучами солнца мокрая от дождя земля. И даже если б умерли у него все органы чувств, остались бы неугасимая мысль и жажда жизни, любопытство к тому, что совершается в собственном его сердце, пристальное внимание к каждому его биению.

Но он боялся того, что будет после смерти. Он верил во все, что ему внушали с детства. Другие легко освобождались от этих верований, передернув плечами, сбрасывали с себя их бремя, а у него все посеянные в душу семена дали ростки. Отыскивая в зеленой траве июньских лугов следы Кибелы и Атиса, он не переставал слышать голоса ангелов в шелесте ветвей и видеть в приотворенную дверь хлева, полного душистой соломы, юную деву, державшую на коленях младенца, которому предстояло быть распятым. Еще в коллеже каждый столб, поддерживавший беседку на школьном дворе, представлялся ему воздвигнутым крестом, и оттуда, поникнув головой, смотрел на него распятый, а в классе переплет оконных рам над густолиственными

платанами, покрытыми целой тучей шумных воробьев, казался ему перекладинами все того же креста. Но все же скорбный образ не заслонял от его глаз красоту земли.

Не меньше страшился этот юный язычник и умереть для мира, для земных радостей. Он всегда избегал священников, хотя и почитал их. Он боялся этих ловцов душ человеческих, расставлявших свои сети ради вящей славы божией. Теперь же он бродил вокруг них, как молодая лиса, умирающая от голода, которая, однако, знает, что поставленная приманка прикрывает западню… Пришли дни, когда ему случайно попалась в руки только что появившаяся книга внука Ренана, а также «Тайна милосердия Жанны д'Арк», принадлежащая перу Шарля Пеги[27].

На закате жизни нам труднее бывает поверить, что на нашу судьбу могла оказать влияние та или иная книга. Однако это истина, повседневная истина. Пьер уверил себя, что сочетание креста и меча вошло в его жизнь извне, меж тем как неведомо для себя он носил их в самом себе, так же

---

[27] Примечания: 27

Шарль Пеги (1873–1914) — французский поэт, драматург, публицист, эссеист и редактор, стремившийся к изображению героических сюжетов и характеров и к раскрытию народных нравственных и религиозных идеалов.

как и почти все юноши его времени и его склада; ему не пришлось вести глубокие раскопки, чтобы их найти…

Он пришел к простейшему решению. В таком возрасте человека опьяняет надежда разрешить все свои жизненные конфликты одним росчерком пера. Он поставит свою подпись — и со всем будет покончено, — покончено с Парижем, с любовницей, со всем этим постылым существованием, покончено с семьей (он уедет, не простившись ни с кем, даже с матерью). Пьер поставил подпись, и теперь уже все зависело не от него, а от других и от другого — от того, кто не случайно привел его однажды ночью в мюзик-холл «Олимпия», кто не без тайного намерения поставил его на последнем повороте пути человека, обреченного на смерть. Пьер верил, что все встречи, какие бывают в нашей жизни, даются нам по делам нашим, ниспосылаются нам судьбой и имеют тайное значение, которое нам надлежит разгадать.

И какое успокоение принесла ему мысль, что теперь нужно только отдаться на волю других! Да, да — до конца испытания… то есть до весны 1915 года, когда он в возрасте двадцати трех лет будет освобожден от военной службы и, как он

верил, раскроет наконец, хоть и дорогой ценой, тайну, дарующую человеку радость в этом мире.

Глава девятнадцатая

За время долгой болезни матери и до того декабрьского дня, когда она скончалась, Жюльен, второй больной в доме, — стушевывался. Он милостиво отступал на задний план и довольствовался перемежающимися заботами Марии Кавельге. Но как только матери не стало, он восстановил свое положение тяжелобольного и соответствующие права. Хотя у него не был затронут ни один важный для жизни орган, он сильно похудел; состояние его не требовало особого ухода, и Роза могла присматривать за ним и заниматься делом, которое стало для нее единственным развлечением: она вела бухгалтерские книги, а счетоводство в Леоньяне все усложнялось, так как хозяйство росло с каждым днем.

Хотя Жюльен никогда не выходил из своей комнаты и никого не видел, кроме Марии Кавельге и Луи Ларпа (эта вновь появившаяся в доме фигура служила живым доказательством возвратившегося благосостояния), он ежедневно угощал сестру хроникой происшествий, случавшихся в усадьбе, не скрывая от Розы и новостей, касавшихся личной жизни их младшего брата,

который поселился во флигеле, у Кавельге. Жюльен нисколько не сомневался, что Дени уже давно состоит в связи с дочерью Кавельге. Недаром же этой девчонке пришлось целый месяц проваляться в постели: весь Леоньян знает, что у нее был выкидыш. Кавельге обязательно заставят Дени жениться на Ирен. Они только ждут, чтобы ему исполнилось двадцать лет да чтобы миновала угроза военной службы. Дени узкогрудый, и управитель уверяет, что добьется для него белого билета. Слава богу, полезных знакомств у Кавельге достаточно.

Роза с молчаливым раздражением выслушивала сплетни Жюльена и делала вид, что не верит им. Так как Дени теперь не жил в доме, то виделись они мало, а разговаривали лишь по вопросам сугубо материального характера. С течением времени атмосфера отчужденности, установившаяся меж ними, сгустилась. Дени, всегда озабоченный и вместе с тем какой-то сонный, казалось, весь был поглощен своими хозяйственными хлопотами, но занимался ими как-то машинально, словно лунатик.

В начале весны, через несколько месяцев после смерти матери, у Жюльена появился на губе прыщик, которому Роза сперва не придала зна-

чения. Такова уж судьба подобных больных — на их жалобы не очень-то обращают внимание. Но за несколько часов тонкие губы Жюльена так распухли, что рот его стал похож на свиное рыло. Страдания были мучительны, но Жюльен переносил их стоически и встретил смерть с большим мужеством и подлинным достоинством. Эта скоропостижная, нежданная кончина потрясла сестру и брата, и в первые часы они как будто испытывали глубокое горе. В действительности же на них пахнуло холодом небытия, ожидавшего и их самих.

Очень быстро Роза заметила, что трижды вошедшая в дом смерть, трижды повторившиеся похороны, в сущности, оставляют ее равнодушной; когда она стояла у гроба отца, а затем у гроба матери, ей больно было за свое безразличие; теперь же она испытывала чувство стыда. Она поняла наконец, что сталось с нею из-за ничтожного юноши, отвергшего ее любовь в тот печальный день, когда проливной дождь затопил дорожки в городском сквере. Еще долго после этого она как будто оставалась прежней девушкой с горячим и нежным сердцем, искала утешения в молитве, приносила в жертву близким свою жизнь. Но раны сердца все не заживали, и, неведомо для

нее самой, иссякли и эта нежность и жар души.

К чему ж она пришла за эти три года? Какая сухость, какая пустота! Три года была служанкой матери, а потом служанкой старшего брата, не ведала никаких радостей, кроме одной — сознания, что в дом вернулся достаток. Но ценою этого благополучия оказалась судьба Дени, думала она. Дени стал заложником в руках Кавельге: они получили уплату долга натурой. Роза не знала, как назвать чувство, которое вызывали у нее все трое Кавельге, особенно Ирен, — она стала теперь толстощекой, грудастой и едва раскрывала заплывшие жиром глаза. Роза не говорила себе: «Да, это ненависть!» Нам никогда не приходит в голову приглядеться к своим страстям и назвать их истинным именем.

Нельзя сказать, чтобы в ней говорила зависть, чувственная досада брошенной девушки. В этом отношении она была спокойна, не знала ни сожалений, ни желания. На похоронах Жюльена она в первый раз после трехлетней разлуки увидела Робера Костадо, но испытала при этом лишь горестное любопытство. Во время церемонии «приношения лепты», когда весь город вереницей тянулся к амвону и подолгу приходилось ждать своей очереди, она хорошо разглядела

своего бывшего жениха. Черты лица у него уже немного расплылись. Линия волос отступила, обнажая лоб, что, впрочем, нисколько не придало благородства его очертаниям. Длинные ресницы поредели и уже не затеняли все еще красивых глаз, веки стали красными. «Так вот он, предмет моих долгих страданий! — думала Роза. — Это из-за него все во мне сгорело!» И она смотрела на Робера с каким-то почтительным страхом.

В тот день вечером Роза спросила Дени, который согласился пообедать с ней:

— Ты будешь теперь жить в большом доме? Не оставляй меня тут одну…

Дени ответил, что это невозможно.

— Должен сказать тебе, Роза… Не знаю, простишь ли ты… (он говорил, низко опустив голову). Мы с Ирен поженились. Пришлось сделать это тайком. Пойми меня… Она ждет ребенка… В августе роды.

Роза не удивилась. Она всегда знала, что так будет. И сперва она заговорила спокойно, но мало-помалу разгорячилась. Пошли причитания, как когда-то у матери, все более горькие и страстные. Так вот оно что! Она совсем измучилась, не знает ни минуты покоя, все силы отдала братьям, а Дени вон как развлекается в часы досуга с доб-

рого согласия папаши и мамаши Кавельге. Дени прервал ее и, заговорив смиренным тоном, стал защищать семейство Кавельге.

— Мы им решительно всем обязаны. Три года тому назад Кавельге вложил в хозяйство все свои сбережения; все, что старик накопил за свою жизнь, он мог потерять из-за ранних заморозков или сильного града. Нам, правда, повезло… Но ты вот хоть и ведешь приходно-расходные книги, а до сих пор не хочешь понять, как много Кавельге сделал за эти три года…

Роза упорно молчала, и тогда Дени, не поднимая головы, добавил:

— Конечно, я не стану навязывать тебе общество моей жены; мы по-прежнему будем жить во флигеле, у Кавельге. А этот дом останется тебе, помимо твоей доли доходов. Мы уж так решили… Нет, неужели ты могла подумать, что я предложу тебе жить бок о бок с Ирен?

Он даже засмеялся! Как это, право, Роза могла заподозрить, что у него возникла такая кощунственная мысль! А ей вдруг стало неловко и стыдно, что он так высоко ее ставит. Гнев ее сразу улегся, на душе стало тихо, спокойно. И без долгих размышлений она принялась уговаривать брата:

— А ты-то как мог подумать, что я допущу, что-

бы вы и ваш ребенок жили во флигеле? Забудь то, что я наговорила, Дени. Нет, нет, место твоей жены — в нашем старом доме, он настолько велик, что мы все можем тут жить, не стесняя друг друга. Мне вполне достаточно двух комнат.

Дени твердил: «Нет, это невозможно, нет, тебе будет неприятно!» И чем больше он протестовал, тем сильнее ей хотелось принести эту жертву и тем меньше та жертва пугала ее. Ей пришла в голову мысль, что, пожалуй, Ирен не согласится, выставит какие-нибудь возражения.

— Что? — смеясь, воскликнул Дени. — Возражения? Об этом можешь не беспокоиться. Ирен будет счастлива!

Роза сказала с ласковым укором:

— Дени, как же ты мог?..

Он ответил чуть слышно:

— Она или другая… Не все ли равно?..

Роза притворилась, будто не расслышала, и, к своему удивлению, не испытала в этот момент вражды к Ирен. Без малейшего сопротивления она отдалась порыву великодушия и чувствовала глубокое облегчение оттого, что смолкло все низкое в ее душе.

* * *

Луи Ларп, одетый во фрак, распахнул двустворчатую дверь:

— Барышня, кушать подано.

Брат с сестрой сели друг против друга в большой парадной столовой, где в камине жарким огнем горели сухие виноградные лозы. На столе, покрытом белоснежной скатертью, блестело массивное фамильное серебро. В саду щелкал соловей, сирень стояла вся в цвету, но как будто озябшая — погода была холодная. Дени сказал, что это из-за новолуния. Ночью придется жечь гудрон, окутать пеленой дыма кусты винограда и плодовые деревья. Он заметил, что Роза иронически глядит на салфетку, которую он засунул уголком за вырез жилета, как это делал Кавельге. Покраснев, Дени расправил салфетку и положил ее на колени. Что за привычки он приобрел! Сестра принялась делать ему замечания, как в детстве: «Не стучи ложкой по тарелке… Дени, убери локоть!»

Они поговорили о Жюльене, об отце, о матери, удивляясь, что говорят о них так свободно и сидят одни в этой столовой, где еще не так давно царил Оскар Револю. Что ж, все старшие умерли. Огонь

в камине почти потух, и тлеющие изогнутые лозы стали клубком огненных змей.

Холодная весна окружила дом опасным мраком студеного вечера. Иногда то брат, то сестра бросали в разговоре какое-нибудь имя, которое раньше они избегали произносить, вспоминали, например, Пьера или убитого Ландена, — теперь не надо было бояться прежних запретных тем.

Наконец Роза встала.

— Я провожу тебя и сама поговорю с Кавельге. Не стоит откладывать…

Ей казалось таким легким делом проявить великодушие. Надо будет поцеловать Ирен. Ей не терпелось показать себя доброй и благородной. Дени пристально смотрел на нее, и его круглые, как у ночной птицы, глаза заволоклись слезами. Он взял сестру за руку, но не поцеловал ее. Они вышли из дому. Первый раз в жизни Роза услышала ночной зов кукушки: три отрывистых ноты, а вслед за ними нечто вроде злобного шипенья.

Глава двадцатая

— Ну да, Ирен, теперь только вы одна будете распоряжаться в бельевой.

И впервые Роза увидела, как красное угрюмое лицо Ирен просветлело. Горы простынь и салфеток, хранившихся в огромном шкафу, очаровали дочь Марии Кавельге. Она недавно вернулась из лечебницы, где произвела на свет ребенка, и лишь несколько дней назад переселилась в «господский дом».

Итак, Роза отказалась от своей последней привилегии. Сделала она это с легким сердцем, для нее было важно только одно: проявить великодушие и щедрость по отношению к Ирен. Она не спрашивала себя, почему ей ничего не стоят эти мелкие жертвоприношения: вероятно, она гораздо меньше, чем это казалось ей, была привязана к вещам.

— Вот эти простыни вытканы в Леоньяне в те времена, когда наши с вами прабабки пряли, сидя вместе у камина.

— Уж чего там! Наш род — Кавельге, значит очень даже старинный.

— Конечно. Старинный и хороший род, — под-

хватила Роза, думая про себя: «Ну, наконец-то она приручилась!»

Молодая хозяйка взяла связку ключей, заперла шкаф и стала расстегивать блузу, заявив, что маленький, вероятно, голоден.

— Погодите, Ирен. Вы разве забыли, что сказал доктор? Надо дать ему бутылочку рисового отвара… Нынче утром у него опять был понос.

— Что ж мне, по-вашему, голодом его морить?

— Дени будет огорчен, — уговаривала ее Роза. — В такую жару очень опасно перекармливать ребенка.

Ирен сердито ответила, что она не обязана слушаться Дени.

— Да вот, не обязана. И с завтрашнего дня начну прикармливать Поля супом, — добавила она с вызывающим видом.

И когда Роза запальчиво крикнула:

— Ну, это мы еще посмотрим!

Ирен язвительно спросила:

— Чей это ребенок? Мой или ваш?

— Это сын моего брата, он носит нашу фамилию, и я не позволю…

Ирен выбежала из комнаты, хлопнув дверью Роза в замешательстве стояла с минуту посреди бельевой, раскрасневшаяся от гнева и удушливой

жары. Нет, не хватит терпенья ждать, когда вернется Дени, лучше сейчас же поехать трамваем в Бордо и разыскать его в теннисном клубе, куда он заходил поразмяться, кончив занятия в конторе (у «Фермы Леоньян» с недавних пор завелись склады и контора на улице Сен-Жан). Домой Дени привезет ее в своем новом автомобиле «даррак». Нужно на этой же неделе найти опытную няню — ведь речь идет о здоровье, а может быть, даже о жизни ребенка.

Зайдя к себе в комнату. Роза надела изящную соломенную шляпу, в которой голова ее казалась совсем маленькой. Достаточно ли глубокий у нее траур? Белый шелк на вставочке не матовый, а блестящий. Это нехорошо. Она сняла розовый бутон, приколотый к поясу. Жары она не боялась. Пришлось довольно долго ждать трамвая на той самой остановке, куда она прежде спешила, чуть забрезжит рассвет. Над раскаленной землей простиралось бледное небо. Трещал один-единственный кузнечик, притаившийся где-то под пыльным вязом, с которого опали почти все листья. Еще задолго до того, как показался трамвай, Роза услышала его дребезжащий звонок.

В сумочке у нее со вчерашнего дня лежало письмо Пьера Костадо, которое она, не распеча-

тав, небрежно сунула туда. Она вскрыла конверт, бегло пробежала глазами несколько строк: «*Пятьдесят градусов… Тебе, пожалуй, покажется невероятным… Но я переношу эту палящую жару без особого труда. Сейчас, когда я пишу тебе, вокруг — глубочайшая тишина. Однако никто не спит…*» Роза перевернула страничку: «*Все мои рассказы, наверно, кажутся тебе глупыми… Я и счастлив и страдаю. Некому душу излить, хотя окружающие любят меня и полны той бессознательной, нерассуждающей доброты, которая идет от сердца. Я среди них самый слабый, и они всячески стараются мне помочь…*»

Роза положила письмо в сумочку и припудрила пылающие щеки. Было уже шесть часов вечера, но косые лучи солнца жгли ее сквозь полотняные шторки на окнах вагона. Сойдя с трамвая, она наняла извозчика и поехала в клуб. Раскрытый зонтик скрывал ее лицо. Но Дени ее узнал и, отойдя от кучки теннисистов, направился к сестре. Играть он еще не начал и поэтому предложил Розе сейчас же ехать: они еще успеют немного прокатиться по вечерней прохладе.

Роза, однако, не решилась заговорить с братом о том, что надо взять няню через бюро по найму прислуги. Лучше его сейчас не раздражать. Дени

поехал как был — в белых фланелевых брюках и теннисных туфлях. Когда он вел машину, лицо у него становилось каменным, лишенным выражения. Широко раскрытые совиные глаза как будто смотрели в вечность. Он не говорил ни слова. Казалось, он дремлет за рулем. Автомобиль мчался с бешеной скоростью. Но Розе совсем не было страшно, и нисколько не затрагивали ее ругательства и проклятия, которые неслись им вслед, — ее вдруг охватило равнодушие ко всему на свете. Облака пыли закрывали от нее мир. А ведь смерть была так близка, — смерть ее собственная и смерть еле видного за серой завесой пыли велосипедиста, которого они обогнали. Дени едва успел круто повернуть машину в сторону… Пыль облепила им щеки.

— Пора домой, Дени. Мы опоздаем к обеду.

— Я поеду кратчайшей дорогой, через Марш-прим.

* * *

Кавельге и Мария ели суп у двери флигеля при свете садового фонаря.

— И я с вами поем, — сказала Ирен. — Они до сих пор не вернулись.

— Дождись их. Нехорошо тебе без них кушать.

Ирен покачала головой. Нет, она поест с родителями супу, потом покормит маленького и ляжет спать. Мария пошла за тарелкой и налила дочери супу. Кавельге держали теперь прислугу, но хозяин говорил, что «не любит, когда эта девка вертится вокруг стола».

* * *

Давно уже спустился глубокий мрак, и наконец Ирен увидела два ярких луча автомобильных фар, вдруг осветивших каждое дерево вдоль проселочной дороги. Ирен быстро разделась, не зажигая лампы, и, когда Дени вошел в спальню, притворилась, что спит.

— Ты спишь, Ирен? Ты что, нездорова?

В ответ последовало злобное молчание. В потемках Дени едва различал на постели грузную фигуру, бугром приподнимавшую одеяло.

Он стал уговаривать жену спуститься вниз и пообедать. Она все молчала, тогда Дени добавил:

— Ужасно жаркий вечер!.. Я лягу сегодня спать в кабинете на диване… А то вдвоем тесно, не уснуть.

Он захватил пижаму и спустился в ту комнату, где однажды ночью Ланден беседовал с тенью своего хозяина. Затем отправился в столовую.

Луи Ларп, одетый в суконный фрак, как в зимнее время, уже стоял за стулом Розы.

— Я убрал один прибор, — сказал он.

Он ни за что не желал говорить «барынин прибор».

Вошла Роза, успевшая переодеться. Дени налил себе сухого белого холодного вина; спелая дыня разливала аромат по всей комнате; кружа в воздухе, налетали друг на друга невидимые в полумраке ночные бабочки. Вдалеке глухо ворчали раскаты грома.

— Полю сегодня лучше, но, знаешь, она его перекармливает. Не хочет подержать его немножко на рисовом отваре…

— Ах, я забыл тебе сказать… Я видел в клубе Луизу Пифето, ей уже больше не нужна няня; говорят, няня замечательная, само совершенство. Луиза собирается прислать нам ее на этой неделе. Поставим Ирен перед свершившимся фактом.

Роза с трудом подавила чувство злорадства. За столом брат и сестра почти не разговаривали.

Печальная и рокочущая августовская ночь усыпила мир. За стенами столовой реяли в неверном полете бабочки и слетались из черного мрака на огонь лампы. Дени и Роза встали из-за стола.

— Если она опять будет злиться, — сказал Де-

ни, — я перекочую в кабинет.

— Нет, нет. Наберись терпенья, будь поласковее. Это твой долг.

Роза говорила так потому, что ей было стыдно за тайное свое ликованье.

— Я выйду в сад, подышу свежим воздухом перед сном, — добавила она.

Она села на скамью и, запрокинув голову, подстерегала, как бывало в детстве, не скатится ли с неба падучая звездочка. На темном фасаде дома черными прямоугольниками вырисовывались распахнутые настежь окна в спальне Ирен. Роза услышала сухой голос Дени, — никакого отклика не последовало. Потом хлопнула дверь, а через минуту Дени вышел в сад и сел на скамью рядом с сестрой.

— Она все еще дуется. Я не решился завести разговор о няне.

Роза сказала, что ужасно много в этот вечер падучих звезд, просто уйма. Дени закурил сигарету.

— А помнишь, какие стихи Пьеро сочинил о заблудившихся метеорах? — И он продекламировал нараспев:

Созвездья, пляску волн, прибой неугомонный,

Болиды, павшие в пучину темных струй,
—

Все, Атис, я отдам за лик твой истомленный.
За очи, где горит мой горький поцелуй.

— А как дальше? Я что-то не помню.
— Погоди, — сказала Роза, — дальше было так:

Твой взор терзает грудь, как море — брег…

— Верно, верно! А я-то, дурак, забыл!

Его отраву пью, стеня; он все бездонней.
Твое лицо — алей зари, белей, чем снег,
—

Лишь плод, упавший мне в воздетые ладони.

— Я вчера получила от него письмо, — добавила Роза, помолчав.
— Он здоров?
— Кажется, да. Я еще не все письмо прочла.
— Бедняга Пьеро, — сказал Дани. — Он очень меня любил, а я был груб с ним. Когда он вернется, я буду с ним добрый, буду к нему внимателен. Но

ему теперь это ни к чему, он меня уже любить не станет.

Над их головами послышался легкий шум — должно быть, Ирен облокотилась на подоконник и выглянула в сад.

Роза сказала громче:

— Наконец-то хоть подышать можно, правда, Ирен?

Вместо ответа с резким стуком захлопнулись решетчатые ставни. Роза посоветовала брату идти домой:

— Попытайся еще раз, будь умницей.

Дени возмутился: ведь он уже два раза просил ее, уговаривал, а она ни звука в ответ.

— Могу же я хоть одну ночку проспать спокойно. Честно заработано.

Роза невольно вскрикнула: «Ах, Дени!», — но, притворяясь возмущенной, подавила смешок.

* * *

В нежилых покоях потрескивала мебель. Ирен уснула вся в слезах и, тихонько похрапывая, спала крепким сном, ухватившись рукой за край колыбельки. Роза уже с четверть часа стояла на коленях у постели, уткнувшись головой в одеяло, но молиться она не могла, мысли разбегались в

разные стороны. Дени, вытянувшись на диване в кабинете, без ужаса думал о том, что в этой самой комнате покончил с собою отец. От кожаных диванных подушек до сих пор еще пахло его любимыми сигарами. Дени уже не боялся покойников. А какое наслаждение побыть одному! С завтрашнего дня можно отправлять в город ранний сорт винограда — шасла. Лишь бы ссора с Ирен не отозвалась на отношениях с Кавельге. Нечего впутывать его в эти дурацкие передряги. А как только уход за ребенком передадут надежной няньке, которая не станет кормить его, как Ирен, жирным супом, надо воспользоваться первой же ссорой и переселиться в отдельную спальню. Интересно, трудно ли это будет устроить? Ирен как будто в самом деле его любит… Да нет, просто у нее задето самолюбие. Дени всегда считал, что он не может нравиться женщинам… Сам он испытывал к себе какое-то физическое презрение. Ирен носит его фамилию, живет в господском доме стала матерью Поля Револю. Чего ей еще нужно? Но какая Роза терпеливая! А только все это ей в конце концов надоест, не выдержит она такой жизни. Ей двадцать два года… Никто ей теперь хоть сколько-нибудь серьезно не нравится… А почему я так уверенно говорю: «никто»? Вдруг есть

кто-нибудь? Ведь ее одиночество — просто дичь какая-то… Живет, как отшельница. Но ведь иной раз достаточно случайной встречи… Ужасно, что нет ничего прочного в жизни: все течет, меняет форму, не остановишь мгновения, не удержишь той полоски жизни, когда существование стало терпимым и у тебя хватает сил сносить его.

Роза слушала, как дождь шептался с листвой. Как хорошо! Обильный тихий дождь, без грозы и без града. Полю теперь будет лучше: жара кончается, а главное, теперь уж его питанию не будут грозить крестьянские повадки матери… А могла бы она, Роза, больше дорожить своим собственным, родным сыном? Пожалуй, нет. Ведь ее сын не носил бы фамилии Революю. Как странно, что она стала придавать значение таким вещам… Уже подкрадывалась дремота, сонные грезы. Вдруг мозг прорезала вычитанная где-то фраза: «Для спасения ребенка пожертвовать матерью…» По ночам, когда шел дождь, она часто думала об умерших родителях, о брате, но не потому, что тосковала о них: ей жаль было, что они в склепе и поэтому лишены того преимущества, которое выпадет на долю бедняков: у бедных сама земля принимает их прах, и влага небесная сквозь травы, сквозь корни, сквозь песок доходит до них.

— Ты ее подготовила? Знает она, что приедет нянька? — спросил Дени у сестры на следующий день, выходя из автомобиля.

Роза ответила, что не видела невестку: Ирен велела подать ей завтрак в спальню.

— Но я, знаешь, попросила ее мать, чтоб она поговорила с дочерью. Марию оказалось нетрудно убедить — она и сама видит, что Ирен неопытная, а ничьих советов слушать не желает.

Ирен вышла к столу с запозданием, глаза у нее были красные и опухшие. Брат и сестра разговаривали о каких-то незнакомых ей людях. Она угрюмо сидела перед пустой тарелкой, и Роза спросила, что с нею, — может, нездорова?

— Покушайте немного, хоть через силу. Ведь это нужно для маленького.

Ирен разрыдалась и выбежала из столовой. Роза знаками показала Дени, чтоб он пошел за нею следом. Он поднялся с мученическим видом. «Ну вот, начался кризис, — думала Роза. — Это хорошо. Нарыв лопнет, и все пройдет». Она подождала, но брат все не возвращался, тогда она поднялась по лестнице и на площадке второго этажа услышала выкрики, прерываемые всхлипываниями:

— Я согласна, я приму няньку… Ты хорошо

знаешь, что не из-за этого я плачу… Я все, все сделаю, как ты захочешь… но только не как твоя сестрица прикажет… Почему она лезет в нашу жизнь?.. Что она замуж не выходит, как другие женщины? Зачем она торчит тут и натравливает тебя на меня. Пусть только посмеет отнять у меня моего маленького!.. Я тогда убью ее! Да, убью, так и знай! Натворю я тут бед…

Послышался мужской голос, удивительно миролюбивый, ровный голос. Дени уговаривал жену успокоиться, призывал ее к благоразумию. Но она раскричалась еще больше. Роза спустилась по лестнице, вышла на веранду и остановилась, прислонившись к стене.

Погода была пасмурная, в ту ночь никто не увидел бы падучих звезд. Над головой Розы из открытого окна неслись истошные женские крики: разразилась буря страдания и ненависти. Слов девушка не могла разобрать, но слова и неважны были: она знала, что все это отчаяние из-за нее — она всему причина, она неиссякаемый источник раздоров. Почему она вмешалась? Защищала здоровье малютки?.. Нет, она понимала, что тут дело не в здоровье малютки. Тут завязалась борьба между женой и сестрой — у кого больше влияния. Самый обыкновенный конфликт, какие бывают

в каждой семье, — успокаивала себя Роза. Но почему же так болит сердце? Кругом непроглядный мрак, не различишь даже призрачных силуэтов деревьев. Так больно, так тяжело на душе! Если б хватило сил сделать хоть несколько шагов, уйти отсюда, затеряться на неразличимой в темноте дорожке, — но она не могла пошевелиться, ее точно пригвоздили к стене, а ноги дрожали мелкой дрожью.

— Ты здесь, Роза?

Роза услышала знакомый запах табака.

Дени сказал:

— Она успокоилась наконец. Я заметил, что когда она наплачется, так потом спит, как мертвая. Ничего не поделаешь, пришлось вытерпеть эту истерику... в конце концов все придет в равновесие. И в сущности, это вопрос воспитания. Нет самых простых основ воспитания, вот и не может женщина удержаться от таких ужасных скандалов. Но для тебя и для меня они не имеют значения. Как будто все это происходит где-то далеко, далеко и нас не касается. Мне совсем не трудно отвлечься от всего этого, бежать в свой мир. И тебе тоже не трудно, я уверен. А она, бедная, словно муха у затворенного окна, бьется, колотится о стекло, а за окном тот мир, где и

мне и тебе дышится привольно. Наш мир… — не только наше детство и воспоминания. Ведь даже если бы мы жили врозь, все равно у нас с тобой одна кровь, один и тот же поток крови струится в наших жилах… А бедная муха скоро устанет, сядет на подоконник и перестанет биться. У нее будут свои радости… Все-таки ей приснился сладкий сон, и получила она от жизни больше, чем могла надеяться. Даю тебе слово, Роза, что теперь она тебя никогда не будет тревожить. Ты должна подумать о себе, о своем счастье.

Роза ответила вполголоса:

— Счастья больше не будет…

Брат решил, что она вспомнила о Робере Костадо, и спросил, любит ли она еще его. Роза глубоко вздохнула и, тихонько засмеявшись, сказала: «Ах, господи! Нет!» Да и никого она не любит и никогда не будет любить. Кончено! Дени стал разуверять ее. Роза покачала головой.

— Люди просто не существуют для меня. Все они какие-то чужие, как будто из другой страны, и безликие, и говорят на чужом, непонятном для меня языке.

— И у меня такое же ощущение, — сказал Дени. — Весь день я что-то делаю, хлопочу, спорю, торгуюсь, подписываю письма. И вдруг — шесть

часов вечера, я — за рулем, и снова становлюсь самим собою, снова я — твой брат Дени.

Что же было такого тяжелого в этих простых словах? Они уже сказаны, они уже смолкли, а все еще царят, мрачные, душные. И Роза думала, что было бы безумием поддаться нежданному ужасу. Дени опять заговорил:

— Роза, я сейчас тебя удивлю, очень удивлю. Знаешь, нынче вечером я счастлив, первый раз в жизни счастлив. Да, — повторил он, — я счастлив.

Слышно было, что кто-то идет через бильярдную, натыкаясь на мебель. На пороге застекленной двери вырос силуэт. Раздался хриплый голос Ирен:

— Скоро ты пойдешь спать, Дени?

Он ответил, что еще посидит в саду. Роза совершила неосторожность: вполголоса стала убеждать брата идти вместе с женой.

— Заткнись! — крикнула Ирен. — Заткнись, мерзавка!..

Роза оцепенела, прижавшись к стене. Защитой ей служил круглый железный стол. На нее полился поток гнусной ругани, но звучал он глухо, потому что Дени зажимал ладонью рот жене. Что же осмелилась кричать эта бешеная?

В чем она обвиняла Розу? Дикая сцена длилась лишь несколько секунд. Но мелькнувшая молния открывает взгляду в самой черной тьме беспредельные края. Так и Роза в эти краткие мгновения увидела страсти, которых она еще не знала, увидела мрачное пространство беспредельной и бесплодной пустыни, прорезанное кратерами угасших вулканов.

Жизнь большинства людей — мертвая дорога и никуда не ведет. Но иные с самого детства знают, что идут они к неведомому морю. И они чувствуют веяние ветра, удивляясь его горечи, и вкус соли на своих губах, но еще не видят цели, пока не преодолеют последнюю дюну, а тогда перед ними раскинется беспредельная, клокочущая ширь и ударит им в лицо песок и пена морская. И что ж остается им? Ринуться в пучину или возвратиться вспять…

Дени старался силой увести Ирен и тянул ее к лестнице, но она была сильнее его. Ему удалось удержать ее только потому, что она была в полуобморочном состоянии и пришла в себя лишь на первой ступеньке лестницы. Дени поддерживал ее до самой спальни. Она стонала:

— Не оставляй меня одну, не уходи в сад. Если уйдешь, я выброшусь из окна…

— Я остаюсь, ты же видишь. Сейчас лягу с тобой рядышком.

— Ты останешься тут всю ночь?

Да, да, конечно, он останется. Дени держал ее за руку. Ему казалось, что в отворенное окно доносится дыхание Розы; нет, это ветер зашелестел в листве. Он услышал, как щелкнула задвижка, — значит, Роза заперла дверь. И теперь она одна в своей спальне.

* * *

Роза, не шевелясь, сидела на постели.

По цинковой крыше застучали первые крупные и тяжелые капли дождя. Что взять с собою? Только туалетный прибор из позолоченного серебра. Самое необходимое из белья купить в Бордо. Потом ее носильные вещи вышлют по тому адресу, который она укажет. А куда — она еще успеет обдумать. Сейчас самое главное уехать отсюда. «Бежать куда глаза глядят. Только не оставаться здесь. Бежать...» Дени она пришлет в контору успокоительное письмо, скажет, что уезжает лишь ненадолго. Как бесконечно далека она от того пути, который смутно видела перед собой три года назад, в тот вечер, когда Дени провалился на экзамене... Теперь ничего не

известно, как сложится в будущем ее жизнь, но тот путь надо найти, и она обязательно найдет его. Молитва то была или нет? Роза не могла бы ответить, но, наверное, то была молитва, ибо при свете ее ясно было, что именно нужно сделать. Сейчас, немедленно. Она думала лишь о том, что предстояло сделать немедленно. Она хорошо знала, что завтра выйдет из дому около шести часов утра, пойдет по проселочной дороге и будет долго ждать на остановке трамвая. В шесть, наверно, уже будет светло, и, если рассеется густой туман, она так и не увидит, как вырастет в сумраке огненный глаз циклопа. Но в ее душе это огромное око горело, как в темные предрассветные часы прежних дней.

1939 г.

ФАРИСЕЙКА

I

— Мальчик! Подойди-ка сюда!

Я обернулся в полной уверенности, что зовут кого-то из моих товарищей. Оказалось, нет, звали как раз меня — это, улыбаясь, окликнул меня бывший папский зуав[28]. Верхнюю его губу пересекал шрам, и улыбка поэтому получалась ужасно мерзкая. Полковник граф де Мирбель появлялся раз в неделю во время переменки, когда наши средние классы выпускали во двор. Его подопечный Жан де Мирбель — обычно в переменку он отбывал очередное наказание, стоя у стены, — медленно делал шаг навстречу грозному дяде. Мы издали следили за тем, как он шел на расправу. Наш учитель господин Рош в качестве свидетеля обвинения раболепно отвечал на вопросы полковника, высокого кряжистого старика с «кронштадткой» на голове и в сюртуке военного покроя, застегнутом до самого подбородка, под мышкой он, по обыкновению, держал хлыст, сплетенный, вероятно, из бычьих жил. В

[28] Примечания: 28

Папские зуавы — воинское формирование, которое было сформированы в 1860 г. для защиты Папской области.

том случае, если наш соученик Жан вел себя плохо и «переходил все границы», он под конвоем господина Роша и своего опекуна плелся через весь двор. На наших глазах вся троица исчезала в подъезде левого крыла здания и подымалась по лестнице, ведущей в дортуары. Мы бросали игры и стояли неподвижно, прислушиваясь к длинному жалобному вою — так скулит побитая собака (а может, это нам только казалось…). Через некоторое время появлялся господин Рош, рядом с ним шествовал полковник, и на его побагровевшем лице шрам казался совсем белым. Белки светло-голубых глаз чуть наливались кровью. Господин Рош шагал, повернувшись к полковнику всем телом, внимательно прислушивался к его словам, подобострастно хихикал. Пожалуй, нам, ученикам, представлялся единственный и неповторимый случай видеть ухмылку на этой ненавистной бледной физиономии под рыжей курчавой шевелюрой. Он был нашим ужасом и наваждением, этот господин Рош! Когда он запаздывал к началу урока, я, глядя на пустую кафедру, молил Бога: «Господи, сделай так, чтобы господин Рош умер, Пресвятая Богородица, сделай, чтобы он сломал себе ногу, нашли на него ну хоть какую-нибудь болезнь…» Но он, наш

наставник, пользовался железным здоровьем, и его тонкая рука, сухая его рука была тверже и страшнее любой палки. После таинственных пыток, которым подвергали Жана (наше детское воображение, безусловно, преувеличивало размеры дядиного внушения), де Мирбель входил в класс с красными глазами, с зареванным лицом, с полосками высохших слез на грязных щеках и молча шел к своей парте. Но мы не поднимали глаз от тетрадей.

— Да, да, ты, Луи, иди сюда! — крикнул мне господин Рош.

Впервые он назвал меня просто по имени. Я замешкался на пороге нашей приемной, глядя в спину стоявшего передо мной Жана де Мирбеля. На столике лежал развернутый пакет, а в нем красовались два эклера и ромовая баба. Полковник спросил меня, люблю ли я пирожные. Я молча кивнул.

— Ну и отлично, значит, кушай себе на здоровье. Кушай, кушай… Чего же ты ждешь? Если не ошибаюсь, это сынок Пианов? Я их семью знаю… Такой же робкий, как его бедняга папаша… Но мачеха, Бригитта Пиан, вот это женщина, настоящая мать игуменья! Нет, ты стой здесь! — приказал он Жану, попытавшемуся было улизнуть. — Так

легко ты у меня не отделаешься. Будешь смотреть, как твой приятель лакомится пирожными… Ну, что же ты, приступай, чудачок! — добавил он, вперив в меня наливающиеся бешенством глаза, сидевшие чересчур близко к твердому горбатому носу.

— Он у нас робкий, — сказал господин Рош. — Не заставляй себя просить, Пиан.

Мой приятель глядел в окно. Я видел сзади его нечистую шею, торчавшую из-под отложного незастегнутого воротничка. Пожалуй, страшнее всего на свете были эти двое мужчин, низко нагнувшихся надо мной и улыбавшихся мне прямо в лицо. Я учуял знакомый запах господина Роша — от него разило хищником. Я пробормотал, что не голоден, но полковник возразил, что пирожные можно есть даже после сытного обеда. Я не сдавался, и господин Рош крикнул, чтобы я проваливал ко всем чертям, что не все такие идиоты. Я бросился бежать, а вслед мне донесся голос господина Роша, звавшего Мулейра. Мулейр славился своей недетской тучностью и в столовой ел за троих. Тяжело дыша, он явился на зов. Господин Рош захлопнул дверь приемной, и вскоре оттуда появился Мулейр с перепачканными кремом губами.

Стоял июньский вечер, еще по-дневному душный. Приходящие ученики разошлись по домам, а нас, пансионеров, из-за жары выпустили в неурочное время погулять во дворе. Мирбель подошел ко мне. Тогда мы еще не дружили, и, думаю, Жан презирал в душе слишком осмотрительного мальчика, примерного ученика, каким я был в ту пору. Он вытащил из кармана коробочку из-под пилюль, приоткрыл ее.

— Смотри.

В коробочке сидели два жука-рогача, мы почему-то называли их козерогами. Жан бросил им вишню для пропитания.

— Да они вишен не любят, — сказал я, — они живут на дубах, под трухлявой корой.

Мы поймали жуков еще в четверг, перед самым отъездом из загородного дома нашего коллежа, в тот предзакатный час, когда начинают летать насекомые.

— Возьми любого, лучше вон того, он побольше. Только осторожнее бери, они еще не дрессированные.

Я не посмел сказать, что мне некуда девать козерога. Но я был доволен, что Жан говорит со мной так мило. Мы присели на ступеньку крыльца, ведущего в главное здание школы. В

этом старинном, не очень просторном особняке благородных пропорций жили две сотни ребят и человек двадцать учителей.

— Я хочу выдрессировать их, чтобы они возили тележку, — пояснил Жан.

Он вынул из кармана коробочку поменьше и привязал ее ниткой к рожкам насекомого. Мы поиграли немножечко. Такие переменки выпадали нам нечасто, и сегодняшним летним вечером ни один ученик не стоял наказанный у стены и никто не требовал, чтобы мы играли в общие игры. Мальчики расселись на ступеньках крыльца, кто плевался, кто усердно тер абрикосовую косточку: если оттуда вынуть ядрышко и просверлить дырочку, то получится чудесный свисток. Здесь, на дворе, за этими высокими стенами, до сих пор стояла накопившаяся за день духота. Ветки тощего платана не шевелились. Господин Рош торчал, расставив ноги, на своем обычном посту, возле уборных, — нам запрещалось там засиживаться. Оттуда тянуло смрадом, который только отчасти заглушался запахом хлорки и жавеля. По ту сторону стены, по улице Лейтеир, катил, дребезжа на неровных плитах мостовой, фиакр, и я страстно завидовал неведомому седоку, кучеру, даже лошади завидовал. Ведь они не были обре-

чены сидеть под замком в коллеже и трепетать перед господином Рошем.

— Непременно дам Мулейру по морде, — вдруг сказал Жан.

— А что это такое, скажи, Мирбель, папский зуав?

— Сам не знаю, — пожал он плечами. — По-моему, они еще до семидесятого года сражались за папу римского, и их в порошок стерли.

Он помолчал с минуту, потом проговорил:

— Хоть бы они с Рошем не умерли, пока я стану большим.

Ненависть исказила его черты. Я спросил, почему только с ним одним так обращаются.

— Дядя говорит, что для моего же блага. Говорит, что, когда его брат умирал, он поклялся ему сделать из меня человека.

— А твоя мама?

— Она всем его россказням верит… А может, не смеет возражать. Она не хотела отдавать меня на полный пансион. Ей знаешь чего хотелось? Чтобы мне наняли учителя и чтобы я остался жить в Ла-Девизе… А он уперся, сказал, что я слишком испорченный по натуре…

— А моя, — не без гордости заявил я, — поселилась в Бордо, чтобы наблюдать за моим

воспитанием.

— Но ты ведь пансионер…

— Только на две недели, потому что Виньот, приказчик Ларжюзона, заболел и делами занимается папа… Но она мне каждый день пишет.

— И все-таки Бригитта Пиан тебе не родная мать…

— Все равно что родная… Будто самая настоящая мама!

Но тут я замолчал и почувствовал, что лицо у меня горит. А вдруг мои слова услышит моя настоящая мама? А вдруг мертвые подслушивают, что мы о них говорим? Но если моя мама знает все, она знает и то, что никто не занял в моем сердце ее места. Как бы чудесно ни относилась ко мне мачеха… Я не соврал, она и правда писала мне каждый день, но я даже не распечатал ее сегодняшнего письма. И нынче вечером, когда перед сном я буду реветь в нашем душном дортуаре, то вовсе не о ней, Бригитте Пиан, а о своей сестре Мишель, о папе, о нашем Ларжюзоне. А ведь именно папа настаивал, чтобы меня отдали в пансион на круглый год и они могли бы жить в деревне, но мачеха сделала по-своему. Сейчас они сняли квартиру в Бордо, и я могу возвращаться домой каждый вечер.

Моя сестра Мишель, а она ненавидела вторую жену нашего отца, уверяла, что мачеха нарушила клятву, данную перед свадьбой, — жить безвыездно в Ларжюзоне и выставила в качестве главного предлога меня. Мишель, безусловно, была права: если мачеха вечно твердит, что я слишком нервный, слишком впечатлительный ребенок и не вынесу жизни в интернате, она знает, что делает, — это единственный аргумент, которым можно убедить отца поселиться в Бордо. Все это мне было известно, но особенно я над этим не задумывался. Пускай взрослые улаживают свои дела сами! Важно, что последнее слово осталось за мачехой. Однако я отлично понимал, что папа несчастлив вдали от своих лесов, своих лошадей и своих охотничьих ружей. Как он, должно быть, наслаждается эти последние дни… Эта-то мысль и помогла мне с честью перенести двухнедельный затвор. И кроме того, скоро будут раздавать награды. Вот тогда-то Бригитта Пиан вынуждена будет вернуться в Ларжюзон.

— Скоро будут награды раздавать! — воскликнул я. Мирбель, зажав в каждой ладони по козерогу, поднес их друг к другу.

— Целуются! — заявил он. И, не глядя в мою сторону, добавил: — Ты еще не знаешь, что дядя

придумал: если я на этой неделе не получу хорошую отметку по поведению, меня на каникулы в Ла-Девиз не возьмут. Поместят в пансион к одному кюре в Балюзаке, это в нескольких километрах от вашего дома… Кюре берется заставить меня учиться по шесть часов в день и вообще меня подтянет! Говорят, он в таких делах мастак.

— А ты, старина, попытайся получить хорошую отметку по поведению.

Жан безнадежно махнул головой: с Рошем не выйдет, он уже несколько раз пробовал!

— Он с меня глаз не спускает. Знаешь ведь, где я сижу — прямо у него под носом, по-моему, он из всего класса только за мной и следит. Стоит мне посмотреть в окно…

Все это была чистейшая правда, и Мирбелю ничто не могло помочь. Я пообещал ему, что если он будет жить в Балюзаке, то во время каникул мы будем с ним часто видеться. Я хорошо знал господина Калю, тамошнего кюре, и, по моему мнению, он был вовсе не такой уж страшный, скорее, даже хороший…

— Нет, плохой… Дядя говорит, что ему отдают на воспитание испорченных мальчиков. Мне передавали, что он совсем запугал обоих братьев Байо… Но я не дам себя пальцем тронуть…

Может быть, балюзакский кюре вел себя так мило только в отношении меня одного? Поэтому я промолчал в ответ на слова Мирбеля. Я сказал только, что, раз его мама так редко с ним видится, она вряд ли откажется провести с ним каникулы.

— Если дядя захочет… Она все делает, что он хочет, — злобно добавил Жан. И по его голосу я понял, что он вот-вот разревется.

— Хочешь, я помогу тебе делать уроки?

Жан отрицательно помотал головой: уж слишком он отстал. И потом, Рош все равно заметит.

— Когда я сдаю ему работу на «удовлетворительно», он кричит, что я списал.

Как раз в эту минуту Рош поднес к губам свисток. На нем был длинный черный сюртук с засаленными лацканами. Хотя стояла немыслимая жара, он по-прежнему щеголял в теплых войлочных ботинках. Редеющие огненно-рыжие волосы высоко открывали его костистый, весь в желтых пятнах лоб. Глаза были как у судака, а веки красные, воспаленные. Построившись парами, мы двинулись в столовую; я ненавидел ее потому, что там всегда воняло жирным супом. Было еще светло, но сквозь засаленные окна не видно было неба. Я заметил, что за нашим столом

только один Мирбель не набросился жадно на пищу. Папский зуав сумел в конце концов выдумать для своего подопечного наказание: отобрать его у матери и поместить на лето к священнику в Балюзак, подальше от их поместья! Ничего, у меня есть велосипед, я смогу хоть каждый день к нему ездить. Вдруг меня затопило ощущение счастья. Я поговорю о Жане со священником, ведь со мной он вел себя так мило, что даже позволял рвать у него в саду орехи. Правда, я сын Пиана, пасынок госпожи Бригитты, «благотворительницы»... Вот я и попрошу мачеху вступиться за Жана. Все это я изложил ему, когда мы парами шли в дортуар.

В дортуаре, куда свежий воздух поступал только из одного окна, открытого на узкую улочку Лейтеир, нас спало двадцать человек. В изножье каждой постели стоял на ночном столике тазик, и в тазик мы ставили стакан для чистки зубов, так чтобы служитель мог сразу налить воду из кувшина и в тазик, и в стакан. Через пять минут мы должны были раздеться и лечь. Как обычно, наш надзиратель господин Пюибаро приспустил в лампах газ и жалобным голосом прочел три стиха, обладавших властью вызывать у меня слезы: я оплакивал свое одиночество, свою будущую смерть и свою мать. Мне было тринадцать лет, а

она скончалась шесть лет назад. Исчезла в мгновение ока. Еще накануне вечером она целовала меня, и меня переполняло ощущение нежности и жизни, а наутро… взбесившаяся лошадь примчалась с пустым тильбюри… Так я и не узнал, как и что произошло, о несчастном случае со мной не говорили, а с тех пор, как папа женился вторично, он вообще не произносил имени своей первой жены. Зато мачеха заставляла меня молиться о покойной маме. И допытывалась, поминаю ли я ее в своих молитвах каждый вечер. Получалось так, будто за маму нужно молиться вдвое больше, чем за какого-нибудь другого усопшего.

Бригитта с детства знала маму — они были кузинами, — и иногда мама приглашала ее провести у нас в поместье летние каникулы. «Непременно позови свою кузину Бригитту, — говорил папа. — Дачу ей снять не на что, ведь она раздает все, что у нее есть…» Мама соглашалась не сразу, хотя у нас почему-то полагалось восхищаться Бригиттой. Возможно, мама ее побаивалась. Так по крайней мере уверяла моя сестра Мишель: «Мама ее насквозь видела, она понимала, что кузина забрала папу в руки».

Впрочем, я мало обращал внимания на слова Мишель, но увещевания мачехи оказывали на

меня свое действие, ведь и правда, мама не успела приготовиться к смерти. Понукания Бригитты казались мне понятными, такое уж я получил дома воспитание. И верно, надо много и долго молиться перед Богом за мамину несчастную душу.

Натянув одеяло и потихоньку всхлипывая, я начал читать за маму молитву, а тем временем наш надзиратель господин Пюибаро совсем привернул газ в лампе, и огненная бабочка света превратилась в маленький синенький лучик. Потом он снял сюртук и прошелся между рядами кроватей; воспитанники уже мирно посапывали во сне. Приблизившись к моей постели, он, очевидно, услышал всхлипывания, хотя я удерживался изо всех сил, подошел ко мне и положил на мокрую от слез щеку свою ладонь. Потом со вздохом подоткнул мое одеяло, совсем как подтыкала мама, и вдруг, склонившись надо мной, поцеловал меня в лоб. Я обвил руками его шею и тоже поцеловал его в колючую щеку. После чего он неслышными шагами удалился к себе в альков. Я видел, как за коленкоровыми занавесями пляшет его тень.

Почти каждый вечер господин Пюибаро подходил ко мне с утешениями. «Слишком нежное сердце, опасная чувствительность», — уверяла

мачеха, которая была связана с нашим надзирателем работой в благотворительном обществе, где он выполнял секретарские обязанности.

Несколько дней спустя, когда мои родители уже перебрались в Бордо и лакей в шесть часов пришел в коллеж, чтобы отвести меня домой, я наткнулся на Пюибаро, который, казалось, подкарауливал кого-то. Откинув влажной ладонью волосы, спадавшие мне на лоб, он вручил мне запечатанное письмо и попросил самолично опустить его в ящик Я пообещал, хотя был удивлен: все письма, посылаемые из школы, проходили через руки специального цензора.

Только выйдя на улицу, я прочел на конверте адрес. Письмо было адресовано мадемуазель Октавии Тронш, учительнице, преподававшей в частной школе тут же, в Бордо, на улице Пармантад. Я отлично знал эту Тронш: в свободное от уроков время она приходила к нам, и мачеха давала ей всевозможные поручения. На обороте конверта господин Пюибаро вывел печатными буквами: «Лети, мое письмецо, и принеси моему сердцу луч надежды». Шагая чуть позади нашего лакея, который тащил под мышкой мой портфель, я читал и перечитывал странную надпись, читал ее на бульваре Виктора Гюго, читал на

улице Сен-Катрин, читал в вечерних сумерках, тех сумерках, что пропитаны запахом абсента и предвещают распределение наград.

II

Вот тут-то, сознаюсь, я и совершил свой первый гадкий поступок, за который меня до сих пор мучают угрызения совести. Хотя господин Пюибаро, вручая мне конверт, не дал никаких особых указаний, я понимал, что он считает меня достойным своего доверия больше прочих моих соучеников. Много позже я пытался себя убедить, что в тринадцать лет не отдавал, мол, себе отчета в том, как это важно для нашего надзирателя. Но если быть вполне откровенным, я отлично знал, о чем идет речь, и предугадывал, что это может обернуться драмой для господина Пюибаро, тем более что он был лицом полудуховного звания. Без сомнения, он принадлежал к светской организации (ныне уже давно не существующей), к некоему промежуточному ордену, где никаких обетов не давалось, и были известны случаи, довольно многочисленные, когда кто-нибудь из «братьев» с разрешения высшего духовного начальства уходил из общины и вступал в брак. Но господин Пюибаро занимал особое положение. По роду своих занятий он был связан с епархиальным начальством благотворительного общества,

а также с большинством родителей своих учеников. Он был известен буквально всему городу, а не только в среде высшего духовенства и буржуазии: его фигура примелькалась на улицах самых бедных кварталов, и стоило ему появиться там на перекрестке, как его тут же окружала детвора, так как для ребят у него всегда были припасены леденцы. Все уже давно перестали дивиться его сюртуку, его высокому цилиндру, как-то нелепо торчавшему на голове. Кроткое его лицо казалось длиннее из-за бачков, подрезанных на уровне скул. Летом он носил свой цилиндр в руке и беспрерывно вытирал открытый лоб и редкие шелковистые волосы, падавшие чуть ли не до плеч. Лицо с мягкими чертами было скорее смазливым, и при этом — страдальческие глаза и вечно влажные ладони.

Моя мачеха, весьма высоко ставя добродетели господина Пюибаро, сурово осуждала его «чрезмерную, даже болезненную чувствительность». Уж кому-кому, а ей меньше, чем любому другому, следовало открывать тайну этой переписки. Но меня жгло желание сказать именно ей об этом письме. Меня словно распирало от важности только что узнанной тайны, мною уже всецело владело одно желание: удивить, поразить. Од-

нако, очутившись в кругу семьи, я не посмел и рта открыть.

Как сейчас помню тот вечер. Квартира, которую снял под давлением мачехи отец, помещалась на Интендантском бульваре на третьем этаже. Летними вечерами грохот экипажей на мостовой, звонки электрического трамвая, пущенного только в этом году, заглушали наши голоса. За две недели, проведенные в деревне, отец снова успел приобрести свой обычный здоровый цвет лица и теперь, когда впереди уже маячили летние каникулы, находился в прекрасном расположении духа. Однако после замечания своей супруги ему пришлось встать из-за стола и надеть галстук-бабочку и черный пиджак. В городе она не терпела ни малейшей небрежности в одежде, к которой папа привык в Ларжюзоне.

Сама она, несмотря на жару, была в шемизетке и тугом гипюровом воротничке, доходившем чуть ли не до ушей, над ее крупной физиономией с большими матовыми щеками высилась гора взбитых волос, прикрытых еле заметной сеточкой. Глаза у нее были черные, пристальные, жесткие, зато губы вечно улыбались, хотя она редко показывала свои длинные желтые расшатанные зубы с точечками золотых пломб.

Двойной подбородок придавал ей величественный вид, и это впечатление величественности еще подчеркивала посадка головы, неторопливая поступь, зычный голос матери-командирши.

С первого взгляда любому становилось ясно, что она создана, чтобы управлять некоей общиной. После смерти отца, барона Майара, бывшего при Империи префектом в Жиронде, Бригитта пожертвовала большую часть своего состояния на покупку и приведение в порядок маленького монастыря в окрестностях Лурда; по ее мысли, там должны были найти себе приют великосветские девицы, и устав предполагался совсем новый, отчасти вдохновленный духовным наставником Бригитты аббатом Маржи, но, прежде чем восстановительные работы были доведены до конца, аббат и его духовная дочь разругались.

Поэтому Бригитта Майар то и дело прибегала к советам моего отца, который в юности просто ради практики работал у одного стряпчего в Бордо и неплохо разбирался в кляузных вопросах. Он убедил Бригитту не затевать скандального и заранее обреченного на провал процесса. В свою очередь, отец охотно советовался с ней по вопросам хозяйства, которое переживало немалые трудности, столь трагически разрешенные

смертью моей матери.

Человек, не знавший причин, породивших в свое время такую странную и глубокую близость между моим отцом и Бригиттой Майар, лишь с трудом мог понять, что заставило эти два столь различных во всем существа соединить свои судьбы. Рядом с этой внушительной дамой, с этой желчной мадам Ментенон, наш бедный большеглазый папа казался чуть жалким, слишком у него был слабый и добрый вид, и говорил он с запинкой, и рот у него был как у типичного гурмана, чересчур длинные усы, казалось, специально созданы для того, чтобы окунать их кончики в аперитивы и соусы, даже цвет лица выдавал его страсть к чревоугодию.

Вспоминаю, что между супругами в тот знаменательный вечер, когда выплыло наружу дело Пюибаро, сидела моя сестра. Мишель тогда было четырнадцать лет. Все дружно считали, что кожа у нее слишком смуглая, нижняя челюсть слишком тяжелая, лоб слишком низкий и зарос волосами. Зато глаза были великолепные, и, когда она улыбалась, в крупном рту сверкали белоснежные зубы, и все это привлекало к ней сердца; руки, правда, слишком мускулистые для такой юной особы, зато Мишель на законном

основании гордилась своими ножками и охотно показывала их, хотя наша мачеха уже обрядила ее в полудлинные платья.

Откровенно говоря, в отношении Мишель наша мачеха проявляла достаточно долготерпения и почти при любой стычке первая ретировалась под натиском этой весьма агрессивной девицы. «Мой долг, — любила она повторять, — коли уж я не имею на девочку никакого влияния, мой долг, повторяю, — любой ценой поддерживать мир семейного очага». Она торжествовала, так как воспитательницы из Сакре-Кер тоже ничего не могли поделать с Мишель, «с этой вспыльчивой девочкой, которая вечно всем противоречит», — говорила она отцу, а он возражал: «Да нет же, нет, дорогая, не нужно ничего драматизировать! Правда, она упрямица, пошла характером в мою матушку, вспыхивает как спичка… Но при хорошем муже все образуется…»

Бригитта качала головой и вздыхала: она смотрела на вещи с высшей точки зрения. Слава ее жизни, да и весь ее смысл были смотреть на вещи с самой высшей точки. Тот вечер, когда разразилось дело Пюибаро, был субботний. Мы услышали гул толпы на Интендантском бульваре, там после вечерней зари маршировали солдаты. Папа и

Мишель вышли на балкон и оперлись о перила, а я стоял чуть подальше, рядом с мачехой. Острокрылые стрижи носились над самыми крышами. Движение на улицах прекратилось. От стен еще сочился дневной зной, только изредка ветерок приносил запах лип, и наконец он завладевал всем городом, как в прежние времена, еще до того, как появились автобусы; тогда на улицах пахло лошадьми, мокрой мостовой, цирком. Я боролся против искушения выдать тайну господина Пюибаро, но уже знал, что сдамся. Мачеха методично расспрашивала меня об экзаменах. Она хотела знать, какие вопросы были заданы по каждому предмету и как я на эти вопросы отвечал. Я догадывался, что интересуется она моими экзаменами лишь по обязанности, а думает совсем о другом. Однако говорила она о том, о чем говорила мне уже сотни раз: при любых обстоятельствах жизни и в своих отношениях с людьми она не ведает колебаний, знает, как себя вести, что сказать. Я решился:

— Мама, я хочу вам кое-что сообщить… Но, — лицемерно добавил я, — не знаю, имею ли я право…

В ее черных глазах, рассеянно глядевших мимо меня, вдруг вспыхнул огонек интереса.

— Я не знаю, дитя мое, что ты мне хочешь доверить. Но существует одно правило, которому ты обязан слепо следовать: ничего никогда не скрывай от своей второй матери, от той, на которой лежит миссия воспитывать тебя.

— А если эта тайна касается других лиц?

— В первую очередь если она их касается, — живо отозвалась она. И вдруг жадно спросила: — А о ком идет речь? О твоей сестре?

Хотя Мишель недавно исполнилось четырнадцать, мачеха подозревала ее в самых тяжких прегрешениях. Я отрицательно покачал головой: нет, речь идет не о Мишель, а о господине Пюибаро и Октавии Тронш.

Мачеха еле удержала крик, готовый сорваться с ее губ.

— Как? Как? — Она схватила меня за руку. — Господин Пюибаро? Октавия?

В ту пору я был еще несведущ в вопросах любви между мужчиной и женщиной и не замечал поэтому, что мачеха просто не способна говорить на эту тему хладнокровно и сразу же впадает в состояние транса. Я начал было рассказывать ей о письме и о приписке на обратной стороне конверта, но она прервала меня:

— Дай мне письмо, да живо!

— Письмо? Но ведь я опустил его в ящик…

Она разочарованно протянула:

— И напрасно опустил, ты должен был отдать его мне. Я отвечаю за душу Октавии, которая уже сейчас играет не последнюю роль в частной школе и надеется рано или поздно стать директрисой. И мое право, да нет, прямой мой долг знать буквально все, что ее касается… Так или иначе, письмо я все равно прочту, — добавила она уже спокойнее.

Тут только она заметила мое смятение: что подумает обо мне господин Пюибаро, ведь он так меня любит? Мачеха дала мне понять, что ей вовсе незачем ссылаться на меня и что она сама сумеет добиться от Октавии нужного признания.

— Запомни, дитя мое, я ничего худого не подозреваю. Мы должны верить таким достойным людям, как господин Пюибаро, который, впрочем, если на то будет его воля, может вернуться к светской жизни. Пока у нас нет доказательств противного, мы обязаны расценивать его поступок лишь как неосторожность. Я давно считала, что его чересчур болезненная жалостливость рано или поздно приведет к какому-нибудь необдуманному шагу, но благодаря тебе я смогу теперь вовремя вмешаться… — И она добавила

вполголоса, сцепив зубы, во внезапном порыве бешенства: — Октавия… Как вам это понравится! Все они сучонки…

Медь военного оркестра гремела со стороны улицы Виталь-Карль, у каждого солдата музыкальной команды на берете вместо полагающегося помпона поблескивала электрическая лампочка, и это новшество приводило горожан в восторг. Мачеха вернулась в гостиную, а я остался стоять на балконе над толпой, опершись о перила. Мальчишки и девчонки бежали за солдатами, детвора держалась за руки и перерезала шоссе живой цепью криков и хохота. Я уже ослабел и поддался чувству стыда и страха: что же будет с несчастным Пюибаро? Я еще не мог понять всей глубины его отцовского инстинкта, когда он в дортуаре склонялся над моей постелью, подтыкая со всех сторон одеяло, целовал меня в лоб. Но я отлично понимал, что нынешним вечером я предал, предал человека, до того обездоленного, что он в тринадцатилетнем мальчике ищет прибежища от своего одиночества. Я вспомнил вдруг «Мальчика-шпиона» Альфонса Доде[29], вспом-

[29] Примечания: 29

Доде Альфонс (1840–1897) — французский романист и драматург, автор ярких рассказов из жизни Прованса, создатель знакового образа романтика и хвастуна Тартарена из Тараскона.

нил, как твердил немецкий солдат маленькому Стену: «Некарашо! Некарашо!» Значит, то, что я сделал, плохо? Мачеха уверяет, что я только выполнил свой долг… Но откуда же тогда эти угрызения совести?

Я поплелся в гостиную. Мачеха сидела у окна и пыталась читать (лампу не зажигали из-за мошкары, а сидеть с закрытыми окнами было слишком душно). Смутный инстинкт подсказывал мне, что я должен во искупление содеянного сделать что-нибудь доброе: я стал говорить с ней о Мирбеле, попросил ее походатайствовать за него перед священником из Балюзака. Я смотрел на ее большое лицо, казавшееся в сумерках бледным пятном; уже совсем стемнело, и мачеха отложила книгу, она сидела не шевелясь, выпятив грудь, следуя давнишней привычке, вынесенной еще из монастыря, где запрещалось прислоняться к спинке стула. (Вспоминаю, кстати, что она никогда не клала ногу на ногу.) Я знал, что мачеха почти не слушает меня, так как все мысли ее заняты делом Пюибаро — Тронш.

— Балюзакский священник? — переспросила она. — Бедный аббат Калю! Подумать только, что именно он слывет каким-то чудовищем… Но благодаря новому ученику он сможет купить

себе несколько книжек… Возможно, я обязана открыть глаза полковнику…

Я стал горячо молить ее ничего не предпринимать, ведь она сама сейчас сказала, что аббат Калю вовсе не свирепый, вовсе не тюремщик, а главное, я не хотел жертвовать Жаном де Мирбелем как своим товарищем во время летних каникул, чему я заранее радовался. К моему счастью, мачеха заявила, что по зрелом размышлении этот распущенный Мирбель только выиграет в обществе священника, а все прочее следует предоставить воле Господней.

В течение всей следующей недели я боязливо следил за господином Пюибаро, но я по-прежнему числился в его любимчиках, а он по-прежнему выказывал мне свое расположение. Экзамены подходили к концу, жара стояла невообразимая, и занятия шли вяло. Сам господин Рош ослабил узду и читал нам в классе «Солдата Шапюзо». Во дворе старших классов трудились столяры, воздвигая специальный помост для раздачи наград. Каждый день мы репетировали хор из «Гофолии» Мендельсона.

Весь мир объят его благовещеньем,
Хвалите Господа, хвалите…

Если бы не Мишель, я, возможно, никогда и не узнал бы о первых раскатах драмы Пюибаро — Тронш. Хотя Мишель была на редкость прямодушной девочкой и уж никак не была расположена подслушивать под дверьми, но в отношении нашей мачехи она держалась настороженно, следила за всеми действиями Бригитты Пиан, следила зорко, недружелюбно и неусыпно. К тому же Октавия Тронш, нежно любившая Мишель, недолго сопротивлялась расспросам девочки. Так мне стали известны роковые последствия моей нескромности.

Октавия Тронш в свободные от уроков утра приходила работать к нашей мачехе; в четверг и субботу она являлась в восемь и уходила в одиннадцать. Волосы у нее были какие-то тусклые, редкие, цвет лица нездоровый, но все это искупалось прелестными глазами, правда, тоже неяркими и небольшими, и милой улыбкой бледных губ. Дети обожали ее, и из-за этого обожания все остальные учительницы старались при случае ее уколоть. Корсаж свободно висел на ее худеньких плечах, такой плоской груди, пожалуй, не было ни у кого. Зато ниже талии фигура приобретала вполне женские очертания, и юбка строгого монастырского покроя не скры-

вала округлости бедер и всего, что полагается. Когда в то утро она вошла в гостиную госпожи Пиан, мадам Бригитта встретила ее несколько необычной улыбкой:

— Вы совсем извелись от жары, душенька. По лицу видно.

Октавия заверила, что не чувствует себя усталой.

— Это заметно даже не так по вашему лицу, как по вашей работе, дочь моя.

В голосе Бригитты вдруг зазвучали суровые нотки:

— Рассылая последний номер нашего «Бюллетеня», вы наделали уйму ошибок. Кое-кто из дам мне жаловался, что получил «Бюллетень» с большим запозданием.

Октавия сконфуженно извинилась.

— Это еще не все, — продолжала мачеха, — помните, я продиктовала вам циркуляр и поленилась его перечитать (да-да, поленилась — видите, я и себя тоже не щажу), так вот, в этом циркуляре полно ошибок и пропусков… Некоторые фразы вообще никакого смысла не имеют…

— Вы правы, я действительно последнее время не знаю, что у меня с головой, — пробормотала Октавия.

— С головой или с сердцем? — сладким голосом спросила Бригитта, и ее тон никак не вязался с сурово-озабоченным выражением лица.

— О, мадам Бригитта… Что вы имеете в виду?

— Я не требую, чтобы вы открывали мне свои тайны, дочь моя. Доверия приказами не добьешься.

И так как Октавия пробормотала что-то вроде, что «у нее нет никаких тайн от мадам Бригитты», та продолжала;

— Вы сами знаете, где кончается наша власть над чужой совестью. Вы одна из наших старейших сотрудниц. Я доверяю вам не слепо, напротив, доверяю с открытыми глазами, но с материнской заботой. Мы все проходим в жизни через трудные часы, бедное мое дитя…

Это уже было выше сил Октавии, она упала на колени, уткнулась лицом в лоно Бригитты Пиан. А Бригитта смотрела сверху вниз на жалкий пучок волос, туго стянутых на затылке, на синеватую кожу, на первые позвонки, выступавшие из-под расстегнувшегося воротничка. К счастью еще, бедняжка Октавия не могла видеть брезгливого лица мадам Бригитты. «Даже такая… — думала она, — даже такая дурнушка!» И она заговорила громко, но ласково:

— Значит, вы тоже, бедная моя Октавия, верите, что любимы?

Подняв голову, Октавия Тронш запротестовала:

— Я, я любима? О мадам, неужели я такая глупая чтобы в это поверить… Не об этом речь, уверяю вас!

На несколько секунд лицо Октавии стало непередаваемо прелестным, обаятельно милым в своем смирении.

— С меня хватит и того, что нашелся человек, который хочет, чтобы я жила только для него и для детей, если, конечно, бог их нам пошлет…

— Конечно, конечно, милая моя Октавия, — проговорила мачеха, подымая гостью с колен. — Сядьте-ка поближе ко мне и успокойтесь. Пускай раньше я полагала, что вас ждет более высокое, более святое призвание, я буду счастлива, если вы сумеете создать семейный очаг, достойный подлинной христианки. Нет ничего более естественного, более простого. Признаться, ваше волнение меня даже удивляет.

— Нет, нет, мадам… Все это не так просто, если бы вы только знали…

Воображаю, как в этот миг наслаждалась моя мачеха, конечно, в высшем смысле: она смако-

вала радость, доступную лишь одному Господу Богу, — знать все о судьбе человека, верящего, что он открывается нам, упиваться сознанием того, что она, мадам Пиан, вольна склонить чашу весов в ту или другую сторону. Ибо мачеха не сомневалась в своем влиянии на трепетную совесть господина Пюибаро и получила подтверждение этого непосредственно от самой Октавии. И, только искусно пройдя всю шкалу оттенков от полного доверия до тревоги, позволила себе воскликнуть: «Ваше волнение передалось и мне!..» — и со страхом осведомилась у бедняжки, не идет ли речь о женатом или разведенном человеке, и, когда обвиняемая потупила голову, пытаясь скрыть слезы, Бригитта вопросила, и в голосе ее прозвучал чуть ли не ужас:

— Несчастное дитя! Неужели я должна истолковать ваше смущение как доказательство того, что тот, о ком мы говорим, связан такими узами, которые нельзя порвать? Неужели вы решитесь порвать даже узы Господни?

— Нет, мадам, нет! Он свободен: духовные власти согласны. Господин Пюибаро, ибо вы уже догадались, что речь идет о нем, так вот, господин Пюибаро уходит на этой неделе из коллежа, и нам уже дозволено думать друг о друге…

Мачеха поднялась, положив этим конец излияниям Октавии.

— Можете не продолжать. Я не желаю больше слушать. Пусть соответствующие власти несут за это ответственность. А я вправе иметь по этому вопросу свою точку зрения, которая, возможно, не совпадает…

— Конечно, мадам Бригитта, — воскликнула Октавия, заливаясь слезами, — господин Пюибаро не так уж твердо уверен в своем праве. Он мне твердит, что только вы, вы одна можете его просветить, что только вы одна достаточно умудрены, дабы вернуть мир его душе. Поймите меня, мадам, дело совсем не в том, не подумайте, пожалуйста… Достаточно на меня посмотреть: ведь господин Пюибаро вовсе не из низких побуждений… Но он говорит, что при одной мысли о том, что у него когда-нибудь будет такой сын, как ваш Луи, он рыдает от счастья.

— Да, да, — хмуро проговорила мачеха. — Рассчитывая завладеть благородным, простодушным существом, демон выбирает обходные пути…

— Ох, мадам Бригитта, неужели, говоря с ним, вы упомянете о дьявольских кознях?

Она живо схватила руку мачехи, восседавшей

на своем обычном месте — перед письменным столом, заваленным бумагами и папками.

— Дочь моя, если он меня ни о чем не спросит, сама я ему ничего не скажу… Ну а если спросит, буду держаться границ того, в чем я чувствую себя наиболее искушенной, но уж в этом случае скажу все напрямик, без пугливых уверток, без церемоний, словом, как я обычно говорю.

Октавия умоляюще сложила руки и подняла на непроницаемый лик мадам Бригитты свои кроткие овечьи глаза.

— Но ведь если он сожалеет, что не смог стать отцом, в этом, возможно, и нет ничего худого… Таково мнение его наставника. Господин Пюибаро в течение долгих лет всячески старался побороть это чувство! Поэтому — откуда нам знать, — может, таково знамение, может, его долг уступить этому зову?

Мачеха покачала головой:

— И эту гипотезу отбрасывать тоже нельзя… Хотя, откровенно говоря, она как-то плохо вяжется с предначертанием Господа, обычно он не возносит душу на высоту, дабы низвергнуть ее в бездну. Допустим даже, господину Пюибаро предписано свыше отказаться от своей миссии, сделать шаг назад, зажить жизнью, где не требуется умерщ-

вления плоти, — в это я еще смогу поверить, если мне будут даны бесспорные знамения, ибо ничто и никогда не должно разрушать нашей веры.

— Он говорит, что повинен в грехе гордыни, что слишком переоценил свои силы и что он должен благодарить провидение за то, что все это произошло не слишком поздно, — упорствовала Октавия, хотя в голосе ее звучала мольба.

— А если он в этом так уверен, — сухо перебила ее мачеха, — то зачем же тогда он колеблется, зачем впутывает меня во все эти споры?

Октавия призналась, что вся беда именно в том, что вовсе он уж не так уверен и меняет свои решения чуть ли не каждый день, и, заливаясь слезами, добавила, что теперь ей ясно, что «мадам Бригитта уже вынесла свое решение и приговор будет беспощаден». Мачеха тут же пошла на попятный.

— Да нет же, нет, Октавия, не думайте, пожалуйста, что я из принципа отношусь враждебно к тому, чего требует от вас слабая плоть. Господин Пюибаро здесь не единственная заинтересованная сторона, и я охотно верю, что, во всяком случае, вы призваны к выполнению супружеского и материнского долга. Да нет же, — повторила она, устремив ястребиный взгляд на жалкую фигурку

девушки (и, очевидно, мысленно представляя себе набухший живот под этим фартучком и это непривлекательное лицо, еще подурневшее от беременности), — да, возможно, отказ господина Пюибаро от своей высокой миссии должен послужить на пользу вам. Я вдруг поняла, что вам просто необходимо его отступничество и в нем одно из условий вашего спасения.

Иными словами, Бригитта Пиан приписывала Господу Богу, «иже еси на небесех», свойственную ее натуре способность все усложнять, во всем искать окольных путей. Но Октавия Тронш в приливе надежды воспрянула, как спрыснутый водой цветок, и подняла к Бригитте свое страдальческое нежное личико.

— О, мадам Бригитта, теперь вашими устами говорит сам Бог! — восторженно воскликнула она. — Да, да, это ради меня, ради меня одной, ничтожной, господин Пюибаро отказывается от радостей возвышенной жизни, от безмятежного существования в коллеже, гордостью которого он был…

— И вы хладнокровно примете эту жертву, дочь моя? — вдруг в упор спросила Бригитта Пиан.

Октавия озадаченно промолчала.

— Заметьте, я вовсе не считаю, что вы должны

от него отказаться. Я просто говорю, что, помимо всех иных вопросов, перед вами встает особая проблема: имеете ли вы право требовать, чтобы такой человек жертвовал ради вас плодами своего апостольского служения, славой своей перед Господом, своей честью перед людьми? Ибо не будем скрывать от себя, что отступничество такого рода особенно — и в первую очередь — лишает всякого доверия в глазах мирян самого отступника. К чему обманывать себя? Перед ним захлопнутся все двери, и, так как я не знаю человека, более беззащитного перед лицом житейских трудностей, вы должны будете признать, что именно из-за вас ему придется вести тяжелое, чтобы не сказать плачевное, существование.

И тут снова лицо Октавии Тронш осветилось смиренной улыбкой:

— Вот этого-то я и не боюсь, мадам Бригитта. Тут я спокойна: мне хватит мужества на двоих, и, пока я жива, он ни в чем не будет нуждаться, если даже мне придется идти в поденщицы… У него будет все самое необходимое и даже больше…

— У вас не такое уж блестящее здоровье, секретарская работа, которую вы выполняете здесь — а это сущий пустяк, — и то для вас уже непосильная нагрузка сверх ваших преподавательских

обязанностей. Я вам это не в упрек говорю.

И в самом деле, Октавия Тронш с трудом переносила ночные бдения; хлопоты по устройству благотворительных базаров после целого дня, проведенного в школе, лишали ее последних сил. Мачеха повторила, что, как это ни мучительно, долг Октавии — смотреть на вещи именно под этим углом. И так как Октавия робко заметила, что они надеются, что общество, где господин Пюибаро столько лет работал безвозмездно, может быть, сочтет возможным назначить ему жалованье, Бригитта искренне удивилась такому отсутствию чувства такта, такой нечуткости. Как только может эдакое прийти в голову? Тут и объяснять нечего.

— По-моему, вы, дочь моя, просто утратили здравый смысл… Я не говорю уже о том, что не в наших обычаях тратить деньги, принадлежащие беднякам, на работу, за которую охотно возьмутся духовные лица, а также многие из верующих. Нет-нет, мы с нашей стороны готовы сделать все возможное, чтобы порекомендовать господина Пюибаро, конечно, в той мере, в какой нам позволяет осторожность рекомендовать человека, по собственной вине поставившего себя в столь сомнительное положение, — кстати сказать, он не

имеет, насколько мне известно, ни надлежащего звания, ни диплома.

Когда наша мачеха ввергала какое-нибудь живое существо в бездну отчаяния, она не без наслаждения тут же вытаскивала его на поверхность — милость, ничего ей не стоящая. Итак, убедившись, что Октавии Тронш уже некуда падать ниже, она стала потихоньку выволакивать ее из бездны и даже сумела внушить ей кое-какую надежду. Обе они единодушно пришли к некоему решению, о котором я накануне раздачи наград узнал из уст самого господина Пюибаро.

Мы трудились целый день, украшая школьное здание папскими штандартами, перемешивая их со знаменами Республики. Господин Пюибаро пересекал двор, и я пошел, как обычно, ему навстречу, пользуясь неписаной привилегией, которую не пытался оспорить у меня никто из моих однокашников. Он усадил меня на ступеньки помоста и сообщил, что принял одно очень важное решение. Мадам Бригитта, «которая, подобно всем истинно святым людям, скрывает бесконечную свою доброту под маской суровости», поняла, что он нуждается в спокойствии и одиночестве, дабы хорошенько поразмыслить и принять наилучшее решение, и потому она

милостиво изъявила свое желание видеть его нынешним летом в Ларжюзоне.

— В Ларжюзоне? — ошеломленно переспросил я.

Есть такие места на земле, которые никак нельзя связать в своем воображении с той или другой личностью. Поэтому я не мог установить никакой связи между страной моих детских каникул и присутствием там учителя из нашего коллежа. Его пригласили под официальным предлогом заниматься со мной латынью.

Я пытался представить себе господина Пюибаро знойным днем на аллеях Ларжюзона в его сюртуке и цилиндре. Я опросил, будет ли он ходить в сюртуке и там, у нас. Он ответил, что задерживается как раз из-за покупки летнего костюма.

Господин Рош покинул свое любимое местечко у уборных. Взгромоздившись на лестницу, засучив рукава, он, вооруженный молотком, обратил всю свою неизбывную злобу против шляпки гвоздя. Ученики обменивались летними адресами. Маленький оркестрик репетировал в парадном зале увертюру к «Путешествию в Китай». Жан Мирбель стоял, по своему обыкновению, опустив голову и глубоко засунув руки в карманы, у стенки, хотя сейчас все наказания, даже и от-

ношении его, были отменены; на нестриженых волосах его была надета набекрень каскетка, такие выдавались у нас плохим ученикам. Щеки его покрывал легкий пушок, и поэтому он казался много старше своих соучеников (он дважды оставался на второй год). Пожалуй, не столько плохое поведение, а именно возраст отделял его от нас: отделяла бурная река, где он барахтался без помощи, брошенный на произвол судьбы, жертва неведомого рока, и даже не с кем было словом об этом обмолвиться.

III

Экипаж, нанятый в Лангоне, остановился у калитки сада перед домом, священника. Первым вышел полковник. Он только что плотно позавтракал, и поэтому багровая его физиономия побагровела еще сильнее, отчего шрам казался совсем белым. «Кронштадтку» он сбил на левый бок. На лацкане короткого прорезиненного плаща, едва покрывавшего бедра — он сам именовал его «разлетайка», — красовалась полуувядшая роза. Сухие петушиные ноги были плотно обтянуты клетчатыми панталонами. А гетры были белые.

Жан, нагруженный чемоданом и сумкой, поплелся за ним через сад, так густо засаженный овощами, что негде было ступить. Дом священника был окружен, вернее, осажден картошкой, горошком, помидорами и салатом десяти сортов. Кусты смородины и персиковые деревья стояли стеной вдоль узкой тропки, она вела к низенькой дверце, над которой красовалось распятие, вырезанное из сердцевины бузины.

Оба, и дядя, и племянник, не сомневались, что за ними следят из пыльного окошка первого этажа. Но, только услышав удар молотка в дверь,

аббат Калю вышел навстречу гостям. И оказался выше дяди на целую голову. Поверх сутаны у него был подвязан синий фартук, такие фартуки носят садовники. Видимо, он не брился уже несколько дней, и щетина расползлась по всему лицу, не пощадив даже скул. Из-под низкого лба смотрели голубые детские глаза, нос был солидный, с раздвоенным кончиком, зубы крепкие; но Жан де Мирбель поначалу ничего не заметил, он глядел только на огромные руки, перепачканные замазкой, поросшие густой шерстью.

— Привез вам вашего воспитанника, господин кюре, признаюсь, подарочек не из приятных. Ну, иди поздоровайся с господином кюре, да пошевеливайся. Повторять тебе, что ли, сотни раз? Надеюсь, что ты не собираешься с первой же минуты показывать свой характерец.

Держа берет в руке, Жан поклонился, но не сказал ни слова.

— Экая дубина! Хотя, пожалуй, я даже доволен, что вы сразу же поняли, с какого сорта мальчиком вам придется иметь дело. Чтобы он просто «здравствуйте» сказал, и то приходится дубасить!

— Мы еще успеем познакомиться, — произнес священник. Слова эти были сказаны холодным, равнодушным тоном. Не пускаясь в дальнейшие

разговоры, хозяин провел их на третий этаж, чтобы показать мальчику отведенную ему комнату. Комнату эту выгородили из чердака, побелили мелом, поставили только самую необходимую мебель, зато все кругом блестело чистотой, а окошко выходило на старенькую церковь, стоявшую среди погоста, на равнину, где между сосен прятался Сирон, крохотный приток Гаронны; однако даже отсюда, сверху, можно было проследить бег воды по особенно нежной зелени прибрежных зарослей ольхи.

— Я сплю и работаю прямо под этой комнатой, так что нас разделяют одни половицы. Даже дыхание его мне будет слышно.

Папский зуав заверил, что это ничуть не лишняя мера предосторожности и что с такого удальца «нельзя спускать глаз ни днем, ни ночью». Когда они перешли в просторную комнату нижнего этажа, которую аббат называл гостиной, где стояли столик и четыре кресла, а обои пестрели пятнами сырости, полковник шепнул на ухо священнику:

— Мне нужно поговорить с вами наедине. А ты отправляйся в сад и жди, когда тебя позовут… А ну, живо!

Но кюре прервал его и проговорил спокойным

тоном:

— Прошу прощения, полковник, но я предпочитаю, чтобы он присутствовал при нашей беседе. Это входит в мою систему воспитания, и я прошу оказать мне доверие: ребенок должен точно знать, что ему ставят в вину и что именно в нем следует исправлять.

— Я вас предупреждаю, что это чревато неприятными последствиями… Вы же его еще не знаете… Мне было бы свободнее без…

Полковник хмурился, но кюре настоял на своем. Итак, Жан остался и торчал посреди гостиной, устремив взгляд на дядю.

— Ну, как бы вам проще объяснить? Дубина, господин кюре, — этим все сказано. Словом, неисправимый, не-ис-пра-вимый, — повторил он по слогам своим резким голосом.

Да-да, другого слова он не находил. Как многие люди, мнящие себя выше других, он располагал весьма скудным запасом слов и восполнял этот пробел стертыми языковыми штампами, сравнениями, модуляцией голоса и жестами.

— Его хоть убей, господин кюре… Правда, иной раз он может пойти на попятный, надеясь избежать взбучки. И вместе с тем не глуп, не без способностей… Но обязанностей своих не выпол-

няет, уроков не учит…

— А что он любит? Я имею в виду, какие у него вкусы, склонности?

— Что любит? — полковник даже онемел. — И в самом деле, что ты любишь? Бездельничать? Это само собой ясно, а еще что? Да ну же, отвечай!.. Вот видите! Видите, каков он! Отвечай, или я тебя изобью!

Кюре удержал карающую длань полковника.

— Не надо, я потом сам узнаю его склонности.

— Склонности? Ну и скажете вы тоже, господин кюре. Но меня не проведешь. А он, он узнает вашу систему, которая, надеюсь, не особенно сложна, — добавил он, подмигнув священнику. — С дрянной лошадью у меня одна система — шпоры да хлыст… Я не зря сказал «с дрянной»… Мне бы хотелось кое о чем поговорить с вами наедине.

Жан де Мирбель залился краской. Он низко наклонил голову, и теперь священник не видел его лица, а только волосы.

— Вряд ли нужно добавлять, что я действую в качестве опекуна, и от имени графини де Мирбель, матери стоящего перед вами шалопая, и что вам предоставляется полная свобода — смело прибегайте к любым мерам воздействия, лишь бы они помогли вам привести его к повиновению.

Само собой разумеется, в границах, не вредящих здоровью ребенка.

— Само собой разумеется! — повторил кюре, не сводя глаз с повинной головушки.

— Сейчас я подумал и могу ответить на ваш вопрос о его склонностях. Он любит читать и, ясно, читает всякую пакость. Поэтому здесь особенно нужен глаз да глаз. Уже успел набраться разных идей… Да что там говорить! О, он вовсе не всегда такой молчаливый, как сейчас, — когда он с вами спорит, он за словом в карман не лезет. Вы не поверите, во время пасхальных каникул он посмел утверждать при нашем кюре, господине Талазаке, что если министр Комб[30] человек честный, если он верит, что делает благое дело, разгоняя конгрегации[31], то он не только не виноват, но еще заслужил перед Господом.

— Он утверждал это? — с проблеском интереса спросил священник.

— Да-да… Как вам это понравится? Что вы об

---

[30] Примечания: 30

Комб Луи Эмиль (1835–1921) — французский государственный и политический деятель. Возглавляемый им кабинет министров прервал дипломатические отношения Франции с Ватиканом, провёл закон о конгрегациях, подготовил Закон о разделении церквей и государства.

[31] Примечания: 31

Конгрегации — религиозные организации, а также объединения нескольких монастырей под единым управлением

этом скажете? И уперся как бык, ничего не помогло: ни увещевания господина Талазака, ни гнев наших дам, ни даже взбучка, которую пришлось ему задать.

— Ты действительно это утверждал? — повторил кюре. И он задумчиво посмотрел на этого маленького лисенка, попавшего в его гостиную, который, казалось, весь взъерошившись, ищет какую-нибудь лазейку, чтобы улизнуть.

— Если вы владеете каким-нибудь секретом и сумеете вправить ему мозги, Мирбели будут вам весьма и весьма признательны. Ибо, подумайте сами, господин кюре, наше имя, наше состояние, будущее нашего рода, наконец, — все упирается в этого негодника. Он заявил, что лучше сдохнет, а не поступит в Сен-Сир[32] или в армию, как водится в нашем семействе. Впрочем, он и отстал слишком. Ни в какое училище он не сможет подготовиться. У него хватило цинизма заявить, что он вообще ничего не хочет делать, даже заниматься своими поместьями не будет. Вот видите, видите! Не возражает, хихикает. Немедленно прекрати хихиканье, а то я тебя изобью!

Жан отступил к стене. Улыбка открыла его

---

[32] Примечания: 32

Сен-Сир — французская военная школа, готовившая офицеров для пехоты и кавалерии, располагавшаяся недалеко от Парижа.

острые, белые, неровно посаженные зубы. И он поднес к лицу руку привычным жестом ребенка, которого бьют часто и больно.

— Не горячитесь, полковник, — проговорил кюре. — Теперь это уже касается меня. Можете ехать спокойно. Я буду держать вас и графиню в курсе дела. Впрочем, и мальчик тоже вам напишет.

— Нет уж!

Это были первые слова, произнесенные Жаном.

— До свидания, малыш! — сказал дядя. — Вручаю тебя в надежные и крепкие руки, — добавил он, пожимая огромную лапищу кюре. — Мне говорили, что они умеют добиваться прекрасных результатов…

И он громко, с каким-то странным подвизгиванием расхохотался. Священник пошел проводить его до экипажа.

— А главное, не давайте ему спуску, — сказал в заключение полковник, вручая священнику конверт с деньгами на первые расходы. — Он не барышня, шкура у него дубленая. И ничего не опасайтесь, я вас в любом случае выгорожу, а главное, не обращайте внимания на то, что вам будет писать моя невестка. Тут уж я решаю, я руковожу.

Кюре вернулся в гостиную и увидел, что Жан все еще стоит на прежнем месте. Когда священник приблизился к нему, он невольно отступил на шаг и тем же жестом прикрыл согнутым локтем лицо, словно защищаясь от удара.

— Помоги мне накрыть на стол, — сказал священник.

— Я вам не слуга.

— В этом доме каждый сам себе слуга. Только вот стряпает у нас Мария, но ей семьдесят один год, и ее мучит ревматизм. А накроешь ты для себя. Я лично никогда не полдничаю. Сейчас сюда приедут на велосипедах твой друг Луи Пиан с сестрой. Они будут здесь с минуты на минуту.

Он открыл дверь в столовую.

— Торт и сливы в буфете, там же початая бутылка оршада[33]. Когда будете пить оршад, сходи и принеси воду: она в кувшине в подполе. До вечера, сынок… Да, кстати, ты уже знаешь, что мой кабинет находится прямо под твоей спальней. Там у меня много книг… Боюсь, что они не в твоем вкусе. Но если поискать… В общем, можешь рыться на полках, сколько тебе угодно. Мне ты не помешаешь…

---

[33] Примечания: 33

Оршад — прохладительный напиток: миндальное молоко, приготовленное из сока, выжатого из миндаля и разбавленного водою.

Жан услышал тяжелые шаги священника на деревянной лестнице, потом у себя над головой, затем с визгом проехались по полу ножки стула, и все стихло: только стрекот кузнечиков, кукареканье петухов, жужжание мух.

— Хочет меня умаслить, только зря он воображает, что меня на это возьмешь…

И все же Жан открыл дверь в столовую и потянул ноздрями, вдыхая запах торта. Столовая была обставлена лучше других комнат: старинные стенные часы, длинный буфет в стиле Луи-Филиппа, стол вишневого дерева, навощенный до блеска, плетеные стулья; здесь царила какая-то удивительная, пахнувшая яблоками свежесть, за стеклянной дверью открывался вид на низенькие крыши хлевов, на ближний луг, где еще стояли стога неубранного сена.

Как-то меня спросили: «А откуда, в сущности, вам известны все эти события, ведь вы-то не были их непосредственным свидетелем? По какому праву вы приводите здесь разговоры, ведь вы их не слышали?» Дело в том, что я пережил большинство героев этой книги, людей, занимавших в моей жизни значительное место. А потом я по самой своей природе архивариус и храню, помимо одного личного дневника (дневника

господина Пюибаро), еще и записи, которые Мирбель обнаружил, разбирая бумаги, оставшиеся после господина Калю. Так, в частности, сейчас передо мной лежит письмо, которое читал и перечитывал кюре, пока Жан в столовой кружил вокруг стола и, не выдержав искушения, слопал сливу… А тем временем я вместе со своей сестренкой Мишель несся на велосипеде по пыльной белой дороге; тогда еще дороги не покрывали гудроном… (Проезжая через Валландро, мы встретили возвращавшегося домой графа де Мирбеля, в сбитой на ухо «кронштадтке», и Мишель успела разглядеть его тощие ляжки — он сидел, закинув ногу на ногу, — его шрам и увядшую розочку на отвороте прорезиненного плаща.)

Конечно, я воспользовался своим правом соответственно расположить материал, оркестровать эту реальность, эту подлинно существовавшую жизнь, которая умрет только вместе со мной и которая жива наперекор годам, покуда живы еще мои воспоминания И если я придал литературную форму диалогам, то, во всяком случае, я ни буквы не изменил в письме графини де Мирбель, в письме, полученном аббатом Калю накануне, за два дня до прибытия Жана. Написано оно синими чернилами, острым почерком, и под ним стоит

подпись: Ла Мирандьез-Мирбель.

«Господин кюре,

Если я беру на себя смелость обратиться непосредственно к Вам, то лишь потому, что я узнала от госпожи Байо, что Вы в качестве воспитателя применяете совсем иные методы, чем те, какие приписывает Вам мой деверь граф Адемар де Мирбель. Благословляю небеса за то, что ему не пришла в голову мысль навестить вышеупомянутых Байо, и, таким образом, он верит в Вашу репутацию воспитателя трудных детей и считает, что Вы, по его выражению, „сумеете подкрутить гайки“. Я была не столь щепетильна, как мой деверь, и, хотя мне представлялось довольно щекотливым сделать первый шаг в отношении этих бывших аптекарей, предки которых состояли в услужении у моих предков, я не колеблясь отправилась к ним и была сторицей вознаграждена за свой поступок, так как я знаю теперь, какому человеку я пишу, знаю, что полностью могу положиться на Ваш характер. Вы должны, господин кюре, знать кое-какие подробности, могущие просветить Вас насчет моего несчастного мальчика и его нрава. Прежде всего он питает ко мне любовь куда более неистовую, чем обычно питают к своим матерям его

сверстники; Жан убежден, что я не плачу ему тем же чувством, считает, что я сужу о нем сообразно созданному его дядей образу, и я должна признать, что, если говорить о внешней стороне наших отношений, мальчик вполне прав — со стороны может показаться, что я без борьбы отступилась от сына и отдала его в руки этого палача. Простите на слове, господин кюре, но, когда Вы сами увидите графа, Вы меня поймете.

Тут я должна сделать Вам одно признание, как это мне ни трудно, но ведь я обращаюсь к священнику, к человеку, привыкшему отпускать людям грехи. Я бессильна против моего деверя: во-первых, потому, что он по завещанию получил особые полномочия в отношении моего сына, но еще более потому, что я у него в руках, так как мой муж во время своей последней болезни передал Адемару компрометирующие меня бумаги, и довольно серьезно компрометирующие. Коль скоро я всегда действовала сообразно велениям моей совести и полностью пользуясь своими женскими правами, я не могу считать себя женщиной виновной, господин кюре. Неосмотрительная, неспособная к хитростям, расчетам — это верно, все это было. Я могла бы без труда обмануть мужа, а возможно, имела на то все права. Чего только не

претерпела я совсем еще юной: тут и систематическая травля, какую способна изобрести лишь ревность, и заточение, словом, тайная пытка, поскольку этому способствовала наша уединенная жизнь в замке под Арманьяком, и мстительные выходки, благо они сходили с рук. Словом, хватит для настоящего романа, и не знаю, может, я и напишу его когда-нибудь, потому что я умею писать, и это-то меня и погубило. Таким образом, Адемар держит в руках мои злосчастные письма, которые вернул мне мой адресат и которые я, на свою беду, не уничтожила вовремя, и где я, побуждаемая демоном литературы, в живых выражениях описывала свои чувства; свет прощает женщине, уступившей чувствам, но никогда не простит открытого их выражения.

Теперь Вы знаете мой секрет, господин кюре. Хотя я не верю больше в таинства религии, я верю еще в достоинство ее служителей и их скромность. Вы должны знать следующее: Адемар только потому распоряжается судьбой Жана, что моя честь в его руках и, если я подниму голос, он меня загубит. Вот Вам еще один характерный штрих: он опасается, что держит меня в руках недостаточно крепко, и не прочь был бы на мне жениться, его прельщает мое состояние, доволь-

но значительное; добавлю справедливости ради, что такова была последняя воля его умирающего брата; он все время твердит, что женщину можно укротить по-настоящему только в браке. Даже мысль, что де Мирбель, урожденная Ла Мирандьез, могла бы потребовать развода, не приходила в голову ни тому, ни другому. Адемар прибегает к шантажу, однако говорит об этом намеками: он дает мне понять, что, если я стану его женой, Жан будет воспитываться у нас в Ла-Девизе, что все вопросы по его воспитанию буду решать я, что часть года я смогу проводить у своих родителей. Госпожа Ла Мирандьез имеет, как Вы понимаете, большие связи, и я отнюдь не отказалась от мысли о блестящем реванше, который могут принести мне литературные успехи… Что делать? Окончательного отказа я деверю не даю, пытаюсь как-то выиграть время. Адемару уже за шестьдесят, и, когда он встает из-за стола, он неестественно багровеет; нарушения режима, которые неизбежны при его образе жизни и которых я великодушно стараюсь не замечать, могли бы подсказать другой женщине кое-какие мысли, но я абсолютно не способна к любым расчетам, и если я могла совершать безумства, то низости — никогда. Давая Вам все

эти необходимые сведения, я смею надеяться, Вы не осудите меня, исходя из узких взглядов, которые, как я знаю, внушают Вам отвращение, а будете судить меня с позиций человечной и просвещенной религии и не откажете мне в милости, какую я могу получить только от Вас. Мне хотелось бы, чтобы Вы попросили для меня у Адемара разрешения навещать Жана в Балюзаке. Вам он не откажет, особенно если Вы напишете ему, что мой визит пойдет на пользу делу. Скажите ему, что я могу остановиться у Вас. Но я поселюсь в гостинице в Валландро, чтобы не причинять Вам лишнего беспокойства. Жду со всем нетерпением материнского сердца Вашего ответа и прошу Вас, господин кюре, верить в искреннюю и пылкую благодарность, которую я уже испытываю к благодетелю моего единственного и обожаемого сына».

Кюре взял со стола красный карандаш и подчеркнул фразу: «*остановлюсь в гостинице в Валландро*». Как раз сейчас я смотрю на эту красную черточку, чуть выцветшую с годами… Очевидно, он считал, что тут главный стержень письма и все прочее написано ради одной этой коротенькой фразы. Так, во всяком случае, подумалось мне вначале, но, по правде говоря, не мог

же кюре обладать пророческим даром, и фраза, вероятно, подчеркнута после того, как дальнейшие события наполнили эти слова подлинным содержанием. Но в тот вечер он мог понять, что ни за какие блага мира Адемар де Мирбель не согласится предать гласности документы, направленные против невестки и могущие опозорить их славный род. Не особенно правдоподобно звучало также и утверждение, будто полковник на седьмом десятке, сам человек состоятельный, задумал вдруг жениться на графине.

Господин Калю вынул из ящика стола папку с надписью на обложке: «*Лицемерки*». Он вложил в нее письмо, запер ящик, потом прислушался к гулу наших голосов, доносившихся с первого этажа, к нашему хохоту, звону тарелок; опершись локтями на доску письменного стола, он просидел неподвижно несколько минут, закрыв лицо своими огромными ладонями.

IV

— Приторно, — сказал Жан, осушив стакан оршада. — Мне бы чего-нибудь покрепче.

И он начал шарить в буфете. Я отлично понимал, что он просто хорохорится, но в душе я был шокирован. А вдруг Мирбель и впрямь неисправимый мальчик! Он шумно двигал начатыми бутылками, открывал их, принюхивался, желая по запаху определить содержимое.

— Это, по-моему, черносмородинная наливка, или дягилевка, или ореховая, словом, питье для монашек… Однако кюре вроде бы не из тех, кто пробавляется сиропами… Ага, вот оно — это-то он, надо полагать, и хлещет! — вдруг крикнул Жан, потрясая начатой бутылкой коньяка. — И к тому же 1860 года! — Он прищелкнул языком. — Как раз в том году, когда мой дядюшка Адемар заработал при Кастельфидардо свой знаменитый шрам…

Мишель запротестовала: кто же пьет коньяк ни с того ни с сего средь бела дня? Его подают к десерту.

— К десерту сам кюре заявится.

— Надеюсь, Жан, ты все-таки воздержишься?

— Так тебе и воздержусь? И ликерными рюмками пить не стану!

Не так-то легко мне было догадаться, где начиналось комедиантство. Молчаливый школьник, которого вечно наказывали в коллеже, ничуть не походил на этого юного громилу. Я не сразу понял, что он разошелся вовсю из-за присутствия Мишель, — ведь он почти с ней не разговаривал, а на ее вопросы буркал что-то невнятное. Казалось, он просто ее не замечает.

— Это уж слишком, Жан, тебе будет нехорошо.

— Заметь, одним духом…

Он запрокинул голову, но, видимо, переборщил и закашлялся. Мишель хлопнула его по спине. По комнате пополз запах коньяка.

— Господин Калю заметит, — сказал я.

— А мы в бутылку водички подольем, он подумает, что коньячок выдохся…

— А запах! От тебя же разит коньяком, да и в доме пахнет…

Тут мы услышали над головой скрип отодвигаемого стула и стук грубых башмаков на лестнице. Встав на пороге, кюре втянул носом воздух и оглядел нас.

— Нашли-таки мой коньяк, бродяги, — весело проговорил он и обратился к Жану: — А ну, при-

знайся, что он недурен, ты в этом деле должен знать толк. У вас в Ла-Девизе, уверен, коньяки первосортные, место больно подходящее… А ты, Луи, свел бы своего приятеля к Сирону. Любит он рыбу ловить? Любит? Ну, тогда покажи ему рыбное местечко. Щуки прямо бесчинствуют, но есть тихие заводи…

Он распахнул стеклянные двери столовой, которые выходили на задний двор, и с минуту смотрел нам вслед. Мы шагали по наполовину скошенному лугу. Лето выдалось грозовое, и сено не успевали сушить. Мы направились к ольшанику, вытянувшемуся вдоль берега. Бурые и голубые стрекозы извещали нас о близости невидимой отсюда протоки. Под ногами захлюпала вода — луг здесь был болотистый. Жара и после полудня стояла влажная, изнурительная. Очевидно, спиртное придало Жану смелости, так как он нарочно отстал от меня на довольно значительное расстояние, чтобы я не мог расслышать, о чем они говорят с Мишель, шедшей с ним рядом. Я показывал им дорогу, чувствуя, как меня охватывает глухая тоска, источник страданий, окрасивших и искалечивших всю мою жизнь. Но я не имею права умолчать об этой ране, полученной мною еще в ребячестве. Ничто

так не распространено, как ревность в самой простейшей ее ипостаси. У меня она, эта мука, началась с тринадцати лет, на этом болотистом лугу, когда я напрягал слух, чтобы расслышать хоть обрывки слов, которыми обменивались моя сестра и мой друг, причем ревность этого рода свойственна далеко не всем и, хочу надеяться, не является уделом рода человеческого, ведь над ним и без того тяготеет немало проклятий.

Уже и тогда нелегко мне было разобраться, был ли я уязвлен в своей любви к Мишель или в дружеской привязанности к Жану. Мне просто противно было, что Мишель говорит с ним вполголоса, доверительным тоном, чего до сегодняшнего дня удостаивался один лишь я. Мишель принадлежала мне, и до сих пор я не делился ею ни с кем, и вот Жан увел ее в сторонку, смешит ее, тот самый Жан, которого я в своих мечтах с восторгом уже целые две недели встречал на всех ларжюзонских тропках, которого я мысленно вовлекал во все свои каникулярные затеи, этого Жана я мечтал безраздельно иметь для себя, для себя одного, но и он тоже ускользал от меня. Как я не предвидел этого заранее? «Они обращаются со мной как с мальчишкой, они от меня таятся…» Время от времени я останавливался и ждал их.

На повороте тропинки я даже потерял их из виду, и мне пришлось возвращаться обратно. А когда я подошел к ним, оба дружно замолкли.

— О чем вы говорите?

Они смешливо переглянулись и не ответили. Жан жевал травинку. Мишель слегка раскраснелась и, чтобы посмотреть мне в лицо, откинула голову, так как ей мешали поля большой соломенной шляпы. А я уперся: о чем они говорили? «О том, что не должно интересовать маленьких мальчиков», — отрезала Мишель. Жан нагнулся к ее уху, и на сей раз я расслышал: «Значит, по-вашему, он просвещен?»

Быть просвещенным на нашем лицейском языке значило быть в курсе всех таинств жизни, и в частности тайны зачатия. Я побагровел и бросился вперед, вдвойне несчастный: значит, они нарочно отстают, чтобы поговорить о запрещенных вещах, значит, они вроде как бы сообщники, и это еще больше отдаляло меня от них.

Мачеха позволила мне пригласить Жана в Ларжюзон к завтраку. Я решил не передавать ему этого приглашения, которому так радовался заранее, но сейчас я с ужасом думал о завтрашнем дне, когда или Мишель отнимет у меня Жана, или Жан отнимет у меня Мишель. Нет, уж лучше

вообще его не видеть! Пускай дохнет от скуки у своего кюре! В конце концов, дядя Адемар знал, что делает, когда велел держать его в ежовых рукавицах. У нас в коллеже все говорили, что «Мирбель — грязный тип», и не исключали его только потому, что его опекун был героем Кастельфидардо. Возможно, именно в эту самую минуту он рассказывает Мишель то, что я именовал про себя «пакостные истории». Незачем Мишель ходить к нему в гости. Я непременно предупрежу мачеху. Лучше уж никогда его не видеть, навеки от него отречься, чем ощущать, как сдавливает тебе глотку, как свербит под ложечкой эта боль, против которой нет лекарства, раз лекарство находится вне моей досягаемости: оно в желаниях, в сердце, в тайных помыслах моего друга и моей сестры, объединившихся против меня! Пытка, о которой не скажешь вслух! Конечно, тогда, стоя на берегу быстротечного Сирона, опершись о ствол высокой сосны, вспоенной щедрым потоком, омывающим ее корни, я еще не знал, что в этой пытке нельзя признаваться вслух, и только из гордости стремился скрыть свою досаду. Я не хотел больше ждать и, чтобы сбить их с толку, пошел быстрее, вытер слезы, задышал ровно и состроил равнодушную мину. А они хохотали:

еще задолго до того, как я их увидел, я услышал взрывы хохота. Над потревоженным папоротником мелькнула соломенная шляпка Мишель, наконец-то они появились. Сестра спросила, как доберется завтра Жан де Мирбель до Ларжюзона, ведь велосипеда у него нет.

— Мой велосипед эта скотина отняла, — пояснил Жан.

Скотиной он величал своего дядюшку. Я холодно ответил, что ничем помочь не могу.

— А я думала оставить ему свой велосипед, — протянула Мишель, — я вечером поеду на твоем, а ты сядешь на раму…

— Восемь километров на раме? Нет уж, спасибо. Не желаю я портить свой велосипед. Если Мирбелю угодно, пусть идет в Ларжюзон пешком — подумаешь, великое дело пройти восемь километров!

— Так я и знала, — сердито воскликнула Мишель. — Молится на свой велосипед! Надеюсь, ты не собираешься закатить нам скандал?

— Не закатит, — сказал Жан и схватил меня за руку не то играючи, не то со злобой. — Ну как, Луи, согласен?

Я резко вырвал руку, отошел в сторону и сел на пенек.

— Дуется, — заметила Мишель. — Теперь это на целый день!

Вовсе я не дулся — я страдал. Я смотрел на водяных паучков, боровшихся с течением. Прозрачная вода перекатывала длинные волокна мха. В струях резвились гольяны. Их силуэты четко вырисовывались на фоне песчаного дна. Вокруг стоял запах влаголюбивых растений и раздавленной нашими подошвами мяты, тот запах, который я вспомню в свой смертный час и скажу «прощай» светлым дням, канувшим в вечность летним дням, застарелой моей боли, юной моей любви. Я не дулся, я страдал, как страдает взрослый мужчина. Очевидно, те двое присели где-то неподалеку от меня, за папоротниками их не было видно, но я слышал их шушуканье. Вдруг раздался голос Жана, и я понял, что он нарочно говорит громко:

— Не беспокойтесь, он образумится. Ну а если упрется, примем серьезные меры…

Я вскочил и бросился к нему:

— Какие еще меры? Сунься только, скотина…

Он схватил меня за запястья, мне стало больно, но я изо всех сил стиснул зубы, чтобы не крикнуть.

— А ну, повтори, что ты не дашь своего велоси-

педа сестре!

— Пусти меня, ты мне руку вывернул.

— А ну, повтори, что не желаешь ехать на раме!

Вдруг тиски, сжимавшие мои запястья, разжались — это Мишель, не помня себя от ярости, с криком набросилась на моего палача:

— Я вам запрещаю трогать моего брата!

— А что особенного? Подумаешь, не рассыплется.

Они стояли лицом к лицу, меряя друг друга враждебным взглядом. И вдруг великий покой снизошел на меня: они ссорятся, они стали врагами, Мишель предпочла меня ему, а он, он вовсе не любит Мишель. Это из-за меня они сцепились. Я почувствовал в груди сладостную легкость, и, как всякий раз, когда боль отступала, я считал, что исчезла она навсегда. Я уже не ненавидел их, во мне вновь расцвела нежность к ним обоим. Ясно, мы с Мишель вернемся домой на моем велосипеде, но не мог же я уступить сразу, и к тому же мне было ужасно приятно видеть, что они идут не рядом, а поодаль друг от друга. Сейчас настала очередь Мирбеля плестись впереди, жуя травинку, а я шел в нескольких шагах от него, держа сестру за руку. Я держал сестру за руку и смотрел

на шагавшего впереди Жана… И это было счастье. Выпала роса. Гроза, уже не ворчавшая больше где-то на горизонте, вдруг заметно приблизилась, и мрачный лик ее склонился над верхушками сосен. Мужчины и женщины суетились вокруг повозки, наполовину загруженной сеном.

— Н-да, — произнес я, — а этот Мирбель порядочная скотина…

— И все-таки он милый…

— Милый-то милый, да скотина.

— Так или иначе, давай сделаем, чтобы он приехал к нам завтракать.

Горло у меня снова перехватило, и я спросил у Мишель, неужели ей этого так уж хочется.

— А ты думаешь, в нынешнем году у нас в Ларжюзоне очень весело с твоим Пюибаро и Бригиттой, которая все время вьется вокруг этого жирного белого червяка?

— Что ты, Мишель!

— Вот увидишь, Бригитта сумеет сделать так, что мы все возненавидим Ларжюзон, даже папа. Конечно, я оставлю свой велосипед Мирбелю…

— Ага, оставишь! — не помня себя от бешенства, заорал я. — Оставишь — значит, пойдешь домой пешком.

Жан оглянулся. Он торжествовал, что мы

снова ругаемся: говорил же он, что меня надо образумить! Уж кто-кто, а он знает, как нужно обращаться с детишками.

Мы приближались к дому священника и орали все трое разом.

— Нет, ты скажи — мой велосипед или не мой?

— Вот это здорово, еще просить у него разрешения, — обратился Жан к Мишель. — Садитесь быстрее на велосипед, пока он не успел его взять. И если не желает ехать на раме, что ж, пускай чешет восемь километров пешком.

Я успел их опередить и схватил велосипед, но уехал недалеко: Жан вцепился в руль, всунул между спиц ногу, и я рухнул на землю. Господин Калю, очевидно, наблюдавший за нами, быстро вышел из дома, подбежал ко мне и поднял на ноги. У меня была только небольшая ссадина на руке. Священник обернулся к Мирбелю.

— Иди в мою комнату, принеси йод и пачку ваты, она лежит на туалетном столике.

Он бросил это приказание своим обычным спокойным тоном, но еле сдерживая раскаты голоса и не отрывая взгляда от лица Мирбеля и его сжатых кулаков. Мой приятель повиновался с неожиданной быстротой. Когда он спустился вниз, священник уже промывал мою руку под

краном. Не оборачиваясь к Жану, он скомандовал:

— Протри ватой вот здесь. Помажь йодом, да не слишком. Щиплет? А теперь, Мишель, выкладывайте ваши свидетельские показания.

Мишель начала что-то плести. По ее словам, получалось, будто мы с Жаном оба виноваты: Мирбель вел себя грубо, а я нарочно поддразнивал его.

— А ну, пожмите друг другу руки, — сказал аббат.

Я взял руку Жана, и он ее не отдернул. После чего господин Калю заявил, что наша дружба восстановлена. Он не разрешил нам возвращаться вдвоем на одном велосипеде, завтра он даст Жану свой велосипед, чтобы тот съездил в Ларжюзон. Несколько часов аббат свободно может обойтись без велосипеда, так как у него в приходе серьезных больных нет. Но поскольку всегда может произойти нечто непредвиденное, он просит Жана вернуться к четырем часам.

— А вы, дети, приезжайте с ним сюда, проведете день вместе.

В голосе его уже стихли раскаты гнева. Дождь так и не состоялся: ветер разогнал тучи. Священник попросил нас полить салат и посоветовал

разуться, чтобы не промочить обувь. А за наш труд он разрешил нам полакомиться смородиной. Мария уже вдосталь наварила варенья.

Когда священник ушел в дом, Жан заявил, что он в слуги к нему не нанимался и не позволит обращаться с собой как с лакеем. Но когда мы с Мишель скинули туфли, Жан не устоял, быстро снял сандалии и взялся за ручку лейки, которую несла Мишель. Таково детство — этот летний день, когда мы бегали, разувшись, по гравию, больно коловшему босые ступни, и нарочно брызгались водой, остался в нашей душе как память о незамутненном и мирном счастье; однако мою радость омрачила грусть, так как Жан брызгал водой не меня, а Мишель. А Мишель, задрав свою юбчонку до колен, делала вид, что сердится, и все время пронзительно хохотала, но не обычным своим смехом. Но я запрещал себе страдать. Во мне еще жила задремавшая на время боль, которая могла пробудиться от любого пустяка, и поэтому я, желая оглушить себя, орал еще громче тех двоих. Когда солнце скрылось за верхушками сосен, пришла пора подумать об отъезде. Жан осведомился, в котором часу завтракают у нас в Ларжюзоне.

— Обычно в полдень, но приезжайте, как толь-

ко сможете, — сказала Мишель. — Мы встаем в восемь. Когда кюре даст вам велосипед, тогда и приезжайте…

Я запротестовал — как можно надолго оставлять господина Калю без велосипеда. А вдруг его вызовут к больному… На что Жан возразил злобным тоном, что «помереть можно и без помощи священника». Слова эти, видимо, неприятно поразили Мишель, и я заметил, что, прощаясь с Жаном, она держалась натянуто. И все-таки дважды обернулась и кивнула Мирбелю, махавшему нам своим беретом. На нем была матросская блуза, а под ней фуфайка в белую и красную полоску. Сандалий он так и не надел и стоял голоногий, а панталоны у него были подвернуты выше колен и подхвачены резинкой.

Позже я узнал от самого Жана, как прошел его первый вечер в доме священника. Сначала он бродил без толку вокруг дома. Вряд ли Балюзак заслуживал такое громкое название, как поселок: одна-единственная харчевня, а из торговых заведений — только аптека, принадлежавшая некоему Вуайо, но кюре запретил своему воспитаннику даже переступать ее порог. Это был, пожалуй, единственный запрет впрямую. Аббат Калю уже сообщил Жану, что у него в кабинете

множество книг; в жизни Жана книги играли огромную роль, но никто из его близких даже не подозревал об этом. Ведь по отцовской линии он происходил из семьи, где склонность к чтению, особенно у мальчиков, рассматривалась как некий тревожный признак. Впрочем, и его опекун, и его родная мать были убеждены, что Жан интересуется только похабными или скабрезными книгами, на что, откровенно говоря, имели основание, если судить по поведению Жана.

Жан ничего не мог поделать с охватившей его страстью: при одной мысли, что в доме полно книг, пускай они будут специально написаны для священнослужителей, при одной мысли, что ему разрешается рыться в книжных шкафах, он испытывал соблазн, близкий к греховному. Но он боролся против искушения, он не желал, чтобы господин Калю считал, будто его, Жана де Мирбеля, можно взять голыми руками и что он сам сунет голову в ловушку. Однако же не выдержал и поднялся на второй этаж, стараясь ступать как можно аккуратнее, чтобы не скрипнули ступеньки.

На лестничной площадке стоял крепкий табачный дух. Жан помялся в нерешительности с минуту, подошел было к двери, но гордость по-

мешала ему войти в кабинет. Он не подозревал, что аббат прислушивается к каждому звуку, что он уже различил шорох сандалий и подстерегает его, как страстный рыбак, заметивший, что вокруг наживки вьется форель. Господин Калю не выдержал и первым приоткрыл дверь.

— Тебе что-нибудь надо, плутишка? — И так как Жан отрицательно мотнул головой, он добавил: — Может, хочешь книгу взять?

Мальчик вступил в облако табачного дыма. Такого количества книг он никогда в жизни не видел: от пола до самого потолка, наваленные на стульях, на каминной доске, без переплетов, с переплетами… да еще стремянка на колесиках, чтобы можно было добраться до верхних полок, и конторка, за которой можно стоя читать или писать! Чудеса, да и только! Ясно, книжечки скучноватые… Но заранее трудно сказать, впрочем, Жан еще не встречал в своей жизни такой книги, которая была бы безнадежно скучной.

Аббат снова уселся за письменный стоя, не обращая на Жана внимания. А он взобрался на стремянку: какая жалость, что так ноет затылок, даже подташнивает… И повинен в этом коньяк, которого он глотнул из чистого бахвальства, а тут еще этот табачный дух! Поэтому он быстро слез

со стремянки, взял первую попавшуюся книгу, прочел название: «Трактат о похоти. Письма и максимы о комедии. Логика. Трактат о свободе воли». Автор — Боссюэ[34]. А вдруг его вытошнит прямо здесь, в кабинете, да еще, чего доброго, он хлопнется в обморок. Нет-нет, надо держаться любой ценой! Надеясь обмануть дурноту, он открыл книгу, заставил себя прочесть: «*Та женщина из притчи, что кичится благовониями, коими пропитывает ложе свое, и ароматами, кои вдыхаешь в опочивальне ее, а затем присовокупляет: „Забудемся в упоении и насладимся желанными объятиями“, ясно показывает этими словами, к чему приводят благовония, приготовленные, дабы ослабить нас и привлечь нас к чувственным радостям средствами, казалось бы, не оскорбляющими прямо целомудрия…*»

— Ты совсем бледный, малыш, даже позеленел… Тебе нехорошо?

Жан запротестовал: нет, это пустяки, только чуточку тошнит.

— Поди ляг.

Мальчик отказался: само пройдет, сейчас ему уже полегче стало. И снова, сделав над собой

---

[34] Примечания: 34

Боссюэ Жан Эмиль (1627–1704) — знаменитый французский проповедник и богослов XVII века, писатель, епископ.

усилие, он попытался вникнуть в прочитанную страницу… Аббат услышал, как грохнулось тело Жана об пол, но грохнулось мягко, потому что при падении он успел ухватиться за стремянку. Жан смутно чувствовал, как его подняли и несут две сильных руки. Потом его стошнило. Кюре хладнокровно, без малейшей брезгливости подставлял ему таз, придерживая его голову своей широкой ладонью. Наконец Жан открыл глаза и сказал, что хочет выйти в сад. Он был буквально в отчаянии, что сразу же из-за этой неожиданной дурноты попал в лапы неприятеля.

— Я тоже собираюсь выйти, — сказал аббат. — Дочитаю молитвы в церкви. Пойдем-ка со мной. Вот увидишь, какая у нас славная церковка… Построил ее Бертран де Гот, который потом стал папой Климентом V, он наш земляк, из Валландро, если только не из Юзеста, где находится его могила… Если бы все папы были такими…

Жан ответил, что старые камни его ничуть не интересуют…

— А все-таки пойдем, навестим нашего Господа…

Наконец-то кюре открыл свои карты! Не смея поднять глаз, Жан буркнул, что уже давно не верит во все эти сказки…

— В самом деле? — спросил господин Калю, и по его голосу чувствовалось, что он ничуть не шокирован этими словами.

— Вас это удивляет?

Мирбель поглядывал на своего собеседника уже свысока.

— Почему, в сущности, я должен удивляться? — сказал кюре. — Куда удивительнее верить… Удивительно другое: то, во что мы верим, есть истина; удивительно то, что истина существует, что она нашла себе воплощение и что я держу ее, пленницу, здесь, у себя, под древними сводами, которые тебя ничуть не интересуют, с помощью и властью этих вот огромных лапищ, приведших в такой восторг твоего дядю Адемара. Да, малыш, я и сам-то опомниться не могу — до того это абсурдно, безумно, то, во что мы верим, и все-таки это — истина!

Что он, издеваться над ним, над Жаном, вздумал? На всякий случай Жан бросил:

— А мне теперь это совершенно все равно!

Он пытался не уступать противнику, дерзко взглянуть ему в глаза, но почему-то глаза его сами опустились.

— Теперь да, малыш. А потом посмотрим.

— Я вам все равно не дамся! — крикнул с вы-

зовом Жан.

— Не мне ты дашься… Куда уж мне…

— А раз не вам, так кому же тогда, здесь, кроме Марии, больше никого нет!

Кюре не ответил. Вдруг он что-то вспомнил и озабоченно спросил:

— Скажи, как же ты в таком случае устраивался в коллеже? С такими вещами, как исповедь и причастие, не шутят…

Жан самодовольно ответил, что такие пустяки его никогда не смущали: каждую субботу — исповедь, ну он и плел на себя невесть что… каждое воскресенье — причастие: если человек ни во что не верит, то какая ему разница? Ото всех этих исповедей и причастий ему ни жарко ни холодно… Он ждал взрыва, но взрыва не последовало.

— Ты так считаешь? — только спросил господин Калю.

Жан с заносчивой миной выдержал устремленный на него взгляд, грустный и кроткий взгляд, и вдруг ему почему-то стало неловко.

— Каждую, говоришь, субботу? Каждое воскресенье?.. И сколько же времени так продолжалось? Целых два года? Боже мой. Боже мой!

Господин Калю залюбовался этим красивым лицом, этим чистым лбом под темными волоса-

ми, где, как огненные полоски, пролегали пряди посветлее. И только сказал:

— Поди полежи немного перед ужином, иди, мальчик.

И он направился к церкви, так и не оглянувшись. Шагал он быстро, ссутулившись, и казался поэтому не таким высоким.

V

В памяти моей почти не сохранились подробности первого визита Жана в Ларжюзон, я не отличаю его от последующих. В течение всего августа мы были неразлучны. Если Жан не приходил к нам, к нему в Балюзак отправлялась Мишель. И понятно, я увязывался за ней и ни за какие блага мира не остался бы сидеть дома; каникулы мне были не в каникулы при мысли, что они там вдвоем без меня, так что вся моя жизнь подчинялась одному — быть всегда при них.

Откровенно говоря, сначала это меня почти не мучило. Теперь гораздо реже повторялись те страшные дни, когда они держались вместе и дружно избегали меня, и, напротив, участились такие, когда Мишель бранила обоих мальчишек и старалась отбиться от шуточек, которые мы изобретали, чтобы поддразнить «девчонку». В нашей троице согласия не было: или мне, или моей сестре выпадала роль жертвы. По-настоящему счастлив я был лишь тогда, когда мне приходилось защищать Мишель от Жана, от его порой довольно злобных поддразниваний. Но почти всегда получалось так, что именно в ту минуту,

когда я считал, что они поссорились окончательно, они вдруг без всякой видимой причины мирились. Чаще всего, именно когда я верил, что надежно защищен от их сговора, именно тогда разражались непонятные, мучительные для меня сцены, как, скажем, в тот день, когда мы довели Мишель до белого каления своими намеками на «историю с пирожными», после которой мы с ним стали друзьями до гробовой доски, твердил Жан. «Да какая история?» — допытывалась Мишель. Мы переглядывались, перемигивались и, приложив в знак молчания палец к губам, торжественно клялись, что никогда не расскажем про это девчонке. И тут мы начинали скакать вокруг Мишель, тянули ее за волосы и удирали прочь, показывая кукиш со словами «что, съела?..». Я держался на почтительном расстоянии, но Жан кружил вокруг нее как одержимый какой-то, дергал ее, потом снова убегал… Вдруг Мишель рванулась вперед и ногтями вцепилась Жану в щеку. Он даже не отбивался, но не устоял на ногах и упал в траву, а когда поднялся, мы с сестрой увидели, что щека у него расцарапана до крови. Мы застыли в растерянности, Мишель побледнела.

— Ой, Жан, скорее вытри кровь, у меня носового платка нет.

А он не вытирал, и кровь текла у него по щеке. Я подумал было, что сейчас он набросится на Мишель, но нет, он улыбнулся ей. И как улыбнулся — новой, не своей обычной улыбкой! Эта улыбка словно бы свидетельствовала, что Жан имеет на Мишель права, и Мишель имеет права на Жана, и он волен принимать от нее все, даже боль. Они, совсем еще дети, вступали, сами того не ведая, в тот мир, где удары равнозначны ласкам, где ругательства куда полнее, чем самые нежные слова, выражают всю силу любви. И завеса закрыла их, я уже их не видел, я остался один по ту сторону завесы, несчастный мальчишка, затерявшийся в мире, населенном этими переменчивыми чудищами: взрослыми людьми.

Если Мирбеля удалось немного приручить, то вся заслуга в этом принадлежала моей сестре, а отнюдь не господину Калю (по крайней мере так было до конца августа, вплоть до некоего события, о котором я расскажу в свое время). То, чего добился кюре от своего воспитанника в первый же день, конечно, нельзя сбрасывать со счета, но в последующую неделю успехи были самые мизерные. «*У меня в доме поселилась кошка*, — писал в своем дневнике тем летом господин Калю, — *кошка, которая бесшумно входит*

и выходит из библиотеки, причем и стула не заденет, обнюхает книги, проскользнет в столовую, присядет у краешка стола и жадно лакает суп. От борьбы он отказался, соглашается работать час в день, по воскресеньям ходит к мессе. Я слишком скоро обнаружил себя: ему ненавистна моя кротость, „ваша поповская кротость“, как заявил мне как-то с отвращением этот юнец из Бордо… А мне хотелось, чтобы ничто ни во внешнем моем облике, ни в моем лексиконе его не отвращало. Да-да, именно так: никакой елейности в тошнотворном смысле этого слова. Какой жесткой была елейность Иисуса Христа! Алмазом какой твердости надо стать, дабы взрезать сердца ближних! Жана меньше бы отвращала моя жестокость, против которой он хорошо вооружен…»

Возможно, аббат Калю разгадал секрет Жана, но не разгадал моего. Да и то сказать, кто бы мог его понять и растолковать мне самому? Никто не может взять на себя бремени ребенка, оно никому не под силу.

Господин Пюибаро пекся о моих занятиях и о моей душе с немалым пылом, но я не испытывал к нему за это благодарности. Конечно, он меня любил, и домашние твердили, что я «его просто

обожаю», и я безропотно дал втянуть себя в эту игру. «У Луи с языка господин Пюибаро не сходит…» Но на самом-то деле я с легким сердцем согласился бы больше никогда в жизни его не видеть и не испытал бы при этом ни малейшей печали. Никто еще не сумел измерить всю глубину равнодушия ребенка в отношении взрослых, даже тех, с которыми он, по видимости, наиболее тесно связан. За исключением Жана, Мишель да еще папы и покойной мамы — но это уже совсем в ином плане, — ни одно живое существо не представлялись мне реальным. Те, что зовутся «другие», были в моих глазах статистами; они толклись где-то в глубине сцены, кружили в хороводе вокруг моего истерзанного или, напротив, полного радости сердца в зависимости от того, как складывались мои отношения с Мишель и Жаном, но сердца моего не видели.

Господин Пюибаро мог разгуливать со мной по аллеям парка, наставлять меня, вести умные речи о воспитании духа, я отвечал ему с чуть лукавой любезностью, которая так легко открывала мне все сердца, если я прилагал к этому хоть какие-то усилия! Но не мог же бедняга Пюибаро догадаться, что сердце мое за тысячи миль отсюда и мучится своей мукой; что я говорю слова,

не имеющие никакого отношения к моим подлинным мыслям и чувствам; что я бессовестно и легко ускользаю прочь, оставляя ему лишь внешнюю оболочку внимательного, умненького мальчика, на которого он изливал сокровища своей прекрасной души.

Было у меня перед ним еще одно преимущество — я знал его историю, но она меня совсем не интересовала. Этим летом господин Пюибаро сбросил свою прежнюю кожу и почти догнал наш век. Цилиндр уступил место панаме, сюртук — пиджаку, но даже в самые знойные дни он щеголял в черных панталонах и крахмальных рубашках. Со мной он держался тона христианского наставника и поведал мне о себе куда больше, чем полагается слышать мальчику моих лет. Теперь, когда прошло столько времени и когда господин Пюибаро стал прахом, я, перечитывая его дневник, с внезапным волнением вникаю в его споры с самим собой, в ту драму, которой я был рассеянным свидетелем, ибо мой учитель касался именно тех вопросов, какие по мере приближения к могиле все неотступнее преследуют и меня.

Первую неделю пребывания господина Пюибаро в Ларжюзоне Бригитта Пиан не испытывала

скуки: даже дня ей не хватало на то, чтобы до конца исчерпать счастье, какое она вкушала, помогая бедняге распутывать клубок его внутренней жизни; не было у нее ощущения, что она зря теряет время, что зарывает в землю талант свой, каковой заключался в том, чтобы просвещать ближних насчет путей, которые в извечной премудрости своей Господь начертал им. А тут у нее в доме, под самым боком находится господин Пюибаро, ей послан небом счастливейший случай, когда она может развернуться, хотя сама Бригитта не скрывала от себя опасности: слишком уж пылкую, конечно, отнюдь не греховную, радость черпала она в этом благочестивом занятии, испытывая поначалу непомерное удовольствие от того, что Пюибаро внимает ей как оракулу. Покорность, увы, оказалась внешней! Очень скоро Бригитта Пиан должна была признать, что овечка попалась с норовом, чего никак нельзя было предположить по первому взгляду. К концу второй недели она уже твердила про себя: «Уклончивая душа…» Словом, она начала даже обвинять его в том, что он бежит благодати, то есть ее указаний.

Главной страстью Бригитты Пиан было подымать человеческие души, по собственному ее

выражению, на горние вершины, и она старалась открыть глаза несчастному Пюибаро на козни лукавого, специализирующегося на том, чтобы извращать смиренное представление, какое составляет о себе христианская душа. Мой наставник был убежден, что он отнюдь не переоценивает своих сил, считая себя предназначенным общей участи людской, и что он, пока еще не упущено время, обязан идти торной тропой, какой идут все смертные, к числу коих принадлежит и он сам: взять себе жену, народить детей, кормить их, как кормит птица небесная выводок свой. Но Бригитта Пиан знала, что необходимо подчас совлечь с души маску лжесмирения, в которую она рядится, она утверждала с полным убеждением, словно получила сообщение лично от самого Господа Бога, что если Пюибаро до сих пор не ушёл из нашего коллежа, то лишь потому, что самим провидением предназначен к монашеству. По ее словам, единственно спорный вопрос был лишь в том, в двери какой обители ему постучаться, какому монашескому уставу подчиниться.

Однако мадам Бригитта не только не выиграла битву за душу господина Пюибаро, хотя и вела атаки на выбранном ею самой поле брани, но и вынуждена была признать, что ее влияние натал-

кивается на чужое влияние, куда более мощное, чем ее, и чье же, чье, великий боже! На влияние этой Октавии Тронш, внушавшей моей мачехе чувство, близкое к тому, что люди светские именуют презрением. Однако Бригитта Пиан знала, что не следует никого презирать и что душа даже такой Октавии Тронш имеет в глазах Господа Бога свою ценность.

Наша мачеха дивилась тому, что отсутствующая Октавия приобрела куда более сильную власть над Пюибаро, чем в городе, где они встречались чуть ли не ежедневно. Хотя мой наставник не виделся с Октавией, зато он часто получал от нее письма, и, когда за первым завтраком он читал очередное послание в присутствии мадам Бригитты, читал с неописуемым вниманием, та пожирала взглядом эти странички. И в самом деле, если Пюибаро порой не без огорчения взирал на невзрачную внешность Октавии (хотя не мог противостоять духовной прелести, которой она вся лучилась), эти прежние чувства уступили теперь место восхищению, нежности и уважению, и так продолжалось все время их разлуки, когда Октавия открывала ему себя лишь на этих страничках, написанных поздним вечером, перед сном.

Эту переписку я обнаружил в бумагах господина Пюибаро, но приводить ее здесь не хочу, и вовсе не потому, что она этого не заслуживает, но боюсь, что найдется не много читателей, способных прочувствовать всю прелесть истинного смирения, которое и само-то себя не знает и не отдает себе отчета в силе своей лучистости. Однако обойти ее молчанием я тоже не могу, так как победа, одержанная Октавией над моей мачехой, ударила рикошетом, и ударила больно, сразу по нескольким судьбам.

Хотя Октавия питала безграничное уважение к мадам Бригитте, она, находясь на спасительном от нее расстоянии, нашла в себе мужество сопротивляться и предостерегала своего друга против пренебрежения нашим собственным разумением. Она утверждала, что «*даже особа, безмерно превосходящая нас своими добродетелями, опытностью, высотою духа, не может восполнить наше знание божественной воли, каковое есть плод добродетели самоотречения… По-моему, весьма полезно слушать советы, идущие извне, если только, конечно, они не отвращают человека от той настороженной и неизменной покорности тому, что вершится в нем самом. Ведь Господь Бог говорит первым делом в нас*

самих. Или Вы считаете, друг мой, что это не так? Даже представить себе невозможно, что сила моих чувств к Вам находится в противоречии с волей Господа. Мне светит Ваш свет, и, когда я пытаюсь бороться против искушения спешить на его зов, я сразу попадаю в потемки. Лишь одно меня поддерживает — я слишком дорожу Вашим благом, духовным и земным, и откажусь от Вас не без отчаяния в душе, но зато, верьте мне, почти без борьбы. Какой бы я ни была эгоисткой (а видит Бог, я эгоистка!), я слишком люблю Вас, чтобы думать о себе. Я люблю Вас до такой степени, что не стала бы ни минуты бороться против влияния, которое оказывают на Вас в Ларжюзоне, если бы только была уверена, что оно послужит Вашему счастью и что вокруг нашего такого простого и обычного случая не ткутся хитросплетения. К тому же, поскольку может судить простая, бедная девушка, существует один пункт, в котором мадам Бригитта заблуждается: она еще не в той мере, как Вы или я, прониклась истиной, что любая живая плоть, даже уязвленная, — все равно святыня и что вопреки первородному греху самая прекрасная тайна небес — это рождение младенца. Я слышала, что проповедует она на

сей счет, но, возможно, я недостаточно точно толкую ее слова. О, друг мой, как дорого мне в Вас чувство любви к детям, которым наградил Вас Господь, к милым детям, какими должны все мы стать, если хотим войти в царство небесное! Но так как нам не дано уподобиться им, прекрасно уже то, что мы можем производить их на свет божий. Разумеется, существуют более высокие призвания… Однако, если я стану Вашей женой, не думаю, что мы нарушим волю Христа, его требование оставить все и идти за ним, ибо я заранее подчиняюсь его обожаемой воле через Вас, любимый мой, и через тех, кто родится от нас… При одной этой мысли я трепещу от счастья…»

Господин Пюибаро не показывал мне этих писем, и я мог оценить всю глубину поражения мачехи лишь по ее дурному настроению, проявлявшемуся чаще всего за семейными трапезами, атмосфера которых сгустилась до такой степени, что мы положительно задыхались.

Я понял, что дела господина Пюибаро идут плохо и что его отношения с Бригиттой Пиан окончательно испортились, но я сам был слишком несчастлив, чтобы обращать на это внимание. С того дня, как Мишель расцарапала Жану щеку, между ними воцарился нерушимый

мир. Уже прошли те блаженные дни, когда мой приятель, превратившись в школьника, вместе со мной дразнил «девчонку». Теперь, когда Жан появлялся у нас в Ларжюзоне, их единственной заботой было выкроить хоть несколько свободных минут, чтобы побыть наедине, и, желая от меня отделаться, они изобретали тысячи хитростей, ровно столько же, сколько изобретал я, чтобы не упускать их из виду. Я сам стыдился своей назойливости, мне самому она была отвратительна, и однако я упорно плелся за ними, притворялся, что не вижу раздраженных, досадливых взглядов, которыми они обменивались.

Бывало, кликнет меня мачеха, или придет в голову господину Пюибаро вернуть мне исправленный латинский перевод и указать ошибки в тексте, или самому мне понадобится отлучиться на минутку из комнаты, я уже твердо знал, что, возвратившись, не застану ни Мишель, ни Жана, куда-то упорхнувших. И в той аллее, где только что звучал смех Мишель, где мой приятель звал собаку своим ломающимся, уже не детским баском, я услышу лишь шорох ветра в сбрызнутой грозовым ливнем листве. Сначала я выкрикивал эти два имени: «Мишель! Жан! Где вы?» — но потом замолкал, понимая, что если даже они меня

услышат, то нарочно понизят голос до шепота и будут ступать на цыпочках, чтобы сбить меня со следа.

Я лишь очень смутно представлял себе, чем, в сущности, их привлекает уединение, так как моя еще не проснувшаяся для подобных ощущений плоть молчала. Ревность рождается тогда, когда перед вашими глазами стоит мучительно непереносимая картина радостей, которые любимое существо получает от другого и щедро дарит их другому. Сомневаюсь, чтобы в ту пору я мог представлять себе нечто подобное. Но их счастье, в какой-то мере зависящее от моего отсутствия, — вот что причиняло мне боль, готовую вырваться в крике.

Хорошо помню тот день, когда господин Пюибаро вдруг решил покинуть Ларжюзон. Во время завтрака говорил только один аббат Калю, приехавший к нам вместе с Жаном. Господин Пюибаро изредка вставлял короткие реплики, но мадам Бригитта не разжимала губ. Будь я не так отвлечен своими мыслями, я непременно сробел бы — такое мрачное выражение застыло на ее широком лице. Сидя напротив жены, папа совсем съежился, уткнулся в тарелку и жевал, не смея поднять глаз. Жан и Мишель с противополож-

ных углов стола переговаривались взглядами, а я сидел рядом с господином Пюибаро и делал вид, что внимательно слушаю его слова. Но на свете ничего для меня не существовало, кроме этой немой перестрелки взглядами между моей сестрой и моим другом, кроме этого безмятежного спокойствия, которое спустилось на Мишель потому, что здесь находился Жан. В ее глазах я тоже был лишь частицей отдельного от них мира, другими словами, просто не существовал. Ушел, как и все прочие, в небытие.

Начался грозовой ливень, и поэтому обычное питье кофе под дубом было отменено. Мачеха извинилась за свое молчание, сославшись на мигрень, и попросила меня сходить к ней в спальню за таблеткой антипирина. Моего двухминутного отсутствия оказалось достаточно, чтобы Жан с Мишель, презрев дождь, убежали в сад. Я хотел было броситься за ними, но дождь припустил, и мачеха запретила мне выходить: «Пускай Мишель мокнет, а ты оставайся здесь».

Неужели она ничего не замечает? А ведь поведение Мишель должно было бы ее ужаснуть. Но ей не было дела ни до кого, кроме как до моего наставника. Мигрень оказалась невыдуманной, и мачехе пришлось пойти прилечь. А папу ничто в

мире не могло заставить отказаться от послеобеденного сна. Итак, я остался один в бильярдной и смотрел сквозь стеклянные двери на парк, омываемый струями дождя. В соседней гостиной вели беседу аббат и Пюибаро; сначала они говорили вполголоса, но скоро я уже слышал каждое их слово. Мой наставник жаловался на тяжесть и неделикатность некой тирании. Насколько я мог понять, аббат Калю советовал господину Пюибаро не мешкая удирать отсюда куда глаза глядят и подсмеивался над его малодушием.

«Они, должно быть, укрылись в заброшенной ферме», — думал я. И представлял себе Мишель и Жана в неуютной кухне, где огонь, да и то изредка, разжигали лишь пастухи и где стены казались черными от бесчисленных рисунков и надписей, читая которые Жан смеялся, а я их просто не понимал. Они там ласкаются. Меня Мишель никогда не ласкала, даже в минуты нежности, нежность у нее получалась грубоватая. И Жан тоже, даже в лучшие наши часы, говорил со мной повелительным тоном. Грубиян-то грубиян, только не с Мишель. Ей он говорил: «У вас руки совсем холодные», — и брал ее руки в свои ладони и долго-долго не отпускал. Никогда со мной он не был ласков. А я так ждал от людей ласки!

Вот какие муки терзали меня, когда я смотрел на мокрый парк.

Аббат Калю решил воспользоваться временным затишьем и вернуться в Балюзак до следующего дождя. Он попросил меня позвать Жана. Я позвонил в колокол, но позвонил зря: Жан не появился. Тогда аббат Калю заявил, что его воспитанник уже достаточно взрослый и вполне может добраться до дому один. Попрощавшись с мадам Бригиттой, которая, оправившись от мигрени, вышла пройтись с господином Пюибаро по главной аллее, аббат сел на велосипед и укатил. А я смотрел, как взад и вперед перед крыльцом прохаживается мачеха вместе с моим наставником, причем говорит только он один. Разговор был недолгий, и, хотя до меня не доносилось ни одного слова, произнесенного громче других, я догадался, что дело плохо. Проходя мимо меня, господин Пюибаро ласково провел ладонью по моим волосам. Был он бледнее обычного.

— Завтра я уезжаю, малыш. Пойду укладывать вещи.

Я рассеянно выслушал его слова: где же, где Мишель с Жаном? Даже к полднику они не вернулись. Я вдруг сообразил, что никогда еще они не оставались наедине так долго. Грусть куда-то

испарилась, теперь я испытывал гнев, ярость, желание причинить им боль, одним словом — все, что есть самого низкого в том возрасте, когда тот человек, которым мы станем впоследствии, уже полностью сложился, полностью оснащен для будущего целым набором склонностей и страстей.

Ливень кончился. Я шагал под деревьями, отяжелевшими от дождя. Порой капля падала мне на ухо, сползала вдоль шеи. Лето стояло вялое, без стрекоз. Если бы только в Ларжюзоне был хоть какой-нибудь другой мальчик, хоть какая-нибудь другая девочка, с которыми я мог бы водиться без тех двоих!.. Но я не мог припомнить ни одного лица, ни одного имени. На повороте аллеи я увидел мачеху, она шла мне навстречу. С минуту она смотрела на меня, положив мне на лоб ладонь. Я не удержался и заревел и поэтому не смог сразу ответить на ее вопрос.

— Они от меня убегают, — наконец пробормотал я.

Мачеха решила, что речь идет о прятках или еще какой-нибудь игре.

— А ты сделай вид, что их не замечаешь, тогда они сами попадутся.

— Да нет же, они только этого и хотят…

— Чего хотят?

— Быть одни, — вполголоса твердил я.

Мачеха нахмурила брови.

— Что ты имеешь в виду? — спросила она.

Проснувшееся было на миг подозрение прошло мимо ее сознания; она была слишком поглощена собой, билась в тенетах собственных своих переживаний, но зерно, брошенное мною, все же попало на благодатную почву, и рано или поздно оно даст росток.

— Человек всегда бывает наказан за то, что чересчур печется о других, — с горечью прошептала Бригитта Пиан. — Видишь ли, Луи, дорогой мой мальчик, иной раз у меня закрадывается сомнение, уж не слишком ли много вкладываю я страсти в дело их спасения. Да-да, я знаю, что самый ничтожный из них все равно имеет неисчислимую ценность… Я охотно пожертвовала бы жизнью, лишь бы спасти хоть одного… И однако порой меня охватывает страх, а вдруг я зря теряю время (во всяком случае, теряю по видимости, разумеется, ибо один Господь Бог может судить об этом), так вот, теряю зря время ради посредственных, чтобы не сказать дурных созданий. Таково испытание, ниспосылаемое великим душам, они вынуждены истощать все свои силы, идти ощупью в потемках, служа людям мелким, низким…

Слово «низким» даже с каким-то присвистом сорвалось с ее брезгливо поджатых губ. Я догадался, кто, по ее мнению, является человеком мелким, ясно — господин Пюибаро. Но почему он так ее интересует? Может, она его любит? А если не любит, размышлял я, почему же тогда она из-за него бесится? Ведь если мы не любим человека, разве способен он причинить нам зло или добро?

Я еще издали заметил Мишель, сидевшую на ступеньке крыльца. Хотя я ни о чем ее не спросил, она сообщила мне, что они катались на велосипеде и что Жан отправился прямо в Балюзак, не заезжая к нам. Должно быть, она успела побывать у себя в спальне: волосы были причесаны особенно тщательно, лицо и руки чисто вымыты. Сестра краешком глаза наблюдала за мной, стараясь угадать, что я думаю о ее словах, но я притворился равнодушным и не без удовольствия ощущал себя хоть и несчастным, но в то же время хозяином своих чувств.

Спать я пошел раньше обычного, намереваясь еще почитать в постели, но ничего не получилось: с нижнего этажа до меня доносились яростные раскаты спора. На следующий день я узнал от Мишель, что мачеха не сдержалась и

устроила господину Пюибаро ужасную сцену. Впрочем, и он потерял всякое самообладание, доведенный до бешенства тем, что в ответ на его пространные объяснения, почему он собирается жениться на Октавии, Бригитта, возведя глаза к небесам, заявила, что всегда ждала этого испытания, что она охотно соглашается на жертву, какую он от нее требует.

— При чем тут ваша жертва, мадам Бригитта?.. Это дело касается только меня одного…

Но мадам Бригитта не желала ничего слушать. Она была оскорблена, но сделала вид, что прощает нанесенные ей оскорбления. Такова была ее обычная тактика, применяемая в отношении людей, которые считали нужным указать ей, что она не права или совершила несправедливый поступок; признавать это и каяться, бия себя в грудь, она ничуть не собиралась, она просто подставляла ударившему ее по правой щеке левую и еще уверяла, что ей ниспослана великая радость — быть оклеветанной и непонятой людьми, ибо могла добавить еще одну петлю к тугой власянице добродетелей и совершенств, облекавшей ее с головы до ног, над созданием коей она трудилась не покладая рук. Такая позиция доводила людей до бешенства и исторгала из их уст злые слова,

но и это шло мадам Бригитте на пользу — и перед собственной своей совестью, и перед Господом Богом.

Однако в тот вечер переполнявший ее гнев бурно вырвался наружу, и мадам Бригитта явно хватила через край, потому что на следующий день за первым завтраком (его подали раньше обычного, так как господин Пюибаро уезжал восьмичасовым поездом) она унизила себя до того, что разыграла сцену публичного покаяния.

— Нет-нет, не возражайте, я вела себя недостойно, — твердила она, опьяняясь собственным самоуничижением… — Я заявляю об этом в присутствии Луи: когда на моих глазах душа впадает в заблуждение и идет к своей погибели, сдержаться я не могу… Но даже переизбыток усердия не может служить извинением таким вспышкам. Сколько бы мы ни укрощали свою натуру, все мало, и я должна смиренно признать, что у меня огневая натура, — добавила она, не скрывая удовлетворения. — Простите меня, мой друг.

— Да нет же, мадам Бригитта, — запротестовал Пюибаро, — мне тяжело видеть, как вы унижаете себя передо мной, я этого недостоин!

Но мадам Бригитта уже закусила удила и, видимо, намеревалась извлечь выгоду из своего

жеста: что сделано, то сделано, ей ничего не стоило дойти до последних пределов смирения и этим маневром вынудить свою жертву сложить оружие; смирение лишь возвеличивало ее в собственных глазах (еще одна петелька к власянице совершенства).

— Впрочем, вы сами убедитесь по моему отношению к Октавии и к вам, что я зла на вас не держу. И сказала я вам то, что считала долгом своей совести сказать. Теперь это дело уже прошлое, передаю вас обоих в руки божии, и не будет у вас более верного друга, чем я, в вашей новой жизни, где, боюсь, столько ловушек и столько испытаний поджидает вас.

Господин Пюибаро схватил ее руку и с жаром поднес к губам: что с ними станется без мадам Бригитты? Положение Октавии в школе, его собственное положение в Обществе зависит, в сущности, от нее: достаточно ей сказать всего слово… Он жадно всматривался в лицо своей благодетельницы, но лицо это вдруг лишилось всякого выражения. Изъясняться Бригитта Пиан стала весьма туманно. Она упомянула провидение, на которое мы обязаны полагаться, которое никогда не оставляет нас своей милостью и предначертаниям коего мы должны следовать даже в

самые тяжелые минуты, когда нам кажется, будто все нас покинули. И так как господин Пюибаро твердил свое, Бригитта повторила, что не она решает, что в совете у нее только один голос, как и у всех прочих членов Общества.

— О мадам Бригитта, — твердил он, — вы прекрасно знаете, что если возьмете нашу судьбу в свои руки…

Но в это утро на мою мачеху нашел стих самоуничижения, и чем упорнее настаивал господин Пюибаро на ее всемогуществе, видя в нем гарантию их будущей с Октавией трудовой жизни, тем упорнее она тушевалась и даже с какой-то радостью старалась отойти на задний план, раствориться!

VI

После отъезда господина Пюибаро в Ларжюзоне на несколько дней воцарилось спокойствие. Мачеха редко показывалась на люди: целыми днями она сидела в кабинете, отвечала своим многочисленным корреспондентам, получала от них письма. Наконец-то зной вступил в свои права, но грозы уже не кружили над верхушками сосен, а погромыхивали в кое-чьих сердцах. Жан за эту неделю приезжал к нам на велосипеде всего только раз, провел со мной все послеобеденное время, но я не получил от его общества никакого удовольствия: инстинкт страдания, никогда меня не обманывавший, подсказал мне, что Жан действует так не по собственному почину, а выполняет некий план, разработанный заранее вместе с Мишель.

Когда мы решили пойти посидеть у ручья на берегу, сестра не выразила желания сопровождать нас. В тот день Жан обращался со мной очень ласково, о чем еще так недавно я мечтал, и тем не менее никогда я не испытывал такой грусти — ведь сама эта ласковость была из того же источника, что и моя грусть, а источником этим было

влияние, которое приобрела на Жана Мишель. Я страдал потому, что он утопал в блаженстве, он, мальчик, которого вчера еще мучили и не считали за человека.

Говорили мы мало, он думал о чем-то своем, а мне точило душу одно подозрение: они условились встретиться с Мишель не здесь, у ручья, а где-то еще. Почти каждый день, когда я сидел за уроками, Мишель одна, без меня, уезжала кататься на велосипеде. Должно быть, они встречались где-нибудь на полдороге между Балюзаком и Ларжюзоном… А сегодня он приехал к нам, чтобы ввести меня в заблуждение… Жан стругал ножом ветку ольхи, а я наблюдал за ним. Он пообещал сделать мне свисток. Его загорелое лицо светилось счастьем.

— А все-таки аббат Калю молодец. Ты только подумай, написал дяде и попросил, чтобы мама приехала меня навестить… Дядя разрешил: мама приедет на следующей неделе и будет ночевать в Валландро.

— Как я рад, старик, просто чудо!

Да-да, я был рад: значит, он сияет от счастья из-за предстоящего приезда своей мамы! Из-за Мишель, конечно, тоже. Но не только из-за одной Мишель…

— Ты мою маму никогда не видал? А знаешь, она у нас настоящая красавица. — Жан даже языком прищелкнул от восхищения. — Самые знаменитые художники умоляли ее позировать им для портрета. Впрочем, сам увидишь: она хочет заехать к вам сюда, лично поблагодарить твою мачеху. В письме она так прямо и написала, что непременно будет у вас. Пишет, что будет очень рада выразить лично свою благодарность, а ведь это не в ее привычках! Я ей много рассказывал и о тебе, и о Мишель. Уверен, что Мишель ей понравится. Мама любит такие непосредственные натуры. Одного я боюсь, как бы Мишель не вздумала разыгрывать из себя паиньку, а то, когда она хочет показать свою воспитанность, сложит губки бантиком — вот уж не в ее духе. И прилизывать волосы ей тоже не стоит, ты как считаешь?

Я промолчал в ответ: ведь говорил он сам с собой, и что я такое в его глазах? Он поглядел на часы, зевнул и вдруг, ничего не говоря, обнял меня за шею и поцеловал. Его захлестывала нежность, и мне перепала одна ее капля, потому что я был здесь, под рукой, но я понимал, что поцелуй его предназначался не мне, а Мишель.

В тот день, прощаясь, они холодно пожали руки

друг другу. Но когда Жан уже взгромоздился на седло велосипеда, они быстро, полушепотом обменялись несколькими словами. Во время обеда наша мачеха только и говорила о графине де Мирбель и ее предстоящем визите. По ее словам выходило, что благодаря своему очарованию и красоте графиня является самой прелестной представительницей высшего общества. Конечно, о ней много в свое время говорили. Само собой разумеется, из чисто христианского милосердия мы не можем верить разным сплетням, да и сама Бригитта Пиан ничуть не верила этим гадостям: раз мы не видели что-либо своими собственными глазами, значит, и не имеем права утверждать, что это, мол, так и есть. Впрочем, хотя скандал был действительно шумным, надо признать, что Юлия де Мирбель, овдовев, живет весьма уединенно в своем замке Ла-Девиз, в Париже у Ла Мирандьезов провела только несколько месяцев, и поведение ее достаточно красноречиво свидетельствует о высоких душевных качествах.

Словом, из всех этих речей вытекало, что мачеха — дочь префекта Империи — придавала непомерное значение предполагаемому визиту знатной дамы, чьи родители не удостоили бы родителей нашей Бригитты даже взглядом. В

этом плане предстоящее посещение графини де Мирбель тешило самолюбие нашей мачехи, если вообще что-либо могло его еще тешить, так как она, бесспорно, принадлежала к самому высшему обществу нашего города, не так в силу своего происхождения и богатства, как в силу своей почти загадочной власти над людьми, жаждущими истины, равно как и в силу своей разительной добродетели. Только имя Мирбелей открыло Жану двери Ларжюзона, а иначе наша мачеха подняла бы несусветный крик, хотя и теперь у нас его не называли иначе как «испорченный мальчик» и «сумасброд».

После ужина, когда на небе заблестел серпик луны, Мишель заявила, что она хочет прогуляться по парку. Тут папа, выйдя из состояния оцепенения, сказал ей как раз ту фразу, какую говорила ей в подобных обстоятельствах покойная мама: «Накинь что-нибудь на головку, а то от ручья тянет сыростью…»

Ту же самую радость, что переполняла нынче Жана, я читал теперь в глазах Мишель, ту же радость, то же упоение. Свет луны падал на ее лицо, и оно казалось мне алчущим, почти животным из-за сильно развитой нижней челюсти и пухлой нижней губы. Да и впрямь Мишель от природы

была именно такой, я не встречал в жизни человека, который был бы так одержим стремлением вкусить счастье, как моя сестра в свои пятнадцать лет. Эта одержимость выказывала себя во всем, даже в манере впиваться зубами, губами в мякоть плода, не просто нюхать розу, а зарываться кончиком носа в самую сердцевину цветка, даже в том, как она, валяясь рядом со мной на траве, умела мгновенно засыпать, будто во власти какого-то магического забытья. И однако она не ждала сложив руки, когда на нее посыплются наслаждения: ее снедал инстинкт борьбы и побед, что она и доказала блистательно, заговорив со мной этим вечером о Жане. Ибо, именно чтобы поговорить о нем, Мишель предложила мне пройтись с ней по парку. Еще не дойдя до луга, затянутого туманом, она решилась: обняла меня голой рукой за шею, и я почувствовал, как она жарко задышала мне прямо в ухо — и один Бог знает, что за безумную тайну она мне поведала… Я сначала не поверил, слишком уж все это было чудесно!

— Да-да, представь себе, мы жених и невеста… Да-да, это вполне серьезно, хотя ему только семнадцать, а мне скоро будет пятнадцать… Ясно, никто нам не поверит, да еще будут над нами потешаться… Поэтому-то мы никому ничего не

говорим, кроме тебя, тебя одного, наш миленький Луи… Чего же ты ревешь? Разве, по-твоему, это не чудесно?

Чудесно! Слово «чудесно» было самое ее любимое из всех других слов. Я уткнулся лицом ей в плечо, и Мишель не утешала меня, ни о чем не спрашивала, привычная к моим слезам, поскольку я проливал их по любому поводу. И тем не менее на меня снизошло великое спокойствие: раз все уже решено, значит, незачем думать об этом, не на что надеяться, нечего ждать, кроме вот этой роли, которую они мне отвели, роли поверенного их тайн. Никогда уже я не буду ни первым, ни единственным в сердце Мишель. Снизу, с лугов, доносился приглушенный льдистый шум воды. От Мишель пряно пахло теплой гвоздикой, она вытирала мне глаза своим носовым платочком и все говорила, говорила полушепотом.

Предчувствие меня не обмануло: действительно, они по нескольку раз на неделе встречались за мельницей господина Дюбюша. Оба смертельно боялись, что их накроет мачеха. Мишель заставила меня поклясться, что я не проговорюсь, не наведу ее на след. Тут я вспомнил, что уже пожаловался Бригитте Пиан на Жана и Мишель, сообщил, что они от меня прячутся. Но сказал я

это без всякой задней мысли (так-таки и без всякой задней мысли?..). А что, если тогда я пробудил ее подозрения?

— Если бы ты знал, Луи, как я ее боюсь, ей ненавистно счастье! Я же знаю, за что она на меня злится — главным образом за то, что я не хожу с постной физиономией. Нам вечно приходится быть настороже! А Жан страшно неосторожный!

И она заговорила о Жане с такой непринужденностью, на какую лично я не был способен. Мишель отлично понимала, на какой риск она идет: даже дядюшка со всеми его выдумками не подозревает, какой Жан ужасный человек. Теперь я часто думаю, почему сестра называла Жана таким ужасным, ведь он сам мне признавался, что целовал Мишель невиннейшим из поцелуев и счел бы страшнейшим святотатством позволить себе что-либо большее… Быть может, она догадывалась, что не всю жизнь будет он таким ягненком… Впрочем, она его не боялась. И к тому же все равно она станет его женой, а не кого-либо другого: она сама его выбрала, и он тоже сам ее выбрал, пускай они еще совсем дети. Если даже ей суждено прожить сотню лет, и то она никогда не взглянет ни на какого другого мальчика. Так что нечего об этом и говорить. Жан такой умный,

такой сильный…

— А еще он ужасно красивый, как по-твоему?

Нет, по-моему, он был вовсе не такой красивый. Да и что такое красота в глазах ребенка? Само собой разумеется, мальчик моих лет гораздо чувствительнее к силе и мощи. Но, очевидно, вопрос Мишель глубоко запал мне в душу, раз теперь, прожив долгую жизнь, я до сих пор помню тот уголок аллеи, где Мишель спрашивала меня, красив Жан или нет. Сумею ли я сейчас дать более точное определение тому, что я зову красотой, и сумею ли ответить на вопрос, по каким именно признакам я ее распознаю, идет ли речь о человеческом лице, о небосклоне, о тучах, цвете, слове, песне? Об этом плотском содрогании, одинаково захватывающем и душу, об этой радости без надежды, об этом безысходном созерцании, которое не восполнишь никакими объятиями…

— Послушай, Мишель, — сказал я наконец, — ты знаешь, что говорят о Жане в коллеже, говорят, что он грязный тип?

— Ну и пускай… А вот господин Калю не считает, что он грязный тип. Сейчас я тебе такое скажу, что ты закачаешься: лучше быть грязным типом, чем такой святой, как Бригитта Пиан…

— Мишель, опомнись!

— Нет, не опомнюсь! Лучше в аду, только без нее, чем в раю с ней!

— Ой, Мишель, дорогая, это же кощунство, ты накличешь на себя беду! — возмутился я — Скорее проси прощения! Скорее зарекись!

Мишель послушно, но небрежно осенила себя крестным знамением и пробормотала: «Каюсь от всего сердца в том, что совершила против тебя такой грех, всеблагой боже!» — и тут же без всякого перехода фыркнула.

— А знаешь, что аббат Калю сказал Жану насчет Бригитты? Что есть люди, которые избрали себе Господа Бога, но весьма сомнительно, избрал ли их Бог…

— Господин Пюибаро, — начал я, шокированный словами сестры, — господин Пюибаро считает, что для священника аббат Калю слишком остроумен, что он слишком резок и что у него крамольные идеи.

Мишель не понимала, что значит «крамольные идеи». Но меня уже терзали совсем иные подозрения, и я не ответил на расспросы сестры.

— Скажи, Мишель, — бухнул я вдруг, — скажи, мне очень важно знать… Только ты на меня не рассердишься, нет? Он тебя целовал?

— Ясно, целовал! — ответила Мишель. И пылко

добавила: — Ты и представить себе не можешь… Это просто чудесно! Но запомни, Луи, больше ничего не было! Ни-ни! И не воображай, пожалуйста…

Великий Боже, что же такое они могли делать, что еще хуже, чем целоваться? Щеки у меня пылали огнем. Я смотрел на Мишель, которая была старше меня всего на один год (но она уже была женщина, а я еще мальчишка). Какой же она показалась мне старой! Старой, опытной и греховной!

— Какой ты дурак, Луи! Ведь я же тебе говорю, что мы жених и невеста…

Она тоже пыталась себя успокоить, совесть ее была нечиста. Но внезапно сестру захлестнула новая волна счастья, и она начала напевать своим еще не установившимся голоском, который вдруг срывался, ту арию Гуно[35], которую точно такими же ночами пела мама:

Темнота, предвестница молчания…

Я лег в постель, но уснул не сразу не потому даже, что меня больше обычного терзала грусть,

---

[35] Примечания: 35

Гуно Шарль Франсуа (1818–1893) — французский композитор, музыкальный критик, писатель-мемуарист. Основатель жанра французской лирической оперы («Фауст», «Ромео и Джульетта» и др.).

меня мучили угрызения совести. Я старался вспомнить, как именно встретила Бригитта Пиан мою жалобу на Жана и Мишель, которые «от меня прячутся». Слишком хорошо я ее знал, и поэтому меня ничуть не успокаивало то, что внешне она ничем не обнаружила своих чувств; мне известна была ее железная выдержка, знал я также, что никогда она не поддается первому порыву. Напротив, она копила свои претензии и предъявляла счет только через несколько недель, когда уже никто не помнил, из-за чего сыр-бор загорелся. Она могла, например, сделать мне замечание за какую-либо промашку, совершенную при таких-то и таких-то обстоятельствах ровно год назад, а раньше об этом даже не заикалась.

Кое-какие почти неприметные перемены в поведении мадам Бригитты усилили мое беспокойство, и я посоветовал сестре быть поосторожнее. Я обратил внимание Мишель на то, что мачеха почти совсем не сидит у себя в комнате, что в любое время дня она, невзирая на зной, бродит по лестницам и даже выползает в сад. Она появлялась на пороге гостиной, не стукнув дверью, не скрипнув половицей. Мишель пыталась меня успокоить: все это потому, что после отъезда господина Пюибаро нашей мачехе, мол,

больше некого пилить. Но в один прекрасный день, когда Жан явился к нам в Ларжюзон, я по кое-каким признакам догадался, что он попал в орбиту Бригиттовых подозрений. Еще утром, за первым завтраком, она, удивленно подняв брови, сказала, что не понимает, как это Мишель может носиться по дорогам во время сиесты, когда даже лошади и те стоят в стойле.

Словом, первые зигзаги молнии, предвещавшие бурю; у меня по крайней мере было то утешение, что мои страхи оказались напрасными и что беда пришла без моего участия. До сих пор мне все как-то не удавалось рассказать о чете Виньотов; он сам — приказчик Ларжюзона — и его супруга только недавно обосновались в нашем поместье. Их взяли по рекомендации мадам Бригитты, и, я в том твердо уверен, появление этих людей послужило началом подспудных разногласий между нашим отцом и его второй женой. С первых дней замужества Бригитта не поладила со стариком Сэнтисом, бывшим нашим приказчиком, который родился здесь, в поместье, и отец поэтому легко мирился, даже, казалось, не замечал его пьянства, распутства и манеры резать в глаза правду-матку. Человек, проживший всю свою жизнь в городе, поселившись в деревне,

начинает с первых же недель вести с крестьянами систематическую борьбу, восстанавливая их против себя: тема достаточно хорошо известная еще по произведениям Бальзака. Но в противоположность тому, что рассказывается в этих книгах, на сей раз городская дама наголову разбила ларжюзонских крестьян. Как-то раз Сэнтис в подпитии так нагрубил моей мачехе, что отец вынужден был с ним расстаться. Но до самой смерти не простил своей второй жене то, что она вынудила его к этому шагу.

Зато Виньотов, которым протежировала Бригитта, отец принял скрепя сердце: он терпеть не мог своего нового приказчика и не переставал жалеть о старике Сэнтисе, пускай даже заядлом пьянице и гуляке.

В наших краях, где каждый язык представляет собой опасность, языки Виньотов были, пожалуй, наиболее опасными. Физиономия мадам Виньот, казалось, состояла из одного только огромного, как клюв, носа, оседланного пенсне, из накладных лоснящихся волос, неестественно черных, а щек и губ вроде бы и совсем не было, так как из-за отсутствия зубов их втянуло в зияющее пустотой пространство рта. Так вот, мадам Виньот всякий раз, возвращаясь после обхода поставщи-

ков, непременно являлась к мадам Бригитте с донесением, причем в редчайших случаях прибегала к методу лобовой атаки, но весьма успешно заменяла ее многозначительными намеками и подхихикиванием. Удивительным было другое: эта старуха — богомолка и ханжа, всю свою жизнь прожившая в деревне, — без малейшего смущения распространялась не только о таких вещах, как, скажем, адюльтер, но даже о кровосмешении и любом другом отклонении от нормы, вплоть до содомова греха, как будто понимала в этих делах толк, и сообщала об этом с язвительным смешком и игривым подмигиванием.

Все связи с поселком лежали на этой престарелой даме, а дядюшке Виньоту были отданы под начало леса и поля, и он, восседая в шарабане, поставленном на неестественно высокие колеса, целыми днями разъезжал от фермы к ферме, озирая во время этих поездок свои владения, так сказать, с птичьего полета. Сколько парочек, считавших себя в надежном укрытии под покровом сумерек или полуденного зноя, он обнаруживал своим ястребиным оком! Правда, иной раз он не мог разглядеть саму добычу, зато какой волчьей радостью наполнялось его сердце, когда он замечал за кустиком два велосипеда, символически

сцепленные рулями. И вот в один прекрасный день неподалеку от хижины, служившей приютом для охотников на вяхирей, он заметил два велосипеда — один низенький, прислоненный к другому, побольше и попыльней, и в низеньком он узнал как раз тот самый, который накануне мадемуазель Мишель просила его смазать… (Будто смазывать велосипеды — его дело!)

Следуя своей методе, Бригитта поначалу словно бы не придала значения донесению дядюшки Виньота. Просто сделала вид, что не верит, и тем самым, так сказать, удвоила его бдительность. Чем упорнее она отказывалась вникать в его намеки, тем более грубые обвинения он громоздил, даже осмелился заявить, что мадемуазель Мишель и мальчишка аббата Калю, мол, того… Все это было сказано в сопровождении самых что ни на есть страшных клятв. Он собственными глазами все видел или почти видел. Ибо не было силы на свете, способной убедить дядюшку Виньота, что такой вредный малый, как подопечный аббата Калю, мог пробыть целый час в запертом сарайчике с девушкой и не… «Да бросьте вы! Дураков нету! Кому вы это рассказываете! Сами были молоды, знаем, как дело делается. А что она барышня, подумаешь тоже… Впрочем, достаточ-

но на нее поглядеть, уж это такая… Давным-давно Абелина Виньот — сама-то она ничуть не удивилась — ее раскусила. „Да ну, говорю, Абелина, может, это просто бабья болтовня…“ — „Держи карман шире, — это она мне говорит, — да ты только посмотри, какие у нее бедра и все такое прочее“. Вот беда-то! И подумать только, что у мадемуазель перед глазами такой пример, как мадам Бригитта!»

Прежде чем выработать план действий, мадам Бригитта решила подождать приезда графини де Мирбель. Впрочем, дело с различных точек зрения было важное и щекотливое: господин Пиан обожал Мишель, и трудно было предвидеть, как он воспримет эту весть. Если судить по записям в дневнике аббата Калю, где он приводит эту историю, наша мачеха, по всей видимости, сдержала свой первый порыв, послушавшись голоса совести (ибо она в эту пору особенно щепетильничала, хотя и не дошла еще в игре совести до полного маньячества). Но ее смущало другое обстоятельство, то, что она не может сдержать чувства радости при виде этой беды, которой ей, второй матери Мишель, следовало бы стыдиться и оплакивать. Однако для мадам Бригитты в подобных сложных ситуациях было важно одно:

укротить совесть логикой. Ей требовалось найти благовидный предлог, какой мог бы узаконить эту недостойную радость и ввести ее в систему самоусовершенствования.

На сей раз помогло то, что на протяжении минуты ей удалось сосредоточить свою мысль на блестящей перспективе породниться через Мишель с Мирбелями — правда, на перспективе весьма отдаленной и весьма сомнительной, да и, принимая в расчет юный возраст Жана, было бы безумием связывать с этим свои надежды. Но мадам Бригитте силой своей незаурядной воли не только удалось без труда отогнать эту мысль-искусительницу, но и превратить ее в свое моральное торжество, добавив с примерным усердием еще одну петлю к власянице своих добродетелей. Да-да, в глазах света она, безусловно, могла бы извлечь немалые преимущества из этого скандала, но нет, она сумеет направить все ко спасению этого заблудшего дитя. Если эта девочка еще не скатилась в бездну, то, во всяком случае, приблизилась к ней в столь раннем возрасте — это, безусловно, огромное несчастье, но зато легче будет принять самые решительные меры, дабы вернуть Мишель на путь истинный. Положение, таким образом, станет вполне ясным;

с глаз господина Пиана спадет наконец пелена, и можно будет освежить тогда дух этого дома; в конце концов, Мишель пойдет только на пользу унижение, которому ее справедливо подвергнут.

Мадам Бригитта заботливо вскармливала свои милосердные планы в отношении Мишель, ибо она отнюдь не пренебрегала такой статьей, как милосердие. Как же не проявить снисходительности, стоит только вспомнить, чьей дочерью является это несчастное дитя. Первая мадам Пиан была ввергнута во мрак внезапной и страшной кончиной, над коей витало подозрение, причем весьма обоснованное, что это было самоубийство. У Бригитты хранилось некое досье, которое она из чистого сострадания воздерживалась предъявлять ослепленному любовью супругу. До сих пор ей удавалось бороться против этого законного желания, невзирая на обидные и даже прямо несправедливые сравнения, которые под горячую руку позволял себе господин Пиан. Один Бог знает, какого мужества, даже героизма стоило это молчание Бригитте. Но, возможно, близок день, когда ради спасения дочери ей придется представить слабому отцу и обманутому мужу письменные доказательства того, что оплакиваемая им супруга не стоит его слез, но зато

опрометчивая дочка, если даже она и согрешила, заслуживает снисхождения, ибо на ней тяжким бременем лежит дурная наследственность.

Так разукрашивала всеми цветами радуги Бригитта Пиан свое торжество, заранее смакуя наслаждение… По природе своей она была логиком и не сворачивала с прямого пути, где вехами служили очевидные принципы и где каждый ее шаг тут же немедленно находил свое оправдание. Позже она подпадет под власть своих неосознанных тревог, которые до сих пор ей без особого труда удавалось оттеснять в самые глухие закоулки души: она свернет с торного пути и будет блуждать в глухих зарослях постыдных побуждений. Придет такой день, когда все совершенное ею станет мучительным наваждением, которое обратит к ней свой незнакомый и ужасный лик. Но до этого было очень далеко, и пока по ее вине предстояло еще страдать множеству других людей, и лишь потом откроется этой женщине подлинная любовь, которой, как ей думалось, она верно служила, но которой она так и не знала.

VII

От того дня, когда к нам в Ларжюзон пожаловала графиня де Мирбель, в памяти моей сохранилось лишь одно яркое воспоминание: тогда Жан предстал передо мной совсем в другом свете. Скверный мальчишка, испорченный не по годам, лентяй, которого и дяде Адемару, и нашему господину Рошу не удавалось исправить даже ударами плетки, опасный субъект, хотя подчас он бывал мил, даже нежен, — вот что представлял собой Мирбель, источник зла, мне угрожавшего. Конечно, я любил его, но не испытывал к нему ни на грош уважения. И в силу некоторого противоречия, которое не слишком меня смущало, моя родная сестра, связавшая свою судьбу с Жаном, словно упала в моих глазах.

Но в присутствии своей мамы Жан показался мне совсем другим: он не спускал с нее глаз, а если и спускал на минутку, то лишь затем, чтобы прочесть на наших лицах выражение восторга. Стоило графине бросить какое-нибудь забавное словцо, и Жан поворачивал в мою сторону смеющийся взгляд, будто боялся, что я не пойму остроты или не оценю такой умницы. Он уже

насладился нашим удивлением в первые минуты встречи, когда мы увидели столь изысканное и столь молодое создание, бывшее к тому же матерью почти взрослого семнадцатилетнего сына. В наши дни чудо вновь обретенной молодости стало общедоступным: только не скупись. Но если в те времена мать семейства сумела сохранить девичью стройность талии, это вызывало всеобщее удивление. Поэтому вначале мы были поражены именно юным видом графини, а не ее красотой, пусть не броской, но зато близкой к совершенству.

Графиня панически боялась солнца и прилагала столько же отчаянных усилий, чтобы его избежать, сколько прилагают их сейчас, чтобы подставить под солнечные лучи все тело. Ей, видно, мало было вуалетки, окутывавшей ее соломенную шляпку и почти все лицо: достаточно было солнечного луча, как она еще открывала свой кружевной зонтик, и сняла доходившие до локтя перчатки только во время завтрака. Графиня зорко следила, какое впечатление производит она на нас, и вела себя поэтому с подчеркнутой простотой. После того как нам подали кофе, который мы пили под дубом, Жан утащил мать в боковую аллею парка, чтобы она могла поболтать

без свидетелей с Мишель. Во время их недолгого отсутствия аббат Калю и мои родители обменялись довольно-таки кислыми замечаниями по адресу графини.

— Безусловно, в своем роде она совершенство, — проговорила мачеха. — Разумеется, только с точки зрения света, что меня, понятно, мало интересует. Этот культ собственного тела, возведенный в степень идолопоклонства… А как по-вашему, господин кюре?

Хотя в эту эпоху Бригитта Пиан еще считала аббата Калю добрым и ученым пастырем, правда, чуточку простоватым, лишенным всяческого честолюбия, его суждения она находила слабыми, даже странными, и, по ее собственному выражению, «он был у нее на примете». Она считала себя вправе надзирать за каждой сутаной, находившейся у нее под рукой.

— Графиня де Мирбель — «литераторша», — проговорил кюре и долго еще хохотал над своей не слишком смешной остротой, — знаете, она романы пишет.

— И печатает? — спросил я.

— Нет, — ядовито бросила мачеха, — довольствуется тем, что сама их переживает.

Великий боже! Злословие, да еще при ребенке,

ведь это может его неприятно поразить. Петелька, даже целых две петельки соскользнули с прилежно сплетаемой власяницы совершенства, но Бригитта Пиан спохватилась: то, что она сейчас сказала, не имело под собой ничего реально доказуемого, она сожалеет, что не сумела вовремя удержаться от своей выходки.

— Отпускаю вам ваш грех, мадам, — сказал аббат Калю.

— Есть слова, которые священнослужитель не может произносить, не подумав, — отрезала мадам Бригитта, хмуря брови.

Мы еще издали увидели графиню, она шла к дому между сыном и Мишель. Жан шагал, повернув голову к матери; он смеялся и, когда Мишель отвечала на вопросы графини, с беспокойством поворачивался к ней. Нас он даже не заметил: два обожаемых существа заслоняли от него все и вся. Я страдал, но ревности не чувствовал. Я был растроган до слез. Жан вовсе не такой, каким мы его себе представляли, он добрый, хотя временами и может показаться злым. Бригитта Пиан не спускала глаз с приближавшейся к нам группы. Ее большое лицо с опущенными уголками губ походило на маску, но я ничего не сумел прочесть за этой слащавой миной. Аббат Калю тоже не сво-

дил с них глаз, он выглядел каким-то грустным и озабоченным. Наконец, когда они приблизились настолько, что мы уже различали их слова, между матерью и сыном вспыхнул спор.

Жан умолял мать позволить ему проводить ее в Валландро. Она отрицательно качала головой: нужно со всей строгостью придерживаться программы, намеченной дядей Адемаром. Они решили, что она пораньше пообедает с Жаном в доме священника, потом карета увезет ее в Валландро, и она сразу же ляжет спать — поезд уходит завтра в шесть утра, так что ей придется подняться до зари. Таким образом, они распрощаются нынче вечером у господина Калю.

Но Жан был не из тех, кто легко отказывается от своих желаний. Все доводы матери проходили мимо его ушей, не убеждали его: что бы она ни говорила, самым главным было его желание провести с ней хотя бы часть ночи. А в душе он лелеял тайный план просидеть с ней в номере до самого утра и вместе встретить восход солнца.

— Вы только подумайте, мама, ведь мы и так всю жизнь в разлуке, ведь я никогда, никогда вас не вижу, а вы отказываетесь подарить мне всего один вечер, одну ночь, вам же это совсем не трудно.

Говорил он своим упрямо-требовательным тоном, доводившим до бешенства нашего господина Роша. Но мать отказывала сыну в его просьбе, проявляя не меньшую твердость, чем сын в своих настойчивых мольбах. Мишель из деликатности отстала. Голоса споривших становились громче, и мы услышали заключительные слова спора, произнесенные сухо и, видимо, не подлежащие пересмотру:

— А я говорю — нет и буду говорить — нет, ты вечно просишь больше того, что тебе дают. Ты как будто нарочно портишь мне этот такой радостный день... Нет, замолчи, не желаю больше ничего слушать.

И она подошла к нам, озарив не только нас, но и все окружающее улыбкой, которой полагалось бы быть лучезарной, если бы в ней не чувствовалось натянутости и неостывшего трепета гнева. Жан искоса, но вызывающе смотрел на графиню. Наша мачеха и Мишель подали черносмородинный сироп и оршад, после чего графиня направилась к своему экипажу и на прощание снова рассыпалась перед мадам Бригиттой в изъявлениях благодарности, но всем нам почудилось, будто она держала себя гораздо сдержаннее и холоднее, чем в начале своего визита. Я следил за

удаляющейся коляской; Жан сидел на передней откидной скамеечке. Но тут графиня с треском раскрыла свой зонтик и заслонила от нас его упрямое лицо, уже не освещенное радостью.

Дальнейшие события, о которых я сейчас расскажу, не выдуманы, даже малейшие их подробности воспроизведены с абсолютной точностью, хотя Жан говорил со мной об этой ночи лишь намеками, да и то не часто; зато аббат Калю посвятил им в своем дневнике несколько страниц.

Как только коляска свернула на шоссе, Жан снова пошел в атаку. Когда на него находил стих упрямства, он напоминал охотничью собаку, идущую по следу. Но все было напрасно: мать упорствовала в своем решительном и бесповоротном отказе. Исчерпав все разумные доводы, она повернулась к аббату Калю, в молчании наблюдавшему за этой сценой.

— Коль скоро, господин аббат, вам доверено воспитание Жана, соблаговолите вразумить его.

Аббат сухо заметил, что «на сегодняшний день он умывает руки». На что графиня довольно дерзко ответила, что именно сейчас или никогда пришло время показать свою знаменитую железную хватку. При этих словах Жан, побелев

от ярости, поднялся со скамеечки и, воспользовавшись тем, что лошади на подъеме замедлили шаг, выпрыгнул из экипажа, чудом не попав под колесо.

Кучер резко натянул вожжи, лошади встали на дыбы. Когда графиня и аббат подбежали к Жану, он уже поднялся на ноги. Он остался цел и невредим. Мать и сын, стоя друг против друга на пустынной дороге, с минуту молча мерились взглядами. Небо нахмурилось, но изредка проглядывало солнце, кузнечики смолкли, потом снова затянули свою бесконечную трескучую песню. Кучер с трудом удерживал лошадей на месте, их жалили оводы, и он, щелкая кнутом, старался отогнать их.

— Я вынуждена признать правоту дяди Адемара, ты действительно невыносимый ребенок.

А Жан неутомимо повторял свои доводы, он не видел мать целый триместр, она приехала специально затем, чтобы с ним повидаться, а теперь хочет лишить его радости провести вместе с ней единственный вечер, ведь других не будет.

— Жан, милый мой мальчик, — сказала графиня, — я дала обещание твоему дяде, и я сдержу слово… В следующий раз я выговорю нам с тобой целую ночь и непременно приеду еще раз во вре-

мя каникул. Но не надо сейчас настраивать дядю против нас обоих. Ну, иди скорей, садись между нами. Он вам не помешает, господин кюре? А ты прижмись ко мне покрепче… как маленький, — добавила она, привлекая к себе Жана.

Жан не упорствовал больше, смирился. Наконец-то он уступил! Тени сосен стали длиннее и пересекали дорогу от обочины к обочине. Аббат Калю отвернулся.

— Сейчас самое время ловить цикад, — вдруг заявил Жан. — Они вместе с солнцем спускаются по стволам сосен и поют прямо над ухом.

Графиня с облегчением вздохнула. Слава Богу, заговорил о другом, наконец-то отстал. Когда они остановились у дома священника, графиня предупредила кучера, что они поедут в Валландро в половине восьмого и не стоит поэтому распрягать лошадей. Но кучер взбунтовался: лошадок надо покормить и напоить, по такой жаре за ними особенно смотреть надо. Пришлось уступить. Графиня добилась от своего возницы только одной уступки — пусть хоть сбруи с лошадей не снимает.

За столом она жаловалась на то, что слишком плотный завтрак, который подавали у Пианов, мешает ей отдать должное стряпне Марии, и в

частности жареным цыплятам. Было только семь часов, и от солнечных лучей, пробивавшихся горизонтальной полосой сквозь опущенные шторы, вся маленькая столовая, казалось, пылала в огне.

— Здесь ужасно мило! — восхитилась графиня де Мирбель. — Совсем как та столовая, которую описал Ламартин[36] в своем «Жослене»...

Накладывала она себе на тарелку крохотные порции и все время оглядывалась на кухонную дверь. Обед затянулся. Мария совсем захлопоталась без помощников, и от одного блюда до другого проходило несколько долгих минут. Два-три раза пришлось подниматься с места господину кюре, он сам отправлялся на кухню и приносил очередное блюдо, но обслуживал гостью хмуро, невесело, очевидно, еще не совсем успокоился после сцены, разыгравшейся на дороге. Впрочем, Жан не удивлялся тому, что на его наставника не действовали чары графини. Это было в порядке вещей. «Не могли они друг другу понравиться», — думал он. К тому же она почти не скрывала своего желания поскорее уехать. Кончилось тем, что графиня, поняв всю нелов-

[36] Примечания: 36

Альфонс де Ламартин (1790–1869) — французский писатель и поэт романтического направления, политический деятель.

кость своего поведения, поспешила оправдаться: кучер нагнал на нее страху, у него типичная физиономия висельника.

— И знаете, я не так уж хочу очутиться поздно ночью одна на дороге, наедине с таким субъектом…

Тут снова вмешался Жан:

— Давайте, мама, я провожу вас на велосипеде.

Графиня досадливо прикусила губку:

— Жан, опять ты начинаешь! Ведь ты же мне обещал…

Он потупился, Мария поставила на стол «крем» — свой шедевр.

— Такого вы еще никогда не пробовали, — заметил аббат.

Графиня с явным усилием проглотила несколько ложечек. Ей было уже совсем невмоготу, но в ней жило врожденное стремление всем нравиться, и к тому же было бы слишком жестоко уехать, оставив здесь эти несчастные физиономии. Поэтому она постаралась быть как можно любезнее с хозяином дома и как можно нежнее с сыном. Но кюре по-прежнему хмурился. Сразу же после десерта он вышел в сад, чтобы на свободе почитать требник. Графиня догадалась, что сделал он это умышленно, пусть перед разлукой мать с

сыном побудут хоть немного наедине. Жан тоже догадался и подошел к матери. Он безошибочно мог сказать, что она ощущает в эту минуту: он знал, что ей не терпится поскорее уехать и что она стыдится своего нетерпения. Она принудила себя ласково провести ладонью по кудрям сына, но то и дело исподтишка бросала взгляд на стенные часы, висевшие над камином. Перехватив ее взгляд, Жан пояснил: «Они у нас сильно спешат...» Мать запротестовала — она еще может побыть со своим мальчиком несколько минут. И, думая о чем-то своем, давала ему последние наставления. Этот аббат Калю, в конце концов, вовсе уж не такое страшилище... Жан не должен чувствовать себя здесь несчастным.

— Да нет, мама, нет... Напротив, я счастлив, ужасно счастлив, — добавил он робко и пылко.

Мать не видела, как зарделись его щеки, не заметила, что он весь дрожит. Еще накануне Жан твердо решил признаться во всем матери, он так надеялся, что она не поднимет его на смех, не будет над ним издеваться, а примет все всерьез... Но он упустил время, и теперь было уже слишком поздно надоедать ей своими излияниями... Да и вообще лучше в последнюю минуту прощания не произносить имени Мишель. Всеми этими

соображениями он старался прикрыть главную причину своего молчания, хотя сам не смел себе в том признаться: какой толк открывать душу этому созданию, которое сейчас так от него далеко. Много лет спустя, сидя у меня в Париже, на улице Вано, в уголке перед камином, Жан рассказал мне об этих самых мрачных часах своей жизни: в памяти его навсегда остался тот вечер, все еще дышавший зноем, столовая в доме аббата Калю, где он сидел совсем рядом со своей обожаемой мамой, так что их колени соприкасались, и ловил ее взгляд, то и дело обращавшийся к стрелкам часов. Сквозь стеклянные двери он видел кюре, который шагал взад и вперед по своему садику, читая требник.

— Я приеду, миленький, непременно приеду еще до конца каникул, обещаю тебе, и уж тогда вечер будет в полном твоем распоряжении.

Он ничего не ответил. Графиня велела кучеру опустить верх коляски. Жан вскочил на подножку и прижался губами к шее своей матери.

— Сойди, дружок, ты же сам видишь, он с трудом удерживает лошадей…

Взметнулось облако пыли, потом улеглось. Жан подождал, пока коляска скроется за поворотом, и поплелся в сад. Там он разулся, взял

лейку и начал поливать цикорий, который он накануне рассадил. Аббат Калю все так же молча отправился в церковь служить вечерню. Когда он вернулся, Жан уже лег и сонным голосом крикнул ему через двери: «Покойной ночи». Перед тем как лечь самому, кюре спустился на первый этаж посмотреть, закрыта ли дверь на засов. Против своего обыкновения, он не повесил ключ на гвоздик в коридоре, а взял его с собой и спрятал под подушку. Потом, став на колени перед постелью, он стал молиться и молился дольше обычного.

В первую минуту господину Калю почудилось, что его разбудил порыв ветра: по спальне вдруг пронеслось яростное его дуновение, хотя ночь была ясная и лунный свет лежал на половицах. Где-то громко хлопнула ставня. Высунувшись из окна, кюре увидел, что хлопает ставня Жана, прямо над его головой. Очевидно, неплотно был задвинут шпингалет. Кюре накинул на себя сутану, поднялся на верхний этаж, чтобы закрыть окно, и, стараясь не скрипнуть дверью, заглянул в спальню Жана. И тут же порывом ветра сбросило со стола вазу, где стоял большой букет вереска, собранный Мишель. Аббат сразу же заметил, что постель Жана пуста. Он с трудом перевел дыхание, потом сошел вниз и оглядел входную дверь

— засов не поднят, замок не сломан. Значит, безумный мальчишка мог убежать только через окно — очевидно, спустился по водосточной трубе. Аббат вернулся в спальню, достал из-под подушки ключ и вышел в сад.

Ночь была отдана во власть ветра и луны. Дом священника был окружен плотным кольцом шорохов — это стонали на ветру сосны, и шумели они совсем не так, как шумит море, грозно и прерывисто; ровную и мощную зыбь сосен не нарушали ни грохот волн, ни всплеск пенных валов. Первым делом аббат направился к сарайчику, где хранились два велосипеда (он взял в Валландро напрокат второй для своего воспитанника), и обнаружил в углу только свой. При свете луны он разглядел под водосточной трубой, которая спускалась с угла дома, следы беглеца: очевидно, Жану пришлось прыгнуть с довольно большой высоты, так как на песке ясно отпечатались две ямки от каблуков. Аббат снова отправился к сарайчику, вывел свой велосипед и остановился в нерешительности.

Была уже полночь: вероятно, мальчик убежал часов в одиннадцать, вмешиваться уже поздно — зло совершилось. Какое зло? К чему забивать себе голову пустяками? Почему бурная ссора

матери с сыном в номере гостиницы Валландро посреди ночи непременно должна закончиться трагически? А главное, ему-то, священнику из Балюзака, какое ему до всего этого дело? Само собой разумеется, он взял на себя заботу о Жане и, таким образом, взял на себя ответственность за его судьбу, но к утру мальчик вернется домой, и самое разумное — просто закрыть глаза на эту ночную эскападу: иной раз полезно кое-чего не заметить, и никогда не следует доводить дело до, возможно и заслуженного, наказания, которое может сразу свести на нет все наши предыдущие успехи… И все-таки, и все-таки!.. Священник прошел между рядами смородины, открыл ворота и посмотрел на пустынную дорогу, над которой бодрствовала луна.

Бессмысленно спешить на помощь ребенку, ребенку, к которому он так привязался и который, возможно, как раз в эту минуту проходит через самое страшное свое испытание. Ясно, мать имела на то свои причины, раз не захотела провести ночь в обществе сына. Все мольбы Жана разбивались о ее решимость, упрямую, дикую, близкую к ненависти. Аббат Калю попытался уверить себя, что все это бредни… Какие там бредни, он отлично знал цену женщинам такого

сорта: их требовательность (кстати, перешедшая по наследству к Жану), исступленность желаний, повинуясь которым они готовы переступить через труп даже родного сына. А возможно, он преувеличивает опасность потому, что любит Жана.

Первый раз в жизни он так привязался к своему ученику. С того самого дня, когда он взялся воспитывать «трудных детей», с ним такого еще не случалось. А взялся он за это дело не потому, что к этому его побуждала материальная необходимость. Его брат, владелец поместья в Сотерне, которому аббат уступил свою часть наследства, каждый год высылал ему небольшую сумму денег в зависимости от урожая; вместе с жалованьем и случайными, правда, весьма скромными, доходами этих денег с лихвой хватало, так как в основном он жил за счет своего огорода, своего птичника и тех подношений натурой, которые доставляли ему прихожане.

И если он брал на себя воспитание подростков, когда сами родители уже отказывались собственноручно их исправить, то делал это отнюдь не из корысти — просто он умело расставлял силки, терпеливо шел по следу и никогда не отчаивался, он верил, что рано или поздно загонит к себе в дом

такого вот дикого зверька, который заслуживает неустанных забот и из которого можно сделать человека. И считал, что, беря к себе в воспитанники только непокорных, он легче обнаружит нужный ему экземпляр. Бесспорно, господин Калю действовал так скорее в силу остаточного романтизма, естественного наследия семинарии, где он учился, чем в силу какой-то особой склонности к «трудным детям»; но склонность эта отвечала его тайной, тщательно скрываемой даже от себя самого слабости к юным созданиям, которых уже коснулась рука жизни или угрожала коснуться, которым было все равно, пропадут ли они, спасутся ли, и за которых он отвечал перед отцом небесным. Дело тут было не в добродетели, а в пристрастии, в природных наклонностях.

До сего дня священник терпел своих пансионеров, потому что любил детство, любил юность. Но у всех детей, которые ему попадались до сих пор, преходящее очарование юного возраста прикрывало собой прочную, неизменную основу вульгарности, глупости и хамства. Мимолетная прелесть молодости украшала своим фейерверочным огнем маленького бесчувственного мещанина, созданного по общему образу и подобию. А с Жаном де Мирбелем аббат Калю впервые

получил то, чего ждал от Господа Бога: ему было послано дитя, имеющее душу живую. Но душу неприступную. Впрочем, это было не так уж важно, аббат Калю принадлежал к тому сорту людей, которым смолоду присуще бескорыстие, обычно приходящее лишь с годами, и сердце их не просит ничего в обмен на щедрый свой дар. Хуже было другое: Жан не из тех, кто позволял себя любить или себе покровительствовать. Аббат не способен был даже предотвратить опасность этого ночного свидания матери с сыном, Жан находился в зависимости от своего наставника, и можно было ограничиться прямым запретом. Что будет, когда мальчик покинет дом священника и перед ним откроются все дороги мира? (Ибо аббат не мог себе даже представить, что Жан навсегда осядет в арманьякском замке и будет прозябать там.) И однако даже в эти минуты кюре из Балюзака не считал, что с него сняты обязанности, которые он взял на себя в отношении этого мальчугана… Где-то он сейчас? Где его искать? Где его настичь? Ясно, на заре он возвратится домой; будь иначе, аббат бросился бы на розыски. А пока что ничего сделать нельзя, разве сварить кофе и позаботиться, чтобы он не остыл. Он вошел в кухню, распахнул ставни, чтобы впустить

свет луны, подбросил в печку лучинок и разжег огонь; потом сел на низенький стульчик Марии, вынул из кармана четки из оливковых косточек и застыл в неподвижности. Лунный свет падал на его неухоженные волосы, а так как сидел он, упершись локтями в колена, огромные кисти рук, чуть выставленные вперед, казалось, жили какой-то своей непонятной, странной жизнью.

VIII

Задумав улизнуть из дому, Жан решил ждать, когда с нижнего этажа до него донесется сонное дыхание аббата. Часы еще не пробили одиннадцать, а он уже катил по залитой луной дороге. Ветер дул ему в спину, ехать поэтому было совсем легко, и он нажимал на педали без усилия, в состоянии какого-то спокойного опьянения; в душе зрела уверенность, что никакие силы никогда не смогут помешать ему, раз он что-нибудь задумал. Он увидится с мамой нынче ночью, просидит у изголовья ее постели до самой зари; он был в этом так же твердо уверен, как и в том, что настанет такой день, когда он заключит в свои объятия Мишель. Никогда еще он не ездил ночью на велосипеде один, в сиянии идущего с небес света, подгоняемый ветром в этом пустынном мире. Его не мучили дурные предчувствия, он не думал о том, что может произойти из его встречи с матерью: при посторонних она взяла верх, но наедине с ним она непременно сдастся.

Ехал он быстро и вскоре промчался через полосу тумана, подымавшегося от Сирона там, где дорога идет под гору, неподалеку от первых

домиков Валландро. И тут он вдруг разом пал духом. Он сообразил, что двери гостиницы уже заперты. Что он скажет, как объяснит свой приезд, как велит разбудить маму? Какой бы предлог изобрести? Ну и ладно, просто скажет ей, что ему стало совсем худо при мысли, что он ее больше не увидит, и что сам господин Калю посоветовал ему попытать счастья. Не будет же мама среди ночи, да еще в гостинице, подымать историю, наверняка побоится скандала, а он сумеет ее растрогать, он непременно ее растрогает, во всяком случае, беситься он больше не станет, уткнется лицом в ее юбку и будет реветь, будет целовать ей руки.

Он добрался до площади, где от стоявших в ряд тележек с задранными кверху оглоблями падали на землю тени, похожие на рогатых зверей. Свет ущербной луны бил прямо в облупившийся фасад постоялого двора «Ларрю», а также в черные буквы вывески: «Постой для пеших и конных». В кабачке еще горел огонь, оттуда доносился стук бильярдных шаров. Жан прислонил велосипед к стене и спросил у толстой сонной девки, дремавшей на стуле перед пустой стойкой, бутылку лимонада. Девка нелюбезно буркнула в ответ, что уже слишком поздно, что буфет уже закрыт, что после одиннадцати посетителей не обслуживают.

Тогда он задал ей давно приготовленный вопрос: остановилась ли у них графиня де Мирбель, он должен сообщить ей нечто важное.

— Графиня? Какая еще графиня?

Девка подозрительно взглянула на Жана, решив, что ее дурачат. И заявила, что ей и без того дел хватает, некогда ей слушать разные басни, а ему лучше вернуться домой, чем в таком возрасте шляться по кабакам.

— Но как же так, у вас остановилась одна дама, — Жан подумал, что, возможно, мать не назвала своего имени, — белокурая, в соломенной шляпке, в сером костюме…

— Белокурая? Постойте-ка…

И в ее тупом взгляде зажегся огонек.

— В сером костюме, — повторила она, — и еще вуалетка у нее с мушками, и еще такой красивый чемодан, она оставляла его у нас на хранение…

Жан нетерпеливо прервал эти излияния: в каком номере остановилась дама?

— В номере? Да она здесь не остановилась. Она только за своими вещами заехала… Она в Балозе будет ночевать, — твердила служанка. — Я сама нынче утром носила на почту телеграмму, чтобы ей оставили номер в гостинице «Гарбе».

Подумав, Жан сообразил, что как-никак Балоз

— это их префектура и мать, очевидно, решила, что в гостинице «Гарбе» больше удобств, чем в здешней. Но зачем же тогда она уверяла его, что будет ночевать в Валландро? Он осведомился, далеко ли до Балоза. Двенадцать километров… Всего час езды на велосипеде.

— Она хотела в гостинице «Гарбе» переночевать, — вдруг словоохотливо заговорила служанка (и в голосе ее прозвучала неприязнь к этой даме, которая, видите ли, брезгует их гостиницей). — Хорошо еще, если в придорожной канаве ей ночевать не придется…

Жан встревожился:

— Почему? Разве лошади такие бешеные?

— Лошади! Еще чего! За ней машина, знаете, такая, что на керосине ходит, приезжала. Весь Валландро на улицу высыпал! А уж грохоту было, все вокруг керосином и маслом провоняло, а пылища!.. Да еще курицу у мадам Гафэн задавили… Ничего не скажешь, за нее, за курицу, честно говоря, хорошо заплатили… А если бы вы только видели господина, что за ней приезжал! Очки огромные, лица из-под них не видно, будто в маске, даже страх берет! А плащ на нем серый, до самых пят… Господи, чего только люди не навыдумывают…

— Значит, вы говорите, отель «Гарбе» в Балозе? На соборной площади? А вы точно знаете?

Он поблагодарил служанку, вскочил в седло, но в Балюзак не поехал, а свернул направо. Ветер дул теперь ему в лицо, и приходилось бороться против этой невидимой силы, против этой враждебной, а может, и милосердной силы, не пускавшей его в Балоз. Будь здесь маленькие Пианы, он, конечно, не решился бы при них показать свою слабость, но сейчас он был один и поэтому на первом же подъеме слез с велосипеда. Хотя дул холодный ночной ветер, по лицу его струился пот и ужасно ныли икры. И думал-то он сейчас только о том, что устал: он был уже мужчиной, но во всем, что касалось его матери, оставался настоящим ребенком. Он даже вообразить себе не мог, что она причастна к человеческим страстям и человеческим преступлениям, к тому, что он знал или предчувствовал. В его глазах и отец, и дядя были самыми настоящими палачами. Из первых лет жизни в Ла-Девизе память его удержала пронзительный голос отца, который, словно злобный голенастый петух, кружил вокруг его мамы, этой безмолвной мученицы. Правда, дядя Адемар — у него был такой же крикливый голос — вел себя с невесткой повежливее, но ни разу

Жана не коснулась мысль, что, быть может, она заслужила ненависть с их стороны.

И однако дня не проходило без того — когда, конечно, они бывали вместе, — чтобы мать не разрушала представления, какое он себе о ней создал; и всякий раз он убеждался в ее черствости, а главное, в неискренности. Поэтому-то ложь матери о ночевке в Валландро не должна была так уж его удивить, ибо в Ла-Девизе, а особенно в Париже, где она провела у своих родителей, Ла Мирандьезов, целых пять месяцев — с января по июнь, — Жан во время пасхальных каникул десятки раз ловил графиню на противоречиях; говоря неправду, она даже не давала себе труда сводить концы с концами. Если, к примеру, она твердила, что ей ужасно хочется побывать на такой-то и такой-то пьесе, о которой много говорили, она забывала, что на предыдущей неделе уходила вечером из дому под предлогом посмотреть именно эту самую пьесу, а на следующее утро давала о спектакле восторженный, но довольно туманный отзыв. Сколько раз Жан со своей бескомпромиссной детской логикой и с абсолютной верой в любое материнское слово выводил графиню из себя вечным припевом: «Мама, да ведь вы сами говорили…» А то, что она

говорила раньше, слишком часто, пожалуй, даже никогда, не вязалось с тем, что она говорила в каждый следующий момент. Однако она даже не пыталась вывернуться: «Неужели я так сказала? По-моему, ты что-то выдумываешь, маленький…» Но если в душу Жана закрадывались порой смутные подозрения, стоило ему очутиться далеко от матери, их словно дождем смывало. Да и как ему было не верить, что при таком прелестном лице и душа обязательно должна быть такая же. Идея греховности в его представлении была несовместима с этим чистым лбом, с этим чуть вздернутым носиком, с тяжелыми веками, с глазами цвета морской воды — глаукопис (Жан специально подчеркнул это слово в своем греческом словаре), особенно с этим низковатым голосом, с этим незабываемым голосом, слегка надтреснутым, даже и сейчас я восхищаюсь им при встречах с этой старой дамой, над которой время оказалось не властно, разве только руки выдают ее возраст: под поблекшей кожей по-прежнему совершенна лепка лица — так чудо греческой скульптуры переживает века, — и все такие же глаза, зеленоватые, цвета водорослей, хотя век уже коснулось увядание.

На последнем подъеме перед Балозом Жан вел

велосипед за руль; то, что он услышал от служанки в гостинице, его ничуть не смутило, зато он с тревогой думал о предстоящей сцене с матерью в гостинице «Гарбе» в присутствии чужого человека. Кстати, у кого из маминых знакомых есть автомобиль? Скорее всего, это Рауль. У Мирандьезов Раулем называли известного драматурга, называли с той небрежной снисходительностью, с какой люди светские величают просто по имени прославленных жрецов искусства и, в частности, того, о ком идет речь. На самом-то деле звали его вовсе не Раулем, и я с умыслом не назову здесь его настоящего имени, полностью забытого в наши дни, но достаточно популярного в свое время наряду с именами Доннэ, Бернштейна и Порто-Риша. Но если его творчество, расценивавшееся тогда очень высоко, если названия самых нашумевших его пьес стерлись в памяти людской, то сам он оставил глубокий след в жизни многих женщин, они живы еще и посейчас и, подобно графине де Мирбель, влачат тусклое существование, прозябают себе, прежде чем кануть в забвение.

Жан ни на минуту не мог допустить даже мысли, что существуют какие-то тайные узы между его мамой и этим сорокалетним дородным муж-

чиной. «Просто ей было интересно, да и удобно, проехаться на автомобиле», — думал он, но как же нехорошо с ее стороны, что она не взяла его с собой, ведь он бы с ума сошел от счастья… Жан пересек неширокую мрачную улицу, выводившую прямо к собору, который стоял в центре площади, окруженной аркадами. На площади ни души, он объехал ее всю на велосипеде и не без труда обнаружил гостиницу, совсем утонувшую в густой тени собора. Под гостиницу приспособили службы помещавшегося здесь в свое время епархиального управления, и от здания собора ее отделял только узенький переулочек. Ворота и главный подъезд были заперты, все ставни закрыты, но ставни в двух окнах второго этажа, так по крайней мере показалось Жану, прикрыты не совсем плотно. Что делать — звонить, стучать, поднять среди ночи всех на ноги? Да, но под каким предлогом? Конечно, можно было бы попросить номер, но денег у него с собой слишком мало. Заплатит ли за него мама?.. Однако он заколебался. И хотя Жан ровно ничего не подозревал, в глубине души он смутно чувствовал, что делать этого нельзя, что пора остановиться на том пути, на который он вступил очертя голову. Повернуть обратно в Балюзак значило признать себя по-

бежденным, а вот на это Жан не пошел бы ни за что на свете. Он решил забраться на невысокий карниз, идущий между двух контрфорсов собора, и так дождаться утра. Переулок был такой узкий, что окна гостиницы оказались чуть ли не над ним. Когда мама утром выйдет из гостиницы, он крепко-крепко поцелует ее и ничего не скажет, а она сама будет так удивлена, что ни о чем его не спросит, но зато поймет, как он ее любит, ведь только ради нее он как сумасшедший катил всю ночь на велосипеде, бодрствовал до утра, только чтобы еще раз ее поцеловать, чуть не падает с ног от голода и усталости. А сейчас она спит за этими стенами и, конечно, здесь, на втором этаже, в том номере, где ставни чуть распахнуты, потому что она всегда открывает на ночь окна. Луна скрылась за островерхой крышей собора, но от ее рассеянного света побледнело небо, где мерцало теперь всего лишь несколько самых упорных звезд. Жан замерз, и все тело его затекло от сидения на каменном карнизе. Он спустился, лег на траву, но, очевидно, не разглядев, попал в крапиву и со стоном вскочил на ноги. Разбуженная шумом собака полаяла немного и успокоилась. До первого петушиного кукареканья было еще далеко. Тогда он стал думать о Мишель и, сам уже

утерявший чистоту, думал о ней целомудренно; в воображении своем он держал ее в объятиях, но держал не ради чувственного наслаждения, а лишь для того, чтобы найти покой в биении верного сердечка. А совсем рядом, по ту сторону переулка, за этими полураскрытыми ставнями…

Позже он узнал все, что касалось его матери. Все любовные связи этого Рауля были широко известны и все мечены одним и тем же страшным клеймом. Множество романов носят или могли бы носить название «Сердце женщины», множество профессиональных психологов пытаются заглянуть в его сокровенные тайны… Но такие мужчины, как тот, кто в гостинице «Гарбе» делил этой ночью ложе с графиней Мирбель, лишь для того и существуют на свете, чтобы сводить эту тайну к довольно-таки скромным пропорциям. Все жертвы Рауля точно знали, чего они от него ждут. Все, кто принадлежал ему, узнавали друг друга по этой не знающей утоления жажде. И все, порвав путы человеческого долга, скитались в вечной погоне за тем, что довелось им испытать. «Вы сами себя не знаете, — нашептывал он им, — не знаете самое себя, не знаете своих пределов, не знаете, до каких границ вы способны дойти». Бросая их, он оставлял им в наследство опас-

ную науку сладострастия, которая достигается немалым трудом, чего не ведают люди добродетельные, ибо по-настоящему извращенные создания встречаются на нашей земле так же редко, как и святые. Не всякий день встретишь на дороге святого, но не часто встретишь и того, кто способен вырвать у вас стон, крик, где слышится также и ужас, особенно явственно звучащий по мере того, как тени лет ложатся на ваше тело, подтачиваемое и разрушаемое временем и желанием, годами и не знающей утоления страстью. Еще ничего не написано о пытке старости, через которую проходят некоторые женщины, и для них-то ад начинается еще на этой земле.

Жан уже давно дремал, закинув голову и упираясь затылком в угол, образуемый стеной и ребром контрфорса. Он сам не знал, что его разбудило: или неудобная поза, или, быть может, холод, или, быть может, мужской голос в окне над ним:

— Поди сюда, посмотри: никак не пойму, почему так освещено небо, что это, луна или уже заря?..

Обращался он к кому-то находившемуся в комнате, кого Жан не мог видеть со своего насеста. Мужчина стоял к нему в профиль, чуть отступив от окна. Он кутался в темный шелковый халат.

— Только накинь что-нибудь, — добавил мужчина, — ночь холодная.

Он оперся локтями о подоконник и слегка подвинулся, давая место женщине, но все равно заполнял собой почти весь оконный проем, и деликатной белой фигурке лишь с трудом удалось втиснуться между косяком и его массивным торсом.

— Какое блаженное безлюдье, и эта тишина… Нет, нет, дорогой, мне не холодно…

— Ну что ты говоришь, накинь на плечи хотя бы мой реглан.

Фигурка исчезла, потом вернулась, укутанная в мужской плащ, в этом наряде она стала шире, а головка казалась совсем маленькой. Так они простояли некоторое время молча.

— Какая мы, в сущности, малость, — заговорил мужчина. — Как по-твоему, вот все эти люди, что спят в этих домах, видели ли они мои пьесы или знают меня только по имени?

— Они же выписывают «Илюстрасьон».

— Верно, — подтвердил мужчина, видимо, слова спутницы приободрили его, — приложения к «Илюстрасьон» расходятся по всей стране… Хотя, боюсь, попадают они главным образом в парикмахерские… Ты только взгляни, эта площадь

— просто декорация какая-то! Однако сцены на открытом воздухе не мой жанр, у меня действие должно происходить в четырех стенах…

Она ответила что-то вполголоса и засмеялась, но тут же приглушила, свой смех. Он рассмеялся тоже и добавил:

— Одну из четырех стен долой, таков должен быть в моем представлении театр, лучшая моя пьеса, о которой я мечтаю…

— Значит, без диалогов?

Они зашептались. Жан не слышал ничего — только с силой тарана стучала в уши кровь. Пробило час.

— Нет, нет, пора спать…

И снова этот приглушенный смешок. Женщина припала головкой к услужливо подставленному мужскому плечу. Жан тупо смотрел на конек крыши, возвышавшийся над фасадом гостиницы; ворота, должно быть, совсем старенькие, к створке прибита подкова. Он прочел вывеску: «Гостиница Гарбе. Свадьбы и званые обеды». В уме он сравнивал того мужчину у окна — каждую интонацию его голоса Жан узнавал — с тем солидным господином с крашеными прядями волос, сквозь которые просвечивала очень белая кожа черепа, это его Мирандьезы называли

Раулем. Мальчик инстинктивно искал помощи в самом себе против этой острой, никогда еще не испытанной боли и нашел ее в слове, которое произнес четко, чуть не по слогам: «Забавно!» Потом повторил насмешливым тоном: «Нет, до чего же забавно!» И потом еще: «Ну что ж, матушка!» Послышался легкий стук ставен. «Подумаешь, велика важность, а если им это приятно? Ведь они никому ничего худого не делают...» Внезапно его охватил страх при мысли, что его обнаружат, что придется с ними говорить, выслушивать их объяснения. Он вообразил себе лицо матери, пристыженной, что-то бормочущей, и содрогнулся от ужаса... Он вскочил в седло велосипеда, пересек площадь и в первые минуты даже не почувствовал усталости, так он радовался, что между ним и тем номером гостиницы с каждым оборотом колеса увеличивается расстояние, но на первом же подъеме ослабел, сошел на землю и потащил за собой велосипед, потом увидел стог, рухнул в сено и потерял сознание.

До чего же хорошо греет сено! Хотя с зарей похолодало, Жан горел как в огне. Голова разболелась. Там, в туманном еще небе, кто-то звонко запел — должно быть, жаворонок. Под самым его ухом квохтала наседка, разгребавшая вместе с

цыплятами землю вокруг стога. Жан попытался встать на ноги, по телу прошла дрожь. «Лихорадку схватил», — подумалось ему. Он снова взял велосипед за руль и поплелся вперед. Шагах в ста, на перекрестке дороги, ведущей в Юзест, он заметил над дверью дома сосновую ветку и вспомнил, что здесь над харчевнями вместо вывесок прибивают ветки. С трудом он добрался до харчевни и заказал себе чашку горячего кофе; старуха хозяйка недоверчиво оглядела его и что-то буркнула себе под нос на местном диалекте… Солнце уже добралось до скамейки, на которую он присел у порога харчевни. А вдруг на дороге неожиданно появится автомобиль? Да нет, они встанут поздно, у них, у этих сволочей, еще уйма времени… А какие все-таки сволочи… Не потому, что занимаются любовью, а потому, что кривляются… А его теперь не проведешь, хватит… Никто никогда не проведет, это уж точно. Все спят со всеми — такова жизнь. Интересно, с кем спит дядя Адемар? А Рош? А господин Калю? Здорово было бы поймать его с поличным. Он их всех об этом спросит… Если только не сдохнет прямо здесь.

Он окунул губы в кофе, медленно отхлебнул несколько глотков, потом отвернулся, и его стошнило. Прижавшись лбом к стене, он прикрыл

глаза, у него даже не хватило сил согнать мух с пылающего жаром лица. На дороге протренькал велосипед, потом замедлил ход. Жан услышал возглас, кто-то несколько раз подряд выкрикнул его имя. Рядом с его лицом возникло большое, искаженное тревогой лицо аббата Калю. Возможно, сделай Жан над собой усилие, он попытался бы понять, ответить. Но коль скоро кюре здесь, можно положиться на него, расслабиться Он почувствовал, что кюре поднял его на руки, как ребенка, и уложил на кровать в какой-то темной комнатке, где пахло конюшней. Господин Калю закутал мальчика в свою поношенную черную пелерину, потом долго препирался с хозяйкой харчевни: он хотел нанять повозку, а она не соглашалась, потому что в Балозе нынче базарный день. «Вам заплатят сколько нужно», — раздраженно твердил господин Калю. Наконец по мощеному двору зацокали конские копыта. На дно повозки положили соломы. Кюре поднял задремавшего Жана, чья голова беспомощно перекатывалась по его плечу, и положил на солому, покрыв его своей пелериной. Затем снял вязаную фуфайку, которую надел утром под сутану, свернул и сунул под голову мальчику.

Плеврит оказался тяжелым: в течение двух

недель можно было ожидать самого худшего. Папский зуав провел двое суток в доме священника, и они вместе пришли к единодушному решению: не пугать графиню. Ей просто сказали, что у Жана сильный бронхит, и она не выказала ни малейшего беспокойства. В ту пору еще не были разработаны методы лечения плеврита в горной местности или, во всяком случае, практиковалось это лишь в редких случаях. Врач, приглашенный из Бордо для консультации, оказался сторонником хвойного воздуха при лечении подобных заболеваний и уговорил полковника согласиться на предложение господина Калю: кюре брался за два года потихоньку, не слишком налегая на учебу, подготовить мальчика к экзаменам на бакалавра. Но папский зуав дал свое согласие еще и потому, что не мог без содрогания даже подумать о том, чтобы послать своего племянника в коллеж, опозоренный «скандальной женитьбой Пюибаро».

В тот вечер, когда было принято решение оставить Жана на два года в Балюзаке, аббат страстно возжелал, чтобы Бог явился ему во плоти, дабы можно было в знак благодарности лобызать ему руки, припасть к его ногам. Жан хранил враждебное молчание и открывал рот лишь затем,

чтобы тоном приказания потребовать то, что ему нужно. Господин Калю не знал, что именно произошло в Балозе, но он видел рану, и этого ему было достаточно, а как был нанесен удар и каким оружием, он рано или поздно узнает, а может быть, и никогда не узнает. Но не в том дело, главное — не дать распространиться заразе. Как-то в сумерках он подсел к изголовью кровати, на которой дремал Жан, и спросил, не пугает ли его перспектива провести зиму в Балюзаке. Мальчик ответил: лучше все, что угодно, только не ихний Рош, однако очень жаль, что он не может выполнить свое намерение «расквасить ему морду».

Кюре выслушал эти слова как остроумную шутку.

— …Вот увидишь, какой я развожу в камине огонь, вечерами можно работать, читать, делать записи, потягивать ореховую воду, а западный ветер стонет в сосняке, швыряет в ставни пригоршни дождя…

С притворной развязностью Жан заметил, что, очевидно, «здесь не хватает любви…». Господин Калю спокойно ответил, что главное — иметь любовь в сердце своем.

— Как бы не так! (По-прежнему не своим, а каким-то чужим голосом.)

Аббат все так же спокойно спрятал в карман сутаны четки, вынул трубку и понюхал ее (курить в спальне Жана он себе запрещал).

— Ну я-то что, — пробормотал он. — Я человек старый, и у меня есть надежная гавань.

— Как же, как же, боженька, известное дело!

Кюре поднялся и положил ладонь на лоб Жана.

— Ты прав, Бог прежде всего и везде!

А главное, у него сейчас есть сын, злой мальчик, вернее, хочет казаться злым, но, так или иначе, это его дитя… Жан приподнялся на подушках и крикнул:

— Только, пожалуйста, не воображайте! Если хотите знать правду, мне ненавистно все, что вы собой представляете.

— У тебя опять температура поднимется, — сказал кюре.

Как он исстрадался, бедный мальчуган! «Он ополчился против меня только потому, что я под рукой и ему некого больше кусать…» Аббат погрузился в размышления, он поставил локти на колени и слегка отвернулся, так, чтобы лицо оставалось в тени, потому что он знал: Жан, зарывшись в подушки, пытается разглядеть, достиг ли нанесенный им удар цели, но, даже если бы свет лампы падал на кюре, больной все равно

ничего не смог бы прочесть в этих лишенных всякого выражения чертах. И вдруг Жану стало стыдно своих слов.

— Я это не про вас сказал, — опустив голову, пробормотал он.

Аббат Калю пожал плечами.

— Я понимаю, тебе просто требовалась разрядка… но скоро ты уже сможешь принимать гостей.

— У меня нет знакомых.

— А Пианы?

— Раз они не пришли сюда, раз не написали…

— Они каждый день о тебе справляются.

— Да, но все-таки не пришли… — твердил свое Жан и отвернулся к стене.

И правда, один из наших фермеров, живший в Балюзаке и доставлявший нам по утрам молоко, одновременно сообщал нам новости о Жане. Однако кюре тоже дивился, почему мы сами не подаем признаков жизни. Он отлично понимал, что Мирбель огорчен нашим кажущимся равнодушием, однако не мог измерить всю глубину его обиды. Поэтому-то балюзакский священник, убежденный, что все это штучки «мамаши Бригитты», решил, как только больному станет полегче, съездить в Ларжюзон, хотя бы просто

для очистки совести.

IX

Почта в Ларжюзон прибывала обычно во время первого завтрака, когда наша семья была вся в сборе. Мачеха посещала раннюю мессу или спускалась прямо из своей спальни и, как правило, выходила в столовую уже тщательно одетая и застегнутая. В то утро, когда я вслух прочел письмо от господина Калю, где он сообщал о внезапной болезни Мирбеля, она сидела с жестким, хмурым выражением лица, что предвещало дурной день; в одиннадцать часов она должна была давать урок катехизиса детям, идущим к первому причастию, которые, по ее словам, сплошь были кретины, ровно ничего не понимали из того, что им рассказывают, сидели с непроницаемо-тупыми физиономиями и развлекались только тем, что щипали друг дружку за наиболее мясистые части тела. Да к тому же еще грязнули, непременно наследят на паркете, и попахивает от них не слишком приятно. И не надейтесь, что они вам хоть вот столечко благодарны, как бы не так! Бейся не бейся, делай им добро, а их же родители при первом подходящем случае ограбят ваш дом да еще вас самих прихлопнут.

В дни, посвященные изучению катехизиса, мы все знали, что достаточно самой невинной искорки, чтобы последовал оглушительный взрыв, ибо Господь Бог наградил мадам Бригитту огневой натурой.

— Боже мой! — крикнула Мишель, когда я дочитал письмо. — Мы немедленно должны ехать в Балюзак. А я еще не одета.

Тут раздался голос нашей мачехи:

— Ты собираешься нынче утром ехать в Балюзак?

— Конечно, а как же, бедный Жан…

— Я запрещаю тебе туда ехать.

— А почему сегодня утром нельзя?

— Ни утром, ни вечером, — отрезала мадам Бригитта, побелев от злости.

Мы, ошеломленные, переглянулись. Хотя отношения мачехи и сестры были вообще-то натянутые, но до сих пор Бригитта избегала открытых столкновений.

— Что это с вами? — дерзко спросила Мишель. — С чего это я буду ждать до завтра?

— И завтра ты не поедешь. Никогда больше не поедешь в Балюзак! — крикнула мачеха. — И не строй удивленной физиономии, лицемерка.

Отец поднял от страницы «Нувелист» испуган-

ное лицо.

— Но почему, Бригитта, вы так горячитесь?

— Боюсь, что я слишком поздно начала горячиться. — Фраза эта была произнесена торжественным тоном.

И так как Мишель осведомилась, в чем именно ее обвиняют, мачеха заявила:

— Ни в чем я тебя не обвиняю. Я верю в зло только тогда, когда вижу его своими собственными глазами.

Отец поднялся. На нем был старый коричневый халат. Из-под расстегнутого ворота рубашки торчали пучки серой шерсти, обильно покрывавшей его грудь.

— Так или иначе, вы говорите…

Мачеха устремила на мужа ангельски-кроткий взгляд:

— Мне больно причинять вам боль. Но вы должны все знать: мне говорили, что Мишель видели у мельницы Дюбюша вместе с Мирбелем.

Мишель твердо заявила, что это правда, что иногда она встречалась там с Жаном. Но что же тут плохого?

— Не разыгрывай наивность, это тебе не к лицу. Тебя видели.

— Ну и что же, что видели? И видеть было

нечего.

Отец нежно привлек Мишель к себе:

— И в самом деле, нет ничего плохого в том, что ты встречалась с маленьким Мирбелем у мельницы Дюбюша. Но хотя ты еще ребенок, ты выглядишь старше своих лет, а здешние люди — особенно женщины — настоящие ехидны.

Тут Бригитта прервала его:

— Конечно, ехидны… И вам совершенно незачем защищать от меня Мишель. Я только потому и вмешиваюсь, чтобы спасти ее от сплетен; возможно, все это одна клевета, и хочу надеяться, что я вмешалась не слишком поздно. Этот Мирбель — развращенный субъект. Господи, прости меня, что я принимала его в нашем доме! Интересно, до чего он дошел?.. — добавила она вполголоса мрачно и задумчиво. — Вот в чем вопрос.

Какой же она вдруг стала кроткой! Отец схватил ее за запястье:

— Договаривайте до конца! Что там еще?

— Еще… Но прежде всего отпустите мою руку! — крикнула она. — Не забывайте, кто я такая! Вы хотите знать правду? Пожалуйста, вот вам правда!

Разгневанная мачеха обогнула стол, под прикрытием столового серебра и посуды схватилась

обеими руками за спинку стула и в такой позе, опустив свои перепончатые веки, дабы полнее сосредоточиться в себе самой, изрекла наконец:

— Мишель девушка, и она любит мужчину. Вот что произошло.

Воцарилось молчание, мы не смели поднять от тарелок глаза. Мадам Бригитта, внезапно отрезвев, не без тревоги наблюдала за отцом и дочерью.

Октав Пиан выпрямился. И показался мне очень высоким, таким, каким я помнил его еще при маминой жизни. Он был оскорблен в своей нежной любви к Мишель, в том чувстве, которое отцы питают к дочерям, в чувстве, сотканном из уважения и целомудрия, столь уязвимого, что они никогда не прощают тому, кто хоть раз посягнет на эту святыню. Он разом вырвался из плена бездонной тоски, и та, что стояла сейчас перед ним до ужаса живая, вытеснила память о покойной жене.

— Девочка, которой нет еще и пятнадцати? Да разве это мыслимо? И вам не стыдно?

— Мне-то чего стыдиться? Я ни в чем не обвиняю Мишель. — Мачехе удалось утишить гневные раскаты голоса. — Я только повторяю: я хочу верить, верю всей душой в ее невинность, в

ее относительную невинность… Но ведь бывают же девочки-матери и в пятнадцать, и даже в четырнадцать лет. Сразу видно, что Октав Пиан не ходит к бедным с благотворительными целями!

До сих пор еще у меня в ушах звучит голос, каким она произнесла «девочка-мать». Нельзя было вложить в эти слова более яростного отвращения. Я вполголоса спросил Мишель, что это такое — девочка-мать. Она не ответила (может, и сама не знала). Устремив взгляд на папу, она проговорила:

— Ты ведь ей не веришь?

— Конечно, не верю, дорогое дитя.

И он снова привлек Мишель к себе. Тут заговорила мачеха:

— Значит, нужно позвать тех, кто тебя обвиняет, кто, по их словам, видел тебя собственными глазами?..

И так как Мишель крикнула: «Ну конечно, а как же иначе!» — отец добавил вдруг совершенно спокойным тоном:

— Ага, догадываюсь, что Виньоты, ну ясно, Виньоты, известное дело… Если вам достаточно сплетен этих людишек…

— А кто вам сказал, что меня это устраивает? Я повторяю вам, что никого не обвиняю. Я про-

сто выполнила свой нелегкий долг: передала свидетельские показания. И все. А ваше дело — выяснять правду. Мой долг кончается там, где начинается ваш.

Бригитта Пиан скрестила на груди руки и стояла так перед нами, беспристрастная, неуязвимая, заранее обеленная Господом Богом и сонмом его ангелов.

— И что же, по словам ваших Виньотов, делала Мишель?

— Спросите их об этом сами. Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я осквернила свои уста… Слушать их будет нелегко… Но если это нужно, если вы считаете мое присутствие необходимым, я почерпну силы в моей любви к вам всем и, в частности, к тебе, Мишель. Можешь смеяться сколько угодно: никогда я тебя так не любила, как в эту минуту.

С век ее скатилась слеза, другая, но мачеха не вытерла щеку, пока мы все их не улицезрели. Тогда спокойным голосом папа велел мне пойти за Виньотом.

Обычно Виньот входил, держа в руке берет; правый глаз его был закрыт — на охоте кто-то засадил ему в физиономию дробинку. Зато другой с идиотским упорством глядел вам прямо в лицо.

Ноги у него были кривые, борода нечесаная, во рту торчали корешки зубов. Свои деревянные башмаки он оставлял у порога и, прошмыгнув в полуоткрытую дверь, бесшумно скользил по паркету в одних носках. Стоило вам оглянуться, и он уже торчал у вас за спиной, раболепно хихикающий, воняющий потом и чесноком, хотя никто не видел и не слышал, как он входил в комнату.

Едва переступив порог, Виньот понял, к чему клонится дело. Отец велел мне удалиться и нежно сказал Мишель, чтобы она шла в свою комнату и дожидалась, когда ее позовут. Я вышел в гостиную, но остался стоять у двери, меня буквально душило от волнения; и, как мне помнится сейчас, главную роль тут играла постыдная надежда на то, что Мишель разлучат с Жаном. А я, я стану, таким образом, связующим звеном между ними: захочу — и они смогут общаться, захочу — не смогут, а самое важное, все будет проходить под моим контролем. Конечно, все это было не так четко сформулировано, как формулирую я сейчас, но передумано, перечувствовано с невероятной силой. Поэтому-то я бросился как оглашенный за Виньотом и так затормошил этого осмотрительного мужчину, что он вынужден был, вопреки своей привычке, немедленно после-

довать за мной, не успев даже надеть «палито» (как он называл свою куртку). А теперь я стоял и подслушивал у двери.

— Этого я не говорил… А что видел, то видел… Нет, ясно, в хижину я не заглядывал. Сколько времени они сидели молча? А что они делали, если не говорили? Тут и смотреть нечего, и так все понятно… Может, в глаза друг дружке глядели? Дай-то Бог… Мне-то что, мне-то все равно…

Я плохо слышал вопросы отца. Тона он не повысил, говорил так же медленно, как обычно. Время от времени он вставлял какое-нибудь местное словечко, и тогда я разбирал хоть что-то, потому что отец выделял его голосом из фразы. Он снова стал хозяином, которому нет нужды орать, который умеет привести в повиновение человека одной игрой интонаций. Мачеха пыталась что-то сказать, но он прерывал ее.

— Позвольте мне сначала кончить с Виньотом.

Словом, за дверью шел не спор, не дискуссия, а именно судилище. Когда отец замолкал, из затихшей столовой доносился лишь трубный звук — такова была манера Виньота сморкаться. Но тут мачеха распахнула дверь, и я едва успел отскочить. Она даже не удостоила меня взглядом. В соломенной шляпке, предназначавшейся для

прогулок по саду и водруженной на шиньон, в белых митенках она вышла в прихожую, взяла свой зонтик и спустилась по лестнице с видом человека, не столько разгневанного, сколько поглощенного своими заботами. Позже, через некоторое время, я узнал от самой Мишель, что отец, как и раньше, проявил былой дух решимости, уже давно нами не наблюдавшийся.

Внешне он вроде бы встал на сторону жены, запретив Мишель не только ездить в Балюзак, но даже переписываться с Жаном. С удивлением я узнал, что запрет этот распространяется также и на меня. Для полной уверенности, что запрет его не будет нарушен, отец вплоть до нового распоряжения отобрал наши велосипеды. Молодую монахиню, наставницу частной школы, многим обязанную моим родителям, попросят во время летних каникул позаниматься с Мишель. В глубине души отец не заподозрил ни в чем худом свою любимицу дочку, что и сказал ей сам, нежно целуя, а все эти строгие меры были приняты лишь с целью уберечь ее от сплетен и пересудов, так как жители Ларжюзона — люди жестокие и злоязычные. Мадам Бригитта могла бы торжествовать, если бы отец одновременно не предложил Виньотам искать себе другое место.

Удар был направлен прямо на их покровительницу. Напрасно Бригитта твердила, что это дело опасное, что в лице Виньотов мы приобретаем себе врагов, причем врагов, хорошо против нас вооруженных. Но отец заявил, что он сумеет обезоружить Виньотов и что он располагает достаточно мощным средством, чтобы заткнуть им рот.

Таким образом, эта клевета, имевшая столь важные последствия для многих героев этой повести, имела все же одну положительную сторону, она вырвала — увы, на слишком короткий срок — нашего отца из состояния оцепенения, в каком он пребывал последние шесть лет. Бригитта смогла убедиться в том, что на ее пути стал противник, которого она долгое время не принимала в расчет. Любовь ее мужа к Мишель была как бы продолжением его страсти к первой мадам Пиан. Так что дело тут, в сущности, было опять же в покойнице — вот что, без сомнения, поняла наша мачеха и вот чем можно объяснить ее поведение в последующие дни.

Во всех житейских обстоятельствах Бригитта искренне стремилась к добру или по крайней мере была убеждена, что искренне к нему стремится: вот чего не следует упускать из виду,

читая эти мемуары. Я мог бы окрасить ее образ совсем в другие тона, чем те, которыми она столь жестко обрисована на этих страницах. Конечно, я слишком близко соприкасался с ее жертвами, видел их страдания, но, описывая ее дела, самые, казалось бы, черные, было бы несправедливым поддаться искушению осветить эту грозную душу только под одним углом.

Необходимо напомнить, что, когда Бригитта Майар еще до брака с моим отцом проводила почти каждое лето в Ларжюзоне, она оказалась причастной к одной из тех молчаливых супружеских драм, которые длятся до самой смерти без всяких внешних вспышек, без объяснений. Мой отец видел, как страдает обожаемое им существо, его первая жена Марта, как страдает она из-за другого мужчины, но ничем не мог ей помочь и лишь усугублял ее угрызения совести зрелищем своей собственной печали. Человек простой и не привычный к самоанализу, он обрел в лице Бригитты проницательного толкователя. Он был связан с ней тесными узами, но им суждено было порваться в силу обстоятельств, их же породивших. Бригитта хвасталась тем, что спасла нашего отца от самоубийства; и в самом деле, в ту трудную минуту он уцелел лишь благодаря заботам

внимательной конфидентки, которая не только следовала за ним по лабиринту мучительного испытания, но даже забегала вперед, как бы перекидывала мост между несчастным страдальцем и его женой, так как доводилась ей кузиной и подругой детства.

Сделавшись второй мадам Пиан, Бригитта совершенно чистосердечно полагала главной своей обязанностью довести дело до конца, вырвав супруга из-под влияния покойницы, тем более что и сам-то он женился вторично только в надежде найти исцеление. Личная неприязнь, ревность, скрываемая ото всех, даже от самой себя, безусловно, определили в дальнейшем действия моей мачехи, но поначалу она имела право верить в свою миссию, возложенную на нее мужем.

Когда через несколько месяцев Бригитта убедилась, что Марта по-прежнему царит в сердце ее мужа, царит силой добродетели, которая вопреки самой пылкой страсти, по-видимому, устояла, когда Бригитта убедилась, что для нашего отца покойница окружена ореолом героизма, ибо способна была пойти на смерть ради любви, но не нарушить супружеского долга, мачеха решила, что в первую очередь следует установить,

подлинный ли это ореол. В тот самый день, когда мужу будут представлены неоспоримые доказательства того, что первая мадам Пиан совершила прелюбодеяние, встала на путь добродетели лишь после того, как ее покинул любовник, и что, наконец, покончила с собой от отчаяния, — в тот день, по мнению Бригитты, ее супруг сбросит с себя постыдное иго наваждения. А ведь еще задолго до того, как в руки ее попало неопровержимое свидетельство виновности Марты, вспоминая кое-какие ее признания, Бригитта не сомневалась, что ее покойная кузина согрешила; и, возможно, страстное желание занять ее место объяснялось именно тем, что она могла заполучить улики, безнаказанно обшаривая комнаты, роясь в шкафах и ящиках секретеров.

Ей сопутствовала сказочная удача: в первые же недели супружества она нашла искомый документ, столь превосходивший все ее ожидания, что она сочла благоразумным хранить о нем полное молчание. Итак, как мы видим, Бригитта Пиан была способна чувствовать жалость и подавила искушение поделиться своим открытием с мужем, ибо питала еще надежду исцелить его иными методами, не открывая ему глаз.

И верно, со времени отбытия Виньотов из Лар-

жюзона отец, казалось, полностью исцелился. Потерпев в этом пункте поражение, Бригитта зато восторжествовала во всех прочих. Она могла только приветствовать принятое в скором времени решение отца: по возвращении в город Мишель отдадут на полный пансион к сестрам из Сакре-Кер, где до сих пор она была приходящей. (В глазах Октава Пиана это не было наказанием, а, напротив, наиболее надежным способом разлучить девочку с ее грозной мачехой.)

Итак, мадам Бригитта могла бы чувствовать себя полностью удовлетворенной, если бы не одно обстоятельство: в лице дочери отец защищал свою покойную жену. Возвращение к жизни Октава закрепило победу, но победу не Бригитты, а Марты: той, которой он принадлежал на веки веков. Вот она, бесспорная истина, которую прозревала своим смятенным умом наша мачеха, и это открытие побудило ее, пусть с запозданием, взорвать мину замедленного действия.

Тем временем за нами с сестрой было установлено строжайшее наблюдение. На нашу беду, барышня на почте, тоже из подопечных мадам Бригитты, получила, очевидно, недвусмысленное распоряжение относительно нашей корреспонденции. Все письма, адресованные в Ларжюзон,

должны были оставаться до утра в почтовой конторе, а почтальону их вручали только утром следующего дня; каждый конверт, уходивший от нас, тоже не миновал взгляда мачехи.

Таким образом, Мишель могла рассчитывать только на меня как связного между ней и Жаном. Не то что она хотела нарушить слово, данное отцу, — не переписываться с Жаном, — просто она задумала передать ему золотой медальон в форме сердечка, который носила на груди и где хранилась прядка маминых волос. Я был неприятно поражен тем, что сестра решилась расстаться с дорогой нам обоим реликвией ради Мирбеля, и не особенно-то рвался предпринять пешеходное путешествие, длинное и утомительное еще и потому, что пришлось бы идти в обход городка из страха, что меня увидят и донесут родителям. К тому же столь долгое отсутствие непременно насторожило бы мачеху, которая стала относиться ко мне с удвоенной заботой, лишенной всякого оттенка недоброжелательства; случалось, она привлекала меня к себе на грудь, откидывала челку с моего лба и с глубоким вздохом шептала: «Бедный, бедный ребенок!»

Чем сильнее настаивала Мишель, тем больше я упирался, не желая рисковать. Последние недели

каникул были, таким образом, окончательно испорчены нашими вечными и бессмысленными спорами. Я не сумел воспользоваться счастливым случаем и провести с сестрой эти долгие дни, о которых мне так сладостно мечталось, хотя теперь между нами никто не стоял. А с Мирбелем, думал я, мы увидимся осенью в коллеже. Тогда я не знал, что он проведет весь год в Балюзаке. Хотя я и рисовал себе самые мрачные картины относительно моей дальнейшей участи, она была мне неизвестна. Я льстил себя надеждой, что в коллеже Мирбель будет безраздельно принадлежать мне одному. Ясно, я буду ему особенно мил как брат Мишель. Но они не увидятся больше, не смогут переписываться, а я по-прежнему буду с ним: единственный соученик, который что-то будет значить в глазах Мирбеля.

Как-то, дело было в сентябре, часов около четырех в конце аллеи показался священник на велосипеде. Мишель крикнула: «Аббат Калю едет!» Бригитта тут же велела нам удалиться в свои комнаты, и, так как Мишель заупрямилась, отец сурово повторил приказание мачехи. Сам он тоже остался встречать аббата, что было явным нарушением его привычек — стоило слуге доложить о приезде гостей, как папа немедленно

запирался у себя в кабинете. Само собой разумеется, он хотел быть уверенным в том, что его супруга не наговорит на Мишель лишнего, помимо того, о чем было между ними условлено. Сам я не был свидетелем этой встречи и поэтому приведу страницу из дневника господина Калю, который записал эту сцену в тот же вечер. (Я сохраняю в неприкосновенности его сухой и сдержанный тон.)

«Поразительная женщина, чудо извращенности. Видимость зла в ее глазах и есть зло в той же мере, в какой ей выгоднее так считать. Натура глубокая, но сродни живорыбному садку, где легко проследить любой взмах рыбьего хвоста; так и в случае с мадам Бригиттой можно невооруженным глазом увидеть самые тайные мотивы ее действий. Если когда-нибудь безапелляционность ее суждений и моральных приговоров обернется против нее самой, какие же ждут ее муки!

Шокирована тем, что я выступаю в роли адвоката этих двух ребятишек и считаю, что для Жана первая его любовь — огромное благо. Поджав губы, она обзывает меня „Савойским ви-

карием“[37]*. Я набрался храбрости и предостерег ее против предерзостного толкования Божьей воли, чем слишком часто злоупотребляют люди благочестивые. Но дорого же мне обошлась моя неосторожная критика, задевшая рикошетом и священнослужителей! С этих выигрышных позиций милейшая дама обрушилась на меня с упреками, что я, мол отрицаю за церковью ее право на поучение; и я уже представляю себе письмо-донос, которое она вполне способна настрочить в епархию! Мадам Бригитта не так старается вникнуть в наши мысли, как запомнить из чужих речей то, что, по ее мнению, может скомпрометировать человека в глазах начальства, а при надобности и вообще погубить. Я ей об этом сказал, и мы расстались, обменявшись поклонами: я поклонился ей почтительно, но весьма сухо, а она просто кивнула, почти невежливо.*

На обратном пути из-за кустов, росших у ворот, вдруг вылезает вся пунцовая, не смеющая поднять глаз Мишель. Я сошел с велосипеда. Она

---

[37] Примечания: 37

«Исповедание веры Савойского викария» — один из разделов романа Жан-Жака Руссо «Эмиль, или О воспитании», проповедующий особую религию, отвечающую требованиям природы и естественных человеческих чувств.

сказала:

— Вы поверили ей?

— Нет, Мишель, не поверил.

— Господин кюре, я хочу, чтобы вы знали... Если бы я вам исповедовалась... Я бы ничего не могла сказать плохого о Жане.

Она залилась слезами. Я пробормотал что-то вроде: „Да благословит вас обоих Господь Бог“.

— Скажите ему, что я не могу с ним видеться, не могу ему писать, что осенью меня отдают в пансион... А как за мной следят! Знаете, какие распоряжения даны на мой счет... Но все равно, скажите Жану, что я буду его ждать, сколько бы ни потребовалось... Скажете?

Я попытался пошутить:

— Странное поручение для старого священника, Мишель!

— Старый священник!.. Кроме меня, вы один на всем свете его любите, — сказала она это как нечто само собой разумеющееся, как самую простую, самую очевидную вещь. Я не нашелся что ответить. И даже невольно отвернулся.

Потом она вручила мне для Жана сверточек.

— Я дала папе слово не писать Жану, но ведь к сувенирам это не относится. Скажите ему, что это самое-самое ценное, что у меня есть.

Пусть хранит, пока мы с ним не встретимся. Скажите ему…

Но тут она махнула мне рукой, чтобы я скорее уезжал, а сама нырнула в кусты: за деревьями белел рогатый чепец монашки».

Аббат Калю застал Жана там, где его оставил, мальчик полулежал в шезлонге у западной стены дома. На коленях валялась открытая книга, но он не читал.

— Ну и наделал же ты шуму в Ларжюзоне, мальчуган!

— Вы были в Ларжюзоне?

Мирбель попытался придать себе равнодушный, почти отсутствующий вид, но ему это плохо удавалось.

— Да, был, и мамаша Бригитта такого там натворила!.. Вообрази себе, что Мишель…

При первых же словах аббата Жан не сдержался и воскликнул:

— Она могла бы мне ответить. Когда любишь, нарушаешь все запреты, всем рискуешь…

— Она же еще девочка, Жан, но самая храбрая девочка, какую я когда-либо видел.

Не глядя на кюре, Жан осведомился, говорил ли тот с ней.

— Говорил, но всего несколько минут. И хорошо

запомнил, что она просила тебе передать: она не может с тобой видеться, не может тебе писать, а с осени будет жить в пансионе Сакре-Кер. Но она будет ждать тебя годы, если потребуется.

Кюре говорил монотонным голосом, как ученик, отвечающий хорошо вызубренный урок: каждое слово как бы приобретало особый вес.

— А еще? Это все?

— Нет, не все. Она просила меня передать тебе вот это… И сказала, что это самое ценное, что у нее есть, и просила хранить до тех пор, пока вы не встретитесь.

— А что это такое?

Кюре и сам не знал. Положив пакетик на колени Жана, он вошел в дом. Через неплотно закрытые ставни он видел, как Жан, не отрываясь, смотрит на маленькое позолоченное сердечко, лежавшее вместе с цепочкой у него на ладони, как потом он поднес медальон к губам таким жестом, словно хотел его выпить.

Кюре присел к столу, открыл рукопись «Теория веры у Декарта» и несколько раз прочел последний параграф. Но сосредоточиться ему не удалось, и он снова подошел к окну. Мирбель лежал, закрыв лицо обеими руками; и можно было не сомневаться, что медальон покоится в

углублении его ладоней и касается его губ.

Вот уже два дня Жан выходил в столовую к завтраку и обеду. Итак, он явился ровно в семь, сел напротив кюре, но сегодня тоже, как и обычно, упорно молчал. (Господин Калю с некоторых пор взял привычку читать за едой журнал или газету и нарочно клал их возле своего прибора.) Однако, когда подали суп, он заметил, что Жан исподтишка наблюдает за ним. Если Жан до сих пор молчит, значит, он робеет, смущен, не знает, как приступить к разговору. Но, с другой стороны, кюре боялся, как бы не спугнуть его неловким словом. Поэтому, должно быть, он больше обращал внимания на то, с аппетитом ли ест Жан: последнее время мальчик стал очень разборчив в еде. Когда после обеда они снова уселись возле дома, кюре спросил, что бы такое приготовить ему на завтра вкусненькое. Жан ответил, что ему ничего особенного не хочется, но ответил без своей обычной запальчивости. И вдруг спросил в упор:

— А вас действительно так уж интересует мое здоровье?

— Да будет тебе, Жан!

Но Жан совсем по-ребячески буркнул: «Нет, кроме шуток», сел в свой шезлонг и взял за ру-

ку стоявшего рядом аббата. И, не глядя на него, проговорил:

— Я с вами вел себя как свинья… А вы, вы… То, что вы сделали сегодня…

Он заплакал взахлеб, как плачут дети, не стыдясь своих слез. Господин Калю присел рядом с ним и взял его руки в свои.

— Вы не знаете, не можете знать… Если Мишель меня бросит, я убью себя… Не верите?

— Нет, почему же, малыш, верю.

— Правда, верите?

Как нуждался Жан в доверии, как хотелось ему, чтобы верили его слову!

— Я сразу понял, что это серьезно.

И так как Жан вполголоса начал: «Неужели все это мне не пригрезилось? Неужели в Балозе я действительно это видел?» — аббат прервал его:

— Не рассказывай мне ничего, если тебе будет слишком больно.

— Знаете, она нам все соврала. Все это выдумки, что она ночевала в Валландро. Она сняла себе номер в гостинице «Гарбе» в Балозе.

— Все женщины говорят одно, а делают другое — это уж известно…

— Но она была не одна… Там она встретилась с одним типом. Я видел их ночью у окна.

Он их видел, и его устремленные в одну точку глаза все еще видели их. Аббат Калю нежно взял его голову в ладони и тихонечко встряхнул, словно желая пробудить ото сна.

— Никогда не следует вмешиваться в чужую жизнь вопреки желанию людей, запомни этот урок навсегда, мальчик И никогда не следует открывать дверь ни в их вторую, ни в их третью жизнь, известную одному лишь Господу Богу. И никогда не следует оборачиваться на тайный град, на тот проклятый, на тот чужой град, если не хочешь обратиться в соляной столп…

Но Жан заупрямился и с блуждающим взором рассказывал и рассказывал о том, что он до сих пор еще видел и будет видеть до последнего своего часа.

— Мужчина, почти старик… Я его знаю: он из Парижа, пьески пишет… Волосы крашеные, сам брюхатый, а рот… Фу, гадость!..

— А ты скажи себе, что для нее он воплощение ума, таланта, красоты. Любить человека — значит видеть в нем чудо, невидимое для всех прочих и видимое только тебе одному… Пора возвращаться в дом, — помолчав, добавил он. — Теперь быстро темнеет, а ты легко одет.

Мирбель покорно поплелся вслед за кюре. А тот

довел мальчика под руку до библиотеки, которая служила аббату спальней, и Жан прилег на его постель. Господин Калю зажег лампу и пододвинул к постели кресло.

— А они? — спросил он. — Они тебя видели?

— Нет, я сидел на карнизе собора, там было темно. Да и уехал я до рассвета, потом спал в стогу. Если бы вы меня не нашли, я, пожалуй, околел бы на дороге, как паршивый пес. Когда я подумаю, что вы для меня сделали…

— А что же, по-твоему, я должен был ждать твоего возвращения в постели, так, что ли? Я взялся тебя воспитывать, значит, я за тебя отвечаю. Вообрази, каких неприятностей мне бы это стоило…

— Но ведь вы же не поэтому? Не только поэтому?

— Вот-то дурачок!

— Потому что вы немножко меня любите, да?

— Будто Жана де Мирбеля любит только один старик кюре!

— Правда? Нет, это невозможно!

— Взгляни на это золотое сердечко… Куда ты его дел? Надел на шею, как она раньше надевала? Носишь на груди? Да-да, носи его на груди, там его место, пусть ты всегда его чувствуешь, пусть в

тяжелую минуту тебе достаточно будет коснуться его рукой.

— Но она же еще совсем девочка, она меня не знает, не знает, какой я, она даже понять меня не может, до того она чистая, даже если бы я пытался ей объяснить… И вы, вы тоже не знаете, что я делал…

Аббат Калю положил ему ладонь на лоб.

— Ясно, ты не святой, ты не из породы праведников. Но ради таких-то, как ты, и сошел Христос на землю, чтобы найти их и спасти. Мишель любит тебя таким, каков ты есть, так же как Господь любит тебя таким, каким тебя создал.

— А мама меня не любит.

— Просто страсть помешала ей ощутить всю силу своей любви к тебе. Но любить тебя она любит.

— А я ее ненавижу.

Слова эти Жан произнес с натугой, неестественным тоном, к которому он нет-нет, да и прибегал.

— Думаете, я шучу? Нет, правда, правда, я ее ненавижу.

— Верю, так ненавидят тех, кого любят. Наш отец небесный возжелал, чтобы мы любили врагов наших; и подчас это гораздо легче, чем не

возненавидеть тех, кого мы любим.

— Да, — подтвердил Жан, — потому что они причиняют нам слишком много боли.

Он прислонился виском к плечу кюре и тихо добавил:

— Если бы вы только знали, как мне было больно… И даже сейчас еще больно, каждый час, каждую минуту, словно я трогаю незажившую рану. Я так мучаюсь, что хоть в крик кричи, хоть умирай…

— Послушай, мальчик, женщинам надо многое прощать… Я не могу тебе сейчас объяснить, почему именно. Ты поймешь меня позже, ведь и ты сам, быть может, причинишь им немало зла… Даже те, которые внешне имеют все, что только можно пожелать, и те заслуживают нашей жалости… Не той смутной жалости, жалости сообщника, а жалости Христовой, человечьей и божьей, так как Бог знает, из какой нечистой глины он вылепил свое создание. Но еще не время нам с тобой говорить о таких вещах.

— Я уже не ребенок, вы сами знаете!

— Да, ты уже мужчина, возраст измеряется страданиями.

— Ох, значит, вы понимаете…

Долго еще они беседовали, священник и маль-

чик, даже после того, как Жан уже лег по-настоящему у себя в комнате. И когда сон неодолимо смежал его веки, Жан попросил аббата не уходить из комнаты, пока он совсем не заснет, и прочитать здесь свои молитвы.

X

Меня разбудило пение петуха. Неужели уже рассвело? Я чиркнул спичкой: пяти еще не было. Я решил подождать еще немного. Как ни умоляла меня Мишель сходить в Балюзак, я ее просьбу не выполнял, а вот сегодня утром решил отправиться туда по собственному почину. Вчера вечером, после отъезда господина Калю, я узнал от мачехи, что Жан де Мирбель не вернется в этом году в коллеж. Заметила ли она, что я вздрогнул всем телом? Поняла ли, что наносит жестокий удар этому бледненькому мальчику, который старался казаться равнодушным? Так или иначе, она добавила, что это меняет ее планы, что вначале она с согласия моего отца решила отдать меня пансионером в какое-нибудь другое училище, дабы избавить меня от дурного влияния этой заблудшей овцы, но сейчас в этом надобности нет. Не увижу я в коллеже и господина Пюибаро, но мачеха может только радоваться тому, что он ушел. Я и без того чересчур склонен к сентиментальности, поэтому господин Пюибаро гибельный для меня наставник.

Жан в Балюзаке, Мишель в пансионе. А я-то, я?

В тот день я впервые увидел открытый лик своего извечного врага — одиночества, с которым мы теперь прекрасно уживаемся. Мы притерлись друг к другу: оно наносило мне все мыслимые удары, и уже не осталось у меня живого места, куда бы можно было еще ударить. Я не избежал ни одной из его ловушек. Сейчас этот мучитель отвязался от меня. Мы сидим друг против друга у камина, мы помешиваем дрова длинными зимними вечерами, когда стук сорвавшейся с ветки сосновой шишки, рыдание ночной птицы столько же говорят моему сердцу, как человеческий голос.

Любой ценой увидеть Жана, увидеть в последний раз… Мы условимся, куда и как нам писать друг другу… Мне-то писать ему нетрудно, а вот куда ему посылать письма, адресованные мне? Как получают письма до востребования? Увидеть его в последний раз, убедиться, что я еще для него существую и что Мишель не окончательно вытеснила меня. Розы на оконных занавесках чуть заалели: значит, рассветает. Я оделся, стараясь не дышать. Паркет не скрипнул под моей ногой, всего только стена отделяла меня от огромной спальни родителей, где две кровати красного дерева, кровати мсье и мадам Пиан, были поставлены как можно дальше одна от другой.

Дверь тоже открылась бесшумно. Правда, ступенька скрипнула, но Бригитту таким пустяком не разбудишь. Я решил пройти через кухню — так я мог быть уверен, что меня не услышат. В кухне на оконнице висел ключ от входной двери.

— Куда это ты в такую рань?

Я еле сдержал крик, готовый сорваться с губ.

Она стояла на верхнем марше лестницы, облитая утренним светом, падавшим из окошка на крыше, неестественно прямая в своем халате аметистового цвета. Толщенная коса, похожая на жирную змею с перевязанной красной ленточкой мордой, свисала до пояса.

— Куда ты собрался? А? Отвечай.

Я и не собирался врать. Все равно я рта открыть не успею, а она уже все узнает. К тому же с отчаяния я совсем ослабел. Именно отчаяние и спасло меня, другими словами, я решил сыграть на своей чувствительности, граничащей с истерией, проявления которой пугались даже самые грозные особы и, вместо того чтобы подвергнуть меня наказанию, начинали еще возиться со мной, как с больным. Итак, я захрипел, стал задыхаться; я даже слишком преуспел в своих стараниях, но остановиться уже не мог. Бригитта легко подхватила меня своими мощными руками и отнесла к

себе в спальню, отец проснулся от шума, сел на постели и глядел на нас так, словно видел еще какой-то мучительный кошмар.

— Ну-ну, успокойся, я же тебя не съем. Вот, выпей глоток — это флердоранжевая вода.

Мачеха уложила меня на свою постель. Я твердил, заикаясь:

— Потому что я никогда больше его не увижу… Я хотел с ним попрощаться…

— Речь идет о Мирбеле, — пояснила Бригитта отцу. — Вот до чего дошло! Я уже начинаю думать, не слишком ли поздно принимать меры. Патологическая чувствительность! Бедный ребенок, какая тяжелая наследственность, — пробормотала она вполголоса.

— К чему говорить при нем о наследственности? — так же тихо сказал отец. — На что вы намекаете?

— Действительно, намекаю! Намекать — это как раз в моем стиле!

— А разве не в вашем? — Отец язвительно хихикнул и, покачивая головой, повторил: — Разве не в вашем?

Впервые в жизни я видел папу таким бледным, он сидел на кровати, и его ноги, поросшие густой черной шерстью, не доставали до пола. Толстые,

синие, вздувшиеся вены оплетали его икры от колен до отекших лодыжек. Из расстегнутого ворота рубахи торчали серые пучки волос. Ноги были чудовищно худые, даже какие-то болезненно тощие. Бригитта стояла в своем епископском облачении, с гладко зачесанными над выпуклым лбом волосами, с толстой, жирной и блестящей косой и не спускала с мужа подозрительного, злобного взгляда.

Отец поднялся, взял меня на руки и отнес в мою кровать. Я рыдал, уткнувшись ему в сорочку. Он подоткнул под меня одеяло. Хмурое солнце пробивалось в спальню через отверстия в ставне, вырезанные в форме лилий. До сих пор у меня в ушах звучит его голос: «Вытри глаза, дурачок, высморкайся и спи», и, откинув волосы с моего лба, он пристально посмотрел на меня, словно увидел впервые.

Я мог бы никогда не узнать того, о чем расскажу сейчас (с чувством ужасной неловкости и стыда, но я должен это сделать…), и в самом деле я так ничего и не знал до конца Первой мировой войны, когда я помирился с дядей Мулисом, братом покойной матери, с которым я никогда не встречался из-за какой-то семейной ссоры, впрочем, подробности ее не так уж важны. Он обожал свою

сестру Марту и перед смертью выразил желание повидать меня. Он был, как и наш дедушка, городским архитектором. До самой старости на нем лежал отпечаток того, что моя мачеха с отвращением именовала «богемщиной, актерскими штучками» и обличала эту атмосферу развращенности, в которой, по ее словам, выросла мама, что в конце концов и погубило ее. Дядя, старый холостяк и циник, сообщил мне с запозданием более чем на двадцать лет обстоятельства, сопровождавшие мое появление на свет. Не то чтобы он мог с полной уверенностью утверждать, что я не сын Октава Пиана, но он считал более чем вероятным, что я обязан жизнью двоюродному брату мамы, некоему Альфреду Мулису, «прекрасному, как бог», по выражению дяди (он показал мне его фотографию, но никакой красоты я не заметил и не испытал никакого удовольствия при мысли, что рожден от этого курчавого малого с бараньей физиономией). С самого раннего детства он боготворил свою кузину, и она отвечала ему тем же. Больше я на эту неприятную тему распространяться не намерен и сообщу только самое существенное, а именно то, что содержалось в бумагах, обнаруженных моей мачехой в первый год ее замужества.

Если верить дяде Мулису, это была как бы своего рода памятка, написанная маминой рукой, где сопоставлялись даты, шли подсчеты, и из них-то выходило, что если я сын Октава, то появился на свет божий на два месяца раньше срока, и действительно, при рождении я весил много меньше нормальных детей, меня заворачивали в вату и вообще со мной много намучились. Но с какой целью все это писалось? Очевидно, это был черновик письма, во всяком случае, такого мнения придерживался дядя, хотя полной уверенности у него не было.

Но Октав Пиан имел причину сомневаться в том, что я его родной сын, он считал, что причина эта известна лишь ему одному, и обнаруженный мачехой документ подтверждал эти сомнения. Дядя Мулис знал о нем от своей сестры… Трудно, очень трудно касаться такой щекотливой темы, приходится прибегать к обинякам! Короче, из слов дяди я понял, что Октав принадлежал к тому довольно распространенному типу мужчин, которых, так сказать, парализует избыток любви: пытка жестокая, особенно если твою страсть не разделяют и на твое смехотворное отчаяние смотрят холодным или насмешливым взглядом…

Мне хотелось бы, чтобы читатель почувство-

вал, с каким отвращением я пишу о таких вещах, но именно это доказывает, что пишу я невымышленную историю, ибо романист инстинктивно избегает подобных положений, способных внушить ужас. Но коль скоро мы отрываемся от вымысла и идем по следам судеб, реально пересекавшихся с нашей, мы на каждом шагу наталкиваемся на эту скудость чувств, на отклонения или, хуже того, на неполноценность, которой особенно непереносимо касаться тем из нас, кто так или иначе стал ее жертвой. Ренан[38] как-то сказал, что истина, должно быть, печальна: он рассматривал истину в метафизическом плане. Но в сфере человеческой истина не просто печальна, но еще и смешна, постыдна, до того постыдна, что и говорить о ней не хочется из простого чувства брезгливости. Поэтому ее обходят молчанием и требуется скандальный бракоразводный процесс или обращение к папскому суду, чтобы она стала достоянием публики.

В октябре мы с мачехой вернулись в город, а Октав Пиан остался в Ларжюзоне. Супруги расстались окончательно, без предварительно-

---

[38] Примечания: 38

Ренан Эрнест (1823–1892) — французский философ и писатель, историк религии, семитолог, член Французской академии.

го сговора: это вышло как-то само собой. Отец, еще не державший в руках вышеупомянутого документа (забытого как бы случайно в ящике его ночного столика и, следовательно, вот-вот могущего попасться ему на глаза), был соответственным образом подготовлен и даже, я бы сказал, нашпигован Бригиттой и поэтому расстался со мной без сожаления и явно предпочел одинокое пребывание зимой в деревне постоянному присутствию этой ненавистной ему женщины и сына, один вид которого пробуждал в нем тревогу. В моей памяти он так и остался вновь впавшим в состояние оцепенения, в какую-то дремотную вялость, из которой он вышел только на несколько дней, чтобы защитить Мишель. Очевидно, именно в это время он начал пить, но окончательно опустился только после нашего отъезда.

Мишель отдали пансионеркой в Сакре-Кер, и мы с мачехой остались вдвоем. Два года до окончания моего учения прошли безрадостно, но я мучился не так сильно, как предполагал раньше. Учился я легко, и Бригитте не доставлял никаких хлопот этот неразговорчивый мальчик, который без всякого понукания сидит целыми вечерами над уроками или готовится к контрольной рабо-

те. В первый год отец приезжал из деревни раз в месяц, в тот день, когда из Сакре-Кер выпускали Мишель. Он возил нас с ней завтракать в ресторан. До сих пор помню чувство наслаждения, какое я испытывал, выбирая по карточке самые любимые мои блюда: устрицы, филе из зайца, гусиное рагу с бобами в горшочке. Уверенность в том, что Жан и Мишель разлучены, и, конечно, навсегда, словно бы усыпила мою к ним любовь и в то же время ревность, просыпавшуюся лишь на короткий миг: чтобы любить и осознавать свою любовь, мне всю жизнь необходимо было страдать.

Здесь я хочу рассказать о двух эпизодах, из-за которых моя дружба с Мирбелем застыла на мертвой точке. Однажды вечером я вернулся из коллежа, было это еще в первую зиму нашего пребывания в городе, и мачеха, не подымая глаз от книги, буркнула: «Тебе письмо». Но меня не так-то легко было обмануть этим показным равнодушием. «Это от Мирбеля», — заявил я, взглянув на конверт. И тотчас с той бессознательной хитростью, к которой нередко прибегают дети, желая умаслить и обвести вокруг пальца самых несговорчивых родителей, я невинно спросил: «Можно прочитать?» Сначала Бригитта

Пиан неопределенно качнула головой, потом заявила, что полагается на меня и, если я считаю, что должен показать ей письмо, я сам его покажу. И пока я разбирал каракули Жана де Мирбеля, мачеха ни разу не взглянула в мою сторону, а он писал о «собачьей жизни», которую ему приходится вести в Балюзаке, о том, что от такой жизни «впору пустить себе пулю в лоб», умолял меня сообщить ему хоть что-то о Мишель: «*И возможно, ей самой удастся приписать в конце твоего письма несколько слов. Я буду ужасно рад, и, по-моему, это ничуть не нарушит данного ею слова. Скажи ей, даже и представить себе нельзя, что значит жить в мерзком поселке, затерянном среди сосен, с глазу на глаз со стариком священником, хотя он, ничего не могу сказать, чудесный малый и делает для меня все, что может. Но я-то, я отнюдь не чудесный, вот в чем беда. Скажи ей, что всего три строчки, и я буду наверху блаженства. Она даже, увы, вообразить не может, как они мне помогут…*»

Помню, какая холодная злоба охватила меня, когда я кончил читать письмо Мирбеля и не обнаружил ни слова, обращенного непосредственно ко мне. Гнев пересилил печаль. Раз так, то лучше не думать о Жане, лучше сбросить его со счетов…

Не слишком часто в жизни мне предстояло испытать это чувство, это внезапно подкатывающееся к сердцу желание начисто порвать с людьми, забыть о них! Я протянул письмо мачехе, и она начала не торопясь читать, а дочитав, аккуратно сложила и показала в улыбке свои лошадиные зубы.

— Настоятельница, — сказала она, — вручила мне целый пакет писем от этого господина. Ибо у него хватает глупости отправлять свои послания Мишель прямо на адрес монастыря, и, ты подумай только, каждое письмо начинается слезной просьбой к настоятельнице или к той сестре, которая первой вскроет конверт, дать прочесть это письмо Мишель! Что и доказывает, — поучительно добавила она, — что развращенность может идти рука об руку с глупостью и они прекрасно между собой уживаются.

С этими словами она бросила письмо Жана в камин, предала его всеистребляющему пламени.

Что касается второго эпизода, то я не уверен, можно ли сблизить его по времени с первым. Скорее всего, мне кажется, встреча с аббатом Калю произошла зимой следующего года. Однажды в четверг, когда я вышел из дому, кто-то окликнул меня. Я сразу узнал аббата Калю, хотя он сильно

похудел. На костлявых плечах свободно болталась поношенная сутана. Очевидно, он поджидал меня. Так как я сообщил ему, что иду в книжную лавку Фере, он вызвался меня проводить.

— Вот-то Жан обрадуется, когда я вечером расскажу ему, что встретился с тобой!

— Ну, как он поживает, хорошо? — с равнодушным видом спросил я.

— Нет, — сказал аббат Калю, — нет, нехорошо ему, бедняге.

Кюре ждал моих вопросов, но зря ждал, так как я остановился у дверей магазина Фере и начал листать старые книги, выставленные прямо под открытым небом. Неужели же я был тогда до такой степени черствым? Не думаю, так как прекрасно заметил искаженное горем лицо склонившегося надо мной кюре, и еще до сих пор, после стольких лет, воспоминание об этих минутах больно мучает мою совесть.

— Если уж говорить начистоту, он, наш Жан, меня сильно беспокоит. Нынешний год он даже в Ла-Девиз поехать не смог, его мать укатила на всю зиму в Египет. Конечно, работает он много, ну, охотится. В октябре я устроил для него охоту на вяхирей. И вообрази, он сбил сто сорок семь штук. Подыскал я ему даже лошадь, представь себе, на

мельнице у Дюбюша, правда, кляча изрядная, но все-таки кататься верхом вполне можно. Знаешь, чего ему не хватает? Общества…

— А вы? — простодушно спросил я.

— Ну, я…

Он неопределенно махнул рукой и ничего не сказал. Без сомнения, он уже давно понял всю глубину своего бессилия, он не располагал ничем, что требовалось для счастья мальчика в возрасте Жана. И его образованность, и еще в большей степени его нежность не имели никакой цены в глазах Жана. Да и кем иным он мог быть в глазах подростка, как не тюремщиком, и особенно остро аббат чувствовал это, когда вечерами заставал Жана на кухне у горящей печки, притулившегося на соломенном стуле, на том самом месте, где мальчик усаживался сразу после завтрака, и на коленях у него лежала все та же книга, открытая все на той же странице. Жан даже не подымал к аббату своего хмурого лица. Кататься верхом одному стало ему неинтересно, особенно на такой старой кляче. Когда же по возвращении домой кюре не заставал Жана дома, он догадывался, где его воспитанник ищет убежища. Тогда я еще не знал этой второй причины беспокойства аббата: Жан часто засиживался в аптеке у этой мадам

Вуайо, которая была открытым врагом аббата. После окончания уроков туда заглядывали школьный учитель и учительница. В комнате за аптекой пили кофе и комментировали статьи Жореса или Эрве[39].

Хотя я отлично понимал, к чему ведет аббат, я ни словом ему не помог, и он перешел к щекотливой теме без предварительной подготовки.

— Очень сожалею, что я погорячился тогда в разговоре с мадам Пиан, — сказал он. — Впрочем, полагаю, что она не способна долго хранить на кого-нибудь зло, и уверен, что то решение, которое она приняла относительно Мишель и Жана, продиктовано самыми высокими побуждениями. Поэтому-то я не буду их оспаривать, я просто положился на ее благоразумие. Но как тебе самому кажется, дитя мое, не могла бы Мишель время от времени посылать письмецо балюзакскому аббату? Чего же тут худого? Пусть даже привета Жану не передает, пусть просто напишет мне два словечка о том, как ей живется, и это уже будет для твоего друга огромной поддержкой.

---

[39] Примечания: 39

Жорес Жан (1859–1914) — деятель французского и международного социалистического движения, борец против колониализма, милитаризма и войны, философ, историк. // Эрве Эдуард (1835–1899) — французский публицист.

Скажу больше, Луи, — тут он почти зашептал мне в ухо, — это может стать для него спасением. Потому что дело идет о том, что его надо спасать… понимаешь?

Я видел совсем близко его детски-умоляющий взгляд и чувствовал его кислое дыхание. Нет, я ничего не понимал, и все-таки на сей раз я растрогался, но склонился на просьбу ради кюре, а вовсе не ради Жана. Кюре взял с меня слово, что я передам Мишель его поручение, и я избавил своего собеседника от неприятной обязанности просить меня не передавать мачехе наш разговор: я по собственному почину заверил его, что буду молчать. Он охватил своей огромной пятерней мой затылок и прижал мое лицо к своей грязноватой сутане. Я проводил его до трамвайной остановки. Пассажиры на задней площадке казались по сравнению с ним чуть ли не карликами.

Переписка между аббатом Калю и Мишель, переписка, которая могла бы предотвратить или хотя бы отсрочить немало бед, прервалась на третьем же послании: Мишель имела неосторожность вручить письмо для отправки своей соученице из приходящих, потому что, естественно, не могла сдержать своих чувств и писала только Жану, хотя на конверте стоял адрес абба-

та. Письмо перехватили монахини и вручили его Бригитте Пиан, которая сама рассказала мне об этом происшествии, причем даже не особенно винила Мишель.

— Это священник ввел ее в искушение, — говорила она. — Я в этом ни минуты не сомневаюсь и, хотя случай из ряда вон выходящий, я вымолила прощение твоей сестре; должна признать, настоятельница проявила подлинное великодушие. А дело аббата Калю пухнет с каждым днем, — добавила она с чувством невольной радости, — и как раз это письмо будет главным обвинительным документом…

Итак, она уже дошла до того, что стала думать при мне вслух. Любила ли она меня? Долгое время я был уверен, что в моем лице она лелеет и холит живое доказательство греха первой мадам Пиан. Но теперь я склонен считать, что она питала в отношении меня ту привязанность, на какую только была способна, и что я в какой-то мере затрагивал ее материнский инстинкт, который заложен в лоне даже самых бесчувственных женщин.

XI

В те два года мое существование было теснейшим образом связано с Бригиттой Пиан. Наши спальни разделяла только маленькая гостиная, где она работала и принимала посетителей. Дверь почти никогда не запиралась, мачеха захлопывала ее лишь в тех случаях, когда в гостиную кто-нибудь входил. Но стоило ей чуть поднять голос — а голос у нее от природы был зычный, — и я без труда слышал все разговоры, особенно зимой, когда не раскрывали окон и с Интендантского бульвара до нас доходил только глухой шум.

Когда я узнавал голос господина Пюибаро, я нередко, хотя и не всегда, под каким-нибудь предлогом выходил из своей комнаты поздороваться с ним, но гораздо чаще он заглядывал ко мне, чтобы перед уходом меня поцеловать. Мое обращение с ним изменилось одновременно с тем, как изменилось его положение в свете. Этот бедный, тощий человек в дешевеньком пальтишке, плохо защищавшем от холода, купленном в магазине готового платья, в нечищеных ботинках не мог внушить мне того чувства уважения, какое внушал своему любимчику классный наставник,

облаченный в добротный сюртук.

Справедливости ради добавлю, что вид его возбуждал во мне жалость или по крайней мере ощущение какой-то неловкости, которое мы испытываем при виде нашего нищенствующего брата и которое мы привыкли считать жалостью. Но когда я размышлял о несчастьях, выпавших на долю господина Пюибаро, признаюсь, я в какой-то мере разделял отношение к нему Бригитты Пиан и чуточку презирал его за то, что он мог поддаться искушению, смысл коего был мне еще не ясен, но уже и тогда я склонен был относиться к таким вещам с гадливостью и подозрением. Возможно, я не испытывал бы такой брезгливости к явным признакам падения, если бы в моих глазах они не были связаны с вопросами высшего порядка и если бы господин Пюибаро, женившись на Октавии, не отказался от своего положения лица полудуховного звания добровольно. Впрочем, тогдашняя моя точка зрения мало в чем изменилась: до сих пор я считаю, что все наши беды идут оттого, что мы не способны сохранить свою чистоту и что человечество, храня чистоту, избежало бы множества несчастий, гнетущих нас (даже тех, которые внешне не имеют прямого отношения к плотским страстям). Лишь очень

малое число людей дало мне подлинное представление о благах любви и добра, и это были именно те, которые умели властвовать над своим сердцем и биением своей крови.

Господин Пюибаро являлся каждые две недели к моей мачехе за пособием, на это пособие и жила молодая чета. А остальное время он бегал по городу в поисках места, но место все не находилось. Октавия забеременела, но, так как врачи опасались выкидыша, ей пришлось до родов лежать в постели, и она не могла обходиться без чужой помощи. Говорили, что каждое утро к ним приходит монашенка из монастыря Успения Богоматери и ведет их хозяйство. Больше ничего об этих несчастных я не знал да, признаться, и не слишком часто думал о них.

Однако я заметил, что всякий раз, когда дважды в месяц Пюибаро являлся к нам и если визит его оканчивался вручением пресловутого конверта, между моим бывшим наставником и моей мачехой велись вполголоса долгие споры, изредка прерываемые глухими возгласами. В голосе Пюибаро преобладали настойчивые, умоляющие ноты, а мачеха отвечала обычным своим упрямым тоном отказа и отрицания, столь хорошо мне знакомым. А иногда говорила только она

одна тоном человека, диктующего свои законы существу низшему, вынужденному помалкивать. «Вы отлично знаете, что так оно и будет, раз я того хочу, и вам придется подчиниться! — крикнула она однажды так громко, что я расслышал каждое ее слово. — Я сказала, я того хочу, однако я плохо выразилась, ибо мы не должны делать того, чего хотим, а лишь то, чего хочет бог; поэтому не надейтесь, что я вечно буду вас покрывать».

В ответ мой бывший наставник, невзирая на то, что буквально всем был обязан моей мачехе и полностью от нее зависел материально, упрекнул ее в том, что она следует не духу, а букве закона, короче, забылся до того, что заявил, будто ближние должны расплачиваться за ее требовательную совесть и что именно за их счет она демонстрирует щепетильность и непреклонность своих моральных устоев. И добавил, что не уйдет, пока не добьется от нее того, что просит. (Через дверь я не мог разобрать, о чем именно идет речь.) Мачеха в ярости крикнула, что, раз он так ставит вопрос, уйдет она. Я услышал, как она выплыла из гостиной, довольно громко хлопнув дверью. А через несколько минут господин Пюибаро, бледный как мертвец, зашел ко мне в комнату. В руках он держал конверт, который, как

я догадываюсь, она швырнула ему в физиономию. Панталоны туго обтягивали его костистые колени. Крахмальных манжет он не носил. Пластрон да черный галстук — единственное, что уцелело от того одеяния, в каком он щеголял в коллеже.

— Вы слышали? — спросил он. — Рассудите нас, дорогой Луи.

Не думаю, чтобы многих детей моего возраста так часто просили рассудить споры взрослых. То доверие, которое я внушал Пюибаро еще во время его педагогической деятельности в коллеже — почему он и вручил мне в тот знаменательный вечер письмо, адресованное Октавии Тронш, — снова побудило его прибегнуть к моему посредничеству; впрочем, доверие это опиралось на рассудок и проистекало из подлинного культа детей. По его словам выходило (и он имел неосторожность развивать свои взгляды в моем присутствии), что мальчики от семи до двенадцати лет счастливо наделены необычной ясностью ума, а порой и духа, однако с приближением зрелости дар этот постепенно тускнеет. Хотя мне шел уже пятнадцатый год, я в его глазах еще хранил все преимущества, данные детству. Бедняга Пюибаро! Женитьба не способствовала его красоте. Он почти совсем оплешивел. Сквозь

белокурые пряди волос просвечивала кожа черепа. На бескровном лице по-прежнему алели скулы, и он кашлял.

Летом в Ларжюзоне он, занимаясь со мной латынью, обычно подвигал свой стул к моему, так и сейчас он подвинулся ко мне поближе.

— Ты, ты поймешь…

На «ты» он обращался ко мне в редких случаях, как к ребенку непогрешимого чутья, только в минуты душевных излияний. Он сообщил мне, что доктор не надеется, что Октавия может доносить ребенка до положенного срока, и поэтому она нуждается в полнейшем физическом и моральном покое. И он, желая утишить самую мучительную тревогу жены, обманывает ее насчет истинного происхождения скромной суммы, получаемой им каждые две недели. Она и представления не имеет, что деньги эти идут от Бригитты Пиан, и верит, что муж сам зарабатывает на жизнь и что наконец-то он добился места в епархиальном управлении.

— Да, да, я лгу ей, лгу ежечасно, и один Бог знает, ценой каких страданий и стыда дается мне эта ложь. Вправе ли мы называть ложью те сказки, которыми мы утешаем больного, — вот в чем вопрос, что бы ни говорила по этому поводу

мадам Бригитта…

Он пристально поглядел на меня, будто ждал от меня, как от оракула, невесть каких откровений. Я пожал плечами.

— Пусть она говорит, господин Пюибаро. Поскольку ваша совесть спокойна, то…

— Все это не так-то просто, дорогой мой Луи… Во-первых, потому, что Октавия волнуется, удивляется тому, что мадам Бригитта ни разу не пришла ее проведать с тех пор, как она слегла. Твоя мачеха до сегодняшнего дня отказывалась посетить Октавию, «коль скоро я не могу искупить оскорбление, нанесенное истине, как она посмела мне написать!» Мне пришлось объясняться с Октавией, я пощажу тебя от рассказа об этой сцене: ибо ложь родит ложь, тут я должен согласиться с мадам Бригиттой. Получается лабиринт, из которого нет выхода. Словом, я стараюсь как могу сохранить лицо. А вот теперь мадам Бригитта перешла уже к угрозам: она объявила, что, как человек совестливый, не имеет права поддерживать дольше мою ложь, требует, чтобы я сказал Октавии правду относительно этих денег… Нет, ты только вообрази…

Я вообразил. И я мог бы сказать господину Пюибаро, что удивляться надо другому — как

это мачеха соглашалась так долго обманывать Октавию. Но не сказал, а намеком дал ему понять, что мне тоже по душе такая непреклонность. Как раз в эту пору я ознакомился с произведениями Паскаля[40] в бреншвигском карманном издании. Тип, который представляла собой Бригитта Пиан, возвысился в моих глазах и даже приукрасился через сравнение с матерью Агнессой и матерью Ангелиной и всеми прочими прославившимися своей гордыней обитательницами Пор-Рояля. Как сейчас вижу безжалостного мальчишку, каким я был тогда: вот он сидит в углу у камина, и перед ним столик, заваленный словарями и тетрадями, а напротив примостился тощий мужчина, протянувший к огню свои небольшие белые грязноватые руки, и от его рваных ботинок идет пар. Кроткие и усталые глаза его видят в пламени образ женщины, слегшей под тяжестью своего бесценного бремени, над которым нависла угроза. В этом был его мир со своей реальностью, но Бригитта Пиан отказывалась принимать это в расчет, и меня ввести туда он тоже не мог. Наша

[40] Примечания: 40

Паскаль Блез (1623–1662) — французский математик, механик, физик, литератор и философ. Классик французской литературы, один из основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых образцов счётной техники, автор основного закона гидростатики.

мачеха твердила ему: «Я вас уже давным-давно предупреждала, так что пеняйте на себя»... Да, правда, все произошло именно так, как предсказывала Бригитта, и сам ход событий столь наглядно доказал ее правоту, что она поверила, будто Бог послал ей в дар высшее озарение.

— Она ушла, пригрозив на прощание, что придет завтра вечером навестить Октавию, — мрачно добавил Пюибаро. — Принесет нам бульон, но зато требует, чтобы я к этому времени подготовил Октавию, сообщил ей всю правду о моем положении. Как быть? Чего бы я не дал, лишь бы избавить бедняжку Октавию от зрелища моего позора! Ты же знаешь, хладнокровием я похвалиться не могу. И наверняка не сдержу слез...

Я спросил, почему он не дает частных уроков. Разве не может он работать репетитором? Он отрицательно покачал головой: у него нет диплома, а брак с Октавией закрыл перед ним двери большинства домов, где его раньше принимали.

— Как жаль, что я не нуждаюсь в репетиторе, — сказал я не без самодовольства. — Но я по-прежнему первый ученик...

— Ну, ты-то! — воскликнул он, глядя на меня с нежностью и восхищением. — Ты уже и сейчас не меньше моего знаешь. Сдавай экзамены, малыш,

непременно храни все бумажки. Может, они тебе и не понадобятся в жизни, но как знать… Если бы у меня был диплом…

Сын бедных родителей, воспитанный из милости своими будущими коллегами, угадавшими незаурядные способности мальчика, Леонс Пюибаро учился всему, чему хотел, и, бесспорно, мог бы с успехом продолжать учение, если бы в возрасте восемнадцати лет его не сунули в коллеж в качестве помощника надзирателя, так как там не хватало младшего учебного персонала. Пришлось надзирать за другими, и поэтому Пюибаро учился урывками и был знаком с литературой только в объеме хрестоматии и учебников. Зато он лучше, чем многие студенты университета, знал великих классиков Греции и Рима. А теперь все эти знания не могли ему помочь заработать в месяц хотя бы триста франков, необходимых на жизнь.

Мне очень хотелось, чтобы он поскорее ушел, и я стал листать словарь, надеясь, что он догадается, как я занят. Но он раскис, забылся в этой уютной и теплой атмосфере, возле этого обожаемого им мальчика, раздумывая над тем, как открыть всю правду Октавии и не слишком ее при этом растревожить.

Я спросил его:

— Почему же вы сами должны ей все рассказать? Поручите это кому-нибудь другому… Например, той сестре из монастыря Успения Богоматери, она ведь у вас каждое утро бывает.

— Прекрасная мысль, Луи! — воскликнул он, хлопнув себя ладонями по тощим ляжкам. — Один лишь ты способен разобраться в таком сложном деле. А сестра, о которой ты упомянул, она просто святая, и Октавия ее очень-очень любит. И она, в свою очередь, боготворит тоже Октавию. Просто смотреть приятно на них двоих, причем каждая считает, что ей далеко до другой… Хотел бы я, чтобы мадам Бригитта на них посмотрела, как смотрю я, — она тогда поняла бы, что такое истинное самоуничижение…

Он замолк, заметив, что я недовольно поджал губы, и тут он понял, что я нахожусь под влиянием мадам Бригитты даже в большей степени, чем находился в свое время он сам.

На следующий день к вечеру Бригитта Пиан велела остановить ландо на улице Мирей перед домом, где в меблированной квартире поселилась чета Пюибаро, причем эту меблированную квартиру мачеха выбирала сама и сама ее оплачивала. Руки ее были заняты множеством пакетов и

свертков, так что нельзя было даже приподнять подол юбки, шагая по этой мерзкой лестнице. Грязная вода стекала в открытую сточную канаву. Впрочем, Бригитте Пиан уже был знаком этот запах, ноздри дамы-благотворительницы принюхались к любой вони. Во всех городах мира в жилищах бедняков стоит густой дух похлебки и отхожего места. И тут опять-таки мне не хотелось бы поддаться искушению и обратить против Бригитты Пиан ее, так сказать, наиболее достохвальные деяния. Каковы бы ни были истинные подспудные мотивы, Бригитта Пиан по праву могла называться щедрой дарительницей, а в известных случаях, как, например, у одра больного, действительно не щадила себя. Более того, она придерживалась убеждения, что полезнее вытащить из нищеты малое количество бедолаг, чем помогать многим и помогать малыми порциями. Помню, когда мы вместе с ней ходили за покупками, она закупала нитки, шерсть, бакалею в отдаленных от центра лавчонках, владельцам которых протежировала, изо всех сил старалась поставить их на ноги и посылала туда за покупками своих знакомых. Впрочем, все это ничуть не мешало ей допекать своих подопечных коммерсантов, находившихся на грани полного

банкротства, советами и угрозами и возмущаться неблагодарностью людей, которые назло вам не желают преуспевать, хотя им оказывают значительную денежную помощь.

Иной тактики она придерживалась в отношении четы Пюибаро, подкармливала их, но предоставляла им самим бороться с нуждой. Делала ли она это с умыслом? Кто возьмется утверждать! Возможно, она и сама не знала. Лично я склонен думать, что она считала за благо их нищенскую жизнь, какую сама им предсказала, и то, что они были так явно наказаны за непослушание. Держать чету Пюибаро в полной от себя зависимости значило ежечасно торжествовать свою победу. Ну а что касается ее чувств к Октавии, возможно, мадам Бригитта содрогнулась бы, если бы осознала их до конца.

Первое, на что упал взгляд мадам Бригитты, когда она вошла в комнату, где лежала больная, было пианино, стоявшее перпендикулярно к изголовью кровати, так что в комнате, где находился еще шкаф, стол и комод, заваленные пузырьками, чашками и грязными тарелками, буквально негде было повернуться. (Господин Пюибаро начинал свой день с того, что захламливал помещение, хотя накануне монахиня наводила в

квартире порядок) После обмена первыми любезностями, вопросами и ответами о состоянии здоровья хозяйки чета Пюибаро со страхом — да еще с каким! — заметила, что мадам Бригитта сразу уставилась на злополучное пианино и что с минуты на минуту начнется дознание. Фирма, дававшая напрокат музыкальные инструменты, обещала взять пианино обратно. Но обещания своего не сдержала. Даже сегодня утром господин Пюибаро ходил объясняться по этому поводу, но безрезультатно. Как втолковать Бригитте Пиан, что они уступили своей фантазии, фантазии тем более нелепой, что ни он, ни она не умели играть, хотя оба с одинаковым удовольствием подбирали по слуху полюбившиеся им псалмы. Будь они даже не такие бедняки, и то эту прихоть трудно было бы извинить, а уж когда человек живет на доброхотные даяния других…

Поэтому Октавия, желая отвлечь внимание посетительницы от опасной темы, поторопилась заговорить о другом. Она до глубины души благодарна мадам Бригитте за то, что та запретила Леонсу вводить ее дольше в заблуждение относительно происхождения тех денег, которые он приносит домой каждые две недели. Но делал он это только из самых лучших побуждений и

потому, что жалеет ее. Однако она уже давно заподозрила обман, но поначалу решила, что это ловкий маневр мадам Бригитты, которая, спросите любого, делает добро тайно, подобно тому, как другие таятся, делая зло. (Октавии не был чужд порок льстивости, впрочем, в той среде, где она выросла, явление это довольно распространенное, да и как не польстить влиятельным особам, от которых зависишь.) Она добавила, что вполне понимает и разделяет угрызения совести, которые мучают мадам Бригитту. Но мадам слушала ее рассеянно, то и дело поглядывая на пианино, потом, прервав Октавию на полуслове, заявила, что она очень сожалеет, что огорчила господина Пюибаро и что, возможно, она и дальше по слабости своей шла бы на обман, если бы дело касалось безбожницы — кстати, таких теперь, глухих к слову божию, развелось множество. Но лично она считает, что настоящая христианка, а Октавия именно настоящая, должна давать себе отчет в последствиях своих поступков, равно как и в испытаниях, каким провидению угодно будет ее подвергнуть… «Раз уж всевышний предначертал вам жить благодеяниями своего друга и раз господину Пюибаро не находится подходящего места, я не вправе лишить вас той пользы, кото-

рую вы можете извлечь из этого урока».

В своем дневнике Леонс Пюибаро, расценив эти слова как прямую жестокость, добавляет: «*Не присягну, что она произнесла эту фразу с сознательной иронией, во всяком случае, ей было приятно найти неуязвимый с точки зрения религии предлог, дабы скрыть, какое она испытывает удовольствие при мысли, что оказалась права, что в беспросветно нищенском нашем существовании у нас только и есть, что этот конвертик, за которым еще надо ходить к ней дважды в месяц*».

— Вот что любопытно, — проговорила мадам Бригитта, — пианино, если не ошибаюсь, не фигурировало в списке вещей, который мне вручили, когда я снимала для вас квартиру.

— Верно, — подтвердила Октавия, и голос ее дрогнул. — В этом безумстве виновата только я.

И она посмотрела на свою благодетельницу с кроткой обезоруживающей улыбкой, перед которой редко кто мог устоять, но чело мадам Бригитты по-прежнему хмурилось.

— Прости, любимая, — прервал Октавию муж, — не ты, а я первый заговорил о пианино и, признаться, больше думал не о твоем, а о своем удовольствии.

Какой же он допустил промах, назвав в присутствии мадам Бригитты свою жену «любимая». Мадам Пиан не терпела бесстыдства супругов, пусть даже состоящих в наизаконнейшем браке, особенно когда они имеют наглость словом или жестом подчеркивать свою мерзкую близость. А уж в отношении этих двух такая интимность была ей буквально непереносима.

— Насколько я понимаю, — спросила она с неестественной кротостью, — вы взяли пианино напрокат?

Преступники молча потупили голову.

— Значит, один из вас может давать уроки музыки? Боюсь, что вы оба не имеете никакого представления о сольфеджио, не говоря уже о том, что и нот вы не знаете.

Октавия робко заметила, что они сочли возможным позволить себе это развлечение…

— Какое развлечение? По-вашему, это развлечение — тыкать одним пальцем в клавиши, ведь я десятки раз видела в школе, как вы пытались бренчать на рояле и даже не понимали, насколько вы смешны в глазах ваших учениц.

И мадам Бригитта, которая смеялась только в редчайших случаях, испустила что-то вроде кудахтанья.

Октавия еще ниже опустила повинную голову. Ее желтовато-тусклые волосы, заплетенные в две косички, упали ей на плечи. Под ночной кофтой из грубой ткани судорожно подымалась и опадала грудь.

— Вы совершенно правы, мадам Бригитта, мы виноваты, — сказал Пюибаро. — Но, прошу вас, не надо волновать Октавию, — умоляюще добавил он вполголоса. — Если вам угодно, мы поговорим об этом, когда я приду к вам в следующий раз. Я вам все объясню…

— Хорошо, — прошипела мадам Бригитта, — простите меня… Поговорим об этом в другой раз и в другом месте, и тогда вы скажете мне, на какие деньги вы взяли напрокат это пианино.

— На ваши же, конечно… Я полностью признаю, что, когда человек живет от щедрот благодетелей, он совершает непростительный грех, расходуя в месяц двадцать франков на прокат пианино, тем более что играть на нем не умеет. Но, прошу вас, отложим объяснение до следующего раза…

— Какое объяснение? Все уже объяснилось, все стало ясно, — сказала Бригитта тоже вполголоса (но Октавия слышала каждое ее слово). — По-моему, говорить больше не о чем. Мне кажется, что ни вы, ни она просто не отдаете себе отчета в том,

что перешли все мыслимые границы. Надеюсь, вы понимаете, что я не о деньгах говорю! Тут дело не в деньгах…

Господин Пюибаро прервал Бригитту, напомнив ей, что, по ее же словам, говорить больше не о чем, и полуобнял Октавию, которую душили рыдания. Но на мадам Пиан, обеспокоенную слезами Октавии, внезапно накатил стих гнева, который ей редко когда удавалось обуздать и в котором она сама смиренно прозревала проявление своей огневой натуры, дарованной ей, на беду, небесами. Хотя она всячески старалась не повышать тона, сквозь стиснутые зубы со свистом неудержимо вырывались злобные слова:

— Так или иначе, мне остается только извлечь пользу из этого случая. Это уж как хотите! Всему свои границы, даже добродетели, я обязана ограждать себя от излишних слабостей, и, как бы сострадательна я ни была в отношении вас, я не собираюсь превращать свою доброту в глупость…

— Умоляю вас замолчать или уйти! Разве вы не видите, до чего вы довели Октавию?

Леонс Пюибаро забылся до такой степени, что схватил свою благодетельницу за руку и подтолкнул к дверям.

— Как, друг мой, вы, вы осмелились меня коснуться?

Неожиданное покушение на ее особу сразу вознесло мадам Бригитту на горние вершины ее обычного совершенства.

— Леонс, Леонс, — простонала Октавия. — Это же наша благодетельница; мне худо потому, что ты ведешь себя с ней непозволительно.

Тут господин Пюибаро в приступе ярости, порой ослепляющей малодушных, крикнул во все горло вслед выходившей из комнаты мадам Бригитте:

— Мы здесь у себя, дорогая!

Высокая фигура моей мачехи возникла в проеме двери.

— Ах, у себя? Вот как…

Победа над собой далась ей так легко, такой ее охватил в эту минуту покой, что она уверилась, будто он ниспослан ей небесами. Откровенно говоря, ей не следовало бы ничего добавлять к своим последним словам, тем более что они и так заткнули рот ее незадачливому противнику. Но все-таки она не сдержалась и нанесла последний удар:

— Значит, прикажете посылать вам квитанции на квартирную плату? Но, если не ошибаюсь, квартира не на ваше имя.

Господин Пюибаро с треском захлопнул дверь и подошел к кровати, где горько рыдала Октавия, закрыв лицо руками. Он обнял жену, прижал ее к груди.

— Ты сам виноват, Леонс, мы ей всем обязаны, и она права — это пианино…

— Родная моя, ну успокойся, это же вредно малышу…

Малышом они называли того, кого еще не было на свете, обожаемое дитя, которому, может быть, и не суждено было родиться. И так как Леонс Пюибаро, прижимая голову Октавии к своему плечу, все твердил: «Жестокое создание», она запротестовала:

— Нет, Леонс, нет, нехорошо так говорить. У нее просто такой характер. А характер, если хочешь знать, — пробный камень для всех нас. Легко не совершить преступления, когда сам Бог отводит от человека возможность его совершить, но изо дня в день смирять свою натуру — это совсем другое дело, тут человек ничего поделать не может, тут требуется особая благодать. Мадам Бригитте как раз очень бы помогло пребывание в монастыре со строгим уставом…

— Да брось ты! Если бы она попала в монастырь, она сразу забрала бы всех в свои руки, вся община

тряслась бы перед ней, она уж сумела бы найти там себе жертвы. Наоборот, надо радоваться, что она не в монастыре, что никто не отдан в ее власть полностью, и душой и телом! Вот где она проявила бы себя во всей красе. А мы с тобой хоть свободны, свободны умереть с голоду и никогда ее больше не видеть…

— Ты прав, с ее помощью монахини быстро достигали бы мученического венца, — сказала Октавия, слабо улыбнувшись сквозь не просохшие еще слезы. — Вспомним жизнь прославленных игуменей: если в монастыре попадается настоятельница вроде мадам Бригитты, она ведет свою паству к небесному блаженству самой трудной и в то же время самой короткой тропой, ибо они не слишком заживаются на свете… Нет, нехорошо так говорить про нашу благодетельницу, — добавила она. — Ох, как плохо!

Они помолчали немного. Потом Леонс Пюибаро, сидя на постели и грызя бисквиты, принесенные мадам Бригиттой, спросил:

— А что с нами будет?

— Ничего, пойдешь к ней завтра утром, — сказала Октавия. — Я ее хорошо знаю: сегодня ночью она будет мучиться угрызениями совести и сама первая попросит у тебя прощения. Так или иначе,

Луи все устроит.

Но он уперся: нет, ни за что на свете он не желает больше терпеть такое отношение.

— Кто спорит, трудно идти на унижения, милый, пожалуй, труднее всего на свете, особенно мужчине, да еще такому, как ты. Но именно этого от тебя и требуется.

— А еще труднее вот почему: она вообразила, что Бог подтвердил ее правоту, ибо все, что она предсказывала в отношении нас, полностью сбылось. Скажи, как ты думаешь, нас действительно покарал Бог?

— Нет, — горячо запротестовала Октавия. — Не покарал, а просто послал испытание. Мы не обманулись. У нас с тобой общее призвание. Мадам Бригитта не понимает, что именно к этому-то мы и были призваны — страдать вместе.

— Да, именно из этих страданий рождается наше счастье.

Октавия обвила шею мужа своими худенькими руками:

— Нет, правда, скажи, ты ни о чем не жалеешь?

— Я страдаю только потому, что не могу заработать нам на жизнь, — вздохнул он, — но если Господь Бог пошлет нам малыша… тогда все по-

меркнет перед этой радостью.

Она шепнула ему на ухо: «Не думай об этом слишком много, не слишком на это надейся…»

— Что? Как так? Что ты имеешь в виду?.. Тебе доктор что-нибудь сказал, чего я не знаю?

Он приступил к ней с вопросами, а она только головой качала: нет, доктор ничего нового не сказал, но просто ей пришло в голову, что вдруг от них потребуется именно это… «Нет, нет!» — твердил Леонс Пюибаро, а она все говорила, что надо смириться, заранее смириться сердцем и душой, как смирился Авраам, и что тогда, возможно, им вернут Исаака… Господин Пюибаро все повторял свое «нет», но уже потише, потом упал на колени и, уткнувшись лицом в одеяло, сдавленным голосом стал вторить привычным словам вечерней молитвы, которую начала читать Октавия.

Дочитав молитву, она замолчала и закрыла глаза. Тогда Леонс Пюибаро зажег свечу, подошел к пианино, посмотрел на блестевшие белизной клавиши и неуверенно, одним пальцем, стал подбирать мотив, самый свой любимый мотив духовной песни, которую поют дети, идущие к первому причастию, и в такт дрожащим звукам повторял вполголоса слова: «Небеса спустились на землю, о возлюбленный Господь, сойди в душу

мою...»

XII

Еще не выйдя на улицу, Бригитта Пиан обратила последние вспышки гнева против самой себя. Как могла она до такой степени не совладать с собой и что подумает чета Пюибаро? Ведь они-то не видят ее совершенства изнутри, не способны измерить ни его высоты, на его широты, ни его глубины. Будут судить по этой желчной вспышке, которой она, по правде говоря, и сама стыдилась. Что же такое природа человека, думала она, шагая по улице Мирей в направлении бульвара Виктора Гюго. Всю свою жизнь только и делаешь, что борешься с самим собой, и, когда уже веришь, что избавился от слабостей, которые в других тебя ужасают, вдруг при виде какого-то пианино выходишь из себя!

Правда, иной раз и соскакивала петля с той самой власяницы совершенства, над изготовлением которой неустанно и ежеминутно трудилась Бригитта Пиан, но то было в порядке вещей, и она утешалась тем, что происходит это без свидетелей. Но чета Пюибаро, особенно Октавия, принадлежала к числу тех, перед кем она уж никак не желала добровольно демонстрировать

свои слабости. «Они теперь меня за торговку считают», — думала Бригитта, которая непрерывно совершенствовалась в своей духовной жизни, как совершенствовалась бы, изучая иностранный язык. Моя мачеха приходила в ярость при мысли, что какие-то Пюибаро, не имеющие никакого представления о том, как вознеслась она за эти последние месяцы, могут из-за чисто внешнего проявления досады числить ее среди самых вульгарных ханжей. Установить с точностью, до каких степеней совершенства вознеслась Бригитта Пиан, ей мешало естественное чувство смирения. Но она охотно поднялась бы еще раз по мерзкой лестнице, лишь бы напомнить чете Пюибаро, что и святые иногда поддавались гневу. Святая ли она или нет? Во всяком случае, она сознательно старалась стать святой и, сделав один шаг вперед по пути святости, грудью отстаивала завоеванный плацдарм от малейшего посягательства. И не встретился на ее пути такой человек, который мог бы объяснить ей, что тот, кто пролагает себе путь к святости, постепенно обнаруживает все яснее свое ничтожество и слабость свою и приписывает одному лишь Богу — не из набожности приписывает, а в силу простой очевидности — те немногие добрые дела, совершенные под влияни-

ем благодати. А Бригитта Пиан проделывала этот путь в обратном направлении, терпеливо, день за днем накапливая поводы благодарить создателя за то, что он создал ее столь совершенным существом. Некогда ее смущала та сухость, какая неизменно присутствовала в ее отношениях с Богом. Но с тех пор, как она прочла, что чаще всего Бог помогает новообращенным выбираться из жизненной грязи, посылая им реальную ощутимую благодать, она поняла, что столь огорчительная для нее неощутимость этой благодати не что иное, как знак того, что лично она уже давно поднялась над низинами половинчатого благочестия. Таким образом, эта холодная душа, кичась своей холодностью, не задумывалась над тем, что никогда, даже делая первые шаги в поисках совершенства, не испытывала ничего похожего на любовь, и обращалась она к своему Учителю лишь с единственной целью — взять его в свидетели своих редкостных заслуг и своего быстрого продвижения к идеалу.

Однако, шагая по переулкам, соединяющим улицу Мирей с Интендантским бульваром, пробираясь сквозь туман, окутывавший весь квартал улиц Дюфор-Дюбержье и Виталь-Карль, Бригитта Пиан испытывала чувство душевного

неюта, причина которого была более глубокой, чем неприятное сознание, что она пала в глазах четы Пюибаро. Ее точило глухое беспокойство (иногда оно задремывало, но не исчезало окончательно), а вдруг она не добилась в своих счетах ажура и ее тоже будут судить с неумолимой строгостью, какая, по ее мнению, присуща незримому владыке. В иные дни, особенно часто это бывало после встречи с Октавией Пюибаро, вспышки света прорезали мрак, таившийся на дне ее души, и внезапно она начинала видеть себя всю. С ослепляющей очевидностью она обнаруживала (правда, лишь на мгновение), что существует иная жизнь, кроме ее жизни, иной бог, кроме ее бога. В мгновение ока исчезало куда-то обычно переполнявшее ее удовлетворение тем, что Бригитта Пиан — это Бригитта Пиан, и тогда она, отверженная и нагая, лязгала зубами на бесплодном бреге под медными небесами. Откуда-то издали доносилось пение ангелов, к которому примешивались ненавистные голоса Октавии и Леонса Пюибаро. Было это всего-навсего кратковременной вспышкой, и Бригитта с помощью особенно доходчивой и усердной молитвы ухитрялась обрести равновесие духа. Тогда она припадала к подножию алтаря и сегодня

тоже припала в нашем городском соборе, вернув тишину своей душе, и умилялась этой тишине, как знаку Учителя, скрытого от наших глаз. Но перед потирной чашей и перед статуей Богородицы, вознесенной над хорами, которой скульптор придал черты лица императрицы Евгении, в душе она вновь ощущала эту нависшую над ней угрозу осуждения и твердила про себя: «Пусть, я принимаю испытание, посланное мне свыше». В ее понимании это означало: «Учти, Господи, что я принимаю испытание, и не забудь внести это безропотное приятие в графу моих барышей». Но так как мир все не снисходил на ее душу, она направилась к исповедальне и призналась священнику, что согрешила, впав в гнев не то что несправедливый (ибо он был справедливым), но виновата она в том, что не сумела сдержать своего законного негодования в границах, строго очерченных милосердием.

Если бы на следующий день после завтрака господин Пюибаро пришел к Бригитте, его встретила бы особа, сложившая свое грозное оружие и полная решимости показать ему пример смирения, ибо в том, что касается смирения, мачеха не знала соперников. Но когда мой бывший наставник, бледный от волнения, спросил слугу,

дома ли мадам Бригитта, он услышал в ответ, что ее телеграммой срочно вызвали в Ларжюзон и она укатила туда вместе с обоими детьми: у мсье Октава Пиана случился удар, и текст телеграммы был столь малоутешительный, что мадам запаковала и увезла с собой все, что «есть только у нее самого траурного».

Кончина моего отца не породила никаких подозрений. Сэнтис (он снова вступил в должность приказчика после того, как рассчитали Виньотов) нашел его рано утром уже остывшим: отец лежал, уткнувшись лицом в коврик у кровати. Подобно большинству буржуа нашего края, Октав Пиан всегда много ел и слишком много пил, но, с тех пор как он остался один в Ларжюзоне, он стал пить безобразно и накануне своей кончины, очевидно, превзошел даже эту меру, так как бутылка арманьяка, начатая вечером, была обнаружена пустой в его кабинете, где он любил посидеть вечерком, покуривая у камина трубку и дожидаясь полуночи.

Теперь-то я знаю, что угрызения совести, мучившие мою мачеху, сводились в основном к мысли о том документе, который она, справедливо, нет ли, считала отягчающей уликой против моей покойной матери. Долгое время я думал, что, уез-

жая из Ларжюзона, она с умыслом оставила эту бумагу в ящике ночного столика и была уверена, что Октав Пиан рано или поздно ее обнаружит. Но я заходил слишком далеко. Теперь я могу до конца объяснить смысл тех слов, которые мачеха беспрерывно твердила, бродя по своей спальне в ночь перед похоронами и после похорон моего отца, и к которым я, лежа без сна и вглядываясь напряженно в темноту, прислушивался с ужасом, считая, что Бригитта Пиан лишилась рассудка. В щелку под дверью, прогрызенную крысами, я видел свет, через определенные промежутки свет пропадал, так как от меня его закрывала блуждающая тень мачехи. Хотя на ней были войлочные ночные туфли, старый паркет скрипел под ее шагами. «Давайте подумаем…» — повторяла она полным голосом. До сих пор в моих ушах стоит это «давайте подумаем», произнесенное тоном человека, который хочет любой ценой привести в порядок свои мысли: могла же она показать мужу этот документ, а ведь не показала. Старалась его никогда ничем не волновать, а ведь ей ничего не стоило положить конец культу памяти покойной Марты. А она неизменно воздерживалась. И вообще маловероятно, что он открывал именно тот ящик. Единственно, в чем ее можно

было упрекнуть, — это в том, что она не сожгла бумагу… не без задней мысли, что муж рано или поздно ее обнаружит: «Я положилась на Бога… Да, да, именно так: на суд божий. От Господа Бога зависело, откроет Октав этот ящик или не откроет. И даже тогда от бога зависело, поймет ли бедняга Октав смысл этой записи, обратит ли он на нее внимание. Впрочем, нет никаких доказательств, что он понял смысл этой записи. Установлено одно: документа в ящике нет, а печь в передней забита пеплом, видимо, он жег какие-то бумаги. Но ведь он уничтожил все касающееся его первой жены, и этот документ в том числе. Он был не в себе, пил, начал спиваться…» Понятно, я не точно воспроизвожу здесь ее слова, вернее, восстанавливаю по памяти ход ее рассуждений, опираясь на то, что мне стало известно впоследствии и чего тогда я еще не знал. Изо всех сил я пытался обнаружить след, по которому шла ее растревоженная совесть, но не слишком уверен, что эти «давайте подумаем», не смолкавшие в течение всей ночи, могли связать воедино ее разбредавшиеся мысли.

Мишель делала вид, что не замечает Бригитту, бедняжка Мишель, которая тоже переживала полосу угрызений совести, угрызений, общих

со мной, — мы с ней еще долго не могли от них отделаться, но сейчас, на закате дней, я не нахожу даже бледного их следа. Мишель искренне горевала об отце, которого обожала, однако все ее помыслы здесь, в Ларжюзоне, накануне похорон, были полны одним — увидит ли она Жана, и после траурной церемонии дочерняя печаль ее словно бы померкла, уступив место глубокому разочарованию: в числе провожающих Мирбеля не оказалось.

Так как она боялась, что ее трудно будет узнать под густой креповой вуалью, она поручила мне предупредить ее, когда появится Жан де Мирбель. Я решил исполнить просьбу Мишель и с жадным любопытством, но с холодным сердцем шарил глазами в толпе сходившихся в церковь горожан и крестьян. Среди всех этих тупых животных физиономий, этих хорьковых носов, лисьих и кроличьих мордочек, среди бычьих лбов, среди пугающе пустых женских глаз, уже давно потухших или, напротив, живых, блестящих, глупых, как глаза гусынь, я искал то лицо, тот высокий лоб под коротко остриженными вьющимися волосами, те глаза, те насмешливые губы, но искал напрасно. Ясно, Жан побоялся попасться на глаза нашей мачехе, но, так как по обычаю вдова не

провожает гроб на кладбище, я надеялся, что Жан решится прийти прямо туда.

Такое утро, как сегодняшнее, сулило прекрасный день, но вскоре бледное солнце заволоклось дымкой. До самой последней минуты — и стоя у открытой ямы, и во время церемонии, когда живые, казавшиеся уже полумертвыми в гуще навалившегося тумана, передавали из рук в руки лопаточку и скупые комья земли барабанили о крышку гроба Октава Пиана, который, может быть, вовсе и не был моим отцом, — до самой последней минуты я надеялся, что из толпы теней вынырнет Жан… Несколько раз Мишель судорожно хватала меня за руку, она тоже ждала и ошибалась. Еще много-много времени мы оба с сестрой со стыдом вспоминали эти минуты. Однако боль, какую мы испытывали при этом, свидетельствует, что мы нежно любили отца и сумели сохранить эту нежность. Ныне я уже не ополчаюсь на тот закон, которому повиновалась моя сестра на маленьком ларжюзонском погосте. Она принадлежала к числу тех чистых и тех гармонически уравновешенных натур, чей инстинкт, лишь за редкими исключениями, не совпадает с их долгом и кого сама природа побуждает совершать как раз то, чего от них ждут

небеса.

К вечеру мачеха удалилась к себе в спальню, и мы до самой ночи слышали ее шаги. Вопреки всем обычаям никто из нас не принял участия в поминальном обеде, и мы с Мишель, забившись в гостиную на втором этаже, слышали голоса гостей и звон посуды. За отсутствием родственников на поминках нас представлял наш нотариус и опекун мсье Мальбек. После кофе он поднялся к нам, пунцовый, почти веселый. К счастью, мы знали, что его ждут клиенты и что нам недолго придется терпеть его присутствие Если бы я написал роман, я непременно набросал бы на этих страницах портрет Мальбека, и получился бы, безусловно, забавный тип из тех, про кого люди обычно говорят: «Ну просто бальзаковский персонаж…» Но его роль в нашей жизни сводилась к тому, чтобы освобождать нас от всего, что мешало бы нам сосредоточиться на движениях нашего сердца и ума. Он надоедал мне иной раз до ужаса. Когда он у себя в нотариальной конторе заставлял меня выслушивать тексты документов, которые я подписывал инициалами, я спасался тем, что мысленно рассказывал себе разные истории. В юности я считал (или действовал, словно и правда так думал), будто такие вот стареющие,

лысые субъекты в пенсне с бакенбардами, словно нарочно загримированные под деловых людей, свободны от любых страстей и все человеческие чувства им чужды.

После отъезда мсье Мальбека, после того как разъехались последние кареты, мы поддались наваждению, казавшемуся нам кощунством, — мы говорили только о Мирбеле в этой комнате, где обычно курили и где за перегородкой еще вчера стоял гроб нашего отца. В этот день мы знали, что теперь ничто не помешает нам отправиться к Жану де Мирбелю в Балюзак. Кладбище, куда мы завтра пойдем, находится за чертой поселка, как раз на дороге в Балюзак. Мы легко доберемся туда пешком. Бригитта Пиан, по всей видимости, не способна будет за нами уследить, а смерть отца освобождала Мишель от данной ею клятвы.

На следующий день туман был еще плотнее, чем накануне. Так что вряд ли мы могли встретить кого-нибудь в лесу. Стоя у могильного холмика, покрытого уже увядшими цветами, Мишель дважды заставила себя прочитать «De Profundis»[41], показавшийся мне бесконечно длинным. Затем, погрустневшие при мысли,

[41] Примечания: 41
Начало псалма «Из глубины взываю к тебе» *(лат.).*

что мы оставляем одного нашего бедного папу, мы так быстро зашагали, что наперекор туману на лбу у меня даже выступили капельки пота. Мишель шла впереди в белом беретике (у нее не было с собой другой траурной шляпки, кроме той, в которой она вчера ходила на кладбище). Жакет туго обтягивал талию, уже и тогда не особенно тонкую. Да и плечи у нее были слишком прямые. Моя память почему-то удержала эти недостатки ее фигуры. Но от этой коренастой девочки веяло силой, бьющей через край жизненной энергией.

Несколько домиков, составлявших поселок Балюзак, показались нам погруженными в мертвый сон. Стояли они вразброд, так что улицы не получалось, не было также намека на площадь. Дом священника стоял поодаль, отделенный от церкви погостом. На другом конце поселка находилась новая школа, а против нее — кабачок, он же бакалейная лавка, кузница, а также аптека Вуайо, которая в тот день была заперта. Больше двух третей прихожан аббата Калю жили на своих фермах в нескольких километрах отсюда. По мере нашего приближения тревога Мишель заразила и меня. Мы стали как бы одним общим сердцем, одним дыханием. Я подвернул черные панталоны над своими траурными ботинками

на пуговках.

Огород имел заброшенный вид. «Подожди, не стучи, дай я отдышусь», — сказала Мишель. Она не сделала того, что делают в подобных обстоятельствах теперешние девушки, — не попудрилась, не накрасила губ, у нее и сумочки-то с собой не было, только карман в нижней юбке. Я ударил молотком в дверь. Удар прозвучал гулко, словно в пустом склепе. Прошло полминуты, затем мы услышали скрип стула, шлепанье войлочных туфель. Нам открыл дверь призрак, и этим призраком был аббат Калю. После нашей встречи на Интендантском бульваре он исхудал еще сильнее.

— Ох, дорогие детки... Я собирался было вам написать... Хотел непременно прийти... да не решился из-за мадам Пиан, понимаете?

Он ввел нас в гостиную, открыл ставни. Нас сразу словно окутал ледяной покров. И когда аббат неуверенно осведомился, не боимся ли мы простудиться, я ответил, что мы действительно очень разгорячились и, если можно, лучше подняться на второй этаж. Аббат чуть нахмурился, извинился, что там у него беспорядок, и, еле заметно пожав плечами, сделал нам знак следовать за ним. Я чувствовал, что Мишель вся напряглась,

ожидая внезапного и желанного появления: вот сейчас Жан свесится через перила. А может, он стоит за дверью, которую как раз в эту минуту открывает аббат Калю.

— Кровать не убрана, — извинился аббат. — Мария стареет, да и я нынче утром что-то занемог…

Что за мерзость запустения! На нечистых серых простынях валялись книги. Среди бумаг, разбросанных на камине, красовалась тарелка с остатками пищи. В камине, прямо на золе, стоял кофейник. Аббат Калю пододвинул нам два стула, а сам сел на постель.

— Мне очень хотелось бы вам сказать, что я разделяю ваше горе. Но сейчас я не в силах думать ни о ком и ни о чем. Я в плену у собственных бед. Может быть, вы знаете, где он? Ведь должны же ходить какие-то слухи… Мне лично ничего не известно, и боюсь, что мне так ничего и не будет известно, ибо кто-кто, а семья, вы сами понимаете, не сообщит мне о результатах поисков! Простите, что я так говорю… С тех пор, как это стряслось, я и десятком слов ни с кем не перемолвился… Здешние люди меня сторонятся или открыто над мной смеются…

— Что стряслось? — спросил я.

Но Мишель все уже поняла.

— Что с ним случилось? С ним ничего не случилось?

Аббат Калю прикрыл ладонью руку Мишель, судорожно вцепившуюся ему в запястье, и повторил, что ничего не может нам ответить, что именно ему никто ничего не сообщает и, конечно, не сообщит… Только тут он заметил, что мы сидим с ошалелым видом.

— Да неужели вы не знаете, что он ушел? Значит, вам не говорили, что он ушел? Вот уже неделя, как ушел…

Мы с Мишель воскликнули одновременно:

— Ушел? Почему?

Аббат воздел вверх руки, потом бессильно уронил их на колени.

— Почему? Заскучал, разумеется… Да и какое ему здесь было житье со стариком священником… Но сам он никогда бы до этого не додумался, тут явно кто-то вмешался… Нет-нет, я не могу вам ничего сказать — вы еще дети. Ох, Мишель, Мишель, только вы одна могли бы… одна вы…

Впервые в жизни я видел, как плачет старый человек, священник. И плакал он не так, как плачут взрослые. Его голубые глаза, в которых стояли слезы, должно быть, были совсем такие, как шестьдесят лет назад, когда их утирала ему,

мальчику, в минуты великих ребячьих горестей его мама. Да и губы он кривил совсем по-детски.

— А я-то думал, что сделал все, что мог… Я обязан был не отставать от вас, Мишель, добраться до вас, силой привезти вас сюда. Но, видно, у меня разума не хватило: затеял с вами какую-то дурацкую переписку! Конечно, вы не удержались от искушения и вложили в конверт, адресованный мне, письмо для Жана… Я обязан был это предвидеть. А знаете, дело обо мне передано в епархию. Ваша мачеха, милейшая дама, направила туда довольно-таки подробный навет. На мое счастье, кардинал Леко не так грозен, как может показаться на первый взгляд. Ясно, его высокопреосвященство поднял меня на смех! Обозвал меня «посланцем любви» и прочитал к случаю латинские стихи. Очевидно, заранее было решено обернуть дело в шутку, не придавать ему серьезного значения. Кардинал — человек жесткий, от его шуток страх берет, но у таких людей, как он, сердце обычно уживается с незаурядным умом. Я и сам понимаю, что он был со мной очень добр…

На мгновение аббат прикрыл лицо своими широкими ладонями. Мишель спросила, что ей теперь надо делать. Он отвел руки и посмотрел

на Мишель, его мокрое от слез лицо осветилось улыбкой.

— О, для вас, Мишель, все это очень просто: коль скоро вы будете живы и он будет жив, ничего еще не потеряно… Вам, надеюсь, известно, что вы для него представляете? Отдаете ли вы себе отчет в глубине его чувств? А вот я, что я могу сделать? Нет, знаю, человеку всегда остается возможность страдать, страдать за других. Верю ли я в это? — спросил он сам себя вполголоса, словно забыв о нашем присутствии. — Да, верю. Слишком жестока доктрина, утверждающая, будто наши поступки ни к чему не ведут, будто все заслуги человека бесполезны и ему самому, и тем, кого он любит! В течение многих веков христиане верили, что бедный крест, на котором они были распяты справа или слева от Господа, помогает их собственному искуплению и искуплению любимых ими существ… А потом Кальвин лишил их этой надежды, но я-то, я еще не утратил ее… Нет, — повторил он, — не утратил.

Мы с Мишель переглянулись, мы решили, что он бредит, и испугались. Аббат вытащил из кармана большой носовой платок в лиловую клетку, вытер глаза и, сделав над собой усилие, заговорил твердым голосом.

— Ты, Луи, — обратился он ко мне, — ты можешь написать в Ла-Девиз: вполне естественно, что ты осведомляешься у графини о своем товарище. Конечно, ее ответ придется перетолковать на человеческий язык, потому что никто так не умеет лгать, как она... Может быть, он уже вернулся. Далеко они не уедут, — добавил он.

— Значит, он не один? — спросила Мишель.

Аббат пристально смотрел на огонь, куда подбросил еще одно полено. Я заметил, что путешествовать без денег нельзя и что Мирбелю домашние почти ничего никогда не посылали.

— Он все время на это жаловался. Помните, господин кюре?

Аббат Калю по-прежнему ворошил кочергой в камине и словно не расслышал моего вопроса. Мы поднялись и стояли перед ним, а он, видимо боясь новых вопросов, нетерпеливо ждал нашего ухода. Мишель сдалась первая. Она бросила прощальный взгляд на грязную, неприбранную комнату и начала медленно спускаться с лестницы, ведя ладонью по этим перилам, которых столько раз касалась рука Жана. От сырости обои отклеились, плиточный пол в прихожей был покрыт жидкой грязью.

— Если вы что узнаете, непременно напишите

мне, — проговорил аббат. — И я тоже вам напишу…

— Я не спрашиваю у вас имя той особы, с которой Жан уехал, — неожиданно сказала Мишель. (Я потом узнал, что Сэнтис передал ей слухи, ходившие насчет Гортензии Вуайо и мальчишки-воспитанника аббата Калю.) — Впрочем, об этом не так уж трудно догадаться, — со смехом добавила она.

До сих пор я помню этот смех. Кюре распахнул входную дверь, и туман, пронизанный запахом дыма, вполз в прихожую. И тут аббат Калю заговорил очень быстро, не глядя на нас, не отпуская створки двери:

— Что вам из того? Вам это совершенно неважно, Мишель, ведь нет на свете другого человека, который значил бы в его глазах больше, чем вы. Вы были его отчаянием. Что вам из того, — повторил он, — что другая сумела воспользоваться этим просто потому, что была здесь, рядом… Сжальтесь надо мной, не расспрашивайте меня ни о чем… Впрочем, здесь вам любой об этом расскажет. Вам даже нет нужды никого спрашивать. Но не бедному старику священнику говорить с вами на такие темы: ведь вы еще дети. Все, что я могу позволить себе, Мишель, — сказать вам

еще раз: если Жану суждено быть спасенным, то только через вас. Что бы ни случилось, не бросайте его. Он не предал вас по-настоящему… Да и меня тоже не предал. Я привязался к нему, как к сыну, посланному мне на старости лет; одно только — забыл спросить его согласия. Я сам присвоил себе родительские права, но на него-то они не накладывают никаких обязательств. Он оскорбил лишь одного Господа Бога, а я не сумел научить Жана любить Его, он так Его и не познал за все время, что прожил здесь со мной, и остался таким, как в первый день, помните, когда вы поспорили в саду!

Еще бы я не помнил: как ни юн я был, прошлое уже стало для меня той бездной, где самые, казалось бы, второстепенные события моего детства превращаются в утраченное блаженство.

Быть может, именно в тот самый вечер, заперев за нами дверь и подождав, пока нас поглотит туман, аббат Калю написал эти строки, которые находятся сейчас перед моими глазами: «*Оценить прочность наших связей с Богом больше всего и полнее всего помогает нам характер нашей привязанности к людям, в частности, к одному какому-нибудь человеку. Если источником всех наших радостей и всех наших мук является этот*

человек, если наш душевный покой зависит от него одного, все ясно: мы отошли от отца небесного так далеко, как только можно отойти, не совершив преступления. Не то чтобы любовь к отцу небесному обрекала нас на душевную черствость, но она обязывает нас питать к созданиям божьим ту любовь, которая не была бы самоцелью, чистую любовь, почти непостижимую для тех, кто ни разу не смог испытать ее. Я ждал, что этот ребенок подарит мне отцовские радости, а ведь я пожертвовал ими ради тебя, Господи, приняв на себя духовный сан. Как же мог я подавить и обуздать жившее в нем животное начало, если, сам того не сознавая, находил в этом какую-то прелесть? Ибо куда легче ненавидеть зло в себе самом, чем в любимом существе».

Мишель шла впереди меня, а когда я пытался ее догнать, она ускоряла шаг, показывая тем, что предпочитает быть в одиночестве. Она высоко несла голову, и ничто в ее внешнем облике не выдавало уныния. А мне важнее всего было поскорее добраться до дому, пока мачехе не донесли о нашем долгом отсутствии: эта тревожная мысль оттесняла все прочие. Когда мы пересекли прихожую, направляясь каждый в свою комнату, дверь маленькой гостиной приоткрылась и

Бригитта окликнула нас. Не хотим ли мы чаю, спросила она. После прогулки необходимо согреться. Мишель ответила, что не голодна, но, так как мачеха настаивала, сестра согласилась, не желая, без сомнения, чтобы та подумала, будто она, Мишель, боится и избегает разговоров. Итак, мы вошли в гостиную, где уже был накрыт стол. У Бригитты Пиан было не то выражение лица — уж я-то хорошо ее знал, — какое предвещает начало военных действий. Однако я не сомневался, что она догадывается, откуда мы явились, и, хотя я понимал, что она с трудом сдерживает гнев, он как-то не вязался с ее усталой и удрученной миной. Она сама налила нам чаю, намазала маслом тартинки, причем подала Мишель первой, и наконец спросила как о чем-то само собой разумеющемся, видели ли мы аббата Калю. Мишель кивнула, но гроза, которую я со страхом ждал, не разразилась.

— Тогда, значит, — проговорила мачеха грустным и соболезнующим тоном, — вы уже, должно быть, знаете…

Мишель дерзко прервала ее: да, мы действительно все знаем, но она лично предпочитает, чтобы об этом вообще не было разговоров… И так как она направилась к дверям, Бригитта

окликнула ее:

— Постой, Мишель, не уходи.

— Предупреждаю, если вы собираетесь читать мне проповеди, то я не в состоянии…

Вызывающий тон сестры, казалось, ничуть не задел Бригитту, у которой, без всякого сомнения, был свой замысел. Но какой?

— Я вовсе не собираюсь читать тебе проповеди, успокойся. Я только хочу, и мне это очень важно, чтобы ты признала мою правоту.

Лицо Мишель приобрело жесткое выражение, она старалась догадаться, с какого фланга последует атака. Поднеся чашку к губам, она мелкими глотками прихлебывала чай и, таким образом, была свободна от необходимости отвечать и вынудила Бригитту поднять забрало.

— Ты мне скажешь, что не следует ждать признания своей правоты от людей и что голос совести в данном случае ценнее любых свидетельств. Но я, как и все прочие, слабое существо и хочу, нет-нет, не восторжествовать над тобой, бедная моя девочка, а скорее уж для собственного спокойствия, да, для спокойствия духа, прошу тебя признать открыто, что я видела грозящую тебе опасность, что этот мальчишка еще хуже, чем я опасалась, и что я сумела защитить тебя от

него так же, как сделала бы это твоя родная мать, если не лучше…

Мы уже давным-давно привыкли к тому, что все поучения Бригитты Пиан, так сказать, целенаправленны, и поэтому первым нашим побуждением, как и обычно, было угадать, куда она гнет. Не сомневаюсь, что в эту минуту она говорила, пожалуй, искреннее, чем когда-либо. По ее поведению можно было догадаться, что в данном случае слова ее продиктованы страхом, не дававшим ей ни минуты передышки после кончины нашего отца. Но мы тогда еще не имели об этом ни малейшего представления. А она, Бригитта, ждала, что ответ сестры ободрит ее. Мачеха, видимо, полагала, что Мишель не удастся уклониться и она вынуждена будет признать ее правоту. Поэтому Мишель была далека от мысли, какой удар она наносит Бригитте, когда крикнула ей прямо в лицо:

— Вы хотите, чтобы я признала, что ваша взяла? Пожалуйста, охотно признаю. Только вы, именно вы разлучили нас. Это из-за вас он впал в отчаяние. И если он погиб, то вы виновница его гибели, и если я сама…

Нет, небеса не разверзлись! Бригитта Пиан все так же сидела в кресле, только против своего

обыкновения чуть сгорбилась. И ответила она, почти не повышая голоса:

— От горя ты потеряла разум, дорогая Мишель… Или тебе не все рассказали. Если кто его и погубил, то погубила эта Вуайо.

— Одно мое письмо, одно-единственное, могло спасти его от этого шага. Если бы я могла с ним поговорить, если бы вы не встали между нами, да еще с таким чудовищным ожесточением, что пытались даже погубить аббата Калю в глазах его начальства…

Голос Мишель пресекся, она разревелась, впервые в жизни она рыдала перед мачехой, словно бы непогрешимый инстинкт ненависти шептал ей, что сейчас ее врагиня не будет упиваться слезами падчерицы, напротив, они довершат ее смятение.

— Да нет же, нет же, — твердила Бригитта Пиан тем самым голосом, каким бормотала что-то несвязное тогда ночью у меня под дверью. — Согласись по крайней мере, что ты имела дело с человеком свихнувшимся, со злодеем…

— Со злодеем? Злодей только потому, что в восемнадцать лет дал увлечь себя…

Мишель запнулась и не смогла выговорить «женщине».

— Да, — повторила Бригитта с той страстью в голосе, с какой человек старается оградить свой душевный покой. — Да, именно со злодеем, я правильно сказала. Ладно, не будем говорить об этой женщине, раз тебе неприятно. Так или иначе, он сын благородных родителей, а повел себя, как бродяга с большой дороги, и, если существует на свете людское правосудие, его следовало бы засадить в тюрьму…

Мишель пожала плечами. Слова мачехи показались ей до такой степени несуразными, что весь пыл ее сразу угас. Поэтому она ограничилась ответом, что Бригитта Пиан — а это всем известно — не помнит себя от счастья, когда речь заходит о таких вот историях. Если бы за подобные преступления сажали всех юношей, то никаких тюрем не хватило бы, пришлось бы строить новые…

— Не все юноши взламывают секретеры, — отпарировала Бригитта. — Не все бегут из дома, украв сбережения своего благодетеля.

Она бросила эту фразу без заранее обдуманного намерения, очевидно, полагая, что нам известны все обстоятельства бегства Жана. Но, взглянув на искаженное ужасом лицо Мишель, она только сейчас поняла свой промах. Бригитта вскочила с места, чтобы поддержать Мишель, но та оттолк-

нула ее руку и оперлась о мое плечо. Я стоял у стены. Мишель пробормотала:

— Это клевета. Это все, конечно, выдумали Виньоты…

— Как, бедные мои детки, значит, вы ничего не знали?

Бригитта обвела нас удивленным и счастливым взглядом. Никогда еще мачеха не говорила с нами таким мирным, чуть ли не нежным тоном. Теперь она могла быть спокойна: мы вынуждены будем, хотим мы того или не хотим, подтвердить, что самая любящая мать поступила бы точно так же. Сумерки сменились ночным мраком. Лицо Бригитты было освещено только отблесками огня, пылавшего в камине.

— Несчастному аббату Калю не хватило мужества сказать вам о гнусном поступке своего воспитанника, как это я сразу не сообразила. Очень сожалею, Мишель, дорогая, что я так грубо нанесла тебе удар. Теперь-то ты понимаешь? Я защищала тебя от злодея. Я догадывалась, к чему идет дело, я специально наводила справки у графа де Мирбеля — увы, слишком поздно — и за это прошу у тебя прощения; я разрешала тебе видеться с этим порочным мальчиком — вот в чем моя вина, огромная вина. Как я могла поло-

житься на уверения аббата Калю? Правда, и на его счет я тоже хранила иллюзии…

Приняв наше молчание за знак согласия, мачеха поддалась невинному удовольствию разнежиться, пооткровенничать.

— Бывают минуты, — продолжала она, — когда видишь все недостаточно ясно. Верьте мне, я сама иной раз подумывала… Да-да, сомневалась… Смерть вашего отца ударила меня больнее, чем вы можете думать. Мы отвечаем за все души, которые Бог послал нам на нашем пути: «Что сделал ты с братом твоим?» Этот вопрос, который Бог задал Каину, я задавала себе перед телом, столь неожиданно покинутым душой. Скоропостижная кончина сама по себе несет некое указание, которое приводит нас в трепет… Меня все сильнее охватывает страх за всех, за кого я в ответе. Иной раз и я могла заблуждаться. Но, Бог свидетель, я всегда действовала к вящей славе его и ради блага душ человеческих… Ты, кажется, что-то сказала, Мишель?

Мишель отрицательно покачала головой, оторвала себя от стены и вышла из комнаты. Я бросился было за ней, но мачеха остановила меня:

— Нет, не надо, оставь сестру наедине с ее мыс-

лями.

Прошло несколько минут. Бригитта Пиан ворошила кочергой поленья в камине, и временами яркий язык пламени освещал ее большое лицо, потом снова огонь замирал, и тогда во вновь наступавшей темноте я видел только ее лоб и мясистую мякоть бледных щек.

— Нет, — вдруг сказал я, — лучше ее одну не оставлять.

Я вышел из гостиной и поднялся на третий этаж, где помещалась спальня Мишель. Я постучал, никто не отозвался. Я открыл дверь и подумал, что Мишель, должно быть, лежит, не зажигая огня, она часто так лежала. Я окликнул ее вполголоса, потому что боялся пустых комнат, темноты. Но нет, в спальне Мишель не оказалось. Я бросился искать ее и обшарил весь дом — от кухни до бельевой. Никто ее не видел. Я вышел на крыльцо: ночь выдалась холодная, вся залитая светом невидимой луны. Я вернулся в гостиную.

— Я не знаю, где Мишель, — еще с порога крикнул я, — я везде ее искал…

— Ну и что же, она вышла, может быть, отправилась в поселок. К чему, дурачок, принимать такой трагический тон?

Мачеха поднялась. И так как я, рыдая, пробор-

мотал в ответ, что Мишель в такой час нечего делать в поселке, Бригитта расстроенно пробормотала, что ее «эти дети совсем с ума сведут». Но последовала за мной на крыльцо. Кто-то шел по аллее.

— Это ты, Мишель?

— Нет, мадам, это я, Сэнтис.

Сэнтис, заклятый враг мадам, вернулся на свою прежнюю должность, и было бы неприлично выгнать его сразу же после смерти отца. Он страдал одышкой, и мы еще издали услышали в темноте его хриплое дыхание. Он сообщил нам, что дал мадемуазель Мишель фонарик, на ее велосипеде фонарика нет. Она велела передать мадам, что ей необходимо срочно уехать, пускай к ужину ее не ждут.

— Куда же она поехала?

— И ты еще спрашиваешь? В Балюзак, конечно! В конце концов, может, это и к лучшему, — добавила Бригитта Пиан, и мы вернулись с ней в гостиную, куда уже принесли лампу. — Она, видимо, надеется, что аббат Калю сумеет объяснить ей все происшествие в смягченном виде… Но это пустое! Кража со взломом — это кража со взломом.

Она погладила меня по голове.

— Ох, бедный мой мальчик, — вздохнула она, — какие примеры ты видишь в таком возрасте, когда о подобных вещах тебе и знать не полагается, но зато какой урок, Луи! Взгляни на свою сестру, она, безусловно, хорошая девочка… И однако никакие силы небесные не могли ее удержать от этой поездки зимней ночью через лес. Вот что делает с человеком страсть, вот до чего она нас изничтожает. Обещай мне, что хоть ты не будешь таким, что ты не позволишь превратить себя в животное.

Она хотела поцеловать меня в лоб, но я уклонился от поцелуя и сел в сторонке, подальше от лампы.

XIII

Ненависть, которую я почувствовал к нашей мачехе, не выразила себя ни одним словом. Однако Бригитта, должно быть, ощутила ее дыхание в тот вечер, когда мы с ней поужинали в одиночестве и до одиннадцати часов ждали возвращения Мишель. На сей раз мачеха впустую окликнула ее: Мишель сразу прошла к себе на третий этаж, даже не заглянув в гостиную. Я односложно отвечал на рассуждения мачехи, вручившей мне подсвечник и свечу. Чуть позже, когда я все еще не решался вытянуть ноги под ледяным одеялом, она вошла ко мне в спальню, на ней уже был ее аметистовый капот, но тяжелая коса не поблескивала тускло за спиной, жирная змея попалась в ловушку и сразу же, от шеи, забилась под халат.

— Ночь очень холодная, я принесла тебе грелку, — сказала мачеха.

Подсовывая грелку под одеяло, она пощупала мои ноги. Впервые в жизни она пришла поцеловать меня на ночь, подоткнуть одеяло.

— Бедняжка Мишель не посмела признаться нам, что аббат Калю окончательно открыл ей глаза. Я понимаю ее страдания, не надо к ней

сейчас приставать, позже она сама поймет, что я была права… А как ты думаешь? — допытывалась она и, подняв свечу, заглянула мне в лицо.

Но меня уже сморил спасительный сон. Закрыв глаза, я повернулся к стене и погрузился в полудремоту, как будто нырнул под воду. Мачеха вздохнула: «Какое счастье так сразу засыпать», — и ушла к себе в спальню, ушла к своему одиночеству. Ночью меня разбудил скрип половиц. Я понял, что ее снова мучают угрызения совести, и возрадовался этому самым недостойным образом: тогда я еще не знал всего ужаса пытки, какую налагают на себя ревнители Бога, не зная, что Бог есть Любовь.

На следующий день за первым завтраком Мишель, бледная, с темными кругами под глазами, не слишком охотно отвечала на мои вопросы.

— Аббат Калю утверждает, — сказала она, — что назвать это воровством нельзя. По мере надобности он давал Жану немного денег. В тот раз Жан взял их без спроса, но он отлично знал, что его семья немедленно покроет недостачу, он оставил расписку вместо денег, которые взял, и аббат уверен, что рано или поздно Жан их вернет…

Я спросил Мишель, правда ли, что Жан сломал замок. Мишель нехотя подтвердила это, но,

заметив мою гримасу, отказалась отвечать на дальнейшие вопросы и повернулась ко мне спиной. Странное дело, поступок Жана, казавшийся мне чудовищно ужасным, вдруг снова пробудил мою нежность к нему. По доброй своей воле я не мог бы ни отречься, ни предать его и трепетал при мысли, что связан узами любви с человеком, способным на преступление.

Уже много позже, и то по крупинкам, я узнал подоплеку этого происшествия, и узнал не от аббата Калю, а от самого Жана. И сейчас еще порой, когда я являюсь с очередным визитом к графине де Мирбель, она говорит об этих событиях без малейшего чувства неловкости. «Вот вам прекрасный сюжет для романа, — твердит она своим обычным тоном лакомки. — Я, конечно, сама могла бы воспользоваться им, но дарю его вам. Все равно я испортила бы его, это не мой жанр, это же не любовная история...» В ее глазах любовью имеет право называться только великосветский адюльтер.

В основе этого воровства и последовавшего за ним бегства, так тяжело отразившихся на судьбе Жана де Мирбеля, лежит, в сущности, «добрый поступок» аббата Калю, совершенный им много лет назад, еще тогда, когда он только поселился

в Балюзаке.

В ту пору своей жизни он проходил через полосу самых горьких для священнослужителя испытаний: его угнетала мысль, превратившаяся в уверенность, — большинство людей, думалось ему, в нем не нуждаются, мало того, им нет дела до царствия небесного, они даже представления не имеют, что это такое, и никогда их не касалась благая весть. На их взгляд, существует некая система ритуалов, предусмотренных для тех или иных случаев жизни, а духовенство, так сказать, только исполнители. Не более того. Что же тогда остается священнику, как не замкнуться, поддерживать в собственном своем сердце робкий огонек лишь для себя самого и малого числа душ и ждать, пока в нашем мире не проявит себя во всем своем блеске мысль господня!

В таком состоянии духа находился аббат Калю, когда после двенадцатилетнего пребывания в духовной академии он в результате наветов, разоблачающих его недостаточную ортодоксальность, вынужден был покинуть кафедру. Он смиренно согласился принять приход в Балюзаке,

в самом захолустном углу ландов[42], хотя и знал, что приход этот пользуется в епархии дурной славой. Дни свои он заполнит молитвой, будет совершенствовать свои знания. Все силы отдаст малочисленной пастве, которую ему доверили, не ожидая особого успеха. В первое же воскресенье после приезда в Балюзак он произнес проповедь; говорил он, как обычно, самыми простыми словами, какими только умел, перед сорока своими слушателями, впрочем, не так уж стараясь приспособиться к их уровню. Темой проповеди он взял как раз миссию священнослужителя: он словно бы размышлял вслух, и в первую очередь для самого себя. А на следующий день он обнаружил под дверью письмо на восьми страницах без подписи: какая-то женщина слушала его, поняла его. Очевидно, эта особа получила кое-какое образование. Пришла она в церковь, говорилось в письме, просто от нечего делать, из любопытства, а вышла оттуда потрясенной; однако она упрекала священников за то, что они ждут, когда к ним придут заблудшие овцы, вместо того

[42] Примечания: 42

Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100–150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7–8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

чтобы по примеру своего Учителя самим искать их, следовать за ними, даже взвалить их себе на рамена и унести с собой. В письме намекалось, что есть такие постыдные деяния, в коих человек не может признаться вслух, что существует такое отчаяние, от коего не может избавиться своими силами ни одна живая душа, если Господь не сделает к ней первого шага.

В то утро аббат Калю решил, что ему дано знамение свыше. По своей натуре он (подобно Паскалю) был склонен ждать от Бога видимых проявлений, материальных свидетельств. Этот крик, исторгнутый его первой же проповедью в этой затерянной деревушке, он счел поддержкой, данной ему в печали его, ответом на его тревогу, а также кротким упреком, ему адресованным. К следующей воскресной проповеди он готовился с особым тщанием и, хотя придал ей обобщающий смысл, взвешивал каждое слово, дабы незнакомка могла понять ответ, предназначавшийся ей одной. Бросив взгляд на молящихся, он сразу же обнаружил за колонной пару карих, устремленных на него глаз, свежее, но безвольное личико. В тот же день он узнал, что это учительница из Валландро, что она частенько бывает в Балюзаке, а зачем бывает — неизвестно; в ответ на

его расспросы люди только хихикали да качали головой. Аббат Калю записал в своем дневнике, что, подымаясь на кафедру, он боролся с собой и не без смятения довел до конца свою проповедь. Но дальнейших записей об этом происшествии нет, вернее, есть только туманные намеки, непонятные для посторонних, ибо по просьбе учительницы он тогда же наложил на нее покаяние и был связан тайной исповеди.

Я расскажу здесь только то, что сам знаю, и расскажу по возможности глухо. Учительница, еще невинная девушка, подпала под власть чар Гортензии Вуайо — так сказать, амазонки (и пусть не думают, что такая разновидность неизвестна в деревнях). Есть такие существа, которые раскидывают свою паутину и могут поститься годами, пока в их сети не попадется жертва: терпение порока неиссякаемо. И достаточно такому существу только одной-единственной жертвы и только одной-единственной встречи, дабы обеспечить себе годы мирного насыщения. В конце того сентября, когда господин Калю стал балюзакским кюре, аптекарша Гортензия Вуайо уехала на воды в Виши. Хотя Гортензия считала, что ее подружку не так-то легко будет приручить, главным образом из-за угрызений

совести, однако она даже не представляла себе, что ее владычество может быть поколеблено, и ничего не опасалась, тем более что на десять лье вокруг не было, по ее мнению, никого, кто бы мог повлиять на эту девицу. Поэтому она не приняла всерьез письмо, полученное в один прекрасный день и извещавшее об окончательном разрыве, но все-таки ускорила свое возвращение. Прибыв в Балюзак, она сразу же обнаружила своего врага и решила, что одолеть его будет легче легкого.

И опять-таки, верный своему обещанию ничего не выдумывать, я не стану описывать перипетии этой борьбы, тем паче что сам мало что о ней знаю. Но, очевидно, война велась не на шутку, если уж аббат Калю, никогда не обременявший просьбами начальство и ненавидевший подобные демарши, сумел добиться перевода раскаявшейся грешницы в другой город. На своем новом месте девушка, однако, не была защищена ни против писем аптекарши, ни против ее частых визитов, тем более что Гортензия первая в Балюзаке купила себе в этом году автомобиль. Но накануне своего второго визита она получила короткое письмецо, опущенное в Марселе: девушка извещала свою бывшую подругу, что она проходит в монастыре, готовящем сестер-миссионерок,

искус послушницы, и назначала ей свидание на небесах.

Вскоре аббат Калю понял, хотя никаких объяснений не последовало, что пробудил в душе аптекарши ненависть, которая никогда не сложит оружия. Его мало трогала опасность, грозившая ему самому, ибо он считал себя неуязвимым в данном случае; он тревожился лишь о самой Гортензии, так как был способен вникнуть в тайны ее мук, как бы постыдны они ни были. Ибо он всегда был чрезвычайно внимателен к непредвиденным ответным ударам, неведомым еще последствиям наших поступков, когда мы, пусть даже с самыми лучшими намерениями, вмешиваемся в чужую судьбу.

Пока что врагиня аббата проявляла себя лишь на той территории, где можно было легче его уязвить. В ту пору антиклерикальные страсти достигли высшего накала; объединившись с балюзакским учителем и его женой, аптекарша создала своего рода комитет пропаганды, и вскоре вся округа почувствовала на себе плоды его деятельности. Но в самом Балюзаке Гортензия Вуайо пользовалась чересчур плохой репутацией, и удары ее почти не достигали цели, так что года два-три аббат считал, что ему нечего

опасаться. Однако без особой нужды он старался мимо аптеки не проходить, а когда где-нибудь на перекрестке сталкивался лицом к лицу с Гортензией, он первый отворачивался — так смущал его этот беспощадный взгляд светлых глаз.

Она могла годами подстерегать свою добычу; но случай отомстить представился ей довольно быстро. Однако вполне понятно и даже извинительно, что поначалу аббат Калю не поостерегся, он знал, что вышеупомянутая дама молодыми людьми не интересуется, а с другой стороны, и во внешности ее не было ничего привлекательного. Гортензия чаще всего щеголяла в так называемых «жюп-кюлот» — в те времена такие полуюбки-полубрюки считались обязательными для велосипедисток; кроме того, она носила болеро с большим декольте и широкий пояс с огромной серебряной пряжкой, изображавшей затейливое сплетение Г и В. Прическу она себе делала по тогдашней моде а-ля Клео де Мерод[43], то есть расчесывала свои желтые волосы на прямой пробор и гладко их прилизывала, до самых мочек напуская на уши, а на затылке очень низ-

[43] Примечания: 43

Клеопатра де Мерод (1875–1966) — французская танцовщица, звезда Прекрасной эпохи — периода европейской истории между последними десятилетиями XIX в. и 1914 г.

ко закручивала огромный пучок, утыканный шпильками. Все лицо ее было сплошь усеяно веснушками, особенно густо они сидели на носу и на скулах, оттуда переползали на веки, и казалось, что две-три веснушки утонули даже в глубине ее рыжих, как у хищника, глаз.

Аббат Калю воспользовался периодом выздоровления Жана, дабы закрепить над ним свою победу, во всяком случае, он так считал. Как и все мы, он находился под властью иллюзий вопреки разочаровывающим урокам опыта, а опыт этот гласит: ничто нельзя считать завоеванным раз навсегда, ни в любви, ни в дружбе. Жан де Мирбель, преданный, как сам он считал, своей матерью, сломленный болезнью, вполне способен был почувствовать мимолетную благодарность и уступить нежности. Но та самая сила, что жила в Жане, с первого же дня направленная против священника, продолжала существовать, хотя аббат Калю не подозревал об этом. Люди не могут относиться к священнослужителю безразлично: или он привлекает их, или отталкивает. Мирбель, в частности, испытывал неприязнь, инстинктивное отвращение к человеку целомудренному, так сказать, в силу своей профессии. Жан всячески старался побороть этот инстинкт,

но не мог с собой совладать, ему ненавистен был даже самый запах этого дома без женщины. Он злился на своего воспитателя, считавшего вполне естественным, что мальчик, почти юноша, должен подчиняться тем же строгим правилам, как и сам аббат, и злился тем яростнее, что сердце его и дух не были открыты чарам милосердия, чистоты, усладам небесной любви, а ведь те, кто испытывал подобные чувства, просто вообразить себе не могут, что большинство глухи к ним, глухи до такой степени, что даже не имеют о них ни малейшего представления. По мере того как к Жану де Мирбелю возвращались силы, буквально все — и монотонная, затворническая жизнь, и борьба с самим собой, с собственной своей неблагодарностью в отношении человека, которому он был стольким обязан, — все это, повторяю, соединенными усилиями вызывало к жизни в душе Жана уснувших было демонов. И любовь, которую питал к своему питомцу аббат Калю, тоже сыграла здесь не последнюю роль, ибо такова была натура Жана: он брал на вооружение против вас же самих ту любовь, которую вы ему расточали. Сколько раз, много позже, я сам слышал из его уст: «Ненавижу, когда меня любят».

В силу некоего противоречия, в котором Мир-

бель даже не пытался разобраться, он злился на аббата Калю как раз за то, что тот применительно к своему питомцу несколько смягчает нравственные и религиозные законы, особенно ненавистные Жану; аббат закрывал глаза на многое, старался не докучать ему. А Жан не только не был ему за это благодарен, но, пользуясь слабостью аббата, начал «бегать». Он повадился было ходить в кабачок, но, будучи от природы человеком необщительным, производил впечатление гордеца и не обзавелся друзьями. Зато он очень и очень нравился девицам, и к концу зимы произошла первая история. Родители девицы принесли аббату Калю жалобу; он попытался уладить историю, но взялся за дело весьма неловко. Подобно большинству целомудренных людей, он считал, что великая любовь служит надежной защитой для юноши против всех и всяческих страстей. Поэтому-то он и не опасался удара с этой стороны, свято веря, что Жан никогда не изменит Мишель. Действительно, множество юношей могут хранить верность любимой девушке, но еще больше таких, как, скажем, Мирбель, которые не видят никакой связи между той любовью, что владеет их сердцем, и своими любовными похождениями. Одна-единственная женщина существует

для них, и они выходят из себя, если кто-нибудь осмелится подойти с общей меркой к тому полурелигиозному культу, который они питают к своей избраннице, и к тем заурядным любовным приключениям, где говорит только плоть.

Именно из-за этого и разгорелся первый спор между аббатом и Мирбелем, и Жан дал волю своему долго скрываемому гневу. Он сразу же взял над своим противником верх, высмеяв аббата за то, что тот и не помышляет осуждать его распутство с точки зрения христианской морали, а говорит с позиций старомодного любовного кодекса, а в этот кодекс уже давно никто, кроме семинаристов, не верит. Не помня себя от гнева, он посмел крикнуть аббату, что запрещает ему говорить о Мишель, что вообще никому не позволит произносить в его присутствии это имя. Чем больше распалялся Мирбель, тем неохотнее возражал ему аббат Калю, но Жан не был ему признателен за эту не скрывавшую себя боль. «*Он ополчился на меня, как ополчается сын на слабого отца*, — в вечер сцены записал в своем дневнике аббат Калю. — *Но христианскую душу, даже в самой слабой степени христианскую, мы обязаны любить только ради Господа Бога, того Бога, в которого эта душа не верит*».

Сам Мирбель не рассказывал мне в подробностях о том, куда завел его гневный порыв, однако легко догадаться, что эта фраза аббата Калю содержит в себе намек на самые жестокие слова. Жан отлично отдавал себе отчет в своей жестокости, и, хотя какая-то часть его души с возмущением восставала против этого, он шел напролом и даже с каким-то ожесточением погружался в беспричинную злобу. Однако вовсе не со злым умыслом нанести своему благодетелю последний удар Жан сдружился с аптекаршей. К Вуайо его затащили учитель с женой. В тот дождливый февральский день, когда этот подросток, которого Гортензия неделями подстерегала, укрывшись за гардинами, пересек в своем школьном капюшоне их дворик, прошелся по лужам и вступил на крыльцо аптеки, она, должно быть, испустила вздох облегчения, хотя до минуты мести было еще очень далеко.

Жан и сам не мог объяснить толком, какого сорта удовольствие он черпал в обществе этой бледной дамы с хрипловатым, однако не лишенным приятности голосом, говорившей почти без местного акцента, в этих беседах под лампой-молнией, возле ровно гудящей печки, за рюмкой арманьяка, развязывавшего языки. Хотя

антиклерикальные страсти учителя, связанные с тогдашней политической борьбой, не представляли для Жана Мирбеля ни малейшего интереса, насмешливые замечания аптекарши находили в нем немедленный отклик; никогда раньше он не слыхал, чтобы люди говорили таким языком, и, однако, ему казалось, что этот язык ему знаком.

В тот первый вечер она потребовала, чтобы Жан являлся к ней только в сумерки, пусть он не сразу входит в аптеку, а лишь убедившись предварительно, что его не видят, так как кюре, с которым у них раньше были кое-какие недоразумения, безусловно, не одобрит этого знакомства, но утаить их встречи от аббата будет не так уж трудно. Жан возразил, что не намерен разбираться в ссорах своего наставника. В последующие дни оба поняли, что между ними установилось полное душевное согласие.

Характерной чертой этой женщины (не имевшей настоящего образования, но прочитавшей чуть ли не всех современных писателей, и плохих и хороших) было то, что, отрицая существование Бога, она относилась к нему с ненавистью и требовательно — нелогичность эта, однако, ничуть ее не смущала. Она упрекала это неведомое ей существо, хотя в него и не верила, как упрекают

те, для кого нет на этой земле иных путей, кроме его заклания.

Без сомнения, она не открыла Мирбелю свою тайную язву. Но получилось так, что Жан, не имевший, казалось бы, никакой явной причины разделять с этой женщиной, старше его на целых двадцать лет, такую ожесточенную злобу, тоже не прощал судьбе того, что создан именно таким, а не иным. Но он был из рода Мирбелей, был единственным наследником патрицианской семьи, и страннее всего казалась в нем эта враждебная, упрямая сила, направленная против любого порядка и любого насилия, посягающих на счастье. Гортензия Вуайо отлично знала, из какого отравленного источника черпает она свою ненависть; ни за какие блага мира не согласилась бы она открыть эту тайну Жану, хотя при желании вполне могла бы это сделать. А он, этот подросток, не знал, почему все отталкивает его от радости в этом мире, кроме девочки, которую он даже не надеялся когда-нибудь увидеть снова, кроме священника, который как раз и воплощал в себе все, что Жану было столь ненавистно.

Возможно, Гортензии Вуайо было бы не так легко достичь своей цели, если бы Жан не стал в ее руках орудием, которым она умело воспользова-

лась. Между ними с первого же дня установилось полное согласие, и это глубокое взаимопонимание облегчило ее маневры. Ей вовсе не нужно было притворяться, будто он ей симпатичен, потому что она действительно испытывала к нему симпатию; и вот этот-то мальчик сам попался в ее паутину, с наслаждением увяз в ней. Ей даже не пришлось прибегать к хитрости, чтобы его заманивать. Каждый вечер аббат Калю ходил в церковь читать молитвы и задерживался там допоздна. А Жан тем временем выбирался из дома через заднюю калитку, выходившую в сторону, противоположную главной дороге, и огибал деревню. К Гортензии попадали не только через помещение аптеки, достаточно было перелезть через заборчик и оттуда садиком пройти в дом.

Пусть даже Мирбель не опасался встреч с покупателями, он всячески избегал самого аптекаря; этот маленький старичок, целыми днями запечатывавший в конвертики лекарства с таким напряженным вниманием, будто от этого зависела жизнь больного, вел себя с каким-то подчеркнутым смирением, но, судя по его ехидной усмешечке и взглядам, был не таким уж смиренником. Старичок управлял имуществом своей супруги (таков был главный пункт их

тайного соглашения: за мужем не признавалось никаких прав на особу жены, зато все имущество находилось в его ведении), вечерами он обычно уходил из дому, а когда возвращался, никогда не заглядывал в комнату за аптекой, если там, по его выражению, «собирался кружок».

Примерно недели через две аббату Калю доложили об этих тайных сборищах. На сей раз он подавил первое гневное движение души, и когда завел на эту тему разговор с Мирбелем, то внешне держался вполне бесстрастно, да и сначала со всех сторон обдумал, какой тактики ему держаться. Он ни в чем не упрекнул Жана, напротив, признал, что одиночество не может ничем привлечь юношу в восемнадцать лет, но у него-де есть достаточно веские основания — Жану их знать незачем — считать Гортензию Вуайо своим заклятым врагом. Итак, он, аббат, воззвал к лояльности Жана: поскольку тот живет у него в доме, поддерживать отношения с этой дамой будет прямым предательством. Если Жан считает, что не может жить в Балюзаке, не посещая аптеки, пусть скажет без обиняков, аббат сумеет найти какой-нибудь благовидный предлог и попросит графиню де Мирбель забрать своего сына — вот этого-то Жан и боялся больше

всего на свете, зная, что его непременно отдадут в интернат какого-нибудь коллежа иезуитов. Впрочем, его тронул и самый тон аббата. Он не мог отрицать, что Гортензия Вуайо желает зла его учителю; не то чтобы она при Жане прямо нападала на аббата, Жан этого не потерпел бы, но любое ее слово метило в него; и мальчик, возвращаясь из аптеки и садясь за стол, краснел от стыда, отвечая сквозь клубы пара, подымавшиеся над супницей, на улыбку аббата Калю, на детский взгляд его глаз. Поэтому-то он и дал обещание не ходить больше в аптеку. Много позже он уверял меня, что обещал вполне чистосердечно, в полной решимости сдержать свое слово. Было это примерно в то время, когда аббат Калю раздобыл лошадь для верховой езды и когда он остановил меня на улице, намереваясь завязать с Мишель переписку, имевшую печальные последствия, о которых я уже рассказывал.

Если и до знакомства с Гортензией Вуайо Жан, разлученный с Мишель, не получавший от нее писем, страдал от своего заточения в Балюзаке, то ему стало совсем уж невмоготу с тех пор, как его лишили последнего развлечения — участвовать в беседах, к которым он уже привык, слушать, как школьный учитель читает вслух статьи

Эрве, Жиро-Ришара, Жореса (а Гортензия лихо, как мужчина, пропускает стаканчик арманьяка, курит сигарету и разглагольствует с таким терпким юмором, что Жан много лет спустя все еще восхищался прелестью ее речей).

Аббат Калю предпочел бы, чтобы его воспитанник возмущался, бесился, но как одолеть эту тоску дикого зверя, попавшего в клетку, особенно после того, как настоятельница Сакре-Кер в весьма сухих выражениях попросила балюзакского кюре прекратить всякую переписку с ее воспитанницей Мишель Пиан? Жан бросил читать, увиливал от уроков, бродил до ночи по лесу или скакал на своей кляче. Спустя несколько недель он стал изредка заглядывать к учителю. Аббат Калю закрывал глаза на эти посещения, хотя не сомневался, что Жану всякий раз вручают там письмо от Гортензии или он сам оставляет ей записочку, Мирбель дал слово не видеться с аптекаршей, но не давал слова не писать ей. Не будь этих почти ежедневных эпистолярных бесед, возможно, их отношения не приняли бы любовного оттенка, и именно романтически-приподнятый тон юношеских писем дал мыслям Гортензии Вуайо новое направление. Ее осенило: то, что поначалу она считала невозможным с этим маль-

чиком, который в сыновья ей годится, вдруг стало возможным. Она начала с того, что осторожно перешла на язык дружбы; и это помогло ей добиться успеха, хотя на самом деле она была не способна питать дружеские чувства к кому бы то ни было, ибо с первого дня пребывания пансионеркой в лицее вплоть до получения аттестата зрелости дружба была для нее лишь ширмой желания. А сейчас в игру вступило желание мести. Впрочем, она не строила себе иллюзий относительно тех чувств, какие внушала Мирбелю. Хотя Жан и не сделал Гортензию своей поверенной, она знала, что он страдает, что сердце его занято другой. Но, будучи более искушенной, нежели аббат Калю, она сумела распознать в этом мальчике зверя, каким он, в сущности, и был, догадалась, что он уже весь во власти своего инстинкта, этого слепого, неотвратимого зова.

Гортензия Вуайо разгадала первым делом эту сторону натуры юноши. У Жана сохранились два-три ее письма, и он много позже показывал их мне: ни следа сентиментальности, зато написаны они с весьма умелым расчетом, без всякого, впрочем, нажима, пробудить юное воображение, отданное во власть одиночества. Одна из немногих записей аббата Калю, касающаяся

непосредственно Гортензии Вуайо, показывает, до какой степени, чуть ли не до кошмаров, он был встревожен поведением этой женщины. «*Тут целая наука, непостижимая в деревенской жительнице,* — пишет он. — *Ибо порок тоже является своего рода воспитанием. Не всякому дано лицезреть зло столь непосредственно. Жалкие наши личные слабости, которые мы называем злом, не имеют ничего общего с этим стремлением истребить душу человеческую. Я знаю: самый дух зла, тот, что был известен еще в XVIII веке и описан в „Опасных связях“*[44]*, живет и дышит всего в нескольких метрах от моего дома, за ставнями обыкновенной аптеки»…*

Весна выдалась ранняя. Хотя в этом году Жан должен был сдавать экзамены на бакалавра, он по-прежнему убегал с уроков. Гортензия отлично знала, что непременно встретит его, когда, по ее мнению, придет время их встречи, и что для этого ей достаточно выйти прогуляться по берегу Сирона, но она не торопила события, не желая ничем рисковать. Она решила прежде всего стать

[44] Примечания: 44

«Опасные связи» — эпистолярный роман, увидевший свет в 1782 году. Единственное крупное художественное произведение французского генерала Шодерло де Лакло. Расценивается как один из лучших французских романов XVIII в.

наваждением для этого юноши, желала, чтобы он неотступно мечтал о ней, и уже начала строить иные планы, более далекие, чем простая месть. Ей было мало просто нанести аббату Калю смертельный удар. С тех пор как Гортензия лишилась своей подружки, она стала искать подходящего предлога отделаться от старика аптекаря, ставшего для нее бесполезной обузой. Она прикинула в уме, что юный де Мирбель явится не только орудием ее мести, но и поможет ей освободиться от брачных уз, если только он согласится пойти на скандал, но она еще колебалась, прежде чем занести ногу на следующую ступеньку.

С наступлением первых погожих дней аббат Калю, как и каждый год, начал объезжать на велосипеде поселки и отдаленные фермы. Надо было набрать ребят для изучения катехизиса, проведать больных, главным образом стариков, которых любящие сыновья вынуждали трудиться от зари до зари, нередко до самого смертного часа. И часто он наталкивался на немощного старца, уже не вставшего с постели, а рядом сидела сноха и попрекала свекра куском черного хлеба, который медленно перемалывали беззубые десны. Людская порода сурова сама к себе, беспощадна к другим, и в глазах ее любой

священник просто лентяй и проныра: «Ничего не попишешь, все-таки попы нужны...» Смутное ощущение этой необходимости совпадало, в сущности, с самой дорогой в ту пору для аббата мыслью о том, какой урок был дан людям этим врытым намертво в землю крестом, к которому был прибит гвоздями бог, не могущий даже пошевелиться; так и священнослужитель пригвожден к тому же позорному столбу, тоже отдан всем на посмеяние и служит для людей загадкой, хотя они даже не пытаются ее отгадать.

Как-то к вечеру, было это уже в конце апреля, когда кюре вернулся домой еще до сумерек, поджидавшая хозяина Мария доложила, что вот уже больше получаса его ждет в гостиной господин Вуайо, аптекарь, и что она в честь гостя разожгла камин. Впервые аптекарь переступил порог дома священника. Заинтригованный не на шутку, аббат Калю обнаружил своего посетителя в уголке у чадящего камина. При появлении аббата гость поднялся со стула. Он принарядился. Узенький черный галстук не закрывал пуговицы рубашки. Между воротничком и иссохшей шеей можно было свободно засунуть кулак. При улыбке аптекарь показывал свои беззубые десны.

Сначала гость долго и пространно извинялся за

то, что до сих пор не пришел отдать дань уважения их священнику. Но боялся, что его неласково встретят. Однако всем известно, что он вовсе не разделяет убеждений своей супруги. При жизни первой жены он по большим праздникам даже ходил в храм божий, а до девятнадцати лет пел в церковном хоре. Ему бы хотелось, чтобы господин аббат не считал его своим врагом, а главное, он надеется, что тот окажет ему честь и порекомендует его своим прихожанам: где же это видано, бегать за какими-нибудь таблетками в Валландро.

Каждое слово было продумано, казалось, аптекарь повторяет тщательно вызубренный урок, и господин Калю никак не мог догадаться, куда он клонит. Гость снова дал понять намеком, что он не одобряет убеждений мадам Вуайо. Жизнь у него не такая уж сладкая, пусть господин аббат ему поверит. Он пожертвовал собой, заменив отца дочери своего старого друга Дестиу, когда та, сиротка, осталась одна на всем белом свете, да еще с целым состоянием на руках. Аптекарю известно, что люди считают, будто он женился на Гортензии из корысти… Но что он выиграл от этого брака? Только одни заботы да неприятности, связанные с управлением землей, выгод

никаких, а главное, из-за завиральных идей мадам Вуайо он растерял половину клиентов. Ох, хлопот с ней не оберешься! Тут-то и показался кончик его ушей: конечно, он не вправе давать священнослужителю советов, но он не перестает дивиться, как это кюре разрешает своему воспитаннику встречаться с особой, известной своим враждебным отношением к церкви. Во всяком случае, он в качестве мужа, хоть скорее считает себя отцом, а не супругом, так вот, он обеспокоен этими свиданиями, о которых болтает весь Балюзак… Конечно, юный Мирбель просто мальчишка, в его возрасте такие вещи не имеют значения, но все же, все же… Тут кюре прервал гостя, заверив, что его воспитанник к ним в аптеку больше не ходит, но старичок заговорил о свиданиях в лесу, которые не доведут до добра молодого человека, да и Гортензии тоже не пристало заниматься такими вещами, доказательство этому — что она огрызается на все его замечания. Словно бы начисто забыв о том, что всего несколько минут назад он старался изобразить свой брак как некий подвиг бескорыстия и преданности, аптекарь вдруг начал хныкать: ужасно грустно после стольких трудов очутиться на старости лет под угрозой потери имущества

и разом лишиться плодов своих стараний. Когда долгие годы возишься с наделом жены, ставишь хозяйство на ноги, поднимаешь в ландах целину, прореживаешь лес, устанавливаешь границы владения, оспариваемые соседями, — словом, приводишь все в идеальный порядок, грустно, когда тебя выгоняют как простого слугу.

Господин кюре заметил посетителю, что его воспитанник ко всему этому никакого отношения не имеет. Аптекарь согласился, что действительно все это ерунда, что он не на то намекает, но надо отдать справедливость и Гортензии: она не из тех, кто заводит романы, и обвинять ее в подобных склонностях… (Тут старичок метнул на кюре проницательный взгляд и быстро прикрыл глаза воспаленными веками.)

Аббат, вооружившись щипцами, ворошил поленья, чтобы они разгорелись, — камин сильно дымит, сказал он, потому что зимой они его ни разу не топили. Старичок, хоть и раскашлялся от едкого дыма, не отставал от господина кюре, пусть он поговорит со своим воспитанником. Ясно, ничего страшного не случится… но к чему давать повод для сплетен? И потом, Гортензия уже в критическом возрасте…

Щипцы задрожали в огромных лапах свя-

щенника. Он поднялся и нагнул голову, чтобы заглянуть своему собеседнику в лицо.

— Будьте покойны, господин Вуайо, даю слово, что с завтрашнего дня мой воспитанник прекратит беготню по лесу.

Аптекарь нашел, что вид у него для священника не слишком благолепный. Потом он рассказывал, что никогда в жизни не видел, чтобы человек так остервенился, словом, от такого вполне можно ожидать самого худшего. Не хотелось бы господину Вуайо очутиться в шкуре этого мальчишки, когда тот вернется домой к ужину.

Оставшись один, аббат Калю прошел к себе в спальню, налил в таз холодной воды и окунул туда лицо. Потом опустился на колени, но слова молитвы не шли с его губ, мысли путались, как листья, подхваченные шквальным ветром. В семье его брата до сих пор еще говорили: «Это было на каникулах восьмидесятого года, в год великого гнева Эрнеста…» Последняя по датам вспышка «великого гнева» задержала на год его посвящение в иподьяконы. С тех пор с помощью милосердного Бога он научился овладевать собой, прежде чем вспышка оборачивалась плохо…

Этим вечером, преклонив колени на скамеечку, он молчал, обхватив голову руками. Внутренний

голос взывал к нему: «Опасность рядом… Смотри, не причини ему зла…» Но этот призыв к благоразумию заглушали куда более мощные раскаты: это говорило желание, чтобы Мирбель был уже здесь, чтобы можно было схватить его за шиворот, поставить на колени и держать, пока тот не попросит пощады. И потом, хватит шуточек: отныне с ним будут обращаться так, как требовал дядя Адемар. Раз на Жана можно воздействовать только силой, раз он повинуется только из страха, что ж, балюзакский кюре сумеет его обуздать так, что он станет покорнее пса. «Молись, постарайся выиграть время», — неустанно твердил ему тот первый голос. И вдруг он услышал на лестнице знакомые шаги. Кюре приоткрыл дверь:

— Войди, мне надо с тобой поговорить.

И так как Жан ответил: «Сейчас зайду…» — священник повторил: «Не сейчас, а немедленно». Жан молча пожал плечами и стал подыматься на второй этаж. Но тут его вдруг схватили за воротник, поддали коленкой под зад, и он в мгновение ока очутился среди книг и журналов на диване-кровати, куда его бросили, словно тюк. Не помня себя от удивления, он сел и увидел на уровне своего лица два огромных кулачища. Он только и сумел пробормотать: «Что это вас разобрало?»

Аббат судорожно задышал и вытер ладонью пот с лица. Слава богу, мальчика не покалечил, опасность миновала.

Ледяным тоном, стараясь сдержать дрожь в голосе, кюре признал крах своего метода с таким воспитанником и предупредил, что с сего дня он будет ограничиваться лишь внешним надзором и намерен держаться такой тактики в отношении Жана вплоть до того времени, пока семья Мирбель не освободит аббата от взятых им на себя обязательств. Он хочет надеяться, что у Жана хватит благоразумия не переводить их спор в область применения физической силы, потому что если аббат даст себе в этом отношении волю, то ему трудно будет обуздать себя, а бьет он больно.

После чего он велел Жану подняться в свою комнату, ужин ему подадут туда. «*Все это время, пока он говорил со мной как последний хам*, — писал Жан Гортензии Вуайо, — *он ни разу не поднял век, а когда замолкал, должно быть, молился про себя, хотя губами не шевелил, — таковы они, эти люди, всегда найдут увертку, лишь бы ускользнуть от вас*».

Аббат сдержал слово — он сам неотступно сидел с Мирбелем, а если выходил из дому, призываемый своими священническими обязанностями,

то поручал Марии следить за юношей. Нет сомнения, что Жану не раз удавалось улизнуть из дому, а переписки с Гортензией Вуайо он и вовсе не прерывал ни на день благодаря посредничеству учителя, приходившего заниматься с Жаном математикой. Но тем не менее Мирбелю пришлось признать себя побежденным и смириться перед этой несгибаемой волей. Впрочем, приближение экзаменов — все туже затягивавшийся на его шее в эти последние недели ошейник — побудило Жана отложить на будущее свой план сопротивления. До экзаменов он был допущен, но по устному провалился, после чего месяц провел у графини в Ла-Девизе и лишь в сентябре вернулся в Балюзак. Впервые после зловещего открытия в Балозе Жан увиделся с матерью. «*Мне подменили моего Жана,* — писала графиня аббату Калю, — *раньше это был просто юный сорванец, а теперь это юный циник. Стоит мне произнести слова увещевания или попытаться перевести спор в сферу высокой морали (а сейчас это главная моя забота), и тут же этот маленький негодяй позволяет себе смеяться мне прямо в лицо. Разрешите мне, господин кюре, заметить, что если я не сомневаюсь в достоинствах вашего метода, то тем не менее должна признать, что он по-*

терпел неудачу в отношении моего сына».

Во время каникул Жан почти ежедневно получал от аптекарши письма, а когда вернулся в Балюзак, их прежде расплывчатые проекты приняли более конкретную форму. В октябре Мирбель снова провалился на экзамене и тут отбросил все колебания. Господину Калю пришлось на несколько дней отлучиться из Балюзака в связи с церковными делами, и все это время Жан не расставался с Гортензией. Вернувшись домой, аббат нашел своего воспитанника в спокойном, почти размягченном состоянии духа и ослабил свой надзор. Теперь их отношения сводились к отношениям учителя и ученика, которые говорят только о занятиях и стараются избегать любых спорных вопросов. Священник в новом приливе доверия отдался своей малочисленной пастве: дети перестали дичиться, полюбили его. Поэтому-то он не заметил, что между ним и его воспитанником снова пробежала черная кошка: в силу непостижимой непоследовательности Жан злился на аббата Калю, охладевшего к нему, и мучился от этого охлаждения, и именно эти муки сыграли не последнюю роль в принятом им роковом решении, которое Гортензии Вуайо удалось представить в розовом свете.

Случается в жизни, что мы дорожим привязанностью людей, которых не любим или же которыми, как нам кажется, пренебрегаем. Ни за какие блага мира Жан не признался бы в этом и, конечно, не понимал, что аббат Калю по-прежнему отводит ему в сердце своем и в мыслях своих самое первое место. Мистики повинуются некой закономерности, и нет возможности растолковать ее тайны непосвященным. Мог ли священник быть спокойным за Жана и не считать, что он перед ним в долгу, если отдал мальчику всю свою жизнь без остатка и с каждым новым днем возобновлял свою жертву? Эта система взаимного обмена, компенсации, обратимости, в которой по воле небес живет тот, кто верит, бесконечно далека от плотского мира, где подросток начинает осознавать самого себя! Поэтому Жан считал, что его предали, что его бросил единственный на свете человек, знавший все его тайны, знавший, как он страдал и продолжает страдать из-за матери и из-за Мишель. Если аббат тоже покинул его, ничего ему не остается, как бежать из этого подлого мира, где нет для него места. Конечно, насчет Гортензии он знал, что это не навсегда, даже не очень надолго… Но такова уж была его природная тяга к несчастью,

и больше всего в этом приключении привлекало его то, что оно не давало выхода, не несло надежды, зато срывало с якоря и бросало в поток, откуда уже не выплыть.

XIV

Нам пришлось задержаться в Ларжюзоне до торжественной мессы, которую служат по покойнику на восьмой день и которая зовется в Жиронде «осьмитина». Накануне мачеха получила письмо от монахини, ухаживавшей за Октавией. Плод сохранить не удалось, после преждевременных родов начался флебит, температура не спадает, сердце совсем ослабло — словом, доктор опасается самого худшего. На улице Мирей полная нищета. Вопреки категорическому запрещению господина Пюибаро монахиня решила прибегнуть к помощи мадам Пиан, так как булочник и аптекарь уже начинают скандалить. Известие это удручающе подействовало на нашу мачеху. Конечно, она успела бы съездить в Бордо и вернуться поездом к мессе, но она опасалась нарваться на дерзкий прием со стороны Пюибаро и с обычной своей щедростью решила отправить деньги телеграфом на имя монашенки и ее монастыря.

Бригитта то и дело советовалась со мной, размышляла при мне вслух, словно бы не замечая моего холодного молчания. «Что бы с ними

сталось без меня? — твердила она и начинала перебирать вслух все, что она сделала для четы Пюибаро. — Я их предупреждала, все, что я предсказывала, сбылось слово в слово. И даже этот несчастный случай, и эту смерть, потому что она, безусловно, умрет, хотя я и не смела об этом прямо сказать, но Бог видит, что и это я предчувствовала… Но не мне, бедной женщине, было ставить точки над i, директор коллежа оказался человеком легкомысленным, только он один мог удержать их на краю бездны, а он, наоборот, сам столкнул их туда… Но вот увидишь, Пюибаро всю вину взвалит на меня. Ведь и твоя сестра считает, что я виновата в смерти вашего отца и даже в том, что Жан совершил кражу со взломом… Просто невероятно!» Она пристально вглядывалась мне в лицо, и ее тревожный смешок вымаливал хоть слово, хоть возражение, но упорное молчание, которым я встречал все ее речи, показывало достаточно ясно, что я по всем этим пунктам согласен с Пюибаро и Мишель.

Тогда ей не осталось иного прибежища, кроме себя самой, она бродила по комнатам или кружила вокруг стола, вновь и вновь возводя для себя самой стройную систему самозащиты. Вправе ли я и сейчас взвалить всю тяжесть постигших

нас бед на плечи этой женщины, мучимой эриниями[45] Нового завета, всеми мыслимыми угрызениями совести, теми, что со дня сошествия Иисуса Христа на нашу землю терзают смятенные души? Те эринии, что преследовали Бригитту Пиан, требовали, чтобы она немедленно возвратилась в город, дабы допросить на месте Пюибаро и услышать из его уст слова успокоения. Но так как поезд проходил здесь всего раз в день, нам оставалось ждать до завтра и присутствовать на торжественной мессе.

Мы поднялись еще до рассвета, в темноте. В течение всего пути Бригитте Пиан пришлось терпеть присутствие Мишель, которая в Ларжюзоне упорно не показывалась ей на глаза. Три часа мы провели в наглухо закрытом купе второго класса, и девочка-подросток, казавшаяся еще мрачнее от черной креповой вуали, все это время словно бы играла в игру — ни разу не встретиться взглядом с мачехой, хотя та буквально вымаливала взгляда Мишель. Сейчас я испытываю жалость к этой женщине, уже давно превратившейся в прах, но тогда, сидя в ледяном вагоне, я не ощущал ничего — хотя проводник дал нам грелки с горячей

[45] Примечания: 45
Эринии — в древнегреческой мифологии богини мести.

водой, но я все равно взобрался с ногами на скамейку, надеясь согреть озябшие ступни. И однако же я начинал понимать, что происходит в душе мадам Бригитты. Не без любопытства следил я за этой импозантной дамой, за этой монументальной бронзовой статуей, чья тень омрачила все мои детские годы, и вдруг этот монумент покачнулся на моих глазах. По бронзе поползли трещины, возможно, мне еще предстояло видеть, как рухнет этот истукан. Когда мы выходили из вагона, мне почудилось, будто мачеха стала меньше ростом, и, помнится, я очень подивился, не сообразив тогда, что просто вырос я.

Мачеха назвала кучеру не наш адрес, а адрес Пюибаро. Этим хмурым утром грохот нашего фиакра до краев заполнил унылую улицу Мирей. Мы подняли глаза к окнам квартиры, где жил мой бывший учитель, и увидели, что ставни закрыты. Консьержка высунула изможденное лицо из-за дверей антресолей, заменявших обычную каморку привратника. На наш вопрос она ответила, что все было кончено еще вчера вечером, что господин Пюибаро не велел никого к нему пускать, что час похорон ей неизвестен. Мы догадались, что консьержка получила на наш счет самые строгие указания. «Бывает, что человек в горе становится

неблагодарным...» Консьержка подтвердила, что так бывает, что она и сама это замечала. Когда мы снова уселись в фиакр, Мишель вдруг переменила тактику, она уже не отводила глаз, а уставилась жестким, пристальным взглядом в лицо нашей мачехи, так что та в конце концов не выдержала и отвернулась к окну. Хотя губы Бригитты Пиан почти не шевелились, я понял, что она уже начала молиться за упокой души Октавии. И не сомневаюсь, Бригитта сдерживалась, чтобы не крикнуть через все пространство вечной тишины: «Ну как? Кто был прав, бедная моя Октавия?»

Поэтому-то в начале пути она испытывала чуть ли не ликование при мысли, что ее предвидения так явно совпали с предвидением самого Всевышнего. Но не успели мы еще свернуть на Интендантский бульвар, как лицо ее помрачнело. Мишель сразу же прошла в свою комнату и не показывалась до вечера. Бригитта Пиан заглянула было ко мне, но, так как я еле отвечал на ее вопросы, оставила дверь между нашими спальнями открытой, ей было необходимо мое присутствие, пусть даже враждебное. Через минуту она снова появилась в моей комнате и снова начала рассказывать мне историю своих отношений с

четой Пюибаро за последние два года, причем смело воздавала себе хвалу по любому самомалейшему поводу и сделала исключение лишь для их последней встречи у постели больной Октавии. Только бы Леонсу Пюибаро не взбрело на ум, что здоровье его жены ухудшилось из-за этой маленькой размолвки! Мачеха старалась передать мне все перипетии их размолвки и даже припоминала все свои тогдашние выражения. Я слушал ее вежливо, но холодно и не вымолвил ни слова одобрения или утешения.

Наконец, не выдержав, она попросила меня сходить на улицу Мирей: само собой разумеется, меня господин Пюибаро примет и сообщит, в котором часу состоятся похороны. Но, несмотря на все мои довольно настойчивые попытки, консьержка не пропустила меня к Пюибаро, и мне пришлось идти в церковь Сент-Элуа, где я узнал, что заупокойной мессы не будет, а завтра утром в восемь часов будет только отпевание.

Предсказания нашей мачехи, что мы будем там в одиночестве, не оправдались, на отпевание пришло немало народу. Пришли бывшие ученицы Октавии, а также ее коллеги-учительницы по частной школе. Многие плакали, и воздух был так густо насыщен молениями, что я ощущал это

почти физически. Господин Пюибаро в старом черном сюртуке, в котором он ходил в прежние времена зимой на переменках по двору коллежа, стоял прямо, не преклонял колен, не плакал, и лицо его было такое же бледное, как, должно быть, у Октавии под деревянной крышкой гроба. Так как он, казалось, не замечает никого из присутствующих, мы могли считать, что лично против нас он враждебных чувств не питает, но у ворот кладбища он сделал вид, что не видит моей протянутой руки, так что я почти силком схватил его руку, но он тут же вырвал ее. А наша мачеха не посмела даже последовать моему примеру, потому что Пюибаро поклонился ей, не глядя в ее сторону, и даже рукой не пошевелил.

В тот же вечер, после обеда, мачеха снова пришла ко мне в комнату и сказала, что боится, как бы Леонс Пюибаро не поддался духу возмущения, и она очень сожалеет, что ей не удалось побеседовать с ним, склонить его к смирению и покорности. Я ответил, что, если он вел себя так враждебно в отношении нас, это вовсе не означает, что он испытывает такие же чувства в отношении Бога, и коварно заметил, что, раз он был женат на святой, наша мачеха может смело на нее положиться: она-то вымолит у Господа

милости для Леонса Пюибаро. «На святой? — повторила Бригитта Пиан. — На какой святой?» Она посмотрела на меня без гнева, но неестественно внимательно, даже как-то тупо, молча покрутилась вокруг моего стола и ушла наконец в спальню, унося с собой на всю ночь новый груз смятения и страхов.

После похорон Октавии мачеха не пыталась увидеться со вдовцом, но продолжала тайком помогать ему через посредство монахини, ухаживавшей за Октавией. Мишель вернулась в Сакре-Кер; и снова мы с мачехой зажили прежней жизнью с глазу на глаз, причем она всячески старалась завоевать мою симпатию, даже с каким-то оттенком унижения, будто не было у нее на свете иного прибежища, кроме этого подростка, который вел себя с приводящей в отчаяние вежливостью.

Я послушался совета аббата Калю и еще из Ларжюзона написал письмо графине де Мирбель, в котором справлялся о Жане. Ответ ее ждал меня в Бордо — письмо, каждое слово которого было тщательно взвешено с целью притушить скандал. «*Я ничуть не удивляюсь, мой юный друг, что Вы беспокоитесь о Жане и что Вас встревожили нелепые сплетни на его счет, распространивши-*

еся в Ваших краях. Он приехал к нам сюда и сам тоже ужасно удивлен и даже сконфужен всеми этими слухами относительно него. Главные виновники здесь кюре и аптекарь: оба они подняли шум на всю округу, и если второму из этих господ можно в какой-то мере найти извинения, то первому не хватило здравого смысла и простой уравновешенности — вещь недопустимая для священнослужителя, особенно если он притязает на роль воспитателя юношества! Я прямо так ему и сказала, когда ездила в Балюзак отдать деньги, которые он дал моему сыну и относительно которых злые языки сочинили чисто рокамболевскую историю. Хочу надеяться, что Вы в нее не поверили. Священник даже не нашелся что ответить на мои обвинения, в которые я, возможно, вложила излишний пыл материнского сердца». (Много позже я оценил все величие этого молчания: аббат Калю мог одним-единственным словом уничтожить эту осыпавшую его оскорблениями даму, ибо тогда она еще не знала, что Жан всю ночь просидел, дрожа от холода, под окошком ее номера в гостинице в Балозе и что едва от этого не умер. И то, что видели его глаза и слышали его уши, осталось в нем на всю жизнь, как рана, как яд в крови.) В конце письма графи-

ня извещала меня, что Жан будет продолжать учение в Англии, что, готовясь к отъезду, он проведет несколько дней в Бордо и надеется, что ему разрешат с нами попрощаться.

Письмо графини поставило меня в тупик, я буквально не знал, на что решиться. Пересылать ли это письмо аббату Калю, как я ему обещал? Я понимал, что лучше всего спросить совета у мачехи, но для этого надо было отказаться от моей стоической сдержанности. Но мне любопытно было посмотреть, как она отнесется к письму графини. Я ждал, что мачеха тоже набросится на балюзакского кюре, но тут она меня удивила. По ее словам, не следовало наносить еще одной раны и без того страдающему человеку, но, с другой стороны, письмо могло послужить господину Калю на пользу; мачеха посоветовала мне переслать в Балюзак этот документ, но сообщить от нашего имени, что никто из нас не поверил наветам графини. Таким образом, впервые за все время, что я знал Бригитту Пиан, она отступила от своего первоначального мнения. В письме к аббату я не преминул подчеркнуть эту удивительную перемену и написал об этой метаморфозе в ироническом тоне, не понравившемся аббату. Лишь к концу недели от него пришел ответ: могу

сказать только, что после чтения этих строк, которые я переписываю здесь с особой любовью и уважением, я стал другим мальчиком, чем был раньше.

«Дорогой мой Луи, я не сразу тебе ответил, так как твое письмо в Балюзаке меня не застало и его переслали к моему брату, у которого я временно живу… Не буду, сынок, прибегать с тобой к обинякам. Тебе и так все слишком хорошо известно, поэтому не стоит ничего выдумывать. Я не являюсь больше священником Балюзака, мне даже приказано было без промедления оставить свой приход и поселиться в семье брата. Это, на мой взгляд, прямая опала и, пожалуй, даже больше, чем просто опала. Мирбели и старик Вуайо объединенными усилиями выставили меня как главного виновника разразившегося скандала. К тому же скромные старания мадам Бригитты, коими она почтила меня, ее послание, написанное несколько месяцев назад главному церковному викарию, предвосхитили пункт за пунктом все, что произошло в дальнейшем. Последующие события придали особый вес ее критическому разбору, весьма сжатому и весьма примечательному, где твоя дражайшая мачеха живо обрисовала мой характер и мои склонности. Пишу это без всякой

иронии, дорогой мой Луи, и, признаюсь откровенно, насмешливый тон твоего письма доставил мне не слишком много удовольствия. Я не верю, как, надеюсь, ты сам понимаешь, в случайность, не верю и в то, будто все предсказания мадам Бригитты сбываются только в силу случайности. Конечно, я вовсе не собираюсь утверждать, что она здраво истолковывает все факты, а равно и мотивы чужих поступков, но есть у нее определенный дар прозревать их тайную злокозненность. Думаю, она была бы очень удивлена, если бы узнала, что, хотя мы с ней избрали разные пути, я нахожу наши с ней заблуждения сходными: и она, и я — она, повинуясь голосу рассудка, а я — голосу сердца, — считали себя вправе вмешиваться в чужие судьбы. Разумеется, главное в нашей миссии, как и любого христианина, — это возвещать евангельские истины, но это вовсе не значит, что мы должны переделывать наших близких на свой лад и сообразно нашим личным вкусам, ибо даже самих себя мы переделать не можем; мы можем только идти впереди Всевышнего, как идет пес впереди невидимого охотника, с большим или меньшим успехом, каковой зависит от того, будем ли мы достаточно внимательны, покорны и податливы, дабы слиться с волей Учи-

теля и пренебречь собственной. Мадам Бригитта в отношении меня не ошибалась: она обвиняла меня в недостатке чувства меры и способности суждения и утверждала в выражениях чрезвычайно резких, что, ежели священнослужитель обладает этим недостатком в такой степени, как я, он рискует навлечь худшие беды, чем самая преступная страсть; а ведь именно поэтому я очертя голову вмешивался в чужие дела, вмешивался безрассудно, не по здравому размышлению и, конечно, неосторожно. О, разумеется, Всевышний извлек из этого пользу, ибо такова любовь нашего Господа, который умеет все обратить к вящему благу тех, кого любит. Но по тому вреду, который скапливается вокруг нашего, как мы считаем, апостольского служения, не так уж трудно установить, сколько примешивается к нему скрытой корысти, тайных вожделений, о которых, впрочем, мы имеем лишь смутные представления, и вот почему превыше всего мы должны рассчитывать на милосердие свыше.

Дорогой мой Луи, все это, очевидно, покажется тебе чересчур туманным; вернемся к этому разговору через несколько лет, если отец небесный не призовет к себе своего не только бесполезного, но и опасного служителя, каким являюсь я. А пока

что разрешу себе высказать свое мнение относительно мадам Бригитты: не высмеивай того, что происходит в ней сейчас, не считай посланное ей испытание малым. Всю жизнь она видела лишь поучительную сторону своих поступков, а теперь они все разом и все вдруг обернулись к ней страшным своим ликом. Когда Иисус Христос открывает нам глаза и все поступки наши начинают теснить нас, подступать к нам, мы дивимся им, как тот прозревший евангельский слепорожденный, коему люди представились „подобными ходящим деревьям“. Но мне хотелось бы, чтобы мадам Бригитта поняла то, в чем я сам уверился лишь сейчас, находясь на последних ступенях унижения, степень коего ты не можешь и вообразить, ибо не было такой грязной клеветы, которую не обрушили бы на меня; люди считают себя вправе выдумывать все, что им угодно, и в архиепископской епархии, и повсюду. Могу сказать, что на пороге старости я потерял свою скромную человеческую честь и допустил, чтобы в лице моем оскорбляли Иисуса, отметившего меня своим знамением. Семья моя рассержена, унижена, ибо я навлек на нее позор, не говоря уже о том, что мое присутствие в их доме увеличило материальные

трудности. Младшему из моих племянников пришлось уступить мне свою комнату, и теперь он живет вместе с братом. Все они, понятно, очень добры ко мне, но моя невестка, пожалуй, слишком часто спрашивает, что я рассчитываю в дальнейшем делать, и приходится ей отвечать, что я и сам ничего не знаю, так как и впрямь я не годен ни на что, никому не нужен. О, теперь я не ошибусь: я стою перед Господом моим нагой, лишенный всех своих заслуг, совсем беспомощный, как ни один человек на нашей земле. Возможно, такое состояние и должно пожелать людям, избравшим своим призванием, если только я так осмелюсь выразиться, добродетель. Люди, избравшие своим призванием добродетель, неизбежно составляют себе преувеличенное мнение о ценности собственных поступков, сами берутся судить собственные свои заслуги, и при сравнении себя с другими у них голова идет кругом от собственной добродетели. От души хотелось бы, чтобы мадам Бригитта в час посланного ей испытания поняла, что вступает на путь великих откровений…»

Возможно, читая эти строки, кто-нибудь решит, что аббат Калю, обратившийся с такими словами к шестнадцатилетнему мальчику, и в самом деле

доказал, что не слишком преуспел в области здравых суждений. Я не решился показать это письмо мачехе, хотя она уже не старалась ввести меня в заблуждение, я жил в невыносимой атмосфере, созданной ее страхами. В это примерно время тонкий еженедельный журнал «Батай», орган анархистов, промышлявший в основном скандальными происшествиями, начал публиковать серию весьма ядовитых заметок о «похищении аптекарши». Я страшно удивился, когда Бригитта Пиан попросила меня доставлять ей еженедельно этот гнусный листок; сама она не осмеливалась его покупать и не хотела посылать за ним лакея, а я никак не мог взять в толк, какую усладу черпает она в подобном чтении, пока мне не сообщили в коллеже, что господин Пюибаро работает в «Батай» секретарем и читатели, справедливо, нет ли, приписывают его перу все публикуемые в журнале антирелигиозные статьи.

Каждую субботу я присутствовал при этом чтении, длившемся весь вечер; думаю даже, что Бригитта Пиан вставала ночью и снова бралась за журнальчик, как бы желая глубже проникнуть в бездны падения этой души, которую она своими руками (во всяком случае, так ей казалось) толкнула к бунту, к ненависти и отчаянию. Дети,

даже подростки, обычно не замечают физических перемен у взрослых, с которыми они живут бок о бок. Но я видел, как день ото дня сохнет моя мачеха, теперь аметистовый капот свободно болтался у нее на плечах, как будто толстая и жирная змея волос, заплетенных в косу, кормилась ее собственным телом. Самое удивительное во всей этой истории было то, что спустя несколько месяцев Леонс Пюибаро не только ушел из журнала и удалился в монастырь ордена траппистов в Сетфоне, но и остался там навсегда и, таким образом, в одеянии послушника выполнил то, чего от него всегда ждала моя мачеха: тут опять-таки предсказания Бригитты Пиан совпали с предначертаниями небес… Но в то время, о котором я говорю, она еще не могла предугадать этот неожиданный поступок, и если иной раз ее мятущийся дух отвлекался от мыслей об отступнике, то лишь для того, чтобы кружить вокруг других своих жертв: мужа, Октавии, которые, возможно, остались бы в живых, не встреть они на своем пути Бригитту Пиан. Думала она также о Мишель, о Жане, об аббате Калю, на которого донесла…

До сих пор для меня остается загадкой одно обстоятельство: ведь наша мачеха могла бы найти себе опору и поддержку в лице духовного

наставника в это критическое для нее время. Но я не знал, кто именно ее духовник, даже и не очень уверен, что у нее таковой был. Впрочем, как мне кажется, даже в те времена, когда она особенно гордилась своими успехами на пути к совершенствованию и когда никто еще не мог предвидеть, что в один прекрасный день ее будут терзать все фурии больной совести, мачеха исповедовалась гораздо реже, чем можно было этого ждать от особы, столь любящей афишировать свое благочестие. В дни моего детства еще не угас спор о том, как часто полагается ходить к исповеди, спор, начавшийся еще два с половиной века назад. В наши дни верующий католик старается причащаться святых тайн как можно чаще, а сорок лет назад страх и трепет царили в отношениях между христианскими душами и воплощенной любовью, каковая, согласно янсенистской[46] традиции, считалась неумолимой.

Верно одно: в том году, когда начался Великий пост и уже близилась Пасха, страхи Бригитты Пиан переросли в ужас. Как-то вечером она без

[46] Примечания: 46

Янсенизм — учение религиозной секты последователей голландского епископа Янсения. Главный основы этого учения: отрицание свободной воли и вера в предопределение. Янсенисты резко выступали против иезуитов.

стука ворвалась ко мне в спальню. Я уже лег и читал роман Фромантена «Доминик»[47] и поднял на непрошеную посетительницу взгляд, затуманенный картинами воображаемого мира, откуда я с трудом вынырнул наружу.

— Еще не спишь? — спросила Бригитта робко и умоляюще.

Она прочла на моем лице выражение досады грубо оторванного от своих грез человека. Другое дело, если бы я еще не лег, тогда я охватил бы голову обеими руками, заткнул бы пальцами уши, склонился бы над книгой — словом, одна моя поза отбила бы охоту вступать со мной в разговор. Но сейчас, лежа под одеялом, я был безоружен.

— Послушай, Луи, я хочу попросить у тебя совета… Возможно, ты удивишься, но в иные минуты как-то перестаешь видеть ясно. Какое, по-твоему, большее из двух зол: нарушить требования церкви и не причащаться на Страстной неделе или же, повинуясь заповеди, будучи недостойной, причаститься?.. Нет-нет, не отвечай так сразу, сначала подумай хорошенько. Вспомни-ка, что

---

[47] Примечания: 47

Фромантен Эжен (1820–1876) — французский живописец, писатель и историк искусства. Представитель романтизма. Его роман «Доминик», отчасти автобиографический, повествует об истории несчастной любви юного героя к замужней женщине.

сказал апостол Павел о тех, кто не познает тела Христова…

Я ответил, что думать тут особенно нечего и что вопрос решается просто, достаточно покаяться в грехах священнику, чтобы на нас вновь снизошла благодать.

— Для тебя, Луи, дорогой, для чистого сердца ребенка, может, это и так, конечно, так!

Она тяжело опустилась на край моей постели. Уселась, видимо, надолго. Увы, пришлось отказаться от общества «Доминика» и слушать бессвязную болтовню этой стареющей дамы.

— Прежде всего грехи должны быть совсем простые, ясно распознаваемые, четко определенные, так что можно было бы вложить их в четкую формулу. Но как же, по-твоему, я могу растолковать какому-нибудь священнику все то, что меня мучает? Что он поймет из моих отношений с твоим отцом, с Леонсом и Октавией Пюибаро, с господином Калю, с Мишель? Я уже трижды пыталась это сделать — поочередно обращалась к простому священнику, к доминиканцу, к иезуиту. И все трое, представь, решили, что я из числа слишком совестливых грешниц, а исповедники боятся их как чумы и действуют с ними оружием, каковое лишь усугубляет страх, а именно делают вид, что

не принимают всерьез их самобичеваний. Таким образом, выходишь из исповедальни в твердом убеждении, что тебя не поняли и что поэтому тебе не будет прощен грех, раз сам священник не разобрался в твоих словах… Ну да, ну да, я тоже поражена этим недугом! — помолчав, крикнула она. — Но самое главное — знать, кается ли человек с чистыми намерениями или нет; если мы терпим подобную пытку, это не означает еще, что речь идет о выдуманных проступках…

— В таком случае, — прервал я ее наставительным тоном, — речь идет не просто о больной совести, но о раскаянии…

— Ты вложил персты в открытую рану, Луи. Мы пытаемся себя успокоить, прибегая к самым мягким терминам, ты прав, даже очень прав: я страдаю не от больной совести, а от угрызений, да, от ужасных угрызений. Ты, ты с первого слова сумел все понять с обычной твоей быстротой соображения, которой так восхищался бедняжка Леонс Пюибаро. А я отчаялась что-либо объяснить этим неопытным людям, для которых любой грех есть легко определяемый поступок и которые не понимают, что зло может порой отравить всю жизнь, что зло может быть многоликим, невидимым, необъяснимым, а следовательно, его нельзя

выразить словами, оно в буквальном смысле не имеет названия…

Она замолчала, чуть привалилась ко мне, я слышал ее бурное дыхание.

— Мне пришла в голову одна мысль, — начал я. (Меня охватило волнение, знакомое мне еще с той поры, когда господин Пюибаро обращался ко мне как к оракулу, а я старался ослепить его своим ответом, в равной мере неожиданным и мудрым.) — Священник, который мог бы успокоить вашу душу, должен не только знать вас уже давно, но ему также должны быть известны в мельчайших подробностях те события, которые вас так мучают. Да-да, — настаивал я, а она смотрела мне в лицо с тем выражением, с каким безнадежно больные люди смотрят на изрекающего свой приговор врача, — господин Калю знал все наперед, в последнем письме он описывает мучающий вас недуг. Не важно, как его назвать — угрызения совести или раскаяние в содеянном: зная причины недуга, он даст вам отпущение грехов.

— Аббат Калю? Да что ты говоришь? Исповедоваться у него мне после того, что я ему сделала…

— Именно после того, что вы ему сделали.

Мачеха поднялась и стала кружить по моей

спальне. И простонала, что ни за что не посмеет…

— Безусловно, вам будет тяжело, — настаивал я, — но тем большей будет ваша заслуга…

При слове «заслуга» она вскинула голову.

— Для большинства людей это было бы выше их сил, но для вас…

Она снова выпрямила стан.

— В конце концов… — прошептала она. — Видимо, придется ехать к его брату… А имеет ли он право исповедовать? — допытывалась она. — Да, конечно, в пределах епархии…

Она снова зашагала по комнате. Я нарочно громко зевнул и закутался в одеяло.

— Засыпаешь, Луи? Ну, спи, спи, счастливое дитя.

Она нагнулась над постелью, и ее шершавые губы коснулись моего лба.

— Признайтесь, я подал вам богатую мысль? — самодовольно спросил я.

Мачеха не ответила, толкуя и перетолковывая в уме мое предложение. Уходя, она потушила лампу, но, как только закрылась дверь, я снова зажег свет и снова «Доминик» увел меня далеко-далеко от этой измученной женщины.

XV

Выйдя из поезда, который привез ее от аббата Калю, Бригитта Пиан сообразила, что до обеда остается еще часа два, поэтому она не наняла карету, а пошла пешком в тумане, среди людской толчеи, по ужасно печальному бульвару Сен-Жан, не замечая того, что всегда было ей ненавистно, уверенная в том, что ей простились все грехи. Шла она легкой поступью, и впервые в жизни к порыву благодарности, возносившей ее к Богу, примешивалась смиренная человеческая нежность. С нее сняли бремя боли, она уже не страдала, дышалось ей свободно. Иной раз ее охватывало беспокойство, словно пронзительный зов: сумела ли она во всем до конца признаться? Ну да, конечно, впрочем, тот, кто выслушал ее, уже все знал наперед…

Она жадно внимала тому, что говорили ей в промозглой комнате, побеленной известкой, скудно меблированной, где ее принял аббат Калю. Он не пытался ее успокаивать, но пристыдил Бригитту, что она приписывает слишком большое значение своим заблуждениям, как будто не знает, что даже наши грехи Господь заставляет

служить своим предначертаниям. Он умолял ее поглубже проникнуться собственным своим ничтожеством и не заменять прежние иллюзии величавого продвижения по пути совершенства убеждением в том, что нет ее греховнее. Он добавил, что Бригитта многое может сделать для тех, перед кем следует загладить причиненные ею обиды; в отношении мертвых это само собой понятно, но вот в отношении живых… «Вы, например, могли бы помочь мне, — заверил он ее, — походатайствуйте за меня перед кардиналом». (И Бригитта сразу поняла, что Калю просит ее об этом ради нее же самой, ибо жалеет.) А он и не добивается для себя прощения у высших церковных властей, а только просит разрешения поселиться на свой счет между Бастид и Суй — в самом что ни на есть нищенском и заброшенном квартале, снять там себе квартирку, и пусть ему разрешат учить детей закону божьему и отправлять службу. Шагая в тумане легкой, свободной походкой по мокрым тротуарам, Бригитта решила, что она сама покроет все его расходы, и уже рисовала в своем воображении, как новенький приход вырастет вокруг аббата Калю.

Бригитта Пиан уже успела заглянуть в собор, прежде чем закрылись его врата, и простояла

под сводами несколько минут неподвижно, как зачарованная, будто растеряла все человеческие слова, потом вышла на улицу и добралась до дому, даже не заметив, какой дорогой она идет. В передней ноздри ее защекотал непривычный запах табака, и она сразу опустилась с небес на грешную землю: кто это смеет курить в ее доме? Прислушавшись, она различила голос Мишель и еще какой-то незнакомый и тем не менее уже знала, что он там, в ее гостиной, посмел прийти сюда! В своем письме графиня намекнула на возможное посещение юного Мирбеля, но Бригитта ни на минуту не допускала мысли, что этот воришка наберется наглости и явится к нам. А он явился! И мы его приняли! За этой самой дверью он непринужденно болтает с Мишель. Бригитта выпрямила свой стан. В нашей прихожей, освещенной язычком газа, заключенным в стеклянный матовый шар, она вновь стала прежней, той, что пребывает в состоянии благодати, уверенная в своем праве вмешиваться в жизнь тех, кем она имеет право распоряжаться. Но в то же время в ней глухо зарокотал тот праведный гнев, с которым ей было так трудно бороться, когда кто-нибудь осмеливался нарушить ее приказ, увиливать от выполнения того, что она решила

и предписала.

Бригитта уже схватилась за ручку двери, но пальцы ее нерешительно разжались. Вопреки налетевшему гневу вновь обретенный душевный покой, глубокое умиротворение не покинули ее. Те, что сидели сейчас в гостиной, она знала это, тоже обвиняли ее за причиненное им зло. Однако в этом пункте совесть ее была чиста. А как она могла себя вести иначе? Она охраняла Мишель, совсем еще девочку, как охраняет родная мать. Однако аббат Калю придерживался иного мнения, и она отлично знала, что представляет для него юный Мирбель, хотя сегодня даже имени его не было произнесено. Но многое из того, что говорил аббат, было, безусловно, подсказано памятью об этом заблудшем ребенке: каждая судьба, говорил аббат, неповторима и исключительна, быть может, в этом-то и есть одно из проявлений тайны милосердия и справедливости, которые учат нас, что не существует общего закона, дабы судить и осуждать людей; каждый из нас получает незавидное наследство, отягченное грехами и заслугами нашего рода, и мера сего не может быть нами установлена, и каждый свободен сказать «да» или «нет» в ту минуту, когда любовь господня находится с ним совсем рядом; не можем мы

присвоить себе право судить о том, что именно влияет на человека, предопределяя его выбор. Чету Пюибаро имел аббат в виду, когда сказал: «Не следует, подобно слепорожденному или глухому, встревать между двумя любящими существами, будь даже их любовь во зло. Самое главное — это сначала понять, что именно означает их встреча, ибо пути людские пересекаются не случайно…»

Стоя под дверью, Бригитта Пиан слышала два голоса, звучавшие попеременно: голос Мишель, чуть принужденный, и другой, уже мужской, но еще не установившийся, с глухими раскатами. Уже не гневаясь, а колеблясь, Бригитта присела на деревянный ларь. Так, со стороны, и не подумаешь, что она подслушивает под дверью (она действительно не разбирала, о чем говорят в гостиной), просто она замешкалась в прихожей, потом прошла к себе в спальню и долго, не зажигая огня, пробыла там одна, преклонив колени.

Жан де Мирбель нарочно выбрал четверг для встречи с Мишель: он знал, что утрами по четвергам она свободна. Сначала он выразил желание повидаться со мной. Первым моим побуждением было пойти предупредить Мишель, но я сразу догадался, что она уже знает о приезде Жана в Бордо. Ее очень портила монастырская форма.

Волосы собраны узлом и стянуты на затылке сиреневой лентой, завязанной бантом. Из-за высоких ботинок на пуговицах лодыжки казались толще, чем на самом деле. Меня не обманывало ее наигранное спокойствие. Мы понимали, что при вечном своем недоброжелательстве наша мачеха может превратно истолковать этот визит, и потому заранее условились, что, как бы ни просил меня Жан, я не уйду из комнаты до конца свидания.

Мы вошли в гостиную. Еще не было четырех, но из-за штор, украшенных плетением из золотого шнура и вышитых гладью, в комнате было почти темно, так что пришлось зажечь лампу. Запах керосина витал над выдвижным столиком с выжженными узорами, над разрисованными экранами, свет оживлял раззолоченные кресла. Мирбель, безусловно, вырос и возмужал, зато лицо его стало чересчур худым. Щеки ввалились, и нос — а мы помнили, что нос у него горбатый, но небольшой — теперь казался слишком крупным. На лбу его пролегли морщины, неожиданные у восемнадцатилетнего юноши. На нем был новый костюм из магазина готового платья, слишком широкий в плечах.

Они, которые полюбили друг друга еще в ту

пору, когда их тела не успели сформироваться, поглядывали друг на друга в удивленном молчании, показавшемся мне чересчур долгим; было бы лучше, если бы две эти несчастные бабочки прошли в обратном порядке все этапы своего превращения и сейчас достигли бы стадии детей, когда они были так дороги друг другу. И несомненно, первыми узнали друг друга глаза, которые совсем не изменились.

А что касается меня, то от детской моей ревности не осталось и следа, мне хотелось только одного — стушеваться, стать невидимым. Впрочем, мне удалось это без труда: с первых же слов остались только те двое, все прочее исчезло. Однако разговор не завязывался; со стороны могло показаться, будто они не знают, что сказать друг другу, — она, сидевшая в кресле, и он, стоявший спиной к окну. Не спросив у Мишель разрешения, Жан закурил сигарету. В углу, куда я забился, от меня ускользали многие их реплики, особенно то, что говорил Жан, повторивший несколько раз нетерпеливо и раздраженно: «Да не в том дело… Это совершенно неинтересно», на что Мишель отвечала насмешливым тоном: «Ты так считаешь?» Я догадался, что она намекает на аптекаршу. Жан засунул руки в карманы и, подняв плечи, пока-

чивался на носках; по его словам выходило, что единственное бесспорное во всей этой истории — то, что Мишель не захотела больше знаться с ним, воспользовавшись первым попавшимся предлогом, лишь бы отделаться от него; впрочем, это вполне естественно, она и сама не верила ни минуты, что он ей дорог. Мишель перебила его и сказала совсем так, как когда они ссорились детьми: «И ты еще меня обвиняешь? Ну, знаешь, это уж чересчур! Разве не ты первый...» И Жан раздраженно проговорил: «Ты злишься из-за этой дурацкой истории. Да пойми ты в конце концов, что для меня это все равно что побить стекла, сбежать... Мне необходимо было вырваться из Балюзака... Из-за тебя, потому что я не мог выносить такой жизни. Ну да, ну да, ты всему виной. Эта женщина?.. Да ты бы сама первая хохотала как сумасшедшая, если бы видела нас с ней в Биарице, в гостинице все считали, что я ее сын. А она не смела протестовать. Впрочем, ее это не задевало... Поверь, ей было плевать на меня. Просто я не могу тебе всего объяснить...» И так как Мишель крикнула: «Верно, лучше даже не пытаться», — он заверил ее, что во всей этой истории Гортензию Вуайо интересовал лишь аббат Калю: «Она только о нем и думала. Вот

сейчас, говорила она, он вернулся домой, сейчас он все узнает. Какова будет его первая реакция? Способен ли такой человек заплакать? Видел ли я когда-нибудь, как он плачет? Вот с какими вопросами она ко мне приставала. Она хотела сыграть с ним злую шутку… а может, отомстить… Но за что? Хотя бы за то, что он носит сутану, она хотела причинить ему зло… Во всяком случае, я тут был, если хочешь знать, ни при чем». Мишель возразила: весьма вероятно, что эта женщина над ним смеялась, но он-то сам попался на удочку, вот что она ему никогда не простит. Жан принял эту гневную вспышку неожиданно кротко, и я понял, что объяснялось это его крайней усталостью: «Зачем же тогда спорить?» Он лично прекрасно знает, что с этим покончено. Мишель даже представления не имеет, что пришлось ему пережить, а он не может ей всего рассказать. Единственной его нравственной опорой была Мишель, он жил мыслью, что она сохранит ему верность, что бы ни произошло… Но, естественно, он отлично понимает, Мишель переоценила свои силы: разве может молоденькая девушка связать свою судьбу с таким типом, как Жан де Мирбель! Того и гляди, он увлечет ее и погубит.

— Ты все искажаешь, — стояла на своем Ми-

шель, упрямо возвращаясь к разговору об этой женщине, об этой Вуайо.

И Жан жалобно простонал:

— Ничего ты не понимаешь…

Только я один, не участвовавший в этом словесном поединке, проникал в суть вещей. Я понимал, что Мишель поражена тем же недугом, от которого я страдал из-за них, когда был еще ребенком. Мишель, с трудом признававшая в этом тощем юнце своего Жана, уже могла бы начать сомневаться, любила ли она его, если бы не тоска по нем, в какой она жила все последнее время. А Жан вроде бы не замечал ревности Мишель, взывая к ней из глубины своего одиночества: «Бери меня таким, каков я есть, взвали на себя заботы о больном юноше, потому что я больной!» Но Мишель не услышала этого крика: она уже была женщиной, одной из тех женщин, которые не видят ничего, до такой степени их ослепляет гнев, подсказанный плотью. Женщиной практической, положительной. «Хорошенькое дело, еще тебя и жалеть, — твердила она. — Скоро ты скажешь, что тебе, Жану де Мирбелю, закон не писан». А он не нашелся что ответить, вернее, не находил таких слов, которые могли бы тронуть эту упрямицу. С удивлением он слушал, как она

говорит о преимуществах, которые дает его происхождение, его богатство… Как втолковать ей, что им движет на самом деле? А движет им закон, в котором одновременно уживаются неприятие и требовательность, закон, которого он еще и сам не понимал. После долгого молчания он проговорил: «Объясни мне, Мишель, почему я был таким ребенком, которого обязательно надо было лупить, таким мальчиком, на которого тыкали пальцем, которого скот дядюшка решил вымуштровать… И потом, пойми ты, есть вещи, которых ты не знаешь…» Мишель спросила, каких это вещей она не знает.

Жан покачал головой не то чтобы в знак отказа ответить, как я тогда подумал, а желая отогнать прочь картину, о которой позже, когда мы стали неразлучными, он рассказал мне подробно, картину, преследовавшую его, словно наваждение: улочка в Балозе, заросли крапивы у соборной стены, квадратная фигура мужчины в проеме окна и тоненькая беленькая фигурка, с трудом протиснувшаяся между широким мужским плечом и стенкой. Помолчав, он добавил: «Я должен тебе вернуть… знаешь что?» Он имел в виду медальон. Мишель запротестовала: «Нет-нет, оставь себе». Но Жан уже расстегнул ворот рубашки и

пытался отцепить медальон от цепочки. Но после неловких попыток он отказался от дальнейшей борьбы, снова сел и замолк, понурив голову. Я не сразу заметил, что он плачет. То, что не смогли сделать слова, сделали слезы: Мишель сдалась, но она не шагнула к нему, а он не поднялся со стула — этот материальный знак боли, причина которого была непонятна Мишель, победил ее сопротивление, хотя она не уступила ни в одном из пунктов. Ни одна из ее обид не была забыта — всю свою жизнь Мишель держала их при себе, добавляя новые, рожденные совсем по иным поводам, и вскармливала ими будущие ссоры. Но теперь он плакал, и Мишель физически не могла этого перенести. Она подошла ближе и, чуть нагнувшись над ним, утерла ему слезы своим маленьким носовым платочком. А другой рукой провела по волосам Жана.

Я отвернулся, но видел Мишель и Жана в зеркало. И увидел также, как открылась дверь из прихожей. Но в дверь так никто и не вошел. Жан де Мирбель поднялся. На пороге появилась Бригитта Пиан, держа в обеих руках поднос с чашками и тартинками. Я догадался, что она не могла открыть двери с такой ношей и ей пришлось поставить поднос на ларь. Улыбались

только губы, а глаза смотрели на нас хмуро.

XVI

Обслуживала она нас со смиренной суетливостью, но не с той прежней, к какой она прибегала, намереваясь наставить нас на путь истинный, а может, если и входил в ее поведение нравоучительный элемент, то не это я ощутил прежде всего, а крутую перемену, происшедшую с ней. Вообще-то люди не меняются; теперь, в мои годы, я уже не сомневаюсь в этом, но нередко они начинают склоняться к тому, против чего до исступления боролись всю свою жизнь. Это вовсе не значит, что в любом случае верх берет плохое начало: религия тоже может служить для них таким притягательным началом, и многие поддаются на ее благие соблазны.

На первых порах случай Бригитты Пиан был совсем иным, хотя, повинуясь советам аббата Калю, мачеха на наших глазах сложила с себя на несколько недель все свои высшие житейские полномочия и пыталась найти в самой себе источник внутренней веры. Но то, что она собиралась устранить из своей жизни, как раз и составляло в ее глазах религию, а именно все, что удовлетворяло ее страсть к владычеству, к

самоуправству, стремление никому не уступить по части чистоты или совершенства.

Как сейчас вижу ее в нашей уродливой гостиной — вот она стоит, держа в каждой руке по чашке чаю. В течение тех нескольких минут, что она проторчала с нами в гостиной, рухнули все преграды, отделявшие Мишель от Жана и меня от них двоих: перед лицом этой стареющей женщины мы сразу же стали единым блоком юных. Так три звезды, разделенные безднами пространства, кажутся ближе друг к другу по отношению к четвертой, совсем от них далекой.

Мачеха смотрела на нас с жадным вниманием, и поначалу я не мог понять, откуда оно. «Наконец-то мы ее усмирили, теперь она сдалась!» — воскликнула Мишель, как только мачеха удалилась. Но нет, дело тут было совсем в другом. Безусловно, Жан передал ей милое письмецо от своей матери; Бригитта даже высказала пожелание, чтобы Жан из Англии давал нам о себе знать, и, таким образом, признала за ним право переписываться с Мишель… Смысл этого кажущегося поражения открылся мне полностью в те два-три года, которые предшествовали моему отъезду в Париж В течение всего этого времени Жан из Кембриджа писал Мишель по нескольку

раз в неделю. Мало сказать, что мачеха этому не препятствовала: она буквально целыми днями выслеживала Мишель, стараясь угадать по выражению ее лица, получила ли она очередное письмо, что оно принесло сестре — радость или муки. Словом, Бригитта Пиан ничего не желала упускать из этой любви, вернее, из этой непрерывной грозы, историю которой я как-нибудь расскажу. «Она радуется, когда мне плохо…» — злилась Мишель. Нет, Бригитта не радовалась: она была заинтересована, и не просто, а страстно заинтересована.

И еще Мишель говорила: «Теперь, когда Бригитта не может больше никого мучить, она находит удовольствие в том, чтобы подсматривать за другими…» Эти слова были, по-моему, ближе к истине. Жизненные интересы Бригитты Пиан сместились. Теперь, когда она перестала самозабвенно трудиться над своей власяницей лжесовершенства, она на досуге могла присмотреться к другим людям, наблюдать за теми странными играми, в которые они играют, — а называются эти игры любовью. Раньше Бригитта с отвращением сторонилась их долгие годы, даже не пытаясь проникнуть в тайну, скрывающуюся под этим словом.

Мишель не только не трогал повышенный интерес нашей мачехи к ее любовным делам, напротив, сестра приписывала ей самые недоброжелательные мысли и всячески старалась скрывать от нее историю своих отношений с Жаном. Но Бригитта научилась разбираться в каждой перемене настроения моей сестры, растолковывать каждое случайно вырвавшееся слово, каждый вздох, даже молчание.

Очевидно, мачеха упорядочила свою религиозную жизнь и, возможно, даже чаще стала ходить к исповеди, потому что ее уже не мучили угрызения совести. Но отныне она стала вести как бы две жизни: выйдя из храма божьего, проникала в другой мир, не имеющий ничего общего с небесами. В пятидесятилетнем возрасте она открыла для себя художественную литературу, и я часто заставал ее у себя в комнате, когда она рылась в моих книгах. Читала она так же, как ела, — с детской жадностью заглатывая двойные порции: она старалась наверстать часы и дни, потерянные на пустяки, впрочем, была достаточно проницательной, дабы относиться к этим пустякам пренебрежительно. Помню даже, каким жестом она открывала пачку «хороших книг». Брала первый попавшийся том, сразу же начинала читать,

перескакивала через две страницы, вздыхала, пожимала плечами. Теперь она с одинаковой жадностью хваталась за «Адольфа», «Лилию долины», «Анну Каренину». Я потакал ее пристрастию к точному описанию чувств. Каждая любовная история привлекала мачеху, лишь бы только автор не искажал действительности. Так человек, осужденный на сидячий образ жизни, упивается книгами о путешествиях, но требует от писателя абсолютной точности и правдивости описаний.

С аббатом Калю она почти не встречалась. Ее хлопоты разрешить ему возглавить приход в Суй не увенчались успехом. Высшее духовное начальство совершенно несправедливо приписало перу незадачливого священнослужителя ядовитые заметки, публиковавшиеся в «Батай» и задевающие начальство епархии. Аббат Калю принадлежал к числу тех наивных людей, которые не умеют сдержать острого словца и которые скорее согласятся пойти на виселицу, нежели проглотить оскорбление. На его беду, кардинал Леко оставил должность прелата Аквитанского, и его место занял человек ограниченный и потому беспощадный. Возможно, когда-нибудь я еще и расскажу о восхождении святого аббата

Калю на Голгофу. Пока что он ждал со дня на день отстранения от должности и допекал Бригитту Пиан рассказами о своих горестях; из поездок к нему она возвращалась разочарованной, но уже на следующий день забывала обо всем, кроме любви Мишель, или с головой окуналась в чужие судьбы, чуть ли не до зари читая романы.

Не то чтобы в ней полностью умерла фарисейка, напротив, она гордилась теперь тем, что, не утратив былой проницательности, способна ясно видеть и осуждать себя. Она не допускала мысли, что на свете существует много таких, как она: шутка ли, в пятьдесят лет верующая христианка вдруг убеждается, что всю жизнь шла неверным путем. Даже самой себе она не признавалась, что ей приятно именно то, что теперь она никого не наставляет. Правда, иной раз ее охватывала глубокая печаль при мысли о минувших годах.

Помню, мы возвращались с похорон моего опекуна мэтра Мальбека. Его принесли домой с перекошенным ртом от его любовницы. После него осталось довольно запутанное наследство, так как втайне от всех он вел беспутный образ жизни. «А все-таки этот Мальбек, — вдруг сказала мне Бригитта Пиан, когда мы ехали в карете с кладбища, — а все-таки этот Мальбек, он хоро-

шо пожил…» Я запротестовал: разве это значит жить? Мачеха сконфуженно замолчала, потом стала меня уверять, что я ее плохо понял, о людях, ведущих широкий образ жизни, обычно говорят: такой-то хорошо пожил, только это она и имела в виду. Разумеется, говорила она искренне и, однако, не переставала удивляться тому, что я так усидчиво занимаюсь. «Ведь все мужчины ужасные шалопаи», — твердила она совсем не тем ядовитым тоном, как раньше, напротив, с улыбкой. Когда я поселился в Париже, где поступил в Политехнический институт, во время моих коротких посещений Бордо мачеха не отставала от меня с вопросами весьма настойчивыми, но ловко завуалированными. Она ничуть не сомневалась, что я веду в столице жизнь, полную страстей и интрижек, и оживленно переписывалась с графиней де Мирбель насчет нас с Жаном (в девятьсот десятом году мой друг тоже переехал в Париж). Здесь я снова воздержусь от рассказа об этих парижских годах, сделаю я это когда-нибудь потом. Упомяну лишь одно-единственное приключение, и то лишь потому, что в него вмешалась Бригитта и именно в этом случае особенно ярко проявили себя перемены, происшедшие с этой женщиной.

С самой ранней своей юности я носился с мыслью о женитьбе; мне не терпелось поскорее вкусить опыт счастья, и я находился в условиях, которые редко выпадают на долю моих сверстников, однако одержимость моя объяснялась совсем другим — тайными муками сердца, и я боялся погибнуть от них. Теперь я мог бы вполне применить к тогдашнему своему состоянию слова Ницше, которыми он так глубоко охарактеризовал французский XVII век: «В нем много от хищного зверя, много от самоистязаний аскета, решившего обуздать себя».

Когда один мой приятель заговорил со мной о своей кузине, рожденной в артистической, но богатой среде, когда он стал превозносить ее до небес, я сразу попался на удочку, с первой же встречи, даже не разглядев ее толком. Недаром я жил в такой интимной близости с Богом, недаром верил, что ничего не может со мной случиться без вмешательства Вездесущего, верил, что никто не сможет войти в мою жизнь, не будучи, так сказать, посланцем небес, и неудивительно, что я приготовился к встрече с этой девушкой, как к встрече с ангелом-освободителем. «Они опережают меня, эти глаза, полные света!» Но если быть до конца откровенным, эта моя мадонна

и муза оказалась менее решительной и более норовистой, чем бы мне хотелось. Еще ничего не было решено, как она уже потребовала путешествия по Шотландии. Но моя любовь прекрасно уживалась с постоянными разлуками и неурядицами, ставила их в заслугу этой юной и весьма возвышенной особе.

Я и не догадывался, что за ширмой возвышенности эти крупные буржуа взвешивали все «за» и «против» и осторожно ко мне присматривались. Я считался богатым, но семья наша была провинциальная и уважаемая — не более. Можно ли делать ставку на такого, как я? Эти люди принадлежали к числу тех просвещенных парижан, которые знают, что искусство и литература дают в будущем человеку со спекулятивной жилкой возможность получать прибыль. Они уже тогда шли на риск, покупая полотна Матисса. Но представляю ли я реальную ценность? Пугаясь моего нетерпения, они не знали, на что решиться, и всячески изощрялись, желая держать меня, дурачка, в состоянии неопределенности. Едва я заговаривал о разрыве, они удваивали свои авансы, и дело дошло до того, что, когда стало известно, что мачеха получила откуда-то довольно неприятные сведения о состоянии здоровья их семьи,

они умоляли меня пойти расспросить их врача, которого, по их уверениям, они освободили от профессиональной тайны.

Иногда мне кажется, что все эти поступки, все эти нелепые и гнусные демарши мне просто пригрезились. Как сейчас вижу, я сижу за столом напротив этого коновала, готового с ледяным равнодушием отвечать на любые вопросы, какие я соблаговолю ему задать. Все это кончилось последним свиданием, из которого я вышел уже женихом, и душераздирающим письмом от моей невесты. Но на следующее утро — крутой поворот! Мне отказали, даже не извинившись, не объяснившись… «Значит, во мне все дело», — думал я и решил, что не могу нравиться женщинам вопреки весьма обнадеживающим доказательствам обратного. Подобная неудача сводила на нет в моих глазах все прочие благоприятные знаки внимания. Есть же во мне что-то такое, что отвратило от меня даже ангела. Неисцелимый романтизм юности! У всех у нас в крови было это убеждение в своей несостоятельности, в том, что наш удел — одиночество и безнадежность!

Я кратко известил мачеху об этом разрыве сразу же после помолвки. И ждал от нее соболезнующего письма, и вдруг, к великому моему удивлению,

она сама прикатила в Париж. Моя незадача, видимо, задела ее за живое. Она пылко изъявляла мне свое сожаление и несколько раз намекнула, что опасается с моей стороны отчаянного шага. Ее нескромные утешения нагоняли на меня смертную тоску, а также показали мне, что я вовсе не так несчастен, как подумалось было мне сгоряча, и что страдает главным образом мое уязвленное самолюбие. Бригитта увезла меня в Ларжюзон. Я чувствовал, что моя рассудительность ее разочаровала. Но в течение лета одиннадцатого года, на редкость знойного, мачехе пришлось покориться непреложной очевидности: я не только не был сражен насмерть своим любовным злоключением, напротив, с каким-то яростным неистовством требовал от жизни всех и всяческих реваншей. Этим летом я прочел подряд всего Бальзака и почерпнул в его творениях опасное противоядие. Сам по себе писатель не может быть ни моральным, ни аморальным: он оказывает на нас влияние только в зависимости от нашего личного предрасположения. В том состоянии духа, в каком я тогда находился, Бальзак хоть и привязал меня к жизни, но заразил цинизмом мой еще полудетский ум, и я восхищался расчетливостью и хитростью юных честолюбцев.

Именно в это время Бригитта Пиан начала отходить от меня. Видимо, я разрушил то представление о любви, какое она себе создала. Теперь самой ненавистной для нее чертой любого человека было отсутствие страсти. Ей непереносима была мысль, что я так быстро утешился. Сказать мне это в лицо она не решалась, но я прекрасно чувствовал, что она презирает меня за то, что я не принадлежу к клану мучеников. Я тогда еще и сам не знал, как жестоко она ошибается.

Летние каникулы одиннадцатого года Мишель проводила в Ла-Девизе, у Мирбелей. Так что мачехе, да и мне тоже, оставалось лишь одно прибежище — книги. Печаль ее росла с каждым днем. Уже в ту пору она стала пренебрегать религиозными обязанностями. Все ее разговоры неотвратимо клонились к единственной теме: ее наваждением стала человеческая страсть. Несколько раз она заговаривала со мной о моей покойной матери, говорила о ней враждебно, но с восхищением и завистью. Но гораздо чаще, обессилев, она сидела в полутемной прихожей, и только внезапные приливы крови окрашивали румянцем ее обычно матовые щеки.

С детства неврастеники внушали мне ужас, поэтому отъезд в Париж я воспринимал как

освобождение. Теперь мы с мачехой почти не переписывались, только изредка обменивались полуофициальными письмами. Мишель, ожидавшая окончания срока военной службы Жана, а следовательно, и их свадьбы, по-прежнему жила на Интендантском бульваре. В своих письмах она намекала на «невероятную историю с Бригиттой», но решилась рассказать ее мне только лично, когда приехала в Париж погостить у Ла Мирандьезов.

История и впрямь до того невероятная, что, выслушав ее, я молча пожал плечами. Чтобы наша мачеха влюбилась в своего врача, которому было уже за шестьдесят, — все это выдумки Мишель, — но в Бордо я сам смог убедиться в этом собственными глазами. Казалось бы, чего естественнее — стареющая женщина привязалась к человеку, который ее лечит, но нет, тут было другое, тут была дикая, безумная любовь — и (вот это-то самое удивительное!) любовь счастливая, разделенная. Нет-нет, конечно, в их отношениях не было ничего предосудительного: доктор Желлис, пламенный гугенот, имевший пациентов в самом высшем протестантском обществе города Бордо, был вне всяких подозрений, но так как с женой, покрывшей его имя позором, он уже

давно жил в разводе, так как ему приходилось кормить целую кучу своих детей, уже взрослых и даже женатых, но неустроенных и вечно чего-то от него требовавших, до чего же сладостно было ему на склоне лет найти существо более сильное, более вооруженное против житейских невзгод, чем он сам, и стать единственным помыслом этой женщины; он виделся с Бригиттой каждый день, ничего не предпринимал, не испросив предварительно ее совета. Эти два одиноких создания не стеснялись словесного выражения своих чувств, не боялись они также показаться смешными. Когда их дышавшие нежностью лица склонялись друг к другу, ни один не замечал в любимых чертах признаков наступившей старости. Они жили друг для друга, эти два чистых сердцем существа, окруженные злобствующими родственниками, среди насмешливого шепота городских сплетников.

Жан служил уже последний год, и свадьбу решено было отпраздновать в октябре. Обе семьи устроили торжественные обеды, обменялись брачными контрактами. Бригитта Пиан, которой пришлось заменить Мишель родную мать, согласилась на эту роль неохотно. Страсти падчерицы уже перестали ее интересовать, но особенно она

сожалела о том, что неосторожно дала обещание на дарственную, так как в свое время тешилась мыслью этим способом загладить зло, причиненное ею. Личное состояние Бригитты было меньше, чем наше, ей осталось денег в обрез (а спохватилась она слишком поздно), капиталов достало только на то, чтобы купить небольшой участок, примыкавший к частной лечебнице доктора Желлиса. Графиня де Мирбель заявила, что, по ее мнению, «это в корне меняет проблему». В глазах графини недоданные полмиллиона усугубляли мезальянс.

Бригитта притворялась, что ничего не слышит, не понимает никаких намеков, стараясь избежать любых стычек, которые могли бы омрачить ее странное и глубокое счастье. А счастье это, если перевести его в зрительный образ, представляло собой шестидесятилетнего коротконогого толстячка и скрывалось под тесноватым сюртуком; крашеная бородка на безволосом строгом лице придавала ему известное сходство с канцлером Мишелем де Л'Опиталь; говорил он много и красноречиво и не слушал никого, кроме Бригитты, но она предпочитала молчать и впитывала каждое слово своего возлюбленного. Беседовали они о самых возвышенных предметах и касались

даже теологии. Наша мачеха вдруг обнаружила, что ей доступна логика кальвинизма, хотя ни одна из сторон не имела тщеславных притязаний обратить другую в свою веру: либо оба они относились с уважением к религии, которую исповедовал другой, либо вопросы такого сорта уже не слишком их тревожили; годы научили их ценить каждую минуту, и ничто не должно было отвращать их от главной и единственной потребности, каковой стала для них любовь.

С этих пор Бригитта отдалилась от нас. Бывая проездом в Бордо, я даже не останавливался на Интендантском бульваре, мою бывшую комнату превратили в спальню доктора Желлиса, и он ночевал там, когда задерживался в городе после посещения театра или концерта, куда они ходили вместе с Бригиттой, ибо он, сам страстный любитель музыки, приохотил к ней нашу мачеху. Автомобиля у доктора не было, а была старенькая двухместная старомодная карета — когда видишь такую на улице, с первого взгляда понимаешь, что едет врач; естественно, путь от центра города до его больницы отнимал много времени.

Вовсе не обязательно, чтобы седовласые старички влюблялись в юных дев, равно как и дамы на возрасте — в юнцов. Нередко бывает так, что

после поисков, длящихся всю жизнь, мужчина и женщина случайно встречают друг друга в сумерках своего заката. Страсть их выигрывает в отрешенности и в безразличии ко всему прочему. Ведь им отпущено так мало времени. Пусть смеются люди, они же не знают, что таится в глубине этих сердец. Когда я изредка появлялся на Интендантском бульваре, Бригитта смотрела на меня даже с жалостью: из нас двоих я был бедняком. Только иногда давали себя знать грозные стороны ее натуры, когда, например, разговор заходил о моей покойной матери или о Пюибаро, о людях, которым ей нечего было сейчас завидовать и которые не познали, подобно ей, всех упоений разделенной любви.

Всякий раз, когда в глазах Бригитты под ее густыми, сросшимися на переносице бровями загорался жестокий пламень, я злился и даже осмеливался намекать, что существует такой аспект любви, какого ей никогда не узнать. Я нащупал слабинку в ее горделивой и удовлетворенной страсти: ежели страсть не воплощается физически, она просто фантом, призрак, внушал я мачехе. Коль скоро мы не находим гибели или воскресения в любимом существе, нам остается лишь опьянять себя словами, жестами, но нико-

гда мы не узнаем, действительно ли мы изведали страсть… Бригитта прерывала меня: «Ты сам не знаешь, что говоришь… Не знаешь, о чем идет речь…» И на лице ее появлялось привычное выражение брезгливого ужаса, как в былые дни, когда при ней касались запретных тем.

Сейчас меня мучает совесть при мысли, зачем я своими намеками омрачал ее радость, ибо примерно в то же самое время, когда я читал ей мораль, Мишель сообщила мне, что идиллию наших Филемона и Бавкиды[48] нарушают порой первые грозы. Возможно, Бригитта стала выражать в присутствии своего возлюбленного кое-какие сожаления, предъявляла к нему определенные требования. Боюсь даже мысленно представить себе эти жалкие попытки, эти уродливые гримасы тел, состарившихся раньше, чем состарились одушевлявшие их сердца. Юность, которая мучается своими муками (а я как раз

[48] Примечания: 48

Филемон и Бавкида — в мифах древних греков благочестивая супружеская пара из Фригии. Только они открыли двери своей хижины в селении, которое посетили под видом странников боги Зевс и Гермес, и поделились всем, что имели. За нечестивость остальных жителей селения боги покарали, затопив их дома. Хижина же Филемона и Бавкиды уцелела и превратилась в храм, жрецами которого стали супруги. В награду за гостеприимство боги наградили их долголетием и возможностью умереть одновременно. Ко времени смерти они превратились в деревья, растущие от одного корня.

мучился), гнушается удовлетворенной любви стариков.

На доктора Желлиса наседали его дети и старшие из его внуков. Покупка участка, смежного с лечебницей, а было это накануне свадьбы Мишель, только подлила масла в огонь. К доктору был откомандирован один из самых уважаемых пасторов Бордо, домочадцы Желлиса обратились к Мишель с письмом, где умоляли ее направить к мачехе священника, которому бы она доверяла и который мог бы наставить ее на путь истинный. Произошло это как раз тогда, когда аббата Калю лишили права служить мессы, и, так как он был отстранен, хотя и не отлучен, каждое утро в часовне неподалеку от факультета словесности в момент причастия опозоренная его сутана терялась среди черных платьев старушек прихожанок; он проходил к алтарю под градом любопытных или жалостливых взглядов, и лицо его было ликом ангела.

Домашние доктора не успели прибегнуть к помощи аббата Калю. Если воспользоваться легкомысленным до жестокости словцом графини де Мирбель, все устроилось само собой: как-то вечером, уже у самой лечебницы, автомобиль врезался в карету доктора, и он был убит на месте.

Наша мачеха узнала об этом происшествии на следующий день из газет. По городу ходили, конечно, сильно приукрашенные слухи о том, как Бригитта Пиан, не помня себя от горя, не надев даже шляпки, примчалась во флигель, где жили Желлисы; уверяли, будто старший сын доктора пытался было преградить ей вход в комнату, где лежал покойник, но она отшвырнула его и, разметав родственников, стоявших чуть ли не цепью, ворвалась в спальню, упала на бездыханное тело, не проронив ни слезинки, не крикнув, и только силой ее удалось оторвать от покойного.

Как раз в это время я гостил у друзей на Кап-Мартэн и счел, что это печальное событие официально не имеет ко мне никакого отношения и ехать в Бордо мне незачем. Поэтому я ограничился тем, что послал мачехе письмо, написанное с огромным трудом и оставшееся без ответа. Но так как Мишель и Жан совершали по Алжиру свадебное путешествие, мысль о Бригитте все время точила меня. По не зависящим от меня обстоятельствам я вынужден был ехать прямо в Париж, минуя Бордо, и, таким образом, не удостоверился лично, сохранила ли рассудок наша мачеха. Эту мучительную повинность я выполнил только в начале весны.

Служанка, не знавшая меня в лицо, оставила меня одного в прихожей. Я услышал возглас мачехи: «Ну конечно, пусть войдет!» И, не уловив в ее голосе никаких перемен, я почувствовал огромное облегчение. Мачеха сидела на своем обычном месте перед письменным столом, уже не заваленным циркулярами и приглашениями на благотворительные базары. Она не постарела. Не сразу я заметил, что она стала причесываться по-прежнему, поднятые волосы, увенчанные буклями, открывали большие уши и лоб красивой лепки. На камине возле букета сирени стоял фотографический портрет доктора Желлиса. Ничто в облике мадам Бригитты не говорило о смятении или растерянности. Плечи ее прикрывала строгая пелеринка лиловой шерсти. При моем появлении она положила на стол четки, те самые, которые я помнил еще ребенком. Первым делом она извинилась, что не ответила на мое письмо, и самым естественным тоном добавила, что находилась несколько недель в состоянии прострации и только с большим трудом ей удалось справиться с собой.

— А сейчас? — спросил я.

Она задумчиво поглядела на меня.

— Если бы господин Пюибаро был здесь, он

наверняка сказал бы, что ты один способен понять…

Она спокойно улыбнулась.

— Все дело в том, — продолжала она, — что я его не потеряла… Об этом я ни с кем говорить не могу… Никогда, даже во время своего существования на нашей земле, дорогой мсье Желлис не был мне так близок, как сейчас. Еще при жизни он начал выполнять свою миссию в отношении меня, ту, какая была ему предназначена, но мы только ничтожная плоть… Да, нас разлучала плоть, зато теперь нас ничто не разлучает…

Еще долго распространялась она на эту тему, и я подумал сначала, что это просто хитрый маневр скорби, похищающий у смерти дорогого доктора Желлиса. Но через несколько дней мне пришлось признать, что обычная человеческая любовь успела произрасти на бесплодных полях затянувшегося фарисейства и что с «гроба повапленного» наконец была снята крышка и он стоял отверстый. Возможно, там лежало несколько костей, немножечко праха. Случалось, что грозные брови, как в прежние времена, сходились к переносице над огневыми очами. Иной раз давняя незаживающая обида вырывала из ее уст горькие слова. Но «дорогой мсье Желлис» был здесь, был

рядом, и он вел мадам Бригитту к небесному успокоению.

Письмо от графини де Мирбель срочно призывало меня в Ла-Девиз, куда только что и задолго до назначенного срока вернулись Мишель и Жан. Их неожиданный приезд меня встревожил. Я тотчас же выехал из Бордо и сразу попал в самую гущу драмы новобрачных, о чем я когда-нибудь расскажу особо. Я стал неизменным спутником их трагедии: меня втянуло в вихри ссор и примирений, и стареющая женщина с Интендантского бульвара, насквозь пропитанная чуть слащавым посмертным обожанием «дорогого мсье Желлиса», отошла в моей памяти на задний план. Странная мне выпала участь беспрерывно метаться от Жана к Мишель и обратно, парировать удары, которые наносили друг другу эти два слепца, — участь, особенно странная для молодого человека, ибо он тоже страдал, но страдал в одиночку и никто не приходил ему на помощь.

От этого полусна всех нас разбудила мобилизация, объявленная 2 августа 1914 года. Словно под ударом грома стихли тысячи личных драм, подобных нашей. Разворошило все наши норы, и нас вытолкнуло на свет божий из болота темных наших страстишек, нас, глупых, ослепленных

этим безмерным несчастьем, его и сравнивать-то было стыдно с теми горестями, что мы сами себе напричиняли. Я расстался с Жаном и Мишель, которые уже не могли мучить друг друга в те минуты, когда им предстояла разлука; и тут только я постиг всю глубину своего одиночества — оказывается, мне не с кем было проститься, кроме одной Бригитты Пиан.

Она сгорбилась, похудела. Привлекла меня к своей груди и расплакалась; помнится, я удивился ее слезам. Имя мсье Желлиса не было произнесено ни разу, и Бригитта пеклась обо мне, как родная мать. Позже я узнал, что как раз в это время она часто виделась с аббатом Калю, который снова вошел в милость к епархиальному начальству, помогала ему, но конец его был уже близок.

На фронт она то и дело посылала мне посылки, письма, главной их темой было мое здоровье, вопросы, в чем я нуждаюсь. Свой первый отпуск с театра военных действий я провел у Бригитты Пиан. За несколько дней до того у нее на руках скончался аббат Калю, и она рассказала мне о его смерти почти сухо, без обычной нравоучительной подоплеки. По ее словам, аббат не только стал меньше ростом, его вообще словно бы уже

не было на нашей земле. Его мучила жесточайшая грудная жаба, приступы которой бросают больного в пароксизме мук к открытому окну. Но стоило ему хоть чуточку отдышаться, и он уверял, что еще может переносить страдания. На столе у него стояла фотографическая карточка: я сделал этот снимок давным-давно в садике Балюзака, и изображал он Жана и Мишель: босоногие и скривившиеся от солнца, они тащили вместе лейку с водой. Бригитта добавила, что вопреки своим непомерным мукам аббат Калю отнюдь не внушал жалости.

Мачеха не уклонялась от разговора, когда я намекал на прошедшие события, но я понял, что она отрешилась даже от своих ошибок и во всем положилась на небесное милосердие. На закате своих дней Бригитта Пиан наконец-то поняла, что не следует человеку быть лукавым рабом, старающимся пустить пыль в глаза хозяину своему и выплачивающим всю свою лепту до последнего обола, и что отец небесный не ждет от нас того, чтобы мы аккуратно вели мелочный счет своим заслугам. Отныне она знала, что важно лишь одно — любить, а заслуги уж как-нибудь накопятся сами.

1941 г.